

К читающей публике

К читающей публике // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 5—6. — [Т.] I.

Удручающая картина духовного несовершенства современного общества predetermined, без сомнения, многими причинами. Не отрицая значения фактора экономического как одного из главных, выскажем все же, возможно, странную, не столь популярную и даже неприемлемую многим мысль о том, то причиной нынешнего духовного рассеяния является утрата читающей российской публикой исторического знания, чувства непрерывности и преемственности исторического процесса. Все чаще наше прошлое, со всеми его вершинами духа и пропастями души, становится предметом в лучшем случае занимательного чтения, а в худшем (и тенденция эта отнюдь не иссякает) — объектом всякого рода исторических, вернее, псевдоисторических, спекуляций.

История всякой страны именно такова, какая она есть, и иной не дано. К сожалению, наш читатель гораздо более сведущ в способах интерпретации исторического факта, нежели в его понимании. Он предпочитает давать оценки (неважно — политические, идеологические, нравственные или какие-либо иные) и подменять тем самым реальное знание. Неудивительно, что для многих интереснейшая из наук — История — превратилась в скучнейшую сухую дисциплину, которая от случая к случаю льстит сильному миру сего.

Для того, чтобы муза Клио вернула свое покровительство Истории, чтобы на смену историческому нигилизму (возможно, неизбежному этапу развития каждого общества) пришла вера в ценность объективного знания, необходимо повернуться лицом к фактам, памятуя старое русское присловье: «Из песни слова не выкинешь».

В дореволюционной России число изданий, посвященных исторической тематике, было значительным — от учено-литературного журнала «Историческая Библиотека» до историко-литературного «Исторического Вестника». Они не только объединяли под единой обложкой историков и литераторов разной научной и общественной ориентации (Н. И. Костомарова, Н. С. Лескова, К. Н. Бестужева-Рюмина, Г. П. Данилевского, И. Е. Забелина, В. В. Крестовского, В. О. Ключевского и многих других), но через беллетристику и научные изыскания представляли историю России как цельный самобытный общественно-культурный процесс.

Издания такого рода воспитывали у читающей публики исторический вкус.

В ряду этих исторических изданий выделялись «Русская Старина», издававшаяся Михаилом Ивановичем Семевским, и в особенности «Русский Архив», издателем-редактором которого был Петр Иванович Бартенев. Именно «Русский Архив», провозгласивший первенство документа над его субъективной интерпретацией, нес то самое объективное историческое знание, которое лежит в основе всякой цивилизованной государственности. Охватывая историю России за века XVIII и XIX, журнал предлагал читателю содержание «по преимуществу фактическое».

Желая возродить благородные традиции своего предшественника, «Российский Архив» ставит перед собой цель соединить воедино цепь, насильственно разорванную в год закрытия «Русского Архива», в 1917 году, памятуя о том, что История нужна не столько для настоящего, сколько для будущего, не для категоричной оценки минувшего, а для осознания Истины, смысл которой является ежечасно.

Слово на заключение мира России с Оттоманскою Портою в 1774 году

Васильев А. Слово на заключение мира России с Оттоманскою Портою в 1774 году / Публ. [и примеч.] Н. Л. Зубовой // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 9—12. — [Т.] I.

Церковь Российская, для назидания, указывает вниманию чад своих на величественный памятник отечественного события — Заключение мира с Оттоманскою Портою. Это памятник, потому что напоминает потомству мысли и намерения предков, передаваемые настоящим торжеством потомкам своим; величественный потому, что нравоучением величественнее подобных памятников других народов. Не говоря о других, торжествовал мир, или лучше сказать прекращение браней, в древния времена знаменитый Рим: въезд в торжественныя врата Рима военачальника украшенного лавровым венком, в торжественной колеснице окруженной, в уничижении идущими, пленными знаменитыми вельможами неприятельскими и за ним же торжественное шествие победоносного войска; за тем следовали зрелища и бой или травля зверями невольников, жребием войны подпавших плену. Это торжество мира не мир, а семя жестокой войны и кровопролитнейших браней в себе заключало. Оно способом торжествования в начальниках и во всех римлянах возбуждало без разбора справедливых причин жажду войны и кровопролитий для новых торжеств, для гордости, а в противниках их уничижением и жестокостию возрождало чувство оскорбления и ненависти до того, что цари и многие вожди, видя предстоящий плен от римлян, предпочитали самоубийство сему плену.

Искушенная, как злато в горниле, злостраданиями и огорчениями Россия не так торжествует мир, и не то внушает торжеством своим! Вынужденная к войне, нарушением священных прав мира Турцию¹, она, принудив врагов, мужеством сынов своих просить мира, не соблазняясь к продолжению войны жалостию о сетующих в неволе единоверных греках², ни противною христианству верою врагов, возбуждавшею некогда вооружение Европы, поставляет мир, ни мало не уничижая врагов своих, возобновляет все права приязни и дружества с умирным неприятелем: совершает торжество свое не данию гордости, но смиренным, за прекращение брани и дарование мира, приношением благодарения пред престолом Господним, завещая сынам и потомкам своим навсегда освящать день сей благодарением Господу. Россия благодарением и заповедию благодарения векам грядущим выражает любовь свою к миру для самага мира, и как бы гласом исполненным опыта и прозорливости взывает к чадам и потомству: что не разбирая исповедания веры мир и согласие с ближними должно считать необходимою потребностью благоденствия и Божия благоволения для царств и народов. Братие! в знак благодарности, последуя внушению Отечества, размыслим о сем внушении в настоящем слове.

Человек сотворен для общежития, для сего дарованы ему способности, на сей конец дарован ему Творцом дар слова, сей великий и отличительный дар человечества и потому в каком бы состоянии он не был, везде ищет себе подобных. Дикое состояние есть самое жалостное, но и там находим людей, живущих обществами. Даже самыя безсловесныя животныя живут обществами. Напротив человек оставленный от людей независимым, оставленный собственному о себе промышлению вне общества, какия имел бы невыгоды, какою представил бы жалостную картину: вскоре он бы зделался тварию беднейшею безсловесных. Вообразим ужасы смертей повсюду его сопровождающих, вообразим безпрестанные страхи, терзающие его сердце. Опытном дознано, что силы одного человека не довольны доставить покойное состояние, следовательно, он должен быть неминуемою жертвою голода, опасностей и воздушных перемен и верною добычею лютейших зверей. По-видимому самая природа возстает против него.

Но как необходимо общество для человека, тем более мир необходим для самага общества. Он составляет душу обществ человеческих и состоит в согласном и единомышленном, между собою, действии членов одного или многих обществ для общаго и взаимнаго благополучия, а потому, из всех животных существ, особенно необходим для человеческого общества. Все животных общества руководствуются инстинктом, т. е. врожденным побуждением, производящим единство действий; один только человек одарен свободным умом и волею, но до того различными между собою в одном человеке от другаго, что не возможно найти двух человек, не только душевными

своими свойствами но даже и наружностью телесною совершенно подобных и между собою согласных; от такового различия и противоречия способностей происходит различие и противоположность в самых действиях; а противоположность и противоречие действий, без мира, служит не к созиданию но разрушению обществ. Допустим для примера существование не имеющего мира и единства общества, очевидно, что гневный, увлеченный яростию человек лишил бы жизни кроткого, более яростный и сильный мог бы истребить яростного, но менее сильного, одному для истребления подобных себе служило бы превосходство сил, другому превосходство ума с помощью оружия дало бы преимущество над силою. Кроткий и слабый, подозревая в другом свирепство, должен бы был удаляться от каждого человека. Что же бы за сим следовало как не истребление такового общества. Почему один только мир своими действиями и средствами уничтожает сии пагубныя противоречия действий человеческих. Для сего действует он убеждениями, прещениями, ободрениями и наказаниями, поставлением начальников, в лице коих сосредоточивались бы действия всего общества, дарованием правил и законов, коими бы руководствовался каждый член общества. От сего возникли города и царства и влечением взаимной пользы составились крепкие между царствами и народами союзы, возродились искусства, науки, торговля и все гражданские добродетели, делающие могущественными и цветущими царства. От союза и согласия даже самая неодушевленная тела получают величайшую твердость. Из слабых и тонких вервий составленные канаты останавливают плавание огромных кораблей; крепко соединенные камни, составляя плотины, гавани и башни, удерживают стремление рек, противятся свирепству волн морских и целыя века противятся воздушным переменам: напротив от стремительнаго или усиленнаго противодействия крепкия тела разрушаются и от частаго и сильнаго трения стираются и даже уничтожаются; так корабль в стремительном плаваннии разбивается о корабль, камень разбивается от ударения и стирается от трения о камень; от трения сухаго дерева о другое такое же происходит огонь оба поядающий: подобно бывает и с царствами — от несогласий и войн истребляются, и от сего же начала раждаются пороки поядающие самая царства. Так стерлись с лица земли Вавилон, Ассирия и множество других царств. Обратим взоры на исполинское завоевание Македонскаго царя Александра, не самая ли войны и завоевания были причиною разрушения? Им были соединены во едино царства и народы; но гордость победителей и скрытая ненависть побежденных внутренне разделяли это общество, а страх наружно совокуплял сию разнородность. Прошел страх и рушился союз! За последнею войною при жизни покорителя следовало по смерти его начало многих войн, разрушивших царство до основания. Много погубло царств и народов! Но многие обратясь опять к миру и единодушию и теперь процветают. Таковую участь имело и наше отечество от несогласий подпадшее рабству татар, а чрез согласие и единодушие достигшее паки величия и славы. Из сего видно, что мир доставляет благоденствие царств и народов, а следовательно благоденствие каждому человеку; но сим не ограничивается вся его польза. Он даже доставляет людям благоволение Самаго Творца Вселенныя, для уразумения чего обратимся к преданиям небесной мудрости, к книгам священнаго писания.

Почти в начале писания сотворение Богом единаго человека и от его единаго происхождение всего человеческого рода ясно выражает мысль Творца, чтобы соблюдался мир между всеми земнородными, как имеющими одного отца по плоти, а потому обязанными соблюдать со всеми братство и единство. Потом Господь отказывает в сооружении себе храма Давиду, мужу браней и поразителю гордаго Голиафа, и предоставляет еще не участвовавшему в кровавых битвах сыну его мудрейшему Соломону. Господь прогневляется жертвами возлюбленнаго им Израиля, потому что руки исполнены крове. (Ис. I) Чем ознаменовано наше искупление, сие второе сотворение наше. Любовь низводит Искупителя, и мир также служит целию, даже престание браней сей человеческий мир сопровождал его рождение. Вся жизнь Искупителя была жизнь мира; все учение — учение мира. Он посылая учеников на проповедь заповедует: в онь же аще град или весь внидите входяще в дом целуйте его глаголюще мир дому сему (Мат. 4)3. Оставляя учеников грядый на вольную смерть утешает их миром: Мир, говорит он, оставляю вам, мир даю вам. (Иоа. 14) Миром обрадовал учеников по воскресении своем, ста посреде и рече Мир вам. (Иоа. 20) Мир возвещали всей вселенной по вознесении Господа ученики его; от чего миром начинаются и миром оканчиваются некоторыя послания их: так начинает 2-е Послание

Коринфяном Ап. Павел. Благодать вам и мир от Бога отца и оканчивает Бог любви и мира да будет с вами почему Апостол и заповедает Римляном любить мир говоря возлюбим мир и яже к созданию ближняго. (Рим., 14)

Итак Россиане! Видя из примеров, что согласие и мир с ближними составляет благоденствие обществ и царств и низводит благоволение Божие, почему каждый из нас должен стараться о сохранении согласия и единодушия с ближними и отдаляться от всех случаев могущих разрушить согласие; ибо тот не заслуживает даже носить имя человека и члена отечества, который находит свои выгоды в невыгодах собратий своей, таковой силится не к сохранению, но разрушению общества, а разрушая его встает против самого себя; такой человек есть гнилый член общества и своею гнилостию заражающий другие члены. Возлюбим, братие, мир и тем доставим радость отечеству благоденствием чад веселящемуся; Возлюбим мир и тем доставим радость Монарху, радость отца, о чадах единодушных веселящагося; Возлюбим мир и тем вступим в союз с самим Богом взывающим к нам устами Ап. Павла: Мир имейте и Бог будет с вами. Аминь. (2 Кор. 13)

Мирской священник Алексей Васильев

Примечания

«Слово на заключение мира России с Оттоманскою Портою» представляет собою широко распространенный в России жанр церковной проповеди — духовного поучения, произносимого священнослужителем во время или после совершения литургии.

Данная проповедь была составлена к 64-й годовщине заключения Кючук-Кайнарджийского мира, которым окончилась русско-турецкая война 1768—1774 гг.

Кючук-Кайнарджийский мир получил свое название от находившейся на территории Османской империи болгарской деревни Кучук (Кючук)-Кайнарджа, в которой 10(21) июля 1774 года был подписан «вечный мир» между Россией и Портой. Этот мир обеспечивал безопасность южных границ России отделением от Порты Крымского ханства, давал русским торговым судам право беспрепятственного плавания по Черному морю и через проливы, предоставлял России часть Черноморского побережья с крепостями Керчь, Кинбурн и Еникале, установлением российского протектората над Молдавией и Валахией усиливал русское влияние на Балканах.

Кючук-Кайнарджийский мир отмечался в России со всей помпезностью Екатерининских времен. В 1775 г. в Москве на Ходынском поле архитекторами В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым были выстроены временные праздничные павильоны в псевдоготическом стиле, принесшие Баженову славу, а русской архитектуре — моду на псевдоготику. В Петербурге архитектор Ю. М. Фельтен возвел ансамбль Чесменского дворца (1774—1780), названного в память Чесменского боя 25—26.6.1770 года, в Царском Селе в 1771—1778 годах по проекту архитектора А. Ринальди была воздвигнута Чесменская колонна. Из текста проповеди мы узнаем, что ежегодное воспоминание даты заключения мира было завещано потомству, и завет этот, как видно, чтился, хотя Россия за период с 1774 по 1838 г. еще трижды воевала с Турцией.

Вместе с тем для автора проповеди, священника Алексея Васильева, годовщина Кючук-Кайнарджийского мира — всего лишь повод к обобщенному размышлению над существом мира и войны, над христианскими нормами бытия, над непреложными духовными истинами.

В умении извлечь из давно прошедшего события глубокий нравственный урок — не преходящие ценность и значение проповеди. Подлинники проповеди — черновая и беловая сброшюрованные рукописи на плотной нелинованной бумаге — хранятся в фонде Церковно-богословской литературы (124) ОПИ ГИМ, арх. №№ 28656 (503; 49368) 637.

Расхождения между черновым и беловым вариантами рукописи незначительны, имеют характер редакторской правки. Опущенное на предпоследней странице проповеди окончание слова

«ознаменовано» — следствие небрежности переписки — восстановлено по черновику.

В конце белой рукописи стоит помета с указанием даты просмотра, 10 июля 1838 года, и именем цензора. Помета цензора дает основание предполагать, что проповедь могла быть опубликована, однако этой публикации нам обнаружить не удалось.

Ссылки на соответствующие места Ветхого и Нового Заветов, указанные в скобках, в подлиннике помещены на полях рукописи. При публикации рукописи сохранена орфография подлинника.

1 Война была начата Турцией. Поводом к ее началу послужил отказ России вывести свои войска из Польши.

2 Освобождение Греции от Османского ига едва ли могло быть даже отдаленной целью русско-турецкой войны 1768—1774 гг. В связи с этим упоминание о «единоверных греках» — не что иное, как невольный анахронизм. Объяснить его легко: в 1838 году еще не стала историей живая память о Греческой национально-освободительной революции 1821—1829 гг., вызвавшей глубокие симпатии и сочувствие русского общественного мнения. Греция, вместе с Валахией, Молдавией и Сербией, получила автономию по Адрианопольскому мирному договору 14.9.1829 г., окончившему русско-турецкую войну 1828—1829 гг.

3 Ссылка на Евангелие от Матфея не точна. Цитируется гл. 10, ст. 12.

Публикация Н. Л. ЗУБОВОЙ

Анна де Пальмье. Сокращенная выписка из тайной записки моей жизни с 1794 по 1808 г.

Мемуары секретной агентки российских императоров / Публ. [вступ. ст. и примеч.] М. Данилова // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 13—24. — Из содерж.: Пальмье А. де Сокращенная выписка из тайной записки моей жизни с 1794 по 1808 год. — С. 14—23. — [Т.] I.

Мемуары секретной агентки российских императоров

Тайная политическая история России до сих пор изучена крайне слабо. Многие важнейшие документы, относящиеся к тем или иным закулисным событиям, надежно упрятаны в архивах. Это касается и воспоминаний Анны де Пальмье, секретной осведомительницы императрицы Екатерины II и императора Александра I. Дамы, которой выпало стать наблюдателем и участником драматических событий конца XVIII — начала XIX столетия.

В ее жизнеописании много неясного и загадочного. Даже происхождение мемуаристки умело зашифровано, и убедительный ключ к шифру полуторавековой давности пока не найден. Кто был ее отцом — доподлинно не известно. Судя по мемуарам, тот происходил из знатной французской фамилии и занимал видные посты на русской службе. Однако такого сановника нет в придворных календарях и некоторых других справочниках. Интересную гипотезу на сей счет предложил дореволюционный историк Е. Шумигорский, в руки коего давным-давно попала рукопись Анны де Пальмье. На первой странице мемуаров тот сделал запись: «По всей вероятности, автор этой записки — побочная дочь Ивана Перфильевича Елагина († 1796), статс-секретаря Императрицы Екатерины II, писателя и масона. Е. Шумигорский». Ему, правда, возражал другой ученый, Б. Модзалевский, позднее также ознакомившийся с рукописными мемуарами. Чуть ниже записи Шумигорского он указал: «Но почему же на л. 5 сказано, что отец автора † 31 марта 1794 г.? Б. Модзалевский». Надо отметить, что по некоторым авторитетным

сведениям Елагин скончался именно в 1794 году (но не в марте, а в сентябре).

Иные факты косвенно и впрямь указывают на отцовство Елагина. Так, современники утверждали, что он был честен и искренно предан императрице Екатерине II, «чуждался придворных интриг». По службе — гофмейстерской или «при собственных Ея Императорского Величества делах и у принятия челобитен» — постоянно общался и сблизился с графом А. А. Безбородко, коему было суждено сыграть столь значительную роль в судьбе юной Анны де Пальмье. Кроме того, известно, что «Елагин, будучи человеком умным и благонамеренным, при всем том считался большим поклонником прекрасного пола». Наличие супруги и официального потомства не мешало ему иметь постоянные вызывающие связи, широко обсуждавшиеся в петербургском высшем свете. Ведала о похождениях сановника и императрица. Не исключено, что и Анна появилась на свет в итоге одного из амурных приключений Елагина. Следуя обычаям того времени и круга, она могла быть отдана на воспитание в семью некоего француза-эмигранта. Разумеется, это лишь осторожная гипотеза, нуждающаяся в дальнейшей проверке.

Но как бы то ни было, наша героиня — все-таки не удачливое создание талантливое мистификатора, коих было всегда немало на Руси, а реальное действующее лицо отечественной истории. В одном из архивов обнаружены ее секретные донесения. Стараниями калужских краеведов установлено, что тайная агентка после многих мытарств проживала в данной губернии и даже открыла там собственный пансион. К сожалению, ее дальнейшие следы теряются...

Мемуары Анны де Пальмье — интересный памятник культуры. Они явно ориентированы на литературные образцы той эпохи, и многие сведения, сообщенные мемуаристкой, скорее всего, гиперболизированы. Иные события представляются маловероятными, хотя опровергнуть их затруднительно. Но многое весьма ценно в этом документе. И в первую очередь ценна возникающая из небытия Анна де Пальмье — одаренная женщина с государственным умом.

И последнее предупреждение. Придет время, и будут опубликованы секретные донесения тайной агентки. Будет опубликован и французский вариант ее записок — гораздо более обширный, содержащий множество новых подробностей о ее судьбе.

Анна де Пальмье

Сокращенная выписка из тайной записке моей жизни с 1794 по 1808 год

Читатель увидит и разберет, а разобрав и взвесья мои дела, пускай наимянет меня какую изволит.

Предисловие

С ошибками современников моих не уживается и совершеннейший человек — то могу ли я оскорбляться, что предрассудки, оскорбления и клеветы устремились на меня? — Но как терзания совести меня не преследует, то бросаю оные подобно тяжелому сну и забываю их.

Зерцало Истины и Правосудия, переходя из рук в руки, наконец... вовсе разбилось; и только тот может отыскать ее обломки и, соединя их, привести в совершенную целость, кто не страшится злодеев, гордящихся своими преступлениями и своим могуществом — тот и имеет твердость духа и благородное презрение к бедствиям; а кто боролся с самыми трудными обстоятельствами, тот уже слабыя свободно одолеет.

Dulce et decorum est pro virtutas mori!

Введение

Вопрос. Для чего один глупой, а другой с подлою душою человек, и оба, рожденные для забвения, светозарны, тогда когда умной и добродетельной человек проводит дни жизни своей в тьме?

Ответ.

Для слов, как для людей, есть жребий роковой; Случай играет их судьбой. Он — их судия, они — его создание. Захочет — и в чести; велит — они в изгнание. Неистовый тиран; но свят его закон.

Сие значит, что добродетель, дарования и заслуги, которые, кажется, должны бы быть единственными ходатаями — но между тем должны уступить место проискам кичливых, которые только тем и занимаются, чтоб подлазить и уловить, которых дело только в том состоит, кто лучше умеет в милость и доверенность ГОСУДАРЯ вкрасться и задружить рабов Его рабов и, ползая мало-помалу, на высоту взобраться! Кто проворнее и гибче, тот скорее пролезет, но знающей цену своей добродетели, удаляется и в забвении остается. Так Двор, наполненной происками, есть такое смешение страстей, в котором и самая премудрость не может разобрать истины. Там в царствовании Государя Императора Александра Первого всенародная польза почиталась за ничто; уважение особы решило и похвалы и поношения; и сей злосчастной Царь, лжамы окруженной, обремененный сомнительностями и недоверчивостию, по большей части из нерешимости своей не выходил иначе, как токмо ввергаясь в заблуждение.

Сближение

Неугасимая лампада чистой философии, основанной на практической добродетели, заставила меня любовию ко всему чистому и прекрасному, страданием освященным, так сказать, союзом его смирением и терпением, созревшим в страдании, не терять никогда и ни в каких обстоятельствах должного к себе уважения. Соединя руку с природою и подружившись с нею для преодоления всего того, что кажется неприступным, то и заставила она меня следовать по стезям ее. А тогда гибельной пример и мечтательная приманка славы и величия — ах! истинно пустаго величия — никогда не могло обольстить меня, и я тщательно старалась уклоняться очаровательных уловок тщеславия и гордости... И так я спаслась от пропасти... На все прочие обстоятельства, со дня рождения моего, опустил мрачное покрывало, скажу только то, что ежели я жестоко стражду — то за чужии проступки, за чужии слабости и пороки... Но правота и добродетель как были, так и будут всегда спутниками моими.

1794 года, марта 31-го дня, оставил меня родитель мой сиротою на 22 году от рождения моего.

Изобразить всей той горести, которая причинила мне смерть отца моего, я не в состоянии. А что случилось со мною по прочтении той рукописи, которую по завещанию родителя моего я сей час предала пламени, было еще ужаснее! Все творение представилось мне в беспорядке!.. Сердце просило, требовало к себе лишившагося родителя. Оно помнило нежные чувствам и благоразумием наполненные наставления его — помнило и велело глазам моим искать его, велело рукам моим к нему простираться... Но тщетно. Един Свидетель и Судья всего того неизъяснимаго впечатления, котораго я тогда чувствовала — был Бог!..

Блаженной памяти Государыня Императрица Екатерина Вторая, до которой дошел слух, что я, после смерти родителя своего, впала в великую меланхолию, прислала ко мне с утешительным увещанием и советами того самага человека, которой, по рассказам отца моего, был мне довольно известен, а имянно: обер-гофмаршала своего, князя Барятинского². Сей гнусной царедворец, сие пресмыкающее творение, изшедшее из самага Тартара, которой адские знаки возвышения своего носил на правой своей руке³, — старался с отвратительной для меня царедворскою любезностию, которая тогда в глазах моих казалась более насмешкою, утешить меня и склонить на Царскую милость, предложенною мне Великой Екатериною! Но получил от меня наконец следующей ответ: «Князь, выслушав вас до конца и не удивляясь вашей эпикурейской философии, то позвольте мне теперь вам откровенно сказать, что вы и все вам подобные, имев души помраченные, не можете понять грусти моей, следственно, не в состоянии и меня уразуметь: итак, оставьте печальную на произвол собственного ея счастья и уверьте Ея И. В., что чувствуя в полной мере все Ея ко мне милости, за которыя и приношу Ей сердце, преисполненное наичувствительнейшей благодарностию; но чувствуя себя совершенно не способною жить при Дворе, то и не могу на оное решиться». На сие вышесказанная особа, сделав

замечание по-своему, получила от меня опять следующей ответ: «Поверьте, Милостивой Государь, что я все Милости Монархине очень живо чувствую и их ценить умею, — но скажу вам теперь решительно, что только тогда, когда сердце мое превратится в камень, когда огонь чувства чистейшей добродетели угаснет в груди моей, подобно как заря вечерняя угасает на полунощном небе, когда, забыв святую истину, паду я ниц пред златыми кумирами человеческих заблуждений, тогда... Да, тогда только, князь, буду я жить между царедворцами — жить в их удовольствие и быть другом их. Но теперь мы чужды друг другу, и горесть моя не может их тронуть!»

В завещании родителя моего было мне имянно приказано удаляться елико возможно от Царского Престола, котораго изображал он мне окруженным густейшим туманом зависти и мрачнейшими облаками злобы. Таковое описание устрасило неопытность мою ужаснейшим образом. Однако ж, мало-помалу и в течении года по смерти родителя моего возродилось во мне живейшее желание увериться в сказанном мне отцом моим собственным своим опытом; приблизится к царедворцам и в тайне разглядеть сих Хамелеонов.

Светлейший князь Безбородко⁴, бывше тогда еще графом, и неизменный друг родителя моего, коему все тайны известны были и света, умирающему другу своему дал обещание служить сироте его вместо отца и покровителя, в чем и слово свое сдержал. Сей почтеннейшей муж посещал меня часто, и однажды при свидании с ним сказала я ему следующее: «Почтенной мой покровитель, в моих с вами беседах я очень много нужного и полезного для себя почерпнула, а теперь прошу вас наставить меня в том средстве, чрез которое могу успеть в желаемом мною, а имянно: быть занятой должностию, не быв однако ж в зависимости ни у кого? Желать того, что однажды требовала Дашкова⁵ от Монархине своей — было бы с моей стороны крайне безрассудно, но между тем ужасные возродились у меня чувства к пользе Монаршей, и в здравом разсудке, но с высшей, кажется, благодати, чтоб можно было мне в оном успеть. Объяснить вам всю обширность познаний и опытности родителя моего в политике и глубокомыслие его не нужно, оно вам довольно известно, и естли я по младости и неопытности моей не имею ни его обширныя сведения, ни его глубоко мысля и тонкости ума, то имею, по крайней мере, довольно достаточнаго сведения о некоторой политической части, состоящей в собирании и составлении общенародных мнений. В чем же я найду какое ни на есть недоумение, то верно второй мой отец позволит мне прибегнуть к его советам».

«Любезная моя философка (сим именем называл меня почти всегда князь Безбородко), — сказал мне сей с почтенною и милостивою улыбкою, — я постараюсь при удобном случае поговорить о сем с Императрицею, но я должен вас предупредить, что она на вас в великом неудовольствии, и вам самим причина сего известна. Но я всевозможно постараюсь загладить вашу вину перед Нею... Возьмите несколько терпения, а наипаче будьте молчаливы и не сообщайте никому вашего желания».

Через несколько времени, по возвращению Императрице из Царского Села, в сентябре месяце 1794 года, известил меня Безбородко, что поздравляет меня с желаемым успехом, но что Ея И. В. повелела мне заниматься вышесказанной должностию в совершенной сокровенности и доставлять плод трудов моих к нему, Безбородкину, причем и изволила заметить следующее: что «я странная и удивительная молодая особа! Но что ето ничто иное есть, как последствия воспитания и упорства родителя моего не вручить меня, шестилетнюю, Ея воспитанию, а она препоручила бы меня г-же Жибаль» (сия Жибаль была выписана из Парижа самую Императрицею для шести фрейлейн при дворе, которых Она особенно отличала). «Он потерял дочь свою, — продолжала Монархиня, — своим глупым воспитанием. Что он теперь из ней зделал, сообщая сей свои странные правила, свое упрямство и свою гордость? Ах, как мне ее жаль! Но, граф, нельзя ли ее склонить войти в супружескую связь? Она вас очень много любит и почитает, вы имеете всю ее доверенность, то постарайтесь на сие склонить сию несчастную. Я имею для нее очень хорошаго и выгоднаго жениха; вы его знаете, граф, ето Грабовский (побочный сын Короля Польскаго)».

«Как! — вскричала я, пылающая негодованием. — Мне замуж итти? Мне иметь мужа, иметь для себя сию лишнюю и пустую мебель? Знаю и чувствую, что, конечно, Императрица имеет причину жалеть обо мне, но отнюдь не о моем воспитании, ни о том, что я есть теперь, ибо я теперь, благодаря Бога, девица честная, какой и завсегда надеюсь остаться. А скажите, второй мой отец, что бы я была при дворе?» — Сей отвечал: «Столь же любезны, но не так добродетельны. Вы бы были лишены сей драгоценной душевной девственности, которая чужда придворным». — «Так скажите мне, о чем же жалеет Императрица? Разве только о том, что я собою не умножила число развращенных, которыхы Ея окружают? В самом деле, я всенижайше благодарю Ея о сем участии и твердо уверяю, что мне никогда не быть замужем». — «Для чего же так, милая моя философка, разве вы совершенно возненавидели наш пол?» — возразил почтенной мой покровитель. — «Ах, нет, граф, и я надеюсь, что вы уверены в моем к вам высокопочитании и великой душевной любви... Словом, я так много ценю все ваши редкия достоинства и вашу отличную добродетель, так что если бы это только возможно было сделать, то я, приказав с вас снять портрет, приказала бы всем ему молиться как образу... А замуж бы за вас никогда не согласилась бы итти, не для того, что вы теперь для меня слишком стары, но для того, что зависимость для меня, какого бы она, впрочем, рода ни была, слишком ужасна по правилам и характеру моему — и вот единая причина моего отвращения к супружеству».

«Следственно, — сказал граф, — Императрица права и со всею справедливостию осуждает данное вам родителем вашим не по полу вашему воспитание. Но теперь нечего о сем рассуждать; что сделано, того не возратить; а извольте лучше начать вашу новую должность и получать за оную жалованье вместо замужества». — «Помилуйте, граф, я никогда и не мыслила служить из жалованья, а только из одной чести: вам небезызвестно, что родитель мой оставил мне 500 000 рублей, что и довольно достаточно будет по гроб мой». — «Ну, философка моя, как вы сие назовете — не гордость ли это? И вам известно, что у меня такой суммы в двадцать крат более, но я между тем ни отказываюсь от жалованья, да и не смею этого сделать — нам прилично получать и жалованье, и милости от Царей, а им неприлично пользоваться нашими милостями, и вы этим обижаете вашу благодетельницу, что очень нехорошо; итак, я советую вам принять от великой Ея щедроты назначенныя вам ежегодно по 12 000 рублей жалованья и сей подарок, которой Она изволила мне вручить для доставления вам при следующих словах: «Я сердечно желаю, чтоб труды новаго моего слуги (или служителя) столь же полезны и питательны были, как изображенные зерна в сем колосе, однако ж менее блистательны; впрочем, я уверяю ее в всегдашнем моем Царском благоволении и что я ее даже и нехотя люблю». Я была столь смущена и столь разстрогана толикими Монаршими милостями, что тогда истинно стыдясь своему заблуждению, я совершенно осталась безмолвной, и в сем положении оставил меня Граф. Сей великий муж, сей всеобъемлющей гений, который имел редкой дар читать в человеческом сердце и им все управлять совершенно, очень легко усмотрел, что происходило тогда в моем — посему за нужное почел оставить меня в покое, дабы могла я предаться сердечному чувству своему и размышлениям моим.

По отбытию Графа удалилась я немедленно в свой кабинет, где бросясь в кресла и орошенная потоками слез, обвиняя то себя, то опять оправдывая, — так, что попеременно колеблема была разными чувствованиями, и осталась в сем положении на весь день одна в философическом уединении своем, где я и начала размышлять о новой своей должности и надежнейших средств приступить к ней.

Вступила я в оную 1794 года октября 23-го дня, и тогда было мне от роду 22 года и семь месяцев. В течении онаго года успела я доставить Ея И. В. плоды трудов моих, которыхы были очень милостиво приняты и одобрены; за которые получила я опять бриллиантовые серьги, изображающия грушу. Граф спросил меня, как мне сей подарок нравился. — «Он безподобен, — отвечала я, — но между тем все, что бы я не получила от Монаршей щедроты, не может иначе как быть для меня драгоценною вещию! — однако ж первой для меня ценнее, потому что вынудил меня, войдя в себе, размышлять о том впечатлении, которое он произвел в меня, и сознаться, что я виновница ... б столь Милостивейшей и Великодушной Царицы, и вот почему

первой подарок любезнее». — «Браво, браво, дочь моя! Позвольте старику обнять вас за сей прекрасный ответ, достойный изящных чувств великой вашей души».

Описать здесь все те отличные милости, коими я пользовалась от сей Премудрой Монархине, столь многочисленны, равномерно и все попечения и благоразумные наставления покойного Князя Безбородкина, — что здесь упоминуть об них совершенно не у места, и скажу еще только, что смерть сих двух для меня божественных благодетелей похитила с собою и все мое благо получение.

По вступлении на Всероссийской Престол Императора Павла Первого⁷, то и сей Монарх не оставил меня без изъявления своей ко мне благосклонности, и в знак оной предложил мне место фрейлине при Дворе. Здесь не должна я умолчать, но сказать в честь сего Государя, что ответ, который Он получил от меня касательно сей предлагаемой мне почести, всякаго инаго вынудил бы наказать ...⁸, но напротив того, от сего Великодушного Монарха заслужил мне похвалу, которой на мой ответ сказал следующее: «Я в сем ответе узнаю достойного и почтенного отца ее». Ответ же мой был следующей: «Что я всенижайше благодарю Его И. В. за оказанную мне честь и милость... Чувствую в полной мере и то, что я недостойна ее, да и для сей должности совершенно не урождена и не воспитана, почему и не могу ее занять. Что Государь, которой коротко знавал покойного родителя моего, верно согласится, что сей не воспитывал дочь свою для того, чтоб служить украшением Двора, или, лучше сказать: его декорациями; но что я чувствую себя в состоянии быть полезнее в обществе». После сего предложил мне сей Государь в вечное мое владение 800 душ крестьян — и от тех я отказалась, сказав, что я обращаться с крепостными людьми не умею, сельской экономии не понимаю, и что вообще невольников не желаю я у себя иметь. После сего втораго ответа, не сказав мне более ничего, прислал мне сей Монарх 25 000 руб. и просил меня их принять, яко от должника родителя моего, у котораго занимал Великим Князем немалозначительныя суммы, и не платя никогда процентов, то теперь, зделавшись Государем, он чувствует себя обязанным отдать процентные деньги дочери сего почтенного мужа. Какая деликатность в сей Монаршей Милости! Ето точная правда, что покойный родитель мой неоднократно ссудил деньгами сего Государя, когда он был еще Великим Князем и когда всем запрещено было не делать Ему доверия даже в пятидесяти рублей.

Кратковременное Царствование сего Монарха, сего Отца Народа своего, одушевленный искреннейшею любовию к верноподданным своим, какое чувство пронизало все бытие Его! И которое рождало благие намерения... К несчастью, Он их выполнить не мог, и те, которые ищут уязвить деяния сего Монарха и вместе помрачить отравою клеветы благие Его намерения, уподобляются сатане, старающейся чем-нибудь запятнать непорочность Ангела. Он, конечно, яко человек, имел свои слабости и погрешности — но и солнце не без пятен.

В Царствовании сего Государя я истинно уподоблялась невидимке, то есть: что я все свои деяния и поступки так располагала, что все мне можно было знать, замечать, даже и предвидеть, не быв сама ни в чем замечена или подозреваема; но оставлена совершенно без должнаго внимания, тем наипаче, что должность моя при Императрице оставалась неизвестною и что только об ней один Безбородко знал, от коего я и в начале Царствования Павла Первого много получила сведения касательно политических оборотов и ненадежных средств, предпринятых сим Государем для благополучнаго Его Царствования.

1806 года, Блаженной памяти Государь Император Александр Павлович, однажды увидя меня проезжающей верхом мимо Каменнаго острова и того дворца, в котором Он имел свое пребывание, спросил бывшего тогда при нем Графа Толстаго⁹, обер-гофмаршала своего, что не знает ли он, кто эта дама и где она живет. — «Не знаю, — отвечал сей, — но вижу ее часто в саду Графа Строганова». — «Так пожалуй, Граф, — сказал Государь, — узнай об ней и где она живет». На другой же день поутру увидела я Толстаго, проезжающаго верхом мимо того дома, в котором я жила на даче Графа Головина, и купленная Государем Александром, которая находится по ту сторону Черной речки, за Строгановским садом. Толстой поклонился мне с великим уважением, чему я немало удивилась, ибо встречаясь до сего со мною, глядел он мне

великим уважением, чему я немало удивилась, но встречаясь до сего со мною, глядел он мне только в глаза. На другой день проезжал он опять мимо моей квартиры, но уже вместе с Государем, который мне наиблагосклоннейше поклонился. Сие заставило меня обратить на сию странность внимание свое — «Что бы это значило? — думала я. — Знаю, что наш пол заслуживает особенное Монаршеское благоволение, но мне уже 34 года (думала я), и, следственно, здесь что-нибудь да другое кроется». Итак, решила я выждать конца сей странности. Неделя проходит, и ежедневно в 11-ть часов перед обедом Государь, тогда уже один, проезжал мимо, и все то же и одно приветствие с Его стороны, так что все соседи начали удивляться частой езде Государя по той даче, где пред сим его не видали и что он только с лорнеткой своей устремлял взоры свои на мои окошки¹⁰. Начали уже и поговаривать и видя меня, хотя и прежде довольно знали и видали; но уже тогда все глядели на меня с некоторым видом удивления, и стремились к окнам своим, когда я мимо шла или ехала — точно так, как глупая Калужская публика удивлялась моему костюму. Однако ж удивление соседей моих было для меня крайне оскорбительным, ибо я отнюдь не искала того, чего многия из моего пола с толиким стремлением искали, и тогда решила спустить сторы и не поднимать их до проезда Государя, что я соблюла целую неделю, и Император перестал ездить мимо моих окон, а когда случалось Ему ехать мимо, то не глядел на них, а обратил уже внимание свое на немку, купчиху Бахарахтову, которая жила, не доезжая моей квартиры, — и лучше успел.

Однажды, в июле месяце, сидя на лавке в саду Строганова и занимаясь чтением Монтескье, книга, содержащая разсуждение о правах и законах, словом, книга Государственная, то Граф Толстой, котораго я не подозревала быть столь близко меня, стоял уже несколько минут за мною. Но увидев его, встала с своего места и удалилась от него, показав ему вид недовольный. В течении того же месяца случилась мне необходимая надобность по делу моему прибегнуть к правосудию Монарха, почему и писала я к Нему и между прочим открыла я Ему, сколь много была я благодетельствована Августейшею Бабкою Его и чем я при ней в тайне занималась. И так объяснившись Ему во всем том, в чем только можно было, не упустила я также тронуть некоторыя предварительныя струны, касающиеся до благоразумнаго правления, и тех осторожностей, котораго оно требует. Звук сих струн понравился тогда сему Монарху, что я по тому заключаю, что уже на третий день по поданному моему прошению пожаловал ко мне от имени Государя Граф Толстой с следующим ответом, а имянно: что Государь соизволил рассмотреть мое прошение, по которому я непременно удовлетворена буду. Но между тем усмотря и из онаго великую мою способность быть Ему столь же полезной, как я была в бозе почивающей Любезнейшей Бабке Его, то предлагает мне ту же самую должность и на том же самом положении, что, впрочем, будет уметь достойно изъяслять мне свою Монаршую признательность.

Я дала на сие следующий ответ: «Служить Внуку столь Великой Монархине, какова была Императрица Екатерина Вторая, и Монарху, который сам по себе может служить образцом прочим Европейским Государям, считаю я для себя не только величайшею честью, но и священнейшею обязанностью! Но между тем, Граф, к великому моему сожалению, должна я от сего счастья отказаться. Десять лет сряду ничем не занимаясь, как одними своими частными делами, и отставши совершенно от политических занятий, то смею ли я теперь приняться за них, когда мне должно будет долго ходить во мраке лабиринта их? Ибо не найду более того покровителя, того путеводителя, котораго имела я в покойном сиятельном Князе Безбородко, и коими советами была я руководима. Тогда же была я еще молода, не знала никакой опасности и не встречала никаких порогов, о коих могла бы я разбиться, ибо и твердо надеялась и на Великую Милость и снисходительность Имп. Екатер. Второй. Но теперь, Граф, мне 34 года от рождения моего...» — «Невозможно», — вскричал Толстой, как с сумашедши, вскочив даже с своего места; пристально глядел на меня и потом сказал: «Разве 22-а, много 23 лет, вы изволите меня урачить; кто поверит, чтоб 34-хлетняя девица могла быть столь свежа, нежна и так хороша?» — «Благодарю вас, Граф, за сие придворное иступление, но позвольте вас спросить, учились ли вы Арифметике? Хотя до вычитания — 10 из 25 остаются, кажется, 15-ть. Так кто тому поверит, чтоб Премудрая Екатерина могла когда-нибудь возложить такую должность, какую я несла, на 15-тилетнюю девицу? Но позвольте мне кончить нужнейшее и вам дать заприметить, что

женщина 34-х лет имеет уже довольно степенности в характере, чтоб о всем судить в настоящем виде и, следственно, предвидеть все могущие для нее встретиться разныя неудобства и опасности. К тому ж я должна и в том признаться, что прожив десять лет на свете только простой зрительницею и занимаясь разными отвлеченными науками, то от неумеренного напряжения умственных способностей, то иступились оне у меня, так что от сего ум мой ныне находится как бы в некотором онемении, почему и ни к чему более себя способной не чувствуя, как продолжать дни жизни моей в покое». — «Вы говорите как Ангел! — отвечал сей Царедворец, — и я бы до завтраго все бы сидел и вам слушал, но между тем я не беру на себя все то пересказать Государю, что от вас слышал. Признаюсь, что не буду уметь всего етого пересказать, почему и покорнейше вас прошу написать ваш ответ Государю, за которым пришло, когда прикажете». — «Через два часа будет он готов», — сказала я Толстому и раскланялась с ним.

В означенное время явился придворной лакей, которому вручен был мой ответ на имя Графа. Государь, по прочтению моего письма к оному Толстому, прислал сего опять ко мне с тем, что Его И. В. не иначе принял мои извинения, как крайними обидами, теми одними отговорками, кои показывают явственно мое нежелание быть Ему полезною, для того только, как Он мог понять из моих слов, что я опасаюсь вручить ему судьбу мою, но что Он, однако ж, просит меня не обижать Его такой недоверчивостию, а лучше прежде испытать Его справедливость. Что Он тогда надеется, что я останусь ею довольною и удостоверюсь, что я в своем мнении об Нем крайне ошиблась. — «Да будет Воля Его святая, — отвечала я Графу. — Я ей безмолвно повинуюсь». — «Итак, вы согласны?» — «Видя на то желание Монарха моего, не могу иначе принять онаго, как за повеление, против котораго сметь упорствовать было бы очень неблагоприятно с моей стороны. Но позвольте вас спросить, кому будет поручено получать от меня для Государя надлежащие бумаги?» — «Мне, мне, Божество мое!» — Тут осталась я безмолвною и глядя с удивлением на сего дурака, думала про себя: признаться, что сей выбор не обещает мне ничего добраго. «Чему вы удивляетесь и безмолвствуете?» — сказал сей Дон-Кишот. — «Что в ваших летах, Граф, и быв семейным человеком, вы употребляете столь неприличные выражения». — «Да разве вы ими обиделись?» — «Признаюсь, что мало читала романов, почему для меня романической тон крайне не нравится». Тогда сей старый волокита, нахмутив бровь, встал и простился со мною очень сухо.

Не видя у себя целой месяц сего Графа, думала я, что все кончилось, и сему внутренно радовалась, ибо крайне не хотелось мне заниматься Государственными делами. Дело мое у Государя молчало, и я думала, что верно уже я и забыта, так как мне теперь о себе напомнить Государю? В сентябре месяце оставила я дачу, а в ноябре решила я писать к графу, чтоб по крайней мере от него узнать, чему мне надеяться по делу своему. Граф дал в ответ, что он болен и не может ни быть у меня, ни письменно мне отвечать, а ежели мне угодно пожаловать назавтрее к нему в 12-ть часов перед обедом, то может меня принять. Долго колебалась я, ехать ли мне к сей Сатире или нет, и сколько мне сие и неприятно было, но необходимость есть жестокий и всемогущий властелин! Итак, решила я к нему ехать. При входе моем к нему и только что едва успела я сесть, то первой его вопрос был: «Что вы по сие время делали, что еще не доставили ко мне ни одной бумаги, занимались только своим делом — или думаете шутить с Государем?» Признаюсь, что хотя мне тогда уже и 34 года было, но не обыкше к таковому приветствию, кровь у меня взволновалась и, приняв на себя важной вид, с гордостью ему отвечала: «А вы, милостивой Государь, вы где были и что делали, играли шута или волокитствовали? Разве вам Государем не приказано являться ко мне еженедельно и из собственных моих рук получать все бумаги? Желею очень, что зделала честь моим посещением такому человеку, который умеет только обращаться с придворного прислугою. Прощайте, Господин Кастрюлькин, я вас более знать не хочу». Оставя сего пустаго человека в изумлении, возвратилась я домой и написала письмо к Государю следующего содержания: «Всеподданнейше приношу Вашему И. В. мою нижайшую благодарность за оказанную мне честь и доверие, поручая мне столь значительную должность, от которой я решительно отказываюсь, естли Вашему И. В. не заблагоразсудится поручить другой особе, кроме Вашего обер-гофмаршала,

получать из рук моих известныя Вашему И. В. бумаги, которой, как я сегодня удостоверилась в прежнем моем об нем мнении, что его понятие не может далее простираться его обер-гофмаршалской должности Двора Вашего И. В.» И тут рассказала я все, что между нами произошло с первого его свидания со мною по сей день. Государь с великим негодованием показал мое письмо Толстому и сказал ему: «Что вы делаете, Граф? Разве вы не понимаете, кого вы перед собою имеете — да кто так обращается с благовоспитанною дамою?» Спустя после сего несколько времени явился ко мне Александр Николаевич Голицын¹¹, служащей тогда по духовной части, Прокурором в Священном Синоде. Сей Князь сказал мне, что Его И. В. вследствие содержания письма моего соблаговолил²² назначить его вместо Графа Толстаго и повелел спросить меня, когда и сколько раз в неделю явиться ему, Князю Голицыну, ко мне. «Два раза, — отвечала я ему, — в среду и субботу прошу вас навещать меня». Государь повелел сему Князю 1807 года, когда поехал за границу, все им от меня полученные конверты отправлять к Его И. В. с особенным Эстафетом. Следственно, кто из сего не заключит, что Государь находил труды мои полезными; и сам Князь в разговоре со мною сказал мне, что Государь крайне желеет, что я не родилась мужчиною; а читая однажды одну из моих бумаг Князю, то сей с восхищением сказал, что ничего не может лучше доказать непрременную пользу Государства. Когда в 1807 же года, еще до отъезда Государя, в марте месяце, кончила жизнь родительница моя, то Государь, узнав о сем, прислал ко мне нарочно Князя Голицына с изъявлением Царскаго Его соболезнования о сем печальном ...¹². Я уподобляю себя тем несчастным смертным, которые, родившись в час таинственный на колеблющихся весах судьбы, где принимали они счастье и несчастье, которым не благоприятствовали созвездия, коих неприязненное отражение лучей лишили их счастья. Счастье, как известно, своенравно на любимцев своих щедро изливает радости, а у отверженных ею отнимает каждую веселую минуту. Счастье очень редко наделяет добродетельных и достойных людей дарами своими, а непостоянство и слепота его заставляет Философа не дорожить бросками его, разсеянные наудачу, которых люди подлые, ползая и опрокидывая друг друга, ловят с жадностию. Человек, который никогда и ни в каких обстоятельствах не был невольником других, ибо для счастья надобно быть своебытным, надобно производить, а не быть производимым, — то таковой никогда не захочет быть обязан своему счастью той недостойной роле, которая ему не свойственна и противоположна благородному образу мыслей его, как и вообще всему его характеру. Словом, он не захочет заслужить себе одобрения от тех людей, которые поистине по всем отношениям более уподобляются Орангутанам, нежели существам, одаренным разумной душею. Отчего и в кругу их Смесь людей разноцветна, Потерявши толк и ум, В одних злоба лишь приметна, Иной слишком простодум. И пороча честь и имя Страждущей невинности, На себя берут лишь бремя Гнуснейшей коварности. Но кто презирает их ухищрением, Тот идет приличным ему путем И, не страшась их мщениа, Остается тверд во всем¹³. Я женщина в полном смысле этого слова. Предоставляю судить другим, хорошо или плохо поступила природа, разбив форму, по коей я была вылита; что же касается меня, то я понимаю свое сердце, знаю свет, и если я не лучше обитающих в нем, то во всяком случае не похожа на них. Пусть труба Страшного суда прозвучит когда угодно — я предстану перед Верховным Судией со своею рукописью в руках. Я скажу с гордостью: вот что²³ я делала, думала, вот чем я была. С равною прямою я говорила о хорошем и о плохом. Я не умолчала ни о чем дурном и ничего не приукрасила. Я всегда была такою, какова есть. Я показала душу свою такой, какую Ты само знаешь, о, Верховное Существо! Окружи меня толпою подобных мне, и пусть каждый в свою очередь раскроет свое сердце пред престолом Твоим с той же искренностью, и пусть хоть один осмелится сказать Тебе: я был лучше этой женщины. Я родилась в 1772 году, и рождение мое стало первым несчастьем. Не знаю, как отец перенес это горе, но оно всегда его тяготило. В пять лет я свободно читала; исключительные для моего возраста способности пробудили жажду знаний; вкусы мои к 1779 году были необычны для таких лет. Моим излюбленным чтением стал Плутарх; Агезилай, Брут, Аристид были моими любимыми героями. За чадами коронованных особ не ухаживали с таким тщанием, как за мною в юные годы; обожаемая всеми окружающими, я была ребенком всеми обласканным, но, что случается редко, не избалованным. Стать злой я не могла, ибо видела перед собою лишь примеры доброты; вокруг меня были лучшие, наичестнейшие люди. Гордое сердце и неукротимый характер стали первыми движениями души при столкновении с жизнью; годы,

опыт и превратности судьбы утишили мою спартанскую резкость и сделали человеком мудрым. Сверх того прибавлю, что если какое-либо воспитание и можно назвать скромным и целомудренным, то, вне всяких сомнений, мое. Окружавшие меня люди были не только исключительно умны, но и обладали сдержанностью, которая уже давно чужда женщинам во всех слоях общества. Мужчины никогда не позволяли себе произнести слово, от коего девушка способна залиться краскою; и в те времена никто и никогда не отказывал ребенку в уважении, приличествующему его возрасту. Подобное воспитание способствует сдерживанию в подростках первых вспышек пламенного темперамента. Имея в повседневной жизни характер мягкий и спокойный, но пылкий, гордый и неукротимый в страстях, руководимая голосом рассудка, всегда воспринимаемая с ласкою, вежливостью, любезностию, я не имела и представления о несправедливости, и прочитав впервые упомянутую рукопись, осознала страх перед теми, кого больше всего любила и уважала. Какое разочарование! Какое смятение чувств! Какое потрясение в сердце, в уме, во всем сознании! Коли возможно, пусть кто-нибудь представит себе это, но я не в силах разбирать и переживать заново то, что произошло со мною. Так кончилась моя безмятежная юность. С тех пор я перестала наслаждаться непомятым счастьем; с нежностию я вспоминаю свои детские годы. Деревня потеряла в моих глазах душевную привлекательность и открытость — она стала пустынной и мрачной, словно покрылась вуалью, сокрывшей ее прелести. Мне она уже не нравилась, и я принудила мать продать ее. Более тридцати шести лет минуло с тех пор, как я покинула ее, и у меня не было на сей счет никаких приятных воспоминаний; но достигнув возраста зрелого и ощутив приближение старости, я познала возрождение воспоминаний привлекательных (тогда как иные истерлись), и с каждым днем в моей памяти все сильнее проступали черты милого прошлого. Чувствуя, что жизнь ускользает, я силюсь воспоминаниями удержать ее. Хорошо понимаю, что читателю нет до этого дела, но мне нужно сообщить ему сие. Осмелюсь ли я поведать ему обо всех забавных маленьких историях той счастливой поры, вспоминая которую я и теперь еще улыбаюсь! *Omnia vincit labor improbus*¹⁴. Ныне я питаю надежду лишь на счастье возыметь доход верный и достаточный для существования. 24 Примечания Печатается по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ (ф. 1337, оп. 2, ед. хр. 97), с сохранением всех особенностей текста. 1 Сладостно и почетно умереть за добродетель (лат.). Перифраз из «Од» Горация: «Сладостно и почетно умереть за родину». 2 Барятинский Федор Сергеевич (1742—1814) — князь, участник переворота 1762 г. С 1778 года — гофмаршал, с 1796-го — обер-гофмаршал. 3 Смысл фрагмента не ясен. Быть может, имеется в виду какой-либо перстень, полученный князем Барятинским за участие в заговоре? 4 Безбородко Александр Андреевич (1747—1799) — светлейший князь, канцлер Российской империи, один из крупнейших деятелей екатерининского века. 5 Дашкова Екатерина Романовна (1744—1810) — княгиня, статс-дама, президент Санкт-Петербургской Академии Наук и Российской Академии. Упомянув Дашкову, мемуаристка, видимо, подразумевала, что она — тоже особа женского пола — не могла претендовать на столь высокие и «громкие» должности. 6 Угол рукописи оторван. 7 Император Павел I вступил на престол в 1796 году. 8 Угол рукописи оторван. 9 Толстой Николай Александрович (ум. 1816) — граф, обер-гофмаршал. 10 На полях рукописи против рассказа о «частой езде» императора Александра I запись рукою неустановленного лица: «Вранье — девушкам часто грезится, что за ними гоняются мужчины. Ничаво не бывало». Маргиналия — по старой орфографии. 11 Голицын Александр Николаевич (1773—1844) — князь, обер-прокурор Св. Синода, член Государственного Совета, главноначальствующий над Почтовым департаментом. 12 Далее часть рукописи утрачена. 13 На полях рукописи против поэтических строк пробы пера: «на», «и», «Никита» (?) Под стихами — арифметические выкладки: 1772 — 1712 — — 60 и 1830 — 1712 — — 118. Судя по одной из упомянутых дат («1830»), можно предположить, что «Сокращенная выписка» из мемуаров была сделана именно в этом году. Значение другой даты («1712») не ясно. Окончание «Сокращенной выписки» (вслед за стихами) написано по-французски (перевод Н. В. Снытко). 14 Все побеждает упорный труд (лат.). Публикация М. ДАНИЛОВА.

“Изъяснение” В. И. Баженова от 20 апреля 1783 г.

Баженов В. И. «Изъяснение» / Публ. [вступ. ст. и примеч.] Н. Б. Панухиной // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 24—26. — [Т.] I.

Непосредственная причастность Василия Ивановича Баженова (1737 или 1738—1799) к важнейшим достижениям «ломоносовской эпохи» и его роль как одного из основоположников архитектуры русского классицизма выявлены специалистами. Однако остаются неясными многие факты биографии архитектора. До сих пор нет полного и достаточного списка его произведений; при отсутствии прямых документальных подтверждений авторства (большинство проектно-графических работ его остались недописанными) ведутся споры о неизвестных и предполагаемых постройках Баженова. Особое значение в связи с этим приобретает не только продолжение поиска первоисточников, но и уточнение рабочих аннотаций уже учтенных архивных документов, связанных с его именем.

Таким является «Изъяснение», написанное Баженовым в Москве 20 апреля 1783 г. Документ составлен в официальном стиле того времени — от третьего лица, текст полностью написан рукою Баженова.

Значительная часть рукописи носит характер экспликации к отсутствующим чертежам и требует разгадки.

В «Изъяснении» говорится о «дворе» с четырьмя «серединами». По терминологии того времени «двор» может означать здание государственного учреждения, а четыре «средины» — его корпуса, почти равные по протяженности и состыкованные в форме четырехугольника.

Ознакомившись с представленным проектом здания, Баженов пожелал расширить число внутренних проездов. Это предложение, бесспорно, предполагало наличие между корпусами достаточно большого свободного пространства.

В «Изъяснении», по всей вероятности, даны комментарии к проекту сооружения значительного масштаба. По первоначальному замыслу здесь планировалась восьмисаженная колоннада, а Баженов предложил другую — саженью выше первой. Эта архитектурная композиция решалась в торжественно-монументальном стиле дорического ордера. Варианты высоты внутренних помещений были определены Баженовым в расчете на два этажа со сводчатыми потолками и открытыми двухсветными галереями.

Особое внимание архитектор уделил центральной части фасада. Он счел нужным сократить здесь количество окон, частично заменить их декоративными нишами и добавить медальоны с украшениями «в арамутурии» (по мотивам военной символики).

В заключение Баженов высказал сожаление по поводу своего кратковременного пребывания в Москве в период весеннего паводка. Ссылка архитектора на «беспокойство от разлития реки» дает повод думать о расположении проектируемого здания на одной из московских набережных.

Этот документ остался вне поля зрения авторов сборника «Неизвестные и предполагаемые постройки Баженова» (М., 1951). Между тем при сопоставлении данных «Изъяснения» Баженова с опубликованными в сборнике гипотезами подтвердилась на документальной основе одна из них.

Плановое решение, конструкция, декоративный убор и другие особенности проектируемого сооружения на берегу Москвы-реки, охарактеризованные Баженовым, оказались тождественными описанию Кригс-Комиссариатского дома, сделанному И. Грабарем*. Здание Кригс-Комиссариата — государственного учреждения, ведавшего снабжением и содержанием армии, — располагалось в Садовниках, на берегу реки Москвы. Оно сохранилось до нашего времени в перестроенном виде (теперь это здание Московского военного округа по набережной

Максима Горького и улице Осипенко).

Не вдаваясь в рассуждения о взаимоотношениях Баженова с архитектором Леграном, начавшим сооружение Кригс-Комиссариата весной 1777 г., заметим, что имя Леграна упоминается в документах в связи со строительством этого дома в последний раз в 1780 г., а перед этим, 31 октября 1778 г., состоялось решение заказчика поручить окончание строения «другому искусному архитектору»**.

Изъяснение

Присланной Планъ, токмо переменень. Однимъ колонадомъ. И окны по мненію Архитектора Баженова были весьма часто, что такъже переменено, а въпротчемъ хорошъ, проезды же въ него не худо бы было, естли бъ во все четыре середины его двора сделать.

Высота первой восьми саженой высоты кажется колоннаде коротокъ, по литере А. и, В. И для того рассудилось сделать другой которой под № 2, высота его саженью выше перваго, орденъ выходитъ в лутчей пропорціи дорика.

Вънутри отъ полу по замокъ свода¹ высота быть можетъ во 2 планъ или фасадъ? 10? аршинъ, во второмъ? етажѣ, быть можно до четырнатцати аршинъ, въ два света.

Половина фасады посредину назначены фальшивыя окны², надъ коими быть могутъ въ медальюнахъ украшеніи приличныя въ арамутурии, другая же половина во въ падинахъ над поесомъ медальюны же быть могутъ что будетъ приятней въ практике нежели фальшивыя окны.

За краткостію время, а притомъ безпокойство отъ разлитія реки, воспрепятствовало Баженову здѣлать профиль, но естли не будетъ благоугодно и въ фасадахъ что либо, то просить онъ. Чтб благоволено ему прислать въ чемъ неудовольствовано. Тогда усердствуя подыщится онъ здѣлать еще и еще. Будучи въ селе уже Царицыне где онъ весьма съвободнее, Василий Баженовъ³. 20 апреля 1783 Москва

Примечания

Автограф «Изъяснения» хранится в ОПИ ГИМ, ф. 213, ед. хр. 155. Входил в состав т. н. «шукинской» коллекции (№ 23234/щ). Написан на листе старинной голландской бумаги с золотым обрезом.

1 Замок свода — верхний средний камень, которым замыкается и заканчивается свод.

2 По-видимому, описка.

3 На протяжении жизни Баженов подписывал исходящие от него бумаги по-разному: в 1768 г. — Главный архитектор Кремлевского строения; в 1776 г. — Архитектор Василий Баженов; в 1778 г. — Архитектор и артиллерии капитан Василий Баженов; в 1783 и 1796 гг. — Василий Баженов (ОПИ ГИМ, ф. 526, ед. хр. 127, л. 3 и прошение Баженова в контору Ямской канцелярии от 24 февраля 1778 г., опубликованное в «Советском музее», 1987, № 2, с. 54).

Публикация Н. Б. ПАНУХИНОЙ

Ранний список пушкинского послания “Товарищам”.

Ранний список пушкинского послания «Товарищам» / [Вступ. ст. С. Г. Блинова, С. Д. Воронина, В. М. Мельникова, А. Л. Налепина, М. Д. Филина] // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 27, 29. — Из содержания: Пушкин А. С. «Товарищамъ роду своему»

Как известно, рукописи пушкинского послания «Товарищам», написанного в мае — июне 1817 года, не сохранилось. Наиболее авторитетным списком считается авторизованная копия И. И. Пущина, а самым ранним — запись в тетради А. В. Никитенко. По списку «Большого Жанно» послание и печатается в собраниях сочинений поэта. Но недавно среди новых поступлений в ЦГАЛИ был обнаружен еще один список, который, не нарушая сложившейся иерархии, представляет все же определенный интерес для пушкиноведения.

Новонайденный список сделан рукой Михаила Яковлевича Чаадаева (1792—1866), брата философа, и по ряду признаков может быть датирован концом 1810-х годов. Возможно, М. Я. Чаадаев — в ту пору офицер Семеновского полка — получил поэтический текст от брата или иного лица, входившего в окружение Пушкина. Но не исключено, что послание «Товарищам» попало к нему непосредственно от поэта. В пользу их знакомства как будто свидетельствует такой фрагмент из письма П. Я. Чаадаева брату из Милана в Москву в декабре 1824 года: «Может быть, кто-нибудь из моих знакомых погиб; до тебя никогда ничего не дойдет, но нельзя ли отписать к Якушкину и велеть ему мне написать, что узнает про общих наших приятелей, особенно об Пушкине...» (выделено редакцией).

В списке М. Я. Чаадаева шесть отличий от текста, считающегося каноническим. Три разночтения в стихах 5, 28 и 29 («порога» — «порогу»; «мой» — «мне» и «прегрешенье» — «прегрешенья») не имеют принципиального характера и представляют собой обычные для рукописной литературы деформации. Зато прочие отличия гораздо любопытнее.

Так, в стихе 20 вместо канонического «Счастливой лени верный сын» звучит: «Щастливой неги верной сын». Так было и в наиболее ранней из известных записей — в тетради Никитенко.

В стихе 24 читается: «Равны наказы кивера». У Никитенко такого варианта еще нет («Равны мне каски, кивера»). А в списке Пущина он уже отсутствует:

Равны Законы, кивера...

хотя первоначально там было:

Равны Наказ и кивера...

Последнее написание встречается и в списках более позднего происхождения*.

Наконец, 31-й стих копии М. Я. Чаадаева — «Пока щастливому возможно» — отличается от всех известных копий и канонического:

Пока ленивому возможно...

Приведенные наблюдения позволяют сделать осторожные предположения о статусе данного списка. Видимо, он отражает одну из ранних стадий работы поэта над текстом. Восходя к изначальному пушкинскому прототексту, список М. Я. Чаадаева зафиксировал вариант послания, предшествующий варианту, запечатленному в копии Пущина.

*** Промчались годы заточенья

Не долго мирные друзья

Нам видеть кров уединенья

И Царскосельские поля

Разлука ждет нас у порога

Зовет нас дальний света шум

И каждый смотрит на дорогу

С волнением гордых юных дум
Иной под кивер спрятав ум
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде
А грется едет в караул
Другой рожденной быть велможей
Не честь а почести любя
У плута знатнаго в прихожей
Покорным плутом зрит себя
Лишь я судьбе во всем послушный
Щастливой неги верной сын
Душой безпечной равнодушной
Я тихо задремал один
Равны мне писари уланы
Равны наказы кивера
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в ассесора
Друзья не много снисхожденья
Оставьте красной мой колпак
Пока его за прегрешенье
Не променял я на шишак
Пока щастливому возможно
Не опасаясь грозных бед
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет

Письмо И. И. Дмитриева к Д. Н. Блудову

Дмитриев И. И. Письмо Блудову Д. Н., 8 августа 1820 г. Москва / [Вступ. ст. и примеч. С. Г. Блинова, С. Д. Воронина, В. М. Мельникова, А. Л. Налепина, М. Д. Филина] // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 29—31. — [Т.] I.

Эпистолярное наследие русского писателя Ивана Ивановича Дмитриева (1760—1837) в значительной степени утрачено. Так, по авторитетным сведениям*, известно и опубликовано лишь одно его письмо к Дмитрию Николаевичу Блудову (1785—1864) — литератору, одному из основателей «Арзамаса», дипломату, впоследствии крупному сановнику. Письмо написано в Петербурге и отправлено в Стокгольм 16 июля 1813 года*.

Редакция «Российского Архива» имеет случай познакомить читателей с еще одной эпистолией Дмитриева. До сих пор адресат этого послания принадлежал к числу неустановленных лиц.

Письмо Дмитриева — ответ на корреспонденцию от 27 июня 1820 года**, которую Блудов отправил из Петербурга с московской почтой тотчас же по возвращении из Англии, где пребывал в 1817—1820 гг. в качестве советника, а затем поверенного в делах. Судя по всему, разлука с Отчизною не притупила интереса Блудова к делам отечественной словесности. Того же мнения был и Дмитриев, доверительно поведавший литературному союзнику собственные размышления о ситуации в «цехе задорном».

И. И. Дмитриев — Д. Н. Блудову

Милостивый Государь Дмитрий Николаевич!

Спешу принести Вам чувствительную благодарность за приятное Ваше письмо, равно как и за книгу Шатобриана¹.

Согласен с Вами, что талант его и в ней блесит на многих страницах. Согласен также и в том, что литература наша подвигается раком. Никогда журналисты наши столько не находили гениев, как ныне. Но, к сожалению, они почивают в мире; ни один из них не пробудился даже и тогда, когда великой Каченовской² трактовал нашего Историографа³ наравне с университетским пансионером. Всякой боялся, чтоб и его не задели. Все только говорили: «Как жаль, что нет Блудова или Дашкова⁴».

Теперь вся наша словесность лежит на могучих плечах известного всем трудолюбца⁵, без которого стихи и проза: все легко, все ничего не стоит; который, как хитрый Протей, возобновляет себя в разных видах: неиствует в одах, глупит в притчах, лепечет в мадригалах, и даже начинает рыться в прахе истории. Сказывают, что журналисты Ваши уже открыли глаза и отдают ему справедливость. Честь и слава его долготерпению.

Последуем и мы его примеру. Придет и наше время: будут читать и нас во Франции и в Англии. Я надеюсь много на учебные заведения: теперь свет изливается вместо двух из пяти пунктов⁶, и, конечно, это будет иметь большое значение на наше авторство. Спрошу к слову: читаете ли Вы газеты Вашей Отчизны, т. е. казанские? если нет, так отыщите 54 № и прочтите письмо попечителя Казанского Университета к ректору. Оно замечательно во многих отношениях и стоит Вашего любопытства.

Может быть, я Вам наскучил. Простите избытку моего участия в нашей словесности. В этом случае только я горячусь, может быть, больше, нежели надобно. Впрочем, с душевным почтением к Вам и почтенной Вашей супруге⁷ имею честь быть,

милостивый государь,

Вашим покорнейшим слугою

Иван Дмитриев.

Москва

1820 августа 8-го дня.

Примечания

Подлинник письма хранится в ГЦТМ, ф. 537, № 67, лл. 1—2.

1 В постскриптуме письма от 27 июня 1820 г. Блудов писал Дмитриеву: «Я возвращался из Лондона не через Париж, и, следовательно, не мог привезти с собой свежих цветов французской литературы. Полагая, однако же, что вы, может быть, еще не читали Шатобрианова сочинения о герцоге Берри, посылаю его к вам: надеюсь, что оно будет для вас интересно, по крайней мере, как новость. Сверх того, вы найдете в нем, особливо в конце, несколько страниц, достойных красноречивого автора» (Ковалевский Е. П. Граф Блудов и его время. СПб., 1871, с. 253).

2 Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842) — историк, литературный критик, издатель.

3 Николая Михайловича Карамзина (1766—1826). 8 марта 1820 г. Дмитриев писал А. И. Тургеневу: «Читали ли вы IV номер «Благонамеренного»? Мне кажется, в первой пьесе, под заглавием «Рассказы Лужницкого старца», присланной из Москвы, мечено на Николая Михайловича. Какие скареды!» (Дмитриев И. И. Сочинения. М., 1986, с. 396). Через неделю, 16 марта, он же сообщал П. А. Вяземскому: «В IV книжке «Благонамеренного» напечатаны

рассказы Лужницкого старца, в которых выставлены многие фразы из «Московского Журнала». Не сходя с «Историей», начали тормозить «Русского путешественника»!! Но мне даже стыдно продолжать о том» (там же, с. 397). К концу лета Дмитриев уже знал доподлинно, что под этим псевдонимом скрылся сам Каченовский, вновь вступивший в полемику с историографом и прочими карамзинистами.

4 Дашков Дмитрий Васильевич (1788—1839) — чиновник Коллегии иностранных дел, бывший в ту пору вторым советником русского посольства в Константинополе. Один из идеологов «Арзамаса», блистательный полемист.

5 Имеется в виду граф Дмитрий Иванович Хвостов (1756—1835), плодовитый литератор, член «Беседы любителей русского слова».

6 К этому времени в России фактически было семь университетов: Московский, Казанский, Харьковский, Виленский, Дерптский, а также недавно созданные Петербургский и Варшавский.

7 Т. е. Анне Андреевне Блудовой, урожденной княжне Щербатовой (1777—1848).

Письма 1822—1826 гг. А. Е. Измайлова князю Н. А. Цертелеву

Измайлов А. Е. Письмо Цертелеву Н. А., 1822 г. С.-Петербург («Слава Богу, я совсем почти здоров...») // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 33. — [Т.] I.

Слава Богу, я совсем почти здоров и кончил свои лекарства. Благодарю Вас, любезнейший князь Николай Андреевич, за участие, которое принимаете в моем здоровьи. Не вздумаете ли навестить сегодня вечером выздоравливающего. Дружеская беседа, по крайней мере для меня, самое лучшее лекарство.

Посылаю Вам последние 6 № или последние пять книжек (LI и LII вместе). Не помню, есть ли у Вас Благонамеренный за 1821 и даже за 1820 год. Буде нет, то пришлите и доставлю.

Простите надобно смотреть корректуру. «Ночь» Ваша давно уже тиснута.

Душевно преданный Вам и уважающий Вас А. И.

P. S.

нрзб Волковой кажется можно напечатать нрзб. Если бы и Граф Хвостов² писал только по 4 стиха!

Измайлов А. Е. Письмо Цертелеву Н. А., 1822 г. С.-Петербург («Ото всего сердца благодарю Вас...») // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 33—34. — [Т.] I. 1822

Ото всего сердца благодарю Вас, почтеннейший и любезнейший князь Николай Андреевич, и за стихи, и за прозу. И то, и другое мне пригодится; я же думаю теперь и о первой книжке на 1823. По-настоящему надобно начать ее печатать через неделю, чтоб вышла к 1-му числу Генваря.

Возвращаю при сем отрывок из Вашего журнала: Давний спор³. Выпросили что-то в нем переменить или прибавить. Весьма много обяжете меня, любезнейший князь Николай Андреевич, если и эту пиэсу мне подарите. Цензура ее пропустит. Высочайшее повеление употреблять букву «ъ» последовало уже давно. Не худо бы, по-моему мнению, сделать к этой пиэсе ноту, что сочинение сие отнюдь не имеет целью преобразовать наше правописание и азбукву. но солепжит

только рассуждение о том и другом предмете. Эта статья очень хороша, а мне хочется, чтобы в первых книжках поболее было оригинальных статей.

Не смею дать верного слова, а постараюсь побывать сегодня у Вас вечером, если только позволит корректура. Я сижу теперь как бы под арестом, в Департаменте 4 и дома ежедневно просматриваю 3, 4, а иногда и 5 раз свою и казенную корректуру. Теперь печатается у нас огромный казенный циркуляр, который станут рассылать с нарочными курьерами, и Директор чрезвычайно торопит этим делом — слава Богу, что оно приходит к концу. Если не буду, то ради Бога извините. *On fait se qu'on peut**. Зато вперед даже наскучу Вам своими посещениями.

Простите, любезнейший князь Николай Андреевич. Не пожалуете ли ко мне в нынешнюю Субботу. На следующей неделе (7-го числа) надобно бы сделать собрание в нашем — чуть было не написал — Михайловском Обществе. На новоселье что-то худо идет дело. Простите спешу в типографию.

Середа.

С совершенным почтением и душевную преданностию имею честь быть всегда Вашим покорнейшим слугою.

А. Измайлов

Измайлов А. Е. Письмо Цертелеву Н. А., 16 августа 1823 г. Санкт-Петербург // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 34—35. — [Т.] I.

С. П-бург. 16 Августа 1823 года.

Вчера вспоминали мы об Вас, любезнейший князь Николай Андреевич. Вчера просидел я целый вечер на даче у Дмитрия Ивановича⁵. Сегодня также вспомнил об Вас не один раз: Б. М. Ф.⁶ пригласил нынешний день на вечерок меня, Владимира Ивановича⁷ и Николая Федоровича Остолопова⁸. Как жаль, что не будет Вас вместе с нами.

XV книжка Благонамеренного должна была выдти 15 числа августа, т. е. вчера, но не вышла. Как быть! Соревнователь⁹ еще не исправлен. Не знаю, что делается в Обществе у почтеннейшаго¹⁰. Первое собрание после каникул было в прошедший понедельник, и никто из наших там не был. Собираемся туда в следующий понедельник целою толпою — только не святою и не слепую.

XV № Благонамеренного выдет завтра, но Вы получите его, вероятно, не прежде как через неделю, потому что пакеты, отправляемые отсюда по понедельникам, приходят в замосковные города в одно время с четверговою почтою. Посылаю Вам статью О романтиках и о Черной речке, напечатанную в этой книжке и написанную Б. М. Федоровым, также одну эпиграмму, которая равным образом в том же нумере напечатана.

Пожалейте о честнейшем из всех наших книгопродавцов В. А. Плавильщикове¹¹ — умер третьего дня. В смерти его обвиняют отчасти почтеннейшаго Ф. Н.¹² Из сожаления, что не было при В. А. Плавильщикове никого родных, послал к нему Глинка какого-то дурака квартального офицера, который рекомендовал ему себя в душеприказчики и чрезвычайно его перепугал. Правду сказал Крылов: услужливый дурак опаснее врага.

Простите, любезнейший князь Николай Андреевич. Извините, что так мало и так скверно пишу. Сегодня почтовый день, а в Департаменте, где я теперь заседаю, скопилось у меня много дела. Поверите ли, что раз десять и теперь отрывали меня от письма? На досуге побеседую с Вами поболее и вероятно поскладнее.

С искренним почтением и душевною преданностию был и имею честь быть всегда Вашим покорнейшим и усерднейшим слугою.

P. S. А. Измайлов

Булгарин, не знаю почему, переменял со мною тон: прежде говаривал мне всегда *familierement et cavalierement** ты, а теперь говорит: Вы. Грозится он чрезвычайно на Воейкова и Свинына¹³. С помощником своим добрым и кротким нашим секретарем А. А. Никитиным¹⁴ разошелся он самым нечестным образом. Разругал его в письме за то, что тот через полгода напомнил ему о деньгах.

Измайлов А. Е. Письмо Цертелеву Н. А., 3 января 1824 г. Санкт-Петербург // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 35. — [Т.] I. С. П-бург. 3 Января 1824 года.

Почтеннейший и любезнейший князь Николай Андреевич!

От сердца, от души поздравляю Вас с Новым годом, пред наступлением котораго показалась Полярная Звезда. В этой Полярной Звезде, между прочим, Безстужев сказал, что Благонамеренный забавен для своего круга¹⁵. Уж я ж его друга! В первой книжке еще цветочки, а в следующих и ягодки будут. Многим, многим покажутся эти ягодки горьки. Сегодня у Княжевичей¹⁶ большой маскарад. Я буду одет Полярною Звездою; вместо фонаря критики будет у меня барабан — стану говорить новыми и старыми безстужевскими фразами. Как досадно, что не имею теперь почти свободной минуты... а есть о чем поговорить с Вами! Вышли и Литературные прибавления к Северному архиву¹⁷. О, беспристрастие! О, благородство! Нельзя больше... хоть бы в Польше. Простите до следующей почты. В следующей 2-ой книжке Благонамеренного получите печатное мое письмо о бывшем перед праздниками экзамене в Высшем Училище¹⁸. Сын мой кончил курс и идет в медики — простите, простите! — Дела по горло, а надобно еще хорошенько приготовиться к дурацкой роли, которую буду играть вечером.

С искренним почтением и душевною преданностию был и буду всегда Вашим покорнейшим и усерднейшим слугою.

P. S.

А. Измайлов.

Чур помогать, князь, как помогали прошлаго года. Также весьма обяжете, если будете рекомендовать мой журнал Тамбовской публике.

Измайлов А. Е. Письмо Цертелеву Н. А., 14 декабря 1824 г. Санкт-Петербург // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 35—37. — [Т.] I. С. П-бург. 14 Декабря 1824 года.

Виноват я перед Вами, почтеннейший и любезнейший князь Николай Андреевич, не отвечал на предпоследнее Ваше письмо, потому что хотел писать к Вам много, а времени было мало. И так прошло почти два месяца.

Благодарю Вас за романс и за послание Н. Я. З-ву. Первый выпросил у меня издатель¹⁹ Невского Алманаха* на 1825 год, который уже печатается и выдет к масленице. Издатель этого Алманаха доставит Вам экземпляр чрез меня и как только появится в свет Невский Алманах, то я перепечатаю Ваш романс в Благонамеренном. Прекрасное же послание к соседу Н. Я. З-ву помещено будет в 1 № моего журнала на 1825 год. Вчера отнес его в цензуру, а завтра перейдет оно оттуда в типографию.

Теперь стану отвечать по порядку на все Ваши вопросы.

Слава Богу, я здоров, но и только. Во всю жизнь мою не имел я столько неприятностей, досад и даже можно сказать несчастий, сколько в нынешнем высокосном 1824 году. Ну уж высокос из высокосов. Весною был я опасно болен. Лишь только выздоровел и вышел к должности, то поручили мне сверх настоящего моего покойного Контрольного Отделения, другое Распорядительное, самое беспокойное и хлопотливое. Поручили мне его на месяц, но уже 7 месяцев, как я им управляю. Можете себе представить, сколько это отняло у меня времени. Поверите ли, что это расстроило чрезвычайно и мои финансы, и что я потерял от этого по крайней мере тысяч пять. Задолжал и не знаю, как выпутаться из долгу. Вся надежда на журнал будущего года. Осенью занемогла отчаянно у меня жена и чуть-чуть я не лишился ее. Во время наводнения размок весь мой Благонамеренный за прошедшие годы. По каталожной цене будет убытка тысяч на 20, а на самом деле, если не удастся его просушить, потеряю я наверное тысячи две или три. Но это одно из самых малейших несчастий.

Б. М. Федоров живет ныне в соседстве со мною. Служит он в Департаменте Духовных исповеданий и помогает Свиньину в редакции Отечественных Записок. Переругивается с Булгариним, котораго и я время от времени ругаю в стихах, а с будущего года начну ругать и в прозе. Вы не можете себе представить, что это за подлец. Прилагаю одну из моих Сказок, написанных на него. Бледнеет и краснеет всякой раз, когда увидится со мною, боится меня как чорта, а все-таки задевает и распускает обо мне чорт знает каких небылицы.

Орест²⁰ служит в Российско-Американской Компании²¹. Бывает у меня по Субботам — хочет издать перевод свой Пукенвиля²² — более ничего не могу сказать об нем.

Панаев нынешним летом женился в Казани на дочери тамошняго Вице-Губернатора. Ожидаем его сюда с молодою супругою.

Остолопов в Новгороде председательствует в тамошнем Шоссейном Комитете.

Д. И. Языков был нездоров — но теперь ему лучше.

П. Л. Яковлев²³ в Вятке. Недавно определен он ревизором в Межевую Канцелярию и послан из Москвы ревизовать Вятскую Межевую Контору.

У Соревнователей давно не был. Никитин, наш Секретарь, сделан недавно советником Питейной части, а Д. М. Княжевич здешним Вице-Губернатором.

Общество любителей Словесности, Наук и Художеств ничего не делает — члены изленились. Раз десять сряду присутствовал в Обществе один только председатель, который наконец и сам вышел из терпения.

Загляну теперь в прежнее Ваше письмо, чтобы и то не оставить без ответа.

Доброе дело делаете Вы, князь, что занимаетесь в досужные часы составлением Руководства к Риторике. Правда Ваша, что у нас нет даже и порядочной Азбуки. Давно я это знаю — с тех еще пор, как учил сам Русской грамоте старшаго сына и дочь.

Вы пишете, что во время нездоровья чертите и жжете бумагу. Дай Бог, чтоб Вы были здоровы — чертите почаще бумагу, но не жгите, а присылайте к издателю Благонамереннаго. Читатели этого журнала очень, очень сожалеют, что не находят в нем более ни одной статьи остроумнаго и беспристрастнаго жителя Васильевского Острова. Тряхните-ка, любезнейший князь, стариною, напишите еще что-нибудь на романтиков или на прочих невежд литераторов. Слава Богу, при новом Министре²⁴ цензура, кажется, становится поумнее, а есть надежда, что она еще умнее будет. Была бы только охота и время, а то есть, что писать. Что ни напишите, присылайте ко мне. Как одолжите Вы меня, если по-прежнему будете сообщать мне свои сочинения.

Простите, любезнейший князь! Дела по горло! Пора приниматься за первую книжку, которая должна выдти к 1-му Генваря. А остается еще 5 за нынешний год. Но эти как-нибудь кончу: для них есть материал. Хочется, чтобы с Нового года журнал был лучше.

С совершенным почтением и душевною преданностию имею честь быть всегда Вашим покорнейшим и усерднейшим слугою.

А. Измайлов

Измайлов А. Е. Письмо Цертелеву Н. А., 24 апреля 1825 г. Санкт-Петербург // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 37—39. — [Т.] I. С. П-бург. 24 Апреля 1825 года.

Как давно не писали мы друг к другу! Здоровы ли Вы, почтеннейший и любезнейший князь Николай Андреевич? Как поживаете? Что поделяете? — Совсем забыли Вы меня! Не сердитесь ли за что? Если виноват в чем я перед Вами, то разве неумышленно, да и того право не знаю. А мы с Дм. Ив. Языковым и Б. М. Федоровым часто об Вас вспоминаем. Получили ли последнее мое печатное письмо в Благонамеренном? Часто, очень часто вспоминают об Вас и читатели и читательницы Благонамеренного. Спрашивают меня: «Куда девался житель Васильевского Острова? Что он к вам ничего не присылает?».

7 июня.

Каков же я? Начал письмо к Вам 24 Апреля, а оканчиваю 7 июня. Право не от лени, любезнейший князь Николай Андреевич! Пожалейте обо мне: я должен заниматься тем, за что никогда бы не хотел приняться; а что желал бы делать и сделал бы, может быть, не без пользы для себя и других, должен всегда оставлять! Как справедливо писали Вы человек редко делает то, чего желает! — Счастлив, кто может обойтись без службы и обеспечен в своем содержании.

Не знаю как благодарить Вас за прекрасную Вашу статью о народных Малороссийских стихотворениях. Я напечатал ее в XX №, только без надстрочных знаков, потому что нет достаточного количества в Морской Типографии, даже букв: «а?» и «о?», а о «у?» и прочих и говорить нечего. Корректуру просматривал сам с величайшим вниманием, а говорят, будто есть ошибки. Если заметите какая, дайте мне знать — поправлю в Errata.

А я все еще не кончил печатного моего письма к Вам о экзамене в пенсионе* Годениуса!²⁵ Но кончу непременно. С наступлением весны и хорошей погоды собрался было я через 15 лет в деревню к ближайшим моим родственникам верст за 40 отсюда, денька на два, но по случаю увольнения в отпуск для женитьбы одного из моих товарищей поручили мне в самое это время его отделение и прехлопотливое! Опять должен буду промучиться, хотя и не столько времени, как в прошлом году, но по крайней мере три или четыре месяца. Боюсь, как бы не остановился мой журнал. То-то бы возрадовались литературные торгаши, без чести и без души!

За прошедший год не выдано еще 4 книжек Благонамеренного, а я собрался было с П. Л. Яковлевым издать на будущий год 1826 год Литературный алманах²⁶. Что ни будет, а алманах будет, если только буду жив. П. Л. Яковлев теперь в Вятке и готовит прозаические статьи. Ожидаю от него четырех пизес, уже совсем им оконченных. Между прочим должна быть любопытна одна: о модных словах. Пишу ко всем друзьям и приятелям, чтобы сделали милость, присылали ко мне стихи и прозу. Стихи хорошие будут и уже есть несколько в запас; а что касается до прозы, то вся надежда на П. Л. Яковлева и на Вас. Пришлите, любезнейший князь, хоть одну прозаическую статью, подобную тем, как доставлял прежде в Благонамеренный остроумный и основательный житель Васильевского Острова — сделайте честь нашему Алманаху. Авось когда-нибудь Бог доставит мне случай отслужить Вам. В нынешнем месяце хочу напечатать объявление о Алманахе — а журнал с будущего года, может быть кину —

надоел и не стоит почти трудиться из безделицы.

Хотите ли услышать о наших общих знакомых петербургских литераторах? — Верно не поскучите.

Начнем с В. И. Панаева. — Стал счастлив, замолчал! Прошлого года женился он в Казани на дочери тамошняго Вице-Губернатора Жмакина. Теперь он уже отец — жена у него премиленькая, большая мастерица рисовать. Он служит по особым поручениям у Министра просвещения.

Д. И. Языков все исправляет Директорскую должность, и все еще не делают его Директором. — А если не сделают по приезде Государя, то право, будет грешно

Старший и средний Княжевичи так заняты, что едва успевают делать по настоящей их должности дела. Один только младший и хворый Владислав переводит повести для С. О.²⁸ На днях и он уедет в Дерпт или в Ревель.

Остолопов председательствует в Новгородском Шоссейном Комитете; по временам приезжает сюда и присылает мне дело от безделья или замечания на современные журналы²⁹. Накопил он 40 апологов и хочет издать в свет.

Греч и Булгарин по сю пору влюблены друг в друга. Одинакия у них визитные билеты с надписью: Греч и Булгарин, одинакия носят фраки. Они считают у себя более 10 постоянных сотрудников, в числе которых занимают почетныя места Сомов и Кюхельбекер³⁰, котораго нарочно выписали они из Москвы.

Бедному Сомову делали зимою мучительную операцию — обрезали его как жида или магометанина.

Б. М. Федоров окрысился наконец. Каково же отделал он Корниловича³¹ за Петра I? Надобно его поддержать. Древния сказания его, или повести в роде Валтера Скота, очень понравились Императрице Елисавете Алексеевне³², Преосвященному Евгению³³ и Карамзину.

Сказать ли Вам еще новость о себе. Я был представлен месяца полтора назад Великой Княгине Марии Павловне³⁴. Каких комплиментов не наговорила она мне на счет моих Басен! Просила даже, чтобы я продолжал писать их. Вот как случилось это: жена моя, когда находилась еще в Смольном монастыре, была ея фавориткою. Великая Княгиня Мария Павловна спрашивала об ней у всех, в первые два приезда ея сюда и ничего не могла узнать об ней. Наконец, в третий нынешний приезд узнала и пожелала видеть. Представьте какое милостивое внимание через 22 года! Как обошлась она с нею. Посадила подле себя, расцеловала. — Обо мне, на другой день представления сказала своему Секретарю: *mais savez-vous, c'est un homme comme il faut, c'est un homme sense, il m'a plu beaucoup**.

Пожалейте о Пушкине. У него в ноге эневризм. Если не сделают счастливо операции, то мы потеряем его. Не дай Бог!³⁵

Известный словесник П. Ю. Львов³⁶ приказал долго жить. И где же умер? — в квартире добраго нашего Д. И. Языкова.

Общества наши, Соревнующеся — и бывшее Михайловское, ленятся — особливо последнее.

Простите, почтеннейший и любезнейший князь Николай Андреевич. Разберете ли, что я написал Вам почти в потемках. В последних числах Мая было у нас презнойное лето, а с Июня началась пасмурная и прехолодная осень.

С совершеннейшим почтением и душевною преданностию был и буду всегда Вашим покорнейшим и усерпнейшим слугою

А. Измайлов

Измайлов А. Е. Письмо Цертелеву Н. А., 25 февраля 1826 г. Санкт-Петербург // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 39—40. — [Т.] I. С. П-бург. 25 февраля 1826 года.

От сердца, от души поздравляю Вас, почтеннейший и любезнейший князь Николай Андреевич, со вступлением в наш многочисленный полк, т. е. в полк женатых. Давно уже слышал я о Вашей женитьбе и сердечно тому порадовался. Хорошо Вы сделали, что женились: в Провинциях у нас всего несноснее одиночество.

Благодарю Вас за стишки. Одни (Предчувствие) я уже напечатал в IV № Благонамеренного, который получите чрез неделю, а Волшебницам не дам места в своем журнале, но помещу их в Календаре Муз на будущий 1827 год. Надеюсь, что Вы пришлете мне и прозы для моего алманаха, а нынешний алманах с нынешнею почтою отправится к Вам от Смирдина³⁷.

Кланяются Вам Дмитрий Иванович Языков и Прасковья Петровна. Вчера ел я у них блины. Я порадовался, услышав от Дмитрия Ивановича, что Вы хотите перейти в Полтаву; но огорчился после, услышав, что от Огнева нет еще просьбы об увольнении его от Директорской должности.

Вам угодно знать, как поживаю я и наши общие приятели. С удовольствием готов удовлетворить Вашему любопытству.

Я живу по пословице: не так, как хочется, а как Бог велит. Последние два года (1824 и 1825) чрезвычайно меня расстроили. Начальству угодно было сперва дать мне сверх настоящей должности другую, самую хлопотливую, которую исправлял я вместо одного месяца десять. После того, опять поручили мне эту самую должность (освободив однако меня от настоящей) на два месяца, а я занимался ею с лишком полгода. Вот причина, почему не кончил я Благонамеренного за 1825 год и не выдал даже последних двух номеров за 1824. Число подписчиков значительно у меня убавилось; финансы мои расстроились, и я в эти два черные для меня года накопил более долга, нежели сколько сделал его с самого того времени, как стал жить сам собою. Что-то даст Бог в нынешнем году, а в будущем 1827 не стану издавать журнала — наскучило. Займусь лучше чем-нибудь другим.

Семейство мое умножилось: 23 числа прошедшаго Января взял я из Патриотического Училища³⁸ старшую мою дочь, умницу, литтераторку. Училась она очень хорошо: пишет прозою несравненно лучше многих записных наших писателей, а переводит преисправно. Будет мне хорошая помошница. Сегодня возьму и другую дочку из Екатерининскаго Института³⁹, красавицу, первую танцорку и фаворитку Императрицы Марии Федоровны⁴⁰. На частном экзамене подводила она ее несколько раз к Государю и к Государыне Императрице Александре Федоровне⁴¹, поила ее Шампанским и страх как обласкала. И эта училась порядочно: только Институтки никак не сравниются в знании Словесности с Патриотками, хоть у них один и тот же учитель (Плетнев)⁴². Причина самая простая: в одном месте читают книги, в другом нет.

Б. М. Федоров не только, что жив, но и пишет стихи. В прилагаемом при сем 3-м № Благонамеренного найдете несколько его стихов, адресованных к Вам.

Панаев более уже года живет здесь с молодою женою и с маленьким сынком. Владимир Иванович состоит при особых поручениях у Министра просвещения, занимается казенными и собственными своими делами — но не литтературою.

Н. Ф. Остолопов давно уже сделан Директором здешних театров и сделал для них много добраго. — Ко всеобщему удовольствию первейший театральный интриган Князь А. А. Шаховской уволен вовсе от театра и остался только при Екатерине Ивановне Ежовой⁴³.

О. М. Сомов попался было по знакомству своему с Безстужевыми, Рылеевым и прочими в доброе место⁴⁴; но освободился и опять служит в Российско-Американской Компании и занимается у Греча и Булгарина.

А что, любезнейший князь Николай Андреевич? Нельзя ли прислать мне для Благонамеренного хоть две, хоть одну статейку из Вашей Истории Русской Словесности. Много и премного меня одолжите.

Весьма приятно для меня, что супруга Ваша (а как зовут ее по батюшке? Имя данное ей при крещении угадал я из Ваших стихов: Благодать, не правда ли?) любит читать мои сказочки. Когда выдет новое издание моих Басен и Сказок, то пришлю Ея Сиятельству экземплярчик.

Я попал в Маршалы, только не в поветовые и не в губернские. В день печальной процессии⁴⁵, пойду с Маршалским траурным жезлом и поведу чиновников из разных 14 мест Министерства финансов. Рядом со мною пойдет другой маршал, первейший в Европе шарлатан и мошенник доктор Салватори, который в 1812 году был в Сибири и перелжет и перехвастает даже Павлушку лгуна⁴⁶.

Простите, любезнейший князь Николай Андреевич! Не забывайте Благонамеренного.

С совершенным почтением и сердечною вечною преданностию имею честь быть всегда Вашим покорнейшим слугою

А. Измайлов-Благонамеренный.

Измайлов А. Е. Письмо Цертелеву Н. А., 18 марта 1822 г. С.-Петербург // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 32—33. — [Т.] I. А. Е. Измайлов — Н. А. Цертелеву

18 марта 1822 года

Хотел было я быть сегодня у Вас, почтеннейший и любезнейший князь Николай Андреевич; но к крайней моей досаде не могу. Непременно должен быть в Смольном монастыре у классной дамы моей дочери, которую месяца два уже обманываю. Притом, серый конь мой издыхает и дела пропасть.

Осмеливаюсь напомнить об обещанной пиэсе для Благонамеренного. Завтра у нас в Обществе 1 собрание. Не пожалуете ли туда и не принесете ли с собою пиэсы? Цензор мой собирается вторично говеть на следующей неделе и просил пощадить его, хотя последние дни. Времени же остается теперь до 1 Мая не так-то много, исключив из того дни на говенье, на разгавливание и на пьянство.

Итак, надеюсь завтра увидеться с Вами.

Середа.

С совершенным почтением и душевною преданностию имею честь быть всегда покорнейшим слугою. А. И.

Костров С. Примечания: Письма А. Е. Измайлова князю Н. А. Цертелеву // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 40—42. — [Т.] I. Примечания

Письма печатаются по автографам А. Е. Измайлова; хранятся в ЦГАЛИ, ф. 2866, оп 2, ед. хр. 33.

- 1 «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», на третьем этапе существования (1816—1826). До 1822 г. называлось «Михайловским» — по месту собрания его членов (Михайловский замок); а также «Измайловским» — по имени своего председателя.
- 2 Хвостов Дмитрий Иванович (1756—1835) — граф-стихотворец; стяжал славу графомана, издав сочинения в семи томах и трех изданиях, из которых почти ничего не было куплено. Был человеком доброго нрава, за что и почитался современниками.
- 3 «Давний спор» — отрывок из «Журнала» князя Цертелева. Автограф хранится в ЦГАЛИ, ф. 2866, оп. 1, ед. хр. 22, лл. 8—10.
- 4 Измайлов после окончания Горного Кадетского корпуса в 1797 г. поступил в Министерство финансов, по ведомству которого прослужил до 1830 г.
- 5 Языков Дмитрий Иванович (1773—1845) — археограф, писатель и переводчик; с 1802 по 1833 г. служил в Министерстве Народного просвещения.
- 6 Федоров Борис Михайлович (1798—1875) — поэт, драматург, журналист.
- 7 Панаев Владимир Иванович (1792—1859) — поэт; служил в Министерстве юстиции и Министерстве Народного просвещения. С 1841 г. ординарный академик Российской Академии.
- 8 Остолопов Николай Федорович (1782—1833) — писатель, переводчик, составитель «Словаря Древней и Новой поэзии». Служил вице-губернатором в Вологде, а также в Министерстве Народного просвещения.
- 9 «Соревнователь Просвещения и Благотворения» — журнал, основанный в 1817 г. с целью издания трудов «Вольного общества любителей российской словесности».
- 10 Имеется в виду «Вольное общество любителей российской словесности», образованное 17 января 1816 г., и его председатель (с 1819 г.) — Ф. Н. Глинка.
- 11 Плавильщиков Василий Алексеевич (1768—1823) — книгопродавец, библиограф; по смерти завещал «дело» А. Ф. Смирдину.
- 12 Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — поэт-декабрист, литератор и редактор.
- 13 Воейков Александр Федорович (1779—1839) — литератор, издатель, переводчик; с 1822 по 1828 г. издавал журнал «Русский Инвалид». Свиныин Павел Петрович (1787—1839) — писатель, журналист, издатель; с 1818 по 1830 г. издавал журнал «Отечественные Записки».
- 14 Никитин Андрей Афанасьевич (1790—1859) — бессменный секретарь «Вольного общества любителей российской словесности»; преподаватель риторики, поэзии и мифологии в Горном Кадетском корпусе.
- 15 Измайлов цитирует статью А. А. Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года» («Полярная Звезда», 1823, с.10).
- 16 Русский дворянский род, происходящий из Австро-Сербии: Княжевич Александр Максимович (1792—1870) — министр финансов; Княжевич Дмитрии Максимович (1788—1844) — финансист, литератор, издатель; Княжевич Владислав Максимович (1798—1873) — литератор и переводчик.
- 17 «Северный Архив. Журнал истории, статистики и путешествий», издававшийся Ф. В. Булгариным в Петербурге с 1822 по 1828 г. Имел «Литературные листки» (1823—1824);

«Литературные Прибавления» выпускались «Сыном отечества».

18 Высшее Училище — учебное заведение, занимающее срединное положение между гимназией и университетом; образовано в Петербурге в начале XIX в.

19 Аладьин Егор Васильевич (1796—1860) — писатель, издатель «Невского Альманаха», выходявшего с 1825 по 1833 г. В 1-й книжке альманаха за 1825 г. был напечатан романс князя Цертелева «Не забудь меня, друг милый, друг бесценный!..»

20 Сомов Орест Михайлович (1793—1833) — писатель, критик, журналист, переводчик. Сотрудничал в «Сыне Отечества» у Греча и Булгарина, в «Северных Цветах» и «Литературной Газете» у Дельвига.

21 Российско-Американская компания — торговое объединение для освоения «Русской Америки» (1799—1868). Распущена в связи с продажей русских владений в Северной Америке.

22 Вероятно, речь идет о Франсуа-Шарле Пукевиле (1770—1838) — французском путешественнике и литераторе, чьи труды были популярны в России.

23 Яковлев Павел Лукьянович (1796—1835) — писатель; брат М. Л. Яковлева, лицейского товарища Пушкина, двоюродный племянник Измайлова.

24 Шишков Александр Семенович (1754—1841) — адмирал, министр народного просвещения с 1824 по 1828 г. Разработал и внедрил в жизнь знаменитый устав 1826 г.

25 В «Благонамеренном» (1825, № 4, с. 21—28) была помещена статья без подписи «О экзамене в пенсионе г. Годениуса. Письмо в Тамбов к кн. Н. А. Ц. СПб., 21 марта 1825». Можно предположить, что автор статьи — Измайлов.

26 Альманах «Календарь Муз» издавался Измайловым и П. Л. Яковлевым. Вышло два номера — в 1826 и 1827 гг. Под вторым номером подпись Измайлова не стояла.

27 Д. И. Языков стал директором Департамента народного просвещения в 1826 г.

28 «Сын Отечества. Журнал литературы, политики и современной истории» — издавался в Петербурге с 1812 по 1852 г. (с перерывом 1844—1847 гг.) С 1825 по 1828 г. журнал выходил два раза в месяц, его редакторами были Греч и Булгарин.

29 В «Благонамеренном» за 1825 г., дважды № 6, с. 239—250; № 19, с. 171—184) печатались статьи под заглавием «Дело от безделья, или Краткие замечания на современные журналы». Статьи без подписи. Вероятно, их автор Остолопов.

30 В. К. Кюхельбекер приехал в Петербург в 1825 г. после двухлетнего отсутствия. Из-за стесненные материальных обстоятельств сотрудничал в «Сыне Отечества» у Греча и Булгарина.

31 Корнилович Александр Осипович (1800—1834) — писатель-декабрист. Издавал в 1824 г. альманах «Русская Старина».

32 Елизавета Алексеевна (1779—1826) — императрица, супруга императора Александра I.

33 Евгений (Болховитинов Евфимий Алексеевич) (1767—1837) — митрополит Киевский и Галицкий; историк церкви, библиограф.

34 Мария Павловна (1786—1859) — великая княгиня, дочь императора Павла I. Художнически одаренная натура, с ярко выраженными способностями к живописи и музыке.

35 Измайлов передает широко распространенный в придворном и литературном кругах

Петербурга слух «об аневризме у Пушкина».

36 Львов Павел Юрьевич (1770—1825) — представитель сентиментального направления в русской литературе XVIII—XIX вв., член Российской Академии.

37 Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — книготорговец и издатель. Основал в 1834 г. «Библиотеку для Чтения», ставшую основой «толстых» журналов в России.

38—39 Привилегированные женские учебные заведения, находившиеся под личным покровительством Марии Федоровны.

40 Мария Федоровна (1759—1828) — вдовствующая императрица, супруга императора Павла I. 2 мая 1797 г. Мария Федоровна была назначена главной начальницею над воспитательными домами; все ее заботы были сосредоточены на женском образовании.

41 Александра Федоровна (1798—1860) — императрица, супруга императора Николая I.

42 Плетнев Петр Александрович (1792—1865) — поэт и критик. В 1840—1861 гг. — ректор Петербургского университета.

43 Шаховской Александр Александрович (1777—1846) — драматург и театральный деятель; Ежова Екатерина Ивановна (1787—1837) — актриса Петербургской драматической сцены.

44 Сомов служил под началом Рыльева в Российско-Американской компании. Жил в доме компании (в последнем нередко происходили собрания членов Тайного общества). Был арестован по подозрению в соучастии в заговоре, но после показаний Рыльева, Трубецкого и др., отрицавших его участие, освобожден после трехнедельного ареста.

45 Имеется в виду день похорон Александра I. 6 (18) марта 1826 г. печальная процессия прибыла из Царского Села в Петербург. Гроб с телом императора был выставлен в Казанском соборе на семидневное народное поклонение. Затем 13 (25) марта в 11 часов тело было перевезено в Петропавловский собор. В тот же день проходило отпевание и погребение.

46 Имеется в виду Павел Петрович Свинын (см. примеч. 13).

Публикация С. КОСТРОВА

Костров С. [Письма А. Е. Измайлова князю Н. А. Цертелеву] // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 32. — [Т.] I. Во второй половине 1860-х годов, незадолго до смерти, князь Николай Андреевич Цертелев (1790—1869) передал историку Петру Алексеевичу Бессонову (1828—1898) часть своего архива. В нем сохранились письма, отправленные князю Александром Ефимовичем Измайловым (1779—1831).

Измайлов-Баснописец — называли его петербургские литераторы; Измайлов Благонамеренный — подписывался он под письмами к друзьям. Звание Баснописец было присвоено ему не столько для того, чтобы отличить его от Измайлова-Переводчика*, сколько оттого, что читающая публика охотно раскупала его басни, разошедшиеся за 12 лет (1814—1826) в пяти изданиях. Измайлов слыл баснописцем хроническим, а стал хрестоматийным, третьим после Крылова и Хемницера.

Титул Благонамеренный Измайлов пожаловал себе сам. И по заслугам. Основав в 1818 году журнал «Благонамеренный», он один редактировал, издавал и распространял его вплоть до 1826 года**. Журнал был консервативным и политически и литературно, но барственно консервативным. Весь он был какой-то несобранный, нерегулярный, полудомашний, и все же — органичный, с принципами. Последние совпадали с принципами правого крыла Вольного

общества любителей словесности, наук и художеств, старейшим членом и лидером которого был Измайлов.

Одним из активных членов «Измайловского общества» был князь Цертелев; регулярный корреспондент «Благонамеренного», обычно подписывавший свои статьи и «писэсы» псевдонимом «Житель Васильевского Острова»***. Князь Николай Андреевич — фигура примечательная. Типичный литератор-любитель, он был первоклассным этнографом-профессионалом, исследователем малороссийской народной поэзии.

П. А. Бессонов, готовивший к изданию монографию****, посвященную жизни и деятельности князя, предполагал включить письма Измайлова в ее состав в качестве приложения. Однако опубликовать монографию Бессонов не сумел. И письма остались под спудом...

Теперь, спустя 90 лет, они перед нами. Их восемь. Крайние даты: 1822—1826 гг. Они могут быть условно разделены на группы (по месту пребывания адресата): «петербургскую» — 3 письма, 1822 года; «тамбовскую» — 5 писем 1823—1826 годов.

Письмо Ф. В. Булгарина к И. И. Глазунову

Булгарин Ф. В. Письмо Глазунову И. И., 21 декабря 1846 г. Санкт-Петербург / Публ. [вступ. ст. и примеч.] О. В. Николаевой // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 42—43. — [Т.] I.

Письмо Ф. В. Булгарина к И. И. Глазунову

Фаддей (Тадеуш) Венедиктович Булгарин — 24/VI (5/VII) 1789, имение Перышево, Минское воеводство Великого княжества Литовского — 1 (13)/IX 1859, имение Карлово, близ Дерпта — писатель, критик, издатель, один из первых профессиональных русских литераторов. Автор нравоописательных романов «Иван Выжигин» (1829), «Петр Иванович Выжигин» (1831), «Памятные записки титулярного советника Чухина» (1835), исторических романов «Дмитрий Самозванец» (1830) и «Мазепа» (1833—1834). Перу Булгарина принадлежат также бытоописательные повести, очерки, рассказы, философские сказки и аллегории, путевые заметки, фельетоны, памфлеты, критические обзоры, статьи по различным литературным, политическим, экономическим вопросам, воспоминания. В оценках литературно-общественных явлений бывал противоречив, но в целом придерживался консервативных убеждений. Значительной была его издательская деятельность. Он редактировал и издавал журналы «Северный Архив» (1822—1829; с 1825 — совм. с Н. И. Гречем), «Сын Отечества» (1825—1839, совм. с Н. И. Гречем; в 1829 объединен с «Северным Архивом» под названием «Сын Отечества и Северный Архив»), газету «Северная Пчела» (1825—1859) и т. д.

Публикуемое письмо весьма показательно для Булгарина; оно адресовано Илье Ивановичу Глазунову (1786—1849), который в 1831—1849 гг. возглавлял фирму Глазуновых в Петербургу — одну из старейших и наиболее крупных русских книгоиздательских и торговых фирм.

Ф. В. Булгарин — И. И. Глазунову

Милостивый государь Илья Иванович!

Зашел я в вашу лавку с М. Д. Ольхиным¹ и Песоцким², чтоб взять адрес-календарь и, не имея при себе бумажника, сказал, чтоб приказчик прислал ко мне на дом за деньгами. При сих словах сын ваш³ скрылся, а вечно пьяный старый приказчик⁴ (которого прозвания низкого и знать не хочу) с развратной рожой объявил мне, что в долг мне не даст — и М. Д. Ольхин должен был взять книгу. Я хотел сам отвезть их к вам и припомнить, что ваша лавка не имеет права не верить мне, ибо никогда не бывал вам должен, а напротив, они забирали Пчелу⁵ в долг и до конца года не платили, оборачивая нашими деньгами. Нажитое вами богатство и почетное гражданство —

перед вами, но такие поступки: человеком, который многие годы верил вам тысячи и сам никогда не бывал должен, не делают почета вашему имени. Сын ваш мне жалок, получив такое воспитание, а приказчик презрителен!

Уведомляю вас обо всем сем ваш слуга

21 декабря 1846

Спб. Ф. Булгарин

Примечания

Письмо Ф. В. Булгарина И. И. Глазунову хранится в ОРФ ГЛМ (ф. 243, РОФ 1708).

1 Ольхин Матвей Дмитриевич (1806—1853) — основатель книгоиздательской и торговой фирмы в Петербурге «Ольхин и К°». В 1842 г. в его руки от А. Ф. Смирдина перешел журнал «Библиотека для Чтения». Булгарин покровительствовал Ольхину и рекламировал его в своей газете.

2 Видимо, Песоцкий Иван Петрович (? — 1850) — петербургский книгопродавец, основатель журнала «Репертуар».

3 У И. И. Глазунова было трое сыновей. Двое младших занимались книжной торговлей в Москве. Старший — Иван Ильич (1826—1889) возглавлял фирму после смерти отца; в 1881—1885 гг. занимал пост петербургского городского головы.

4 Приказчиком в книжной лавке Глазуновых (находилась в Гостином дворе по Суконной линии) в течение многих лет служил Василий Петрович Поляков.

5 Газета «Северная Пчела».

Публикация О. В. НИКОЛАЕВОЙ

Письмо В. А. Жуковского к А. Я. Булгакову

Жуковский В. А. Письмо Булгакову А. Я., 3/15 марта 1850 г. Баден-Баден / [Вступ. ст. и примеч. С. Г. Блинова, С. Д. Воронина, В. М. Мельникова, А. Л. Налепина, М. Д. Филина] // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 43—45. — [Т.] I.

Среди эпистолярного наследия Василия Андреевича Жуковского его письма к Александру Яковлевичу Булгакову (1781—1863), писанные из-за границы, занимают особое место. И дело не только в гениальности Жуковского, но и в уникальности Булгакова. Суть в том, что большая доля писем, отправляемых корреспондентами в Москву, проходила через руки, а подчас даже через глаза московского почт-директора, коим с 1832 по 1856 г. пребывал Александр Яковлевич. Помня о роли, которую играла переписка в общении между людьми века XIX, можно представить, какой полнотой информации о своих современниках волею-неволею обладал этот человек.

Одно из таких писем, отправленное 67-летним поэтом-романтиком в Москву из Бадена, сохранилось в коллекции Ю. Г. Оксмана*. Письмо известно, публиковалось в извлечениях; но не публиковалось полностью. Написанное 3/15 марта 1850 г., оно дышит воздухом годов 1810-х, напоминает о славной череде лет «арзамаских», о душевной младости, которую до конца дней своих хранили и Сверчок и Светлана...*.

В. А. Жуковский — А. Я. Булгакову

Возвратился ли ты наконец из Петербурга, мой добрый Александр? И твои письма, и приложенные к ним письма от моих я получил, и благодарю тебя сердечно. Но не благодарю за то, что ты все меня величаешь ленивцем, тогда как я довольно часто пишу к тебе. Правда многие мои письма весьма недлины — но ведь для длинных писем у меня совсем нет материалов. Я веду жизнь уединенную, о том, что у меня дома делается сказано один раз навсегда: мир домашний. Об болезни жены говорить не хочется — тяжело и грустно. И тем более тяжело, что эта болезнь, несчастье сама по себе, приковывает меня уже несколько лет к заграничному, противному мне житию, а вы все попрекаете мне, что я забыл Русь, и все бредите (чтобы только что-нибудь сказать), что я совсем решился покинуть отечество. На такие бредни и рука не подыметься отвечать. Писать о политике?.. чтоб чорт побрал эту собаку политику с архисобакою Пальмерстоном¹ и со всеми комунистами²: красными, черными и оранжевыми и канительными (как говаривал во время оно наш домашний дурак Варлашка)! Меня всякий раз тошнит, когда приносят мне газеты. Покойный Франкфуртский парламент сделал одно доброе дело: я подписался на стенографические протоколы его заседаний, и вот уже более года как подтираю ежедневно жопу этими протоколами: бумага мягкая, немецкие речи длинны, скопилась ужасная кипа очистительных подтирок, и, так как, все эти немецкие речи имеют сродство с тем, что у меня каждое утро выходит противоположным полюсом тому, из которого в начале своем эти речи исходили, то и вышло, что с тех пор, как началась эта операция в низких регионах телесного моего состава, т. е. с тех пор, как я немецким парламентом подтираю свою русскую жопу, мои запоры прекратились, и никогда не производил я таких огромных кренделей моим задом, какие производжу теперь во славу Германского союза. Ты видишь однако, что и эта ежедневная операция может служить материалом только для одного письма — остальное время мое посвящено такому делу, которое со временем дойдет до тебя печатное³, следственно, оно еще менее годится для писем.

Хорош и Вяземский⁴; он пишет из Константинополя в Петербург длинные письма о том, что я не пишу к нему из Бадена; а сам ко мне не пишет. Пошли ему это письмо для прочтения. А чтобы вы знали обо мне что-нибудь неполитическое, скажи, что я остаюсь в Бадене до конца июня, потом на 6 недель в Остенду или в Скевенинген⁵; оттуда на зиму в Ревель. Следовательно, если Бог велит, и если опять болезнь жены не привинтит меня к какому-нибудь углу в Германии, мы увидимся будущей зимою; это значит, что я побываю в Петербурге и в Москве пока один без жены — а потом Бог скажет что.

Прости, обнимаю

3/15 марта 1850.

Баден-Баден

Жуковский

Примечания

Письмо печатается по автографу В. А. Жуковского; хранится в ЦГАЛИ, ф. 2567, оп. 2, ед. хр. 282.

¹ Пальмерстон, лорд Генри-Джон Темпл (1784—1865) — весьма почитаемый английский государственный деятель; происходил из старинной ирландской семьи. В 1830 г. принял портфель министра по иностранным делам и держал его до 1851 г. Пользовался международным авторитетом; Крымская война (1853—1856 гг.) была в значительной степени делом его рук.

² Так в тексте. ³ Вероятно, имеется в виду работа над поэмой «Странствующий Жид», которая была задумана в 1831 г.; в конце 1840-х годов были написаны первые 30 стихов. Поэма не была окончена.

4 Имеется в виду князь Петр Андреевич Вяземский (1792—1878) — поэт, литератор; близкий друг Жуковского.

5 Шевенинген (Скевенинген) — рыбацья деревня около Гааги, посещаемая для купаний с 1818 г. От Остенде отличалась дороговизной жизни и публикой — более солидной и семейной.

Воспоминания П. И. Бартенева

Бартенов П. И. Воспоминания / Публ. [вступ. ст. и примеч.] А. Д. Зайцева // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 47—95. — [Т.] I.

Петр Иванович Бартенов (1.10.1829, с. Королевщина Тамбовской губернии — 22.10.1912, Москва) — историк, археограф, библиограф. Происходил из старинной дворянской семьи. В 1851 г. окончил историко-филологический факультет Московского Университета.

В начале 1850-х годов Бартенов познакомился с П. А. Вяземским, П. А. Плетневым, С. А. Соболевским, П. В. Нащокиным и другими современниками Пушкина и одним из первых приступил к собиранию документов о жизни и творчестве поэта. В те годы Бартенов служил в Московском архиве Министерства иностранных дел, заведовал журналом «Москвитянин», сотрудничал в журнале «Русская Беседа», где сблизился со славянофилами (А. С. Хомяковым, братьями Киреевскими, семьей Аксаковых). В 1856 г. Бартенов издал «Собрание писем царя Алексея Михайловича» — свой первый значительный археографический опыт. Спустя два года он оставил службу в архиве и совершил поездку по ряду стран Западной Европы. В Лондоне встретился с А. И. Герценом, которому передал для издания копию «Записок» императрицы Екатерины II и некоторые другие материалы по русской истории.

С 1859 по 1873 г. Бартенов заведовал Чертковской библиотекой в Москве, подготовил и опубликовал ее каталог. К этому же времени относится его знакомство с Л. Н. Толстым, по просьбе которого Бартенов консультировал и редактировал 1-е издание романа «Война и мир». В 1863 г. Бартенов основал исторический журнал «Русский Архив», издателем и составителем которого оставался до самой смерти. Кроме того, подготовил и издал сборники: «Осьмнадцатый век» (кн. 1—4, 1868—1869), «Девятнадцатый век» (кн. 1—2, 1870—1875), «Архив князя Воронцова» (кн. 1—40, 1870—1895) и другие, ввел в научный оборот значительные комплексы исторических источников, главным образом XVIII—XIX веков; материалы, связанные с Пушкиным («Пушкин в Южной России. Материалы для биографии», М., 1862; «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеновым», Л., 1925), движением декабристов. Бартенов составил библиографические указатели к периодическим изданиям «Русская Беседа», «Москвитянин», изданиям Московского Общества истории и древностей Российских и другим. Состоял членом многих научных и общественных организаций, в том числе Московского Славянского благотворительного комитета (с 1858 г.), Общества любителей российской словесности (с 1859 г.), Русского Исторического общества (с 1867), Московского Археологического общества (с 1873 г., с 1871 — член-корреспондент), Общества любителей древней письменности (с 1888 г.).

Публикуемые воспоминания Бартенева продиктованы им в 1910 году дочери и охватывают период с конца XVIII века до конца 1850-х годов.

См. иллюстрацию

Родился 1-го Октября 1829 года в сельце Королевщине, в 2-х верстах от нынешней большой

железнодорожной станции Грязи. Название Королевщина, должно быть, происходит от поселившегося там какого-нибудь Корела или, может быть, первоначальный поселенец носил прозвище Короля.

Королевщина лежит на речке Байгора, которая неподалеку впадает в довольно большую речку Матыру, а эта — в реку Воронеж, приток Дона. Байгора обильна рыбою. Бывало маменька¹ прикажет старику Прокофию после вечернего чая наловить рыбы, и он перед ужином приносит целое ведро ея; маменька при себе велит откинуть мелкую рыбу, а чудесные окуни, ерши, караси идут на ужин. Хотя Королевщина на некотором возвышении, но в ростепель постройки заливались, и приходилось из кухни в дом ездить на лодке. Дорога в церковь в село Грязи, верстах в 2-х, обыкновенно бывала грязная, а мост через Матыру, из набросанных сучьев и соломы, трясучий. В дурную погоду надо, бывало, добираться в церковь объездом на мельницу, принадлежавшую соседним помещикам Бланкам.

На кладбище тогдашней убогой церкви до сих пор камень, на котором уцелела выдолбленная надпись о том, что под ним лежит моя прабабка Прасковья Тихоновна Бурцева, рожденная Салькова. У нее был единственный сын, мой дед, Петр Тимофеевич Бурцев, с ранних пор находившийся на военной службе, а его отец, Тимофей Иванович, ушел неведомо куда, так что Прасковья Тихоновна жила в одиночестве. Впоследствии открылось, что муж ее ушел в Новгородские места и там принял монашество. Брат мой, Михаил Иванович, вместо деревянной построил каменную церковь и на кладбище лег возле застрелившегося старшего сына своего Николая. Там же теперь и жена его, Екатерина Андреевна, кроме того, мой двоюродный брат Саша Зейдель.

Крестил меня Грязинский священник отец Абрам, толстый, низенький и неуклюжий, но благоговейный. Дьяконом был его сын Алексей Абрамович, довольно высокий и уже несколько начитанный; оба они нередко служили у нас на дому всенощные. Любил я очень нашу Королевщину с ее огромными березами дедушкиной посадки у самого дома, а через грязный проезд был сад со всякою овощью и множеством яблок. Тут, при самом входе направо, одна яблоня называлась маменькиною с отменно сладкими яблоками, а налево тетенькины яблоки «репка». В саду было множество розанов. Но мы живали в этой деревне только летом, остальное время проводили в 25-ти верстах оттуда в г. Липецке на Дворянской улице с прекрасным видом на огромное озеро. Улица была на значительном возвышении, и под горою церковь и так называемый «Живоносный Источник» с чудесною водою, которую можно было пить сколько угодно. Тетенька Надежда Петровна часто водила меня туда к обедне, которую служил благообразный молодой священник отец Зиновий. Он позволял мне иногда стоять в алтаре, и его служение западало мне в душу. У тетеньки в кармане всегда бывал стакан, и мы пили воду из живоносного источника. Не понимаю, как мог я, уже с костылем, спускаться туда и карабкаться вверх домой. Наверху был чудесный, так называемый «казенный сад» со скамейками. Сидя там, я любовался видом на озеро и на село Студенки влево. По правой стороне внизу находилось заведение железно-минеральных вод, открытых Петром Великим, которому памятник поставлен откупщиком Небучиновым на полугоре, когда ехать с Дворянской улицы вниз в торговую часть города. Вообще Липецк очень живописен, и, сопровождавший в 1837 году Наследника Александра Николаевича, В. А. Жуковский занес в свой дорожный альбом два вида нашего Липецка с его прекрасным собором, об украшении которого стеною живописью заботился Петр Лукич Вельяминов, приятель Державина. Там в левом приделе венчалась моя мать и там же ее отпевали. На Липецком кладбище у меня не сколько дорогих могил, начиная с незнакомых мне лично, но свято чтимых, дедушки Петра Тимофеевича и бабушки Екатерины Дмитриевны, родом Кадышевой (а ее мать была родом княжна Звенигородская). Она венчалась в Москве с вышедшим в отставку дедом моим, которому принесла довольно значительное состояние и, между прочим, Князевку, рядом с Шереметьевскою Баландою в Аткарском уезде, Саратовской губернии. У них было 22 человека детей, из которых достигли зрелого возраста два сына и четыре дочери. Старший, Алексей Петрович, воспетый Давыдовым и князем Вяземским: «Бурцев — ера, забияка», ротмистр Белорусского гусарского полка, храбрый воин, в пьяном

виде наскочивший на какую-то загородку в городе Бобруйске в 1815 году; у маменьки в

календаре было записано о нем: дано попу Ивану столько-то рублей за сорокоуст по братце Алексее Петровиче.

Другой сын, Марк Петрович, был человек тихий и служил по гражданской части на Кавказе у графа Гудовича. К сожалению моему наши родовые бумаги остались у брата моего Михаила Ивановича.

Дедушка был городничим сначала в Павловске Воронежской губернии, где подружился и покумился с тамошним соборным протоиереем, знаменитым впоследствии Киевским митрополитом Евгением, которого родственник Александров Василий Дмитриевич женился на старшей дочери моего деда Александре Петровне и был родоначальником жены моей Софии Даниловны. От него унаследовал любовь к музыке (он был скрипач) правнук его Николай Федорович Змиев и праправнук сын мой Сергей Петрович Бартенев. Дедушка с воцарением Павла покинул службу, но прожил еще 25 лет и умер в 1826 году, говорят, свыше 100 лет от роду в полной бодрости. Он простудился, представляясь какому-то проезжему знатному лицу и для того сменивши свой тулупчик на мундирную одежду. Державин, в восьмидесятых годах бывший губернатором Тамбовским², останавливался в Липецке у моего дедушки. Тетка моя Надежда Петровна любила вспоминать про него и про его первую супругу Екатерину Яковлевну (рожденную Бастидонову, дочь Португальца Бастидона и кормилицы великого князя Павла Петровича). Тетка вспоминала также, как долго дожидались Гаврилу Романовича к обеду. Он не отпускал никого из приходивших к нему с жалобами и нуждою и, приходя к обеду, говорил: «Я помню, как с покойницею матушкою моею простаивали мы целые часы у Казанского воеводы, дожидаясь его появления». Стихи Державина стали мне известны с самого младенчества. В гимназии я читал наизусть долговязую оду «Водопад».

Деревянный дом наш на Дворянской был насупротив дома моей тетки Ольги Петровны, через улицу, прекрасно вымощенную, по которой, бывало, в ранние послеобеденные часы происходили катанья зажиточных обитателей Липецка. Сидя у окошка с тетенькою в гостиной, я узнавал от нее имена проезжавших, и вообще все домовладельцы длинной Дворянской улицы стали мне известны, так что я теперь могу всех их перечислить. С тетушкою же проводил я целые часы, читая ей вслух всякого рода старинные повести и романы, которые мы брали у Михаила Яковлевича Головнина. Сиднем прожил я несколько лет сряду, охромевши еще до 1839 года. Лестница наверх дома, где были кладовые, была крутая и темная, туда складывали из деревни яблоки и другие плоды; спускаясь оттуда, я упал и расшиб себе чашку на правой ноге. У маменьки хранился целый ряд моих костылей. Ногу обкладывали мне свинцом и глиною I уксусом; лечили меня и бардою³, для чего я гащивал у Масловых в соседней с Королевщиною Кузовке; там жила приятельница моей матери Наталья Ивановна Маслова, рожденная Вандер, дочь врача при минеральных водах. Супруг же ее Александр Селиверстович был старый вояка и запивоха; помню серебряную медаль 1812 года, с которой он стаивал в церкви. У него было несколько дочерей и единственный сын Лаврочка, которого он отдал учиться в Рязань в пансион при гимназии. Моя мать последовала его примеру, и в марте 1841 года Маслов отвез меня и Николая Федоровича Змиева (сын моей двоюродной сестры Екатерины Васильевны Змиевой, рожденной Александровой). Мы ехали втроем в огромном возке, и Маслов заставлял нас, проездом через деревни, считать число изб, одного по правую руку, другого по левую. Ехали мы разумеется, на своих с большими остановками. В Тамбове еще не было тогда пансиона при гимназии, а в Рязань послали меня еще потому, что мать директора тамошней гимназии Мария Павловна Семенова была родная сестра Варваре Петровне Усовой, которая жила по соседству с нами в Елизаветине у дочери своей Анны Григорьевны Бланк (матери будущего моего зятя Петра Борисовича). Обе эти благочестивые старушки, рожденные Бунины, были нашими старинными знакомыми. Маменька вздумала, было, по тогдашним порядкам задобрить в мою пользу инспектора гимназии Карла Ивановича Шиллинга присылкою ему лошади из нашего завода, но хотя мне шел тогда всего 12-й год, я возмутился этим и просил этого не делать.

О гимназии впереди. А теперь припомню ранние события в моей жизни. Отец мой, Иван Осипович, уроженец Костромской губернии, где у него было небольшое имение на границе Буйского и Солигаличского уездов, скончался 21 июля 1834 года, и я немного его помню. Бывало, по утрам посадит он меня к себе за пазуху в большом курпичковом халате и ходит со мной по нашему обширному двору, за которым была у нас целая роща, а налево большая сажалка с рыбою. Звал он меня Петруханом. Помню как привезли его в Липецк из Королевщины; на пути, в так называемом Передельце, верстах в 7-ми от Липецка, постиг его удар, и мне памятно, как водили меня к нему, лежавшему в кабинете, проститься, как выложили его на стол посередине нашей столовой комнаты и под стол подставили корыто со льдом, так как жара стояла страшная. Помню, как за доктором послан был верховым служитель тетушки Надежды Петровны Николай Алексеевич, которого сбросила с себя лошадь и сильно ушибла. Отца хоронили с военной музыкой, так как он состоял в чине подполковника. Он был очень высокого роста и силы необыкновенной. Выбрали его судьей, и протоколисту он сказал наперед, что ежели начнутся взятки, то он его отколотит. Уличенный слуга Фемиды действительно был крепко избит и потом во все трехлетие службы не происходило никаких злоупотреблений. В городе его уважали; купец Ослин вызвался позаботиться о железной надгробной доске ему на Липецком кладбище. Любимая его лошадь «Гнедая» плакала на его похоронах, и с тех пор маменька приказывала запрягать ее только в беговые дрожки, когда, сама правя, объезжала она поля, сопровождаемая верховым старостою Степаном и, к особенному моему удовольствию, мною на задней половине дрожек. На конюшне у нас в городе стояло 12 лошадей, а в деревне процветал конский завод, для которого еще дедушка приобретал Мекленбургских жеребцов.

Состояние наше было избыточное и без всяких долгов, напротив, с возможностью помогать соседям, а в городе бедным людям. Благосостоянию содействовала и жившая с нами незамужняя тетка моя Надежда Петровна, бережливая до скупости и в то же время по 10 коп. с получаемого рубля отчислявшая для бедных.

Брата моего Михаила (на три года меня старше), любимца отца и матери, поручили некоему Николаю Ивановичу Арендаренке (позднее Архангельскому губернатору) отвезти в Петербург в Кадетский 2-й корпус, где он и оставался до самого 1849 года, так что мое детство прошло врозь с ним, но я любил его чрезмерно. В следующем 1837 году началось наше разорение с выходом в замужество старшей сестры моей Аполлинарии за Платона Александровича Барсукова, великого мастера «поньрять в дома и уловлять жены»; мелким угодничеством умел он обворозить свою тещу и ее сестру (т. е. Надежду Петровну), и хоть у отца его было свое хорошее имение в Меринковском уезде Владимирской губернии, но он предпочел остаться на наших хлебах до самого 1846 года, постепенно разоряя наше благосостояние и тайком совершивши купчую на свое имя, когда маменька в приданое его жене и своей любимице купила сельцо Алексеевку.

Затем брат Михаил Иванович, определившись в кирасиры и сделавшись ремонтером, потребовал себе 5000 руб., а через несколько времени написал, что пустит себе пулю в лоб, если не пришлют ему еще 5000 р. Помню слезы матери и сестры моей Сарры; тогда спасла нас, дав взаймы, соседка по деревни Погенпола. Сестра моя производила часто детей и в то же время предавалась всякого рода излишествами и роскоши. Кончила она страшно. Утром 11 июня 1844 года за чаем сестра Сарра говорит: «какой ужасный сон я видела: тебя, Полина, везут по улице с оторванной головою». В это же утро Полина в фаэтоне парном поехала вниз покупать какие-то наряды. Не доезжая туда, дышло сломалось, лошади стали бить, выбросили сестру мою и потом по ней проезжались, пока их не распрягли; голова ее, действительно, висела на туловище. Из четырех сыновей ее младшему было не более 2-х лет, они оставались и с отцом у нас, пока их папаша не нашел себе новое место праздной и разоряющей жизни. Его женила на себе перезрелая Варвара Герасимовна Каратеева. Платоха взял детей в ее дом и начал торговать ими, т. е. привозил к бабушке за известное вознаграждение. Бабушка же души в них не чаяла. Старшего, Николая, отдали в Воронежский Кадетский Корпус, второй поступил в Тверь в юнкерское училище, Иван же в какую-то Петербургскую гимназию, а самый младший, Михаил, в Морской Корпус, откуда он перешел в таможенное ведомство. Приезжать домой они не смели иначе, как с подарками; а когда Михаил в течение нескольких месяцев ничем не отзывался, отец написал к его начальнику

письмо с просьбой доставить ему пожитки сына, так как он, конечно, уже умер. К великой чести

его сыновей надо сказать, что никто из них и никогда не роптал и они свято несли свой крест, оказывая отцу наружное почтение, хотя в доме мачехи получали побои от ее матери Глафиры Ивановны (рожденной Сальковой).

В конце концов мы так обедняли, что иной раз не на что было купить чаю и сахару. За меня в Рязань и за сестру Катю в Тамбовский институт платила благодетельная тетушка Надежда Петровна, но каково было выпрашивать у нее, скупой и скопидомливой. Иногда она невзначай положит деньги на умывальный столик матери моей.

Прежде чем говорить о Рязанском пансионе, расскажу про нашу жизнь. Дом в Липецке, построенный моим дедом и где он скончался в 1826 году, не пережив на год бабушку, был довольно тесен, так что сестра Полина с мужем не имели особого помещения, и постели для них ежедневно готовили на полу в гостиной. Я спал на диванчике в маменькиной спальне очень близко от ее большой кровати с высокими пуховиками (в изголовьи стояло судно и это не возбуждало ни малейшего ни в ком неудовольствия). Тем не менее у нее в спальне было чрезвычайно чисто. По утрам ежедневно носили разожженный до красна кирпич и поливали его уксусом или квасом, а лежавшая на нем мята или чебер разливали благоухание. Деревянный некрашенный пол мыли чуть ли не по два раза в неделю; форточек не было; окна на ночь закрывались ставнями снаружи и во всех комнатах было очень тепло. Маменька вставала несколько позднее всех, и мы дожидались ее появления из спальни в узенькую комнату, где ждал ее самовар и две кастрюли со сливками, одна с пенками, а другая для младших членов семьи пожиже. Тетенька приходила туда, когда уже все напились чаю и обыкновенно сливала оставшийся чай в бутылку, и это поступало в большие уксусные бутылки, куда добавляли еще остатки от варенья; помню большие уксусные гнезда в этих бутылках, стоявших в столовой. После чая маменька читала одну главу из Евангелия, которое потом я нес тетеньке в ее маленькую комнату; она читала по три главы и я иногда прислушивался. После чаю же отдавались приказания по кухне, выдавалась мука или пшено из стоявшего в чайной комнате большого с ящичками шкапа. Тут приходила Евдокимовна, необыкновенно милая и чистоплотная старушка, обыкновенно сидевшая в теплых сенях на донце и прявшая пряжу. Большую же девичью занимали две или три горничные кружевницы, мои приятельницы, которым не воспрещалось петь песни. Милая Феклуша сидела на лавке у окна подле погребца, где хранились банки с вареньем, моченые и в банках запасенные яблоки (которых иногда доставало до самого Петрова дня будущего года) и мед, разлитый в бутылки. Его давали нам изредка. К числу горничных принадлежала также ходившая за мною по кончине старой моей няни Марии Васильевны (как я плакал об ней! Она умерла, когда я уже был в пансионе) всегда веселая, говорившая пословицами либо двустихьями из разрезанного на конфетных бумажках Евгения Онегина, Маргарита. Бывало, за ужином я откладывал для нее кусочки жаркого или пирожного. Муж ее бежал, и она певала: «Я ни девка, я ни баба, ни солдатская жена». В передней у нас Никита, точа сапоги или приготавливая сеть для ловли рыбы, тоже распевал что-то, но и ему за какую-нибудь провинность доставались пощечины от моей матери, равно как и горничным, когда у них на плетевых подушках оказывалось мало сработано коклюшками. Помню, как горничные обедали: из одной чаши одной и той же ложкою и притом не иначе, как стоя, ели они приносимое им из кухни нашей. Была еще другая кухня в особом здании над погребами. Там жили люди тетенькины, старик повар Трофим с женою и двумя дочерьми, из которых одна, Евгеша, была за помянутым выше Николаем, а другая, хохотунья, была горничной у тетеньки, для которой почти ежедневно готовилось особое кушанье. Трофим славился приготовлением ботвиньи из вареного квасу. Николай ежедневно в 4 часа являлся за стаканом нашей чудесной воды из живоносного источника для тетеньки, которая в это время переходила в гостиную и усаживалась у окошка со своим ридикюлем, где лежали ее табакерка и медные деньги для подачи нищим. Кроме того, она вязала, и притом на трех спицах, носки и выручаемые на них деньги шли тоже нищим. Она очень любила читать, а писать научилась сама, выводя буквы мелом на деревянных скамеечках, которые ставились около покойной бабушки. Была она строгая постница, не кушала вовсе пять пятниц в году, но в среды и пятницы (только не Великим постом) кушала рыб. Мастерица она

...минца в еду, но в деревне и минца (домашнее варенье) повариха не делала, ну каша рисовая, мажоранца она была готовить кашу и бывало за обедом, сидя по правую сторону моей матери, подавала ей

этой каши или другого какого блюда, говоря: «Откушай, сестрица». Ее любовь к матери была даже стеснительна. Она не отпускала ее из Липецка в деревню иначе, как после долгих просьб, а когда решалась ехать с ней, то в 4-х местную карету впрягались шесть крестьянских лошадей, приводимых с Высокого Поля, доставшегося на ее долю дедушкиного имения, которое в народе слывет под названием «Бурцево» (это уже Усманского уезда, верстах в 25-ти от Королевщины). То-то была наша с сестрою Катенькою радость, когда мы перебирались в деревню, хотя там помещение было теснее городского, и мне доставалось спать на сундуке с маменькиным платьем подле самой печки и рядом с фортепьяно, на котором играла сестра Сарра Ивановна мои любимые: «Польский» Огинского, «Кадриль» Гудовича, вальс Пестеля. Сестру учил некто чей-то крепостной Артамон Иванович, но она сама много занималась, и ее игра была не совсем правильная, но всегда выразительная и задушевная. В этой довольно большой комнате с цветными кафелями узорчатой печи в переднем углу стоял простой деревянный крашенный стол, место моих занятий, которым я предавался с усердием, вызываемым, может быть, самою хромотою моею. Я охотник бывал и до женских рукоделий; бывало, я в одно и то же время читаю книгу и разматываю мотки пряжи. В деревне приходила ко мне моя кормилица Дарья и всякий раз приносила в горшке очень жирных пшеничных блинчиков, а я ее одаривал конфетами. Мне шел 10-й год, когда всему нашему семейству пришлось на много месяцев переселиться в Королевщину: в мае 1839 года Липецкий дом наш сгорел до тла, равно как и дом через улицу тетюшки Ольги Петровны Зейдель. Плотник Рязанец построил нам на том же самом месте прекрасный деревянный же дом много больше прежнего, с так называемым мезонином, где поселилась сестра Полина с детьми. Зейдели же выстроили себе дом каменный и тоже весьма просторный, хотя для них это не было особенно нужно, так как у них осталось с ними жить глухонемому сыну Николаю и дочери Софии Николаевне, которая много лет позднее вышла замуж за вдовца Липецкого казначея Петра Абакумовича Трунцевского. Красота матери и отца достались не ей, а старшей сестре Анне Николаевне, которая против воли родителей бежала и вышла замуж за Авксентьева и большую часть жизни прожила в Малороссии. Брат их, Саша, тоже был хорош собою. Даровитый 16-ти летний мальчик, утонул он в Кузовке, не в силах справиться с набежавшею вследствие прорыва мельничной плотины волною. Это страшное горе произошло в том же 1839 году.

Наши обе семьи жили, как одна. Даже кушанья иногда пересылались через улицу из одного дома в другой. Тетюшка Ольга Петровна вставала рано, а я бегал к ней пить ее чудесный кофе. Она была простовата умом, но необыкновенно доброго сердца и давала полную волю своему непутевому супругу, сыну Шадринского аптекаря Францу Ивановичу Зейделю. Он служил в войсках и после 12-го года получил должность Липецкого городничего. Отец мой звал его «Хранц Косорылый» (они были совершенно разных нравов). Он принял православие и стал называться Николаем Ивановичем. Лично мне он никогда не делал ничего худого, звал я его дяденькою, но доверия ему никогда не оказывал. Глухонемого двоюродного братца мы любили за его добродушие.

За два года до пожара 4-го февраля произошла свадьба сестры Полины. В гостиной круглый стол весь был уставлен сладостями, и мне сшили красный кафтанчик, а я обрывал искусственные цветы с этого стола и подкушивал сладостей. Платоха сделался хозяином в нашем доме и кроме водки перед обедом повадился еще к рюмочке раньше, и тетенька подливала чаю в графин с водкой, и из экономии, и к обузданию бездельника. Обедывали мы всегда в 12 часов; стол накрывал Прокофий, а за столом служили Иван Горячий, да у тетеньки ее Николай. В деревне еще кто-то обмахивал павлиньими перьями нашу трапезу. По субботам маменька обыкновенно осматривала всю нашу обширную усадьбу, начиная с кухни и людской, бани, большого погреба, ветчинной, кладовой, конюшни и сарая; в виде милости позволялось мне сопровождать ее. Каждый месяц служилась у нас всенощная и кропились святой водой все комнаты. В церковь же маменька езжала редко и всякий раз торжественно в карете с фереитером, т. е. в четыре лошади. Меня посылала она ставить свечки, а по окончании службы ходили мы прикладываться к образам. Соборный священник отец Андрей был благообразный старец, дочь его была за богатым купцом

Соборный священник отец Андрей был самым образованным старцем, до него была за богатым купцом Хренниковым. Второй священник, толстый и высокого роста Филипп, запивал, но был человек

задушевного благочестия. Среднего между ними нрава был третий священник, отец Стефан, у которого мы числились в пастве.

С мая 1839 года, пока строился дом, нашим прибежищем в Липецке был на Дворянской же улице дом двоюродной моей сестры, вдовы моего крестного отца Павла Павловича Шишкина, бездетной и очень умной Анны Васильевны. Она вызвала к себе своего племянника, мне сверстника, Николая Федоровича Змиева. Я переехал к ней из деревни, и начали мы учиться под руководством штат смотрителя Ивана Григорьевича Чарницкого. Он некогда был надзирателем в Москве в Университетском Благородном Пансионе. За его благочестие женила его на себе некая Хрущова. У Анны Васильевны кормились мы плохо, но старушка Евдокимовна, жившая у нас на пожарище с коровой, бывало, принашивала нам молока и простокваши. В марте 1841 года из Королевщины Маслов повез меня и Змиева в Рязань. Матушка написала письмо директору с уверенностью, что меня примут в 3-й класс; оказалось, что я не готов даже в 1-й. Меня приняли в пригготовительный, и мне памятно, сколько слез пролил я над 3-м склонением Латинского языка.

Там пробыл я до конца июня месяца 1847 года, уезжая на лето, а иногда и к Рождеству домой. В пансионе же никто решительно меня не навещал в эти годы моего школьничества. Хотя кормили нас хорошо, но я был одним из наиболее бедных учеников, так как мне давали всего по 5 рублей ассигнациями на год. «Посылаю тебе на твои депансы столько-то рублей». Бывало, пошлю старика сторожа купить мне так называемых рожков или мятных пряников, уйду в какую-нибудь из пустых классных комнат и благодушествоую за книгой и этим лакомством, особенно когда удавалось достать какую-нибудь не учебную книгу: не только романы, но и сочинения лучших писателей не позволялось нам читать. Мы вставали, кроме дней праздничных, всегда без четверти 5 часов; в четверть часа умывались из огромного умывальника, куда входило не одно ведро воды, и к 5-ти часам были уже в огромной комнате с хорами на молитве, которую читали поочередно. Было нас человек 100, и готовили мы уроки до 7-ми часов в соседней, тоже огромной комнате. В 7 часов вся наша ватага спускалась вниз в большую столовую к стакану чая с большою булкой. С 9-ти часов начинались классы, а к часу все выстраивались, и главный надзиратель Карл Иванович Босс осматривал нас; если у кого-то запачканы руки, тот получал по ним удар и выгонялся мыть их. Обед из 3-х блюд был всегда сытный, и на нашего эконома Николая Ивановича Эдельсона, коего два сына, Аполлон и Аркаша, учились вместе с нами, жаловаться нельзя. Кушанья за все шесть лет были назначены по дням одни и те же, так что во всякий вторник, например, давали нам говядину с хреном, а во всякий четверг — большие пирожки с луком, нами очень любимые до того, что охотники покушать выменивали их на листы казенной бумаги или карандаши, а надзиратели наказывали: «в четверг без пирожка». От 2-х до 4-х опять классы, затем после чаю, уже без хлеба, садились до 8-ми часов готовить уроки, в 8 ужин, а в 9 часов уже все спало. Наша главная спальня (их было несколько) выходила окнами в обширный общественный сад, где бывало гульбище и раздавалась музыка. У нас с противоположного конца был свой небольшой сад и прекрасный двор, где ученики играли в лапту. Внизу этого обширного здания была квартира инспектора гимназии Карла Карловича Шиллинга, а потом, когда он сделался директором, то его преемника Ефима Егоровича Егорова — математика, а также жил эконом и кто-то из надзирателей. Главный же надзиратель Карл Иванович Босс помещался в небольших антресолях, и к нему вела высокая лестница. Не помню, когда бы опоздал он с большим поддужным колокольчиком, которым будил он, бегал по спальням, где по ночам дежурили другие надзиратели. Ежели кто к 5 часам не являлся на молитву, то значило, что он болен и должен идти в больницу, чего весьма не хотелось, так как там еда была скудная. С благодарностью вспоминаю больничного надзирателя Кригера. Это был Гернгутер5, распевавший псалмы Давидовы. Он заохотил меня к чтению Лютеранской библии, о чем узнал директор и, хотя сам был Лютеранин, но библию у меня отнял. Больница помещалась в высоких комнатах 2-го этажа. Все это прекрасное здание выстроено было для себя откупщиком Гаврилою Рюминым и пожертвовано в казну. Сын его тоже откупщик, но уже действительный статский советник Николай Гаврилович, был попечителем нашей гимназии и раза 2—3 в год привозил нам в пансион по одному пуду конфет. Другим баловником был тот же К. И. Босс, с виду строгий, но

в пансион по одному пуду конфет. Другим садовником был тот же К. П. Босс, с виду строгий, но живой и добросердечный старичок, некогда бывший памповщиком в Москве, но умевший

рисовать. Он был большой охотник до лягушек, которых мы ловили ему на пригородной Рюминской даче; он приготавливал из них колбасы очень вкусные, сберегавшиеся у него даже до января месяца, когда, в день своих именин, он угощал нас ими, прибавляя и конфеты. Много позднее, когда один из моих товарищей, Российский, поступил в военную службу, Босс явился к нему с кулечком снедей и бутылкою вина и подал ему это на площади, с которой уходил из Рязани полк, куда поступил Российский. Босс, человек одинокий, был скопидом, и говорили, что давал деньги взаймы нашему директору Николаю Николаевичу Семенову, жившему в отдельном деревянном доме. Это был человек добрый, но почти не принимавший участия в управлении гимназией. Ходил слух, что Николай Павлович, проезжая через Рязань, увидел в числе представлявшихся ему Семенова и громко сказал: «Беда есаул во пророцех». Семенов вскоре перешел на службу в Министерство Внутренних Дел и сделался Вятским губернатором. Его описал в одном из своих «Губернских очерков» Щедрин-Салтыков.

В старину деньги ценились очень дорого и все норовили не тратить покупного; отвезти меня из Липецка до Рязани и потом из Рязани в Липецк (250 верст) было довольно дешево. В огромную бричку впрягалась тройка крестьянских лошадей, которыми правил их же хозяин, а на козла садился наш буфетчик, старый папенькин Костромич Прокофий; я же благодумствовал в бричке, в которую наложено было много овса. На первой стоянке откладывалось в постоялом дворе точно такое же количество овса, которое употреблено было лошадьми; на 2-й тоже и т. д. до самой Рязани. А на обратном пути Прокофий останавливался на тех же самых станциях, где лежал запасенный овес. Таким образом платить приходилось только за сено, да по 30 коп. за постой с самоваром. Помню, как однажды остановились мы ночевать в поле и на маленьком костре согревали бывшие у нас в изобилии домашние снеди. Еще памятна мне зимняя к Рождеству поездка домой. Поднялась метель, и мы кое-как добрались до Раненбургского сельца Колыбельского. Пристали к курной избе, освещенной лучиною, баба пряла пряжу и распевала духовные песни про Алексея Божьего человека. Мне пришлось лежать на полу в предупреждение от угара на другое утро, когда дымом наполнялась курная изба. Покойный Кокорев устроил у себя две таких избы, разделенные сенями; когда топилась одна, переходили в другую, и Кокорев уверял, что не бывает в жилых помещениях более здорового воздуха. Я рассказал о том однажды двум врачам в Английском клубе, и они подтвердили мне верность этого заключения. По стенам избы виднелись отблески накопившейся сажи. Я не чувствовал от всего этого ни малейшего стеснения, но уже тогда любил вставать рано, чтобы будить Прокофия к дальнейшему пути. Это, впрочем, происходило не столько от свойственной мне торопливости, как из желания поскорее увидеть своих. В какой восторг приходил я, когда, наконец, показывалась вдалеке крыша нашего прекрасного Липецкого собора. Из гимназической жизни припоминаю, между прочим, что в один год меня почему-то отпустили домой на ваканцию несколькими днями позже обыкновенного. В это время из Липецка уезжал в Москву наш добрейший и пьянейший доктор Миллер. Маменька попросила его заехать в Рязань ко мне в пансион и проведать обо мне. На ту пору у нас умер один из учеников Матвеев. Миллеру в пансионе сказали про его кончину, а он спяну разобрал не Матвеев, а Бартенев 56 и, возвратившись в Липецк, стал осторожно готовить наших к известию о моей кончине. «Ну, что его жалеть сестрица, ведь он хроменький». Послали за отцом Матвеем и отслужили панихиду по отроку Петру, а он в тот же день явился домой, и маменька чуть ли не усерднее прежнего вытирала мне лицо творогом с приказанием не стирать его до завтрашнего утра и тем избавиться от загара. Помню еще в пансионе кончину жены инспектора Шиллинга. Ее хоронил весь пансион и, за неимением пастора, богослужение совершал наш законоучитель Яков Павлович Алешинский и чуть ли не говорил по ней речь, похвал в которой она заслужила, ибо действительно была женщина добрая и кроткая. Другая смерть была нашего учителя географии Янышева, молодого человека, учившего нас всего несколько месяцев; он был друг и товарищ Крастелеву, и они вместе определились к нам из Московского Университета. Тут я в первый раз увидел разлагавшийся человеческий труп, что надолго осталось у меня в памяти. Янышева хоронили также Яков Павлович, наш пансионский и приходский от церкви Николы Дворянского

священник, человек с властью над душами и глубоко искренний в олагодестии, но вовсе не елейный и подчас тоже выпивший, в каком виде иногда приходил и на уроки; но никому из нас

не приходило в голову над ним посмеяться. Субботняя всенощная были скучноваты, после них обыкновенно производилась экзекуция, т. е. попросту виноватых секли. До 3-го класса я много шалил, но Шиллинг грозно объявил мне, что если я не исправлюсь, то буду высечен. Шутить с Немцем не приходилось, и на следующую пересадку из последних учеников я быстро подвинулся вперед и затем числился все выше и выше. С 4-го класса начал благодетельно действовать на меня незабвенный и дорогой Александр Григорьевич Крастелев, сын священника, Смольянин, по университету приятель известного Павла Ефимовича Басистова. Преподавание Крастелева было просто и, можно сказать, сочно, не было у него никаких хитростей, но он влюбил нас в Русскую словесность, отлично выбирая стихи для заучивания, требуя отчетливо читать их, знакомя с историей языка сравнениями с языком летописным и церковным, не допуская в сочинениях разглагольства и пустословия. Его уроки были всегда занимательны. Он мало говорил, а больше спрашивал учеников и был неустанно внимателен к ответам. Жил он внизу в двух комнатах в пансионе. С каким, бывало, благоговением ходил я в густо накуренный его кабинет за книгою для чтения сверх урока. Полезен был также мне и учитель Немецкого языка Герман Яковлевич Апельрот, который в Москве был вхож к известному писателю Вельтману⁷. Он отлично знал Немецкую словесность и давал мне для перевода какой-то учебник всеобщей истории и затем повести детские, очень занимательные, Нирица. Некоторые из моих переводов он напечатал в Москве, а мне знание Немецкого языка отлично пригодилось впоследствии. Французскому языку учил некто Барбе, болтун, предмет постоянных наших насмешек и издевательств; я у него почти ничему не выучился, а грамматики вовсе не знал, произносить также. Очень жалею о том, так как впоследствии мне весьма было трудно печатать книги Архива князя Воронцова на французском языке, и первая из них 8-ка преисполнена опечаток, *crible de fautes*, как говорят французы, и это тем обиднее, что содержание книг высоко занимательно. Греческому языку мы почти не учились. Учитель из Москвы не ехал, а приглашали из семинарии какого-то олуха по фамилии Волжинского, который сам едва знал по-гречески. Зато по языку Латинскому мы были счастливыцы, — нас обучал Игнатий Михайлович Родзевич, состоявший под покровительством 57 графа Строганова⁸; высокий, важный, точный, он довел нас до того, что в 7-м классе мы читали уже Агрикулу, а Тит Ливий читался нами по целым страницам без запинки; так что в университете я только забывал Латинский язык. Его меднокованные звуки и до сих пор мне дороги, и я не мало знал Виргилиевых и Горациевых стихов. Родзевич позднее был вызван в Москву, и граф Строганов, переводивший его в православие из униатства, когда был попечителем Московского университета, сделал его правителем своей канцелярии, когда стал Московским генерал-губернатором. Родзевич женат был на сестре Рязанского аптекаря Зейца Терезе Христиановне, от которой имел много детей и терпел такую нужду, что нанимался дежурить по ночам у нас в пансионе вместо кого-нибудь из надзирателей и получал за это по 1 р. 50 к. Это был достойный всякого уважения человек; не таковы его сынки: один из них выкрал из архива генерал-губернаторской канцелярии несколько подлинных писем Екатерины и пришел ко мне, уже издававшему «Русский Архив», продавать их. Я должен был рассказать его отцу, и письма были положены на место. Мне жаль, что я не знаю, где похоронен Игнатий Михайлович. Он был Белорусс; а математику преподавал нам настоящий поляк, но тоже честный человек, Станислав Никодимович Мациевский. Я всегда был крайне плох в математике и на выпускном экзамене отвечал чепуху, он мне поставил 5, как говорил мне потом Крастелев для того, чтобы провести меня за мои успехи по другим предметам первым учеником. Об учителе географии Андрее Парфенове смешно вспомнить; до такой степени плохо он читал, так что мои слабые географические сведения приобретены мною лишь привычкою глядеть на карту при чтении исторических книг и врожденною мне любовью ко всему Русскому, так что немного найдется в России городов, про которые я что-либо не знал. История, которой нас учили, даже не до начала Французской революции, была также слаба; ее преподаватель Аполлон Александрович Ральгин, высокий, красивый щеголь, поступивший впоследствии на гражданскую службу и проходивший ее с успехом. Он читал по тому самому краткому немецкому учебнику, который я переводил для Апельрота, и однажды, имея у себя в руках мой перевод, я смутил Ральгина, начав подсказывать то, что он будет говорить дальше. Из надзирателей надо упомянуть Француза Пельта и Немца

Крауза. Первый был из Наполеоновских солдат и умел держать нас в порядке, а Краузе был человек добрый и почтенный. Занимались мы так усердно (конечно, не все), что иной раз

вставали в 3 часа ночи и садились за дело. Раз инспектор и директор, возвращаясь с бала, увидели огонь в большой нашей комнате и вообразили, что мы также запоздали лечь. «Да мы уже встали», — отвечал я и соревновавшийся мне Владимир Сопчаков, сын Раненбургского штатного смотрителя, для которого окончание учения первым было бы великим счастьем, и я, можно сказать, жалел даже, что эта честь досталась мне, а не ему. Нам дали по золотой медали, а мое имя помещено на почетной доске в гимназическом зале. На втором курсе в университете, терпя нужду, (это были уже времена Платохинские), я продал свою медаль за 25 рублей. Дома об этом и не узнали. Гимназическое учение кончено мною в конце июня 1847 года, и тогда же я решил, что поступлю на словесный факультет, куда влекли меня имена Шевырева⁹, Грановского¹⁰, Соловьева¹¹. Надо сказать, что граф Строганов, два раза приезжавший в Рязанский пансион и осматривавший его и учеников без всяких пышностей, уже тогда заметил меня, что впоследствии мне пригодилось. Забыл про человека, имевшего большое влияние на всех нас. Это Ефим Егоров, учитель математики, уступивший это место Мациевскому, 58 когда он сам сделался инспектором гимназии и поселился внизу нашего пансионского дома, откуда его предшественник Шиллинг перебрался в особый деревянный дом на углу Дворянской улицы и против здания гимназии, где были только старшие классы и куда приходилось мне ковылять из пансиона. Там же была и большая прекрасная библиотека, снабженная попечителем округа графом Строгановым. Впрочем, из нее выдавались книги почти исключительно только учителям. Егоров, когда обучал нас математике до алгебры включительно, приносил в класс переплетенную тетрадь в четверку и в ней делал отметки нашим успехам. Заглянуть в нее было всем соблазнительно. Помню и прокладную бумажку этой тщательно веденной книжки. Егоров был человек мелочной и придиравшийся, его не любили, хотя и уважали. Отец его был чей-то крепостной человек, и он, женившись на дворянке Сазоновой, был крайне оглядлив и самолюбив. Он взял себе на хлебники для приготовления в гимназию мальчика Головнина, сына одного из помещиков из-под Рязани, толстого и закормленного балбеса. Егоров приказал мне ежедневно около 6 часов вечера сходить вниз и обучать этого Федю и за это платил мне по 6 рублей в месяц: это были первые заработанные мною деньги. Я пользовался также лакомствами и снедями, которые ему присылались из дому. За время пребывания моего в гимназии в Рязани были происшествия, дошедшие и в наш заколдованный круг. Умер Кожин, губернатор, получивший это место по родству своему с министром Двора князем Волконским; его до такой степени не любили, что могила его покрывалась испражнениями. Другое происшествие было умиленное. В женском монастыре был престольный праздник, служивший обедню архиепископ Гавриил за чаем у игуменьи получил пощечину от какого-то нахала дьячка, и пастырь подставил ему для удара другую свою щеку. Рязанские архиереи живут на великолепной площади с далеким чудным видом на реку Трубеж (которая в половодье разливается как море) в так называемом Олеговом дворце. Это здание сохранилось от 16-го века, и в нем жил последний князь Рязанский Олег Иванович. Рядом два собора; один древний, где служили всего раз в год и где похоронены Стефан Яворский¹² и тот Мисаил, которого Никон¹³ посылал на проповедь в нынешний Шацкий уезд к Мордве, убившей его стрелами. Мантия с запекшеюся кровью, пронзенная стрелами, висит тут же над его могилою. На краю обширной площади стоит церковь Спаса на Яру, как бы готовая обвалиться вниз; этого боялись, но церковь и до сих пор цела. Рязань с ее прекрасными церквями (Бориса и Глеба, Николы и др.) своеобразно прекрасна. Однажды заехал я в Москве к младшему из моих товарищей, директору Практической Академии Ивану Михайловичу Живаго, его не оказалось в кабинете, и пока его вызывали ко мне, попалась мне под руку Писцовая книга города Рязани 1598 года (год воцарения Годунова¹⁴). Можно представить себе мое удивление, когда я увидел описание не только всех церквей, но и подворную опись домов и их владельцев. Тут Сазоновы, Вердеревские, Голощаповы, Белелюбские, Стерлиговы, Цемировы. «Смотрите, Иван Михайлович, ведь мы в нашем пансионе, — это все имена наших товарищей». В Липецком уезде на чердаке села Борисовки нашел и потом напечатал во временник Общества Истории и Древности¹⁵ подобную же подворную опись города Дмитрова (Московской губернии), но без дальнейших имен. *** Рязанскому пансиону, в особенности Крастелеву, обязан я возбуждением любознательности и привычкой к усидчивому труду. 59 В середине августа 1847 года тот же

Прокофий повез меня в Москву. Каменная дорога начиналась тогда только с Коломны, где мы наняли извозчика довести нас на долгих в нашей бричке до Москвы. Извозчик уверил меня, что остановится недалеко от университета, но вместо того пристал где-то в Рогожской, и я на костылях добрался до Моховой, крайне изнеможенный; не помню уже, как мы с Прокофием на другой день нашли себе комнату на 3-м этаже в доме тогда князя Щетинина на Знаменке насупротив самого подъезда к нынешнему Румянцевскому музею, — комнату без всякой мебели, где мы улеглись спать на полу и наелись остатками от дорожных снедей. В запасе у нас еще был целый окорок ветчины. На другой день кто-то из встретившихся Рязанских товарищей указал мне номер на Большой Никитской, где жили студенты, но за шумом и гвалтом я не мог заниматься и по совету Маркова пошел к попечителю и стал просить его, чтобы позволили мне поместиться с казенными студентами на 3-м этаже старого университетского здания и взять с меня то, во что казне обходится содержание казенного студента, но не возлагая на меня обязанностей служить в течение 6 лет там, где прикажет университетское начальство. Граф Сергей Григорьевич Строганов благодетельно согласился на эту просьбу, и таким образом я, как в пансионе, уже не имел никакой заботы ни об столе, ни об освещении. Мы жили человека по четыре в больших комнатах и имели общую большую спальную залу, а столовая помещалась на самом низу. У каждого была своя конторка, на лекции ходить было всего через улицу в новый университетский, купленный у Пашкова, дом. Моя конторка была рядом с конторкою Федора Павловича Еленева¹⁶, и тут мы сдружились, между прочим, над чтением Ундины¹⁷. Еленев, хоть и математик, любил изящную словесность и всю остальную жизнь сам писал стихи, но почти всегда неудачные, тогда как его учебники математические пользовались хорошим успехом. Это был сын учителя Смоленской гимназии, глубоко и искренне преданный родине. Он впоследствии своими статьями спас от уничтожения древнюю стену Смоленска, выстроенную Годуновым и прозванную им «Ожерельем России». Выше упомянул я, что нашел Писцовую книгу г. Дмитрова в Борисовке; это деревня Козловского или Лебедянского уезда связана для меня с очень важными обстоятельствами моей жизни: там проживал старый чудаков-холостяк Павел Александрович Сальков, не из тех Сальковых, из рода которых моя бабушка Прасковья Тихоновна, а из каких-то других, говорят, происхождения Польского. Он учился в Московском университете еще до 1812 года и был близок с семейством Дельсаль, которые держали в Москве в течение чуть ли не полвека девичий пансион в Посланниковом переулке за Разгуляем и почему-то были близки к дому графа Ростопчина, вернее к графине, обратившейся в католичество. П. А. Сальков от матери своей, дочери землемера Никитина, получил хорошее состояние и жил на старости лет с сестрой своей Елизаветой Александровной и ее тремя дочерьми, Юлией, недолго жившей с мужем своим Губастовым, который поссорился с тещею, тратя полученные в приданное деньги; он происходил от того Губастова, который был слугою у князя Бориса Ивановича Куракина и поминается в его Архиве. Имя его сделал известным единственный его сын Константин Аркадьевич, кончивший службу товарищем министра иностранных дел и унаследовавший от матери любезность и веселонравие. Я всегда был в добрых отношениях с его матерью, говорливою и никогда не сучавшею. Она совсем не походила на младшую сестру свою Александру Андреевну, молчаливую и кроткую, бывшую предметом любви брата моего Михаила Ивановича, но отдававшую предпочтение некоему Василию Николаевичу Осипову. Александра Андреевна подолгу гащивала у сестры своей матери 60 Екатерины Александровны Развадовской, бездетной и добродушной толстухи, проживавшей в Липецке на Дворянской улице неподалеку от нашего дома и, бывало, торжественно катавшейся по нашей прекрасной улице в парной коляске со слугою на запятках. Средняя сестра Екатерина унаследовала от дяди неудержимую страсть к ругатне и всяческим толкам и разбирательствам чужих недостатков. Бывало, они с дядею и матерью переберут по косточкам всех знакомых и соседей и когда пищи злоречию не хватало, посылали девку на почтовую станцию близ Борисовки узнавать, кто проезжал. Павел Александрович в сущности человек добрый, был настоящий Собакевич, он перечислял мне всех Тамбовских губернаторов со времен Екатерины и о каждом делал резкие и веские замечания. Сестрица его очень любила деньгу и давала ее займы; про нее говорили, что она просушивает накопленные ассигнации. Тем не менее у них, когда, бывало, заедешь к ним, на пути из Москвы или в Москву, всегда встречал я полное гостеприимство. Самого Воеводского, Андрея Ивановича, видал я, когда он приезжал к нам в Липецк. Это был высокого роста поляк-

католик, служивший некогда городничим в Новгороде. В 1849 году, как я недавно узнал от его внучки (Варвары Михайловны Бартеневой), из Петербурга приказано было произвести

расследование о его политической благонадежности. Свояк его, Флориан Францевич Развадовский, служил в Липецке коршнейдером. К нему приезжал гостить его племянник Казимир Развадовский, позднее игравший некую роль в Польском мятеже 1862 года. Средняя сестра Екатерина, унаследовала от матери крайнюю невзрачность. Крикунья, даже и одевавшаяся как-то нелепо и напоказ. Я, бывало, к ней относил стихи Жуковского: Я индюшка, хлопотушка, Пустомеля и болтушка, У меня махровый нос, Пощади меня, Минос. Всего неприятнее была ее стязательность, но невозможно было отрицать в ней ума и толковитости. Я жил на уроке у Шевичей, когда брат написал мне, что он на ней женился; я сначала этому не поверил и написал ему: «неужели ты захотел жениться на копейке серебром?» (надо сказать, что в то время введен был счет на серебро). Она женила на себе брата, будучи уже под сорок лет, и свадьбой они поспешили, не дождавшись еще шести недель по кончине нашей матери, которая говорила, что жить под одной кровлей с Екатериною Андреевною она не может. Это было перед Рождественскими заговеньями 1852 года. Последовала коренная перемена во всей жизни моей и сестры моей Сарры. Елизавета Александровна, бывало, езжала к нам в деревню на паре белых лошадей, о которых она всегда пеклась. Сама она носила всегда одно и то же платье, ходила без чепчика, в кармане маленькая серебряная с чернью табакерка, но была очень чистоплотна. Гости в деревне не особенно стесняли хозяев: если не доставало места, где положить их, то они спали на полу на перинах, положенных сверх сена. Продовольствие же всегда было в изобилии.

Крестьянские дворы, тянувшиеся от дома в два ряда по направлению к мосту через Байгору, поставляли каждый двор по барану в нашу кухню, и я помню, как Виктор прикалывал их, садясь на барана верхом. На бабах была повинность приносить известное количество талек, напряденной ими пряжи, о других повинностях я не знаю. В каждом дворе было не менее одной лошади и коровы. Могу и теперь пересчитать по 61 имени наших мужиков и тех баб, которые бывали у нас и у сестры Полины кормилицами. Моя кормилица, Дарья, по прозвищу Кожуха, обвинялась в том, что держала меня на руках так, что я сделался левшой. Я более, чем ее, любил няню Васильевну и мою милую Маргариту. Жили мы в таком обилии, что маменька посылала в город бедным людям к празднику разной живности. По воскресеньям у нас обеживало иногда до 20 человек, и в гостеприимстве мы соперничали с тетенькою Ольгой Петровной, которая была в Чернигове городничихой, научилась готовить разного рода тамошние снеди (помню у нее кровяные колбасы или еще яйца, обсыпанные мелкими крошками, какие подавались у Черниговского архиерея Павла). Муж ее, Николай Иванович, некоторое время служил тоже городничим в Кромах. В Липецке любимым посетителем нашим был исправник (они тогда назначались по выбору) Николай Павлович Сабо, женатый на Варваре Николаевне Черновой, брат которой, Александр Николаевич, говорят, искал руки моей сестры Сарры; но он был совсем карапузик и невзрачный. Сабо помогал маменьке в ее делах, а тетенька Надежда Петровна бывала рада его приезду, потому что после обеда они обыкновенно садились играть вдвоем в карты в так называемую «окаянную» (это вист), всегда безденежно и всегда очень точно и строго. Я, бывало, раскладывал кому-нибудь из них противолежащие карты и приучился с детства к карточной игре, что во мне и наследственно от бабушки Екатерины Дмитриевны, которая целые дни проводила в игре. Так как в университете карты причинили мне беду, о которой расскажу после, то я положил себе зарок играть не иначе, как по умеренной цене, и при моей оглядливости я и до сих пор редко проигрываюсь. В числе наиболее близких липецких знакомых были: отставной моряк Михаил Яковлевич Головнин и его супруга Марья Ильинична с двумя дочерьми и двумя сыновьями. Она была большая капризница и весь дом держала в повиновении, ссылаясь на свою болезненность, но она много читала, особливо книг богословских, и хотя в церковь не ездила (где муж ее бывал ежедневно), но имела большие познания богословские; проповеди Иннокентия Таврического приводили ее в восхищение. От нее занялся я духовным чтением. Был я уже на втором курсе университета, когда Головнины поручили мне отыскать для них гувернантку и прислали 25 рублей сер. на извозчиков. Кроме того получил я от них для продажи дорогой перстень. Старший товарищ мой, Бороздин, выпросил у меня этот перстень, чтобы заложить его для карточной игры. В течении многих месяцев он его не выкупал, и мне приходилось прибегать для выкупа к его тетке, прелестной женщине, вдове Казаковой. Долго

искал я гувернантку, и наконец, одна показалась мне годною, но когда я привез ей деньги для задатка, она оказалась сумасшедшею. Тогда я обратился в Николаевское Сиротское Училище к директорисе его Лукерье Алексеевне Пеймерн (Томской уроженке, рожд. Сверчковой). Она указала мне на Екатерину Васильевну Ленину, которую я и повез в Липецк и которая оставалась у Головниных до тех пор, как в одну неделю у них умерла вторая дочь Мария и второй сын Миша. Головнины, пораженные горем, не замедлили покинуть свой дом на Дворянской улице и переселились в Рязань, где и оканчивал свое учение в тамошней гимназии сын их Иван. Другим университетским товарищем был Александр Николаевич Кузьмин, сын Пензенского помещика; он вел большую карточную игру и жил роскошно, но, проигравшись, застрелился. Закадычным другом моим в университете и до самой его кончины был милый «Ларич», т. е. Алексей Иллариш Казанович. Удивительное дело: на вакансии в Липецке писал я ему раз письмо, подходит маменька и спрашивает: «Кому ты пишешь?» Когда я назвал, она вскрикнула: Да знаешь ли, что его отец, Иллариш Гаврилович, был лучшим другом твоего б2 отца!» (они служили в Арзамасском Конно-Егерском полку и вместе совершали великие походы против Наполеона). По окончании курса «Ларич» поехал к отцу в Могилевскую губернию в Ставробыховский уезд, несколько лет сряду был судебным следователем, простудился на следствии и умер, не доживши и 30 лет от роду. За год до его смерти ни с того ни с сего присылает он мне хорошую большую чашку и пишет, чтобы я пил чай из нее и его помнил. На моем рабочем столе висел магнит и чашка случайно была поставлена под ним. Вдруг, вследствие какого-то сотрясения или захлопнутой двери, приставленная к магниту железная печать моя оборвалась и попала прямо в чашку, которую и разбила. Позднее оказалось, что в этот самый день и час Казанович скончался. Его очень любил Катков¹⁸, и, когда я много лет спустя просил его дать прибыльное литературное занятие В. К. Истомину, я его убедил согласиться тем, что сказал: «Это второй Казанович». Таким казался мне тогда, и не одному мне, Владимир Константинович. Катков проложил мне дорогу к благосостоянию, но позднее К. А. Иславин, находившийся при Каткове в одинаковой секретарской должности с Истоминным, мне сказал, что однажды Катков воскликнул об Истомине: «Кто меня от него избавит?» Жена моя метко прозвала его «Блудячим Огоньком». На первых курсах в университете в занятиях я особенно сошелся с сыном священника Замоскворецкой церкви Петра и Павла Соколова Петром Алексеевичем, носившем по матери фамилию Безсонова (таков был обычай у духовенства; старший брат Михаил звался по отцу Соколовым) и Александром Николаевичем Прейсом, младшим братом известного Петербургского профессора славянских наречий. Прейс, как и Безсонов, жил тоже очень далеко от меня, на Донской улице в доме родителей. Мы сходились в университете, где поочередно клали фуражки наши на первой скамейке от кафедры, чтобы лучше слышать слова профессора и записывать лекции. Но было еще другое место нашего свидания, это на Спиридоновке, в доме позднее князя Волконского; внизу этого дома жил учитель Греческого языка во 2-й гимназии Каэтан Андреевич Коссович. Он был уроженец города Слуцка и до такой степени беден, что нанимал себе помещение на чердаке у еврея; там были развешаны еврейские шубы и теплые платья, и молодой Коссович ими укрывался. В сущности он был белорусе, а не поляк. Николай Павлович, мечтая помирить поляков с русскими, приказал, чтобы польских юношей помещали на казенный счет при наших университетах. В 1829 году, когда последовало воссоединение Униатов, к Коссовичу пришел полицейский чиновник с предложением присоединиться, и тот, конечно, записался в православие, а по окончании курса должен был в течение известного срока прослужить учителем гимназии. Способность к языкам у него была удивительная; кроме отличного знания языков новых и обоих классических, он занялся языками Восточными, читал свободно по-еврейски и арабски, но в особенности полюбил санскрит, этого праотца языков индоевропейских, с его богатою словесностью, с этими поэмами, в несколько сот тысяч стихов, со многими произведениями драматическими. В «Московском Сборнике» 1847 года поместил он «Торжество светлой мысли», а небольшую поэму «Сказание о Дгруве» издал отдельною книжкою и посвятил красавице Елизавете Николаевне Делоне, дочери француза-доктора и некоей Тухачевской, которая была замужем за богатым Петербургским купцом Кусовым, но покинула его (сыном Петербургского головы). Эта Лиза Делоне влюбила в себя многих, в том числе и Михаила Никифоровича Каткова, который думал на ней жениться, вел с нею большую переписку в те годы, когда она с отцом, сделавшимся инспектором врачебной управы, жила в

Симбирске; но когда Делоне вернулась в Москву, Катков разглядел, 63 наконец, ее кокетство, сразу прервал с ними всякие сношения и не замедлил жениться на только что прибывшей из

Одессы княжне Софии Петровне Шаликовой. Коссович же продолжал быть ее обожателем в течение многих лет, пока она в Петербурге не вышла, наконец, замуж за известного психиатра Болинского, от которого имела много детей и который, говорят, бивал ее. Мое знакомство с Коссовичем (счастливое событие в моей жизни) началось с моего университетского товарища Степана Никитича Тьер-Мыкыртычьянца (профессор Клин, бывало, затрудняясь произнести его имя, обращаясь к нему, говорил по латыни *tu cujus nomen difficile est dictu*, т. е. ты, коего имя трудно выговорить). Родители его, богатые Закавказские из Орбубата Армяне, вели торговлю шелком с Москвою и вместе с тюками шелка поручили приказчикам своим отвезти в Москву и мальчика-сына для обучения. По какому-то случаю с этими приказчиками сошелся Француз Реми, у которого было в Москве учебное заведение и, пользуясь Армянским богатством, взял к себе мальчика. Коссович, узнав о том, просто из милосердия выручил мальчика из Французских лап, и приказчики поселили его с собою, для чего нанята была прекрасная квартира рядом с церковью Георгия Победоносца на Нижней Лубянской площади. Кое-как Степан Никитич определился в студенты словесного факультета и даже кончил курс, никогда не зная не только спряжений, но и склонений латинских. Тут выручали мы его, на экзаменах вызывали по азбучному порядку: Бартенев, Безсонов экзаменовались гораздо раньше того, чья фамилия начиналась буквою М. Они обыкновенно брали у профессора билеты не один, а два и, сдавши экзамен, уводили Мыкыртычьянца в нижние сени, где заставляли его наизусть учить, что надо было отвечать по украденному билету. С грехом пополам он что-то бормотал, и ему ставили отметку 3. После каждой такой проделки обязан он был вести нас в Сокольники и угощать чаем а разными снедями у самоварницы. Под диваном у него в квартире всегда находился мех с прекрасным Кахетинским вином, стоило только нагнуться и нацедить стакан. К этому удовольствию присоединялось курение отличнейшего табаку, столь нежного, что им оправдывалось старинное допетровское выражение пить табак. Степан Никитич а другой Армянин по часу валялся на широком диване и позднее А. Н. Костылев сочинил на них такие стихи: *In Степан Никитич Stube Steht ein prachtiger Diwan Drauf halb liegend sitzt der Bude Neben ihm Миансарьянц. Und Sie liegen und Sie schwatzen Teder raucht sein Papirosse Sieh: Da sind Закревский Rosse Und sie springen auf wie Katzen* 64 Blickend gar zu diplomatisch Fahrt die alte Fulle dort... Und aufe nene Asiatisch Liegen sie urd schwatzen fort** По желанию Армян-приказчиков Коссович продолжал некоторое время опекать Тер-Мыкыртычьянца и у него встретил меня. Он был другом поэта Языкова¹⁹ и восторженно читал стихи его. У Языкова оценил и полюбил его А. С. Хомяков²⁰, женатый на сестре поэта Екатерине Михайловне. Другая сестра, Прасковья Михайловна была за богатым Симбирским помещиком Петром Александровичем Бестужевым-Рюминым. Она просила Хомяковых сыскать студента к ним на лето для приготовления в 3-й класс гимназии среднего сына Мишу. Хомяков обратился к Коссовичу, и тот назвал меня. В мае 1849 года Коссович повез меня на Собачью Площадку в маленький кабинет Алексея Степановича²¹, он только что вышел из спальни в шелковом ватном халате с привешенными на шнурке ключами и с густыми взъерошенными черными, как смоль, волосами. Могу повторить за себя слова одного из поклонников Магомета: он схватил меня за сердце, как за волосы, и не отпускал больше прочь. Любовь и благоговение его памяти и до сей минуты не покидают меня. Переговоры были самые короткие. Старший сын Бестужева, студент Владимир, повез меня в Сызранский уезд в село Репьевку (ныне станция железной дороги), где за 75 руб. платы прожил я до конца августа. То было время Венгерской кампании²². Я возмущался в церкви, где Святейший синод не потрудился переменить молитву о даровании нам победы, сочиненную еще в 1812 году: выходило, что мы несчастные, и Венгерцы на нас нападают, тогда как мы задавили венгерцев в угоду Австрии. Прасковья Михайловна была очень добрая женщина, и мне у них было хорошо. Репьевка стоит на Волге, и стерляди во всевозможных видах съедались нами чуть ли не ежедневно. Сосед-помещик и родственник, тоже Бестужев, слыл вольнодумцем и подшучивал над Прасковьей Михайловной и ее супругом, оскорбляя их благочестие. Жил у него в гостях какой-то дворянин и ежедневно около 11 часов утра Бестужев говорил ему: *monsieur Cavegnac* (имя известного тогда французского генерала) *ne voulez vous pas de l'ean de vie?* И тот отвечал ему: *Tres volortier, monsieur***. Ученик мой Миша был не из ретивых, однако экзамен свой

выдержал, привезенный в Москву отцом. Мы, т. е. он с сыном и я, поместились на углу Собачьей Площадки и Большого Николо-Песковского переуллка во флигеле Хомяковского дома над лавкой. Когда Бестужеву надо было возвращаться, он сказал мне: я помещаю Мишу у Хомяковых в большом доме наверху, хотите жить там же? Платы вам не будет никакой, но Вы иной раз не откажетесь помочь Мише в уроках, и Алексей Степанович об этом предупреден. Я тотчас согласился и мне пришлось до весны 1850 года прожить в постоянном общении с Хомяковым. В следующем году открывалась в Лондоне первая Всемирная выставка, чтобы дать Коссовичу возможность познакомиться с прибывшими туда Индейцами, Хомяков поручил ему отвезти на выставку свое изобретение, паровую круговращательную машину, и для этой поездки дал ему 5 тысяч рублей. (Позднее в Петербурге на книгах Коссовича видел я надпись: благодеяние А. С. Хомякова). Каэтан Андреевич передал 65 мне потом, что он в Лондоне сблизился с одним индейским семейством и в нем нашел себе взаимное обучение: молодую Индианку учил он по-гречески, а она его своему языку. Коссович чуть не влюбился в нее, но, бывало, она откроет ладони, и они все желтые, что ему, как Европейцу, внушало чувство отвращения и тотчас охлаждало его влюбчивость. Я забыл сказать, что еще в 1849 году я, Безсонов и Прейс несколько месяцев сряду учились у Коссовича Санскриту и к Рождеству принесли ему в подарок ящик сигар. Он страшно переконфузился и объявил нам, что сам будет нам покупать сигары, лишь бы мы не бросали учиться. Я запасся Санскритским лексиконом Боппа и до того преуспевал, что прочел целых пять небольших Санскритских произведений, а на 2-м курсе подал Шевыреву в виде сочинения статью о разнице подлинной поэмы «Наль и Дамаянти» с переводом, который сделал Жуковский по Немецкому переводу Рюккерта. Эти занятия прекратились с отъездом Коссовича в Петербург на должность редактора ученых работ при Императорской Публичной Библиотеке, созданную для него благодаря графу Блудову²³, который его узнал, приезжая в Москву на освящение Кремлевского дворца. Когда Коссович ездил в Лондон, он навестил Жуковского во Франкфурте; тому нужен был учитель для двух детей его, Коссович наговорил обо мне, и Жуковский написал в Москву к Кошелеву²⁴, чтобы наведаться, что я за человек (письмо это напечатано в приложениях биографии Кошелева). Пока шли переговоры, не удавшиеся потому что Жуковский сам все собирался возвратиться в Россию, тот же Коссович поместил меня учителем к внукам графа Блудова, Ивану и Дмитрию Шевичам, с жалованьем в 3000 рублей ассигнациями. Из квартиры Коссовича в Петербурге, куда он меня вызвал из Москвы, переехал я к Лидии Дмитриевне Шевич²⁵ на Пантелеймоновскую улицу на углу Моховой в дом Плеске. Но возвратимся к Москве в дом Хомякова. Жену его, милую и кроткую Екатерину Михайловну, видал я только в столовой. Она редко приходила к нему в кабинет, где всякое утро шли беседы неумолчно веселого ее супруга с его гостями. Тут встречался я с Гоголем, который производил на меня одного неприятное впечатление: это был какой-то недотрога, довольно скудно одетый, но с великолепным бархатным жилетом с золотой цепью часов. Помню, как возвратившись из университета с лекции Каткова о психологии, разговорился я с Гоголем о том, достигнут ли психологи до того, чтобы явственно представить, что должен был ощущать Одиссей, когда перед тем как придти во дворец Алкиноя, он после стольких испытанных бедствий молился Афине в предгорной роще. Гоголь капризничал: подавали ему чай и он находил то слишком полный стакан, то не долито, то мало сахара, то слишком много. По большей части он уходил беседовать с Екатериною Михайловною, достоинства которой необыкновенно ценил. Ее кончина в январе 1852 года очень его поразила, и он заболел своей смертельной болезнью. Алексей Степанович обедал около 3-х часов и, окруженный целою толпою детей своих с их гувернантками, неумолчно говорил, уверяя, что детей своих лишил он дара слова. Помню, как однажды, когда мы уходили вместе из дому, он мне сказал, что его многоречие может приносить пользу, так как не все же можно записывать. После обеда, выкупив трубку и полежав несколько минут на диване, он сел за письменный стол и принимался за свою Семирамиду, как Гоголь прозвал большой труд о Всемирной истории²⁶. Случайно Гоголь, подойдя к рабочему его столу, увидал в его тетради имя Семирамиды и окрестил все сочинение этим именем. Стихи он клал на бумагу, когда они совсем были готовы у него в голове и, сочиняя, иной раз произносил какой-нибудь стих. В августе 1856 года произнес он мне двестише: 66 Его елеем помазует Она святых своих молитв. В день коронации я пришел к Блудовым, и старик стал мне читать стихи на коронацию Александра

Николаевича, написанные будто бы Константином Аксаковым. «Это не Аксаковские, а Хомяковские стихи», сказал я ему. — «Вы вечно спорите: стихи написал Аксаков». — «Нет, Хомяков». Помещенное двестишь вскрыло для меня сочинителя. Стихи эти вовсе не художественны, но они достопамятны тем, что в них нет ни слова лести. Хомяков, как и многие, возлагал на нового Государя²⁷ большие упования. Может быть от Жуковского Хомяков знал, что Александр Николаевич в душе был страстный охотник и это Хомякову было любо; он говорил, что следует написать картину «Счастье России», изобразить на одном полотне царя Феодора, забравшегося на колокольню Симонова монастыря и звонящего к вечерне, царя Алексея с соколом в руке, и царицу Елизавету с бокалом Венгерского и Александра II-го, когда он подстреливает медведя: во все четыре царствования был простор Русскому уму. Охота, действительно, служила царю освежительным отдохновением, но он к концу царствования перестал уезжать на нее после того, как обер-егермейстер граф Ферзен из ненависти застрелил на охоте своего помощника Владимира Яковлевича Скарятин (к которому Государь особенно благоволил). В Петербурге распространился слух, будто Скарятин убит от неосторожного выстрела, сделанного самим Государем. Когда потом брат убиенного Казанский губернатор Николай Яковлевич Скарятин приехал в Петербург, Государь призвал его в свой кабинет и поразил его вопросом: «Скарятин, веришь ли ты, что я честный человек?» Скарятин отвечал, что не может понять этого вопроса. «Веришь ли ты, что если бы я убил твоего брата, как говорят в городе, то я усомнился бы объявить о том и подвергнуть себя церковной эпитемии; веришь ли, Скарятин?» — повторил Государь и зарыдал. Но Александр Николаевич терпеть не мог Хомякова. Великим постом 1856 года в Москву приехал граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен, под начальством которого некогда в Турецкую войну 1828—1829 гг. служил Хомяков. Ему давали торжественный обед в Московском Дворянском Собрании, как доблестному защитнику Севастополя²⁸. В течении обеда герой празднества беспрестанно говорил с Хомяковым, приехавшим на обед в обыкновенном своем платье, вроде полукафтаны. Вскоре затем приехал в Москву Государь и спросил первого тогдашнего Московского вельможу князя Сергея Михайловича Голицына про этот обед, на котором произносилось много речей в похвалу графа Остен-Сакена. «Не знаю, Государь, не расслышал, но там всех громче говорил какой-то Хомяков, одетый в поддевку». Вслед за тем, на Страстной неделе утром при мне, полицейский чиновник приехал к Хомякову с бумагою, в которой ему приказывалось обрить бороду (эту бумагу я тогда себе взял). Потом Хомяков был вызван к Закревскому²⁹, который сообщил ему Высочайшее повеление не только не печатать стихов своих, но даже не читать их никому. «Ну, а матушке можно?» — спросил Хомяков. «Можно, только с осторожностью», улыбаясь, сказал Закревский, знавший Хомякова еще с Петербурга, когда тот служил в конной гвардии и бывал у его матери. Сбритие бороды по Высочайшему повелению, конечно, огорчило его мать Марию Александровну (рожденную Киреевскую). Я узнал ее, когда она уже не сходила с постели и тем не менее командовала всем многолюдным домом. Екатерина Михайловна, любя мужа, кротко выносила ее. Окруженная приживалками и женской прислугой, она вмешивалась во все и, бывало, присылала свою девку в кабинет к Алексею Степановичу с разными выговорами. ⁶⁷ Тот посылал ей ответ. Она возражала, и эти разговоры оканчивались тем, что девка являлась в кабинет и произносила: «Матушка приказала сказать, что у Вас козлиная борода». У нее был старший сын Федор Степанович, служивший в Министерстве Иностранных Дел и потом при Паскевиче³⁰ на Кавказе, где он и умер в ранних летах. «Этот-то что, дурак, совсем дурак, а вот мой Федя!» — неоднократно говаривала она мне, когда я достаивался приглашения посидеть у нее в спальне. Муж ее, Степан Александрович (умер в 1836 г.), напротив, очень любил сына Алексея; он был человек весьма образованный, хороший математик, но *bon vivant** и в Англицком клубе проигрывал большие деньги. По летам жила он в селе «Липицах» Сычевского уезда Смоленской губернии, она в Богучарове под Тулою. Однажды пожаловала она к нему в шестиместной карете. Он вышел к ней на крыльцо и она, выйдя из кареты, при собравшейся дворне, дала ему пощечину и немедленно велела ехать обратно. Она была очень прибежна к церкви и строго держалась всех церковных обычаев, но за молебен священнику с причтом давала только по четвертаку; и тем не менее, много лет спустя по ее кончине, зашел я в их приходскую церковь Никола на Песках, по окончании вечерни старик священник узнал меня и благодарно вспоминал про Марию Алексеевну, сообщив, что когда жена его заболела чахоткой, Мария

Алексеевна подарила ей прекрасную корову, чтобы она могла отпоить себя молоком. Она прожила более 80-ти лет; в последние годы сделалась кротче и в июль 1857 года тихо скончалась в Москве; все семейство было уже в деревне, оставался с нею один Алексей Степанович. Утром я пришел к ней в спальню, и она с горячностью стала говорить мне о новом тарифе: «Что это Царь-то наш наделал! Совсем продал нас Англичанам». К вечеру я пришел в другой раз, и ее уже не стало. Ее повезли хоронить в Богучарово. Но я еще ничего не говорил об университете. С самого первого курса был я счастлив тем, что главным профессором был у нас Степан Петрович Шевырев, великий трудолюбец, идеалист, строго православный и многостороннейше образованный. У него нельзя было перейти с курса на курс, не подав какого-нибудь доказательства о труде дельном. На первом курсе я с Безсоновым составил словарь по всем произведениям древней нашей письменности до Татарского нашествия: все, вышедшие из современного употребления слова писали мы на карточках, таких карточек, расположенных в азбучном порядке, накопилось у нас 17 больших сигаретных ящичков. Все они остались у Безсонова, который-таки был захватчив, и куда у него делись, не ведаю. На втором курсе я подал Шевыреву упомянутую выше статью о «Наль и Дамаанти». На третьем сделал перевод целой книжки Goethes Selbstcharakteristik aus seinen Beiefen** (очень было трудно переводить). На четвертом не помню что-то. Шевырев жил в собственном доме в Дегтярном переулке близ Тверской, и от 6 до 7 часов вечера студенты могли приходиться к нему для бесед, для советов, для выбора книг из его библиотеки; кроме того, он завел в университете особую студенческую библиотеку. Младший мой товарищ Тихонравов злоупотреблял его добротой: забрал у него в разное время до 100 книг и не отдавал их. Однажды Шевырев говорит мне: «Усовестите Тихонравова, мне самому эти книги нужны». Вслед затем, когда я пришел к Шевыреву: «не трудитесь, — сказал он мне, — я писал о книгах отцу Тихонравова и получил от него ответ, что он удивляется моему к нему обращению, так как уже несколько лет как он проклял своего Николая Саввича». И этот господин впоследствии был ректором университета и под шумок 68 возмущал студентов против правительства. Отец его служил экзекутором в Глазной больнице и был закладчиком. Проигравшиеся члены Английского клуба брали у него деньги за большие проценты. В том числе и граф А. Ф. Ростопчин. По окончании курса Тихонравов списал у Погодина, без его ведома, письма графа Ф. В. Ростопчина к князю Цицианову и поместил их в своей статье о графе Ростопчине в «Отечественных Записках», тогда как письма были даны Погодину только для прочтения. Увидав их в печати, владелец страшно рассердился и печатно заявил о поступке Тихонравова; тогда тот предъявил к взысканию унаследованные им от отца Ростопчинские векселя, и это было началом Ростопчинского разорения. Подали ко взысканию другие заимодавцы, граф продал свои Московские дома и уехал служить в Сибирь в Кяхту, где его единственный сын был воинским начальником, а оттуда поступил на службу в Иркутск исправником. На святки 1849 года Шевырев передает мне и Безсонову по 25 рублей, сказав, что эти деньги даны ему одним желающим остаться в неизвестности человеком для выдачи прилежным студентам (позднее мы узнали, что это был Гоголь). Мы поехали с Безсоновым к Троице, где поставили свечу за землю Русскую, а Шевыреву поднесли перламутровый разрезальный ножик, в котором вместо рукоятки было серебряное сердце. Это соответствовало Шевыреву, который, по нашему мнению, одарен был дорогим сердцем и расчленяющим умом. К несчастью Шевырева он вовлекся в литературную борьбу с так называемыми западниками, необузданно громил их на своих лекциях и терял наше уважение, и тогда К. К. Павлова³¹ написала на него стихи: Преподователь христианский, Он духом смел, он сердцем чист, Не злой философ он Германский Не беззаконный Гегелист... Не выносим его смиренью Лишь только близкого успех³². Зимой 1857 года в заседании Исторического Общества у его председателя А. Д. Черткова Шевырев заспорил с графом Бобринским и был жестоко избит им, так что не одну неделю пролежал в постели, и профессора-медики навещали его. Профессор Леонтьев, взойдя на кафедру, сказал студентам: «Поздравляю вас, господа, нашу кликушу побили», вот до чего ожесточилась борьба. Несчастный Шевырев уехал за границу, прожил несколько лет в любимой и столь знакомой ему Италии, затем в Париже, читая лекции на французском языке о Русской словесности, там и скончался в 1864 году. За 10 минут до смерти подзвал он к себе единственную дочь свою Екатерину и продиктовал ей стихи: Когда состав слабеет, страждет плоть Средь жизненной и многотрудной битвы, Не дай мне мой Помощник и Господь

Почувствовать бессилие молитвы! Вдова с двумя сыновьями и дочерью похоронили его на Ваганьковском кладбище в Москве. Благодарная к нему память никогда меня не покинет.

Русскую историю читал Соловьев Сергей Михайлович без всякого воодушевления и с возмутительною холодностью. Не мудрено: у него было столько других должностей. Грановского слушал я уже на его закате, и лишь изредка чаровал он нас прелестью своего изложения; при этом он целый год был болен; снисходительнее профессора не было. На одном из экзаменов достался мне билет об Иннокентии III. 69 Я, ни в зуб толкнуть. И что же? Узнаю, что мне поставлено 5. Потом я спросил у Грановского: «Как же это Вы, Тимофей Николаевич, не покарали моего невежества?» — «Ну, вздор, разве я не знаю, что Вы много занимаетесь». Я расскажу потом про сношения с ним уже по выходе моем из университета. Катков читал редко психологию, логику и историю философии, все три предмета очень смутно и неудобопонятно, притом по целым месяцам он не являлся на кафедре по нездоровью. Это был сухой, бледный, чахоточный человек. Мы думали, что он не проживет долго. Берлинский товарищ его, вполне ему подчиненный, Павел Михайлович Леонтьев читал нам Римские древности и мифологию. Отменно, отчетливо, ровно и занимательно. Я записывал его лекции о древностях и относил к нему поправлять мои записи; целая большая переплетенная тетрадь их у меня долго сохранялась. Мифологию читал он по Шеллингу, развивая его теорию о трех началах и касаясь отчасти богословия. Лекции были высоко занимательны, и Леонтьев того времени вовсе не имел в себе ничего претительного, чем отличался в последние годы своей жизни. Богословие читал протоиерей Петр Матвеевич Терновский. Как мы смеялись, когда он, разбирая учение энциклопедистов, закончил одну из своих лекций словами: «Следующий раз нанесем мы окончательный удар Вольтеру». Высокого роста, грузный, с неприятным голосом, не вызывал он никакого сочувствия; но потом, когда он оставил университет и поступил священником на Новую Басманную в церковь Петра и Павла, то оказался добросердечным и во всех отношениях почтенным пастырем. Помню экзамен в присутствии Филарета³³. Мне достался билет о почитании храма Божия, и по счастью я незадолго перед тем читал проповедь о том самого Филарета. Стоявший у стола Терновский кидал на меня строгие взоры, так как я отвечал вовсе не по его учебнику, а по Филаретовской проповеди. Владыко милостиво мне улыбался, и Терновский вынужден был поставить мне 5. В это время я много читал Филарета и вообще был благочестив, может быть потому, что дома у нас было плохо, нечего было посылать мне, и я перебивался кое-как. Помню, как после заутрени у Егория на Лубянской площади христосовался я с каждым из нищих и раздавал им по копейке из тощаго моего кошелька. Мне еще надо кое-что напомнить о моих профессорах. О бедном Шевыреве немногие знают, что он первый дал Бобринскому пощечину. Приехал он на заседание усталый от дневной работы, а Бобринский появился после жирного обеда. Глухой председатель Чертков не мог предотвратить сцены, которая началась с того, что Бобринский стал говорить о том, что нам нечего послать на Парижскую Всемирную выставку, кроме сеченой задницы Русского мужика. Граф, Вы говорите не по-русски». Тогда Бобринский подошел к нему и назвал низкопоклонником, заполучившим себе в жены незаконную племянницу генерал-губернатора. «А ты сам-то кто такой? Ведь твой отец незаконнорожденный» и с этими словами нанес ему удар по щеке. Тогда высокорослый силач повалил тщедушного профессора и стал топтать его ногами. Из Петербурга приказано было выслать Бобринского из Москвы и Шевырева также по выздоровлении его. Это последнее приказание было отменено по заступничеству фрейлины Анны Алексеевны Акуловой (воспитательницы королевы Ольги), а Бобринский через несколько месяцев был утвержден предводителем Тульского дворянства. О Грановском добавлю, что он не подавал студентам примера трудолюбия и, можно сказать, первый из профессоров стал искателем милости студентов. ⁷⁰ Шевырев говорил нам «ты» до окончания курса, а Грановский всем жаловался. Помню, был я у него, когда он жил в Хлебном переулке в доме Забелина. Он мне и другим студентам стал рассказывать, будто Филарет добивается, чтобы его сделали министром Народного Просвещения на место графа Уварова, с которым тогда сделался паралич и про которого он мне рассказывал потом, что тот называл свое министерское служение постоянным убегаем от лютого зверя, т. е. от Николая Павловича. Меня же лично Грановский оскорбил, назвавши Жуковского придворным льстецом; я же любил стихи Жуковского с первых классов гимназии и довольно дерзко возражал Грановскому, а хохотить к нему перестал. Прибавлю, что

позднее, когда Анненков³⁴, купивший у наследников Пушкина за 5 тысяч рублей право издать его сочинения, уверил их, что только ему удастся при этом избежать преследований цензуры, так как родной брат его был членом негласного цензурного комитета, я пошел к Грановскому и передал ему, что в Московском цензурном комитете получена была бумага, воспрещавшая мне печатать в «Московских Ведомостях» мои статьи о Пушкине, так как оглашением неизданных стихов могу повредить успеху издания Анненкова. Между тем другой брат Анненкова был в Нижнем губернатором и на ярмарке 1855 года приказывал полиции выдавать приезжим купцам билеты на получение сочинений Пушкина, взимая с каждого по 12 рублей (это мне сказывал В. И. Даль³⁵, служивший тогда в Нижнем начальником Удельной палаты). Грановский, возмущенный воспрещением мне печатать, написал Анненкову укорительное письмо. Надо знать, что перед тем я послал в Петербург в «Отечественные Записки» мою статью о «Роде и детстве Пушкина»³⁶, вовсе не думая о вознаграждении, как через несколько времени статья появилась; Грановский зовет меня к себе и вручает полученные им для меня от издателя «Отечественных Записок» Краевского 45 рублей. Это был первый мой заработок за мои печатные труды³⁷. Однажды Грановский говорит мне: «Я знаю, что Вы даете уроки; что Вам за охота; возьмитесь лучше за переводы. Приятель мой Фролов (Николай Григорьевич), переводчик Гумбольтова Космоса, затеял издавать «Магазин Землеведения и Путешествий», ступайте к нему от моего имени». Фролов жил тогда в собственном доме в Харитоньевском переулке, во флигеле которого отвел помещение Грановскому и супруге его Елизавете Богдановне (рожденной Мюльгаузен). Фролов немедленно навалил на меня переводы из Риттера с весьма скудною платой по 6 рублей с листа убористой печати. Я перевел ему историю распространения кофе, верблюда, янтаря и еще что-то; затем он поручил мне переводить статьи академического издания Бера и Гельмерса *Beitrag zur [Geschichte] des Russischen Reiches**. Этого было для меня много и я, желая сделать угодное А. П. Елагиной³⁸, отдал ей часть для перевода. Некогда, в дни своей молодости, по поручению Жуковского, она много переводила с иностранных языков для Московских книгопродавцев и ей приятно было в старость заняться тою же работою. Но, превосходно владея языками, она не умела быть точною, а перевод ее сдавал я Фролову заодно с моими, и оказалась нескладница. Грановский в последние годы своей жизни (умер 4 октября 1855 года) стал заниматься Новою Русскою историею. Он говорил мне: «Вот, бывало, мы смеялись над Бантышем-Каменским³⁹, а теперь я поневоле прибегаю к его словарю достопамятных людей Русской земли». Грановский же дал мне прочесть отрывок из строго запрещенных в то время Записок Екатерины (про арест канцлера Бестужева-Рюмина). Записки эти он, вероятно, получил от Анны 71 Михайловны Раевской, воспитанием двух сыновей которой он заведывал. Перед тем в его заведывании было и обучение Васи Солдатенкова, на днях скончавшегося (февраль 1910 года) в Канне. Гувернером к этому Васе поставил я через Грановского некоего Рейсмана и от него узнал, что сначала Грановский ездил к Солдатенкову по средам, потом заставлял по средам Васю приезжать к себе, а затем все небрежнее относился к этому делу, за которое, однако, получал 3000 рублей в год, и эти деньги и жалованье оставались в Купеческом клубе, где его заведомо обыгрывали. В последний день его жизни Закревский вызвал его к себе и объявил, что двух шулеров, которые его обыгрывали, выслал он из Москвы. Грановский выслушал наставление от старого генерала, уважавшего науку, но вполне безграмотного. Утром 4-го октября случайно узнал я о смерти Грановского. Оказалось, что, встав с постели, он стал натягивать сапоги, повалился навзничь, и дух вон. Я застал его только что положенного на стол. Многолюдные похороны его были в университетской церкви. Кетчер⁴⁰ распустил слухи, будто Закревский запретил класть венки в гроб покойника, между тем я положительно знаю, что через несколько дней Закревский поехал к его вдове выразить соболезнование. Грановского похоронили на Пятницком кладбище недалеко от могилы знаменитой Екатерины Филипповны Татариновой. Через несколько лет могила Грановского очутилась в некотором запущении, а на могилу Татариновой кто-то еще продолжал класть цветы. Забыл сказать, что когда Грановский читал свои четыре публичные лекции (о Тамерлане, Александре Македонском, Беконе и еще о ком-то, не помню), мне удалось записать за ним лекцию о Тамерлане, не пропустив ни одного слова; переписав, я отнес ее к нему и узнал от него, что он никогда не писал своих лекций, а долго про себя обдумывал их. На слушателей действовал он не столько содержанием своего чтения, как самим произношением и своею хуложественною личностью. Хомяков правду сказал про

...на своем протяжении и себе...
него, что у него одна судьба с гениальными актерами: действие минутное, но неизгладимое. Изданные Станкевичем его письма к сестрам и друзьям заставляют всякого читателя полюбить

этого чудесного человека, легкомысленного, но обаятельного. Катков напечатал в своих «Московских Ведомостях» прекрасный некролог о Грановском. Теперь о Леонтьеве, маленьком, сухопаром, горбатым, с длинными руками и мелочным до крайности. В его автобиографии (в словаре профессоров Московского университета) сказано, что матушка его дала на промышленную в Туле выставку пару перчаток, которую она связала из выпряденной ею паутины. Как мне это впоследствии припомнилось, когда племянник мой Барсуков, которого я ему назвал для получения места эконома в лицее (тогда помещавшемся еще на Б. Дмитровке), отвечал мне на мой вопрос, отчего он не взял этого места, так желая получить его, следующее: «Я спросил Павла Михайловича: по какой причине он хочет сменить эконома? — Да он не хочет быть при вывозе нечистот и при взвешивании оных. Как так? — Да я взвесил жидкое и густое за одни сутки и потом помножил число веса на число обитателей дома и число дней. — Ну после этого, как же принимать должность?» И однако лекции Леонтьева до тех пор, покуда он не занялся Московскими Ведомостями, были образцовые; он не писал, а говорил их так отчетливо, что, например, география Италии оставалась у студента как бы нарисованной. Когда он объяснял авторов, то говорил по-латыни, и смешно было слушать сравнение с Пушкиным и Грибоедовым: *sicus apud postrarses Puschcinium et Griboedovium**. 72 Был и еще профессор, читавший нам уже исключительно по-латыни — это Клин, *lusatus saxo**, как называл он себя. Он читал по найму и потому не пропускал лекций; но студенты не ходили к нему охотно, и потому он, бывало, загонит к себе трех и со словами: *tres faciund collegium*** запрет двери в аудиторию. Лекции его были до того скучны, что однажды Николай Свербеев, пришедши в университет с гарусом, который он купил для сестры, размотал его на руках товарища во время лекции. Позднее я снимал комнату у Клина; это было вполне почтенное семейство. Состоял он под покровительством Леонтьева, про которого надо еще рассказать. Он питал необыкновенную любовь к Каткову; мало того: ревновал к нему даже и членов его семьи. Когда С. Н. Гончаров вызвал Каткова на поединок, Леонтьев ранним утром отправился в Петровский парк, имея секундантом Шебальскаго и, не умея стрелять, конечно не попал в противника (у которого секундантом был его племянник А. А. Пушкин). Выстрел Гончарова также полетел в сторону, и когда Леонтьев возвратился на Страстной бульвар к Каткову, тот изумился, узнав, что все кончено и стал бранить Леонтьева, который сказал ему, что «я одинок, а у тебя целая семья». Эта семья ненавидела Леонтьева, который распоряжался всеми деньгами «Московских Ведомостей» и «Русского Вестника». Брат Каткова Мефодий Никифорович, у которого Леонтьев тоже урезывал назначенные ему братом деньги, до того озлился, что однажды в лицее выстрелил ему в спину из пистолета. Раны не последовало, так как пуля осталась в ватной накладке у горба. Его, конечно, схватили, но он успел другою пулею ранить лицейского сторожа, который и до сих пор получает от Каткова пенсию. Мефодия отвели в Тверскую часть, где он и оставался с сентября 1874 года по 12 января 1875 года. В этот день университетского праздника убежавший из Тверской части Мефодий явился в университетскую залу с пистолетом; его опять схватили и посадили в тюремный замок у Бутырской заставы, где некогда мать его, Варвара Акимовна, была кастеляншею. Там несчастный Мефодий и повесился на полотенце. Преподавателя Греческого языка Арсения Ивановича Меньшикова мы не охотно слушали по его полной бездарности; с его лекций я уходил слушать физику и глядеть на опыты физические Спасскаго, а всего чаще к профессору зоологии Карлу Францовичу Рулье, который, бывало, вместо часа читает часа полтора, и слушатели не роняли ни одного его слова, так увлекательно говорил он о мышках, лягушках, о течке животных. Много позже по поручению Сергея Тимофеевича Аксакова я занимался вместе с Рулье вторым изданием «Записок Ружейнаго Охотника» с рисунками разных птиц. Рулье жил в самом конце Тверской на грязном извозничьем дворе, окруженный собаками, кошками и пр. Старый холостяк любил распевать, и на Тверской площади перед домом генерал-губернатора ночью, когда возвращался из какого-то клуба, постиг его удар. Как жаль, что до сих пор не собраны его сочинения, написанные прекрасным Русским языком. В течение моей студенческой жизни вступил я в близкое знакомство с матерью, отцом и сестрою моего товарища Петра Алексеевича Васильчикова. Александра Ивановна, рожденная Архарова, прозванная в Московском обществе *tante-vertu**** меня жаловала и я с благодарностью помню ее ласку и гостеприимство. Всякий

...раз меня от них увозили домой на их лошадях. Я много узнал от нее разного рода преданий, к тому же она была женщина очень образованная. 73 Нередко бывал я также у Головкиных, переселившихся из Рязани и живших в своем доме в самом конце Донской улицы. Бывало, Михаил Яковлевич, державший свою лошадь, закупит снедей для стола и своей Марии Ильиничны (тогда только что начали готовить в кондитерских сладкие пироги и славился так называемый *gateau Mathilde*) и заедет за мною, чтобы провести у них обеденное и вечернее время (разумеется, и за карточками). От них уезжал я на их лошади до первого встретившегося извозчика. В то время я уже давал уроки и мог покупать себе книги. На лето, по окончании курса я, конечно, уехал в Липецк и не знал, что мне дальше делать, как в октябре получил письмо от Коссовича, приглашавшего меня занять место учителя у внуков графа Блудова, Шевичей. Снарядив меня в путь, маменька зажгла свечи перед иконами и, помолившись с нею, я принял ее благословение; это был последний раз, что я ее видел. Ей оставалось с небольшим год жить на свете. Забыл о Нащекине. Это был лучший друг Пушкина, и я, уже в то время занимавшийся Пушкиным, вошел с ним в близкое знакомство. Он жил у Неопалимой Купины близ Девичьего поля и, проведя довольно безобразную жизнь, промотавши большое состояние, вел богомольную жизнь, и к нему приходили разного рода старцы и калики-перехожие, что не мешало ему заниматься и столоверчением. Неоднократно получал он крупные наследства и тогда гостеприимству его не было пределов, а потом вдруг не на что было купить дров, и он топил каминны старую мебелью. Молодая супруга его, Вера Александровна, не унывала. У них часто бывал художник Эммануил Александрович Мамонов, мой тогдашний приятель, с которым я сблизился впоследствии у Елагиных. Конечно, роскошная жизнь кончилась бедностью. Дочь, учившаяся в Петербургском Екатерининском институте, сошлась с подругою княжною Волконскою, и когда последняя в 1856 году вышла за Французского посла при нашем дворе графа Морни, то поступила к ним в дом, где, конечно, участь ее была не красна. А Мать ее прожила в Москве очень долго, постоянно переходя от жизни роскошной к полной нищете. Она очень искусно умела выпрашивать себе милостыню, и такова была любовь многих к покойному ее мужу, что ей давали помногу, в том числе граф Вьельгорский и в особенности князь П. А. Вяземский. Перед прибытием двора в Москву он обыкновенно напишет ей несколько рекомендательных писем; она оденется очень прилично и с письмом от князя Вяземского не получает отказа в щедром пособии, на которое немедленно поведет кратковременную широкую жизнь. Ведь муж ее был друг Пушкина: этого было достаточно, чтобы развязывать кошельки и выдавать ей не десятки, а сотни рублей. Она являлась для того и в Общество любителей Российской словесности; например, благотворительная Александра Васильевна Протасова была ею так разжалоблена, что наняла ей годовую квартиру, снабдила всем нужным для порядочного житья. С меня она взимала не более 10 рублей за один раз. Доход приносили ей и предъявляемые ею письма Пушкина к ее мужу, случайно сохранившиеся. Павел Воинович говорил мне, что особенно жалел он об утрате некоторых писем. Так, в одном из них, уже за несколько месяцев до смерти, Пушкин просил у него достать 5000 рублей, чтобы уплатить мелкие долги Петербургской жизни и уехать на постоянное житье в Михайловское, на что и Наталья Николаевна соглашалась. Но у Нащекина на этот раз денег не было. Так иногда судьба в зависимости от мелкого обстоятельства. Я забыл сказать о Федоре Ивановиче Буслаеве, которого лекции я усердно слушал. Он не отличался ни красноречием, ни талантливостью; его преподавание всегда было сухо, хотя и очень дельно. Феденька Дмитриев в своих стихах 74 об одном университетском празднике прозвал Буслаева «искателем милости студентов». Действительно, он зазывал к себе многих из нас, но для работы. Мы читали у него старинные рукописи, и мне случалось списывать полностью у него знаменитые вопрошания Кирика, которые Калайдович⁴¹ напечатал в очень сокращенном виде. Буслаев впоследствии преподавал историю древней Русской словесности Наследнику Цесаревичу Николаю Александровичу. Эти обширные лекции напечатаны⁴² после смерти Буслаева графом С. Д. Шереметьевым⁴³. Изложение ведется сравнительно с Немецкою древнею словесностью, и не делает чести Русскому профессору, что он в Зимнем дворце восхвалял Немецкую словесность и не одушевлял Наследника Русского престола уважением к памятникам нашей родной речи. Вообще Буслаев сделал много для так называемой науки, но в то же время отвадил юношество от чтения церковно-славянского языка, к которому относился, как к языку мертвому или языку

церковно-славянского языка, к которому относился, как к языку мертвому или языку Сандвичевых островов, забывая, что вся Русь в течении многих веков воспитывалась на этом третьем классическом языке и облагородилась возвышенностью изреченных на нем понятий. Я разгадал Буслаева, когда вышел в свет один из томов Московского Сборника, изданный Иваном Сергеевичем Аксаковым. В нем помещено было несколько Русских песен с предисловием Хомякова и послесловием П. В. Киреевскаго. Буслаев сказал мне: «Песни оплеваны спереди одним, а сзади другим»; это обличило для меня в нем полную бездарность и угодливость перед властями, которые в то время преследовали так называемых Славянофилов. К тому же противно мне было, что Буслаев дурно отзывался о семье своего благодетеля графа С. Г. Строганова, с которым ездил он в Италию, где и пленился католичеством. Невольно хотелось спросить его: «Да зачем же вы издаете лицевой Апокалипсис и пишете к нему обширное предисловие, тогда как содержание Апокалипсиса Вам противно»; а самое обилие его списков доказывает, как любили читать его наши предки. Уже студентом я давал уроки, между прочим, Марии Федоровне Лугининой, ныне вдове Безака. Она жила одна с богачем отцом своим, который разошелся с ее матерью Варварою Петровною (сестрою моего приятеля Михайла Петровича Полуденскаго). При ней жила и не пропускала ни одного моего урока достопочтенная Маргарита Борисовна Дюмушель (вдова музыканта), впоследствии имевшая женский пансион на Вшивой горке, откуда с балкона можно любоваться чудесным видом на целые две трети Москвы. С нею я сошелся у Лугининых и до конца ее жизни пользовался ее дружбою. Она много видела, много испытала. Говорят, что после нее остались записки; где они, я не знаю; переживший ее единственный сын, бывший инспектор классов Екатерининского института и две весны преподававший Французский язык мальчику Великому Князю Сергию, которого усылали из Петербурга в Подмосковное Нескучное, опасаясь за его грудь. Дюмушель отлично знал историю Французского языка, но был туп и бездарен. Не имей он женою Русскую (рожденную Крылову), наделал бы он много глупостей. Она умерла, когда я был за границею; вернувшись в Москву, я поспешил к нему и обнял его с знаками соболезнования, он же огорошил меня словами: «А какой венок прислал Великий князь на ее гроб!» Потом давал я уроки детям Скуратовым, дочери и сыновьям, жившим на Арбате в собственном доме. Мать их, Фанни Алексеевна, была родом Пушкина. Даровитая дочь вышла за Еремеева и была несчастна в Симбирске, где он был губернатором... Сыновья оба погибли чуть ли не самоубийством, а сам Скуратов до того обеднел, что жил в Петербурге, зарабатывая пропитание газетными фельетонами. Ольга Семеновна Аксакова желала, чтобы я давал уроки Русского языка дочерям богача Ватапи, грека, имевшего свой дом на Большой Кисловке 75 (где впоследствии был большой пансион). Я пошел туда, и мы уговорились по 3 рубля за час, но когда я пришел давать урок, отец барышень сказал мне: «я узнал, что Вы тут живете очень близко и Вам на извозчика нечего тратиться, поэтому не угодно ли по 2 р. 50 к.?» Разумеется, я уже больше не ходил к ним. Впрочем, эта цена по тому времени была довольно высокая. Много позднее получал я у Алексеевых по 7 рублей, у Сапожниковых тоже, а Кокорев предложил мне по 10 р. за час. Жил я перед своим отъездом в Петербург на Моховой в доме университетском, рядом с церковью Георгия на Красной Горке, где верхнее помещение занимал помощник попечителя Павел Васильевич Зиновьев, а нижнее — письмоводитель университетского правления некто Пиуновский. Он был из духовного звания, и отец его, конечно, назывался Певуновским, но он для пущей важности несколько изменил свое фамильное имя; комната у меня была прекрасная, окнами на Моховую, но было неудобство, что вход с заднего двора, застроенного университетскими учреждениями, так что пробраться ко мне надо было из Долгоруковского переулка. Поэтому мои друзья и знакомые предпочитали просто стучаться ко мне в окно и по ночам влезали ко мне в комнату прямо с Моховой к негодованию полиции и Пиуновского. Раз ночью провожал я засидевшегося товарища и перед окном поскользнулся и расшиб себе жестоко ногу. Провожать меня пришла вместе с Безсоновым его старая няня и сказала мне: «будешь во времени, мого милушку помяни», указывая на Безсонова. Провожала меня и кухарка Марфа, которая в разговоре со мной о предстоявшем мне житье, выразилась: «Знаешь, батюшка, ведь Русские цари правят, как медведи в лесу: гнут не парят, переломят, не тужат». Я двинулся в путь 19 ноября 1851 года по открытой с 1-го ноября того же года железной дороге. У многих путешественников было по множеству узлов, подушек и съестных припасов. Со мною ехал наш профессор политической экономии Вернадский, и он сказывал, что он уже едет второй раз и что в первые дни по открытии дороги в саду к одному подходу какая то

едет второй раз и что в первые дни по открытии дороги в залу к едущим подошла какая-то старушка и каждого крестила. Оправдались стихи Шевырева: ...и катится путь железный От Невы и до Кремля. В Петербург я приехал прямо к Коссовичу, и он дня через два повел меня на

Моховую в дом Плеске, во 2-м этаже которого (жила) вторая дочь графа Блудова Лидия Дмитриевна Шевич с тремя сыновьями, из которых мне надлежало обучать Ваню (ныне разбитого параличем члена Государственного Совета) и покойного Митю (бывшего посланником в Японии, а потом послом в Мадриде). Третий брат, Сережа, был тогда еще лет 7-ми. Главное лицо в этом семействе была гувернантка обеих дочерей графа Блудова, девица Каролина Антоновна Дютур, уроженка Нормандии, с детства долго прожившая в Англии, куда ее родители спасались от Французской революции. Это была женщина тонкого ума, но по-моему начал безнравственных, потому что на первых же порах моего пребывания в этом доме она стала рассказывать, что вдова Лидия Дмитриевна страстно влюблена в некоего генерала Раля и что отец граф Блудов отнюдь не позволяет вступать ей в этот брак. Я тогда еще заметил, что на карточках визитных у Лидии Дмитриевны было: рожденная графиня Блудова, тогда как графство было дано ему, когда она была уже замужем за гусарским полковником Шевичем. Я очутился в золотой клетке и имел право уходить без спросу только вечером в субботу и по воскресеньям. Мне отведено было 2 комнаты, но в 3-м этаже, плохо меблированные, где я мог только по утрам пить чай, все же 76 остальное время, с 7-ми часов утра, проводить внизу. Раз Митя подбегает ко мне перед обедом: «Петр Иванович, чтобы Вам не ходить к себе наверх, не угодно ли умыться у нас?» Оказалось, что они умывались и переодевались к обеду и в 3-й раз делали то же, ложась спать, а про дедушку их, т. е. графа Блудова, я узнал, что он даже вторично брился по вечерам, что мне напоминало моего товарища и приятеля Новикова Николая Николаевича, который, бывало, по утрам выбрившись и намылив себе потом щеки и бороду, оставался так для мягкости кожи в течении некоторого времени, что мы называли: «в мыле пребыть». Граф Блудов со старшею дочерью девицею Антониною жил особо на Итальянской же в доме Бодиско, почти рядом с пассажем. Шевичи туда ездили редко, да и Блудов приезжал к Лидии Дмитриевне только иногда к обеду, а раз приехал произвести экзамен своим внукам. Этот экзамен прошел блестяще. Как удивился старик, когда один из его внуков прочел ему стихи Огарева: «Ночь тиха, на небе тучи...» Он никак не ожидал, что какой-то неизвестный ему Огарев пишет прекрасные стихи. А сам он был великий охотник до стихов и любил читать из Державина, Жуковского, Батюшкова и очень редко Пушкина, так как Пушкина он недолюбливал, потому что Пушкин звал его «тестом», в противоположность Дашкову, прозванному «бронзою». Беседы с графом Блудовым и мои расспросы у него были для меня тем, что Немцы зовут *historische Vorstudien**. В то время почти ничего не позволялось печатать об Русской истории XVIII века, вследствие ненависти Николая Павловича к памяти Екатерины Великой, внушенной ему его матерью; Блудов же был необыкновенно словоохотлив, и я внимал ему, напоема. На экзамене моих учеников, на который собрались и все учителя их, отворилась дверь из прихожей, и явившийся гоф-фурьер громко произнес: «Государыня Императрица приглашает ваше сиятельство к сегодняшнему обеденному столу». Старик граф встал и, почтительно наклонив голову, сказал: «доложи Ее Императорскому Величеству, что сегодня буду иметь это счастье». Прошли десятилетия; сидел я поутру у князя Семена Михайловича Воронцова, как явился к нему такой же гоф-фурьер с картою, на которой написаны были имена лиц, приглашаемых Государем к обеду и в их числе князь и княгиня Воронцовы; князь не только не встал, но, бросив карточку в сторону, сказал: «Буду». Вот до какой степени поникло значение Царское. Коссович на первых же порах моей Петербургской жизни повез меня к старику живописцу (писавшему стенные священные картины в Исаакиевском соборе) Николаю Аполлоновичу Майкову. Это была маленькая дружная семья, средоточием которой была мать Москвичка, родом Гусятникова. Мне очень там понравилось, но я не мог часто посещать Майковых за неимением времени. Там я познакомился с Гончаровым, довольно гордо себя державшим. Младший сын Леонид, тогда 15-тилетний мальчик, сделался впоследствии мне другом. Он унаследовал свойства своих родителей и не походил на старшего своего брата Аполлона, который был несносен тем, что черезчур охотно читал стихи свои и негодовал, если слушатель недовольно внимательно внимал ему. Погодин снабдил меня курьезной записочкой (дорожа бумагою, он имел обыкновение писать на клочках, оторванных от полученных им писем) к Соборному. Там жил на Выборгской стороне за церковью Самсонова на улице

писем) к Соколовскому. Тот жил на Выборгской стороне за церковью Самсония на устроенной им Мальцовской прядильной фабрике. Это был холостяк, истинный друг книг и всякого просвещения, человек трезвого образа мыслей и по душе несравненно лучше, чем он казался.

Подобно многим незаконнорожденным людям, он брал 77 наглостью и всякого рода выходками. Любопытно, что в молодости своей писал он нежные идиллические стихи. В то время, когда я узнал его, он не сообщал мне своих метких эпиграмм; позднее, когда он переселился в Москву, я очень с ним сблизился и много от него наслушался. Думаю, что он любил меня и хотя был скупенек, но мне подарил на память, когда я женился, прекрасный цельного красного дерева круглый поставец. В моей памяти и в моих записях сбереглась большая часть его стихов, этих образцов эпиграмматической поэзии. Он был то же, что Марциал в Римской литературе. Противоположность ему я встретил в Петре Александровиче Плетневе, тогдашнем ректоре Петербургского университета. Я редко пропускал его Субботы, на которые съезжались к нему любители словесности и тихой беседы. Вторая жена его, Александра Васильевна, рожденная княжна Щетинина, была женщина редких душевных свойств. Она что-то вроде поэзии Тютчева: глубина и своеобразное изящество. У них было два сына, и с ними воспитывался мальчик Лакиер, внук Плетнева от первого его брака, сын Ольги Петровны, скончавшейся чуть ли не в самый год свадьбы своего отца и почти ровесницы Александры Васильевны. С Плетневым до конца его жизни я был в беспрестанной переписке. Мы сходились в общей любви не только к Пушкину, но в особенности к Жуковскому. Он заместил Жуковского в занятиях уроками трех Великих Княжен, дочерей Николая Павловича. Александр Николаевич, по своему воцарению, позволил ему приходить к себе по утрам, но он мало этим пользовался. Не раз говорил он мне, что свезет меня к Императрице-Матери, которую называл милою старушкою, но я был до того застенчив и не нарядлив, что отвергал всякую мысль о том. Когда Плетнев болел в Париже, Великая княгиня Мария Николаевна сердобольно и почтительно навещала его. Я же счастлив тем, что вдова Плетнева почти на смертном своем одре позвала меня к себе в спальню, перекрестила, велела себя перекрестить и поцеловала меня. Как мне было радостно, что старший мой сын Ваня случайно встретился со старшим сыном Плетнева Александром, тотчас дружески сошелся с ним, не зная про мою близость с его родителями. Университетские беспорядки, которые приходилось унимать Плетневу, действовали на его здоровье, хотя студенты любили его. У него образовалась рана под ложечкою и его послали лечиться в Париж, и там Александра Васильевна высасывала гной из его раны. Там он и умер. Тело его привезено в Александро-Невскую лавру, и Государь был на его похоронах. Кто-то уподоблял его старой, обросшей мохом бутылке драгоценного вина. Когда меня приглашали к Шевичам, было уговорено, что весною 1852 года я поеду с ними и с их матерью в чужие края. Можно судить, как меня взманило это. Но когда наступила весна, второй сын Митя до того избаловался, что Лилия Дмитриевна объявила, что заграничное лечение не пойдет ей впрок, ежели она возьмет с собою Митю, и потому решено было, что он со мною переедет на летние месяцы к родной тетке своей матери, Марии Андреевне Поликарповой (*la plus polie des carpes**, острота Васильчикова), в село Понофидино Старицкаго уезда Тверской губернии. Это решение не особенно меня огорчило, так как я, получив в январе первое мое жалованье, съездил на Апраксин двор и закупил себе много книг к изумлению м-ль Детур и домашней Шевичевской прислуги. Тут я и положил основание моей библиотеке. Две графини, Антонина Дмитриева и приятельница ее графиня Аполина Михайловна Веневитинова, рожденная графиня Вьельгорская, выказали свое участие, а когда я уехал в Понофидино, 78 графиня Антонина вступила со мной в переписку, продолжавшуюся в течение многих и многих лет. Сестра ее Шевич была нрава горделивого, вероятно, в свою бабушку по матери княгиню Антонину Станиславовну Щербатову, рожденную Яровскую, считавшую, что ее дочь княжна Анна Андреевна сделала *Mesaliance*, склоняясь на долголетние ухаживания чиновника иностранной коллегии Блудова, который хотя был старинного, но ничем особенно не отличавшегося рода. Вероятно, тут действовало то, что Блудов по матери своей, рожденной Татевой, был богат. Старшая его дочь, незабвенная для меня и для всех, знавших ее, графиня Антонина Дмитриевна, не походила на сестру свою и на обоих братьев, которые оба держали себя довольно высокомерно. Она была, при самом широком образовании и уме, отменно сердобольна и пламенно любила Россию, история которой была ей хорошо известна, потому что отец ее был близок к Карамзину, которого называл *mein Vaterlicher Freund**. Кроме того, графиня была женщиною глубокого человеческого благочестия и сестра не походила на

того, графиня была женщина глубокого непоказного благочестия и сознательно исполняла все обряды и обычаи нашей церкви. У нее часто бывали домашние службы, она ездила в Казанский собор молиться за Государя, когда ему предстояло подписать какое-нибудь важное

государственное решение. Помню графиню в ее приезды в Москву (где она останавливалась во дворце, в нынешней квартире Степанова), как она, бывало, на коленях молится у Спаса на Бору, близ мощей Стефана Пермского, держась рукою за поставленный впереди ее стул. Много позднее, когда Митя Шевич, уже посланником Японским, поехал со мною осматривать Кремлевский дворец, я сказал сопровождавшему нас камер-лакею, что это племянник графини Блудовой; тот отменно воодушевился и стал распространяться в похвалах ей. Она и отец ее расположились в мою пользу и потому, что знали про мою близость к Хомякову, которого стихи и все направление были им сочувственны. Графиня немедленно сблизила меня со своим питомцем Костичем, молодым даровитым Сербом, жившим у них в доме. Графиня мне рассказывала, что однажды она видела сон, в котором покойная мать ее упрекала ее в том, что она проводит дни без всякой цели в жизни. На утро ей докладывают, что внизу просится к ней войти какой-то молодой человек, который привез ей письмо из Вены от ее брата. Этот брат, граф Андрей Дмитриевич, служивший тогда при Венском посольстве, писал ей о передраге, происшедшей в дипломатическом Венском кружке: молодой Серб, приехавший учиться артиллерии в Венское артиллерийское училище, когда его повели на площадь перед училищем для произнесения присяги, во всеуслышание воскликнул: «как стану я присягать царю Швабу!» Его, разумеется, тотчас уволили, и родители решили послать его для продолжения науки в Петербург. Графиня сочла этот неожиданный приезд Костича материнским для себя заветом. Костич был определен в Петербургское Артиллерийское училище, но проводил время у Блудовых, т. е. в самом высшем обществе. В довершение очарования, он писал стихи, хотя по-сербски, но довольно приятные русскому слуху. Некоторая его дикость и полная искренность приманили к нему Петербургское аристократическое общество. Когда наступила война, он отличился под Свеаборгом, но, конечно, в богатой обстановке министерского дома скоро избаловался, и года через два графиня насилу от него избавилась: он поехал весною в Сербию и там сошел с ума. Сочувствие к Славянам, к их освобождению от Турецкого и Австрийского ига занимало все помыслы графини. Говорили даже, что Сербский владетельный князь Михаил Обренович выражал намерение на ней жениться. Я видел 79 у Блудовых и Черногорского владетельного князя Даниила, в лице которого слепая Русская политика дозволила разлучиться духовному и светскому званию: до того времени, в течение столетия Черногорею правили митрополиты из рода Негошей. Я тоже увлекся Славянскими сочувствиями и перевел историю Сербии Немецкого профессора Ранке⁴⁴. К первому изданию этой книги Мамонов сделал рисунки на обертку. Книжка выдержала два издания. Народные Сербские песни (которыми восхищался и Гете) были также мною изучаемы. Разумеется, в Петербургском обществе многие смеялись над графинею, а Соболевский написал: Я не причастен секте оной, И в панславическом жару Перед Болгарскою Мадоной Я на колени не паду. Противны синие чулочки Хотя б и в пожилых летах, Хотя б на министерсткой дочке, На камер-фрейлинских ногах. Весною 1853 года, когда я уже не был при Шевичах, графиня пригласила меня из Москвы в Петербург погостить у нее на Страстной и Святой неделях. Я прожил у них припеваючи. Тогда я им привез еще неизданную предсмертную поэму Жуковского «Агасфер или Вечный Жид», которую в Москве дала мне списать с подлинника поселившаяся на Полянке в доме Поземщикова Елизавета Алексеевна Жуковская. Это удивительное произведение писалось до смерти, оставалось долго потом неизданным, а издатель или вернее сам граф Блудов, исказили его и только в позднейшем уже издании Ефремов⁴⁵ восстановил поэму по представленному мною ему моему с подлинника списку. Вообще граф Блудов одержим был страстью поправлять и вылащивать слог, не только свой, но и чужой. В особом портфеле лежал целый ряд манифестов Императора Николая Павловича, которые поручено было ему составлять. Чиновник его, А. Н. Попов, сказывал мне, что была большая мука с бумагами, которые графу Блудову приходилось подписывать. Он все был недоволен их слогом и по многу раз переправлял, так что от написанного Поповым или Деляновым (будущим Министром Народного просвещения) не оставалось почти ничего. То же самое проделывал он и с 12-м томом Истории Государства Российского, который Карамзин не успел кончить и издание в свет которого взял на себя Блудов (причем помощником ему был

Константин Степанович Сероинович, вкравшийся к Карамзину в чтецы, бывший у ниат, впоследствии редактор журнала Министерства Народного Просвещения, а потом директор канцелярии обер-прокурора Святейшего синода, имевший большое значение в синодальных целях). Рукопись 12-го Карамзинского тома, не исправленная Блудовым, должна быть весьма любопытна. Я прожил у Шевичей всего полтора года, но сохранил наилучшие отношения с моими учениками, с их теткою и дедом; только мать, когда я уже оставил их, изменила холодное со мною обращение, а впоследствии, постигнутая горем, сделалась даже мягка и разговорчива. У нее и у ее отца и сестры царелюбие господствовало; беспрестанно слышались восторженные отзывы о разных великих князьях и великих княгинях. Графиня Антонина составила даже записку — похвальное слово Императору Николаю, и в Петербурге тогда лишь он один господствовал, оправдывая стихи Некрасова: 80 И только тот один, Кто всех собой давил, Свободно и дышал, И действовал, и жил. По улицам ежедневно ходили патрули (как и теперь в Берлине), и снаружи была полная тишина. «Все молчит, ибо благоденствует», как писал Шевченко. Однако самого Государя я никогда не видал, так как редко показывался на улице по своей хромоте и застенчивости. Раз приключалась со мною беда: на Невском я зашел в магазин, куда вела небольшая чугунная лестница решетчатая; костыль мой провалился в одну из скважин, и я покотился вниз со своей надломленной клюкой. Потом приезжал в Петербург Катков и останавливался в крошечной комнате в Пассаже чуть ли не в 4-м этаже. Я приходил проститься с ним и до сих пор не могу забыть его слов наставительно-предупредительных: «Жил я в чужих краях и в Берлине и уверяю Вас, что этот город младенец по нравственности, сравнительно с Петербургом». Итак, в июне месяце 1852 года отправился я в Понофидино с моим шаловливым учеником, за которым ходить я не брался и которого должен был только учить для поступления в гимназию или в Пажеский корпус. В Понофидине большой каменный двухэтажный дом, стародворянский дом с увесистою, но вовсе не роскошною обстановкою. Там ждал нас сын владелицы Евгений Александрович Поликарпов, добрейший и в то время еще холостяк, хотя уже и в летах. Из двух сестер его одна была замужем за каким-то Поляком на Вольни, а другая, оставшаяся девицею, Антонина Александровна, проводила большую часть года в деревне, как и мать ее, бодрая, крепкая здоровьем и хозяйственная Мария Андреевна, рожденная княжна Щербатова, вдова Александра Поликарпова, который некогда был Тверским губернатором, и когда княгиня Дашкова, сосланная Павлом Петровичем в деревню, проезжала Тверь, он не убоился оказать почести этой статс-даме, известной в Европейских столицах. В Понофидине жил некто Викентий Будревич, учитель математики в Тверской гимназии и товарищ Мицкевича по Виленскому университету. Польское по бабке происхождение Евгения Александровича, а также уважение к его педагогической деятельности, сблизило его с Будревичем. Жизнь в Понофидине, особливо летние месяцы, была однообразна и скучновата. Осенью стали наезжать соседи и в числе их даровитый Алексей Михайлович Унковский. Он с офицерами Драгунского полка (который постоянно стоял в Ржевском уезде) и с неким Андреем Осиповичем Лясотовичем затеял домашний театр. Я уже не помню, какая пьеса разыгрывалась, я в ней играл старика-деда и моя роль была вовсе не сложная. В самый день представления получил я от брата письмо о кончине нашей матери 4-го октября 1852 года, что, конечно, не могло способствовать успеху моей театральной игры. Лидия Дмитриевна с детьми и с м-ль Детур возвратилась в Петербург уже в ноябре месяце (на обратном пути, в Лейпциге, она служила панихиду на могиле деда своих детей, Ивана Егоровича Шевича, храброго Суворовского генерала, убитого в Лейпцигском сражении). Зимнего платья для обратной поездки в Петербург у меня не было, и я купил себе за 13 рублей простой полушубок, отлично гревший. Мы вернулись с опоздавшим поездом, когда уже в комнатах зажжены были огни. По случаю кончины матери я объявил, что оставляю мою должность и поехал к Рождеству в Липецк. Отпевали в нашей соборной церкви Кирилла Степановича Рындина, второго супруга моей двоюродной сестры Анны Васильевны (первый супруг ее был Павел 81 Павлович Шишкин, мой крестный отец). Я плакал по матери, Анна же Васильевна думала, что я плачу по ее мужу, и я конечно не разуверял ее. Эта моя двоюродная сестра была избалована матерью, хотя была очень умна, но в то же время и кокетлива. Очень часто слышал я, как она хвасталась перед моею матерью, что тот-то и тот-то в нее влюблен. Во второй брак вступила она, думая, что он, как окружной инспектор в преобразованном тогда министерстве государственных имуществ и имевший связи в Петербурге, принесет ей и хороший

достаток и видное положение в обществе. Но он был простака, любил покушать и поиграть в карты, между тем как она отличалась скупостью до того, что бедный супруг ее иногда приходил покормиться к нам в дом, отличавшийся гостеприимством, или к жившей насупротив нас через улицу другой тетке его жены, добрейшей Ольге Петровне Зейдель. Анна Васильевна крайне скупко кормила свою прислугу и обращалась с нею жестоко. Девки ее ссылались в ее Саратовскую деревню, тогдашнюю глушь Князевку (наследство нашей бабушки, которой мать была родом княжна Звенигородская). Туда она раз поехала и насилу оттуда убралась от возмутившихся против нее ее подданных, для чего должна была бежать в г. Аткарск, в то время более похожий на грязную деревню. В Липецке на нашей же Дворянской улице был у нее хороший дом с чудесным видом на обширную заводь реки Воронежа. Плохо жила она со своим мужем, который почти повредился в уме. А две девки ее однажды ночью набросились на нее и стали душить; лишь гибкими пальцами просунула она свои руки между их руками и своей шеей. Началось следствие; заподозрен был супруг, якобы подучивший девок, но это, конечно, неправда. Во время следствия какой-то чиновник ходил по дворянским домам и спрашивал про образ жизни Анны Васильевны (с нас, как родных, он не брал показания). Никто из дворян не свидетельствовал против нее, один Михаил Яковлевич Головнин высказал правду. Дело это тянулось долго; она ездила в Тамбов, и ей как-то удалось освободиться от наказания. Любопытно, что при таком нраве она держалась крайнего благочестия, и мне жаль, что после нее не сохранилось у ее племянниц чудесной старинной иконы. Дом свой она отдала своей племяннице Анне Федоровне Змиевой, а сама поселилась у нас наверху и там почти не сходила с постели, питаясь Бог знает чем и беспрестанно творя молитву. От нас она переехала в Воронеж и очутилась в руках некоей Аменицкой, у которой и скончалась. Саратовскую деревню, которую она отдавала в льготную аренду своему старшему племяннику Ивану Федоровичу Змиеву, а так как он ничего не платил многие годы, то Ивану Николаевичу Ладыгину, продала она графу Сергею Дмитриевичу Шереметьеву по 50 рублей (их было 100 дес.). Куда девались эти деньги, неизвестно. Змиевым она ничего не дала за их неповиновение. Похоронена она в Воронежском женском монастыре. Однако, я любил с нею беседовать, так как она была очень умна, и суждения ее отличались меткостью; своих же крепостных она иначе не называла, как хамово отродье, и была глубоко убеждена, что сам Бог присудил им быть рабами дворян. Брат мой Михаил Иванович, кажется, не дождался даже, чтобы прошло шесть недель по кончине нашей матушки и вступил в брак с крикливой и дурно-рожей Екатериной Андреевной Воеводской, в гербу отца которой Латинские слова: *Augo aurum addimus*, т. е. придаем золото к золоту. Она действительно раз ездила в Лебедянь, распродавала пожитки нашего дома, который при маменьке был богат, как полная чаша. О том, что и я сонаследник супруга, и не заикалась, а когда я раз спросил про Костромское, унаследованное от двоюродного нашего брата Павла Никифоровича Бартенева имение, мне отвечали, что оно уже продано при жизни матери нашей (которая, однако, не могла продавать 82 имение отца нашего, мы же оба были совершеннолетние), и дали только полдюжины денных рубашек. В январе 1853 года я, уезжая от них в Москву, взял с собой укрыть ноги от морозов во время езды старый небольшой ковер; в Москву последовали письма с требованиями возвратить ковер. Мне (было) назначено по 30 рублей в месяц, и эти деньги я получал не иначе, как после нескольких писем с просьбою о присылке их. Сестре нашей Сарре Ивановне (было) назначено по 100 рублей в год, т. е. немного более того, что получал старший конюх. Мы с сестрою мирволили всему этому, любя брата и в том соображении, что он завелся с ею и у него могут быть дети (в августе 1853 года у него, действительно, родилась первая дочь Мария, унаследовавшая жадные качества родителей). В 1854 году, когда брата потребовали в ополчение (от которого он умел откупиться, подарив доктору лошадь за свидетельство у него якобы аневризма), ко мне они пристали, чтобы я дал полную доверенность на имя Екатерины Андреевны на управление моею долею имущества, коего было 800 десятин и 100 душ крестьян. Без ведома брата и сестрицы я в Липецке дал эту доверенность Петру Абакумовичу Трунцевскому, женатому на двоюродной моей сестре Софии Николаевне Зейдель. Тогда начались приставанья, чтобы я продал мою долю, заставили писать о том письма сестру Сарру, а когда узнали, что Дмитрий Дмитриевич Головнин намеревается купить мое наследство, то сестра Сарра написала мне, будто наши крестьяне умоляют меня не продавать их. Все это меня страшно огорчало и надоедало, и летом 1857 года я продал брату мою долю за восемь тысяч полтора

рублей. Тогда я в денежном отношении был уж спокоен, получая по 100 рублей в месяц за мою работу над изданием «Русской Беседы»⁴⁶ и, кроме того, имея уроки. Родной мой дом в Королевщине больше не привлекал меня к себе: в спальне у маменьки над ее кроватью висел

золотой орел, державший в клюве своем полог; можно судить, каково было мне увидеть этого орла в нужнике, к тому же, хотя я впоследствии был врагом того способа раскрепощения, благодаря которому разорены помещики, развращены бывшие крепостные, но нельзя же забыть, что и у нас на конюшне еще при жизни маменьки однажды секли дочь кучера Парашу, чем-то не угодившую сестре моей Полине, которая, озлобясь на лакея Ивана Горячего, хорошее платье его бросила в отхожую яму нужника. А у зятя моего, Петра Борисовича Бланка, каждый вечер шла игра в карты, между тем как староста и другие крестьяне дожидались, когда к ним выйдет барин и отдаст приказания по хозяйству. Раз при мне сухопарый Петр Борисович костлявыми пальцами избил стоявшего в прихожей крестьянина. Мысль о прекращении крепостного права как-то бессознательно уже господствовала, и мальчиком за обеденным столом я уже подумывал, за что про что мы пресыщаемся, а наши дворовые нам служат. Во время долгих ужинов откладывал я в особую тарелку какого-нибудь кушанья и потом относил его моей милой Маргарите Семеновне, которая укладывала меня спать и научила меня разным пословицам. В начале 1853 года поселился я в Москве на Малой Лубянке в доме III-й гимназии в меблированных комнатах, которые содержал Француз Haldu, вместе с П. А. Безсоновым. Мы занимали две комнаты с небольшой прихожей; его была дальняя, моя проходная. Несносен он был очень, поздно возвращаясь и тем будя меня. Чай и сахар у нас был общий в шкатулке, от которой ключ был у меня. Однажды я куда-то ушел, а ему захотелось не в урочный час чаю; прихожу: шкатулка сломана и сломана моею же бритвою, которая от того испортилась. Я должен был с ним расстаться и весной нашел себе комнату в игрушечном магазине против манежа в доме тогда Торлецкого, ныне князя Гагарина. Этот 83 магазин держал старик Трухачев с двумя своими дочерьми. Моя комната с 2-х окнами выходила в сторону манежа, но магазин в 9 часов запирался и чтобы не выходить через грязный двор, я вылезал на площадку из окна. Мои посетители этим же путем являлись ко мне, к негодованию Трухачевых и полиции. И еще до отъезда к брату ездил я на Девичье поле к Михаилу Петровичу Погодину, который стал благоволить ко мне с самого времени моего студенчества. Он, узнав от Шевырева про мою работоспособность, однажды навестил меня в рабочей моей келье, просидел довольно долго и вслед за тем прислал ко мне целый воз своего «Москвитянина», который он издавал с 1841 года. В благодарность я составил указатель статей «Москвитянина» по истории Русской, этнографии и по истории Русской словесности. Указатель этот я напечатал во «Временнике»⁴⁷ общества Истории и Древности, откуда дали мне несколько оттисков, один из коих повез я к Погодину и был встречен бранью и криками: «Как же Вы смели со мною поступить так? Смотрите: напечатано «Указатель к Москвитянину», а не поставлено, кем он издавался?» Я благодушно отнесся к этому крику. Потом было у меня с ним еще столкновение: я поместил в «Москвитянине» какую-то статью мою о Жуковском, и он мне за нее вынес всего 6 рублей. Тогда я положил себе правилом не иметь с ним никаких денежных сношений, и мы до конца дней его (1875 г. декабря 8-го) оставались в наилучшей дружеской связи, простиравшейся и на наше семейство. Я от всей души полюбил его, и он ценил мое трудолюбие и любознательность, называя меня за мои расспросы «дразнилкою». «Когда льют колокол, говорил он, то бросают в растопленную медь кусочки дерева, необходимые для того, чтобы к ним собирался всякий сор и медь становилась чище; эти деревяшки называются дразнилками. Так и к вам прилипает всякая библиографическая мелочь». По возвращении моего от Шевичей Погодин советовал мне заняться биографией Жуковского 12 апреля 1852 года, прибавляя, что это будет угодно Государю. Чтобы собрать сведения о Жуковском, дал он мне кургузую записочку к Авдотье Петровне Елагиной, которая жила тогда близ Арбатской площади на Пречистенском бульваре во 2-м этаже довольно большого дома Шеншиной. Знакомство с Елагиными принадлежит к немногим вполне счастливым обстоятельствам моей жизни. Я полюбил их от всего сердца, и эта семья сделалась мне как родная. Пришел я к ним весной 1853 года поутру, в большой зале встретила меня полу-старушка без чепчика, она расхаживала по комнате, очевидно уже напившись кофе, который стоял приготовленный для остальной семьи. Она состояла тогда из двух сыновей и девицы в летах, Марии Васильевны Киреевской, дочери от первого брака. Вскоре вышла к кофе Екатерина

Ивановна, жена старшего из Елагиных, Василия Алексеевича. Она была высокого роста, сухощава, бледна, вовсе некрасива. Она месяца два перед тем произвела на свет первое свое дитя Алешу — утеху всей семье. Муж ее преисполнен был к ней привязанностью. Рассказывали потом, что однажды, когда она была больна и лежала в постели, он, боясь ее беспокоить скрипом двери, влез в комнату через окошко. Вообще он был чудак; однажды шел он по Маросейке недалеко от Лютеранской кирки, и встретившийся ему Немец принял его за пастора и спросил, когда начнется служба. Он был необыкновенно начитан, человек самых благородных побуждений, но в политическом отношении завзятый либерал, что, может быть, происходило оттого, что его отец, Алексей Андреевич, был сослуживцем во время Наполеоновских войн и другом декабриста Гавриила Степановича Батенкова. Кроме того, когда Василий Алексеевич подрастал, у них в доме бывал поэт Мицкевич, и в Польский мятеж сочувствия Василия и брата его Петра Васильевича Киреевского были на стороне Поляков. 84 Он выучил и жену свою польски, и они читали Мицкевича, о чем, впрочем, узнал я после их смерти, тогда как я с самого отрочества моего относился к Католичеству и Полякам почти враждебно. Брат Василия, Николай Алексеевич Елагин, был, напротив, человек трезвого ума и с большою склонностью ко всему изящному и художественному. Образование обоих прошло под воздействием их двух старших братьев, Ивана и Петра Васильевичей Киреевских, из которых первый женат был на Наталье Петровне Арбеновой, которую и Свербеев называл Канальей Петровной. Это была, действительно, ложка дегтя в прекрасной чаше меду, которую представляла собой семья Елагиных. У нее все было напоказ и говорила она не иначе, как с ужимками. Муж покорливо нес ее иго. У них было три сына и две дочери; я зазнал их прекрасными детьми, но матушка сумела всех их пятерых испортить и к концу своей долгой жизни напечатала в газетах, что сын Сергей ее обокрал. О старшей дочери надоедала она Жуковскому, чтобы ее взяли во двор фрейлиной, а когда это не удалось за отъездом Жуковского в чужие края, то поместила ее в Вяземском женском монастыре и добивалась для нее игуменства. Дочь разорвала эти путы и, выйдя замуж за какого-то незначительного человека, жила особо от семьи и от родных. Младшую дочь выдала она за некоего Волхонского, смиренного и влюбленного человека. Я случайно был на этой свадьбе в церкви на Остоженке близ Лицея. Жених плакал во время совершения таинства, невеста улыбалась, а матушка, стоя близ царских дверей, имела вид торжественный. Не прошло и году, как после рождения ребенка она перессорила дочь свою с мужем ее, а внука-мальчика рядила как совершеннолетнего и раз привезла его к прабабушке во фраке, белых перчатках, в круглой шляпе, что было очень противно видеть. У них в доме Авдотьи Петровны, где они жили только одни, собирались по воскресеньям вечером. Я нередко бывал там, любя и уважая Ивана Васильевича, которого беседа, как и произведения, всегда была не только умна, но и художественна. В последний раз я видел Наталью Петровну у богатой и благочестивой старушки. Она вымогала у нее денег и умильно целовала ее в плечо. Это был Тартюф в юбке. Когда летом 1856 года умер в Петербурге ее муж, я немедленно поехал к Авдотье Петровне в ее Петрищеве Белевского уезда, от которого в нескольких верстах находилось село Долбино Киреевских. Я должен был поехать в Долбино навестить вдову в ее вдовстве, и что же — она вышла ко мне в амазонке, в какой-то черной шапочке, с хлыстом в руке. «Теперь я вольная птица», сказала она мне. С тех пор я уже никогда больше не бывал у нее. Много горя приняла от нее Авдотья Петровна, которая из всех своих детей наиболее любила ее мужа, своего первенца, и, действительно, он был в семье самый даровитый, почти гениальный человек. Младшего его брата, Петра Васильевича, еще до знакомства моего с их матерью встретил я однажды у А. С. Хомякова. Он ходил в какой-то венгерке, волосы обстрижены в кружок, в одном кармане трубка с табаком «Пан Табачинский», в другом «Пани Спичинская», т. е. спички и мешок для выбиваемой из трубки золы. Он изумил меня тотчас же, как зашла речь о Петре Великом, называя его совершенно спокойно не иначе, как чертом. Много позже, за границею, прочел я книгу Ренана об Антихристе, доказывающую, что этим именем первоначально называли христиане Нерона за его мучительства. И действительно, Петр Великий мог казаться нашим предкам тоже Антихристом: недаром по его приказанию первенствующий пастырь церкви Стефан Яворский сочинил и напечатал книжку «Об истинном пришествии Антихриста». Подданных надо было разуверять, что Царь их не Антихрист. Петр Васильевич, вставая с постели, спрашивал слугу своего Самойлу: «Погляди в окно, не начали ли бить Немцев?» И это не в

шутку. Между тем он был человек обширнейшего 85 образования и начитанности, знал он много языков и перевел с Английского книгу Вашингтона Ирвинга о Магомете, которую я в 1857 году напечатал для Русской Беседы. Нрава он был самого кроткого, но лень в последние годы одолела

его, и он затруднялся написать самое простое письмо и для сокращения писания придумал в начале писать хам, хам, хам и в конце тоже, поместив в середине то, что было ему нужно, и затем подписав свое имя. Собирался он в дорогу по целым неделям. В Москве же жил только по зимам, сначала в собственном доме на Остоженке, а большую часть года проводил у матери, у брата в их поместьях и в своей Киреевской Слободке под Орлом, ныне купленной Валерием Николаевичем Лясовским у его племянника Сергея Киреевского. Там я гостил у него почти целую неделю. Полевым и домашним хозяйством занимались живший с ним землемер и его семейство; сам же Киреевский довольствовался очень скудной пищею. Я у него почти что голодал, и тем не менее в беседе с ним чувствовал себя как нельзя лучше. Заслуга его перед Россиею в собирании народных песен. Впоследствии он разъезжал по разным местам и в разные губернии для их записывания и как говорил, потерял однажды чемодан, в котором находились записки одного из его предков про времена Петра Великого, конечно осудительные. Сам Петр Васильевич издал только один отдел собранных песен, это так называемые «духовные стихи», и издал превосходно, выбравши из разных списков то, что было наилучшего. Для этого надо было иметь особую опытность и художественное чувство. Я еще помню, как в Москве в Охотном ряду великим постом старик крестьянин на возу, привезенном с каким-то товаром, медленно и благоговейно распевал стих об Алексее Божьем человеке. Петр Васильевич так любил брата Ивана, что пережил его всего четыре месяца. Он был очень дружен также со сводным братом своим Василием Елагиным и его женою Екатериною Ивановною, которая по его кончине не задумалась уплатить его долги из полученного ею наследства после Александра Павловича Протасова. Перлом этой милой мне семьи была Марья Васильевна Киреевская, олицетворение скромности и глубокого непоказного благочестия. Она два раза прекрасным своим почерком переписала всю библию в Русском, в то время запрещенном, переводе Алтайского миссионера Макария, сосланного в бедный Волховской монастырь неподалеку от Елагинских поместий и сделавшегося их другом. Марья Васильевна отменно чтит своего духовника Терновского, священника при церкви Вознесения у Серпуховских ворот. Бывало, ранним-рано съездит она к нему к заутрени, а в 8 часов уже сидит за чайным столом и поит семью кофе и чаем. Авдотья Петровна не особенно ее за это жаловала. Действительно, она совершенно предалась отцу Сергию и, подражая ему, постилась до изнеможения. В сентябре 1859 года она жила одна у него и до того измолилась и испостилась, что сил у нее больше не достало. Уезжал я в Воронеж к своей невесте и нанятому извозчику велел остановиться у церкви Вознесения, где отпевали Марию Васильевну. Накануне я стоял в небольшой ее комнате при ее гробе, и тут мне показали ее поминальник, в котором записаны были имена Петра и Сарры, т. е. мое и сестры моей. Терновский говорил над ее телом такую проповедь, что в церкви, наполненной молящимися, многие плакали. Обыкновенно он говорил не приговарываясь. Тут черные, густые волосы у этого сухопарого пастыря, казалось, вздымались, и сам он походил на изображение Иоанна Крестителя на известной картине Иванова. Накануне похорон я был у него, и он как бы извинялся передо мною в кончине Марии Васильевны. «Что скажет про меня Авдотья Петровна?» говорил он мне недоумительно. Правда, что в августе того же года изнывала в посте и молитве его поклонница Елизавета Николаевна 86 Кривцова, рожденная княжна Репнина. В Успенский пост, питаюсь одним картофелем и редькою, она занемогла холерою и скончалась, оставив несовершеннолетних сына и дочь. Знаменитый своими проповедями Терновский привлекал к себе в церковь толпы богомольцев. Филарет не мог уговорить его к принятию монашества, дабы ему быть архиереем. Он скоро после Марии Васильевны скончался и велел похоронить себя на кладбище того же Донского монастыря, где она легла. На похороны ее приезжала только одна Екатерина Ивановна Елагина. Чуть не с первого дня знакомства Авдотья Петровна отдала мне читать и позволила списывать целые кипы писем к ней Жуковского, который был незаконным братом ее матери, Варвары Афанасьевны Юшковой, рожденной Буниной, дочери Белевского воеводы Афанасия Ивановича. Мать Жуковского была Турчанка, взятая в плен после покорения Бендер графом Паниным в 1770 году и привезенная к Бунину крепостным его человеком, который, как и многие другие крестьяне Тульской и Орловской губернии, уходили по паспортам

в маркитанты, т. е. занимались мелочной торговлею при наших войсках. Авдотья Петровна была на шесть лет моложе Жуковского и с самого раннего его возраста любила Василия Андреевича, одной из первых учительниц которого была ее мать, образованная и прекрасно игравшая на фортепиано (†1791). Жуковский был постоянным, ежедневным предметом воспоминаний Авдотьи Петровны, которая связывала его имя с памятью своей самой близкой подруги и двоюродной сестры Марии Андреевны Протасовой, дочери Андрея Ивановича и Екатерины Афанасьевны (рожд. Буниной). Жуковский и Мария Андреевна многие годы были влюблены друг в друга. Жуковский называл Авдотью Петровну Своей Поэзией. Этого достаточно, чтобы выразить то обаяние, которым она пользовалась и в своей семье, и в близком обществе. Письма ее таковы, что в сравнении с ними знаменитые письма *m-le de Sevignie* кажутся приторными. Она до конца жизни любила занятие словесностью и в Дерпте за несколько месяцев до кончины перевела проповедь, сказанную там одним пастором. Все, что она ни делала, выходило как-то изящно. Она хорошо рисовала и вышивала шелками; ничего в ней не было такого, что в ученых женщинах называется синечулочеством. С какою ясностью и теплотою вспоминала она прошедшие годы своей жизни; когда я ее знал, она уже схоронила целый ряд детей своих и иной раз со слезами на глазах говорила: «Рахиль плачущися чады своих и не можаша утешитися яко не суть». Конечно моя с гимназии любовь к Жуковскому, знание наизусть многих стихов его и то, что сам он незадолго перед смертью намеревался пригласить меня в учителя к его детям, послужили к моему сближению с Авдотьей Петровной и ее семейством, которое отличалось взаимною горячею дружбою. Второй Елагин, так называемый Николушка, пригласил меня летом того же 1853 года бывать у них в родовом Юшковском поместье его матери, селе Петрищеве, верстах в 15-ти от города Белева и в 12-ти от села Мишенского, которое было местом рождения Жуковского, которое досталось сестре Авдотьи Петровны Анне Петровне Зонтаг и ныне принадлежит внучатой ее племяннице Марии Васильевне Беэрт, дочери Василия Алексеевича и Екатерины Ивановны Елагиных. Я поехал в Петрищеве вместе с приятелем их дома университетским товарищем Василия Елагина Эммануилом Александровичем Мамоновым. Это был отменно даровитый человек, вполне художник, писавший карандашными очерками, а иногда и масляными красками очень схожие портреты, по большей части заочно. В то же время нравы его были весьма нечисты, а связь с Нащокиными предосудительна по отношению к матери этого семейства. В Петрищеве небольшой деревянный, но чрезвычайно уютный дом в два этажа 87 с обширным садом, множеством яблок и особенно замечательным крыжовником, ягоды которого были как мелкие китайские яблочки (говорят, они и теперь рождаются такие же, и в Москве на Петровке их покупают у Марии Васильевны). Это был поистине Огромный запущенный сад, Приют задумчивых дриад. Авдотья Петровна отменно любила растения и цветы; бывало, в день ее рождения (11 января 1789 г.) и именин (1-го марта) в комнатах у нее было тесно от цветов и мелких деревьев, которые привозились ей в подарок. Сама она в этом году должна была остаться в Москве, чтобы в ней водворить вдову Жуковского Елизавету Алексеевну с двумя ее детьми. Авдотья Петровна ездила к ней навстречу в Петербург, а в Москве поселила ее у себя, пока она не наняла себе дома в Замоскворечье на Полянке у купца Поземщикова. Ей нужно было помещение подешевле, так как вдовья пенсия ее (5.000 р.) была вдвое меньше того, что получал Василий Андреевич. Авдотья Петровна часто писала в Петрищеве к сыну. Она несколько тяготилась большими расходами, в которых вынуждало ее пребывание Жуковских. Между нею и молодою вдовою полного согласия не было, так как сия последняя говорить по-русски не умела и к Русскому быту совсем была непривычна. Между тем имя Жуковского было предметом разговоров. Я вернулся из Петрищева в конце июля, говел, приобщался Святых Тайн в приходской древней церкви св. Иоанна Предтечи, и в этот же день Авдотья Петровна повезла меня на Полянку. С некоторого рода благоговением глядел я на Елизавету Алексеевну, но разговаривать с нею затруднялся, так как в то время еще плохо знал по-немецки. После уже, только в 1856 году после коронации, когда новый Государь возобновил ей пенсию ее мужа, она пригласила меня давать уроки ее Саше и Павлу, но уроков почти не было, так как вернувшись из Сокольников, она простудилась и 21 сентября 1856 года скончалась, а дети ее увезены к ее брату Рейтерну, женатому на Лазаревой-Станицевой. Во вторую половину 1853 года я перебрался с Малой Лубянки на Моховую в игрушечный магазин Трухачева. Вспоминаю и другие мои до того помещения. На 3-м курсе жил я вместе с моим гимназическим товарищем, юристом в

университете Дмитрием Дмитриевичем Батуриным, в одной комнате, разделенной перегородкой, за которою мы спали. Тут однажды оставалось у меня денег всего 10 коп., но случай вывел меня из беды. Идя по Столешникову переулку, на углу которого и Большой Дмитровки в доме

Засецкого помещалась наша домохозяйка м-м Файе, повстречался я с книгопродавцем Хелиусоси (преемником Дейбнера), и дорогою предложил он мне переводить с Немецкого статьи для издания «Любителям Чтения». Он сказывал, что для этого издания выписал он из чужих краев дешевые картинки и кто-то у него выбирает, что нужно переводить. В разговоре мы дошли с ним до конца Кузнецкого моста, т. е. до его магазина и я понес от него к себе Немецкий оригинал. На другой день я отнес ему целый лист перевода и получил 6 рублей. Это, кажется, была первая моя письменная заработка (не считаю переводов в гимназии из Нирица, за которые денег я не получал). Разумеется, я был чрезвычайно собою доволен. Вспоминаю еще два мои студенческие помещения. С моим милым Казановичем жил я некоторое время в доме Игнатьева (ныне Толмачева) в Газетном переулке близ Большой Никитской. Внутри большого двора была у нас внизу одна комната. Один из наших товарищей, Англичанин Фрирс, умел отлично делать трещины в тарелках, стуча ими в свой лоб. Много тарелок перебил он так у нас к досаде Казановичева слуги, присланного ему отцом. Фрирс открыл возможность ходить в университет из Газетного сквозным двором в Долгоруковский переулочек, и мы так и звали: идти Фрирсовым проходом. Тут были беспрестанные сношения с другим нашим товарищем Чехом Францем Фаусеком (по-чешски Фаусек вместо обще-славянского Жик). Он был сыном управляющего имением малолетних братьев Балашовых, а старший брат его управлял в Смоленской губернии имением князя Павла Борисовича Голицына. У Фаусека была особая книга — приват-корреспонденц с черновыми его письмами, в которых мы однажды прочли его выражение: «цель моего пребывания в Москве есть изучение Французского языка», над чем мы смеялись. Отец выписал его в Москву из Венского университета, где тогда происходили студенческие беспорядки. Фаусек в душе был псовым охотником; у него была собака «Пипер» и, бывало, ни за что его не заставишь остаться с нами, когда наступало время выводить Пипера на двор. «Пипер, иси», слышалось часто у него в помещении, где все было в порядке расставлено, в противоположность нашей безалаберной жизни. По окончании курса в университете (где в одном сочинении Шевырева назвал он себя венчаником, вместо венца), получил он у Балашовых место умершего отца своего. От них перешел он к братьям Мухановым в Старобольский уезд Воронежской губернии и по поручению Мухановых продал это большое имение княгине Марии Александровне Мещерской, у которой он оставался недолго, так как позволял себе жить слишком по-барски. Там он перешел в православие из католичества и очень рисовался этим переходом. Еще в Мотовиловке Балашовской женился он на Зейферт, воспитаннице Марии Петровны Бреверн, бездетной и очень образованной благодетельницы того края. Долго мы были с ним очень дружны. Старший его мальчик Виктор даже жил у нас на Берсеневской набережной. Ныне он директором женских курсов в Петербурге, а перед тем, кажется, был профессором зоологии в Дерптском университете. Уволенный от Мещерских, Фаусек переселился в Таганрог, где некоторое время занимался торговлею. По моему желанию ездил он в мои «Лысыя Горы» и поставил туда от себя прикащика, который действовал недобросовестно, что и послужило поводом к нашему охлаждению. Бедный Фаусек погиб в Петербурге: на него наехал экипаж и ушиб его до смерти. Другое студенческое помещение было у меня в Кривоникольском переулке на дворе во втором от Большой Молчановки доме. Там жил я с Федором Федоровичем Кокошкиным (отцом нынешнего профессора). Это был поздно рожденный сын известного директора театров, тоже Федора Федоровича, в первом браке женатого на Варваре Ивановне Архаровой, а во втором от актрисы Потанчиковой произведшего на свет этого моего сожителя. Александра Ивановна Васильчикова, заботясь об его судьбе, зная, какую скромную веду я жизнь, выразила желание, которое по моей приверженности к ней, было мне приказанием, чтобы первокурсник Кокошкин поселился со мною. У нас было три комнаты со множеством моих книг и с общою любовью к Пушкину, которого стихи мы оба знали почти наизусть. Нас посещал Иван Захарович Постников, сын другой сестры Ал. Ив. Васильчиковой Марии Ивановны. Он был до такой степени тучен, что своим присутствием согревал наши чрезвычайно холодные комнаты. По субботам и воскресеньям навещала нас родная тетка Кокошкина, добродетельная сестра Потанчиковой, с другим своим племянником Добровым, незаконным сыном того же

Федора Федоровича Кокошкина, учившимся в ремесленном заведении Императорского Воспитательного Дома, что в Немецкой слободе. Это был бедный мальчик в дырявых сапогах. Он учился отлично и отправлен был от училища за границу, где, в Швейцарии, поступил в

работники и сдружился с неким Набгольцом. По возвращении в Россию он сделался 89 профессором и, будучи очень доброго нрава и красивой наружности, женился, взял за женою 15.000 р. и вместе с Набгольцом основал в Москве столь известный донныне чугунолитейный завод. Тесная дружба соединяла моего Кокошкина с механиком, его братом, который имел какую-то должность в Нижнем, и с сестрою Анною Федоровною Кокошкиною же, которую княгиня Черкасская, бездетная дочь Александры Ивановны Васильчиковой, сосватала за некоего Штрандмана, а тот получил судебное место в Симферополе. Муж княгини Черкасской, князь Владимир Александрович, будучи опекуном Кокошкина, привел в порядок его дела (сельцо Брехово под Москвою) и определил его на службу в Холмскую Русь, предварительно дав ему обучаться службе в Сибири при графе Муравьеве-Амурском. В Холму Федор Федорович женился на тамошней уроженке Ольге Наумовне, но рано умер, оставив троих детей. Вдова его заняла и долго занимала место начальницы женской гимназии во Владимире. Забыл я упомянуть, что наш Фаусек, всегда опрятный и нарядливый, всегда же нуждался в деньгах до того, что ему не на что было пообедать. По этому случаю у нас написаны были на него нелепые стихи: Обритый, бледный и сухой, Заняв полтину у соседа, Я по Московской мостовой Искал, наряженный, обеда. Я к Ларичу зашел, но там поживы нет, К Петру Иванычу — ушли, мне Марфа отвечает, Я к Кузьмину, но там один ответ: На Чистых-де Прудах давно уж он играет. Студент Кузьмин, сын зажиточного Пензенского помещика, молодец собою, одержим был страстию к карточной игре, выигрывал и проигрывал большие деньги, бросал их направо и налево и кончил тем, что, распроигравшись, пустил себе пулю в лоб. Когда я жил с Кокошкиным, случалось мне ходить в Малый Николо-Песковский переулочек к Липецкой нашей знакомой, чтобы играть с нею а карты, Дарье Ивановне Ивановой, но у нее и у живших в соседстве, а потом переселившихся в собственный дом на самый край Донской улицы Головниных, я, разумеется, вел очень умеренную игру. С Головниным связан я был еще дружбою не только моей матери и тетки, но деда и бабки Бурцевых. Михаил Яковлевич Головнин, старый моряк, человек, что называется, практический и умевший, как в своей маленькой комнате (которую он называл каютою), так и во всем доме устроить, чтобы всем было уютно, привязать меня к себе. Он души не чаял угодить супруге своей Марье Ильиничне (рожденной Малеевой), отец которой некогда служил вместе с моим отцом в Сибири, а мать ушла куда-то в монастырь, бросив ее на попечение тетке в Рязанской губернии. Марья Ильинична от природы была очень умна, но крайне избалована, привередлива и прибегала к придуманным недугам, чтобы настоять на своем. Вместо хозяйства и четырех детей она постоянно занималась богословскими книгами, для чего муж покупал ей много книг, на которых она делала карандашом свои пометки, и я к ним относился очень почтительно, а теперь они кажутся мне смешными. Дочь свою, милую Варвару Михайловну, не отпускал он от себя из дому по целым месяцам. Благочестивый Михаил Яковлевич к концу жизни стал ходить к обедне каждое утро два раза; и в промежутках посещал устроенное им на свои средства и совершенно честным образом училище для мальчиков. У него наверху, куда почти никто не ходил, стоял гроб и приготовленный саван, наменены гривенники с пяточками для раздачи на помин души. Когда я с его отпеванья 90 пришел к ним в дом, супруга его, глядя на меня, улыбалась, указывая на мои не обсохшие от слез глаза. После этого я никогда больше у нее не бывал. Давал я тогда уроки Русской словесности прекрасной девице Марии Федоровне Лугининой, ныне баронессе Велио. Она жила у отца своего, который разошелся с ее матерью, рожденною Полуденскою, сестрою моего приятеля Михаила Петровича, дочерью почетного опекуна и друга первого вельможи Московского князя Сергея Михайловича Голицына и сестрою того Лугинина, который воспитывался в Париже, женился на Француженке и получил известность как естествоиспытатель. Мать его Варвара Петровна так и не сошлась с мужем. Он оставил ей по духовному завещанию большое состояние, но она отказалась принять оное. На каждый урок ко мне приходила *pour faire l'elephant**, как говорят Французы, наставница ученицы моей, достопочтенная Маргарита Борисовна Дюмушель, ее отец принадлежал к знатному Французскому роду *Allars de Maisonneuf*, эмигрантом поселившийся в Москве и основавший книжную лавку на Кузнецком мосту, в том самом месте, где потом много лет сряду был магазин

Дейбнера, подле самой тамошней церкви. Он принадлежал к масонам и в мае 1812 года с другими иностранцами был выслан в Муром. Мать с дочерью остались в Москве и ушли из нее вслед за большой армией. При переправе через Березину кто-то из Французских генералов подал кусок мяса девочке Маргарите; увидя это, сидевший на барабане Наполеон, раскричался и велел отнять пищу у бедного ребенка. Мать с нею побрела в Вильну и нашла доступ к Кутузову. Когда тот вышел к ней, она подала ему маленький знак, и Кутузов снабдил ее деньгами и дал тройку лошадей для отъезда в Петербург, где вечером у банкира Ливии она увидела государя, и та же крохотная Маргарита подала ему просьбу о возвращении из Мурома отца. Маргарита Борисовна вышла замуж за какого-то Парижского незначительного музыканта и от него имела сына Ивана Феликсовича Дюмушеля, памятного в Москве учителя Французского языка и инспектора в Екатерининском институте, и дочь, Маргариту Феликсовну, с которою учредила она и долго вела большой женский пансион на Вшивой Горке в доме Степанова (за одно помещение платили 12.000 р.). Старуха умела отлично обращаться с сотнями воспитанниц и многочисленную слугою, а дочь ее, рослая *Virago ciaride***, была настоящим хожалым и вела пансион в отличном порядке. Я подружился с этим семейством. Жаль, если пропали памятные записки этой умной и доброй старухи. Сын же ее был человек весьма ограниченный и держался со своею женою, Ольгой Дмитриевной, рожденной Крыловой, которая воспитывалась в том же пансионе Дюмушелей. Из кратковременных уроков вспоминаю про дом Марии Васильевны Шиловской, рожденной Вердеревской. Я учил двух сыновей ее, старшего Константина, который потом играл на сцене под именем Лошивскаго и второго Владимира, который потом женился на единственной дочери графа Васильева, выхлопотавшего ему через графа Адлерберга титул графа Васильево-Шиловскаго. Сему последнему я отказался давать уроки, заметив, что в пакете платных мне билетов стало недоставать по 3 рубля. Он крал у своей бабушки. У товарища моего Новикова другом был товарищ медик Николай Евграфович Мамонов, происхождения таинственного; уверяют, что он сын князя Грузинского, так называемого *Roi de Wolga* (царя Волжскаго), по большому его имению Лыскову на Волге, где он много лет куролесил и безобразничал на всякие лады, и таким образом Мамонов был братом знаменитого архимандрита 91 Антония. Этот Мамонов, красавец собою, по окончании курса сделался модным врачом и особливо между богатым купечеством, которых он очаровывал обхождением и всяческою любезностью. Этот-то Мамонов доставил мне в то время очень богатый урок у Алексеевых, живших тогда на конце города в Рогожской, недалеко от Александровской заставы в большом прекрасном доме, где некоторые стены были расписаны *al fresco*, т. е. по свежей штукатурке. Эти Алексеевы в то время, когда я поступил к ним в учителя словесности и истории, только что выиграли большую тяжбу со своими двоюродными, тоже богатыми, Алексеевыми. Семья их состояла из старика Владимира Семеновича, чистенького, небольшого роста, и из двух сыновей его (третий Сергей, был отделен и жил на Новой Басманной в великолепном доме близ Красных ворот): холостяка Семена и Александра Владимировича, женатого на Гречанке Елизавете Михайловне Бостанжогло. У них была тогда дочка Маша (ныне Четверикова и уже бабушка) и сын-любимец и надежда всей семьи, впоследствии Московский городской голова, мой ученик, Николай Александрович. Эти Алексеевы были людьми уже довольно образованными: бабка моего ученика, Москвина, получила воспитание в каком-то княжеском доме и завела в семье разного рода повадки просвещения, благочестия без ханжества, необыкновенную опрятливость и вежливость в обращении. У них была единственная в Москве, кажется и до сих пор, золотопрядильная. Я давал уроки 3 раза в неделю по часу и за каждый раз получал по 7 рублей; их точности соответствовал я своею и никогда не опаздывал на урок, для чего держал постоянного извозчика и всякий раз, совершая долгое путешествие, мысленно готовился, а во время урока старался говорить как можно менее, а больше выспрашивать ученика. За несколько лет немного раз мать не присутствовала на уроке с каким-нибудь рукоделием. Мне давали чаю и допускали папиросу, но когда я однажды вынул сигару, то предложена была целая коробка сигар, лишь бы я не курил у них. Не только я, но и жена моя⁴⁸ была приглашена на их семейные праздники, причем нас не только угощали, но сластей и фруктов клали нам в пролетку при отъезде. Кроткий Александр Владимирович обыкновенно приезжал в Рождество и на Святую поздравлять меня с праздником. При такой обстановке не мог я не усердствовать, а родители и дед потом выражали мне свою благодарность и за то, что я настоял, чтобы Колю не отдавали в

университет, а постепенно приучали к занятиям по делам торговли. От этого Николай Александрович, вышедши человеком вполне образованным (так как у него были учителя: Новиков — история, а Вейнберг — география), не только подобно многим другим богатым купчикам не разорял родительского состояния, но и приумножил его. Мне удалось заразить его любовью к Русской поэзии. Помню, как загорелись у него глаза, когда, едучи с ним на дачу в Елизаветино, сказал я ему, что Пушкин убит был Французом. Когда ему случалось писать и печатать в газетах по своим торговым делам, слог его был точен и выразителен. С Рогожской Алексеевы переехали на Пречистенский бульвар, где купили дом почти на углу Знаменки. Там Елизавета Михайловна на много лет пережила мужа, там и скончалась в прошлом 1909 году. Я навещал ее изредка и всегда был принимаем наилучшим образом. Раз она пригласила меня на день своих именин к себе на дачу в свое Кучино Нижегородской ж. д., сказав, чтобы я извозчика нанял только до станции железной дороги. Там меня и еще человек 20 приглашенных ожидал целый вагон с особым поездом, а на станции Обираловка ждали нас экипажи. После роскошного обеда поехали мы назад, а молодой хозяин с факелом в руке скакал сбоку, освещая дорогу; но беда была в том, что в Москву мы опоздали и на железной дороге с трудом нашли себе городских извозчиков. На Пречистенском же бульваре 92 учил я года два смиренную сестру будущего головы Марию Александровну, вышедшую замуж за Сергея Ивановича Четверикова, суконного фабриканта, которого отец был заметным участником в постройке нашего великолепного собора, возвышающегося на скале перед глазами посетителей Гельсинфорса. Мой ученик Алексеев, так страшно погибший в неусыпно проходимой им должности Московского головы, был человек очень умный, но все-таки чувственный и державшийся поговорки: «моему нраву не препятствуй». Противоположность ему представляла двоюродная его сестра Елизавета Григорьевна Мамонтова, кроткая, тихая и своеобразно изящная. Она была дочь Веры Владимировны Сапожниковой, рожденной Алексеевой. Я учил ее Русской словесности лет 5 сряду; мать ее, вдова парчевого фабриканта у Красных ворот, была женщина очень умная, твердого нрава и с постоянной жаждою просвещения. Я знал ее вдовою с двумя сыновьями, из которых старший, Александр, был даровитый красавец, но умер в цвете лет, второй же, Владимир, почти всегда молчаливый, до сих пор производит парчу для церковных одежд и похоронных облачений и сам торгует этим, как и шелковыми товарами, в магазине своем на Красной площади. Раз я спросил его мать, можно ли, оставаясь купцом, быть в то же время безукоризненно честным человеком, вопреки пословице «купец-ловец»? «А я вас спрошу, отвечала она, честно ли я поступила вот в каком случае: летом 1856 года пришли ко мне из Дворцового Управления с заказом большого количества золотой парчи для коронации. Заказ был так велик, что не оставалось никакой возможности изготовить его к сроку; вследствие настояний я взяла заказ, но по цене 100 рублей за аршин. И исполнила. Но пока готовили этот товар, я ежедневно была в страхе, что рабочие запросят с меня тоже чрезмерно дорого и на фабрике произойдут беспорядки. Я могла погубить все наше дело». Я, разумеется, не мог ей возражать. Она любила со мною беседовать после уроков и принимала даже лежа в постели, незадолго до смерти, причем передавала мне свою скорбь о том, что сын ее женился на двоюродной своей сестре красавице Якунчиковой. «Теперь такие браки в моде между знатными лицами, но каковы-то будут дети». И действительно, эти дети рождались с физическими недостатками. Единственная дочь Веры Владимировны, ученица моя, выдана была в очень почетную семью за Савву Ивановича Мамонтова, получившего хорошее образование и под покровительством Чижова и барона Дельвига сделавшегося главным хозяином по Троицко-Ярославской-Костромской железной дороге. Они купили себе у Ивана Сергеевича Аксакова дачу, где выстроили церковь, расписанную Васнецовым, который долгое время жил у них со всем своим семейством и другими художниками: прекрасное произведение зодчества со склепом из желтого мрамора, где похоронен молодой сын Мамонтовых Сергей Саввич, помощник Васнецова в работах по храму св. Владимира в Киеве. У них было еще два сына, из которых один женился на Итальянке, а другой на внучке Д. Н. Свербеева. Из дочерей же одна осталась девицею, а другая была за нынешним предводителем дворянства Александром Дмитриевичем Самариним. Железнодорожные успехи и увлечение сценическим искусством избаловали Савву Ивановича. Барон Дельвиг приезжал в Москву на май месяц, чтобы присутствовать на экзаменах железнодорожного училища его имени, перестал останавливаться у него, а потом он запутался в

своих делах и совершенно разорился, успев, однако, возратить жене ее приданое. Она перенесла терпеливо и кротко это разорение и шалости мужа, утешена была браком дочери, имела двух внучат, а незадолго до своей кончины лишилась скончавшейся почти скоропостижно дочери.

Недели за две до своей смерти она провела у меня два часа сряду и передала свои скорби. Смерть и ее постигла 93 почти невзначай. Во время болезни сына своего Сергея она подолгу жила в Риме и там отлично познакомилась с произведениями Итальянского искусства. Успехи ее художественного вкуса не могу я приписывать моим урокам. Уроки мои давал я так усердно, что к Алексеевым в Рогожскую ездил даже на другой день по смерти старшего сына моего Алексея 20 ноября 1864 года, когда Федя только что родился и мать их лежала в постели. Алексеевы потом мне говорили, что не знали что подумать, глядя на меня: на лице у меня были желтые и синие пятна, но того, что я тогда получал с доставшихся мне от матери денег и жалованья по заведыванию Чертковскою библиотекою было мало на прожиток, а дети рождались ежегодно. Соболевский говорил про меня: что ни год, то ребенок и книга. Теперь следовало бы рассказать, как я принял в свое ведение библиотеку, собранную Александром Дмитриевичем Чертковым из книг, служивших познанию России во всех отношениях и подробностях. Это было в середине 1859 года. Но я изложу, что было раньше. В 1853 году, когда я жил в игрушечном магазине Трухачева, навестил меня профессор С. М. Соловьев и предложил от имени князя Михаила Андреевича Оболенского поступить на службу в находившийся под его управлением Московский Главный Архив Министерства Иностранных Дел — это хранилище важнейших исторических бумаг, какие знает Русская историография. Архив помещался в огромном доме некогда дьяка Украинцева и состоял в ведении Посольского приказа. Только верх его отапливался, внизу же под сводами хранились бумаги, доставать которые приходилось не иначе, как укутавшись, а зимою в шубе и валенках. Кроме сторожей ходил тут только один чиновник, Иван Арсеньевич Тяжелов. Да и наверху всегда было прохладно, и я спасался тем, что мой стол находился поблизости от печи. Архив и служба в нем были поставлены на строгий чиновничий лад. Когда приезжал начальник, все отвешивали ему поклоны, и он с важностью уходил за стеклянные двери главной присутственной комнаты с зелеными занавесками, и туда никто не мог входить иначе, как по звонку князя Оболенского. Главный делопроизводитель, Александр Николаевич Афанасьев, собиратель и издатель русских народных сказок, имел помещение во флигеле Архива, который весь некогда занимали предшественники князя Оболенского Алексей Федорович Малиновский и Николай Николаевич Бантыш-Каменский. Занятия чиновников состояли в разборе бумаг и в списании их по указанию директора. Я успел написать около сотни писем графа Остермана, толковых и писанных отличным Русским языком. В архиве же хранится его Лютеранская библия, в которой на внутренней стороне переплета он записал слова Петра Великого: «о том, что мы сближаемся с Европой для того, чтобы потом стать к ней жопой». В это время приближалось празднование столетия университета. По указанию Шевырева я составил и напечатал в «Московских ведомостях» жизнеописание одного из первых студентов университета Якова Ивановича Булгакова⁴⁹, а Оболенский заставил меня написать биографию своего деда-дяди, графа Аркадия Ивановича Моркова⁵⁰, для чего позволил мне рыться в его депешах. Успех окрылил меня, и к юбилею университета написал я биографию его основателя Ивана Ивановича Шувалова⁵¹. Когда она потом вышла в свет, приезжали ко мне с благодарным словом наследники его, внуки его сестры Прасковьи Ивановны, князя Голицыны Александр Федорович (статс-секретарь у принятия прошений на высочайшее имя) и младший брат его Михаил Федорович, живший в Москве в Шуваловском доме на Покровке и женатый на графине Луизе Трофимовне Барановой, племяннице царева друга и министра Двора графа Адлерберга. Я пользовался до самой 94 кончины их неизменным их благорасположением и гостеприимством. У княгини Луизы по понедельникам много лет сряду собиралось перед обедом все высшее Московское общество, и тут были мои первые шаги по сближению с Русскою знатью, с которою я входил в отношения ради любимых моих занятий родословиями и новейшею Русскою историею. Юбилей был отпразднован пышно, но начальство действовало неуклюже. Нас, работников по юбилейным изданиям, даже не пригласили на юбилейный обед, куда попечитель университета Назимов назвал разных военных чинов. На юбилей приехал и начальник всех учебных заведений Яков Иванович Ростовцев, имевший большую в России известность как офицер. полавший Николаю Павловичу донос на своих товарищей-декабристов. Хомяков сказал

про него, что он в одно и то же время и отец и сын. Оболенский давал нам разбирать и бумаги Екатерининских статс-секретарей. Тут нашлась записочка старика Неплюева, посланная Государыне из Петербурга в Петергоф 28 июня 1762 года, в которой Неплюев извещал, что все обстоит благополучно, но что необходимо приказание вносить обратно иконы в церкви (оказывается, что милый ее супруг приказал убрать святые иконы из своих домовых церквей). Князь Оболенский эту записочку немедленно захватил к себе, и до сих пор об ней ничего не известно. Про князя говорили, что он находится в тайной службе в секретном отделении Государевой канцелярии. Позднее, когда он уже вышел в отставку и я уже не служил в Архиве, статс-секретарь Гамбургер сказывал мне, что Оболенский прислал к князю Горчакову письмо с жалобой на мое имя и на Сергея Михайловича Соловьева, что мы в наших трудах позволяем себе ссылаться на перлюстрации, хотя относящиеся к временам Елизаветинским. К концу своего служения князь Оболенский сделался несносен. Так, Афанасьева уволил он от службы за то, что у него на казенной квартире переночевал эмигрант Кельсиев⁵². Примечания Документ хранится в ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 1, ед. хр. 603. Публикуется с сохранением характерных особенностей оригинала. 1 Бартенева (урожденная Бурцева) Аполлинария Петровна — мать П. И. Бартенева. 2 Державин был тамбовским губернатором в 1785—1788 гг. 3 Барда — гуца, остатки от перегона хлебного вина из браги. 4 Курпичковом, т. е. из овчины. 5 Гернгутер — член протестантской секты гернгутеров. 6 Кокорев Василий Александрович (1817—1889) — предприниматель, разбогатевший на винных откупах. 7 Вельтман Александр Фомич (1800—1870) — писатель. 8 Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882) — государственный деятель. В 1835—1847 гг. попечитель Московского учебного округа, в 1859—1860 гг. — Московский генерал-губернатор. 9 Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — критик, историк литературы, поэт. В Московском университете читал курс всеобщей истории и теории поэзии. 10 Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, общественный деятель. С 1839 г. — профессор всеобщей истории Московского университета. 11 Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — историк, читавший курс русской истории в Московском университете. В 1871—1877 гг. — ректор Московского университета. 12 Яворский Стефан (1658—1722) — церковный деятель и писатель. 13 Никон (1605—1681) — патриарх; провел церковные реформы, вызвавшие раскол. 14 Годунов Борис (ок. 1552—1605) — русский царь с 1598 г. 15 Опул.: «Временник Общества истории и древностей Российских», 1852, кн. 15, смесь, с. 29—30. 16 Еленев Федор Павлович (1827—1902) — публицист. 17 «Ундина» — поэма В. А. Жуковского. 18 Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, издатель журнала «Русский Вестник» и газеты «Московские Ведомости». 19 Языков Николай Михайлович (1803—1846/47) — поэт. 20 Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — философ, писатель, поэт, публицист. 21 В тексте ошибочно: «Алексея Михайловича». 22 В подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. принимали участие русские войска. 23 Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864) — государственный деятель. 24 Кошелев Александр Иванович (1806—1883) — общественный деятель, славянофил. 25 Л. Д. Шевич — урожденная Блудова, дочь Д. Н. Блудова. 26 «Записки о всемирной истории». Ч. 1—2 опубликованы в 1871—1873 гг. 27 Александр II (1818—1881) — российский император с 1855 г. 28 В период Крымской войны 1853—1856 гг. 29 Закревский Арсений Андреевич (1783—1865) — граф, государственный деятель, в 1848—1859 гг. — Московский генерал-губернатор. 30 Паскевич Иван Федорович (1782—1856) — генерал-фельдмаршал, в 1827—1830 гг. — наместник на Кавказе. 31 Павлова Каролина Карловна (1807—1893) — поэтесса. 32 Текст стихотворения отличается от опубликованного П. И. Бартеневым в «Русском Архиве». 1912, № 2, с. 317. 33 Филарет (Дроздов Василий Михайлович) (1782—1867) — церковный деятель, с 1826 г. — митрополит Московский. 34 Анненков Павел Васильевич (1813—1887) — литературный критик, мемуарист, подготовил первое научное издание сочинений А. С. Пушкина (1855—1857). 35 Даль Владимир Иванович (1801—1872) — писатель, этнограф. 36 Статья Бартенева «Род и детство Пушкина» опубликована в «Отечественных Записках», 1853, № 37 Бартенев неточен: до этой публикации у него уже были опубликованные работы. 38 Елагина Авдотья Петровна (1789—1877) — племянница В. А. Жуковского, мать И. В. и П. В. Киреевских. 39 Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1778—1850) — историк, писатель. Автор «Словаря достопамятных людей русской земли». Ч. 1—5, М., 1836; доп. ч. 1—3, СПб., 1847. 40 Кетчер Николай Христофорович (1806—1886) — врач, поэт-певчолчик. 41 Калайпович Константин

Федорович (1792—1832) — историк, археограф. См.: Калайдович К. Памятники российской словесности XII в. М., 1821. 42 См.: Буслав Ф. И. История русской литературы. Лекции... наследнику Николаю Александровичу (1859—1860), вып. 1—3, М., 1904—1906. 43 Шереметев

Сергей Дмитриевич (1844—1918) — граф, историк, археограф. 44 См.: Ранке Л. История Сербии по сербским источникам. М., 1857. 45 Ефремов Петр Александрович (1830—1907) — библиограф, историк литературы. 46 В 1857 г. Бартенев был соредактором журнала «Русская Беседа». 47 Указатель опубликован во «Временнике Общества истории и древностей Российских», 1855, кн. 21. 48 Шпигоцкая Софья Даниловна — жена П. И. Бартенева. 49 См.: Бартенев П. И. Яков Иванович Булгаков. Историко-биографический очерк. — «Москвитянин», 1854, № 18. 50 См.: Бартенев П. И. Биография Моркова. — «Русская Беседа», 1857, кн. 8. 51 См.: Бартенев П. И. Биография И. И. Шувалова. — «Русская Беседа», 1857, кн. 4. 52 Кельсиев Василий Иванович (1835—1872) — деятель революционного движения. Публикация А. Д. ЗАЙЦЕВА Сноски к стр. 63 * В комнате Степана Никитича Стоит великолепный диван, На нем полулежа восседает хозяин, Рядом с ним Миансарьянц. И лежат они болтают, Каждый курит свою папиросу. Глядь: да это кони Закревского. Тут они подпрыгивают как кошки, Сноски к стр. 64 * Принимая весьма дипломатичный вид — Ведь это проплывет перед ними зрелище старого изобилия... И вот они снова лежат на азиатский манер И болтают как прежде. (нем.) ** Вы не хотите ли выпить?.. Весьма охотно бы, месье. (фр.) Сноски к стр. 67 * Кутила (фр.). ** Самохарактеристика Гете, по его письмам (нем.). Сноски к стр. 70 * Труды по истории русской империи (нем.). Сноски к стр. 71 * Искаженная латынь (примеч. публикатора). Сноски к стр. 72 * Саксонец-лужичанин (лат.). ** Трое составляют коллегию. Трех достаточно для судебного заседания (лат.). *** Тетушка-добродетель (фр.). Сноски к стр. 76 * Историко-подготовительные занятия (нем.). Сноски к стр. 77 * «Самая лоснящаяся из карпов». Игра слов, основанная на фамилии дамы, где «Поликамп», произнесенное по-французски, означает «лоснящийся карп» (фр.). Сноски к стр. 78 * Мой друг-отец (нем.). Сноски к стр. 90 * Для строгого догляду (фр.). ** Мужеподобная крикунья (фр.).

Письмо Н. А. Милютина к Д. А. Милютину

Милютин Н. А. Письмо Милютину Д. А., 18/30 декабря 1861 г. Рим / Публ. [вступ. ст. и примеч.] Л. Г. Захаровой // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 95—100. — [Т.] I.

Публикуемое письмо принадлежит выдающемуся государственному деятелю России XIX века Николаю Алексеевичу Милютину (1818—1872), имя которого было широко известно современникам и на родине, и далеко за ее пределами. Н. А. Некрасов посвятил ему стихотворение «Кузнец-Гражданин», А. Ф. Кони говорил о нем: «Вот человек весь из цельного куска». Он и действительно был человеком идеи, убеждений, неподкупной честности, искреннего и глубокого патриотизма, лидер по способностям, темпераменту, характеру. В осуществлении отмены крепостного права Милютину принадлежит одна из первых ролей. Он был общепризнанным авторитетом, идейным вдохновителем и собирателем сил либеральной бюрократии, выступившей в авангарде «великих реформ». В основе крестьянской реформы — «Положений 19 февраля 1861 года» — программа и концепция, разработанная под его непосредственным руководством, как, впрочем, и кодификация этого исторического законодательства. И главные начала создания выборных, всеобщих местных представительных учреждений, земских и городских, закладывались им в соответствии с принципами крестьянской реформы. Принадлежа к бюрократии, он не был в стороне от умственной и общественной жизни, от новых веяний и тенденций своей эпохи. Среди его единомышленников и друзей — К. Д. Кавелин, Ю. Ф. Самарин, Б. Н. Чичерин, П. П. Семенов Тянь-Шанский, многие литераторы, публицисты, ученые, сторонники «эмансипации»; среди его сотрудников по Министерству внутренних дел — М. Е. Салтыков-Щедрин, вернувшийся из Вятской ссылки.

Официальное служебное положение Милютин не соответствовало истинному значению его деятельности. Когда после смерти Николая I и поражения в Крымской войне наступила «оттепель» (термин тех лет) 1856 года, он занимал место директора Хозяйственного департамента Министерства внутренних дел. В ходе подготовки крестьянской реформы, в апреле 1859 года, Александр II согласился на назначение Милютин временно исполняющим должность товарища министра внутренних дел, но нехотя, под напором обстоятельств, в душе считая его «красным». Эта неприязнь монарха сохранилась вплоть до отставки Милютин в апреле 1861 года, как сохранилось и определение «временно исполняющий».

Подлинная роль Милютин как лидера реформаторов проявилась в деятельности Редакционных комиссий (1859—1860 гг.), учрежденных для разработки крестьянской реформы и создавших законодательство 1861 года. Не прошло и полутора месяцев после оглашения этой реформы Манифестом, как Милютин был уволен и отправлен с семьей в годичный (оплаченный) отпуск за границу «для поправления здоровья». А дело, которому он служил, передано его врагу и оппоненту П. А. Валуеву. В мае 1861 года он уже в Париже, где был встречен с большим вниманием и интересом правительственными лицами, прессой, обществом. Скрываясь от натиска любознательных французов, в поисках душевного покоя, он уехал в Рим. Из своего «прекрасного далека» Николай Алексеевич и пишет 18/30 декабря 1861 г. письмо брату, Дмитрию Алексеевичу Милютину, тогда уже военному министру, тоже видному деятелю реформ.

Главное, что тревожит Милютин, это судьба крестьянской реформы, последствия ее реализации, ослабление либеральных сил, усиление крайних течений, а в конечном итоге вопрос о гарантиях всего дела отмены крепостного права. В поисках этих гарантий он и высказывает мысль о необходимости создания партии центра в поддержку курса правительства, для реализации предпринятых преобразований и подготовки еще предстоящих реформ. Это глубоко выношенное заключение человека убеждений и конкретных дел, по-государственному мыслящего политика, искусственно вырванного из тех событий, у истоков которых сам он стоял и за которые чувствовал себя ответственным перед Отечеством, перед современниками и потомками. Ту же тревогу выражал Милютин в прощальных письмах к друзьям-соратникам по Редакционным комиссиям — Ю. Ш. Самарину и В. А. Черкасскому — от 2 и 4 мая 1861 года, покидая Россию после отставки*. О том же пишет он Д. А. Милютину еще раз в 1863 году: «Нет большего несчастья для России, чем выпустить инициативу из рук правительства»**.

Н. А. Милютин — Д. А. Милютину

Пользуясь удобным случаем, чтобы писать тебе, любезный друг Дмитрий¹, со всею откровенностью. Прежде всего, крепко благодарю тебя за письмо, особенно же за известия, присланные с сестрою. При твоих занятиях, писать письма — истинный героизм, за который я ценю более всякого другого. Между тем, не могу скрыть, что всякое твое письмо мне особенно дорого, потому что лучше всех рассказов знакомит с твоим настроением и устраняет разные опасения. Как ни радуюсь я, что твое фальшивое положение кончилось², но к этой радости постоянно примешивается опасение за твое здоровье. Живо представляю себе все затруднения и тяготы твоего нынешнего положения, и знаю, как они отзываются на физику. Дай Бог тебе более и более сил и здоровья. В остальном я покоен, и искренне радуюсь, как брат и как русский.

Последние известия из России, — особенно при их отрывочности, неясности и неточности, — не могли не растревожить тот душевный мир, которым без того я наслаждался бы здесь в такой полноте и невозмутимости. Брожение у вас сильное, — сильнее, чем следовало ожидать³. Но признаюсь, опасности я еще не вижу нигде, разве что в одном только неразумии будущих правительственных действий. Революционные замашки были бы просто смешны, если б не обнаруживали в обществе глубокого пренебрежения к моральной силе правительства. Две характеристические черты обрисовывают, как мне кажется, нашу русскую оппозицию, охватившую по-видимому все общество: во-1-х, наружу выходят только крайние мнения (по аналогии, можно пожалуй употребить выражение: *extreme droite et extreme gauche**)); во-2-х,

либеральные стремления не получили еще определенных образов, все это слишком общо, смутно, шатко и исполнено противоречий. Такая оппозиция бессильна в смысле положительном, но она бесспорно может сделаться сильною отрицательно. Чтобы отвратить это, необходимо создать мнение, или пожалуй партию, (серединную), говоря парламентским языком: le centre**, которой у нас нет, но для которой элементы очевидно найдутся. Одно правительство может это сделать, и для него самого это будет лучшим средством упрочения. Пример Польши, кажется, слишком ясно показал, каково положение правительства, даже располагающего всею материальною силою, когда в стране истребились все следы правительственной партии, некогда существовавшей и следовательно возможной: «при Екатерине и даже при Александре (Александре I. — Л. З.) была же в Польше русская партия». В России, конечно, в сто раз легче склонить на свою сторону серьезную часть образованного общества, сделав своевременные уступки, но сделав их ясно, с достоинством, без оскорбительных оговорок и без канцелярских уловок. В чем должны заключаться эти уступки? вот главный вопрос. По-моему, это — широкое развитие выборного начала в местной администрации (кроме исполнительной полиции) и удвоение бюджета народного просвещения. Невероятно, чтобы такие реформы не сгруппировали около правительства лучших людей, которые подняли бы моральную силу его, обессилили бы крайние мнения и дали бы истинное, пошленькое значение нынешней оппозиции.

Вся эта рацея, может быть, удивит тебя, любезный друг. Но таково действие прекрасного далека. В бездействии и одиночестве невольно думаешь и разгорячаешь воображение. Одна и та же мысль точит мозг, данных нет, и поневоле впадаешь в общие рассуждения. Знаю, как эти рассуждения должны казаться бесполезными и пустыми среди ежедневной, будничной практической жизни; знаю, что нынешний состав нашего правительства не в силах возвыситься до общей, разумной программы, хотя бы она была написана семью древними мудрецами и вся заключалась бы в рамках крошечной четвертушки. Но, после двухмесячного размышления о предмете для всех нас близком, нельзя было не высказать хоть частицу этих бесплодных размышлений, и я тебя выбрал жертвою своей болтливости. Впрочем, все эти мудрствования частью были вызваны несколькими мыслями, набросанными в одном из твоих писем. Как бы то ни было, дело сделано. Прочти и брось в печь.

Перехожу прямо к тому, что касается собственно до меня. Известия, переданные мне Абазою⁴, крайне меня смутили. Я только что дорвался до той скромной, спокойной жизни, о которой давно мечтал, и скажу откровенно, что 8-месячное испытание не только не разрушило прелести этого давнишнего идеала, но еще более развило отвращение к нашей, так называемой политической деятельности. К тому же нынешняя зима показала, что и для жены и для меня последнее лечение нельзя никак считать окончательным. Маша⁵, время от времени, страдает, хотя и слабее прежнего, кашлями и нервическим расслаблением, которое особенно меня пугает. У меня лечение прошлого лета вызвало наружу многие болезни, которые скрывались за постоянным нервическим напряжением. Доедают меня особенно ревматические боли, и от них надо же когда-нибудь отдыхать. Вот причины, кажется вполне законные, чтобы остаться еще на год за границею. Разумеется (и это не пустая фраза), мне очень тяжело думать, что я дармоедничаю за счет государственного бюджета. Не менее тяжело устранился от своей доли труда в такое время, когда другие изнемогают под бременем. Но нет ли оправданий для моей совести? Можно ли считать чрезмерным и двухлетний отдых после 25 лет каторжной работы?⁶ Можно ли видеть пользу от той доли труда, которая мне теперь доступна? Скажу без обиняков: если б дело шло о том, чтобы принять участие в реформах, о которых я всегда мечтал (и которых частью коснулся в этом письме)⁷, то я готов был бы пожертвовать своими наклонностями и грешными попечениями о своей особе. Но я убежден, что это неисполнимо при нынешней обстановке; идти же на новую борьбу, на прежнюю борьбу, не в открытом поле, а в качестве пластуна, я, право, уже не в силах. По этой собственно причине (а отнюдь не из чиновничьих расчетов), я считаю решительно невозможным и для дела бесполезным — принять какую-либо второстепенную роль (товарища и т. под.). Самое звание министра, по-моему, возможно только при полном доверии Государя. Поэтому эту должность можно только принять, но никак не домогаться*. Вот моя полная и нелицемерная исповедь. Пишу это с такою подробностью, чтобы ты был моим адвокатом и заступником не только перед властью, но и перед друзьями, которых чувствами и

мнениями я дорожу. Пожалуйста, передай все это и Александру Абазе. Заключение его я совершенно принимаю: пока все остается по-прежнему, не торопиться возвращением и даже хлопотать об отсрочке; если же потребуют — воротиться. От себя прибавлю к этому: такого требования отнюдь не вызывать, но предупреждать и даже стараться устранять, если оно расстроит мою семейную тишину без явной и несомненной пользы для дела.

Кстати об отсрочке: об ней вызвался хлопотать Головнин,¹⁰ но от него и о нем я не имею никаких известий. Если он воротился, как я надеюсь, не найдешь ли возможности, любезный друг, замолвить обо мне словечко, и поговорить с ним и известить меня: когда, каким образом и через кого приняться за это важное для меня дело? Мой отпуск кончится 11 мая старого стиля. К этому дню, во всяком случае, мне воротиться с семьей очень и очень неудобно. Отсрочка мне возможна только с сохранением жалованья, а через Панина этого добиться никак нельзя.

Все это не мало тревожит меня. Беспокоит также отсутствие частых и довольно полных известий обо всех вас. Кроме этого, ни на что жаловаться нельзя. В Риме мы все блаженствуем, каждый по-своему. Маша, несмотря на временные болезни, постоянно весела. Она страстно предалась рисованью. Дети, в полном смысле слова, блаженствуют. Сестра — гораздо покойнее, чем в Пбурге, гуляет по целым дням в церквах и музеях, видится с артистами, вечно в толкотне, но давно я не видел ее веселее и ровнее духом. Обо мне говорить нечего. Нигде нельзя так фланировать как в Риме: нежишься, а между тем мысль постоянно работает, внимание всегда возбуждено, без утомления, — нет следа тех неприятных угрызений совести, которые оставляют за собой бесплодное и неразумное бездействие. Я погрузился в классические древности, читаю Тацита и Тита Ливия, и сказать ли? — вполне убедился, что наше русское пренебрежение к классикам есть истинное варварство и великий пробел в нашем развитии. Ты улыбнешься моей наивности, достойной гимназиста. Иван Павлович¹¹, узнав об этом, может быть разразится хохотом, а я убежден, что вы все, отрешенные от обычной возни, испытали бы то же чувство на моем месте. Читаешь и не веришь прежнему равнодушию к тому, что действительно великолепно. Наука жизни — великое дело! Впрочем, прелести древнего мира не исключительно занимают мой досуг. Я не бросил прежнее намерение подготовить здесь материалы для истории эмансипации. К выезду надеюсь кое-что сделать. Может быть, со временем пригодится.

В конце января нов. ст. я собираюсь в Париж, хотя эта поездка очень-очень мне не улыбается. Старик Павел Дмитриевич¹² напоминает об этом в каждом письме сюда. Ехать необходимо. О времени выезда отсюда я тебе телеграфирую, чтобы не разъехаться с письмами, посылаемыми ко мне сюда. В Париже останусь вероятно около месяца. Все это передай пожалуйста, любезный друг, Великой Княгине¹³ вместе с другими подробностями, которые ты признаешь нужными сообщить ей из этого письма. При случае, скажи также, что письмо, посланное из Бадена, дошло до меня только теперь, потому что из Парижа его вез гр. Ламздорф¹⁴, ехавший сюда разными зигзагами. По приезде в Париж непременно буду писать сам В. К., которую не знаю как благодарить за постоянное и неизменное внимание.

Прощай, любезный Дмитрий. Извини за чрезмерно длинное письмо. Кабы от меня зависело, я написал бы вдесятеро более. Но у тебя досужего времени немного.

Поздравляю всех вас с Новым годом. Дай Бог тебе более здоровья и менее препятствий на трудном пути, который тебе достался. Целую ручки Natalie¹⁵ и желаю ей всего лучшего. Детей крепко и нежно обнимаю. Я порадовался, что Лиза решилась на рыбий жир: по жене знаю, какое благодарственное средство. Как идет учение Алеши? Когда же увидимся? То-то было бы счастье погреться вместе на Римском солнце. Помнит ли меня М-ме Дора? Передай ей самый низкий поклон. Маша всех вас целует и посылает Лизе одно из здешних (т. е. заграничных) изданий, столь же красивое, сколь наполненное опечаток. Еще раз всех обнимаю и желаю счастливого и здорового года.

Всегда сердцем преданный тебе брат и друг Николай. Ив. Пав. меня искренне порадовал своим

письмом. Неизменно буду отвечать ему и так как политики касаться уже нечего, то можно послать по почте. Пожми ему за меня руку на Новый год. Авось либо он принесет ему счастье и удачи по службе, чего от всей души желаю. О многом хотелось бы с ним потолковать.

Александрю Абазе буду тоже писать немедленно. Все не почтовое, пожалуйста, передай ему, а об остальном напишу подробнее. Пока благодарю искренно за скорый ответ и особенно за сообщенные подробности. Маша его целует и оба желаем ему более легкого и приятного года, чем был для него протекший.

Пожалуйста не забудь передать мои дружеские излияния дамам Михайловым двум и всем общим приятелям. Что делает Simon? Обнимаю его заочно. Нет ли известий о Борисе?

При этом прилагается 14 пакетов, из которых 6 от сестры, а остальные от меня и жены (в том числе одно на имя бывшего нашего человека Ефима). Пожалуйста, любезный друг, разошли их по принадлежности. Кроме того, посылаю два тюка (в черной клеенке) с моими книгами. Просьба моя — сохрани их до моего возвращения.

Наконец, у жены теперь есть два пакета для А. А. Абазы.

Примечания

Письмо публикуется по автографу, который хранится в ОР ГБЛ, ф. 169, оп. 2, п. 69, ед. хр. 12, лл. 9—14).

1 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — государственный и военный Деятель, историк, в 1861—1881 гг. — военный министр, осуществивший военные реформы после отмены крепостного права.

2 Имеется в виду окончательное назначение 9 ноября 1861 г. Д. А. Милютина военным министром, которое, наконец, покончило с неопределенностью и сложностью его положения в Министерстве.

3 Осень 1861 г. ознаменовалась студенческим движением, начавшимся с беспорядков в Петербургском университете, затем охватившим значительную часть высших учебных заведений, а также усилением брожения и недовольства в Польше.

4 Абаза Александр Агеевич (1821—1895) — русский государственный деятель, в 1880—1881 гг. — министр финансов, разделявший взгляды либеральной бюрократии, брат жены Н. А. Милютина.

5 Милютина (урожденная Абаза) Мария Агеевна — жена и друг Н. А. Милютина. Ее перу принадлежат ценные записки об эпохе отмены крепостного права (Русская Старина, 1899, кн. 1—4).

6 Милютин служил в Министерстве внутренних дел с 1835 г., т. е. с семнадцати лет, начав с должности старшего помощника столоначальника в Хозяйственном департаменте, став в 1852 г. директором этого департамента, а последние два года, с апреля 1859 до апреля 1861 г. — временно исполняющим должность товарища министра внутренних дел.

7 Реформы, о которых Милютин мечтал считал наиважнейшими после отмены крепостного права, это земская, начала которой он успел заложить в проектах 1859—1860 гг., и финансовая, которой ему так и не пришлось никогда заняться. Земскую реформу имел в виду Милютин, когда высказывал выше в письме мысль о необходимости широкого развития выборного начала в местной администрации.

8 Скорее всего Шувалов Петр Андреевич (1827—1889). С 1861 г. — управляющий III

Отделением собств. канцелярии, начальник Штаба Корпуса жандармов.

9 Бутков Владимир Петрович (1813—1881), с 1853 по 1865 г. государственный секретарь.

10 Головнин Александр Васильевич (1821—1886) — единомышленник и друг братьев Милютиных, в 1861 (с 25 декабря) — 1866 гг. министр народного просвещения.

11 Арапетов Иван Павлович (1811—1887) — близкий друг и единомышленник братьев Милютиных.

12 Киселев Павел Дмитриевич (1788—1872) — государственный деятель, в 1837—1856 гг. — министр государственных имуществ, в 1856—1862 гг. — русский посол во Франции, родной дядя Н. А. и Д. А. Милютиных.

13 Вел. кн. Елена Павловна (1806—1873), вдова вел. кн. Михаила Павловича, брата Александра I и Николая I, родного дяди царствующего императора; покровительствовала деятелям реформ, много помогала лично Милютину.

14 Возможно, Ламздорф Николай Матвеевич (1803—1877) — генерал-майор.

15 Милютина (урожденная Понсе) Наталья Михайловна, жена Д. А. Милютина.

Публикация Л. Г. ЗАХАРОВОЙ

Письмо И. С. Тургенева неизвестному

Тургенев И. С. Письмо [неизвестному], 1876 г. Спасское-Лутовиново / Сообщ. [и вступ. ст.] Ф. А. Петрова // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 101—102. — [Т.] I.

Письмо И. С. Тургенева

В фондах Отдела письменных источников Государственного Исторического музея хранится свыше 60 писем И. С. Тургенева за 1840—1881 гг.

Все они опубликованы в Полном собрании сочинений и писем писателя, вышедшем в свет в 1960-е годы.

Вместе с тем в процессе научного описания фондов продолжают выявляться новые автографы Тургенева. Так, в фонде известного слависта П. А. Бессонова было обнаружено не известное ранее письмо ему Тургенева от 5 (17) декабря 1875 г.* В другом фонде — собрании документальных материалов по истории науки и культуры России XVIII—XX веков — хранится еще одно письмо Тургенева, не вошедшее в академическое собрание**.

Этот документ, как гласит запись в инвентарной картотеке отдела, был приобретен 1965 г. у Е. Л. Сыроечковской за три рубля. Письмо написано чернилами, на листе клетчатой бумаги, 4°. Оно было помещено в кожаный тисненый футляр темно-зеленого цвета с металлической оправой. В правом верхнем углу неизвестной рукой, карандашом проставлена дата: «1876 г.». Наличие в тексте самого письма не только числа и месяца, но дня недели, подтверждает правильность этой датировки.

Письмо адресовано некоему Александру Васильевичу. Первоначально возникло предположение, что это — Александр Васильевич Топоров (1831—1887), близкий знакомый Тургенева, выполнявший в 1870-е — начале 1880-х годов его многочисленные поручения. Известно 179 писем Тургенева Топорову, в том числе три близких по хронологии — от 7, 13 и 22 июня 1876

г.* Однако в это время, как явствует из писем, Топоров находился в Петербурге, тогда как своего корреспондента Тургенев собирался посетить на следующий день (весь июнь 1876 г. он прожил в Спасском-Лутовинове).

Очевидно, речь идет о ком-то из соседей Тургенева по имению. Можно сделать предположение, что адресатом писателя был граф Александр Васильевич Шереметев (1830—1890), крупный помещик Орловской губернии, с 1870 г. почетный мировой судья Мценского уезда. Известно одно письмо Тургенева Шереметеву от 7(19) сентября 1876 г. из Буживаля**. Оно начинается таким же обращением — «Любезнейший Александр Васильевич». Из письма явствует, что Тургенев бывал в доме Шереметева: «В будущем году я посещу Спасское и надеюсь увидеть Вас снова в Вашем прекрасном «home».

И. С. Тургенев — неизвестному

С. Спасское Лутовиново

Суббота 12го июня

1876

Любезнейший Александр Васильевич, я слышал, что Вы по Воскресеньям бываете дома и намерен посетить Вас завтра; будьте так любезны, дайте мне знать двумя словами, что это Вас не стеснит, — или назначьте другой день.

Примите уверения в моем совершенном уважении и преданности.

Ив. Тургенев.

Сообщил Ф. А. ПЕТРОВ

Письмо В. А. Гиляровского к С. А. Педашенко о памятнике А. С. Пушкину в Москве.

Письмо В. А. Гиляровского о памятнике А. С. Пушкину в Москве / Сообщ. [и вступ. ст.] А. К. Афанасьева // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 102—104. — Из содерж.: Гиляровский В. А. Письмо Педашенко С. А., 1903 г.. — С. 104. — [Т.] I.

В первой четверти XX века в Москве проживал Стефан Алексеевич Педашенко. В адресной и справочной книге «Вся Москва» на 1905 год он значился как торговый агент. В 1913 году, судя по данным того же справочника, Педашенко занимал уже должность помощника заведующего коммерческой частью Правления общества Московско-Казанской железной дороги, имея чин коллежского секретаря. В свободное время этот скромный чиновник увлеченно собирал сведения о памятниках отечественной истории и культуры. Кружок ревнителей памяти Отечественной войны 1812 года, членом которого являлся Педашенко, издал его книжку «Памятники императору Александру I, а также героям и событиям Отечественной войны 1812 года» (М., 1912). В ней опубликована лишь незначительная часть собранных автором материалов.

Об этом свидетельствуют четыре толстые тетради Педашенко за 1903—1914 годы, хранящиеся ныне в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея. Педашенко передал их в музей в 1926 году вместе со старинными предметами (солнечные часы, медный замочек и др.). Тетради имеют название: «Материалы для «Описания памятников, сооруженных в России в честь славных ее деятелей и в воспоминание важных исторических событий»***. Общий объем составляет около 2 тыс. листов. Здесь собраны данные о русских памятниках,

многие из которых не сохранились. Тетради содержат в себе многочисленные выписки из различных источников, рисунки, схемы, фотографии, вырезки из газет и журналов, заметки, черновики писем Педашенко в разные организации и отдельным лицам, а также ответы на его запросы.

В первой тетради — за 1903 год — среди материалов о памятниках Пушкину имеется письмо В. А. Гиляровского к Педашенко. Текст письма размещен на первой странице листа почтовой бумаги в клетку. В левом верхнем углу имеется личный штамп Гиляровского — его миниатюрный портрет в овале. Письмо без даты, однако его уверенно можно отнести к концу 1903 года: письмо находится в середине тетради, начатой в октябре этого года, а следующая тетрадь датирована 1904 годом.

Письмо Гиляровского, по всей видимости, пришло в ответ на обращение Педашенко к крупнейшему знатоку быта и достопримечательностей Москвы, каким был «дядя Гиляй».

Как известно, памятник Пушкину, открытый 6 июня 1880 года, первоначально располагался напротив того места, где он стоит сейчас (был перенесен с Тверского бульвара в 1950 году). Через Тверскую улицу — на Страстном бульваре — находится дом, где размещалась редакция газеты «Московские Ведомости». Возглавлял ее крупнейший публицист М. Н. Катков (1818—1887), который имел большое влияние как на правительство, так и на общество. По мнению либерально-демократических и радикальных кругов, «Московские Ведомости» выполняли «полицейские обязанности в литературе».

В доме, расположенном на противоположной от редакции стороне Тверской улицы, находилась квартира московского обер-полицмейстера генерал-майора А. А. Козлова (1837—1906). Окна его квартиры выходили на Тверской бульвар — на памятник Пушкину.

Таким образом, памятник оказался как бы под двойным надзором — между Катковым и официальным главой московской полиции Козловым. Именно это обстоятельство очень метко отражено в четверостишии.

В письме к Педашенко Гиляровский не говорит о том, кто был автором четверостишия, которое, по его выражению, «ходило» в Москве. Однако по свидетельству близкого друга писателя, Николая Ивановича Морозова, — автором этого стихотворного экспромта являлся Гиляровский. Об этом Морозов рассказывает в своей книге «Сорок лет с Гиляровским» (М., 1963). В книге говорится также о том, что Гиляровский послал свое четверостишие в сатирический журнал «Будильник», но по цензурным соображениям оно не было напечатано. У нас нет оснований не доверять свидетельству Морозова, тем более что четверостишие написано в духе и стиле Гиляровского — признанного мастера подобного рода экспромтов.

Признав авторство Гиляровского, можно довольно точно установить время написания четверостишия. Дело в том, что Козлов исполнял должность обер-полицмейстера в Москве до конца августа 1881 года, а затем был переведен на ту же должность в Петербург. В Москву он вернулся в начале 1905 года, но уже в качестве генерал-губернатора. «Период скитаний» Гиляровского закончился весной 1881 года (перед Пасхой), когда писатель навсегда поселился в Москве. Следовательно, четверостишие было написано Гиляровским, вероятнее всего, летом 1881 года.

В. А. Гиляровский — С. А. Педашенко

1903

Дорогой Степан Алексеевич! Когда открыли памятник Пушкину в Москве — ходило четверостишие:

— Как? Пушкин умер? Это вздор, Он жив! Он только снова Как прежде отдан под надзор

Каткова и Козлова.

Помните: с одной стороны Московские Ведомости, а с другой — дом обер-полицмейстера.

Ваш Гиляй.

Сообщил А. К. АФАНАСЬЕВ

Записка Л. Н. Толстого. 1896 г.

Толстой Л. Н. Записка: [Аннотация на принесенную средневековую арабскую монету] / Сообщ. [и вступ. ст.] Н. Б. Панухиной // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 104—105. — [Т.] I.

Товарищ председателя Российского Исторического музея Иван Егорович Забелин (1820—1908) записал однажды в своем дневнике: «10 января, среда. Приходил гр. Л. Н. Толстой, принес полтора диргема*, найденных близь его Ясной Поляны, прося за них что-либо дать мужику. Дали 3 руб. Встретил со словами: «Давно не видались, и оба поседели»*. В память визита писателя в Исторический музей в начале зимы 1896 г. сохранилась не только дневниковая запись Забелина.

Интересны и несколько строк о месте и обстоятельствах находки, оставленные в тот же день Толстым старшему хранителю Российского Исторического музея А. В. Орешникову**. Это — своего рода паспорт на музейные предметы, поступившие из Ясной Поляны.

Аннотация, написанная Толстым на принесенную средневековую арабскую монету, обнаруженную во время полевых работ, проста и лаконична:

«Тульской губ. Крапивенскаго уезда, деревня Городма***. Въ поле найдена».

Далее на том же листе бумаги имеется приписка Орешникова, характеризующая основной текст документа как «Автограф Льва Николаевича Толстого, доставившего в Исторический Музей 10 января 1896 года диргем целый и разрубленный».

Записка Льва Толстого с сопроводительным текстом старшего хранителя береглась сначала при библиотеке музея; с 1904 года — в созданном при ней Отделе имени Л. Н. Толстого. В 1912 году в связи с организацией специального хранилища документальных материалов была передана в Архив, переименованный в 1938 году в Отдел письменных источников Государственного Исторического музея. В настоящее время она входит в состав особо ценных документов фонда 281 (ОПИ ГИМ, ф. 281, оп. 2, ед. хр. 87, л. 1).

Сообщила Н. Б. ПАНУХИНА

Борис Садовской. Записки (1881—1916)

Садовской Б. Записки (1881—1916) / Публ. [вступ. ст. и примеч.] С. В. Шумихина // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 106—183. — [Т.] I.

Борис Александрович Садовской (1881—1952; Садовской — литературное имя, по отцу он Садовский) — поэт, прозаик, драматург, литературный критик. Его дебют в печати относится к 1901 г. (стихотворение «Иоанн Грозный» в нижегородской газете «Волгарь»). В 35-летнем возрасте, осенью 1916 г. он был парализован (последствие перенесенного за тринадцать лет до того сифилитического заболевания), и вторую половину своей жизни был лишен возможности

самостоятельно передвигаться, сохранив ясность ума и творческую работоспособность. Как это нередко бывает, физическая катастрофа была сопряжена у Садовского с радикальной переоценкой прежних духовных ценностей и идеалов, переосмыслением всего опыта предшествовавшей жизни. Эта духовная эволюция нашла отражение во многих произведениях Садовского, написанных им в 1917—1944 гг., еще ждущих своего опубликования.

В январе 1941 г., отвечая на поздравления К. И. Чуковского с 40-летием литературной деятельности, Садовской писал, сообщая о только что законченном романе о М. Ю. Лермонтове: «Мы не виделись 25 лет. Это теперь такой же примерно срок, как от Рюрика до 1914 г. Я все это время провел „наедине с собой“, не покидая кресла, и приобрел зато такие внутренние сокровища, о каких и мечтать не смел. Былые мои интересы (Вы мне о них напомнили в письме) перед нынешним то же, что горошина перед солнцем: форма одна, но в содержании и размере есть разница»*.

Публикуемые «Записки» писались Садовским в начале — середине 1920-х годов. В это время Садовской пытался (по большей части, безуспешно) адаптироваться к новой литературной реальности, нарушив данный им было в 1917 г. зарок молчания.

«Записки» Садовского, а также ряд других его мемуарных произведений и набросков — один из важнейших источников биографии писателя. Вместе с тем необходимо отметить, что «Записки» — в значительной степени литературное произведение, ориентированное на особый «мемуарный» жанр. Ни исповедальности, ни спонтанности в этих писавшихся много лет после зафиксированных на их страницах событий мемуарах искать не приходится. По своему характеру «Записки» Садовского более всего напоминают воспоминания боготворимого автором А. А. Фета, о которых В. Я. Брюсов высказывался так: «Есть много автобиографий, особенно начиная с исповеди Руссо. Ни одна из них не избегла неискренности. Есть прямо лживые. Кажется, таковы воспоминания Фета»**. «Он не то чтобы придумал себе биографию, — пишет современный исследователь, — так же, как он создал псевдоним из собственной своей фамилии (Садовский — Садовской), — переакцентировав, сгруппировав особым образом эпизоды, детали, персонажи семейной хроники, он написал художественную биографию»***.

Первое упоминание о «Записках» содержится в заметке Г. Шмерельсона «Из литературной провинции», опубликованной в 1921 году в журнале «Вестник литературы»: «В Нижнем живет поэт и прозаик Борис Садовской, который в настоящее время занят обработкой незаконченных вещей и писанием „Воспоминаний“, имеющих появиться в VI томе его „Полного собрания сочинений“»****. Собрание сочинений Садовского в свет не появилось, а свои «Записки» он предлагал многим издательствам. Так, М. А. Цявловский писал Садовскому в 1925 г.: «Я говорил тебе о твоих мемуарах, что их можно издать в нашей серии „Записки прошлого“, и теперь повторяю — займись, пожалуйста, обработкой их для печати и высылай мне. Я почти ручаюсь, что их возьмет Сабашников, с которым я уже говорил об этом. ... Подумай, брат. Я бы очень хотел увидеть твои воспоминания напечатанными»; «...Твои прелестные воспоминания читает Сабашников. Их будет трудно провести через цензуру-дуру. Нужно будет предисловие, но не мое, а марксиста с именем. Думаю о Когане»; «Воспоминания твои читает Сабашников. Вопрос об их печатании не так прост, как тебе кажется. Современной цензуре (она ведь изумительна по своей тупости!) они могут не понравиться. Предисловие нужно к ним писать не мне (это только ухудшит дело), а кому-нибудь другому, кому именно, сейчас сказать не могу еще. Кроме этого, нужно будет сделать некоторые выкидки в главах и лицах. Кстати, меня очень просит Нилендер дать ему почитать твои „Воспоминания“. Я не решаюсь это сделать, не имея от тебя разрешения давать читать, а, во-вторых, о нем (ведь это он „Фихте“?) у тебя написаны вещи, которые бы он не хотел бы, вероятно, прочесть. Может быть, вырезать эти страницы, переписав все, кроме выпущенных об его гомосексуализме мест, и тогда дать? Напиши, пожалуйста. Что же касается печатания, то я ни одного слова не выброшу, не получив на то твоего разрешения»*.

Б. А. Садовской. 1912 г.

Но осуществить издание «Записок» в издательстве М. и С. Сабашниковых не удалось. Такая же неудача постигла Садовского при его обращении в Издательство писателей в Ленинграде. Если 9 декабря 1931 года В. А. Мануйлов отвечал Садовскому: Вашу просьбу относительно мемуаров Ваших, которые очень заинтересовали „Издательство писателей“ в Ленинграде, я передал Борис Михайловичу Эйхенбауму, и он сам напишет вам о своем, по-видимому, согласии**», то 12 января 1932 г. Б. М. Эйхенбаум писал автору «Записок»: «В Издательстве Писателей я уже давно сообщал о Вашем предложении. Ответ был такой: „Это интересно. Передайте, что мы просим прислать рукопись“. Положение теперь, как Вы вероятно знаете, такое, что никаких гарантий, никакой уверенности быть не может. Даже заключенные договора расторгаются по неожиданным соображениям. Но попробовать, я думаю, не мешает». Б. М. Эйхенбаум предполагал написать к «Запискам» свое предисловие (такое желание высказал и Садовской). Однако 27 апреля 1932 г. в письме из Ленинграда Эйхенбаум сообщал: «Многоуважаемый Борис Александрович! Я навел справку в Изд-ве Писателей — рукопись отклонена. Не удивляйтесь — за последние месяцы отклонены все новые рукописи, в том числе и одна моя. Это — плоды „лаповского руководства“. Ваш адрес я сообщил Изд-ву, и они вышлют Вам рукопись. Жму Вашу руку. Б. Эйхенбаум»*.

Не удалось осуществить издание извлечений из «Записок» и в томе «Летописей Государственного литературного музея», посвященном русским символистам и подготовленном к печати Н. С. Ашукиным в 1937 г. Анонс о предполагавшейся публикации содержится в томе 27/28 «Литературного наследства», однако том «Русские символисты» Гослитмузеем издан не был.

Несколько отрывков из «Записок» были опубликованы в сборнике «Встречи с прошлым»**. Частично «Записки» использованы также в комментариях к некоторым другим научным трудам и публикациям.

Борис Садовской

Записки (1881—1916)

Часть первая

Ардатов (1881—1885)

— Семейная хроника. — Учебные годы отца и матери. — — Брак родителей. — В Ардатове. — Мое рождение. — — Уездное общество. — Ардатовские старожилы. —

Дед мой Яков Алексеевич Садовский родился 16 октября 1822 года. Деревенский хозяин и домосед, он во всю жизнь не покидал нижегородских пределов. В службу вступил, для получения чина, восемнадцати лет, и числился при губернском правлении. В 1845 году он женился на девице Елизавете Лихутиной.

Отец бабушки Александр Лукич Лихутин, помещик Курмышского уезда Симбирской губернии, проживал в усадьбе села Медяны. В молодости он служил по выборам и был капитан-исправником. Разбойники его боялись. Один из них, по прозвищу Гулящев, решил известить семью капитан-исправника и с ножом подкрался вечером к окну столовой. Увидя мирное семейство за самоваром, Гулящев сжалился и ушел. Так сам разбойник рассказывал на следствии. Александр Лукич женат был на собственной крепостной, Анне Николаевне. Бабушка Лизавета Александровна родилась 15 августа 1824 г.

Александр Лукич был псовый охотник. У него водились гончие и борзые. Трогались на охоту целым домом. — «Прикажите, Анна Николаевна, собираться: завтра поедем на озеро». Присоединялись соседи: Пазухины, Жидовиновы, Злецовы, Брюховы. Прадед был человек самовластный, крутого нрава. Раз на охоте один из сыновей спустил борзых в лес. По правилам

этого нельзя. Александр Лукич разгневался, отнял у сына лошадь и отправил его в обоз. Вечером охотники упростили прадеда за ужином помиловать юношу. Виновный валялся в ногах у отца, каялся, плакал. Охотился Александр Лукич и с ястребом. Под конец жизни разбил его паралич, и он выезжал в поле на длинных дрогах.

Брат прадеда Доримедонт Лукич, кавказский герой в отставке, жил тоже в Медяне. Огромного роста, толстый, с простреленной щекой, он очень любил покушать и лично следил за кухней. В комнате у него хранились запасы шепталы, винных ягод, орехов и разных лакомств.

Сохранились портреты Александра Лукича и Анны Николаевны, писанные крепостным живописцем в сороковых годах. Спесивый прадед с янтарным чубуком, в черном казакине, с подстриженными седыми баками; кроткая прабабушка в белом с голубыми лентами чепце. Она немного пережила Александра Лукича, умершего 30 августа 1857 г., и скончалась в 1858 году 23 марта. Грамоте она не умела.

В Медяне проживал богемский подданный Шульц. Он родился в Праге в 1770 году, юношей переселился с женой в Россию и был актером петербургской немецкой труппы. В 1816 году Шульц вступил в масонскую ложу. Из актеров уволился с пенсией в 1000 рублей ассигнациями и затеял паточный завод. Скоро завод начал давать убытки. Шульц очутился в долгах. Покрывать пришлось их из пенсии и жить в Медянской усадьбе на хлебах. Здесь Шульца ценили как человека ученого. Он хорошо лечил. Умер в 1852 году и погребен в Медяне. После Шульца осталось много немецких масонских книг с гравюрами; у бабушки хранился и портрет его в красном архалуке. Все это пропало.

У Александра Лукича был дворовый человек Павел. Мать его нянчила моего отца. Отпущенный на оброк, Павел служил в Москве дворецким у важного генерала. Александр Лукич потребовал его к себе. Долго генерал не хотел отпускать Павла; полиция потакала богатому вельможе, но прадед не уступил и вытребовал Павла по этапу. Это было в сороковых годах. В Медяне генеральского дворецкого барин приказал высечь и приставить к черной работе. Вскоре Павел бежал и в день Благовещения явился в церковь в белой длинной рубахе с посохом, украшенным цветными лентами. С той поры говорил всего два слова: «Дядя, домой». На него махнули рукой, и он стал известным в Поволжье юродивым под кличкой дяди Домоя.

После женитьбы дед около пятнадцати лет хозяйничал в Ендовищах, прида?ной деревне бабушки, сплошь населенной татарами. Сюда к нему наезжал из Медяны тесть, верхом или на дрожках, иногда с ястребом. Птица оставалась в снях на особой жердочке.

Отец родился 18 августа 1850 года. В честь дедушки его называли Александром. Ребенком хаживал он в деревенскую мечеть. В именины деда 9 октября на барский двор являлись татары с учеными медведями. Раз одного татарчонка задрал медведь. Поводырь, оправдываясь, уверял, что зверь его смиренный: схватил отца на руки и посадил на медведя.

Годовые запасы чаю дед забирал на нижегородской ярмарке у купца Свинникова. Чай покупался зеленый, красненький и цветочный. Отпускали его на дом пробами. Пробный чай заваривали, сличали и устанавливали выбор. Сахар, мыло, свечи, вино, рис брали тоже на год. Зимой привозились из Нижнего замороженные булки. Лучшая паюсная икра ходила в то время по четвертаку за фунт.

Сестра деда, Марья Алексеевна, была его десятью годами старше и вышла замуж в половине сороковых годов за отставного подпоручика Ивана Ивановича Голова. Он родился в 1796 году и образование получил на службе. Сражался под Бородиным, служил на Кавказе при Ермолове. От брака с Марьей Алексеевной имел трех сыновей и дочь Анастасию, мою мать, родившуюся в Лукоянове 21 февраля 1858 года.

И. И. Голов, маленький подвижной старичок, был превосходный рассказчик. Он с восторгом вспоминал Ермолова и Паскевича и мог говорить о них целые вечера. Знакомые искусно

наводили его на эти темы. Задумываясь, выстукивал пальцами вечернюю зорю. В молодости на пари разгрыз передними зубами грецкий орех, и под старость у него выпали именно эти зубы. И он, и Марья Алексеевна умели хозяйничать. Все запасы, соленья и варенья у них были свои. Скончался И. И. в августе 1869 г. в Нижнем, простудившись после купанья, и погребен на

Петропавловском кладбище. Старшему сыну достались ордена, кавказское оружие, шкатулка, обширный послужной список и гравированный портрет Ермолова. У матери сохранилась медаль за взятие Парижа, да святцы, бывшие с И. И. во всех походах.

В 1871 году дед, Я. А. Садовский, выстроил усадьбу при деревне Щербинке в девяти верстах от Нижнего по Арзамасской дороге. Здесь жил он до конца дней, скупая раздробленные остатки родового имения. Состояние его росло.

Щербинка (Новая Деревня тоже) принадлежала сыновьям помещика Толубеева, автора «Записок»¹. Сад, разведенный в 1785 году, сохранился в целости, но вместо барского дома лежал пустырь, где косили сено. По соседству проживал в сельце Ляхове писатель П. И. Мельников (Андрей Печерский). Он часто ссорился с мужиками, и в архиве волостного правления осталось несколько его жалоб. К концу 70-х годов Мельников был уже душевно болен. К ляховским крестьянам выходил в парусиновом балахоне с двумя орденскими лентами крест-на-крест, в туфлях и треуголке с плюмажем. В руках у него покачивалась огромная бутылка с водкой.

Гордостью Мельникова была дубовая роща с деревьями в два и три обхвата. Наследники свели ее за бесценок.

Отец поступил в первый класс Нижегородской гимназии в 1860 году. Директором был при нем К. И. Садоков, великолепно представлявший ученикам на уроках латинского языка Медузу. С отцом учились П. О. Морозов и Н. А. Зверев. В 1866 году отец перешел в пятый класс Нижегородского Дворянского института. Министр народного просвещения граф Д. А. Толстой в том же году посетил Нижний и в пятом классе на уроке латыни просидел до звонка неподвижно, закрыв глаза. Учителем латинского языка был К. В. Гетлинг, долговязый немец, большой чудак. Чтобы избежать у Гетлинга единицы, надо было поднести ему перед уроком рисунок на память: зайчика, птичку или Венеру, выходящую из вод. Учитель в благодарность ставил художнику сразу несколько пятерок. У него было прозвище Цикония (аист). Гетлинг выходит из класса. Сзади шипят: «Цикония!» Он грозно обернулся. — «Нет, лео, лео! Горрибилис лео!» Учитель ослабляется. В последнем классе (тогда седьмом) латинские уроки перешли к П. И. Никольскому, степенному резонеру с табакеркой. — «Эх, брат, Владимир Павлыч, ну что ты тут зря сидишь: шел бы ты лучше в юнкера», — говорил он князю Кутыеву. — «Вы думаете, что вы науки проходите; нет: не вы науки проходите, а науки мимо вас проходят». (Каламбур относился ко всему классу.)

В юнкера из института и гимназии шли юноши крепкого сложения. Двое из них, катаясь в лодке, поспорили. Один хватил другого веслом по голове. — «Что ты, дурак, ломаешь весло, как мы доедем?»

Отец окончил Дворянский институт в 1870 году и поступил в Петровскую академию. При нем начал читать К. А. Тимирязев. На первой лекции он стеснялся, был неуклюж и неловок, не знал куда девать руки. В числе товарищей был А. С. Пругавин. Этого скоро сослали в Архангельск. Отец дал ему на дорогу свою шубу и получил обратно сильно потертой. Через два года отец перевелся в Петербургский Лесной институт, где кончил курс в 1874 году со степенью кандидата. С ним учились В. И. Ковалевский, позже известный сановник, и С. М. Кравчинский. В 1874 году в Купеческом клубе состоялся концерт в пользу института. Отец с товарищем, во фраках, ездили приглашать актеров. И. И. Монахов принял студентов лежа под одеялом на огромной трехспальной какой-то кровати и предложил с ним выпить (дело было утром). Маститый певец О. А. Петров отказывался за старостью и болезнями. На вечере присутствовал И. Ф. Горбунов, в то время носивший бороду. Его хотели качать. Он не давался и ухватился за газовый рожок.

На службу отец поступил лесничим в Крестецкий уезд Новгородской губернии и с 1877 года поселился при станции Николаевской дороги Бурге.

Недалеко от станции, на собственной даче, жил знаменитый актер В. В. Самойлов. Он пожелал познакомиться с лесничим и первый к нему заехал. Отец поспешил отдать визит. С седыми кудрями и эспаньолкой, в серой куртке, проворный и говорливый старик был чрезвычайно любезен. С полудня до четырех часов утра шло непрерывное угощение. Подавались олени копченые языки, водка сухарная и черносливная. Сам хозяин мешал шампанское с квасом в большой серебряной кружке. При нем жила подросток-дочь с гувернанткой. На прощанье Самойлов хотел подарить гостю охотничью фляжку художественной работы. Отец отказался от подарка, а бывший тут же становой пристав выпросил фляжку себе.

Последний раз Самойлов был в Бурге проездом в Валдайский уезд на тетеревиную охоту. Сопровождали его обе дамы и толстый актер Ф. А. Бурдин.

В Малой Вишере полицейский надзиратель, лысый толстяк Пальмовский, сопутствовал Александру II на новгородских облавах. Однажды государь убил медведя, но был не в духе. Пальмовский влез на убитого зверя верхом и ухватил его за уши. Кто-то из охотников указал на него государю: «Извольте взглянуть, ваше величество». Александр расхохотался и повеселел. На следующей облаве Пальмовского уже не было: его за взятки уволили. Государь, однако, вспомнил о нем. — «А где же бочонок?» Пальмовский немедленно был возвращен на службу. Он так полюбился государю, что тот приказал его снять и подарил фотографию своему зятю, герцогу Эдинбургскому.

В конце 1877 года отец перешел в Удельное ведомство окружным надзирателем. 20 декабря он прибыл в село Рождественское Ветлужского уезда, Костромской губернии, где и поселился. Нижегородской Удельной конторой управлял тогда А. А. Сивере, изящный сухощавый старик, хромой на правую ногу, с умным, немного насмешливым лицом. Сивере любил отца и все наше семейство. Низшие служащие его боялись, но уважали за справедливость. Один землемер пил чай при Сиверсе и едва не обварился: так дрожали у него руки.

В Ветлуге отец знал уездного предводителя Н. П. Колюпанова, небезызвестного в то время экономиста. Однажды в Петербурге к Колюпанову пристал на улице чудный сеттер. Не успел он привести собаку к себе в гостиницу, как следом нагрянула полиция и жандармы. Сеттер оказался собственностью Александра II.

Мать окончила в 1876 г. Павловский институт. Начальницей при ней была баронесса Розен, величавая, высокая старуха. Иногда появлялся в классах обходительный и благодушный И. Д. Делянов. Он улыбался, шутил, предлагал вопросы. Бывал и принц Ольденбургский, зобастый старичок с бородавкой на щеке. Русскому и славянскому языкам учил Ю. С. Анненков, известный славист.

Нередко институтки видали у себя Александра II. Прибытие его возвещал черный пес Трезор; он весело вбегал в классы и ложился потом у ног своего хозяина. На выпускном экзамене государь слушал ответ одной из воспитанниц «О реформах Александра II». Он очень любил малороссийские песни; институтки пели их для него, мать тоже участвовала в хоре.

Летом 1875 года институток последних классов возили в Петергоф. На придворных линейках приехали в Монплезир к завтраку. Вазы с фруктами и сладостями опустели почти мгновенно. Государь обходил столы и присаживался беседуя. Показывал дворцы и фонтаны. В саду на площадке был подан чай. Государыня наблюдала в лорнет с балкона. Оркестр заиграл, и начались на площадке танцы.

Одна институтка была побочной дочерью императора и во время его приездов становилась на виду. Однако, никаких поблажек ей не делалось. Классная дама однажды сказала: «Пожалуйста,

не воображайте о себе слишком много. Вы здесь такая же, как и все».

Близкое родство не позволяло моим родителям вступить в брак. Отец в Петербурге ездил к митрополиту с просьбой; тот отказал. Московский владыка посоветовал вместо женитьбы пойти добровольцем в Сербию. Оставалось обвенчаться без спросу. Отцу указали священника села Вознесенского, Варнавинского уезда, Костромской губернии, и дело уладилось. Мать выехала из Нижнего в Рождественское тайком под страхом погони. Ее сопровождал один из приятелей отца, А. В. Громов. На другой день по приезде, 20 августа 1878 года, отправились в Вознесенское. Батюшка принял жениха и невесту сидя на лавке, расчесывая огромным деревянным гребнем свои седые волосы. Свидетелями были тот же Громов и лесничий из дерптских буршей К. А. фон-Киль. Двое других свидетелей, местные крестьяне, получили за шаферство по целковому и были очень довольны. Священнику отец заплатил пятьдесят рублей.

Владелец Рождественского, В. Ф. Лугинин, устроил в селе больницу, метеорологическую станцию и школу. При школе были две учительницы-девицы. В жаркий день они пошли купаться и звали мать. Та отказалась. Ветлуга капризная, быстрая река. Учительницы попали в омут и утонули.

Осенью 1879 года отца перевели на ту же должность в Ардатов Нижегородской губернии. Из Рождественского родители мои выехали 1 октября и проездом погостили в Нижнем. 6 декабря скончалась бабушка М. А. Голова и погребена рядом с мужем.

Ардатов — захолустный городок на речке Лемети, затерянный среди оврагов и нив. Главная улица с лавками, собор, базарная площадь, мещанские слободки. Тротуары вымощены булыжником, густые ветви лезут через забор, козы и куры гуляют по улицам. А улицы поросли травой. Таким я помню Ардатов.

В 1880 году отец купил за 2100 рублей дом с садом на углу Темнтовой и Струнной улиц, у некоего Лихутина, однофамильца нашей родни. В этом доме я родился 10 февраля 1881 года во вторник на масляной неделе, в пятом часу дня. Крестным отцом моим был дядя, капитан Тульского полка, Николай Иванович Голов, крестною матерью тетка Агния Яковлевна Садовская.

Крестный сделал кампанию 1877—78 гг. ротным командиром. Из похода привез коллекцию превосходных янтарных чубуков и пояс, набитый турецким золотом. Это был видный холостяк с пышно расчесанными черными бакенбардами.

Скоро меня передали кормилице, крестьянке села Котовки, Катерине, круглолицей, маленькой бабе. В первый же день я попал ей рукою в глаз так удачно, что потом он всю жизнь у нее слезился.

Няня Пелагея Афанасьевна Киселева, бывшая крепостная из деревни Миякуш, толстая старушка, поступила к нам в 1884 году, после рождения сестры Лизы. Муж ее, столяр, подарил мне шкатулку своей работы. Няня знала немало сказок, пела народные песни и Пушкина «Под вечер, осенью ненастной». Играя с нами в прятки, начинала «водить»:

Гулю, гулю, баба, Не выколи глаза. Глаз на полочке, Другой в солоничке. Куры спели, Бобы поспели, Пора искать!

Рассказывала о прежних господах и как одна девка, заблудившись, несколько лет прожила в лесу. Как ее деверь, днем идя из Миякуш в Шпагу, увидел голого мальчика на дороге. — «Идет перед ним голый мальчик и играет на дудке. Деверь вправо, чтобы обогнать, и мальчик вправо; деверь влево, и тот тоже: не пускает. У перекрестка мальчик свернул по тропинке рожью и все играл, пока не скрылся из глаз».

Яков Иванович Ходаков, неприменный член по крестьянским делам присутствия, дружил с моим отцом. Приятельский кружок в Ардатове составляли: мои родители, Ходаковы, молодой больничный врач А. О. Липницкий, вскоре овдовевший, мировой судья П. А. Тархов, желтолицый в темных очках (с прозвищем Фома); веселый жуир, санитарный врач П. А.

Грацианов (Абандон) и жизнерадостный остряк, следователь Я. Л. Ауновский, все с женами. Мужчины были охотники и на «ты» между собой. Я вырос в охотничьей обстановке, среди ружей, удочек, собак.

Кружок собирался по вечерам. Дамы играли в стуколку и ералаш, мужчины в винт. Подавалась закуска и плотный ужин. Дичи бывало так много, что хозяйки не знали куда девать ее и стряпали котлеты из дупелей.

Я. И. Ходаков, красивый сангвиник с темной бородой, в очках, певал малороссийские песни, разговаривал громко и азартно. Жена его, Зинаида Александровна, урожденная Лишева, воспитывалась в Смольном. Чтобы доказать подругам любовь свою к одному гвардейцу, вынула из ушей алмазные серьги и бросила за окно.

К людям былого поколения принадлежали супруги Григоровичи. Старик А. И. Григорович, из отставных военных, не выделялся ничем особенным, но Ольга Леонтьевна, жена его, урожденная Биглова, полная, свежая старушка являлась типом старинной уездной барыни. Дочь ардатовского городничего, она в начале 40-х годов кончила Павловский институт. С моей матерью нашелся у них один только общий наставник — учитель музыки. Ольга Леонтьевна за чаем выбирала для себя лучшие ягоды и сливки, оставляя оборыш детям и мужу. Чаю наливала ему сразу по пяти стаканов, чтобы не беспокоиться.

Ардатовский уезд самый обширный в губернии. В нем было не два, а три полицейских стана. Завод Шепелевых и Баташевых на Выксе имел сто тысяч десятин. Илевскому заводу Николая Павловича Шипова и сына его, кавалергарда Николая Николаевича, принадлежало 60 тысяч десятин. У вице-президента Академии художеств, князя Г. Г. Гагарина, при селе Кужендееве и у генерала П. П. Дурново при Саканах и Теплове было по 20 тысяч десятин. Именьями в 10 тысяч десятин владели: А. Н. Карамзин (сын историографа, предводитель) в Рогожке, графиня А. Д. Блудова в Горях, светлейший князь П. И. Ливен в Личадееве, Поликарповы в Приютине, светлейшие князья Солтыковы в Глухове, Соимоновы в Кошелихе (сахарный завод), Илинские (дети севастопольского моряка-героя, потомки венгерского графа Илинского) в Успенском, светлейшие князья Волконские в Круглове. Из крупных землевладельцев: Бибиковы в Белозерихе, графы Олсуфьевы в Хохлове, князья Шаховские на Сергиевской Мызе близ Исупова, Елагины в Сыресе, графы Закревские в Кременках, графы Ланские в Мечасове, Рахмановы в Автодееве и Карколеях, Жуковы в Левашове, Лобисы в Ковляях, князья Звенигородские в Серякушах и Котовке, Чаадаевы в Хрипунове, Балакиревы (потомки петровского шута, родня композитору) в Высокове. В Ардатовском дворянстве числились: князья Голицыны, князья Оболенские, князья Кугушевы, князья Шахаевы, графы Ефимовские, Приклонские, Бакунины, Лихутины, Сабаневы, Хомутовы, Языковы, Беклемешевы, Шверины, Стремоуховы, Мельниковы, Корсаковы, Бухваловы, Сычуговы, Самарины, Полиловы, Махотины, Мартосы (потомки скульптора) и Егоровы.

Владелец Хрипунова М. Я. Чаадаев, брат философа, юношей дружил с декабристами. Когда заговор открылся, Чаадаев спас преданный камердинер: он вовремя сжег бумаги. Благодарный барин женился на дочери избавителя, девушке безграмотной и недалекой. В конце 50-х годов, когда декабристов вернули, в Ардатове стоял батальон Томского полка. К офицерам хаживал бедный семинарист. — «Ну, что ты к нам, братец, зря таскаешься: ступай лучше к Чаадаеву, назовись декабристом, он тебе денег даст». Тот послушался и пошел в Хрипу ново. — «Доложите барину: декабрист». Чаадаев его не принял, но обеспокоился и написал губернатору А. Н. Муравьеву, известному декабристу. Муравьев послал за самозванцем жандармов. Той порой семинарист с сапогами за спиной и узелком на палке отправился в Нижний пешком искать

дьячковского места. Жандармы его нагнали на пути и привезли к Муравьеву. Уоернатор, сделав декабристу несколько вопросов, прекратил беседу восклицанием: «Пошел вон, дурак!» Вдова Чаадаева Ольга Захаровна долго жила в Хрипунове. К барской доле старуха никак не могла привыкнуть. Даже мелких уездных чиновников поила она шампанским, когда на Выксе у Шепелева исправник получал в передней рюмку водки и 25 р. на подносе. Ежегодный доход хрипуновской помещицы достигал двенадцати тысяч; из них она проживала две; прочие деньги при ней считал ее духовник, и барыня, перевязав пачку, прятала в кулек. Полный кулек назывался уже «кладушкой» и вешался в амбаре под потолком. Точного числа кладушек барыня и сама не знала. Служанка начала понемногу таскать их. Долго Чаадаева не замечала покражи; наконец служанка похитила золотой медальон и с ним попалась.

Петр Иванович Приклонский проживал в селе Федотове и носил чин коллежского регистратора. Имение содержалось в отличном порядке и приносило доходу около двадцати тысяч в год. В усадьбе парк со стриженными аллеями, цветником и усыпанными песком дорожками; оранжереи, теплицы, парники. Дом — полная чаша. Картины, бронза, зеркала, мебель красного дерева и карельской березы. После ужина ежедневно являлся повар: «Что завтра прикажете готовить?» Барин рассматривал и утверждал программу. За столом подавались эль и портер. — «Вам какого пива, черного или желтого?» Хозяйством заведывали два камердинера. Раз Петр Иванович показал моему отцу фамильную драгоценность Приклонских: сребреник, один из тех, за которые продал Христа Иуда.

Князь Николай Сергеевич Шахаев учился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и вышел в гвардейские уланы. Был женат, но жил с супругой врозь. После недолгой службы в полку поселился в имении Осиновке, в громадном доме. Шахаев был хлебосол и бабник, необъятной толщины, общительный и веселый. «Покойница-маменька» (так называл он мать), кроме имения, отказала сыну кубышку с деньгами. Князь стал кутить и играть. Скоро проиграл он все маменькины арабчики и червонцы, проиграл и кубышку. От дальнего родственника должен был получить Шахаев по завещанию лесную дачу Истамбул в Темниковском уезде. Это уже было в 60-х годах. Избранный в мировые судьи, князь подружился с женой своего письмоводителя и поручил ему вести дело. Тот за взятку стакнулся с противной стороной, и Шахаев, проиграв бесспорное наследство, лишился Истамбула. В начале 80-х гг. он был предводителем в Ардатове. Имел конный завод и катался в русской упряжи с колокольчиками и наборными бубенцами, то на тройке гнедых, то на тройке белых. Обед у Шахаева подавался русский: жирные щи с гречневой кашей, откормленные гуси и поросята. В винном погребе хранился старый шато-икем. Хозяин ходил сам в погреб и никому не давал ключа. Своих любовниц князь называл «купонами». Первую он выдал замуж и начал искать другую. В поисках не стеснялся. — «Приезжайте ко мне, почтеннейший: какую я достал себе штучку, с голоском». После обеда: «Ну, душенька, спой нам». И с удовольствием слушал ее визгливое пение. Она потом отошла от него, и князь, уже разоренный, выстроил ей в Темникове дом и деньгами дал пять тысяч. Когда Шахаев совсем обеднел, она, умирая, отказала ему эти деньги по завещанию. Последнее время князь земским начальником проживал на Выксе с третьим «купонами». Это была совсем молоденькая «штучка» и тоже с «голоском». Она его и похоронила. В Нижнем шулера обыграли Шахаева на двадцать тысяч. Он заявил полиции, и деньги были отобраны. Князь занимал внизу половину осиновского дома, в другой половине жил «купон». Нежилой заколоченный верх весь был расписан боскетом. Над верхом девичья, превращенная в антресоли. Нижние комнаты загромождала старая мебель и множество часов стенных и столовых. В огромном шкафу склад всевозможных вещей, еще от «покойницы-маменьки». Как-то разговорились о ружьях. Хозяин вытащил из шкафа ружье Лепажа. — «Оно, мой почтеннейший, стреляет рикошетом». В другой раз отец попросил у Шахаева соды с кислотой. Князь в шкаф. — «Извольте, почтеннейший». И сода и кислота оказались в старинных синих коробках 40-х годов из московской Мясницкой аптеки. В шкафу валялись фамильные документы и свитки; книг у Шахаева не водилось. Иван Сергеевич Безобразов в юности служил у цесаревича Константина Павловича в Варшавской гвардии. Увидев впервые Безобразова, цесаревич воскликнул: «Да это девушка!» В 1831 году, во время Польского восстания, Иван Сергеевич взят был в плен. Имел в разных губерниях три тысячи душ, лет тридцать был

предводителем в Коврове, прожился и переселился в Ардатов. Уездные остряки дали ему прозвище Иоанн Безземельный. Для ценза Безобразов купил у помещика Рахманова в Карколеях тысячу десятин срубленного леса за бесценок и получил новое прозвище: Иван на пеньках. Однако, его выбрали в председатели управы. Охотился, но в старости стрелять мешал ему

катаракт. Павел Логинович Бетлинг смолоду нуждался и выпущен был из корпуса в захолустный полк, где несколько офицеров имели один парадный мундир. Выйдя в отставку, женился и купил имение Ознобишино. Здесь устроил живописную усадьбу, развел вишенник, выкопал пруд и провел в дом по трубе 116 ключевую воду. На именины к нему съезжался весь уезд; подавались собственные арбузы, клубника, окорока, караси, наливки и водки. Бетлинг разводил в пруду раков, но безуспешно. Выписывал «Ребус»² и лечил крестьян пассами от зубной боли.

Встречался с Н. С. Мартыновым, виновником смерти Лермонтова, и напечатал о нем заметку в «Ниве» 1885 г. До глубокой старости Бетлинг сохранил силу: ломал подковы, втыкал в стену гвозди кулаком. Князь Дмитрий Федорович Звенигородский, отставной кирасирский ротмистр, был выгодно женат. Отец его получил от императора Павла сто душ при селе Котовке. Юным офицером князь проиграл казенные деньги. Дав зарок в случае удачи не брать карт в руки, он отыгрался и свято сдержал обещание. Однако, доказать свое княжество Звенигородский не мог: бумаги пропали, и ему было предложено не именовать себя князем. Изъявляя согласие, он на той же бумаге подписался: «князь Звенигородский». Позже детям его удалось вернуть себе титул. В старости разбогатевший князь превратился в скрягу: считал спички, носил холщевое белье, куртку из солдатского сукна и грубые сапоги. Любил есть пшенную кашу с конопляным маслом, густо посыпанную сахаром. В то же время прикупал землю и состояние его к концу 80-х годов доходило до двухсот тысяч. В недрах Ардатовского уезда много было старинных редких вещей и книг. Помещица села Нучи за бесценок продавала английские сервизы, столовые приборы, часы, оружие. Кавказский кинжал в чудесной резной оправе шел за десять рублей. Остальные вещи с драгоценной мебелью и фарфором сложены были в сарае и там сгорели. В Мечасове на базаре лавочник завертывал бакалею в листы из старинных немецких книг. Перед этим он купил у наследников графа Ланского роскошную библиотеку. Русские и французские книги сгорели, а немецкие торговец пустил в дело. Часть вторая Личадеево (1885—1892) — В Личадеево. — Мужики. — Школа и учителя. — Усадьба. — Домочадцы. — Охота. — Приезд деда и бабки. — М. А. Лихутина. — Кончина деда. — Д. И. Голов. — Соседи и гости. — Женидьба дяди. — Спектакль в Ардатове. — П. П. Невзоров. — Комаровы. — Отъезд. — 18 мая 1885 года семья наша переехала в село Личадеево в двадцати верстах от Ардатова. Я с родителями в переднем тарантасе; сзади бабушка Марья Александровна Лихутина и няня с Лизой. По другой дороге плелись возы с мебелью и пожитками; издалека краснел наш старый буфет. Когда мы приехали, двор весь кипел народом. Личадеевскую лесную дачу Удельное ведомство купило в 1885 году у светлейшего князя Ливена за 227 тысяч. Первым удельным управляющим в Личадеево назначен был мой отец. В то время железной дороги еще не было, и местное население хранило остатки старины. Мужики носили зипуны, кафтаны, домотканые рубахи; помню сидящих по вечерам на завалинках стариков в высоких гречневиках; завидя нас, они вставали и разом степенно кланялись. У баб цветные пестрые сарафаны; на головах под ярким платком «рога», на ногах коты. В избах мерно постукивали прялки — слышу как сейчас жужжанье веретена; белые дорожки холстов расстилались по прогонам и лужайкам. 117 Василий Алексеев Ларин, высокий, красноносый, с выпученными рачьими глазами, считался раскольничьим попом. Это был богатый мужик. Ларин приторговывал, чем Бог послал: медом, маслом, мукой, свиной; сыновья его повели хлебное дело и вовсе разбогатели. Раз Ларин топил у нас на кухне сотовый мед, мешая его с конфетной мукой в горшке засученными жилистыми руками. На свадьбу старшего сына Василий Алексеев пригласил моих родителей. После венца, за угощением, подносили свадебные подарки. Отец получил рубаху, мать — платок. Когда становой Завидский приехал в Личадеево закрывать моленную, Василий Алексеев приготовил ему взятку в двадцать пять рублей. Становой набросился на Ларина, топая и ругаясь. Тот, держа ассигнацию в кулаке, думает: «Мало! Больно уж здорово бранится!» Мысленно Ларин все набавлял сумму; наконец, за пятьдесят рублей отстоял моленную. Этот Завидский (мы его уже не застали) был рьяный служака. Одного мужика он так хватил по уху, что тот оглох. Раз в удельном лесу на кордон приезжает Завилский и требует личи. У сторожа валялся на пвоне застреленный ястреб. Он

привлекла внимание и пролеза под ним с другой стороны вылез на дворе запертым и кричал, он изжарил его и под видом тетерева подал становому. Другой Ларин, Иван Петров, бывший старшина, рыжий и рябоватый, заядлый раскольник, нажил торговлей большие средства. Единственный сын его окончил сельскую школу и скоропостижно умер после дифтерита. Он читал отцу «Капитанскую дочку» и вдруг упал. Иван Петров сильно затосковал, перешел в православие и был выбран церковным старостой. Как-то зимой мы были в гостях у Лариных. Помню пеструю скатерть и кипящий самовар, пряники, орехи и леденцы на синих тарелках, степенного хозяина и ласковую хозяйку. Старый боббыль из николаевских солдат лишился рук после жестокой простуды. Они отсохли и болтались как плети. Даже закурить старик не мог без посторонней помощи, зато он быстро и без усталости ходил. Мать часто посылала его в Ардатов и Стексово на почтовую станцию. Поручения старик исполнял хорошо и точно. Помню его толковое солдатское лицо, пушистые седины и шинель внакидку. Он усердно молился в церкви, и меня занимало видеть, как безрукый встает с колен. Личадеево тянется на две с лишком версты. Первая верста от барской усадьбы до церкви. Здесь, у пруда, дом заштатного священника, похожий на большую скворешню; налево училище в тени старых дуплистых ветел. Дорога уводит тряской гатью в леса и болота, к реке Теше. Издали виден на песчаном бугре сосновый «борок» — раскольничье кладбище. Песок, осыпаясь, обнажал черепа и кости. За прудом вторая верста домов. От наших ворот боковая улица Заколнока ведет налево, на водяную мельницу, в деревню Докукино. Справа от усадьбы овраг, весной полный воды; за ним, среди ржаных полей и конопляников, взмахивают ветряные мельницы. С детства любил я запах конопли и конопляное масло. Помню вечерние звуки в Личадееве. Гонится с гомоном и мычанием стадо, хлопает кнут. С болотной гати слышится нежный гул лягушек. Ухнула выпь. Засилий Поверенное, мужик-охотник, спешит по Заколноке с ружьем на утиный перелет. Мальчишки промчались в ночное. В лугах замирает песня. Два пастуха чудесно распевали на свирелях. Осенью мы их угощали на дворе; они играли нам песни, пили за наше здоровье, плясали и уходили до мая. Личадеевский священник, крупный, седой, в лиловой скуфейке, уж не белел, а желтел от старости. Домом заправляли три дочери, все в летах. Когда моя мать навещала их, повторялось одно и то же. Выходил батюшка и после расспросов о здоровье и погоде возглашал басом: «А где девки-то?» Являлись хозяйки и садились у самовара, кроме младшей: она пила чай за отдельным 118 столиком. — «Почему вы, Серафима Алексевна, не с нами сидите?» — «Так уж, это мое место, уж я всегда тут сижу». И сестры подхватывали с улыбкой: «Уж это ее место, она всегда здесь сидит». Однажды у нас гостила моя крестная и ее подруга, Наденька, из Ардатова; мать предложила им пойти к поповнам, изобразив наперед все, что будет. Смешливая Наденька сидела как на иголках. Скоро она услышала: «А где девки-то?» Когда позвали к чайному столу, Наденька дрожащим голосом спросила: — «А вы, Серафима Алексевна, почему не с нами?» — «А уж это мое место, уж я всегда здесь сижу». — «Да, уж это ее место, она всегда тут сидит». Последним священником при нас был отец Иоанн Лепорский, приятный, еще не старый блондин в очках. Матушка и сестра ее, Юлия Ивановна, немолодая девица, часто у нас бывали. Юлия Ивановна превосходно пекла блины и на масленицу приносила их мне под полотенцем еще теплыми. Облитые горячим маслом и жирной сметаной, блины дышали и сами просились в рот. Личадеевские дьячки ходили в подрясниках и с косичками. Один был аскет и вместо подушки клал под голову сапоги. При министерской двухклассной школе было двое учителей. Старший, Николай Николаевич Степанов, носивший в учительской семинарии прозвище «Дюк Степанович», высокий, плотный, в черных усах, женат был на дочери камердинера П. И. Приклонского. Сторож при училище, Филипп, отставной солдат, удачно портняжил и сшил мне дубленый полушубчик на черных овчинах с круглыми медными застежками. Младший учитель Алексей Иванович Винокуров, тихий маленький юноша с большими добрыми глазами навывкате, очень застенчивый, был первым моим наставником. Не помню, как и когда я выучился читать. В январе 1889 года мать посадила меня писать палочки. Первый урок Алексей Иванович дал мне в октябре 1890 г. Мне было немного страшно. В вечернее окно смотрелся осенний сад, на дворе лаяли собаки. Свеча вспыхивала в медном шандале. Полчаса показались мне минутой. Всю зиму учился я Закону Божию, арифметике и русскому языку. Бывало, жду Алексея Ивановича на дворе в полушубчике, с лопатой, бросив салазки. Сороки прыгают и стрекочут, заря горит на сугробах, и мне вспоминается Пушкина «Стрекотунья белобочка...». Личадеевскую усадьбу строили в 30-х годах. К одноэтажному пому с мезонином примкнута кухня за ней люпская

Строили в 30-х годах в одноэтажном доме с несомненным примыком к кухне, за ней колодезь. Двор, окруженный каретником, амбарами, сараями и конюшней, спереди обнесен забором. Позади коричневый белоколонный балкон и цветник в чаще густой сирени. Сад по склону оврага спускался к извилистой речке Нуче. Летом с балкона, слушая визг стрижей, любил я всматриваться в дальние луга, куда опускалось солнце. На том берегу курган времен казанских походов Грозного, напоминавший богатырей и былины; очарованию помогала ржавая кольчуга у отца в кабинете: ее выпалал мужик. Левее, с нашей стороны, за лугами, деревня Голядкино и село Левашово с белой колокольней. Весной налетали в сад грачи. Отец с балкона стрелял их из маленького ружья: птицы портили старые деревья. Одно лето повадились ястреба по утрам кружиться над цветником; нескольких застрелил отец. Долго хранил я засушенные крылья и головы пестрых красивых хищников. Летом 1890 г. стояла чудесная погода. Ночью ударит проливной дождь, а утром сад и цветник благоухают. Долгие летние дни мы проводили на балконе. С утра до вечера солнце, стрижи, синева луговых просторов, крики мальчишек на реке, протяжные песни. Кухарка Гаврильевна, древняя сморщенная старушка из ардатовских мещанок, помнила глубокую старину. Она рассказывала, как отец ее (батя) 119 десятками бивал волков под самым Ардатовым. Ружье Гаврильевна называла «фузея». Другая кухарка, ровесница и односельчанка няни, любившая выпить, румянилась фуксином с конфетных бумажек. Кучер Андрей, добродушный мужик средних лет, научил меня ловить зимой снегирей и синиц. Мы брали деревянный кружок с волосяными петлями, усыпанный конопляным семенем, и поджидали добычу. Птички слетали и запутывались в петлях. Синиц я держал отдельно от щеглят и снегирей: они расклевывали им головы, между собою дрались. Личадеевские мальчишки разоряли гнезда и привязывали нитки к птичьим лапам. Птица, зацепившись за дерево, издыхала с голоду. У нас в саду так целую зиму болталась дохлая галка. Сторожем при усадьбе состоял Семен, из гвардейцев Павловского полка, красивый курносый мужик с темно-рыжей бородой. Он крепко колотил свою жену и во хмелю бывал страшен. Семена сменил долговязый носатый латыш Иван Ираид. Семейство латышей снимало удельный лесной участок десятин в двадцать. Глава семьи, девяностолетняя старуха, вечно читала лютеранскую Библию. Сыновья ее, Яков и Иван, вели хозяйство. Яков пожилой, бородатый, понес однажды с базара двух поросят. Один вырвался и побежал. Долго ловил его Яков, выбился из сил, кричал, ругался, наконец, швырнул в него вторым поросенком и заплакал от злости. Три его дочери поочередно служили у нас в горничных. Раз, в отсутствие моих родителей, все три латышки, собравшись у нас в зале, танцовали, прихорашивались и делали книксены перед зеркалом. На хуторе в лесу латыши жили уединенно. Обед не готовили, а ели что и когда придется. В котле, где парили белье, варили картофель. Сын Якова, мальчик моих лет, ночью замерз у порога избы: никак не мог достучаться. В дядьках при мне находился Федор Бакулин, николаевский солдат. Его забрили в Крымскую кампанию в 1854 г. В манеже император Николай I распределял новобранцев по полкам и, подойдя к Бакулину, мелом начертил на груди у него цифру 8. В Бакулине мало оставалось солдатского: он был неуклюжий, в бороде, с крупными чертами. В долгие зимние вечера, когда родители уезжали с утра в Ардатов, я, дожидаясь их, коротал время с Бакулиным. Часто я читывал ему вслух. Особенно нравилось старику двестише из «Руслана и Людмилы»: Носи хоть до ночной звезды, А быть тебе без бороды. Долго повторял он потом со смехом: «А быть тебе без бороды!» Мне хотелось узнать подробнее о Николае Павловиче. — «Какой он был, Бакулин, расскажи?» — «Да что ж рассказывать. Сами знаете, какой». Когда мне привезли из Ардатова игрушечный барабан, Бакулин оживился, взял палки и, выбивая трель, произнес речитативом солдатскую прибаутку николаевских времен: Подай ложку, Давай бак, Нету хлеба, Иди-к так. Летом он сопровождал меня по саду и окрестностям. На реку одному ходить мне не позволялось, играть с мальчишками также. На кулачных боях личадеевцы дрались с докукинцами; у тех был главным бойцом кузнец, смуглый здоровый крепыш. Раз мы с Бакулиным зашли в его кузницу. Подручный раздувал горн мехами; сыпались искры. Чумазый кузнец 120 взял початой горшок каши, вытряхнул с треском на пол набившихся прусаков, наложил каши в чашку с молоком и вместе с подручным сел за ужин. По летним дням мы все выезжали на охоту. С утра отправляется телега с провизией и самоваром на берег Уневки, речки, впадающей в Тешу. За телегой Иван ведет гончих: Звонка?, Запева, Плакуна, Зажигу, Докуку и Динку. Мы едем в долгуше: отец, мать, бабушка Марья Александровна, я и кто-нибудь из гостей. Из-под сиденья торчат концы привязанных снизу удилищ. Едем по селу по пруду и гатью по

изпод сиденья торчат концы привязанных спису удильщ. Едем по селу до пруда, и татво до Теши по тряским бревнам. В колдобинах всплывают черные головастики, пахнет приятно болотом. Вот и река. Я выбегаю и тотчас бросаюсь удить. Гончих спускают; лес оглашается стройным хором; слышны далекие выстрелы. Зайцев иногда привозили домой десятка по два. Трещит костер, мать с бабушкой хлопочут у самовара. Мы пьем чай, варим уху, печем

картофель и раков. Вечером домой. Я смотрю на тихие заводи и излуки Теши сквозь нежный закат, слушаю песни за селом, считаю огоньки в избах. Охотились мы и в лесу у купца Горюшина, раскольника-миллионера. Горюшин был очень скуп. Осенью 1890 г. мы возвратились с Уневки. На дворе дождалась одноконная тележка, в ней спал старик в серой чуйке; старуха в темном платке сидела подле. Это Горюшин приехал к моему дяде, врачу, просить медицинского пособия. Он не хотел звать дядю на дом, чтоб не платить за визит; уездный врач по закону обязан лечить бесплатно. Кучера старик не держал тоже из скупости, и его привезла сестра. Дядя повел Горюшина в кабинет к отцу, осмотрел и прописал лекарство. Старик уехал, не заплатив ни копейки. У него оказался рак. По зимам отец охотился на медведей. Убитого зверя вешали в сарае; все село сбегалось смотреть, как снимают шкуру. Последний медведь убит был не на облаве, а пойманный в капкан. Привадой служила падаль. Голодный зверь нажрался ее, и когда, сняв шкуру, вспороли брюхо, народ отхлынул, зажимая носы. В сарае раздавался лишь идиотски-гнусавый визгливый хохот: это заливался глухонемой. Из первых личадеевских впечатлений помню поездку с отцом на беговых дрожках в удельный лес. С нами смотритель Григорий Клопов, отставной фейерверкер. Мы едем опушкой. Вдруг отец соскакивает, стреляет и убивает тетерку. Клопов воткнул трепыхавшейся птице перо в затылок и спрятал ее в ягдташ. Еще помню летнее утро, красные лучи и гулкий благовест; мы едем в тарантасе. Сквозь сон слышу разговор: — «Это какое село?» — «Селякино». — «Телятино?» — «Нет, Селякино». Засыпаю и прихожу в себя на лесной поляне. В руках у меня сачок, я гоняюсь за пестрой, огромной бабочкой. Лесная заросшая речка с песчаной отмелью, дичь и глушь. Кривоносые кулики с криком летают над водой в истоме летнего зноя. Потом блестящие вечерними косыми лучами заводи и затоны Теши. Мы быстро несемся на линейке, в глазах у меня рябит от блеска. Вспоминаю еще избушку на поляне. Жужжат овода, фыркает наша тройка, над цветами повисли пчелы. Старый лесник подает мне сотовый мед в деревянной чашке. Две удельные мельницы, докукинскую и пятницкую, снимал Налетов, арзамасский мещанин. Мы часто у него бывали. Я любил удить под шумящим колесом. Плавал я как рыба, бросаясь в воду с разбега; случалось купаться на дно раз по восьми, особенно по жаре. Налетов угощал нас чаем и крупными раками. На стенах его светелки пестрели лубочные изображения русских и черногорских героев последней турецкой войны. Из домашних лакомств любил я пирожки с изюмом и клюквой. Того и другого берут поровну, столько же сахарного песку. Смесь кипятится без воды 121 и обвертывается тонким пресным тестом. Пирожки эти любил Александр Лукич Лихутин; их превосходно пекла бабушка, а от нее переняла это искусство мать. К родительским именинам, 30 августа и 10 марта, заказывался в Арзамасе ореховый торт в кондитерской Генебарта. Кондитерская эта славилась душистой нежной нугой. Стоила она всего 30 копеек фунт, розовая и белая с фисташками. Когда провели железную дорогу, нуга вздорожала и продавалась уже за полтинник; потом дошло до рубля за фунт. Дед с бабушкой гостили у нас зимой 1888 г. Коренастый, с седыми висячими усами, дед отличался спокойствием. Молча курил, пуская голубоватые кольца, молча слушал, как отец читал нам «Князя Серебряного» или «Робинзона»; редко слышался его выразительный тихий голос. Бабушка зато постоянно говорила, волновалась и читала наставления. Должно быть, дед с первых годов супружества молчанием привык отделяться от красноречия бабушки. Он не выносил водки, горчицы, уксуса и квасу; эти особенности передались и мне. У себя в Щербинке дед за домашней всенощной читал всегда Шестопсалмие; оба они с бабушкой строго исполняли все обряды. Мои родители, дядья и тетки говорили им «вы»: вы, папаша, вы, мамаша. Дед и его свояченицы также были между собой на «вы»: братец Яков Алексеич, сестрица Марья Александровна; свояченицы даже с бабушкой разговаривали на «вы». Дед не был охотником, щадил и жалел животных. Бабушка Марья Александровна Лихутина гащивала в Личадееве ежегодно. Родилась она в Медяне в 1831 г. Помню ее веселой приветливой старушкой, опрятно, по-старомодному, одетой. Подле несговорчивой бабушки Лизаветы Александровны она являлась воплощенной добротой. Вскоре после Крымской кампании присватался к Марье Александровне какой-то майор

скоро после крымской кампании присваивался к Марье Александровне какой-то майор.

Бабушка не прочь была от замужества. Но раз за картами у проигравшегося майора от злости дыбом встали щетинистые волосы. Марья Александровна испугалась и отказала жениху. Ничего стародевического в дурном смысле в ней не было. Она очень любила детей и всегда потихоньку клала нам с сестрой перед чаем по конфетке на блюдечко. Изображала пальцами зайчика на

тени, беседовала с нами, певала. Изю всех Лихутиных она одна обладала голосом и слухом. Отец, дяди и тетки любили добродушно подшучивать над «мамашей-крестной» (она всех их крестила), над ее будто бы влюбленностью в курмышского помещика Брюхова, над детской ее доверчивостью ко всяким слухам. Летом 1886 г. тетка Лизавета Яковлевна вышла замуж за А. В. Громова. Через два года венчали тетку Агнию Яковлевну, крестную мою мать, с А. Н. Алелековым, доктором медицины. Родители брали меня в Щербинку на обе свадьбы. Торжества происходили в саду. Помнятся мне треск военной музыки, толпа гостей, суматоха, танцы, шипенье ракет и тосты. После свадьбы крестной, мы завернули к Ходаковым на Сергиевскую Мызу. На гумне у них резали огромного быка. Вместе с сыновьями Якова Ивановича я смотрел, как глушили чудовище обухом, как вонзили ему в затылок нож и перерезали горло. Бык хрипел, дергался и стонал. Он был еще жив, когда сшибали ему рога каким-то плоским топориком. У Ходаковых я почувствовал себя плохо и ночью очнулся весь в жару. Глотать было больно. Липницкий определил дифтерит. Мы тотчас поскакали в Личадеево. Дома давали мне молока со скипидаром. Начался бред, и все смешалось. Я вылежал ровно месяц. Дед пользовался отличным здоровьем. В конце 1888 г. балка в сарае, сорвавшись, ударила старика по голове. Явных последствий ушиб не имел; изменился немного почерк. 2 мая 1889 г. дед, сидя за утренним чаем, внезапно 122 заговорил бессмыслицу. Бред продолжался неделю. Потом больной обеспамятел. В Щербинку собрались все родные, выехала и мать. 17 мая я играл в Личадеево в саду, когда меня позвали к отцу. Он сидел, закрыв рукой глаза; перед ним телеграмма. — «Боря, дедушка-то умер». Дед скончался накануне в 10 часов вечера. Тотчас мы на перекладных понеслись в Щербинку. Отец торопил ямщиков. С одной станции нас повез сам хозяин на лучшей тройке. Он называл лошадей «алмазные, родные, соколики». — «Эх, конфетки!» Утром 18-го, в самый день похорон, мы подкатили к усадьбе. У ворот дожидался красный катафалк. Меня поразило, что факельщики шутили и пересмеивались, будто ничего не случилось. В сенях служка в стихаре держал архимандричий посох. Тело лежало в столовой с закрытым лицом. Мне захотелось взглянуть на дедушку. Мать, взяв меня на руки, попросила крестную открыть покойника. Та ответила, что теперь уже поздно. На погребение меня не взяли. Дед похоронен в Крестовоздвиженском монастыре. Одно лето гостил в Личадеево мой крестный Н. И. Голов. Он был уже подполковником в отставке, постарел и опустился. Кителя все в заплатах, шинель изношена. Погубила крестного несчастная страсть к какой-то московской даме. Зимой 1890 г. нам передали газетное известие: в Москве на улице поднят, умерший скоропостижно, подполковник Готов (фамилию газета исказила). Где похоронили крестного, неизвестно. Как-то в июне 1890 г. мы собирались ужинать. Вдруг в столовую вбегаёт высокий чернобородый офицер и прямо к матери. — «Узнаешь?» — «Митенька!» И в слезах упала к нему на грудь. Это был дядя Дмитрий Иванович Голов, артиллерийский капитан. Окончив Константиновское училище, дядя и брат его Василий участвовали в турецкой войне. Василий Иванович отличился под Карсом, получил Владимира с мечами и мог рассчитывать на блестящую карьеру. Неудачная женитьба сделала его невоздержным на вино и свела в могилу. Он умер от чахотки. Дядя Митя женился рано на дочери саратовского предводителя Марии Арсеньевне Заборовской. Его любили товарищи и выбрали в полковые казначеи. Один молодой офицер-картежник упросил дядю дать ему казенных денег отыграться и все спустил. Дядя решил застрелиться, приготовил записку и зарядил револьвер. Это было ночью. Случайно вошедшая няня его жены догадалась в чем дело и вырвала оружие, а товарищи по полку, сложившись, внесли свои деньги в казенный ящик. Честь и жизнь были спасены, оставался тяжелый долг. Всю жизнь расплачивался бедный дядя из жалованья; семья между тем росла. Пришлось продать приданое серебро и все золотые вещи. Дядя Митя был кроткого нрава и нем, как рыба. В Личадеево он любил сидеть на балконе с газетой, иногда ласкал молча мою мать, разглаживая ей волосы. Насколько отец и его два брата, Илья и Александр-младший, удачливы были в личной жизни, настолько трех дядей Головых преследовали житейские невзгоды. Все Садовские отличаются уравновешенностью и

здравомыслием. поездки в гижнии делали мы на собственных лошадях в крытом тарантасе. Верх откидывался и служил мне дорожной койкой. Приятно было покачиваться в знойный полдень над песчаной лесной дорогой. Запрягалась тройка вороных: Сибиряк, Васька и Арабчик под белой дугой с валдайским колокольчиком. Отлитый в подарок отцу в Валдае одним из его приятелей, колокольчик носил именную надпись. Был еще колокольчик с изречением: «Купи, денег не жалея, со мной ездить веселей». Перед въездом в губернские города колокольчик полагается подвязывать; правило это соблюдалось и в Арзамасе по давнишнему приказанию одного исправника, изрядного самодура. Другой арзамасский 123 исправник был отдан под суд, когда узнали, что он перевез из Арзамаса в Нижний целый дом, записав расход на казну. Езды от Личадеева до Нижнего полтора верст. В Арзамас мы заезжали только купить нуги. Кормили на почтовых станциях, иногда где-нибудь в деревне у богатого мужика. Эти кормежки и остановки я очень любил. У отца было имение Курилово в Нижегородском уезде. Барский дом, старая мебель, изразцовые печи — все сгорело летом 1890 г. Сад с липовыми аллеями мужики понемногу вырубали; наконец, отец продал усадебное место. Я с родителями заезжал в Курилово раза три. Старик-священник в шитом широком поясе потчевал нас малиной, дряхлый дьячок, низко кланяясь, подносил сотового меду «от своего изобилия». В Стексове я с матерью был у лавочника Орлова. Нас угощали сдобными сладкими лепешками. Масло сочилось. — «У нас не подай таких, так об стену расшибут», — сказала хозяйка. Она и дочери ее были сдобней лепешек; сам Орлов — курносый худенький старичок. Орловскими лепешками я объелся и меня тошнило, но и теперь я не могу их забыть, так они были вкусны. В мезонине у нас хранился разбойничий кистень: два медных шара, заплетенных в черную кожу. Мне нравилось воображать пробитые головы и оглушительный посвист. Я долго жил в мире древней Руси. Между Личадеевым и Ардатовым, в поле, был старый дуб. На нем каркал ворон, кругом заливались ржаные нивы. Все было как при Иоанне Грозном. Ходаковы с детьми зимой и летом бывали в Личадееве и мы ездили к ним на Мызу. От санного пути меня тошнило: не забуду мучительных поездок в возке с окном и подушками, в упряжи гусем. 10 июля, в день рождения Зинаиды Александровны, в конце огромной аллеи на Мызе загорался цветными огнями красный щит «Рождение Зины», съезжались гости, пускался трескучий фейерверк. У Ходаковых было много детей; старший сын — харьковский студент, младшая дочь малютка. Подругой моих игр была Маруся. Домом заведывала старушка-экономка Анна Ивановна. На Мызе хозяйство велось на большую ногу: хороший повар, множество прислуги, даже дурачок. Яков Иванович был очень горяч и вспыльчив. Тогда по всему уезду разъезжали бродячие венгерцы на фурах с товарами. В помещичьих усадьбах такой венгерец являлся желанным гостем. Можно было купить у него что угодно. Готовые костюмы, белье, дамские платья, варшавская обувь, швейные машины, аристократы, игрушки, книги — все это выкладывал из коробов учтивый торговец, вооруженный аршином. Мне купили у венгерца лондонский альбом раскрашенных военных сцен 1854—55 гг. с английским текстом и портретом королевы Виктории на обложке. Раз у Ходаковых один венгерец, раскладывая товары, упомянул о возможности войны с Австрией. Яков Иванович возразил, что мы Европу шапками закидаем. Торговец усумнился. — «А, вот как! не покупать же у них ничего! вон из моего дома!» — и выгнал венгерца. Где-то в уезде, у мужика, Яков Иванович увидел том Рабле с надписью на титульном листе «Мольер» и с пометкой «Эта книга действительно принадлежала Мольеру. Вуатюр»³. — «Откуда это у тебя?» — «Старичок-поляк занес; сам помер, а книжка осталась». Яков Иванович купил ее за двугривенный. Один библиофил увез Рабле за границу, продать знатокам, но в Париже сошел с ума и умер. Когда появилась «Власть тьмы», Яков Иванович читал ее у нас вслух, расхаживая по привычке из угла в угол. Вместо «таё» он выговаривал «та?е»⁴, за что и был осмеян моим отцом. «Крейцерова соната» гостила в Личадееве в рукописном виде, и мне ее не давали. 124 Помещик Иван Аполлонович Лобис, длиннолицый, узколобый блондин жил в селе Четвертове. В саду у него росли кедры. Ребенком Лобис поступил в первый класс Дворянского института и через четыре года из первого же класса вышел. В Четвертове хозяйничал, кутил и волочился за бабами. Лобис променял моему отцу две старинные английские гравюры на валдайский колокольчик. Впоследствии, разоренный и обнищавший, умер в Ардадове под забором. Лобис и его двоюродный брат доктор Михаил Викторович, маленький усач, владели громадной пустошью при селе Ковлеях. Землю распродавали они по два и по три рубля за десятину. Лобисы говорили про валдайские усадьбы и это поместье Моевского, Фоминичихи, старая усадьба Моевского, Лобисовичихи

про ковлеиские уголья: это наша месопотамия. Фамилия их старая, чисто русская: Любысовы; предок, при Бироне, для безопасности стал называть себя Лобисом. Николай Петрович Девилленев, солидный старик с длинной седой бородой, из мировых судей перешел в земские начальники. Должность эта тогда только что учреждалась. Николай Петрович поехал в Петербург просить министра о назначении. Чтобы седина и преклонный возраст не помешали делу, Николай Петрович выкрасил свою великолепную бороду под цвет каштана, представился министру и получил место. В Ардатове борода опять начала седеть с краев; краска постепенно уступала и наконец сошла. Раз Девилленев ночевал в Личадееве и утром встал хмурый. — «Что с вами, Николай Петрович?» — «Уж извините, Александр Яковлевич, у меня привычка: до чаю закусить». Явился графинчик, и Николай Петрович повеселел. У ардатовского исправника Виктора Семеновича Измайлова, высокого молодого bruneta с эспаньолкой, хозяйством заведывала тетушка Лизавета Гавриловна Саснина. Это была пожилая дама с орлиным носом, в очках, деловитая и знавшая все отрасли домашнего хозяйства. Племянника она сама определила на службу, дав приятельнице губернатора Баранова взятку в триста рублей. В Ардатове мы с матерью бывали у них нередко. Вспоминается мне один визит. Энергичная Лизавета Гавриловна угощала нас чаем и пылающей на подносе сахарной бабой с ромом; кроткий Виктор Семенович, сидя в уголке на табурете, наигрывал на большой гармонии веселую польку. До сих пор мотив этой польки звучит у меня в ушах. Становой пристав Н. Д. Лебедев, лысый, в очках, с перебитым носом, спорщик и забияка, держался на месте ради исключительно редкой честности. Начальство уважало Лебедева за бескорыстие и прямоту, и эти же качества не давали ему ходу в полицейской службе. Лебедев навсегда остался становым, в предельном чине коллежского ассесора. Отец в шутку звал его майором. О том, как Лебедеву перешибли нос, ходили разные слухи. То будто он спяну надел на голову котел, соскользнувший на переносье; то подрался будто бы с ямщиком и тот хватил его по носу кнутовищем. Сам Лебедев рассказывал, что ел однажды арбуз: приятель, подкравшись, хлопнул его шутя по лысине; майор ударился лицом об арбузную корку и перешиб переносицу. Губернатор Безак уволил было Лебедева в отставку; становой привез жену и детей в губернаторский дворец, оставил в приемной, а сам ушел. — «Кормите их вы, ваше превосходительство, мне нечем». Вице-губернатор Куровский сказал Лебедеву однажды: «Я не желаю с вами служить». — «А я не желаю с вами». Поклонился неприлично задом и вышел. Много раз за дерзости и превышение власти сиживал Лебедев на гауптвахте и бывал под судом. На суде смешил публику надетым на нос футляром. Сломанный нос ничуть не портил доброго и открытого лица его с темнорусой бородой и сверкающими глазами. Приятельскую беседу Лебедев любил раскрашивать художественным вымыслом, безвредным и безобидным. Рассказывал, например, как надо жарить ежа: закатать живым в глину и положить 125 в костер. Когда угли прогорят, разбить оболочку и еж готов: колючки на нем сторели, сам он подрумянился и шипит в соку: посоли и ешь. Еще водилась за Лебедевым странность прибавлять года и старить себя на целых двадцать пять лет. Так он клятвенно уверял, что ему 63 года, а на деле ему было 38, я сам видел случайно его паспорт. Любил рассказывать о своих охотничьих подвигах, о лошадях и собаках; великолепно плясал русскую и как-то ездил при этом по полу на шпорах. Следователь Ешинский, изящный, рано поседевший блондин, ехал по спешному делу на тройке ранней весной. Попали в зажору. Везший Ешинского мужик стал бить коренника дугой по морде. Лошадь оборачивалась и смотрела на седока, точно прося защиты. Наконец, хозяин забил ее насмерть и помчал следователя на паре. С Кулебакского горного завода ездил к нам черноусый шляхтич Навацкий. Вижу его статную фигуру у стола с закусками. На нем венгерка с красными кистями, он грациозно чокается с отцом. Навацкий молодился при помощи пудры и притираний. Как-то зимой ночевал он у нас в мезонине с Лебедевым; утром встал бледный и унылый. Неугомонный становой так храпел и высвистывал своим перебитым носом, что элегантный поляк глаз не сомкнул всю ночь. Несколько раз был в Личадееве на ревизии Сивере. Со мной он заигрывал, шутил и раз прислал мне ящик с солдатами. Игрушками мне служили деревянные кинжалы, оклеенные золотой бумагой, самострелы и змей с мочальным хвостом. Вспоминаю еще помощника управляющего Удельной конторой Д. Е. Бабкина, худощавого рослого старика. Вижу его едущим с отцом ранним утром на охоту в линейке. Стрижи визжат в чистом небе. Поджимая длинные ноги, Бабкин одной рукой придерживает ружье, другой ласкает собаку. Раз я играл в столовой на полу. Внезапно вбегает

толстый купец лукоянов и кладет на стол пачку ассигнации. Следом бежит отец, хватая бумажки и сует купцу в карман. Оба убежали. Это походило на игру. Я замер от изумления. Лукоянов хотел отцу дать взятку. Осенью 1888 г. дядю Александра Яковлевича Садовского назначили уездным врачом в Ардатов. Нас он нередко навещал, но чаще ездил в село Онучино, имение Егоровых. Онучинского помещика Павла Андреевича Егорова, отставного военного, с височками и усами, давно уже не было в живых. Младшая дочь его Наталья Павловна жила в усадьбе с матерью Анной Ильиничной, урожденной Мосоловой, представительной старушкой. Наталье Павловне минуло 28 лет. Миловидное лицо ее оживлялось спокойными черными глазами. Она кончила гимназию в Нижнем и ежегодно выписывала «Русскую мысль». Любимым поэтом Натальи Павловны был Лермонтов. 5 января 1891 г. у нас затеялся маскарад. Съехалось много соседей; всю ночь танцевали в костюмах под фортепиано и аристон Егоровых. Этот вечер решил мою судьбу: я влюбился в Наталью Павловну. Чувства свои я выражал по-детски. Подбегал и садился рядом, следил за ней, ловил каждое ее слово. Показал ей свои книжки, она обещала подарить мне Лермонтова. На 1891 г. отец выписал для меня московский журнал «Царь-Колокол». Там было стихотворение Фета «Сентябрьская роза». Я тщательно его переписал и поднес Наталье Павловне. Скоро изведаль я муки ревности: Наталья Павловна стала невестой дяди. В январе 1891 г. долгие зимние вечера проводил я один, читая повести Пушкина. Родители мои уезжали в Нижний. Лампа горит, трещат печи, бормочет 126 самовар. Звучно ходят старинные часы с изображением молодого румяного турка в красной феске, с бокалом, водящего глазами влево и вправо. Тихая музыка метели, в окнах луна и снег. 25 марта состоялся сговор дяди с Натальей Павловной. Накануне 28 апреля, дня свадьбы, приехали мы в Онучино. Большой старый дом был полон. Окрестные помещики, уездные власти, в дверях дворян и толстый приказчик с табакеркой. Из Арзамаса прибыл оркестр: две скрипки, флейта и контрабас. Когда невесту начали благословлять к венцу, Анна Ильинишна и бабушка Лизавета Александровна зарыдали; плакала и Наталья Павловна. Дядя, во фраке, смущенно бормотал: «О чем же плакать?» Поехали в церковь. Я вез образ. Все наше семейство было в сборе. Дядя получил в подарок от тещи екатерининский брегет. Долго длился свадебный пир, было шумно и очень весело. Вижу пляшущего вприсядку станового; исправник в орденах хлопал, смеясь, в ладоши. Яков Иванович, подгуляв, велел играть «спирю» и прошелся тоже. Первым театральным представлением, виденным мною, был спектакль бродячих актеров в ардаатовской Управе 21 июля 1891 г. Вечер открылся стихотворением «Казнь Стеньки Разина»; прочел его молодой актер. Затем исполнен был монолог Скупого Рыцаря, в гриме и при обстановке. В одном стихе актер ошибся; я его громко поправил. Отец остановил меня. Еще были представлены: водевиль «Ученая жена», диалог Счастливецова с Несчастливецовым из «Леса» и водевиль «Жена ой-ой, а муж увы». Вечер закончился куплетами. После спектакля мы на своей тройке уехали в Личадеево. Качаясь, сквозь сон я смутно чуял, под звяканье колокольчика, дышавшие мне в лицо необозримые разливы ржаных полей. В январе 1892 г. отец получил повышение по службе: его назначили в Нижний на должность помощника управляющего Удельной конторой. Через полгода нам предстояло покинуть Личадеево и надо было готовить меня в гимназию. Вскоре после Нового года из Нижнего вместе с отцом приехал мой новый наставник, молодой семинарист, Павел Петрович Невзоров. Приятной наружности, с римским носом, в каштановых кудрях, Павел Петрович старался не походить на семинариста. Одевался щеголевато, затушевывал в разговоре букву «о», прибавлял к каждой фразе «и прочее», держался свободно. Поселился он в мезонине. Ежедневно мы занимались латинским и русским языками, Законом Божиим, географией, математикой; в последней науке Павел Петрович, как большинство семинаристов, сам был не силен. 17 марта Наталья Павловна родила сына и уже не приходила в себя. Родители мои спешно выехали в Ардатов. 23-го Наталья Павловна скончалась. Погребена она в Покровском монастыре в самое Благовещение, ровно через год после сговора. Мать моя, по обычаю, обула покойнице ее белые венчалные туфли. Долго потом перечитывал я, содрогаясь, мои любимые у Лермонтова стихи «Любовь мертвеца». Призрак мертвой Натальи Павловны, моя детская любовь, зловещие стихи и сам Лермонтов с его дуэлью живут с той поры неразлучно в моей душе. В июле приехал новый управляющий А. И. Комаров, красивый брюнет с небрежными приемами, охотник; с ним жена Лизавета Матвеевна, родом полька, умевшая варить чудесный шоколад, и старый дядя ее О. А. Маевский. Комаров служил сперва в казне и был

назначен в Ялutorовск управлять лесничеством в два миллиона десятин. На эту площадь приходилось двенадцать сторожей; больше в округе людей не было. Комаров решил жениться, чтобы не одичать. Дорогой он случайно остановился в городе, где жил лесничий Маевский, 127 вечером явился к нему, представился, танцевал и после ужина сделал Лизавете Матвеевне предложение. Маевский, холостяк с седыми усами, разводил у себя дома египетских голубей и

нежно любил своих двух кошек Минке к Кескесе. Выехали мы из Личадеева 27 июля 1892 г. Был ясный, веселый день. С утра наш двор запрудили толпы народа. После раннего обеда отец Иоанн отслужил напутственный молебен. Василий Ларин принес в подарок отцу древнее Толковое Евангелие. У крыльца ожидали три тройки; в четвертой сидел исправник с тетушкой, проводивший нас до границ уезда. Под гул пожеланий мы тронулись по селу. Часть третья Институт (1892—1898) — Дворянский институт. — Начальство и товарищи. — Полицеймейстер Курила. — Букинист Весницкий. — Каптарка. — В Щербинке. — Деревенская жизнь. — Из волжской старины. — — Всероссийская выставка. — Нижегородский театр. — В. П. Далматов. — 15 сентября 1892 г. держал я вступительный экзамен во второй класс Нижегородского Дворянского института императора Александра II. Занятия отсрочены были по случаю холеры. Не без робости подошел я к экзаменационному столу. У законоучителя ответил я «на 5». Из арифметики спрашивал Н. Н. Костырко-Стоцкий, прекрасный педагог, по наружности настоящий математик: в очках, сухой, с длинным носом. Знания мои он оценил баллом «3». На другой день меня экзаменовали по русскому языку (5), по латыни (3) и по географии (4). Спрашивал по этим предметам А. П. Никольский, талантливый словесник, сгубивший себя слабостью к вину. С нами он обращался круто: кричал, выгонял из класса, ставал в угол. Маленький, толстый, красный, руки в карманах, Никольский вполне оправдывал данное ему прозвище Самовар. С восторгом обновил я форменную одежду: черный с красным воротником мундир и фуражку с витиеватым гербом на красном околыше. На плоских золотых пуговицах сиял нижегородский олень с короной. Покрой институтского костюма уцелел от сороковых годов, когда все русские гимназисты носили такую форму. Уличные мальчишки кричали нам: «Красная говядина!» В мундире и фуражке я гордо гулял по городу. На Осыпной зашел в лавочку купить монпансье. «Вам чего угодно, кавалер?» — спросил хозяин. Потом я нарочно еще заходил сюда, чтобы лишний раз почувствовать себя кавалером. Директор Гаврила Гаврилович Шапошников держался твердых религиозных и политических взглядов. Он был сторонником телесного наказания и родителям шалунов предлагал на выбор выключку или розги. Родители, конечно, избирали второе. Наказывали виновных в библиотеке, в присутствии институтского врача. Гаврила Гаврилович, плотный старичок, с окладистой белой бородой и пронизательным взором, при разговоре клал на верхнюю губу палец и как-то не то откашливался, не то мычал: «гм!» По образованию юрист, Г. Г. преподавал словесность. Иногда он отечески журил нас. Восьмиклассник Богодуров отказывался петь в институтском хоре из-за неладов с регентом. «Ты, Саша, вносишь свои дурные страстишки в святое дело молитвы». Мне Г. Г. однажды сказал: 128 «Боря, что это ты какой худенький да бледный? Учились у меня твой отец и дядя, все были здоровяки. Смотри, ты уж глупостей не делаешь ли каких. Помни: природа неумолима. Она беспощадно мстит за себя». Оказывая снисхождение ученикам из дворян, Г. Г. строго относился к богатым купчикам. «Скворцов, ты шарлатан. Ты здесь только место занимаешь. Ведь у тебя богатые родственники есть. Попроси, чтобы они тебя пристроили к делу». «Кожебаткин, у твоего отца пароходство: пусть он тебя в масленщики определит что ли, все лучше будет». «Ты где это ночевал, Ненюков? Ты весь в пуху. Смотри я тебя вышвырну из института. Мне таких мальчиков не надо». Г. Г. следил за нашим внеклассным чтением и очень бывал доволен, если ученик упоминал о «Бедной Лизе»: «Ну, расскажи». У одного пятиклассника увидел он роман Мордовцева⁵. — «Гм... скабрзных писателей читаешь. Сожги. Я его знал» (вероятно по Саратову, откуда был родом Г. Г.). Старик-инспектор, Аллендорф, высокий представительный немец со вставными челюстями, не любил меня за своевольство и шаловливость, часто сажал в карцер и оставлял без обеда. Особенно не взлюбил меня Аллендорф за насмешки над товарищами-немцами и за то, что я нарушил данное ему слово до двадцати пяти лет не писать стихов. Из классиков видную фигуру являл Иван Михайлович Голан, онемеченный лужичанин, полный, спокойный, с величавыми приемами и властной походкой. В классе у Голана сидели смиренно: лишних разговоров он не любил «Вынимайте книги

упражнений». Через четверть часа тем же тоном: «Вынимайте тетради». Впрочем, давались иногда и посторонние объяснения: «Бактери?я; палка; бакте?рия. Что такое бакте?рия, Садовский?» — «Это, Иван Михайлович, такие вредные маленькие животные». — «Да, микроорганизмы. Трикс: волос, отсюда трихина. Что такое трихина, Садовский?» — «А это, Иван Михайлович, тоже вредные животные, вроде бактерий». — «Да. И они лежат в виде волоса

в мускулах свиньи и человека». Летом 1897 г. я снялся в охотничьем костюме с убитым впервые зайцем и после каникул принес снимок в институт, показать товарищам. За уроком расхаживавшего по классу Голана я переложил фотографию из ранца в книгу. Вдруг рука в синем обшлаге вытаскивает у меня из-под носу карточку. Я смутился. Обращение с огнестрельным оружием жестоко каралось. Голан улыбнулся и возвратил мне снимок: «Сколько заплатили за зайца, Садовский?» Помощник классных наставников М. М. Никольский прозывался Стрижом. Черный, приземистый, Стриж степенно прогуливался по коридору во время перемен со связкой ключей и постукивал ими в стеклянные двери шумящих классов. Он же продавал нам бальники и тетрадки, а по большим переменам пирожки из институтской кухни. Мою деревенскую резвость Стриж умерял замечанием: «Потише, Садовский, здесь тебе не личадеевская дача». Гуляя в институтском саду, я стал карабкаться на забор. Раза два Стриж меня останавливал, наконец сказал: «Останься-ка на полчаса после урока». Это было первый раз, что я сидел без обеда. Учитель гимнастики И. И. Жихарев, стройный, молодцоватый, с лихими усами, водил нас в манеж. Хорошим гимназистам он кричал: «Сердечное спасибо! благодарю!» Шалунам: «Пустой мешок! Подите к инспектору классов и скажите, что я вас выгнал!» Жихарев преподавал и танцы под пиликанье дряхлого скрипача. Фронту обучали нас гарнизонные офицеры. Восхваляя пользу гимнастики, И. И. самодовольно восклицал: «Ну кто поверит, что мне 52 года?» Между тем он не казался моложе. 129 На уроках чистописания и рисования подымался шум. Старик-учитель И. С. Просвирнин, в темных очках, сурово угрожал: «Запишешься». Его не боялись и он никого не записывал. Лентяев и шалунов Просвирнин ставил за доску, иные сами отправлялись туда перед началом урока; прочие тайком читали или заводили разговоры и препирательства с учителем. Великовозрастный Власьев, с пушком на губе, минут двадцать чинил карандаш, жалуясь вслух на тупость ножа: «Это не ножик, а топор». «Власьев, запишешься». Мне Просвирнин долго не ставил отметок: так плох был мой доморощенный почерк. Утром я и сестра Лиза вставали при лампе. На улице грустно завывал на медном рожке пастух: городское стадо гнали в поле мимо Удельной конторы. Здесь же часто носили покойников из Мартыновской больницы. «Покойника несут!» — и мы бросались к окнам. Маленький брат, завидя носильщиков с диваном, тоже кричал, прыгая от восторга: «Покойника несут!» Мартыновская больница, огромный дом с садом, принадлежала когда-то откупщику Мартынову. В этом доме родился сын его, тот самый Мартынов, что убил Лермонтова на дуэли. В утренних сумерках мать поила нас чаем, завертывала завтрак, и мы отправлялись, я в институт, а сестра в пансион Скворцовой. В институте ученики шли на молитву в зал, младшие впереди, каждый класс со своим наставником. Являлись учителя и начальство. После молитвы расходились по классам в обратном порядке. Со мной учились два захудалых князька. Один из них за уроками все смотрелся в складное зеркальце, поправляя прямой пробор, или подтачивал ногти, остриженные треугольником. Тогда же он написал стихи: Ушли все птицы попугаи И больше нет уж никого, В лесу лишь слышен только шорох И больше право ничего. Куда ж все птицы улетели, В какие дальние страны? Мороз, сковавший лес дремучий, Набросил иней на ветви. И стало жутко ехать ночью, Медведи лезут прямо к нам И не дают никому ночью Проехать даже и втроем. Во втором классе на одной парте со мной сидели Приезжев, Шулешев и Хомутов. Все трое давно покойники. Шестнадцать лет, до выхода отца в отставку, семья наша жила на Мартыновской улице в доме Удельной конторы. Мы занимали казенную квартиру в бельэтаже. Сын управляющего Контрольной палатой, Коля Алфераки, был моим лучшим приятелем. Жил он над нами. Двор и сад всегда кишели мальчишками. Меня они приняли недружелюбно, обманывали и подводили под неприятности, пользуясь моей деревенской простотой. Сижу я, маленький институтец, у окна. Из подъезда важно выходит Алфераки, такой же маленький гимназист с огромным греческим носом. Издали он торжественно показывает мне пятак. — «Куда?» — «На Мытный двор». На Мытном дворе продавались сладости. Второй помощник управляющего Удельной конторой Николай Карлович Эгер, лысый веселый

старичок, из бывших кадет Лесного корпуса, женат был на дочери декабриста Пейкера, Аделаиде Михайловне. Детей у Эгеров не было; 130 они горячо любили друг друга и жили душа в душу. А. М., полная спокойная дама, сама отбирала к обеду по зернышку гречневую крупу, так же тщательно готовились и прочие блюда. В комодке хранилась погребальная одежда А. М., от савана до башмаков. — «Когда я умру, Коля растеряется и не будет знать как меня одеть, а тут без хлопот, все готово». Н. К. однажды, у нас на елке, лихо прошелся русскую с няней и подарил потом своей даме рубль. Эгеры брали меня в ложу на модную тогда пьесу, «Мадам Сан-Жен». Через год они уехали в Сибирь; там А. М. вскоре скончалась от удара и Н. К. женился на молодой девушке. Вскоре по переезде, осенью, кто-то позвонил к нам в квартиру. Я отпер. Господин, до бровей закутанный в шарф, передал мне визитную карточку: Александр Серафимович Гациский. Это был знаменитый нижегородский этнограф-летописец и историк, первый председатель нашей Архивной комиссии. Мой дядя, доктор медицины, Илья Яковлевич Садовский жил на Тихоновской улице с обеими бабушками и с сыном Колей, гимназистом шестого класса. В крещение 1893 г. у дяди был костюмированный вечер. Был тут и гимназист Борис Бер, небезызвестный стихотворец. Одетый дамой, он ловко заинтриговал Н. Р. Остафьева, красивого белого старика-помещика. Остафьев нежно целовал ручки мнимой незнакомки и промчался с нею в вальсе. На домашних вечерах у дяди Ильи и у нас Коля всегда садился за рояль. Он хорошо играл и даже сочинил польку. Лето 1893 г. мы прожили у бабушки Лизаветы Александровны в Щербинке. В маленьких комнатах мерцают лампадки, пахнет ладаном. Иконы, фамильные портреты Лихутиных и Садовских. Бабушка Марья Александровна помещалась наверху в отдельной комнате. У нее гостила ее ровесница, худенькая старушка, помещица Арзамасского уезда. Приезжала еще старушка Прасковья Ивановна Дивавина, воспитанница графа Николая Ильича Толстого, и как я подозреваю, его дочь. Единственного сына Прасковьи Ивановны убили нечаянно в дружеской попойке, убийца выплачивал старушке ежемесячно три рубля. Она вспоминала детские игры в Ясной Поляне с Левушкой Толстым и выход в свет «Ледяного дома». Это была любимая книга Прасковьи Ивановны; она мне советовала читать ее. На молебнах в соборе по царским дням видал я губернатора, героя «Весты», эlegantного Н. М. Баранова. Весь в орденах, при ленте, сухой и стройный, с голым продолговатым черепом, он стоял впереди отдельно и первый подходил к кресту. В январе 1894 г. в Нижний назначен был новый полицеймейстер Сементовский-Курилла, в просторечии Курила. Это был молодой красавец восточного типа, двоюродный брат по матери моего приятеля Алфераки. Курила прежде служил в гвардейских кирасирах. У нас он ретиво принялся за дело. Торговцам из евреев тотчас приказано было полностью прописать на вывесках имена, отчества и фамилии. По ночам полицеймейстер, переодевшись жуликом, отправлялся в притоны, накрывал и ловил воров. «Ну уж и Курила, накурил он у нас делов», — говорил один мастеровой другому. «Волгарь» и «Нижегородский листок» то и дело печатали энергичные приказы Курилы по полиции. В институте кончал курс Евгений Парадизов, рослый, румяный юноша. Он ухаживал за одной актрисой и хотел попасть к ней на бенефис. Но пьеса оказывалась неудобной для учащихся, и Аллендорф не пустил влюбленного в театр. Парадизов придумал остроумный выход. Оделся в штатское, наклеил 131 усы и явился в ложу. Но в конце второго действия один ус отпал, и Парадизов принужден был бежать. Это не скрылось от орлиного взора Курилы, и он подстерег беглеца в дверях. — «Как ваша фамилия?» — «Петров». — «Как?» — «Иванов». — «Как?». — Парадизов смутился и был арестован. Вероятно, Курила принял его за политического преступника, которые в те времена встречались реже белого ворона. Делу, однако, не дали ходу. Вступился Баранов, и виновный, отсидев несколько воскресений в карцере, благополучно окончил курс. На масленице Курила явился в институт на музыкальный вечер. Высокий, с черными усами на длинном бледном лице, в ослепительных перчатках, он долго ходил с Гаврилой Гавриловичем по залу, с живостью объясняя что-то державшему палец на губе директору. Речь, без сомнения, шла о Парадизове. Новый полицеймейстер году не пробыл в Нижнем. Выжил его Баранов, не любивший людей самостоятельных. С губернатором у Курилы доходило до крупных разговоров. «Бог меня спас, что я не дал в морду Баранову!» — воскликнул однажды Курила в гостях у Алфераки. Его сменил князь Волконский, аристократ и богач, без жалованья служивший из любви к делу в полиции. Он тоже недолго был у нас. Для полицейского стажа Волконскому пришлось служить в Петербурге околоточным. Бывало, князь дежурит на

перекрестке, а карета дожидается за углом. С Парадизовым и будущими моими зятьями Богодуровым и Скворцовым в том же году окончил курс Хрисонопуло, черный плечистый грек. Он выступил через год в сборнике «Русские символисты», не помню под каким именем, знаю только, что известная пародия Владимира Соловьева «Над зеленым холмом» написана на его стихи. Студентом Хрисонопуло спился и быстро сгорел от спирта. Доктор сказал, что он умрет, как только выпьет какой-нибудь жидкости. Тогда Хрисонопуло потребовал огромный деревянный ковш пенистого холодного пива, выпил его, сладко вздохнул и умер. Начав собирать книги, я постепенно освоился с лавочками нижегородских букинистов. Старейший из них, сгорбленный и дряхлый библиограф Весницкий ютился на Ошарской улице близ Черного пруда. Среди нагроможденных горами книг, в холодном подвале, тлела железная печка, грязная кровать в углу покрыта рваным тулупом. Питался Весницкий чаем с булкой. Он торговал учебниками и этим жил, хорошие же и редкие книги прятал или заламывал несуразные цены. Если покупатель все-таки соглашался взять книгу, старик еще набавлял и начинал ругаться. Меня Весницкий полюбил, узнав о страсти моей к поэтам XVIII века. Когда я принес ему показать редкое издание Хераскова, он сказал: «Ну, сударь, за такие ваши качества я вам достану настоящего Державина, а может быть и Ломоносова». Весенним вечером, стоя со мной в дверях своего подвала, Весницкий шепотом, как страшную тайну, рассказал мне историю убийства императора Павла. Тогда я не поверил старику и счел рассказ за легенду. Помню одну подробность со слов Весницкого: часовой у императорской спальни заколот был стеклянным кинжалом. В мае 1894 г. отец поехал ревизовать в Казанской губернии Каптарский лесопильный завод и взял меня с собой. Перед этим я получил от него в подарок маленькую пистонную одностволку. Ружьецо было не сильно, но очень метко; заячьей дробью второго номера в заряд входило всего шесть штук. Через год я приобрел ружье покрупнее, с дамасским стволом. Приторговывал я и старинную греческую одностволку с надписью на стволе «Колокотрони» и античным профилем на скобе, но не сошелся с продавцом в цене. Ружьем центрального боя обзавелся я только в шестом классе, когда отец подарил мне тульскую берданку, переделанную на дробовик. 13 мая выехали на кашинском пароходе «Надежда». На пароходе я ехал впервые в жизни, и путешествие меня очень занимало. В третьем классе везли украинских переселенцев на Амур. Между ними я видел усатого старика с казацким лицом и в свитке. За Чебоксарами мы спустились с парохода в ожидавшую нас лодку. Плыли мимо паркетного завода, где работали чуваши в белых балахонах. А вот и Каптарка: высокий дом со шпилем, поселок, лавка. По лесным полянам бегут ручьи. Было около часу дня. Навстречу выбежал, торопливо снимая шапку, загорелый чернобородый мастерской Яков, охотник и рыболов. Позавтракав, мы отправились в дом машиниста-немца; здесь приготовили нам комнату. Кругом невозмутимая тишина. Зеленели лесные береговые горы, щелкая, пересвистывались соловьи. Охотиться мы поехали через день, в лодке, на левый берег Волги. С нами были машинист и Яков. Переправившись, пошли мы с Яковым вдвоем вдоль маленькой лесной речки. Я увидел у воды кулика и выстрелил. Кулик, взмахнув крыльями, упал. Яков бросился и принес мне мою первую дичь. «С полем, барин!» Кулик еще трепетал. Огромные стаи уток то и дело вздымались и проносились над нами. «Отчего ты, Яков, не стреляешь?» — «Где тут, барин, стрелять, ружье не хватит. Оно только кажется, что близко». Яков присел за куст, я притаился подле. Приложив ладонь к губам, он крикнул по-утиному раз, другой. С ответным криком к нам мчалось несколько селезней. У переднего самца грудь на солнце отливала зеленоватым золотом. Яков выстрелил, и селезень, перевернувшись, упал как камень. Весь день провел я в блаженном забытии. Какое счастье быть охотником! Весенние благоухающие луга, кряканье и свист утиных крыльев, кайма голубого леса, высоко парящие в небе ястребы. Вижу, как сейчас, на горизонте три высокие деревья. Куда бы мы ни зашли, обернешься, а они тут как тут. Кажется, я бы и теперь узнал их. За год перед тем отец и дяди поделили дедовское наследство. Старая толубеевская усадьба с домом и садом, по жребию, досталась дяде Илье. Отцу пришлось строиться на ровном месте, где одни галки бродили на голой пашне. В июне здесь стоял уже дом и зеленели посадки. Отец развел фруктовый сад на четырех десятинах, посадил сосновую и березовую рощу, провел липовые аллеи. Каждое лето с тех пор мы живали в Щербинке. Вспоминаются мне летние вечера в лесу. Я лежу на склоне оврага у берега Оки, сверкающей издали осколком зеркала. На луговой стороне напротив белеет колокольня села Карповки, и видны стоги, похожие на ряд точек. Надо мной кружится пара

ястребов, я люблюсь их величавым полетом. Все нежнее журчанье горлинок. Прозвенел козодой. Стайка ворон летит ночевать в лесу и рассаживается на старом сухом дереве. Из оврага неровными взмахами подымается сова. Егерем моим и спутником на охоте был Ванька Киселев, мой ровесник, сын хозяйственного мужика. Старик огорчался сыновним легкомыслием. Целыми днями мы с Ванькой бродили в лесу и в лугах, купались, карабкались по горным береговым

обрывам. 85-летний садовник Гаврила, ровесник Гоголя и папы Льва XIII, родился в 1809 г. Он еще мог пахать и выпивал по праздникам. Барин когда-то женил Гаврилу на дворовой девке; их первенец на самом деле был сыном барина. Гаврила был тщедушный старичок с жидкой седой бородкой. Я записал его рассказы. «В Жигулевских лесах водились разбойники, что и с нечистым знались. Бежит, это, судно по Волге, вдруг остановка. На палубе явится железная 133 кружка с замком, а сверху, значит, пробой. Ну, коли положат в нее целковых тридцать, опять побежит. А то постелют кошму, сядут на нее и плывут по Волге куда надо. Был у них и ковер-самолет, человек по шести носил. Один разбойник назывался Стенька Разин. И полюбил он одну девку. А товарищи его с ней вместе утопили. На Волге есть Стенькин бугор: весь изрытый, слышно, здесь Стенька свои богатства зарывал. Находили люди там деньги, бывало, точно, а бугор Стенькин и посейчас цел стоит». «Служил я у Блинова, годов пятьдесят, чай, будет. Раз наш самарский приказчик получил деньги с почты и поехал в Нижний. Под Симбирским и напали на них разбойники вшестером. А всего народу ехало человек девяносто. Приказчик сидел у себя в казенке, а народ в мурье. Вот двое разбойников встали у люка, чтобы народ не пускать, а четверо шасть в казенку. Только приказчик-то догадался: взял лом и притаился за дверью. Один сунулся — приказчик его ломом по башке. Убил и опять ждет. Воры сверху кричат: „Что ты как долго? Вздуй огонь“. А тот не живой: молчит. Полез другой, за ним третий — приказчик и их убил. Только четвертого неладно ударил: по коленкам, он и заголосил. Сторожевые испугались, хотели бежать, а приказчик за ними, убил и их. Потом всех шестерых положили в лодку и пустили на волю Божию. В городах нигде не заявляли, только сказали хозяину. Тот говорит, смотри, узнают. „Ну, что народу болтать?“ Потом вдруг требуют приказчика к губернатору. Губернатором был тогда Бутурлин, злой такой. — „Как ты смел не донести, что шесть человек убил?“ — „Да ведь они разбойники“. — „Мало ли что, да и как это вы, девяносто человек, шестерых не перевязали?“ И посадил приказчика в острог. Хозяин в Сенат. Сенаторы дело разобрали, велели приказчика выпустить и дать ему сто рублей». «Помню, как царь Николай Павлович в Нижний приезжал. Был я тогда еще молодой и служил в мучном ряду. Как приехал царь-от, давка началась, страсть. Пробились мы вперед и стали у крепостной стены. Сначала прошел полицмейстер, потом губернатор, а уж за ними сам царь. Из себя был такой смуглый, красивый. Стал проходить мимо нас, а мы, знаешь, в муке, вот он и попачкался немного. Мы испугались. Губернатор, это, к нему подбежал и платочком начал его обмахивать. „Ничего, ничего, братец, ведь это хлеб“. Это царь-то ему сказал и пошел на крепостную стену по тропочке. Потом, как стали кричать ура, он уши зажал и все говорил: „Потише, потише“». «Первый пароход построили в 1845 г. Он назывался „Самсон“. Потом были еще „Геркулес“ и „Волга“. Я тогда служил у Блинова и помню кричат нам: „Пароход идет!“ — „Какой?“ — „Колесами ходит по воде“. Выбежали мы, глядим: пароход к пристани подъезжает. Остановился, оборот сделал. Мы было бросились смотреть, как эти колеса действуют, ан никого не пускают. — „Что же он делать будет?“ — „Возы возить“. Да, вот как тогда дивовались, а теперь какой-нибудь парходишка бежит, пищит, никто и не смотрит; попримелькались, значит». Очень хотелось мне застрелить ворона, мою любимую птицу. Но осторожный вешун ни разу не подпустил меня на выстрел. В июльские душные вечера в лесу творились птичьи мистерии. В румянном море зари мелькали крестики галок, слышалось слабое карканье, точно вздохи. И вдруг все стихало; лишь ворон, как черный жрец, медленно произносил суровые заклинания. Я снял с гнезда молодого кобчика, и он жил у меня в беседке. Выкормил я и двух коричневых ястребов, взятых птенцами из-под убитой матки. Кроме Щербинки и Курилова у нас было лесное имение при деревне Ройке, верстах в двадцати от Нижнего. Туда мы езжали по воскресеньям удить, 134 охотиться и купаться. Луга сдавали, в лесу вели правильное хозяйство. В Ройке много комаров, с лугов от речки Кудьмы тянет болотной сыростью. Губернским инженером в Нижнем был архитектор Иванов, молодой, жизнерадостный блондин. Он строил здания для всероссийской выставки. 9 марта 1895 г. я видел Иванова, он ехал на извозчике, был весел и улыбался. На

другой день, в именины матери, мы за пирогом узнали, что Иванов только что застрелился. Утром одно здание на выставке рухнуло и хотя беду еще можно было поправить, самолюбивый строитель не выдержал. Съездив на место происшествия, он воротился, заперся в кабинете, выпил вина и выстрелил себе в висок. «Погорячился», — заметил дядя Илья. Я не ходил смотреть мертвого Иванова, но видел церемонию его выноса. Было скучное мартовское утро. По случаю воскресенья и потому, что на отпевании присутствовал губернатор, очень любивший покойного, народ толпился у Тихоновской церкви. Толстый рыжий околоточный весело осаживал публику, с прибаутками а la Фальстаф. Толпа сочувственно гоготала. «А ведь он уж зарядился, братцы, ей-Богу». — «Выпил, известно: таковский!» Ворон каркал на церковном кресте. Наконец, гроб вынесли и поставили на катафалк. Толпа повалила за колесницей, следом полетел ворон. Всю эту зиму я бредил деревней, жил воспоминаниями лета, описывал их в стихах и в прозе и создал себе фантастически-идеальный волшебный мир. Бывало, весной на откосе услышу крик ястреба, увижу стайку гусей над Волгой, и сердце дрогнет. Деревья в городском саду вдруг напомнят лесной обрыв, овраги, сухой дуб и закат: я опять волнуюсь. Но когда после экзаменов я примчался в деревню, мой мир рассыпался прахом. Все было так же, даже лучше прошлогоднего: отличная погода, новое ружье, но сам я был уже не тот. Ежегодно 20 июля в Щербинке справлялись именины дяди Ильи. В этом году приехал один доктор, товарищ дяди, кутила и донжуан. Он привез своего старшего сына, взрослого реалиста. Юноша быстро напился и все толковал о кавалерии, называя себя графом Нарским. Обрато отец и сын возвращались с Колей. Обоих сильно тошнило. «Эх, брат Женька, ничего из тебя не выйдет, разве лошадей гонять». — «Я, папа, хочу в драгуны». 14 января 1896 г. бабушка Марья Александровна скончалась от нашей семейной болезни, рака. Я видел ее через час после кончины: она походила на «Пиковую даму», и только в гробу, перед отпеванием, вернулись к ней прежние черты доброй, благообразной бабушки. Отпевали Марью Александровну у Тихона три священника. Приехала бабушка Катерина Александровна Пальмова, средняя из сестер Лихутиных. По обычаю, она и бабушка Лизавета Александровна жалобно взвыли, причитая над покойницей. Дядя устроил поминальный обед с блинами и кутьей. Летом открылась всероссийская выставка. Я был на ней всего раза три. Понравились мне Азиатский павильон и врубелевские панно. Царскую чету я видел в то лето дважды. Перед прибытием ее (17 июля) весь Нижний базар, Зеленский съезд и Благовещенскую площадь покрыли волны народа. Загудели колокола. Раскаты «ура» все ближе. Вверх по Зеленскому съезду ехал в пролетке эффектный Баранов в полной парадной форме, похожий на исхудалого ястреба, в густых эполетах. Он оборачивался назад. За ним коляска, парой вороных с дышлом. Государь был в сером плаще и фуражке с красным околышем, государыня в белом платье. Следом в разнообразных экипажах тянулась свита. Кто-то из великих князей проехал на русской тройке в блестящей упряжи. 18 июля я с родителями стоял у Азиатского павильона. Проходили 135 вельможи и генералы. Вот министр путей сообщения князь Хилков с седой американской бородкой, без усов. Товарищ отца по Лесному институту В. И. Ковалевский; отец представил ему меня. Какой-то генерал показывал другому рисунок Софийского купола в своей записной книжке: должно быть, недавно вернулся из Константинополя. Один отставной нижегородский чиновник явился в мундире времен Александра II и в кепи. Неподалеку стоял смуглый высокий Витте, хозяин и вдохновитель выставки. В вицмундирном фраке над орденской лентой, в фуражке, он поглядывал исподлобья. Опять знакомая коляска с лейб-казаком на козлах. Сбросив плащ, подхваченный тотчас десятком рук, Николай II в одном кителе, об руку с императрицей, взошел на крыльцо павильона, в двух шагах от меня. Казачий оркестр грянул «Славься». Пройдя в павильон, император остановился у крайней витрины слева, разглаживая привычным движением усы. Тут его скрыла от глаз моих густая толпа придворных. Помню мощную спину великого князя Алексея Александровича в белом морском кителе, бакенбарды Горемыкина, пышные шлейфы дам. На Оке я любил купаться с лодки на середине реки. Иногда сомы утаскивали за ногу неосторожных пловцов. Один купальщик, бросившись с моста под Нижним, попал на якорь и распорол себе бок; другой едва не утонул, вздумав проплыть под плотами. Как ни подымет голову, все стукнется о бревно; уж задыхаясь, полумертвый, случайно очутился он между двух плотов. Я пробовал переплывать Оку в сопровождении лодки: необъяснимая боязнь владела мной при купанье. Так же боюсь я подыматься на высоту, не люблю гор, башен и чердаков. Наш лес Осинки выходит на Оку

отвесным обрывом; над ним гнездились два ворона. Внизу с шумом бежит холодный Гремячий ключ, падая в брызгах на мшистую деревянную колоду. Покрикивают ястреба. После купанья я собирал землянику; в дуплах искал дикий мед. Любил отдыхать под старым ветвистым дубом; здесь ястреб щипал добычу; валялись остовы чаек и рыбы кости. На ярмарке ежегодно, в старом театре Н. Н. Фигнера, пела оперная труппа. Впервые попал я в оперу 29 июля 1894 г. Шел

«Фауст» при участии Фигнера. Привыкнув в деревне ложиться рано и утомленный дорогой, я еле дослушал арию Зибеля (с тех пор мое любимое место в «Фаусте») и весь конец оперы проспал. Порой, очнувшись, я тарашил глаза на сцену, видел то Мефистофеля, то Маргариту в темнице, различал пение и музыку и опять, побежденный сном, склонялся на плечо матери. Года через три я уже один свободно посещал ярмарку. Из певцов меня привлекал Л. Г. Яковлев; с ним вскоре я познакомился. Яковлев пел Онегина в бороде, но восхитительный голос и тонкая игра делали эту вольность незаметной. Фигнера я слышал еще один раз в «Дубровском». Сильное впечатление оставила во мне игра К. Т. Серебрякова, давшего в «Онегине» художественный образ старого генерала. В роли Троекурова Яковлев искусно замазывал бороду и делался ниже ростом. Его костюмы Валентина, Эскамильо, Риголетто были всегда исторически точны и сшиты великолепно. После «Дубровского» я зашел к нему в уборную. Яковлев, разгримированный, ужинал. «Троекуров утоляет свой аппетит». Иногда за кулисами я встречал его дочь-подростка с красивыми, как у отца, играющими глазами. Она потом скоропостижно умерла, и Яковлев после ее кончины, выйдя петь Демона, не мог кончить партии от нервного спазма в горле. В ярмарочном цирке директор Аким Никитин, во фраке, с медалями, выводил дрессированных жеребцов. Выбегал рыжий клоун Ричард Рибо. Дурова 136 я не помню, хотя он часто появлялся в Нижнем и в холерный год разъезжал по ярмарке на свинье, для ободрения публики. Об этом просил знаменитого клоуна сам Баранов. В июле 1894 г. встретил я на ярмарочном плашкоутном мосту троих студентов под конвоем городских. После молебна с водосвятием на ярмарке под Главным домом они выкупали в святой воде собаку, и губернатор приказал их за это арестовать. В 1897 г. Баранов получил назначение в Сенат, и к нам прислали губернатором П. Ф. Унтербергера. На выезде из Нижнего, близ Петропавловского кладбища, находится анатомическая камера. Раз летом, возвращаясь пешком в деревню, увидел я кучку зрителей у забора. Заглянул в щель и я. На подмостках лежал утопленник со вздутым животом, с ногами, объединенными раками. Сонный фельдшер лениво вскрывал череп. Пила скрипела. На ярмарку привозили пряники из Вязьмы, Тулы и Ярославля, с инбирем, вареньем и сладкими начинками, ореховые, миндальные, малиновые, фисташковые. Из Твери снежно-белые, на мяте, в виде рыб, львов и коней; из Калуги — «тесто». Продавалась белая кос-халва с орехами, вязкая и душистая, нежный персидский рахат-лукум и азиатские фрукты. В селе Городце пекли классические городецкие пряники на меду: плоские желтоватые треугольники и квадраты с оттиснутыми драконами, орлами, цветками, подлинные «печатные пряники», крепкие, и крутые, отдававшие слегка воском. По Нижнему бродило много шарманщиков. Игались итальянские арии и неизбежный камаринский. Зимой 1897 г. два шарманщика зашли на удельный двор. Один вертел ручку ящика, другой лихо бил в бубен и свистал как соловей. Это был веселый крепкий парень в щегольском полушубке. Весной они играли опять, испитые, угрюмые, в лохмотьях. Парень кое-как просвистал камаринского, протянул к моему окну рваный картуз с жалкой умоляющей улыбкой. Он еле стоял от слабости. Заходил к нам на двор и классический Петрушка. Из-за ширм, под звуки шарманки, выскакивали поочередно невеста, солдат, аптекарь и черт. «Дети капитана Гранта», трескучая феерия с кораблекрушением, индейцами и пальбой, была первой пьесой, виденной мной в старом городском театре 19 января 1893 г. До осени 1897 г. я уже побывал на 27 спектаклях. Из них мне памятливы: «Маскарад», «Горе от ума», «Мадам Сан-Жен», «Мария Стюарт», «Татьяна Репина», «Скупой», «Женитьба», «Царская невеста», «Лес», «Смерть Иоанна Грозного», «Трильби», «Орлеанская дева» и «Каширская старина». Из исполнителей выделялись: представительная Соколовская, кокетливая, с длинным профилем Деборн, неистощимо-веселая крошка Славатинская, величавая с звучным голосом Журавлева, красавец римского типа Эльский, изящный Агарев, плечистый, полный Скуратов, чернобровый комик Демюр и Соболец-Самарин, умный и талантливый антрепренер. Старый театр освещался масляными лампами; перед началом спектакля их заправляли театральные ламповщики, входившие в состав труппы. Капельдинеры в черных сюртуках, с крошечной

серебряной лирой в петличке, держались с достоинством. У дирекции было в обычае рассылать почетным лицам на дом афиши на батистовой бумаге, надушенной пачули. Иногда прилагались визитные карточки актеров с покорной просьбой почтить их бенефис. Уходя утром в институт, я часто встречал на ручке парадной двери благоухающую афишу. 14 сентября 1897 г. для открытия сезона поставили «Ревизора». Когда на сцену вышел красавец Далматов в

вицмундирчике, с серым цилиндром, сверкая ослепительными зубами, меня сразу захватила его игра. 137 Вполне оценить Далматова я, по молодости, тогда не мог, и лучшие фатовские роли его для меня во многом пропали. Нравился он мне в ролях моего любимого героического репертуара: в Гамлете, Чацком, Эгмонте, Фердинанде, Иоанне Грозном. Страсть к Далматову и театру делил со мной мой одноклассник и приятель Мстислав Цявловский. Мы решили познакомиться с Далматовым. 10 ноября вечером явились мы в Почтовую гостиницу близ Черного пруда, где жил Далматов. «Скажите, что пришли институтцы». Человек доложил. «Пожалуйста». За перегородкой 8-го номера слышалось плесканье: хозяин умывался. «Сию минуту. Садитесь, пожалуйста». Цявловский дернул меня за рукав, мы замерли от восторга. Вышел Далматов в черепаховом пенсне, в коричневой паре и с сигарой. Мы попросили мест на его завтрашний бенефис: шла его пьеса «Облава». Длинное бронзовое лицо Далматова оживилось. Он обещал. Затем, достав рукопись: «Посмотрите, что сделала проклятая цензура с моей пьесой». Тетрадь была перечеркнута красным карандашом. — «Все неузнаваемо. Даже название „Милостивый государь“ пришлось изменить». Он рассказал, что право ставить «Смерть Иоанна Грозного» принадлежит ему одному, что в прошлом году Собольщиков-Самарин насилу выхлопотал это право через Баранова и что «Гамлет» переведен Гнедичем под его непосредственным руководством. «Публика у нас не доросла, вот что плохо. Один реалист, другой классик, третий романтик, четвертый декадент, пятый черт знает что. Оттого и на пьесы смотрят разное». При личных встречах всегда поражала меня в Далматове смесь легкомыслия и тщеславия. Черта эта объясняется публичностью актерского ремесла, вечным присутствием на глазах у чужих и чуждых людей. Я благоговейно записывал все его слова, и многое теперь вызывает во мне улыбку. Как человек Далматов был покладист и добродушен. Мы с Цявловским часто мешали ему и, конечно, надоедали: однако он ни разу не изменил своего сдержанно-ласкового обращения. Я слышал потом, что многим он помогал советом и деньгами. Актеры его любили. Он делился с товарищами гардеробом и тайнами грима. Даже дежурный околоточный в театре, являясь к Далматову в уборную, широкой рукой брал со стола у него сигарки. Далматов восхвалял «золотую середину» и советовал мне стараться быть «как все». Это тоже понятно в устах актера, желающего иметь успех. Добросовестный художник, Далматов строго относился к делу, изучал Гервинуса и Лессинга, но и зорко считался с мнением провинциальных зрителей. Рецензии его раздражали как ребенка. «Это все прохвосты пишут, за то их и бьют», — объяснял он нам неуспех «Облавы». Между тем, пьеса была из рук вон плоха: банальна, скучна, наивна. Странно, что в драме актера не было совсем сценичности. Сам он был не столько умен, сколько остроумен. Женского творчества Далматов не признавал. Он уверял, что у женщин нет полета, что Бичер-Стоу и Жорж Занд были только «средними мужчинами». Внешнее отношение к людям и к жизни постоянно сказывалось в Далматове. Он не был глубок. Знал немало замечательных людей, но ничего не умел рассказать о них, кроме пустяков: что Тургенев ухаживал за Савиной, что Вейнберг очень остроумен. Слабостью его были афоризмы. «Актер представитель от всей литературы»; «Если бы не было апостолов, не было бы и Христа» и т. п. Пушкина на сцене изображал он жгучим брюнетом, ссылаясь на свидетельство старшей дочери поэта, которая, разумеется, никак не могла помнить своего отца. Сообщил он мне также и то, что учитель фехтования у него был общий с государем. 138 Несомненно, Далматов был близок (в хорошем смысле) Хлестаковым и Телятевым: вот отчего подобные характеры так у него удавались. На первой неделе поста я распрощался с Далматовым. Он сделал мне визит и подарил две своих карточки, в ролях Отлетаева и Чембарского. Прощаясь, он, по обыкновению, поцеловал и перекрестил меня. В сезон 1897—98 гг. я сорок раз был в театре. Это, конечно, повредило моим школьным делам. Пришлось расстаться с институтом и перейти в гимназию. Часть четвертая Гимназия (1898—1902) — Нижегородская гимназия. — Деревенские события. — — Поездка в Ардатов и Личадеево. — Балы. — Кавалерия. — — Великий князь Константин Константинович. — — Нижегородские оригиналы. — Выпускной экзамен. — Из института я

вышел с четверкой поведения. Это почти равнялось волчьему билету и в Нижегородскую гимназию меня приняли только потому, что отец был дружен с директором. Участь мою через год разделили Цявловский, Кожебаткин и еще несколько человек, далеко не столь счастливых. Г. Г. Шапошников мог теперь, не без основания, говорить, что институт «очищен от дурных элементов». Он очень неприятно был удивлен, встретив меня на Откосе в гимназической форме.

В сущности Г. Г., конечно, был прав. Никакого неприязненного чувства ни к нему, ни к институту во мне нет, и я сохраняю об этой школе самые лучшие воспоминания. В гимназии я встретил новую обстановку. Директор Н. Я. Самойлович, сын малороссийского священника, серьезный, с бычьим взглядом, резкий в минуты гнева, умел быть и ласковым и сердечным. Я многим ему обязан. Инспектор Холодковский, мелкий по внешности и характеру, требовал от учеников благовоспитанности и соблюдения правил, но авторитета не имел. Благодарно вспоминаю Ивана Ивановича Шенрока, классного наставника и учителя математики. Тонкий, с рыжей, по пояс, бородой, в очках на остром носу, Шенрок любил пускать в классе крылатые словечки: «Eo ipso!»*; «Законность и порядок!»; «Э, милый мой!»; «*Conditio sine qua non!*»** Если урок приходился после завтрака, интонация повышалась. Знали у него мало. К доске становился первый ученик и всем подсказывал. В отметках Иван Иванович бывал снисходителен. Раз только, в седьмом классе, он поставил мне единицу, когда по тригонометрии возвел я дугу в квадрат. Из учителей древних языков выделялся чех Ржига, умный и образованный полиглот. Словесник Егор Иванович Бережков, горячий поклонник Пушкина, знаток языка и эстетик, в оценке знаний выказывал беспристрастие. Над Бережковым смеялись, когда он поставил единицу за сочинение, писанное Короленкой, но ведь единица назначалась не Короленке, а ученику, выдавшему чужое за свое. 28 марта 1899 г. в Коммерческом клубе земляк наш, Боборыкин, читал 139 публичную лекцию «Гоголь в Риме». Местные педагоги и много учеников явились в клуб. Я увидел высокого, лысого господина в темных очках. Нежным бабьим голоском твердил он, вяло и спутанно, об улице и номере дома, где жил Гоголь. Это так, наконец, мне надоело, что я не выдержал и ушел в театр. Я был оставлен в VI классе и уехал в Щербинку в мае, с новым, центрального боя, ружьем. Гуляя в Осинках, заметил я гнездо на высоком дереве; над ним кружилась ворона. Я убил ее и нашел в гнезде пару воронят. Один скоро окошел, другой выжил и стал ручным. Я назвал его Пугачкой. Утром вороненок являлся ко мне, переваливаясь и кивая, забирался на кровать и принимался будить меня. Иногда, во время чтения или за обедом, взлетев, садился на плечо. Незаметно превратился он в молодую ворону. Раз вечером я пил один на балконе чай. Вижу, ворона опустилась на крышу сарая. Приближалась середина лета, и ягоды уже страдали от птиц. Я решил застрелить ворону и повесить в малиннике на страх воробьям и галкам. Выстрелив, я подошел к упавшей окровавленной птице. Она доверчиво затрепыхалась мне навстречу, и я узнал помутившиеся глаза Пугачки. В Духов день утонул в Оке мой егеря Ванька Киселев. Он вернулся из города, выпил, пошел по жаре купаться и умер в воде, вероятно, от удара. Тело нашли. Я ходил смотреть. Двое понятых караулили его на берегу, где мы с Ванькой, бывало, искали куликов и чаек. Я велел открыть рогожу. Утопленник лежал синий, со стеклянными глазами, руки прижаты к коленам, лицо улыбалось. Правый гористый берег Оки, против нас, выдается широким и длинным мысом; с одной стороны его не видно, что делается на другом. Летними вечерами наша семья ходила сюда купаться: родители, дяди и тетки с детьми. Мужчины купались справа, дамы слева. Как-то в июне мы спустились на Оку. Коля не купался и отправился поискать грибов. Мы начали раздеваться. Вдруг слышим женский визг и крики: «Колю бьют!» Бросаемся и видим: дюжий детина тузит нашего студента. Мы кинулись на выручку. Драчун — в лодку, где сидели трое парней; все они старались собрать огромный невод. Мы схватились и не отдали сетей. Это приезжие из города рыболовы закинули невод в наши воды; на замечание Коли, что здесь ловить нельзя, они ответили тумаками. Всего нас было человек восемь. Убедившись, что мы сеть не отдадим, враги отчалили; главный драчун долго еще потом одевался в удалявшейся лодке. Невод нам достался в виде трофея и сгнил в волостном правлении. Летом посетил я с отцом Ардатовский уезд. Ехали мы на перекладных в собственном тарантасе. В Курилове я любовался березовой рощей; две стены белых, как снег, стволов; сияние и прохлада. В Арзамасе много особнячков с полуколоннами, времен Александра I; на выезде запущенный сад знаменитой Салтычихи, ступинская живопись в гостинице и соборе. Мы купили нуги. В Лукоянове попали на вечер к воинскому начальнику и несколько дней блуждали потом

по удельным лесным труппам, питаюсь курами и яичницей. На Ташином заводе навестили батюшку Лепорского, в Глухове — Марусю Ходакову, подругу моего детства. Она была уже замужем. Пожилой муж ее показывал нам редкие ружья; одно с чудесной золотой насечкой, в богатом футляре, с надписью «Soltykoff» принадлежало некогда светлейшему князю Солтыкову. В Личаево дом и сад показались мне маленькими и узкими. Речка почти вся пересохла.

Мальчишки и девчонки, мои знакомые, превратились в дюжих мужиков и баб. Только запах конопли да переливы пастушеских свирелей были все те же. Мой старый дядька Бакулин, совсем белый, увидя меня, заплакал от радости. Приходила и кормилица Катерина из Котовки, с лукошком яиц мне в подарок. 140 На второй день вечером, вернувшись с докукинской мельницы от Налетова, я пошел по селу. День был праздничный. Мне встретился парень Митька и предложил погулять. Звенели песни, ухахла, взвизгивая, гармония. На задах Митька подговорил двух баб и мы на закате скрылись попарно в густую рожь. В то лето был урожай, и рожь стояла «медведем», выше роста человека. Со мной осталась красавица Наталья, стройная тонкая брюнетка лет семнадцати; муж ее тотчас после свадьбы уехал в Сибирь на золотые прииски. Мы сели во ржи при ясном сиянии месяца. Дергал коростель, пахло коноплей. Митька оставил мне бутылку водки, я налил чайную чашку, и Наталья, перекрестясь, выпила мелкими глотками. В Ардатове мы остановились в монастырской гостинице; я поклонился могиле Натальи Павловны. Обошли знакомых. Отсюда выехали на Кулебакский завод; дорогой встретили Я. И. Ходакова и с ним вместе отправились на Выксу, где служил он земским начальником. Яков Иванович давно прожил имение, сильно опустился и постарел. С утра являлся за чаем графинчик и задерживался до завтрака, затем подавалось пиво. За обедом опять графинчик и снова пиво. Тут Яков Иванович вздремывал на кушетке. За чаем коньяк. Вечером хинная или английская горькая, вино и пиво. Компанию Якову Ивановичу составлял выксунский следователь со своим письмоводителем. Как все прогоревшие помещики, старик резко осуждал правительство, ввертывая крепкие словечки, к ужасу старой экономки Анны Ивановны. Она одна оставалась с ним на Выксе; семейство гостило в Глухове. На пятницкой мельнице арендатор Налетов хотел непременно одарить меня. — «Когда поступите на службу, отдадите», — бормотал он, суя мне в карман десятирублевый золотой. — «Как вам не совестно, Александр Иванович?» От отца я потом узнал, что Налетов и ему не раз пытался вернуть «благодарность». Близ пятницкой мельницы водились яркие зимородки; заливные луга по ночам стонали от кликов сов. Осенью третья страсть (после охоты и сцены) овладела мной. Я сделался светским кавалером. Деревенские привычки сообщили мне нелюдимость и дикость нрава. Лето я проводил в лесу, зиму за книгами и в театре. На общество смотрел издали и чуждался дам. Отцу моему это не нравилось: он приказал мне учиться танцевать. Артист императорской Варшавской балетной труппы Андрей Осипович Шоке, пожилой сухощавый поляк с рыжими усами, в 1893 г. поступил танцмейстером в институт и кадетский корпус с чином коллежского регистратора и лет через двадцать вышел в отставку действительным статским советником. Фокс носил дворянскую фуражку и был гонорный шляхтич. В зале у него висели портреты Яна Собесского, Мицкевича и Шопена. Частные уроки давал он по вечерам у себя на дому под звуки рояля, гоня нас, как рысаков на корде. Скоро постиг я тайны венского вальса. Модные новые танцы дались мне совсем легко. Но к мазурке я был неспособен, как к математике. Студентом в Москве я брал уроки у балерины Демюр-Кочетковской и не подвинулся ни на шаг. 23 ноября я выступил на вечере в институте и с той поры не пропускал уже ни одного бала. Бальный мир управляется особыми законами вне времени и пространства. В условности бальных явлений их главная прелесть. Михаил Иванович Шипов, старый холостяк с подстриженными седыми баками, устраивал веселые званые вечера для своей внучатой племянницы О. Г. Чубаровой. Здесь собиралось лучшее общество. В доме товарища председателя 141 Окружного суда Николая Федоровича Ведерникова гостей встречала изящная хозяйка Вера Сергеевна, урожденная Соколова, с дочерью Верочкой, очаровательно-веселой блондинкой. Борис Ведерников, мой сотоварищ по классу, всегда дирижировал на частных вечерах и вел котильон. Трое его братьев, студент, кавалерист и институтец, отличались в танцах. Верочка прекрасно пела. После игры в фанты и почту, раздавался вальс; вечер кончался веселым ужином. Иногда из кабинета выходил сам Николай Федорович, разбитной, добродушный, с длинными бакенбардами, остряк и забавник. Став у рояля, он распевал романсы. 5 февраля 1900 г. состоялся парадный раут в губернском предводителе А. В. Нейгардта.

Собралось много дворян с семействами. Арзамасский предводитель Панютин, элегантный старичок во фраке и мягких ботинках, бывший попечитель института Баженов, высокий, узкий, седой, внук знаменитого архитектора; отставной майор Рудольф в уланском мундире, с тупыми, будто заспанными глазами; доктор Зененко, старый карлик в черепаховых очках; брыластый Аобис, хромой Обтяжнов с насупленными бровями — и пляшущий мазурку в первой паре

хозяйин, моложавый, лысый, с модной бородкой, в изящном фраке, с оживленным смеющимся лицом. Из гимназистов приглашено было всего шестеро; главными кавалерами были, конечно, институтцы и офицеры. Крюшон леденел в огромной кристальной глыбе; в столовой накрыт был великолепный ужин *a la fourchette*. Борис и я усердно кланялись жгучей льдине. В это время отец с директором Н. Я. Самойловичем тоже вздумали прохладиться и пошли в буфет. Вдруг Самойлович попятился и повернулся в зал. Отец удивился. — «Нет, знаете, неловко: там гимназисты, что их смущать?» После святок директор, однако, сделал мне замечание: — «Вы, Садовский, ни одного вечера на праздниках не пропустили. Скорее можно рака заставить играть на цитре, чем вас, при таких условиях, выдержать экзамены». Действительно, в этот сезон я до того заплясался, что подошвы распухли; пришлось делать ванны для ног из борной кислоты. Страсть моя к светским удовольствиям росла. Читавшие «Юность» Толстого, поймут в чем дело. Я бредил костюмами и щегольством и не на шутку расстроился, когда отец не позволил мне подбить белым атласом полы гимназического мундира. Вся наша компания была заражена фатовством. Мы разговаривали о портных, о лошадях, о винах. Борис Ведерников следил даже за дамскими модами. Наконец я начал мечтать о кавалерии и военной службе. Во сне и наяву грезились мне куцые драгунские мундиры, кованые эполеты, шашки, обтянутые голубые рейтузы, звонкие шпоры. Кое-кто из школьников нашего круга поступил в кавалерию. Надобно было для этого кончить шесть классов и определиться в драгунский полк рядовым. Начальство отчисляло юнкера в училище (в Тверь или Елизаветград), где он оставался два года, сохраняя форму полка. Разнообразие мундиров придавало кавалерийским училищам оригинальную пестроту. Один юнкер, едва успев определиться, надел полную форму с револьвером, поясом и лядункой и отправился гулять по Твери. Встречается ему начальник дивизии. — «Вы не по форме одеты». — «Т. е. как это, не по форме?» — «Да что вы, с ума сошли? Давно ли вы служите?» — «Два часа». — «А! Ну так ступайте домой, да будьте осторожнее». В Нижнем кавалеристы на ярмарке являлись в цирк, критиковали лошадей, «цукали» друг друга. Мой старый знакомый, «граф Нарский», тоже очутился в кавалерии. Корнетом он задавал тон: катался по городу в санках с высокими полозьями, на балах выступал туго-завитой, с бальными шпорами в виде чуть заметных крючков. Позже он перешел 142 в жандармы. Кто-то из молодых корнетов расстрелял из револьвера часовой циферблат на Николаевском вокзале. Юный корнет, потомок крымских ханов, явился на дачный вечер в Сокольниках. Стоит он у буфета. Запыхавшийся студент-распорядитель подбегает и кладет ему руку на плечо. — «Голубчик, что ж вы не танцуете, идемте я вас представлю». — «Осторожнее, молодой человек, уберите вашу руку». — «Ах, извините, что я испачкался об ваш погон». Корнет выхватил шашку и убил студента. Доложили государю. Александр III написал на докладе: «Жалею о случившемся, но корнет не мог поступить иначе». Из наших корнетов красивее всех был Смоленский драгун Исакович, высокий брюнет, шурин композитора Скрябина. У тогдашних кавалеристов было в ходу крылатое словечко: «встругать араба», т. е. ловко поддеть кого-нибудь. Из комических фигур мне вспоминаются две. Вольноопределяющийся Чикваидзе, по прозвищу Карает, черномазый с пробором, славился как лихой танцор. Он говорил, что не любит, когда в пирожках слишком сладкий сахар, и однажды в Коммерческом клубе, на балу, долго пытался закурить от электрической лампочки. Недоучившийся московский лицеист Вроблевский, маленький надменный блондин, получив наследство, съездил в Москву, где справил себе полный гардероб по последней парижской моде. Ежедневно брился на Кузнецком у Теодора, завтракал и ужинал в «Эрмитаже». После представления великому князю Сергею Александровичу снялся в дворянском мундире с треуголкой, во весь рост, и выставлен был в витрине у Чеховского. Истратив деньги. Вроблевский вернулся в Нижний и с год прогуливался по Покровке в парижских костюмах, любуясь своим отражением в магазинных стеклах. Наконец, его определили писцом в управу. Туда он привез на ломовом свой письменный стол для занятий, вверая, что за чужим столом работать не может. Стол скоро пришлось увезти обратно:

убранным, но он думал, что не может. Стол скоро пришлось унести обратно.

Вроблевского уволили. Начались поиски богатых невест. Вроблевский ездил на кавказские курорты в фуражке министерства внутренних дел, выдавая себя за чиновника особых поручений и на визитных карточках ставил княжескую корону с пометой: «землевладелец Нижегородской губернии». И Чикваидзе и Вроблевский на балах танцевали с собственными сестрами: никто из посторонних барышень выступить с ними не хотел. Светское общество, однако, мне стало надоедать, и я все чаще забывался за бутылкой. Весенней порой нижегородские обыватели любили ужинать на пассажирских пароходах, стоявших у пристаней. Лакомились ухой из стерлядей и свежей икрой. Я, Алфераки и еще два-три приятеля часто посещали волжские суда, спрашивая коньяку и ужин. Обратно в гору подымались пешком, при луне и звездах. Бодрый стук задержанной паровой машины, свежий ветерок с Волги, огненный коньяк с лимоном, веселая болтовня, остроты, предрассветная переключка птиц. На ярмарке толстая сводня кричала мне умиленно: «Ах, ты, херувим райский! пойдём ко мне: барышню хорошенькую дам!» Школьные дела мои шли плохо. Балы, ухаживанье, театры, попойки, отнимали немало времени. Я уже примирился с мыслью оставить гимназию. Но куда деться? О кавалерии отец слышать не хотел. Он приказал мне брать уроки рисования и готовиться в Школу живописи, ваяния и зодчества. Я отправился к нижегородскому художнику и фотографу А. О. Карелину. Это был длинноволосый бородатый старик, воспитанник Академии художеств. Он учил живописи и знал толк в старинных вещах. Жена его, урожденная Лермонтова. 143 У П. Ю. Лермонтова, деда поэта, было три сына: Юрий, Николай и Петр. Семья Петра вымерла, а Николай имел 18 сыновей. У одного из них, Григория, дочь Ольга вышла за Карелина. Старик давал мне срисовывать кубики и пирамиды, во время занятий возился у себя в мастерской, напевая приятным тенором, разбирая парчу, картины и серебро. Уроки в августе прекратились. На переэкзаменовке я отлично написал греческое extemporale* и был переведен в VII класс. В конце октября 1900 года Нижний посетил великий князь Константин Константинович. Я решил поднести ему свои стихи. Тогда я начинал уже понемногу влюбляться в Фета и знал, что К. Р. носит его благословение. Я передал директору тетрадь с четко переписанными стихотворениями. В заседании педагогического совета Е. И. Бережков прочитал мои стихи и решено было допустить меня к представлению. 29 октября, в воскресенье, утром, директор прислал за мной. Явившись, я получил подробные указания о форме одежды и к часу дня уже был в кремле. Я подходил к губернаторскому дворцу: было тихо. Вдруг от кадетского корпуса загрохотало «ура». Великий князь в коляске с каким-то генералом подъезжал рысью. Кадеты с криками бежали сзади и по бокам, хватались за подножки, лезли на козлы. Великий князь в сером пальто с георгиевской ленточкой вышел, добродушно отмахнулся, зажимая с улыбкой уши, но тотчас был схвачен кадетами на руки и внесен в подъезд. Дождавшись в приемной окончания парадного завтрака, я очутился в малой гостиной. Великий князь стоял, окруженный свитой и местными начальниками отдельных ведомств. Он был в Измайловском сюртуке с погонами и в высоких ботфортах. Могучий рост и общий склад лица отдаленно напоминали императора Николая I, но дедовские черты во внуке частью затушевались, частью перешли меру в развитии. Лоб умалился, нос вырос и занял треть лица, длинный подбородок заострился, уши увеличились, глаза впали. Земские деятели и педагоги, по указанию губернатора, один за другим подносили Константину Константиновичу папки и брошюры. Последним директор подвел меня. Великий князь взял мою голубую с золотом тетрадь и, подмигнув, спросил: «Ну, а хороший классик?» Директор поспешно отвечал: «Желает быть хорошим, Ваше императорское высочество». Увидав посвящение, августейший поэт заметил: — «Теперь мне придется краснеть. Что, вы не родственник актеру Садовскому?» — «Нет, Ваше императорское высочество». Великий князь любезно наклонил голову: — «Благодарю вас». Он подошел к губернаторше, низко присевшей перед ним в своем белом, со шлейфом, платье, пожал ей руку, сделал общий поклон и удалился. Отныне педагоги явно стали щадить меня; поэту сходило с рук многое, чего не простили бы гимназисту. Я понял, что теперь уже кончу курс. В VIII класс меня перевели без экзамена, хотя перед представлением великому князю имел в выводе за четверть четыре двойки и числился последним учеником. 6 января 1901 г. в газете «Волгарь» появилось мое первое печатное стихотворение «Иоанн Грозный». Раза два я читал его с эстрады на гимназических вечерах. В нашей гимназии учился Петров, сын товарища прокурора, испитой и тщедушный малый. Его прозвали Рябиновкой вот за что. Пригласив к себе вечером двух товарищей он тайно

пробыл в конюшечной за час. Принадлеж к себе в коридоре товарищам, он также вместе вытащил из-под кровати бутылку рябиновки и горсть мятных пряников: — «Пейте, братцы, да скорей, пока не пришел отец». Рябиновка ухаживал за выходной актрисой и уговорил меня пойти к ней с визитом. Взяв в лавочке дешевого шоколаду, Рябиновка уложил 144 его в коробку от Кемарского и перевязал цветной ленточкой. Отправились. Актриса жила на окраине, за Ямской, в грязноватой комнате. Не успел Рябиновка поднести ей свои конфеты, как явился еще гость,

жирный, здоровый актер. Не обращая на нас внимания, он присел у стола с газетой. Хозяйка вульгарно жеманилась. Актер, читая, нетерпеливо подрыгивал круглой ляжкой. Кончив юридический факультет, Рябиновка поступил в московскую полицию помощником пристава. Однажды в гостях, проигравшись, он рассердился, спьяну вызвал наряд городских и арестовал хозяев и гостей. К театру я значительно охладел и только в VIII классе начал опять посещать спектакли, восхищаясь тонкой игрой М. М. Петипа, идеального Рюи-Блаза. Моя гимназическая жизнь в последние два года сложилась весьма приятно. Я ничего не делал. Древних авторов готовил по «ключу» и то, когда ждал ответа; из математики после того, как поднес И. И. Шенроку стихи на его юбилей, имел постоянную тройку. Начальство я в грош не ставил. У себя устраивал иногда попойки для товарищей, и многие уходили домой на четвереньках. Классом ниже меня учился некто Быстрицкий, уроженец Коврова, плотный шатен в пенсне. С этим Быстрицким и с Алфераки мы часто пивали коньяк на пароходных пристанях в мае 1900 года, во время экзаменов. Однажды, возвращаясь с парохода ночью, я спьяну разбил окно в директорской квартире, и мы втроем насилу спаслись бегством. Быстрицкий был большой враль; он рассказывал между прочим, будто брат его, инженер, носил золотые часики на носках ботинок и ежедневно брал ванны из лучших парижских духов. Коньяк и ликеры Быстрицкий смачно прихлебывал. Слухи о моих попойках дошли до начальства, и И. И. Шенрок деликатно просил меня их прекратить. Однако кутежи продолжались. Быстрицкий вскоре умер от тифа: он пьяный зимой шел через Волгу и угодил в полынью. Председатель Окружного суда А. М. Ранг, крупный, с бритой верхней губой и громовым голосом олимпиец, был бездетен и жил вдвоем с женой на Большой Печерке в доме городского головы Меморского. Прислуга Рангов была строго дрессирована. — «Ваше превосходительство, ее превосходительство просят ваше превосходительство пожаловать кушать чай». Прокурор С. С. Хрулев, сын севастьяпольского героя, отличался породистой южной красотой. На улицах можно было встретить отставного 90-летнего учителя Мартынова с трясущейся от старости головой и мутным взглядом. Водочный заводчик А. В. Долгов, крашеный старичок, прогуливался в цилиндре на черном парике и с Владимиром на шее. Из трех богачей, братьев Рукавишниковых, средний, огромного роста, пухлый, владелица палатца на Откосе, имел сына Ивана, известного поэта. У старшего, маленького и лысого, как яйцо, тоже был сын Иван, щеголь дурного тона, в отличие от талантливому кузена прозывавшийся просто Ванькой. Будучи избран почетным мировым судьей, старший Рукавишников на свой счет вызолотил все судейские цепи. Младший брат, уродливый горбун-алкоголик, любил юродствовать и ломаться. Раздаривал кому попало золотые часы и свои портреты в богатых рамах. Дяде Илье, лечившему его от пьянства, со слезами целовал руку. Водил дружбу с директором и инспектором гимназии, собирал плохие картины и умер накануне производства в действительные статские советники, завещав свои богатства столетней няньке. Полицеймейстер Яковлев, седой великан со скобелевскими баками, имел изящные маленькие ножки. Помню его торжественные похороны в январе 1902 г. Пристава несли на подушках ордена и бухарскую звезду, шли наряды 145 городских и пожарных; за ними двигался на катафалке красивый, пушисто-седой покойник. В нижегородской полиции был пристав Пуаре, родной брат художника Каран д'Ашаб. Другой пристав, Дебур, заживо отпетый, вылез в церкви из гроба и получил прозвище Оребур. Дряхлого генерала Шелковникова, начальника гарнизона, поочередно сменяли: барон Меллер-Закомельский, герой Ахал-Текинской экспедиции и турецкой войны, георгиевский кавалер, затем известный Церпицкий, лихо принимавший парад 6 мая 1900 г. в память Суворова, и генерал Бертельс, маленький седой толстяк. Раз на молебне в соборе Бертельс оборвал управляющего казенной палатой хромого Нечаева, замещавшего отсутствующего губернатора: — «По закону я первый должен подойти к кресту». Нечаев уступил. Дома генерал перечитал гарнизонный устав и, сознав ошибку, извинился перед Нечаевым. Встретив двух капитанов, Бертельс спросил, кто из них раньше произведен в последний чин и старшему сказал: — «Считайте, что я вам первому попал руку». На параде

последний шаг, и старшему сказал: — «Считайте, что я вам первому подал руку!». На параде весной 1902 г. Бертельс произнес сильную речь в связи с беспорядками в Сормове. «Государство есть семья!» — начал генерал и кончил, обращаясь к солдатам: «Пусть ни у кого не дрогнет рука, когда прикажут кого-нибудь пристрелить или приколоть!» Писец духовной консистории Крестовоздвиженский, брюнет цыганского типа, лысый, когда-то кончил духовную академию с отличием, но из-за несчастной любви бросил карьеру и навеки укрылся в Нижнем. Получая

рублей двадцать в месяц, спал в консистории на связках дел, никогда не умывался и в рот не брал хмельного. Утром, пробудясь, вместо молитвы играл на скрипке духовный мотив, затем плясовую; кончив занятия, шел в городскую библиотеку читать журналы и газеты; вечера проводил в театре, на галерее. По ночам беседовал с приятелем-сапожником о мировых вопросах. Для выпускных семинаристов Крестовоздвиженский писал блестящие сочинения и не брал с них ни копейки. Другой писец Зеленецкий, похожий на Дон Кихота, в длинных сапогах с высокими каблуками, игравший на флейте, бывал иногда у Алфераки, к большому неудовольствию его матери. Француженка родом, она служила некогда гувернанткой в доме И. Я. Остафьевой, урожденной Кононовой, невесты К. Н. Леонтьева, и будучи вдовой действительного статского советника, считала Зеленецкого *mauvais genre**. Зеленецкий имел дядю, архиерея. Дядя был с племянником в ссоре, но, умирая, завещал ему шесть тысяч. Зеленецкий отказался от наследства. Ираида, или (как она себя называла) Зинаида Яковлевна Остафьева описана В. В. Розановым в «Уединенном», в отрывке «Голубая любовь», как важная дама и начальница Мариинского института. Из двух ее дочерей одна и была голубой любовью «рыжего Васьки»: так называли Розанова товарищи. Первым председателем нижегородского суда (1869—1881) был Панов, тот самый, что в 1878 году ссудил деньгами Льва Толстого, обокраденного по пути в Самару. Однажды Панов остался недоволен постановлением суда за время его отсутствия. Один из членов хотел отшутиться: «Конь о четырех ногах и то спотыкается». — «Эх, господа, так конь-то один, а вас ведь здесь целая конюшня!» В другой раз выездная сессия из Ардатова прислала Панову телеграмму: «Празднуем годовщину судебных уставов». Старика разбудили ночью. — «Ишь ведь, мало им что в Ардатове пьянствуют: хотят, чтобы и в Нижнем об этом знали». 146 Министр юстиции граф Пален посетил в Нижнем окружной суд: «У вас на стене пятно». Панов тут же зовет курьера: «Вот видишь, дурак. Говорил я тебе пятно стереть, министр увидит, а ты мне что отвечал? „Станет министр на такие пустяки обращать внимание“». За дерзкую выходку Панов навсегда остался статским советником. Выпускные экзамены в гимназии открылись 1 мая 1902 г. русским сочинением «Поэзия Гоголя как могучий фактор облагорожения нравственной стороны человека». Один я из всего выпуска (34 ученика и 6 экстернов) получил «5». Через день я самостоятельно решил задачу по алгебре, но геометрической не мог решить, тем не менее общий вывод по математике был «три». Устные испытания начались 13 мая экзаменом по Закону Божию в присутствии преосвященного. 17 мая предстоял самый страшный экзамен по математике. Но Иван Иванович Шенрок подложил мне легкий билет. Из арифметики превращение именованных чисел я знал и начал бойко доказывать. Иван Иванович ласково остановил меня. — «Э, милый мой, вы доказали верно и очень хорошо, только не превращение, а раздробление, но это ничего не значит: вы арифметику знаете и я вам поставлю „три“». Из алгебры мне достался куб суммы, из геометрии равенство прямоугольных треугольников. Что было по тригонометрии, не знаю: никогда в жизни не учил этой науки. Дома я с наслаждением сжег все математические тетради и учебники в печке. Из истории выпал билет об Иоанне Грозном и царе Федоре, по греческому языку отрывок из прощания Гектора с Андромахой в шестой песне «Илиады», по латыни задавались общие вопросы; легко сошел и русский экзамен 27 мая. В этот день у М. И. Шилова в саду был парадный вечер по случаю окончания О. Г. Чубаровой курса гимназии. Явилась вся наша компания и подружки юной хозяйки. Я и Борис были в студенческих фуражках и кителях. В саду играл военный оркестр; в последней фигуре котильона кавалеры катали дам по аллеям сада в маленьких шарабанах. Утром 28 мая, сдав последний экзамен по новым языкам, я переоделся снова в китель и вместе с Борисом долго гулял по городу и по Откосу. Вечером мы носились на лихаче. Первое время, пользуясь свободой, пили вино везде, в клубах, ресторанах и на вокзале при всяком удобном и неудобном случае. 29-го у Ведерниковых был званый завтрак с цветами и шампанским. К вечеру у меня собрались Борис и еще трое товарищей. Все мы отправились на пароход. Заморозили шампанского, пили коньяк и белое вино. Приехал брат Бориса, студент, с каким-то своим

шампанского, шили копьяк и белое вино. Приехал брат Бориса, студент, с каким-то своим товарищем, и мы все вместе очутились утром в трактире. Первого июня раздали нам аттестаты зрелости. К выпуску я сделал летний статский костюм и заказал военному портному Рабиновичу форменную одежду. Фуражка прусского образца, по тогдашней моде на голубой подкладке, имела черную ленту наискось для перчаток. У шпаги длинный металлический наконечник, так чтобы ножны не были видны из-под полы. Зимой я построил серую николаевскую шинель с

бобрами и мундир с золотым шитьем. Я и мой одноклассник Мясников получили от Ведерниковых приглашение к ним в Самарскую губернию на Сергиевские минеральные воды. 19 июня мы выехали на кавказ-меркурьевском пароходе «Императрица Екатерина II». Позже из газет я узнал, что с нами на том же пароходе ехал Чехов. В Самаре до поезда мы провели почти сутки. Вечером были в театре на «Гаспароне», первой оперетке, которую мне пришлось увидеть. В антракте познакомились с корнетом из гвардейских кирасир Дурасовым, предок его 147 описан у Аксакова в «Семейной хронике». Ночью, поужинав в Струковском саду, сели на поезд и понеслись по узкоколейной дороге. Я ехал по чугунке впервые в жизни и побаивался крушения. 22 мы были на Серных водах и здесь гостили неделю. Это счастливейшее время моей жизни. Помню вечер над синим спокойным озером, аромат лип, стоны вальса. Тонкий профиль в венце золотых кудрей, ясные взоры и чистый поцелуй. Часть пятая Университет (1902—1907) — Московский университет. — Знакомства и кутежи. — — В Нижнем. — Барон Таубе. — Знакомство с Брюсовым. — — Князь А. П. Щербатов. — «Весы». — Встреча с Бальмонтом. — — Московские типы. — Студент-самоубийца. — Неврастения. — 3 сентября 1902 г. утром я прибыл с Колей в Москву. Стояла прекрасная летняя погода. В первый же день осмотрел я Кремль, дворец и соборы. Зашел в канцелярию историко-филологического факультета и на университетском дворе встретил Цявловского, окончившего Варшавскую гимназию и успевшего обрасти солидной бородой. Он тоже зачислился в филологи. Вечером был с Колей в Малом театре на «Ирининской общине». Поселился я у А. Н. Алелекова, мужа моей крестной. Он служил в Лефортовском военном госпитале врачом и жил у церкви Богоявления в Елоховом проезде за Разгуляем. Коля университета не окончил и занимался в городской управе. Из сослуживцев его помню рыжего бухгалтера, отца одиннадцати человек детей, жившего на 75 р. в месяц. Он постоянно был весел, но кончил самоубийством. Коля снимал комнату у пожилого актера. Мрачный хозяин в поддевке украшал косяки дверей и крышки альбомов своим девизом «Все мы скоты и мерзавцы, умрем ничего не останется». Единственный сын его, мальчик лет девяти, вынес, вероятно, из отцовского афоризма твердый взгляд на жизнь. Я по природе романтик. В университетские стены влекло меня не настоящее, а прошлое. Я чувствовал себя современником Фета и Аполлона Григорьева. В обширной, залитой солнцем, аудитории началась первая лекция. Читал Герье. Мне понравилась строгая наружность и точная речь профессора: все было очень умно и дельно. Но романтизм мой требовал не того. Я ждал восторга и вдохновения; мне нужен был второй Гоголь-Яновский с его «народовержущими вулканами». А с кафедры тянулась ученая сушь об истории Французской революции. Князь С. Н. Трубецкой читал историю древней философии. Я знал, что Трубецкой дружил с Владимиром Соловьевым, умершим у него на руках, но лекции князя от этого не были интереснее. В них постоянно упоминался термин «сущее», надоевший, должно быть, самому лектору до чрезвычайности. Это было заметно по лицу. Русскую литературу читал А. И. Кирпичников, в апреле умерший. В нем мне не нравилась склонность к юмористике. Любил побалагурить с кафедры и знаменитый Ключевский. Безукоризненно читал о Марциале А. А. Грушка, молодой классик. Это был тип европейского ученого, профессор-джентльмен. Университет мне быстро наскучил. Я все реже посещал его. Наш суб-инспектор 148 И. В. Софийский, добродушный старик, ставший со мной на отеческую ногу, прозвал меня за это «Шалды-булды». Раз в булочной Филиппова со мной заговорила старая дама и пригласила к себе. У нее была гимназистка дочь и сын, филолог нашего курса. Здесь я познакомился с двумя подругами хозяйской дочери и был поочередно у каждой. Там я опять встречал новых лиц и получал приглашения. Кажется, я мог бы перезнакомиться так со всей Москвой. Иногда, по утрам, идя на лекции, встречал я у Театральной площади высокого красивого старика в синей поддевке, с брелочками и в русских сапогах. Каблуки у него были круглые, огромные, каких я ни у кого никогда не видел. Старик имел деловой, озабоченный вид. Это был известный «маг и волшебник сцены» М. В. Лентовский. 6 октября состоялось открытие филологического общества. После заседания и разойдясь с Мясниковым и другим шихегородцем

филологического общества. После заседания и речи с Мясниковым и рыжим нижегородцем-филологом (Мясников был юрист) отправились в ресторан «Версаль» на Тверском бульваре. Захмелели мы быстро. К нам пристал какой-то щеголеватый, подержанный француз, и мы все вместе очутились в передней среди толпы студентов. Помню плавающую в тазу рыжую голову мертвецки упившегося филолога и кричащего на швейцаров красного Мясникова. Мы сели в пролетку. Француз полез было на козлы, но студенты его стащили, уверяя, что это сыщик.

Очнувшись поздно ночью на бульваре, я не нашел своих серебряных дедовских часов, подарка бабушки. 10 января 1903 г. был я первый и последний раз на губернаторском рауте в Нижнем. Первый — потому что гимназистом не имел права бывать на раутах, последний — после 1905 года приемы у губернатора прекратились. В парадной зале гостей встречал П. Ф. Унтербергер, могучий усач в казачьем астраханском мундире: от него проходили в гостиную к хромой губернаторше. Здесь были дворяне, купцы, военные, депутаты от города и от земства, чиновники и множество дам. Один купец-мукомол явился в кафтане с медалями на шее и в сапогах. Был и актер Ф. П. Горев, премьер труппы, пожилой красавец, во фраке, с платком в руке, прикрывавшем сведенный палец. Управляющий Удельной конторой А. А. Кузьмин-Караваев, бывший конно-гренадер, участник Турецкой кампании, имел слабость к орденам и знакам отличия и даже дома ходил с Владимиром на шее. На званом вечере у него был камергер К. С. Зыбин с супругой Кармен Михайловной, урожденной Элорз, природной испанкой. В городе ее звали просто Кармен. Она была красива до старости, но по-русски почти не говорила. За ужином Кармен неожиданно оживилась и воскликнула ломаным языком: «Здоровье нашего полицмейстера!» Гости дружно подхватили здравицу. Полицеймейстер барон Таубе, бородатый ротмистр, был, видимо, тронут и после ужина прошелся с Кармен мазурку, лихо прищелкивая шпорами. Никогда так не веселились в Нижнем, как в зиму перед японской войной. В Москве посещал я ресторан «Петергоф», на углу Моховой и Воздвиженки. Ходил туда и рыжий филолог. Скоро мы освоились в «Петергофе». Оркестр итальянцев играл для меня вальс «Сант-Яго». Распорядитель, добродушный поляк, муж черноглазой римлянки с бубном, не отказывал нам в кредите. Езжали мы и в Соболев переулочек. Подыскивая по объявлениям себе комнату, зашел я на квартиру певца Кошица. Мне отпер хозяин, видный блондин, и я тотчас вспомнил, как он выступал у нас в Нижнем на концерте в клубе три года тому назад. Публики почти не было; певец во фраке с орденами спел арию Ленского перед пустой залой. 149 Комната мне не понравилась, и я остался у Алелековых. Дня через два я прочитал в газетах, что Кошиц зарезался кухонным ножом. К экзаменам готовился я небрежно и неохотно. Кн. С. Н. Трубецкой грустно поставил мне тройку с минусом. У фатоватого М. М. Покровского по Цицерону я на вопрос, какая это часть речи, ляпнул, поняв буквально: «существительное!» и с позором получил «два». Вдобавок я заболел жабой. Сидя дома с завязанным горлом, я решил что для карьеры выгоднее перейти в юристы и написал об этом отцу. Через неделю я воротился домой. В Нижнем поселилась кокотка Марья Захаровна, молодая высокая блондинка. К ней хаживали институтцы побогаче: она в одного влюбилась и чуть его не застрелила в припадке ревности. Владелец револьвера, тоже институтец, опасаясь слухов, упросил меня съездить к Марье Захаровне и выручить оружие. Красавица тотчас отдала мне револьвер, и я начал бывать у ней. В мае студент Вадим Успенский, институтец VIII класса Сверчков с товарищем и я ужинали на пароходе. Смуглый Сверчков, похожий на разбойника, пил водку стаканами, а утром предстоял ему латинский экзамен. Потом Успенский поехал к Марье Захаровне, а мы втроем на Малую Покровку, в веселый дом. Уже светало и нас не пустили. Сверчков, ругаясь, разорвал на себе куртку от ярости, топтал фуражку и со слезами поклялся, что, получив наследство, разрушит этот притон. Мы его облили водой и отправили на извозчике. Вернувшись к себе совершенно трезвый, я долго отдыхал в кресле. Утренняя заря постепенно заливала комнату радужными лучами. На другой день приехал из Елатомской гимназии Алфераки, исключенный за неуспешность. Все лето он, я и Мясников кутили на ярмарке; осенью Алфераки зачислен был в пехотный полк рядовым. 2 сентября один гимназист-нижегородец пригласил на холостую вечеринку меня, Бориса Ведерникова, Мясникова, Алфераки и еще одного приятеля. После обильных возлияний, все мы отправились в трактир Ахапкина на Острожной площади. В этот день в Нижнем ночевал министр внутренних дел В. К. Плеве. Он остановился на Варварке, в квартире управляющего государственными имуществами, приходившегося по жене сродни

министру. Беселой гурьбой валили мы ночью по Барварке. Вдруг слышим сзади властный оклик: «Стой!» Кто-то ехал за нами в темноте на резиновых мягких шинах. Товарищи тревожно зашептали: «полицеймейстер!» Но мне уже море было по колена, и я громко послал полицеймейстеру классическое российское троесловие. В один миг нас окружили. Трудно было понять, откуда взялось столько полицейских; среди их серых шинелей черными пятнами мелькали фигуры сыщиков. В коляске действительно сидел полицеймейстер барон Таубе. Мы с

Борисом развязно подскочили к нему: «Барон, неужели вы нас не узнаете?» Таубе засмеялся и уехал, махнув рукой. Нас все-таки переписали. Когда все разошлись, я и Борис решили объясниться с бароном на дому. Городовой у подъезда не пустил нас. Мы долго шумели. Я обругал городского, а Борис крикнул: «Вы больше не служите!» — «Увидим», — мрачно ответил унтер, крутя усы. Тут из-за угла вывернулась пара почтенных приставов с орденами на шее: «Господа, вы опять. Ну, как вам не стыдно? Получаете высшее образование... Извозчик!» Нас усадили на лихача и вежливо пожелали спокойной ночи. Летом 1903 года впервые попалась мне в руки так называемая «декадентская» литература: альманахи «Скорпиона» и «Грифа», журналы «Мир искусства», «Новый путь». Я сделался ярким и убежденным «декадентом», не вполне понимая, что это значит и смешивая в одну кучу Мережковского и Брюсова, Кречетова и Блока. 150 Факелы русского символизма в то время трепетали ярким и вдохновенным пламенем. Не знаю почему, из представителей русского «декадентства» мне больше всех нравился Валерий Брюсов. Вероятно, меня привлекала к нему чеканная четкость его тогдашнего облика. В статьях и рецензиях Брюсов являлся строгим теоретиком и убежденным защитником нового искусства. Все свои выводы он подтверждал на деле в искусно скомпонованных стихотворениях. Осенью отправил я Брюсову тетрадь стихов и через две недели пошел к нему. Цветной бульвар. Обычная пестрота и грязь этого уголка Москвы. Желтые, облетевшие листья на бульваре, хриплые крики ворон. От площади справа по бульвару, минуя три или четыре квартала, виднеются серые ворота с надписью: «Дом Брюсовых». Я звоню у парадного входа. Меня встречает высокий, суровый старик — отец поэта. Он указывает мне отдельный флигель в глубине двора. Подымаюсь по широкой, холодной лестнице во второй этаж. У двери визитная карточка: «Валерий Брюсов». Квартира Брюсова очень невелика. Рядом с передней кабинет хозяина. Здесь у окна письменный стол с чернильницей стиля модерн. По стенам книжные полки и портрет Тютчева. Валерий Яковлевич любезно встречает меня и просит садиться. Брюсову еще тогда не было полных тридцати лет. Стройный, гибкий, как на пружинах, в черном сюртуке, он очень походил на свою фотографию в каталоге «Скорпиона», приложенном к первой книжке «Весов». Врубелевский портрет, по-моему, чрезмерно стилизован: в выражении лица и особенно глаз есть нечто жестокое, даже злое. На самом деле Брюсов отличался изысканной мягкостью в обращении. После обычных вопросов, откуда я родом и на каком факультете, Брюсов сказал: «Ваши стихи меня не увлекли. Это шаблонные стихи, каких много. В них нет ничего оригинального, своего. Стихи Тютчева, например, вы узнаете сразу, Андрея Белого — тоже. Про ваши этого сказать нельзя. Не скажешь: это писал Садовской. Необходимо выработать свой собственный стиль и свою манеру. Конечно, это не всякому дается сразу. Крылов только к пятидесяти годам стал гениальным баснописцем, а до тех пор сочинял плохие драмы, Тютчев же писал всегда одинаково хорошо. Читая ваши стихи, я никак не мог вообразить себе ни вашего лица, ни цвета ваших волос». — «Я тоже не мог себе представить, когда читал вас, брюнет вы или блондин». Брюсов пропустил мое неуместное возражение и продолжал: «Надо быть точным в выборе эпитетов. Вот у вас сказано в одном месте: „Под ароматною березой“. Действительно, береза бывает иногда ароматна, но что может дать читателю этот трафарет?» — «Значит, надо непременно выдумывать новое?» — «Зачем выдумывать? Надобно так уметь писать, чтобы ваши стихи гипнотизировали читателя. Музыкант передает ощущаемые им звуки пальцами, а поэт — словами. Задача обоих — покорить внимание публики и посредством мертвого материала вызвать слова и звуки к действительной жизни». — «Однако какая масса не понимает Бальмонта». — «Да, над ним многие смеются, но что же из этого? Не всем дана способность ценить искусство. Лично я считаю Бальмонта одним из величайших поэтов наших дней, но не могу я ходить по гостиным и читать всем „Будем как солнце“. Не понимают, — тем хуже для них». В заключение Брюсов с похвалой отозвался о юном поэте Викторе Гофмане. Гофман был годом меня моложе и учился на юридическом факультете. Это 151 был скромный, близорукий

юноша в пенсне с землистым лицом и большими, будто испуганными глазами. 20 ноября Брюсов пригласил меня к себе на вечер. То была одна из его обычных «сред». В маленьком кабинете и в небольшой столовой теснились гости. Тут были: глава издательства «Скорпион», смешливый, всегда навеселе С. А. Поляков, сумрачный Балтрушайтис, жирный Волошин, плотный студент-филолог Пантюхов, поджарый фетианец Черногоубов и юный, но уже плешивый студентик, автор знаменитого двустишия: Спи, но забыл ли прозы Ли том? Спиноза был ли прозелитом?7

Радужная хозяйка Иоанна Матвеевна и сестра ее изящная Б. М. Рунт оживляли общество. Я сел с Пантюховым в уголок; хозяин часто подходил к нам, заговаривая и предлагая вина. Балтрушайтис и Волошин читали свои стихи. Брюсов обратился ко мне с просьбой прочесть что-нибудь. Я прочитал, смущаясь, сухо, неверным голосом. «Точно доклад читали», — заметил мне Брюсов. Во время декламации в соседней комнате громко откупоривали бутылки. В Москве доживал свой маститый век генерал от инфантерии, князь А. П. Щербатов, бывший командир второго армейского корпуса. Сын фельдмаршала Паскевича поручил князю написать подробную биографию своего отца. Щербатов выговорил себе за труды ежегодно двенадцать тысяч и крупную премию. За десять с лишком лет успел он издать пять больших томов. Оставалось дописать последний, но князь не торопился. Вдруг его посетили две беды: после женитьбы на польке он вынужден был оставить Гродненский корпус и выйти в отставку; затем разбил его паралич. В Москве лечил Щербатова А. Н. Алелеков и узнав, что князю нужен секретарь, предложил меня. Я отправился для переговоров. Щербатов жил в небольшом особняке близ храма Христа Спасителя, рядом с домом И. Е. Цветкова, на набережной Москвы-реки. В зале белела золоченая круглая мебель, в углу заметил я генеральскую, дивной работы шпагу, помнится, с анненским темляком. Высокий, курчавый, смуглый старик в красном халате встретил меня любезно. Двигался и объяснялся он с трудом. — «Ваши условия?» — «Не знаю, как угодно вашему сиятельству». — «Обыкновенно первый месяц я плачу сто, а потом, если дело пойдет, полтора в месяц». Я согласился. «Я думаю, мы с вами поладим, вы мне кажетесь способным, а я умею угадывать людей. Я дам вам сразу полтора». Вскоре выяснилось, что князь подолгу заниматься не может, и я начал брать работу на дом. Дело пошло как по маслу. Обработывая набросанные князем главы, я придавал им литературный лоск и, чисто переписав, относил автору. Раза три я обедал у Щербатова. Княгиня оказалась пышногрудой деблоой красавицей. Однажды после обеда князь угостил меня густым и желтым, как растопленное масло, чаем, заметив: «Вот гордость этого дома». Любовь помешала моим занятиям. Я увлекся одной московской барышней. Беатриче (так я называл ее) гостила на святках в Нижнем. Я полетел туда и вернулся в Москву вместе с моим кумиром. Здесь я катал ее на лихачах, возил по театрам и ресторанам, подносил цветы. Кончилось тем, что я истратил все деньги, а князь нашел другого секретаря. 27 января 1904 года вечером, в день объявления японской войны, некто Полевой читал в университетском кружке свою драму «Русское богатырство». Автор — офицер одного из сибирских полков, бородач с длинными космами, похож был на дьякона в погонах. Десятка четыре студентов с доцентом Сакулиным 152 слушали завывающее чтение дубовых стихов. Кончалась пьеса следующей невероятной ремаркой: богатыри каменеют в позах, напоминающих памятник тысячелетия России. Весной я оставил Алелековых и до конца экзаменов жил в Леонтьевском переулке в доме Шкот. Иногда я бывал у разговорчивого И. Е. Цветкова в его доме-галерее и пил с ним старый боярский мед из елизаветинских чарок. 13 марта в Историческом музее на лекции Бальмонта «Уолт Уитман» встретил я Брюсова. «Что вы никогда не зайдете в „Весы“?» — «Зайду непременно подписаться». — «Да не подписаться, а я вам дам работу. Приходите во вторник». В ближайший вторник я явился в редакцию «Весов». Здесь кроме Брюсова были: надменный, с красным носиком, тщедушный Бальмонт, Вячеслав Иванов, небрежно одетый, в усах, с пряжкой от галстука на затылке, похожий на провинциального педагога и жена его Зиновьева-Аннибал, полная подрисованная дама. Брюсов вручил мне для рецензии брошюру Боцяновского о Вересаеве. Рецензия была набрана, но не успела войти в апрельскую книжку и осталась у меня в корректуре. Вместе с издателем «Весов» Поляковым на вторниках бывали: фактический редактор Брюсов, Бальмонт, Андрей Белый, рассеянно-нервный юноша в пышных кудрях; Балтрушайтис, В. Иванов, Пантюхов; быстроглазый с южным профилем Ликиардопуло, полугрек, полуитальянец, впоследствии секретарь «Весов»; из художников — угрюмо-желчный, в безукоризненно-модном костюме,

Феофилактов; высокий, длиннолицый, в бархатной куртке Российский; скромный и тихий Арапов. Раз встретил я здесь Борисова-Мусатова, молчаливого болезненного горбуна. В «Весях» можно было видеть знатока немецкой литературы щеголеватого М. Я. Шика, с пробором и моноклем, и поэта А. А. Курейнского: это был один из первых по времени русских символистов, низенький, обидчиво-мнительный блондин с бородкой. Молодой артельщик «Весов» Василий враждовал с Феофилактовым. У художника была привычка ломать сургучи и перья. Василий ставил их в счет: «С Филактова за сургучи» — нарочно коверкая фамилию. Иногда Василий объявлял своему врагу: «Я вам не подданный». Сотрудники побаивались Брюсова. Однажды переводчик Пшибышевского, толстяк Семенов принес вина. Не успели мы выпить по стакану, как загудел лифт с Брюсовым. Замешкавшись, Семенов сунул бутылку под стол. Б. М. Рунт, бывшая одно время секретарем «Весов», смущалась порой до слез, отдавая отчет редактору. На экзамене по римскому праву я провалился. Мрачный либерал Хвостов не любил «белоподкладочников» и беспощадно их резал. Остальные два экзамена вывезли меня. Я получил четыре по русскому праву у знаменитого Самоквасова, добродушно-величавого, благожелательного старца, пять по энциклопедии и был условно переведен. Весну 1904 г. переживал я с жадностью. Любовь, экзамены, весна, слухи о войне, «Весы», расцвет здоровья и юности. Я полюбил гулять по ночам; после занятий тушил лампу, брал ключ и до утра скитался по городу. 25 апреля в чудный весенний вечер я был на открытии «Аквариума», летнего сада Омона. Гремела музыка, визжали шансонетки, какой-то подгулявший офицер порезал себе нечаянно руку шашкой. На рассвете я возвратился домой в мягких лучах зари, при радостном колокольном звоне. Дома долго стоял на коленях перед раскрытым окном, держа медальон с портретом Беатриче, обещаясь вечно любить ее. 153 Летом я гостил опять на Серных водах, уже переименованных в Серноводск. Там сияла красотой и изяществом В. И. Савинова, самарская гимназистка. Боборыкина я видел раза два. Осенью 1904 года он читал в студенческом кружке о театре; после, за чаем рассказывал профессорам про пожар 1853 года на Театральной площади. Я спросил его мнения о театре у древних, он отвечал небрежно: «Какой же это театр? котурны, маски?» — «Ну, ты и впрямь легкомысленный Бобо», — подумал я. Еще я встретил Боборыкина в опере на «Золотом петушке»; он сладко дремал весь вечер. В декабре один студент с женой и рыжий филолог пригласили меня ужинать в «Петергоф». Втроем они поехали занять стол, я отправился следом. В уборной встретил Бальмонта. Вытирая руки полотенцем, он пристально всматривался в меня. — «Сколько вам лет?» — «Двадцать три года». — «По метрике?» — «По метрике». — «А на самом деле?» — «Столько же». — «Не может быть». Бальмонт вытянулся перед зеркалом, знаками давая понять, что считает себя моложе. Вероятно, он принял меня за бессловесного поклонника и решил покуражиться. В зале взял меня под руку и насильно подвел к своему столу. Перед бутылкой сидра выгибалась хорошенькая юная брюнетка. Мы сели. Бальмонт говорил, что я в мундире важен, точно сенатор, твердил о солнце и дьяволах, щипался, наконец, сказал дерзость. Я встал, поклонился даме и вышел в соседнюю залу к моим приятелям. Не успели мы выпить по бокалу и посмеяться, как сзади кто-то ласково обнял меня за талию. Оглядываюсь: Бальмонт. Это мне, наконец, наскучило. — «Что вам угодно?» Нежно лепеча, с умоляюще-томным видом он потащил меня опять к своей даме. Я видел, что Бальмонт не знает, что со мной делать. Вдруг он нашелся: «Ругайте меня, ругайте, прошу вас!» В душе смеясь, я повторил избитые фразы критиков о его поэзии и заключил словами: «Вы талантливый Федор Павлович Карамазов». Тут уж я испугался не на шутку, как бы Бальмонта не хватил удар: он краснел, бледнел, заикался, тарасил глазки. Дама с негодованием вскрикнула: «Человечишко!» Я воротился к своим. Гасили огни, когда мы тронулись к выходу. В первой зале нас караулил Бальмонт. Подскочив к рыжему филологу, он начал звать его к Яру. Более неудачного выбора сделать Бальмонт не мог: филолог был настоящий «человек в футляре», робкий и аккуратный. — «Извините... не могу... с удовольствием бы... но видите ли поздно...» Бальмонт с ужасом вгляделся ему в лицо, крикнул: «Улитка!» и побежал к дверям. Бальмонт в Москве явился пьяный в гости. Долго смотрел он на одну молодую даму, наконец с невыразимым презрением спросил: «Вы законная жена?» Муж дамы, силач гигантского роста, ответил басом: «Законнейшая!» Бальмонт подскочил и ударил супруга в подбородок: выше достать он не мог. — «Но, но», — спокойно возразил тот. Одна московская декадентка вместо ожерелья носила на шее живого ужа. Юный декадент поехал в Австралию; на пристани в Мельбурне выпил стакан чаю и

отправился обратно в Замоскворечье. В октябре 1905 г. в Москве утром, выйдя из Лебяжьего переулка, увидел я, что Знаменка и Волхонка запружены народом. — «Кого хоронят?» Женский голос злобно завизжал: «Вот так студент, не знает, что хоронят его ректора!» Это были похороны князя С. Н. Трубецкого. Скоро показался и гроб. Студенты окружали его цепью: между ними я заметил Андрея Белого. Весной я опять перечислился в филологи на классическое отделение. В 1906 г. московский купец Николай Павлович Рябушинский основал журнал

«Золотое руно». Дело было задумано широко. Под редакцию наняли 154 особняк на Новинском бульваре; кроме издателя, редакционный комитет составляли: заведующий литературным отделом благодушный С. А. Соколов (Кречетов), художник Н. Я. Тароватый и корректный секретарь Г. Э. Тастевен. Был собственный бухгалтер, трое артельщиков. Текст печатался параллельно по-русски и по-французски: для стихотворных переводов выписан был из Парижа поэт Эсмер Вальдор, не знавший ни одного русского слова. Через год он женился на московской барышне и уехал с женой в Париж, обучившись в совершенстве русским непечатным ругательствам. В день выхода первого роскошного номера, рассыльный, принесший его издателю, получил сто рублей на чай. По четвергам на вечерних приемах сотрудникам предлагалось шампанское, красное и белое вино, ликеры, сигары, фрукты, чай и лакомства. Мне Н. П. Рябушинский всегда наливал шампанского, уверяя, что оно мне «идет». Для входа на четверги необходимо было иметь каждый раз особое печатное приглашение. Иногда Тастевен и секретарь «Весов» Ликиардопуло, с перьями за ухом, исполняли под пианино «танец секретарей». На четвергах познакомился я с кокетливой поэтессой Л. Н. Столицей. Н. П. Рябушинский, молодой, жизнерадостный миллионер, не лишен был вкуса и дарования. Богатство мешало ему быть только художником. Вынужденный печатать в своем журнале одних декадентов, Рябушинский искренно недоумевал, отчего современные авторы не пишут «как Тургенев». Этой дерзости ему не простили. «Весы» воздвигли гонение на конкурента, начались процессы, массовые уходы сотрудников, и журнал года через три погиб. Раз был я у Рябушинского по делу в его номере в гостинице «Метрополь». На камине в солнечной приемной красовалась большая фотография рослого хозяина с черепом в руках; на мощное плечо к нему грациозно склонялась воздушная красавица в белом платье. Помню рассказ Н. П. о путешествии в тропиках. — «Наш корабль пристал близ туземного селения. Я вышел. Иду. Вижу: поселок на деревьях. Понимаете, хижины на ветвях? Я влез. Все пусто. В одной только хижине девушка-дикарка. Я к ней. Она уставила мне в лицо все десять пальцев и зарычала. Я подхожу. Она рычит. Я подхожу ближе. Она рычит страшнее. Смотрю, внизу толпа дикарей с луками и стрелами. Я спрыгнул с дерева. Бегу к кораблю. Дикари за мной. Я стреляю: раз, два, три! Несколько дикарей упало. Я вскочил на корабль. Капитан велел дать залп и мы отчалили, оставив гору трупов». В первый год «Золотое руно» дало восемьдесят четыре тысячи убытку. Одного гонорара сотрудникам заплачено было без малого пятнадцать тысяч. Авансы раздавались щедрой рукой. Редакторы и секретарь ежедневно завтракали в редакции на счет издателя. Постепенно начал я заниматься Фетом и весной ходил к вдове М. Н. Каткова. С. П. Каткова, урожденная княжна Шаликова, оказалась маленькой, сухой старушкой, очень живой и бодрой. Писем поэта к ее мужу у нее не было. Стихи свои Фет сам передавал Каткову, а переписки между ними никогда не велось. — «Придет, выпьет чаю, оставит рукопись и уйдет». Июнь провел я в Казанской губернии в имении одного земского начальника. Оттуда П. Н. Депрейс, семидесятилетний вдовец-помещик, увез меня в свою деревню Шапши. В барском доме хранилась старая мебель, библиотека, портреты. Беседуя, мы гуляли в запущенном парке. Здесь были тенистые липовые аллеи, посаженные отцом и матерью хозяина в день его рождения и им самим в день свадьбы. П. Н. Депрейс в юности защищал Севастополь и, будучи юнкером, присутствовал при сочинении гр. Л. Н. Толстым знаменитой солдатской песни «Как четвертого числа». Толстого он помнил еще казанским студентом 155 в сороковых годах; граф носил тогда модные отложные воротнички, выставлявшие напоказ на горле его «адамово яблоко». Помнил П. Н. и Победоносцева, «сухого молодого человека», служившего в 1847 г. в Казани стряпчим. В парке я видел беседку-гриб; здесь Толстой и Победоносцев когда-то варили вместе жженку и пели «Гаудеамус». Самую Казань П. Н. знал с 1842 г.; город, по его словам, изменился мало. Радужный старик полюбил меня и проводил на своей тройке до Казани. Здесь мы вдвоем пообедали в гостинице Щетинкина, отлично выпались и распрощались навеки. В Москве я начал бывать на средах Литературно-

художественного кружка. 31 октября чествовалось семидесятилетие Боборыкина. Юбиляр, розово-желтый, как шар голландского сыру, сидел подле жены, скромной старушки в покойницком чепце. Здесь же собиралось Общество свободной эстетики. Я был в числе членов-учредителей и вскоре познакомился с кряжистым В. И. Суриковым, с дьячкоподобным Ап. Васнецовым, с говорливым и бойким Грабарем. Сюда являлся переводчик Бодлера Л. Л. Кобылинский (Эллис), в мокрых, облепленных грязью, ботинках и с гордым видом. На первом же вечере «Свободной эстетики» Брюсов громко обратился к одному из молодых художников: — «Всем нам очень важно узнать ваше мнение о новом искусстве и его задачах». Живописец подумал. — «Прежде было искусство старое, а теперь стало искусство новое. Новое искусство лучше старого. Надо писать по-новому, а не по-старому. Да». Другой молодой художник держал со мною пари, что в столовой Кружка висит не Байрон, а Бирон (Byron); услышав имя Карамазова, он спросил: «А кто этот Карамузов?» Однажды в редакцию «Весов» юный, начинающий художник принес рисунки. Без шарфа и перчаток он зябнул в легком пальто. Это был Н. П. Крымов, ныне известный пейзажист. Обедал я обыкновенно в столовой Ю. А. Троицкой на Тверском бульваре, Два блюда с чашкой кофе стоили здесь всего полтинник, хотя за обедом подавались нередко рябчики. Сюда хаживало немало литераторов. Пообедав, шел я в пивную Трехгорного завода, где ожидали меня приятели. В пивной читал свои стихи желающим некто Ипатьев, маленький плешивый человечек. Он курил дешевые сигары пачками, нюхал всей горстью табак и ведрами глотал пиво. С собой Ипатьев таскал толстую тетрадь стихов. Была у него собственная «Песнь о вещем Олеге»; помню оттуда строчку: «конь издох уже давно». Напившись, Ипатьев жаловался мне, что его «не понимают». Редактор «Золотого руна» Тароватый, высокий, тощий блондин, сказал одному писателю: «Мне кажется, вы умрете от менингита. Знаете, какая это болезнь? У человека заживо гниет мозг; он пригибает от боли затылок к пяткам и воет собакой». Через несколько дней Тароватый умер от менингита в ужасных мучениях. Он был еще жив и стонал, а его уже дожидался запасенный в передней гроб. У Брюсова я познакомился с А. П. Ленским. Он много рассказывал о театральном прошлом. За ужином один мелкий литератор, слышавший о театре марионеток и новых течениях в искусстве, обратился к Ленскому: «Мне кажется, А. П., что идеальный актер не должен ни чувствовать, ни думать о своей роли. Тогда он сам собой превратится в марионетку и цель искусства будет достигнута. Не так ли?» Прекрасные голубые глаза Ленского вспыхнули: «Я себе такого актера представить не могу». Я поселился на Долгоруковской, против Никольской церкви. Мой квартирный хозяин, уже немолодой студент-юрист, женат был на племяннице писателя А. А. Потехина. В первый вечер на новоселье я рано лег, почитал в 156 постели и крепко уснул. Просыпаюсь от страшного стука и не могу понять, где стучат. Может быть, кто-нибудь из жильцов стучится с черного хода? Вдруг дверь моя шумно растворяется, влетает огромный усач-пристав и прямо ко мне: «Что вы, или не слышите?» — «Виноват, я не знал, что стучат ко мне, а дверь не заперта». Пристав схватил с моего ночного столика книгу, начал ее перелистывать и трясти. Потом осмотрел комод и комнату. — «Вы студент?» — «Да». Пристав поставил к дверям солдата с ружьем и вышел. Светало. Солдат курил, опустив ружье. — «Нельзя ли, братец, мне встать?» Солдат передал просьбу по начальству. — «Можно». Одевшись, я перешел в столовую. Там валялись узлы и чемоданы двух жильцов, подлежащих аресту, но успевших скрыться. Меня обыскали просто за компанию. Хозяйка хлопотала у самовара. Пристав с помощником составили протокол; им предложили чаю. Выпил стакан и я. Полицейские жаловались на тяжесть службы. Добродушный помощник пристава приглашал меня «для безопасности» снять комнату у него. Как-то вечером, гуляя по Долгоруковской, услышал я шум. Городовой с книгой вел в участок молодого парня; любопытная толпа теснилась вокруг плачущей толстой женщины. «Охота была связываться со старухой», — заметил я. Маленькая корявая старушонка самодовольно засмеялась: «И, батюшка: со старушкой-то теплее!» Алфераки уехал в Ямбург: он за японский поход получил Станислава 3-й степени и поступил на действительную службу прапорщиком в Царицынский пехотный полк. Его заменил Юрий Сидоров, юноша с желтым египетским профилем, студент-филолог. Он скоро сделался моим лучшим другом. Изредка появлялся у меня еще один товарищ по факультету, философ-заика, автор афоризма: «Ревни, ревни ветер, ты отнимешь у меня все приятное». Все мы, бывая в «Праге» и «Петергофе», часто встречали В. О. Ключевского. Обыкновенно он сиживал за вином в обществе двух-трех приятелей. Мы всегда

ему почтительно кланялись. Управляющий Нижегородской Удельной конторой Кузьмин-Караваев давно страдал сахарной болезнью. Весной он взял отпуск и выехал на Кавказ. В Казани, гуляя проездом, почувствовал себя дурно, вбежал в аптеку Грахе и умер. Посланный за телом чиновник не нашел на покойнике ни запонок, ни часов. Хоронили Кузьмина-Караваева в Нижнем в Крестовоздвиженском монастыре. За гробом шел губернатор Шрамченко, веселый седой красавец, следом телохранитель-черкес, увешанный оружием. Летом я третий и последний

раз ездил в Серноводск на свадьбу В. Н. Ведерниковой и возвратился в Нижний в начале августа, на пароходе «Ломоносов». В зале I класса над пианино висел портрет Ломоносова; в паровой библиотеке нашлись его сочинения, изданные Академией наук. Никто их, разумеется, не читал, и я на свободе мог ознакомиться с этим монументальным изданием. В Нижнем заведывал электрической станцией Е. А. Левестам, радушный приветливый хлебосол. Старшая дочь его, подруга по институту сестры Наташи, вышла замуж и жила в Севастополе; единственный сын Павел только что поступил в университет. Это был высокий юноша, всегда смеющийся и речистый. Во второй половине августа гулял он на свадьбе у одного приятеля. В это время загорелась каланча на Арестантской площади. Кое-кто из гостей отправился на пожар и звали Павла. Он ответил: «Я не Нерон», но все-таки поехал. Вернувшись и проходя в столовую, где готовился брачный ужин, схватил с этажерки револьвер и выстрелил в висок. На другой день я поехал на панихиду. Бледный, как скатерть, самоубийца 157 лежал с забинтованной головой, губы чуть улыбались. Мать, громко рыдая, ходила по комнатам; младшая сестра с подругой стояли молча у изголовья, оправляя и прихорашивая покойника. Стемнело, когда я вернулся домой. Семья наша оставалась еще в деревне; я должен был ночевать один в большой пустынной квартире. Дворник принес самовар и ушел. Из ярко освещенной столовой дверь вела в темную гостиную и залу. И вот я живо себе представил, как раздадутся сейчас шаги и мертвый Левестам взойдет со своей улыбкой, забинтованный, скрестив руки. Было тихо, даже часы стояли. В зале начал потрескивать паркет. Не помня себя, я через коридор пробежал в переднюю, схватил фуражку, запер ключом квартиру и выскочил на подъезд. Что было делать и куда идти? Дойдя до кремлевской крепости, я вспомнил, что у бригадного генерала Иванова должен быть гость. Генерал-вдовец жил с двумя взрослыми дочерьми; за одной ухаживал я, за другой институтец Вася Горсткин. Если Вася у генерала, я спасен; если нет — хоть ночуй на улице: денег со мною не было. Августовская ночь свежела, мне было холодно в легком кителе. Наконец, показался Горсткин. Я сделал вид, что рад нечаянной встрече и предложил распить со мной бутылку старой наливки. Вася охотно согласился. Мы отправились ко мне. Рябиновка 1883 г. из родительских запасов быстро разогнала мои страхи. На рассвете Вася ушел от меня веселый, стукнувшись два раза головой о косяк, а я заснул сном младенца. Михаил Николаевич Иванов, генерал старинного покроя, сперва на меня косился: студенческий мундир в его глазах был замаран 1905 годом. Потом он полюбил меня. Старшая дочь его пела, играла на скрипке и на рояле; младшая обнаруживала сценический талант. М. Н. Иванов числился по генеральному штабу и в Японскую войну был адъютантом Линевича. — «Борис Александрович, вы играете в карты?» — «Нет, ваше превосходительство». — «Печальную же вы себе готовите старость». В Москве начала выходить газета «Голос Москвы». Брюсов устроил меня туда. Заведывал литературным отделом А. А. Тимофеев, молодой блондин с длинными усами, милейший и обязательнейший редактор. Мой первый газетный опыт удался. Я зарабатывал очень много, платили мне хорошо. Но скоро я начал замечать за собою странности. С утра находила на меня свинцовая усталость; я не мог поднять головы и апатично дремал весь день в своем номере. Зато к вечеру лихорадочно оживлялся. Болезнь шла исполинскими шагами. В голове дымился вечный угар, началась тошнота, трудно стало днем выходить на воздух. А. Н. Алелеков определил неврастению и сказал, что это само пройдет. По внешности вел я прежний образ жизни, писал, читал, ухаживал, но все уже шло иначе и чего-то не хватало. Я был Федот, да не тот. Случались дни, когда я чувствовал себя пустой тенью, собственным призраком. Ночи проводил я в ресторанах, в приятельской компании, кочуя из «Праги» в «Петергоф», из «Моравии» опять в «Прагу». Раз, получив из редакции около ста рублей, я повез приятелей к Яру. Заняли «Пушкинскую комнату», пригласили хор. Хитрая венгерка выманила у меня все деньги, и мы вернулись в Москву пешком. Несколько верст брели по шоссе студеным ноябрьским утром и, полусонные, едва согрелись в чайной на Тверской. После одной попойки мы с Алфераки сидели у меня за

утренним пуншем без сюртуков. Отворяется дверь, и вбегает низенькая брюнетка с круглым носиком. Подбежав, она сунула мне в лицо тетрадку. — «Я пришла показать вам мои стихи». На обложке четко стояло: «Мария Папер. Мечты растоптанной лилии». 158 Любовь моя к Фету стала болезненной страстью. Я жил вдвойне: за Фета и за себя. Иногда я почти видел его, слышал его голос. День и ночь читал «Воспоминания Фета», ездил в полночь на Плющиху к его дому, повторял постоянно его стихи. Обдумывал план отправиться на могилу Фета, вскрыть гроб и

насмотреться на кости. Кошмары эти были приятны. В Нижнем на святках я целыми ночами просиживал над Фетом. Засыпал к утру, вставал к обеду. Танцевал, влюблялся, писал стихи, был весел и остроумен. Ждал неизбежного и много думал о смерти. Часть шестая Москва (1908 — 1911) — Болезнь. — В Пятигорске. — В Ореанде. — Знакомства и встречи. — — Женитьба. — П. И. Бартенев. — Рождение сына и развод. — «Мусажет». — — Номера «Дон». — В Одессе. — В Петербурге. — Знакомство с Блоком. — — Московская жизнь. — Конец Мясникова. — Н. Н. Чернугов. — Было начало февраля 1908 г. Я собирался в Москву. Однажды, заснув после обеда, я пробудился с небывалым ощущением. Точно весь мир переменялся. Разглядывая синие обои и полотенце на оленьем роге, я вдруг сознал ужас жизни. Никакими обоями его не спрячешь. Пошел прогуляться — не помогло. Ужас, нарастая, сказывался физическим томлением. Страх и уныние овладели мной. В уши громко кричала неизбежность, перестраивая душу и оглушая ее стуком и грохотом невидимых ломов и молотков. исполинские глыбы жизни, падая, обнажали пласты сознания. На себя я смотрел с птичьего полета. Из дня в день переживал я пытку без отдыха и конца. — «Ты должен умереть, — твердили голоса. — Смотри, как пуста и бесцельна жизнь. Стоит ли каждый день чистить зубы, когда все равно умрешь?» Я боялся смерти. Гуляя, сидя в гостях, я порой был готов закричать от ужаса. Самый этот ужас видимо требовал предлога для своего существования. Предлог отыскался: мне стало казаться, что я схожу с ума. Лечили меня бромом и теплыми ваннами. Я начал привыкать к пытке. Вел жизнь размеренную, вставал и ложился по часам. Как раз в это время сошел с ума нижегородский адвокат А. В. Яворовский, даровитый человек, автор «Сказок попугая» в журнале «Север» за 1891 г. Теперь он явился для меня грозным *memento mori*. Большой щеголь и остроумец, Яворовский носил дорогую оленью доху, любил тройки и шампанское. В суде у коллег брал папиросы из портсигаров и ими же потом угощал. Все это знали и только смеялись. Но раз один судейский ответил: «Я чужих не курю». — «Тут и ваши есть». Душевных мучений моих родные не понимали. Мать предлагала любоваться природой, отец советовал читать Пушкина. Я был недалек от самоубийства. Потом возникло философское отношение к неизбежному. Сумасшествие и смерть казались мне желанным и наилучшим выходом. Так протянул я до весны. Гулял по Нижнему с адом в душе, но элегантно одетый. Даже ухаживал за гимназисткой Шурочкой, дочерью частного пристава. Я назначал ей свидания на кладбищах. Чиновники Удельного ведомства имели право пользоваться летним отдыхом на императорских дачах в Крыму и в Сочи. Отцу предложили дачу в Ореанде, но он всему в мире предпочитал Щербинку, и вместо него в Крым 159 поехал я. Решив посоветоваться сначала с врачами на Кавказе, я запасся от А. Н. Алелекова рекомендательным письмом к харьковскому профессору Анфимову. 17 мая 1908 г. я выехал в Пятигорск, простившись с Шурочкой на Петропавловском кладбище. Мы посидели на зеленой могиле под березками. — «Вот и конец нашей сказке», — грустно заметила Шурочка. Дорогой любовался я серебристым Доном, на станциях брал у казачек жареных уток и молоко. В Пятигорске остановился в Ново-Европейской гостинице. Профессор Анфимов осмотрел меня. — «Ничего особенного. Во всю жизнь ни капли спиртных напитков, ни вина, ни пива, ни водки. Не пить, не курить, вести жизнь германских мудрецов и абсолютно ничего не бояться». Он назначил мне души и массаж. Съезд в этом году был большой. В цветнике и аллеях множество публики, хороший симфонический оркестр. Но я себя чувствовал одиноким. Иногда на музыке в толпе на меня набегал знакомый ужас и хотелось закричать на весь парк: погибаю, спасите! Под знойным кавказским солнцем я стал слегка отходить. Неврастения понемногу замирала, но никогда уже не покидала меня совсем. Шесть недель провел я в Пятигорске и раз купался в историческом Подкумке, снесшем меня по течению на несколько саженой вниз. Хозяева моей гостиницы были армяне; к их младшей дочери часто ходила подруга-гимназистка. Шутя я начал за ней ухаживать. Девочка для четырнадцати лет была вполне развита. Отец ее, седой поляк, служил в почтовой конторе. С ним я познакомился: старик на

своих визитных карточках ставил «коллежский советник»: для почтового ведомства это был чин большой. Я ему сделал визит и получил приглашение на чашку чаю. Казенная квартира отличалась строгим порядком: на видном месте портреты государя и римского папы, тщательно сервированный чайный стол, вежливая прислуга. Хозяйка казалась не совсем здоровой и, видимо, привыкла доливать чай коньяком. В отношениях обоих стариков к дочери сквозила неуловимая неестественность; пожилая служанка Маша держалась с барышней тоже странно, особенно

когда подавала ей чашку или платок. Вечером гулял я с девочкой в парке. Маша издали ревниво кралась за нами по аллеям. — «Не говорите никому: Маша мне мама», — шепнула, оглядываясь, девочка. Побывал я и на Провале. В скромном трактире играл армянский оркестр с певцом-солистом. Кроме национальных песен, восточные музыканты играли, к сожалению, и матчиш. Утром разносчик-москвич под окном у меня кричал: «Малиновая, ванилевая, сладкая, сахарная сушка! И соленая с тмином и маком баранка! Булки горячие! Натуральный, длинный, толстый, армянский хлеб!» Разговорился я с соседом по номеру, смешливым остряком лет сорока на вид. Оказалось, ему всего двадцать два года. — «Молодость-то вся в пятигорских ваннах осталась», — подмигнул весело собеседник. На вокзале статный, кудрявый юноша стоял ко мне спиной. Когда он обернулся, я увидел вместо носа у него черный кружок из пластыря. В Лермонтовской галерее давал концерт гармонист Петр Невский, широколицый, бритый, низенький старик. Последнее время он играл постоянно у нас на ярмарке. В 1903 г. Невский, выйдя бойко на вызовы, ударил себя молодежато в грудь и крикнув: «Шестьдесят лет только!» — убежал за кулисы. Теперь на концерте оказалось, что Невскому все еще шестьдесят лет. Сколько же было ему на самом деле? 160. Никогда в жизни я не умел скучать и чувство скуки мне неизвестно. В Пятигорске я прогуливался в парке и казенном саду, ходил на кладбище, тщетно отыскивая могилу П. Н. Шеншина, дяди и крестного отца Фета, вечер проводил на музыке или в оперетке. 10 июля я выехал в Крым. Близ Харькова в вагон вошел молодой человек, прилично одетый. Мы остались в отделении вдвоем. Незнакомец задремал у окна, проснулся и начал шарить по полу. — «Будьте добры, помогите поднять иголку от шприца». Я поднял, и мы разговорились. Пальцы его были забинтованы. — «Что с вами?» Он объяснил, что сердце плохо работает и пальцы, не получая питания, гниют. Он развернул повязки. Пальцы походили на обгорелые сучки. — «Всю Европу изъездил, не помогли: от боли впрыскиваю постоянно морфий и уже сделался морфинистом. Сердце, чувствую, точно раскаленный уголек. Еду теперь в Харьков, чтобы отрубили пальцы». Он спрятал шприц и задремал, пустив на жилет слюну. В Севастополь приехал я поздним утром. Пламенное солнце над бирюзовой бухтой, пыль, зной, южный душистый воздух. Но как добраться с пустым кошельком до Ялты? Деньги я все истратил дорогой. Сдав чемодан и подушку на пароходной пристани, я перекинул на руку мой черный, морского покроя, плащ, обдернул помятый китель и прошел к памятнику Нахимова. Татарин предлагал сочные миндальные персики. Я купил их на последний полтинник и остался без гроша. Завтракая ароматными фруктами, я вспомнил, что в Севастополе проживает моя знакомая, дочь Е. А. Левестама, сестра застрелившегося студента. Без труда разыскал я дом ее. Мне отворил ее Муж, с которым знаком я не был; семья находилась на даче. Нечего делать, я объяснил затруднение, и учтивый хозяин любезно раскрыл бумажник. Вечером пароход подвалил к Ялтинскому молу. Парный извозчик с бубенчиками и плетеным верхом весело помчал меня в Ореанду. Миновали Ливадию с золотым вензелем на воротах. Навстречу пылили шумные кавалькады, верхами и в экипажах; дамы с проводниками. Налево зыблелась и синела морская даль. Сослуживец отца, удельный чиновник Гардер, скромный, окончивший два факультета, и приветливая жена его помогли мне устроиться в Ореанде. Мне был отведен целый флигель с полной обстановкой: мебель и посуду принял я из Ливадии под расписку. Вещи выдал ливадийский чиновник Введенский, некогда писарь в одном из гвардейских полков; столоваться решил я у псаломщика дворцовой церкви. Генерал, управлявший Ореандой, недавно умер; супруга его, властная дама, телеграфировала государю о кончине мужа и без спросу похоронила его в парке на видном месте. Введенский советовал мне представиться энергичной генеральше; я, признаюсь, побоялся и только издали видел ее могучую фигуру в какой-то казачьей шапке. Флигель мой стоял неподалеку от развалин дворца, сгоревшего в 1881 г. С отъездом Гардеров я остался один в Ореанде с приставленным ко мне слугой Тихоном. Сладкий горячий воздух, звон цикад, вечные всплески прибоя, лавры, плющ, исполинский платан на площадке против развалин,

тишина, одиночество и покой. Близ дворца расколовшаяся каменная плита с надписью «Моська», маленькие модели Азовского, Черного и Каспийского морей, вырезанные на мраморной площадке; во время дождя они наполнялись до краев. Высоко на горе белая греческая беседка с колоннадой. Отсюда смотрел я солнечный восход над морем. Ежедневно купался по два и по три раза. Вдоль тропинки, сбегавшей 161 к морю, чернела крупная крымская ежевика, перед моей террасой цвели магнолии и созревал миндаль. Тихон, парень из Орловской губернии, питал

слабость к умным словечкам. «Что новенького, Тихон?» — «Ночью, ваше благородие, накрыл татарина с барыней». — «Где же ты их накрыл?» — «В кустах, да жалко удрали. А то намедни здесь такая сознания вышла...» Следовал нецензурный рассказ о барынях с проводниками. Про одну даму Тихон выразился так: «любопытно бы знать, какого она поколения». Скоро я сам сделался очевидцем пикантной сцены. В Ореанду приехала маленькая блондинка с проводником-татаринном, в гетрах и пиджаке. Пока татарин привязывал лошадей, дама скользнула к развалинам; пышная грудь ее волновалась. Проводник, подойдя, галантно предложил ей руку, громко сказав бессмысленную французскую фразу, вроде: бонжур, компрене. Дама, затрепетав, прижалась к статному кавалеру, и оба скрылись в кустах. Псаломщик кормил меня очень плохо. Я уходил обедать в Ялту и возвращался за полночь, всегда на одном и том же извозчике. Жутко было мчаться по опустелым горным откосам в темноте; все слышнее ночной, зловещий какой-то, ропот вечного моря. Чувствуется его сырость. Вот и развалины. Я отдаю извозчику деньги и со стесненным сердцем спешу в свой флигель, слушая жуткие вздохи волн. Я отправлялся в Ялту пешком, ежедневно часа в четыре, по каменистой пыльной дороге, мимо богатых дач; из них мне особенно нравилась дача эмира Бухарского «Дильк-Шо». На набережной в Ялте мальчик мне чистил китель и ботинки, я обедал и шел в городской сад. Здесь, кроме симфонического оркестра, играл квартет при ресторане. Модным мотивом была «Гай да тройка»; ее повторяли беспрестанно. Выступал румынский цимбалист Стефанеско, огромный, хмурый, с заплывшим черным лицом; дал концерт и Петр Невский, которому теперь уже оказалось шестьдесят два года. В ресторанном оркестре играл на флейте пожилой немец. Он аккуратно выделял партии; в антрактах вежливо и скромно, сторонясь, гулял; желтое лицо блестело. Я понимал, что неспроста. Скоро немец переменялся. С потемнелым лицом он взмахивал гордо тростью и бросал корки собакам. Флейтист запил. Два раза встретил я Бухарского эмира. Громадный, черный, с огненными глазами, в белой чалме, ехал он шагом в коляске по ливадийской дороге. Дня через два эмир промчался по набережной, окруженный конвоем; помню его необъятную в халате спину и толстые плечи с генерал-адъютантскими погонами.

Автобиографическая притча И. Д. Сытина

Автобиографическая притча И. Д. Сытина / Публ. Н. П. Соколова // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 184—185. — Содерж.: Сытин И. Д. Какие бывают случаи. Сказка. — [Т.] I.

Жизнь и труды Ивана Дмитриевича Сытина (1851 — 1934) хорошо известны. Деревенский мальчик, сын волостного писаря из села Гнездникова Костромской губернии, в 1866 г. поступил «в люди» учеником для всех надобностей в небольшую книжно-картинную и скорняжную «фирму» П. Н. Шарапова на Ильинке в Москве. «Фирма» Шарапова вела патриархальную торговлю литографированными «картинами», преимущественно религиозного содержания, и традиционной народной лубочной литературой.

А в феврале 1917 г. Россия торжественно отмечала 50-летний юбилей деятельности главы крупнейшего в России издательского предприятия — «Товарищества И. Д. Сытина», сыгравшего огромную культурно-просветительскую роль.

Предлагаемый незаконченный набросок автобиографической притчи написан Сытиным в последние годы жизни (после 1924 г.), когда он, человек неутомимо деятельный, тяжело переживал отстранение от издательской работы — дела всей жизни

И. Д. Сытин

Какие бывают случаи. Сказка

Жил был Иванушка Дурачек у родителей средней деревенской семьи. Грамота ему не давалась, да и учение в его годы было очинь не увлекательное. В начальной школе, главные учебники Славянской азбуки, псалтыр, чесослов зубрили наизусть. Выучивши еле разбирать по складам и кое как безграмотно писать кончил свою грамоту Иван*. Ну теперь брат иди с богом послужи добрым людям научист своим трудом добивать себе хлеб. Благословили родители хлопса и отправили в Москву с провожатым збыть срук куда нибудь в учение мальчиком**. А бабуся дала накрест талисман на счастье. Береги Ванюша его тебе дас счастье сказала она. И вот Ванушка в Москве в лавке купца торговца книшками. Хотя Ванушка с отвращением смотрел на книжки как они ему насолила славянская грамота в школе с пьяным учителем, но другава места не было надо и за то благодарить что взяли мальчиком. Четыре года торговой школы около книг имели хорошее влияние***, дурак возмечтал**** что книги страшно нужны решительно всем и что единственная благо человека***** быть грамотным и не только знать наизусть Чесослов и Псалтырь а учитса по хорошым покупным книгам чтобы понять смысл жизни. Запала мысль его устроить. Никольская издательская деятельность тогда была ужасная¹. Авторы поставляли свой произведения по заказу — не превышая 2 р. — за печатный лист, рисуя приключения, ужасы и разбойничьи похождения весь интерес в издательском деле на страшных названиях и кровавых сценах, — какой был Никольский рынок осталось у многих в памяти и его все покупала фабрика и деревня. Все хорошее***** авторы сторонились рынка боялись их запачкать прикосновение к рынку*. Да и сами издатели были совершенно случайные люди безграмотные и мало имели интереса улучшать свой товар. И етому яду покровительствовала цензура никогда никова замчания не делала хотя относилась брезгливо. Так тянулось на глазах у Ивана 10 л. Всякому терпению бывает конец, который лутчий книги достоин и очинь нуждается в книге, — обратились с возванием к Комитету Грамотности² чтобы он посочюствовал народному делу но встретил милых людей но нежелающих понять как что и каким языком написанные книги нужно дать народу. А собрали и дали у кого что было в портфеле. Это дало прозевание а не дело. В етот же периот явилса Г. Чертков³ который серьезно ознакомилса с нуждою изучил мои предложения, посветил себя етому начальному обновлению все время принес прекрасные произведения Толстова Лескова Гаршына Короленко и многих др. Мало того что мы слились с ним делом но и душою и началась новая свежая радостная работа**. И ваш мужичек почувял носом свежие книжки и охотно потянулся за ними, но фирма совсем не желала тенденции, и одновременно искала во всех направлениях хороший материал, издательство велось в разных направлениях, — детские книги народнодуховные и даже хорошая приходская библиотека Шемякина. Все что делалос фирмою ето 38 л. при страшной энергии и трудом довели в России где полный запрет на книгу блестящее во всем легальное издательство которому равнова нет в Европе. Как его разценили. У Победоносцева — утро сидит за письменным столом в кабинете и случайно просматривает каталог разосланный при Русском Слове И. Д. Сытина. Сытин и Александров⁴ входят, — здравствуйте Ваше Высоко Превосходительство Поднимаясь из-за стола Константин Петрович А здравствуйте здороваеся с Александровым на Сытина смотрит через очки — А вы зачем это вам нужно — Объясняем свою совместную прозбу⁵ — Ну Сытину то я не желаю помогать — Обращаясь ко мне — Вы нам наделали массу зла вы вывели нам писателей в народ Толстова Гаршина Короленко все все Вы...

Примечания

Рукопись хранится в коллекции Кабинета-музея И. Д. Сытина в Москве. В данной публикации сохраняется правописание оригинала. Авторская правка, не имеющая смыслового характера, не воспроизводится.

¹ На Никольской улице в Москве сосредоточивалась с конца XVIII в. торговля лубочными

книгами.

2 Комитет Грамотности при Московском обществе сельского хозяйства (1845—1895) ставил своей целью «всемирное распространение грамотности» и с этой целью издавал дешевые книги. С 1885 по 1895 г. издания комитета в значительной части выполнялись и распространялись фирмой Сытина.

3 Чертков В. Г. (1854—1936) — ближайший последователь Л. Н. Толстого и пропагандист его идей. Организатор издательства «Посредник», пропагандировавшего религиозно-нравственные идеи Толстого. В 1885—1894 гг. книги «Посредника» печатались и распространялись фирмой Сытина,

4 Александров А. А. — издатель газет «Русское Образование» и «Русское Слово» (1895—1897)

5 В 1897 г., к которому относятся описываемые события, Александров передал Сытину права издателя газеты «Русское Слово». Поскольку Сытин числился не вполне благонадежным, для получения такого разрешения от Главного управления по делам печати потребовалось неофициальное одобрение обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева.

Публикация Н. П. СОКОЛОВА

Письма Николая II А. Г. Булыгину (1905 г.) и С. Д. Сазонову (1914 г.)

Николай II, император. Письмо министру иностранных дел Сазонову С.Д., 14 июля 1914 г. / Сообщ. [и вступ. ст.] М. В. Фалалеевой // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 189—190. — [Т.] I.

Письмо Императора Николая II Министру иностранных дел С. Д. Сазонову. 1914 г.

Публикуемое ниже письмо последнего российского Императора Николая II к Министру иностранных дел Сергею Дмитриевичу Сазонову написано 14(27) июля 1914 г., т. е. за пять дней до начала Первой мировой войны. Оно является еще одним свидетельством попыток предотвратить схватку, столь невыгодную для России в то время. Это был период так называемого «Июльского кризиса» (промежуток между сараевским убийством 15(28) июня, которое спровоцировало конфликт между Австрией и Сербией, и началом войны 19 июля (1 августа) 1914 г.), когда все важнейшие державы мира вели дипломатическую борьбу между собой.

Австро-сербский конфликт не сулил России никаких благ, так как поддержать свою союзницу Сербию значило пойти на риск столкновения не только с Австрией, но и с Германией. В Министерстве иностранных дел России это прекрасно понимали и надеялись на смягчение конфликта. Министр Сазонов, например, считал, что если Англия, Франция и Россия ясно и недвусмысленно заявят в Берлине о своей солидарности, то это может отрезвить германские правящие круги, а без поддержки Германии Австро-Венгрия вынуждена будет отступить. По-видимому, об этом и идет речь в публикуемом документе. Из письма следует, что Николай II предлагал передать спор Австрии с Сербией на рассмотрение Гаагского трибунала — международного третейского суда (tribunal arbitral), предусмотренного Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 гг. для мирных способов разрешения межгосударственных споров. Однако надежды на союзников не оправдались.

Письмо Императора хранится в фонде Романовых (ОПИ ГИМ, ф. 180, № 82280).

Николай II — С. Д. Сазонову

Николай II — С. Д. Сазонову

Сергей Дмитриевич,

Я вас приму завтра в 6 часов.

Мне пришла мысль в голову и чтобы не терять золотого времени — сообщаю ее вам.

Не попытаться ли нам, сговорившись с Францией и Англией, а затем с Германией и Италией, предложить Австрии передать на рассмотрение Гаагского трибунала спор ее с Сербией.

Может быть минута еще не потеряна до наступления уже неотвратимых событий.

Попробуйте сделать этот шаг сегодня — до доклада, для выигрыша времени. Во мне надежда на мир пока не угасла.

До свидания.

14 июля 1914 г.

Николай.

Сообщила М. В. ФАЛАЛЕЕВА

Николай II, император Письмо Бульгину А. Г., 18 октября 1905 г. // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 189. — [Т.] I. Петергоф.

18 Октября 1905 г.

Александр Григорьевич,

При теперешних обстоятельствах я вполне понимаю причины, побуждающие просить вас об увольнении от должности Министра Внутренних Дел. С сожалением выражаю согласие на эту просьбу и от души благодарю вас за вашу преданность мне в течение последних трудных месяцев.

Николай.

Сообщил Б. Т. МОРДВИНЦЕВ

Николай II, император Письмо Бульгину А. Г., 13 августа 1905 г. // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 189. — [Т.] I. 13 Августа 1905 г.

Я решил уволить Варшавского Генерал-Губернатора Генерал-Адъютанта Максимовича от должности, а на его место назначить его помощника по званию командующего войсками — Генерал-Адъютанта Скалона, разумеется, с совмещением обеих должностей. Я объявил это сегодня Военному министру при докладе.

Николай.

Николай II, император Письмо Бульгину А. Г., 14 июля 1905 г. // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 189. — [Т.] I. 14 Июля.

При представлении мне Генерала Дурново я ему объявил о моем желании назначить его Генерал-Губернатором в Москву.

Прошу вас позаботиться о доставлении мне указа, т. к. я не знаю, кто должен мне представить таковой — вы, или военный министр, или Государственный Секретарь?

Николай.

Николай II, император Письмо Булыгину А. Г., 3 июня 1905 г. // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 188. — [Т.] I. 3-го Июня.

Посылаю вам случайно попавшееся мне объявление Ярославскаго Губернатора. Вот образчик разумной и предупредительной деятельности местной власти. Если бы во всей России были такие губернаторы, много спокойнее было бы в стране нашей.

Объявите Роговичу мое полное одобрение и удовольствие.

Николай.

Николай II, император Письмо Булыгину А. Г., 25 мая 1905 г. // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 188. — [Т.] I. 25 Мая 1905 г.

Печать за последнее время ведет себя все хуже и хуже.

В столичных газетах появляются статьи, равноценныя прокламациям, с осуждением действий высшего Правительства.

Назойливыя писания о Земском Соборе и учредительном собрании, никем не опровергаемыя, совершенно искажают смысл возвещенных мною в манифесте и рескрипте от 18 февраля предначертаний.

Такое отношение печати к актам Государственной важности поселает в умах читателей превратное понятие о действительном положении вещей и. сбивая с толку все слои общества, производит смуту.

Против этого необходимо теперь же принять возможные меры, тем более что в законе предусмотрено вредное влияние «обманчиваго непостоянства самопроизвольных толкований».

Полагаю, что при той широкой свободе, которой пользуется у нас печать, ей необходимо от времени до времени давать директивы, печатая в Правительственно> Вестнике, по мере надобности, разъяснения и опровержения.

Я очень надеюсь, Александр Григорьевич, что вы сумеете найти способы, со спокойной твердостью, воздействовать на редакторов, напомнив некоторым из них верноподданнический долг, а другим и те получаемые ими от Правительства крупныя денежныя поддержки, которыми они с такою неблагодарностью пользуются.

Николай.

Николай II, император Письмо Булыгину А. Г., 22 мая 1905 г. // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 188. — [Т.] I. Александр Григорьевич,

Возвращаю прошение ваше об увольнении от должности. Мы живем в России, а не в какой-нибудь республике, где Министры ежедневно подают прошения об отставке.

Когда царь находит нужным уволить министра, тогда только последний уходит со своего поста.

Мое доверие к вам нисколько не поколеблено; вы мне еще нужны и поэтому вы останетесь.

22 Мая 1905 г.

Николай.

Мордвинцев Б. Т. [Письма Императора Николая II министру внутренних дел А. Г. Булыгину] // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 187—188. — [Т.] I. В 1966 г. в Государственный Исторический музей от гражданина Франции Л. А. Гинзбурга поступил ряд документов по истории России XVIII — начала XX в. В коллекции — подлинники документов Петра I, Екатерины II, Павла I, Александра I. Кроме того, в специальном альбоме находятся несколько писем, написанных Николаем II в 1905 и 1910 гг., а также письмо С. Д. Сазонова А. П. Извольскому от 1906 г. Все письма снабжены переводами на французский и английский языки. Ниже публикуется часть этих материалов — письма, написанные Николаем II в 1905 г. (ф. 424, ед. хр. 301, лл. 6, 9, 10, 15, 16, 21). Есть основания предположить, что эти документы ранее не привлекали внимания исследователей.

Письма № 1, 2 и 6 (по нумерации публикации) написаны черными чернилами, а письма № 3, 4, 5 — простым карандашом на почтовой бумаге с императорским гербом.

Публикуемые письма Николая II адресованы Александру Григорьевичу Булыгину (1851—1919), известному государственному деятелю России конца XIX — нач. XX в. Он исполнял обязанности Министра внутренних дел с 20 января по 22 октября 1905 г., в тот сложный период русской истории, когда неудачи в войне с Японией сопровождались ростом революционного движения. 18 февраля 1905 г. был опубликован Высочайший манифест, в котором русские люди призывались к объединению вокруг престола, и в тот же день подписан Высочайший рескрипт на имя А. Г. Булыгина, в котором возвещалось намерение «с Божиею помощью привлечь достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений». Для осуществления этой цели учреждалось Особое Совещание во главе с Булыгиным и на него возлагалась выработка проекта закона о созыве Государственной Думы.

Однако Булыгин не пользовался полным доверием влиятельных кругов, а многие меры, предпринимавшиеся Министерством внутренних дел, в действительности исходили от Д. Ф. Трепова. Назначенный почти одновременно с Булыгиным Петербургским генерал-губернатором с особыми полномочиями, в мае 1905 г. он стал также и товарищем Министра внутренних дел, заведующим полицией и командующим Отдельным корпусом жандармов. Таким образом, позиция Булыгина была еще более ослаблена. К этому времени и относится прошение Булыгина Николаю II об отставке, ответ на которое публикуется под № 1. Особое внимание привлекают две фразы этого письма: «Мы живем в России, а не в какой-нибудь республике, где Министры ежедневно подают прошение об отставке». И следующее: «Когда Царь находит нужным уволить министра, только тогда последний уходит со своего поста». Две эти фразы дают читателю более наглядное представление о сути самодержавия, чем многие страницы иных исторических сочинений.

Во втором письме по почерку можно определить, что написано оно царем в сильном раздражении. К тому были причины. Проводившаяся предшественником Булыгина на посту Министра внутренних дел князем П. Д. Святополк-Мирским политика «доверия» правительства обществу, выражавшаяся, в частности, в смягчении цензуры, не привела к ожидаемым результатам. Более того, январские события резко усилили критику правительства, а обещание царя от 18 февраля о созыве законосовещательной Думы привело к требованию созыва Учредительного собрания. Все это вызывало раздражение Николая II. А какая-нибудь журналистская капля могла переполнить чашу терпения царя и вызвала указание о применении к

прессе административных и финансовых мер.

Интересно и третье письмо. Внимание к А. П. Роговичу со стороны Императора позволило сделать ему блестящую карьеру. Если в 1904 г. Рогович был Ярославским генерал-губернатором в звании камергера и имел чин действительного статского советника, то в 1907 г. он уже товарищ обер-прокурора Святейшего Синода, тайный советник, сенатор и гофмейстер.

Документы № 4 и 5 касаются перемещения ряда высокопоставленных лиц царской администрации. В письме № 4 упоминается П. Н. Дурново. Назначенный в тот же день — 14 июля — Московским генерал-губернатором, он не оправдал ожиданий Императора, не смог навести порядок в Москве и в ноябре 1905 г. был заменен более решительным адмиралом Ф. В. Дубасовым.

Последнее письмо относится к октябрю 1905 г. С изданием Манифеста 17 октября последовало и формирование нового Совета Министров под председательством С. Ю. Витте. По его представлению пост Министра внутренних дел занял П. Н. Дурново, и прошение Булыгина об отставке на этот раз было Николаем II удовлетворено.

“Первые дни свободы в Москве”

Первые дни свободы в Москве: Письменный экзамен за V класс учеников Московской консерватории о Февральской революции 1917 г. в Москве / Публ. [и вступ. ст.] О. И. Самсоновой // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 191—204. — [Т.] I.

Так называлась тема, предложенная ученикам Московской консерватории на письменном экзамене за V класс, состоявшемся 22 марта 1917 г., спустя несколько дней после начала революционных событий в Москве, свидетелями и участниками которых были юные авторы сочинений.

Московская консерватория имела репутацию одного из лучших учебных музыкальных заведений России. К 1917 г. число учащихся в консерватории доходило до 849.

С юношеским восторгом авторы сочинений описывают картины «московской революции»: митинги и манифестации в разных местах города, аресты жандармерии и городских, переход войск гарнизона на сторону народа, «революционный парад» перед зданием Московской городской думы 6 марта 1917 и так далее. Характерно, что суждения молодых «граждан» России почти совпадают с оценками событий со стороны старших представителей русской художественной интеллигенции. «На улице множество народу... — так описывал свои впечатления от тех же событий известный художник К. А. Сомов, — поднятое настроение... Народ приветствовал полк моряков, мне было весело и радостно»*.

Московская география описываемых событий широка. В сочинениях упоминаются: Красная площадь, памятник А. С. Пушкину на Страстной площади, Скобелевская (ныне Советская площадь), Садовническая улица (ныне ул. Осипенко) и др. Некоторые сочинения написаны в традиционной форме «писем к друзьям» или родственникам.

Эти самобытные и весьма ценные документы хранятся в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея**.

Барышева Н. Н. От себя. 22 марта 1917 г.

Дорогая сестра!

Спешу поделиться с тобой теми впечатлениями, которые я получила за последние дни. Так как

газеты первые дни не выходили, то вы, конечно, не могли знать того, что происходило у нас в Москве, и довольствовались только слухами, в которых всегда больше фантазии, нежели правды. Я опишу тебе всё с самого начала. В конце февраля ходили слухи о предстоящем роспуске Г. Думы. Настроение было у всех очень плохое, все как-будто чего-то ждали. В день роспуска Г. Думы нам сказали об этом по телефону, так что мы уже до выхода вечерних газет это знали. Говорили ещё о каких-то волнениях в Петрограде, но не очень ясно. Вечер прошёл спокойно как

всегда. Утром я пошла в консерваторию на урок: всё было спокойно, только движение как-будто оживлённее. Трамваи ходили всё реже и реже и, наконец, совсем перестали. Народу шло всё больше и шли преимущественно все в одну сторону, именно к Городской думе. Когда по окончании урока я вышла на улицу, то народ уже валил целыми толпами. Весь этот день мы не выходили, но телефон звонил беспрестанно; со всех сторон сообщали новости одна другой интереснее и радостнее. На другой день мы пошли на улицу, не забыв надеть красные банты. На улице было целое гулянье, люди шли сплошной массой, весело разговаривая. Извозчики исчезли так же, как и городские, точно по волшебству. Быстро проносились автомобили, наполненные солдатами и студентами, которые разбрасывали воззвания и отчёты о текущих делах. С возвышенных мест студенты призывали народ к спокойствию и порядку.

Проходили взводы солдат сдаваться к Г. Думе. Милиционеры проводили арестованных полицейских. Несколько дней продолжалось такое приподнятое настроение. У нас всё обошлось без кровопролития за исключением нескольких случаев. Особенно зверски убили одного пристава: его бросили в реку и забросали камнями. Этот случай показывает, что народу, с виду покойному, стоит только дать малейший повод, и он обратится в зверя.

Пока, целую крепко, твоя сестра.

Витолин Я. О. Первые дни свободы в Москве. 22 марта 1917 г.

28 февраля вечером как-то зашёл ко мне товарищ, служащий в известной фирме NN помощником управляющего. Я попросил его снимать пальто и предложил стакан чаю.

— Ты слышал новости? — говорит Василий Иванович.

— В Петрограде уже новое правительство.

— То есть?

— Да, да. На днях была революция. Войска уже присоединились к народу. Завтра то же самое у нас будет.

Я, конечно, не поверил, и скоро мы перешли на другую тему.

На следующий день я встал и через окно видел, что трамваи уже не идут. Я предчувствовал, что, может быть, и на самом деле, мы находимся накануне великих событий. В часов 10 утра явился ко мне опять Василий Иванович.

— Ты что сегодня не работаешь?

— Сегодня нигде не работают, все около Городской Думы. Там речи говорят и т. д. Одевайся скорее, идём.

Мы вышли на улицу и мне представилась невероятная картина: народ толпами идёт по направлению к Гор. Думе с красными знамёнами и песнями о свободе. Издали слышен оркестр, играющий «Марсельезу». Я встретил двух товарищей, учеников консерватории, которые тоже сообщили, что сегодня никаких занятий нет и мы все присоединились к толпе.

Гутовский. 22 марта 1917 г. От себя. «Первые дни свободы в Москве».

1-го марта с/г я видел с утра массу народа, с флагами и песнями шедшего в городскую думу выразить свою солидарность. А второго марта начали постепенно присоединяться и войска Московского гарнизона. Второго марта с/г начальник 1-го Московского Интендантского вещевого склада просил меня собрать оркестр и отправиться с командой 1-го Московского интендантского вещевого склада в городскую думу для присоединения к новому правительству. В два часа дня 2-го марта команда 1-го Московского Интендантского вещевого склада построилась в полном составе с офицерами и чиновниками в Садовниках; через двадцать минут подошла к нашей команде грандиозная партия рабочих фабрики «Поставщик». Когда команда с рабочими двинулась по Садовнической улице в городскую думу, то мне с оркестром пришлось играть всю дорогу «Марсельезу». Команда с оркестром выразила свою солидарность новому правительству и обратно возвратилась в склад.

5-го марта по приказанию командующего войсками Московского военного округа был назначен парад всем войскам гарнизона Московского округа. Начальник 1-го Московского Интендантского вещевого склада тоже самое пригласил меня собрать оркестр на парад. Когда команда 1-го Московского вещевого склада проходила церемониальным маршем, то адъютант командующего войсками прапорщик «Ушаков» подошёл ко мне и сказал, что командующий войсками подполковник «Грузинов» приказал вашему оркестру играть до тех пор, пока все части гарнизона пройдут церемониальным маршем. Когда оркестр играл «Марсельезу», то публика всё время приветствовала.

Диброва Саввы. Первые дни свободы в Москве. 22 марта 1917 г.

Уважаемый Конон Петрович!

Спешу уведомить тебя о случившемся в Москве перевороте, который произошёл в пользу нового правительства. Эта перемена на меня так подействовала, что я не мог не написать тебе. Жители Москвы, как высшего, так и низшего класса, и даже все солдаты сплотились в одно целое в течение трёх дней и не потерпели никаких жертв. Нельзя было этому не удивляться, потому что таких революций не было ни в каких государствах. 27 февраля 1917 г. утром я ещё не выходил на улицу и даже не думал скоро выходить, попил чай и хотел было приниматься за уроки. Как вдруг, хозяйка прибежала ко мне в комнату вся в испуге, задыхавшись и почти в слезах стала мне рассказывать о случившемся на улице. Я сначала было испугался и считал, что революция без погромов и пушечных выстрелов не обойдётся. И что же, это было для меня удивлением. Всё было тихо и покойно, нигде не оказалось никаких погромов и не слышал ни одного выстрела. За всем этим я наблюдал сначала только со двора. Я боялся, что всякую минуту вдруг откуда-нибудь затрещат пулемёты, жертв, оказалось бы. не перечислить. Почти до половины дня я боялся выходить со двора, но потом, глядя на народное спокойствие, я решил пойти на Красную площадь, где находится Городская Государственная Дума. Ты, кажется, хорошо знаешь Красную площадь, она вся была переполнена народом, даже не было возможности пройти сквозь такую массу.

Драненко Г. Первые дни свободы в Москве. 22 марта 1917 г.

Из дней, в которые свершился переворот в России, в моей памяти останется навсегда день 4-го марта 1917 г. В первые дни революционного движения я никуда не выходил из дому и мало знал, что происходит в центре Москвы, потому что далеко жил от центра. 4-го марта я направился к Тверской улице и вот, когда я вышел к Кремлю, я увидел необыкновенное зрелище: тротуары были запружены народом, а войска шли и ехали с красными флагами и революционными надписями. Всюду я слышал, что войска и народ слились воедино, старое правительство свергнуто и настали радостные дни свободы. Весь народ радовался по случаю такого события и выражал чувства любви и ликования в революционных песнях и криках «ура». Всё это посылалось солдатам и офицерам, которые ехали и шли по улицам. Было что-то

необыкновенное. Захватила в свой водоворот нового пришельца эта гигантская волна радости, которая не так скоро выпускала кто в неё попадал. Я пел песни, кричал «ура» и только к вечеру пришёл домой. На следующий день у меня болела голова и горло, но эта боль была мне приятна. 4 марта никогда мне не забыть.

Еленева Василия. 22 марта 1917 г. От себя.

Дорогой друг!

Спешу с тобой поделиться необычайным событием, происшедшим в Москве. 28 февраля жители Москвы как низших, так и высших классов возмутились против старого правительства и решили его свергнуть. Уже давно чувствовала Россия, что правительство их притесняет. Масса лиц немецкого происхождения служила России. Измены, шпионство и всевозможные притеснения с каждым днём росли. И, наконец, Россия не выдержала. Я, очевидец всего, что произошло в Москве, хочу описать тебе. Сперва заметны стали на улицах толпы людей. Стали принимать деятельное участие студенты: собирались толпами и добивались удаления государя и старого правительства. Войска того же хотели и разделяли мнение народа. Присоединялись к нему без колебаний. Это было самым важным, без чего народ не добился бы своей цели. И тогда стали ездить солдаты, студенты на автомобилях с обнажёнными шашками и красным флагом. Народ их встречал громогласным «ура!». Единение было необычайное и поэтому революция прошла некровопролитно, за исключением немногих случаев. Это единственная революция, прошедшая без крови и жертв. Единственное сопротивление оказывали жандармы и полиция. И когда войска подошли к манежу, в котором укрывались жандармы, то они не хотели сдаваться. Солдаты объявили, что будут стрелять. Тогда жандармы сдались, но не перешли к ним и остались верны старому правительству. Полиция поступила так же.

Ефременков. 22 марта 1917 г. От себя.

На улицы в самую гущу ликующей толпы попал я только второго марта, когда наша московская революция была в самом разгаре. Улицы были переполнены празднующей и ищущей зрелищ публикой. Радостные дни свободы слили всех в один неразрывный поток ликующих толп: чернь, рабочий, господин в котелке, гимназисты, курсанты, студенты, дамы с детьми — всё это с лентами и бантами в петлицах пестрело, волновалось и широким морем разливалось по улицам Москвы. С грохотом проносились автомобили, наполненные революционными войсками. Проходили войска с красными флагами на ружьях, и тех, и других толпа приветствовала громкими криками «ура». На душе было странно и необычно; всё происходящее кругом казалось каким-то сном, долгожданным, но вера в который стала было спадать под гнѐтом рухнувшего наконец режима. Было так легко и свободно, что, казалось, будто после длительного и кошмарного путешествия, мы все вновь вернулись к себе домой к родному очагу и твёрдой ногой ступаем по родной, любимой земле. Однако мысль, что мы все живѐм как-бы на пороховом погребѐ и, что одной неосторожно брошенной искры достаточно, чтобы погубить всё славное дело свободы, меня не покинула в течение всех первых дней революции. Целых три дня ликовала Москва, стихая к ночи, и снова поднималась на ноги с рассветом. С утра до ночи дефилировали с музыкой и песнями войска, двигались несметные толпы манифестантов с лозунгами свободы на красных плакатах, шумели автомобили, гремело несмолкаемое «ура». Особенно приятно было наблюдать, что, несмотря на разбушевавшееся море стихийной народной жизни, всюду был образцовый порядок, радовало сознание, что народ добыл себе свободу кровью и страданиями, заслужил её по праву. Так прошли дни великого обновления России в Москве, когда стало ясно, что великое дело свершилось и что грозная туча реакции не заслонит яркого солнца свободы. Всё ещё не верилось и мысль вопрошала: «Не сон ли всё это?» До того сокрушительно быстро был небывалый в истории по своей стремительности переворот.

Аделаида Жакевич. 22 марта 1917 г. Дни свободы.

Последние дни февраля и первые числа марта — это исторические великие дни для Русского

Государства, для Русского Народа, а также и для других национальностей, входящих в состав Русского Государства. Наконец, пришёл для России тот исторический момент, который долго ждали передовые люди. Настал час, когда многомиллионный русский народ проснулся, стяхнул со своих рук кандалы, наложенные ему в течение многих сотен лет самодержавием, окружившим свой трон людьми, не имеющими ничего общего с потребностями русского народа. Бывший царь и бывшее правительство были глухи и немые на вопли и стоны народа, истекающего кровью в мировой борьбе с германцами. Мало того — всюду измена, измена, идущая от венценосных людей. Этого долготерпеливый русский народ перенести не мог. Восстал он объединённый, опрокинул подгнивший, огерманизированный трон, а вместе с ним и всех лиц, стоящих у этого трона, заражённых германской гангреной. Власть, принадлежавшую бывшему правительству, взяли на себя лучшие сыны своей родины, сыны, поставленные народом, который вполне доверился им!

Революция, сколько ты пролила крови во всех государствах, где ты появилась с красным флагом!.. Сколько за революцию пролили крови французы и другие народы! Сколько крови пролила ты и в России в 1905 году! А между тем теперешняя революция стоит так мало, а совершился такой колоссальный переворот! Это чудо! Французская революция в 1792—93 году создала гильотину, русская же — уничтожила её.

Я, как поляка, не знала сблизка русского народа и мне было непонятно, что он настолько созрел, что будет в силах совершить такой грандиозный переворот. Да здравствует этот мне братский народ, который сумел проснуться и встать в критическое для себя время сбросить старый режим, взять в свои руки защиту Родины. Да поможет тебе всемогущий Бог, дорогой русский брат, несущий себе и мне, поляке, свободу.

Жарчинская. 22 марта 1917 г. Первые дни свободы в Москве.

Во вторник утром 28 февраля я собиралась идти в консерваторию, но пришла мама и сказала, что я сегодня останусь дома, так как начинается революция. Мне не хотелось пропускать уроки и я просила маму пойти, кое-как мама меня пустила. Я пошла и не заметила на улице ничего нового, везде было спокойно. Я пришла в консерваторию, у меня состоялся урок музыки, после урока я встретила подруг, и первые вопросы их были относительно революции. От них я узнала, что по улице становится опасно ходить, всюду разъезжают войска, а в некоторых местах даже перестрелки. Я подумала, не лучше ли мне пойти домой, но мне не хотелось пропускать уроки. Но я скоро узнала, что уроков нет и всем сказали идти домой. Классная дама собирала учениц, спрашивала кто где живёт и советовала по каким улицам не ходить. Я сошла вниз и увидела там маму. Я поспешила одеться, но это было очень трудно, так как в раздевалке происходила такая суматоха, что нельзя было ничего разобрать. Но вместе с тем было очень весело и интересно. Мне хотелось скорей выйти на улицу, чтобы посмотреть, что там происходит. Кое-как мне удалось одеться и я вышла с мамой на улицу. Тут я увидела сильное движение народа. На каждом квартале стояли войска на лошадях и с оружием. Было как-то странно, но мне было любопытно, потому что я никогда не видела и не знала, что такое революция. Я просила маму пойти на Тверскую, потому что слышала, что там происходит что-то более интересное. Мама согласилась и мы зашли домой только на минутку, чтобы позавтракать. Но мне было не до того и я всё торопила маму. Наконец мы вышли. На нашей улице было тихо, только у всех я увидела красные бантики. Мы дошли до Страстной площади и здесь я увидела то, что хотела. Вся площадь была полна народу. Говорили речи, которые прерывались криками «ура!». Памятник Пушкина был украшен красными флагами. Но моё внимание было обращено на арестуемых полицейских, которых вели студенты, как-то жаль было смотреть на них, хотя лица у всех казались спокойными, но было неприятно, когда их дразнили. Тут показался автомобиль с красными флагами, их было встретили громким «ура!». Оказалось, что ехал Грузинов. Он остановился, произнёс речь, потом было громкое «ура!». Автомобиль тронулся и уехал. Но показался другой автомобиль, он ехал и бросал газеты в толпу, мне удалось поймать одну газету. Мы прошли дальше и здесь увидели почти то же самое мне хотелось пойти ещё куда-нибудь, но мама сказала, что устала и хочет идти домой и одну меня не оставит. Мне было досадно, но

пришлось повиноваться и мы ушли. Дома мне было скучно, но мне удалось ещё пойти вечером и опять я видела везде красные банты, автомобили; вели арестованных и всюду слышалось «ура!»

Жительский А. М. 22 марта 1917 г.

Дорогой папа!

Спешу тебе описать день 28 февраля в Москве, надеюсь, что ты из газет знаешь, что революция в Москве началась 28 февраля 1917 г. Выйдя из консерватории, я увидел толпу, идущую с красными флагами. Я с моим товарищем примкнули к толпе и пошли по направлению к Кремлю, по дороге пели революционные песни: Марсельезу, Дубинушку и другие, за которые теперь никто не закрывает мне рта, как было это раньше. Я помню как ты пугал меня тюрьмой за то, что я любил петь эти песни в детстве, а теперь твой сын поёт на улице среди товарищей, которые так же выражают этой песней радость, восторг и приподнятые свои чувства. Я думаю, что ты тоже поёшь, ведь ты тоже любишь свободу, о которой ты много говорил, но говорил, что она нескоро будет и тебе не дожить, а вот видишь, пришлось. Я был прав, говоря тебе, что ты доживёшь до той счастливой поры. Папа! Я отвлекся от описательной темы, но можно ли удержаться от личных переживаний? Я остановился на том, что пошёл к Кремлю. Там ораторы говорили речи, которые покрывались громким «ура» той массой народа, которая находилась на Красной площади до вечера.

Но что это?! Это было только начало, а потом стало появляться много солдат и офицеров с Красными бантами, их банты говорили за то, что они есть друзья народа и они готовы пролить кровь за народную свободу, купленную дорогой ценою у поработителей Родины.

На другой день стало известно, что арестован градоначальник и другие блюстители порядка. Власть стала переходить в руки революционных партий. Порядок соблюдался самими гражданами (я пишу «гражданами», т. к. мы теперь все граждане). В городе жизнь была приостановлена, магазины закрыты, трамваи не ходили, так как все служащие принимали участие в манифестациях. Так продолжалось пять дней и теперь жизнь вошла в норму, всё тихо, покойно и даже стало лучше, чем было прежде.

Иванова В. Первые дни свободы в Москве. 22 марта 1917 г.

Ярко светит мартовское солнце. На улице шумно, многолюдно. Я стою коло окна в моей комнате. Свежий воздух врывается лёгкими струями, обвевая мою голову. Мне весело, я смотрю на толпу, как странно движется она, как будто плывёт. Моё окно находится в третьем этаже большого каменного дома. Мне интересно наблюдать за этим новым, необычайным для меня зрелищем. Я живу вместе с ним. Как разнообразна толпа. Здесь и студенты, и курсистки, и простые рабочие. Всех невозможно разглядеть. Все движутся, мелькают, у всех радостные, немного растерянные лица. Все куда-то спешат, торопятся. Но вот до моего слуха долетели звуки полковой музыки. Сперва неясные, отрывистые, но вот уже они ближе, яснее. Я уже различаю темп какого-то марша. Мне хочется совсем открыть окно и высунуться, но я этого не делаю... Стою в каком-то нервном нетерпенье и ожидаю солдат. Но вот уже показались передние ряды с музыкантами. Толпа сгустилась, затрепетала как-то. Впереди идёт офицер, в руках у него красное знамя. Лицо его серьёзно, голова высоко поднята вверх. Я посмотрела на солдат, у всех у них красные ленты на груди. Идут красиво, ровно легким плавным движением, под звуки красивого марша. Некоторые лица серьёзны, почти строги и замкнуты, а у других — смеющиеся, задорные, открытые. Странное сочетание тоски и смеха. Вот уже промелькнули последние ряды. Но толпа ещё гуще, разнообразнее. Теперь музыка чуть слышна, гул толпы заглушает её. Мои глаза, я чувствую, начинают уставать. Голова слегка кружится. Кругом меня так ново и необычайно. Но вот толпа отхлынула, я встрепенулась. Мимо неся автомобиль с несколькими офицерами. Я успела разглядеть только первого из них, который держал в руках обнажённую шпагу. Опять промелькнули ярким пятном красные ленты, и автомобиль скрылся. Я отошла от окна. стало почему-то грустно.

Карпова А. Первые дни свободы в Москве. 22 марта 1917 г.

Вставши утром 28 февраля, я увидела в окно большую толпу народа, мне очень захотелось скорее бежать на улицу, мне Москва показалась совсем другой. Везде шёл народ с красными флагами и красными ленточками, и все пели революционные песни. Полки солдат проходили за полками, одни играли на трубах разные марши, другие с простыми гармониями, а то просто шли с балалайками и бубнами. Такая толпа то густела, то редела. И когда народ немножко расходился, в это время пролетал автомобиль, полный солдатами и студентами, и всё это было опять украшено в красные ленточки. Я отправилась по Волхонке, потом по Моховой, когда подошла к углу Воздвиженки, то дальше нельзя было идти никак, здесь до того столпились солдаты со студентами, что даже, мне кажется, мышь не могла сквозь толпу пробежать, в этой толпе виднелись изредка автомобили, в которых был хлеб, хлеба было так много, что его издали можно было принять за какую-то жёлтую гору; тут же сидели студенты с курсистками и уписывали хлеб, как видно со стороны с большим аппетитом. Шум был везде невероятный. То тут, то там было слышно громкое «ура!» Народ ходил весь день радостный, некоторые в этот великий день не обедали. Куда ему обедать, ему в ряд ходить только по улице, да кричать громкое «ура!».

Когда я вернулась обратно к дому, мне опять встречались толпы шумящего народа. Но вот почему-то толпа раздвинулась и несколько человек, стоящих со мной, бросились бежать в ту сторону, и я тоже побежала (меня всё время толкали то туда, то сюда как-то невольно за людьми). Смотрю едет несколько саней, а в них сидят каторжники. Боже! На них смотреть было нельзя: это были не люди, а какие-то смерти, они были бледны до того, что когда один из них прилёг от изнеможения к своему товарищу, у которого был положен белый носовой платок, то трудно было его отличить от платка. На них смотреть было без слёз нельзя, когда на них смотришь, то думаешь: вот-вот кто-нибудь из них умрёт. Но вот они проехали и опять пошёл народ со своими красными флагами. Так я и дошла до своего дома. Придя домой, наши уже садились за стол обедать и дожидались меня. Оказалось потом, что не я одна бегала, а что все наши ходили по улицам Москвы и теперь за обедом рассказывали где что случилось. Все очень жалели, что газет не было.

Корецкий Александр. О первых днях свободы в Москве. 22 марта 1917 г.

Дорогой друг!

Ты сам даже не понимаешь как тебе не везёт! Через три дня после твоего отъезда у нас вспыхнули такие события, о которых, кажется, никто не забудет. Но не приходи в уныние. Я тебе напишу всё то, что видел и слышал в продолжении этих нескольких дней.

27 февраля, вечером, я пришел домой из театра и впервые услышал об известиях из Петрограда: старого правительства больше нет. Я этого никак не мог себе представить и считал эти известия не совсем правильными. Позвонил по телефону в редакцию газеты и спросил, подтверждаются ли эти известия или нет. Но ответа не получил.

По городу весь день 28-го февраля носились такие же слухи; шёпотом передовались они из уст в уста. К вечеру того же дня вдруг исчезли все городовые. Представь себе улицу без городского и много народу шедшего на Воскресенскую и Красную площадь, совершенно свободно по тротуарам и мостовым.

Рабочие приостановили работу на трамвайной станции, на фабриках и, весело соединившись с пестрой толпой, шли к Городской Думе. Пошёл и я с ними. Подойти к Думе мне не удалось, но настроение толпы я уловил. Все очень любезны в обращении друг с другом, радостны, никаких криков, только и слышно: «Товарищ, разрешите пройти» или в этом роде.

На улицах, отдельными кучками в 10—20 человек, стоят, разговаривают или читают прокламации.

Вот автомобиль-грузовик, весь засыпанный солдатами, студентами и рабочими, обвешанный красными флагами, проносится по улице, встречается толпой радостными криками «Ура». К сожалению, в этот день я ничего больше не увидел, так как был сильный мороз и я принуждён был пойти домой.

Так, каждый день я продолжал интересоваться этими событиями с утра до поздней ночи. Об уроках не было и речи, потому что было совсем другое настроение и невозможно было усидеть дома. И даже теперь, когда почти всё затихло, я никак не могу привыкнуть, что Россия свободная страна и что нет всего того, что такое долгое время лежало пудовыми камнями на душе у всех. Итак, теперь мы в свободной стране. Всего лучшего. Пиши. Твой А. Костюшенко Г. 22 марта 1917 г. Первые дни свободы в Москве. Передо мной книга. Большая, красивая, с кожаным переплётом и со множеством мелко испещрённых страниц. Я ценю эту книгу, как драгоценный клад, как друга, который никогда мне не изменит. Здесь вся моя жизнь, все мои мысли, все переживания и я вновь открыл её, чтобы занести на её белые доверчивые 199 страницы свои новые, совсем неожиданные, но вместе с тем сильные переживания. Как странно слушать мне теперь слова: «свобода», «революция»!.. Неужели всё уже кончилось?! Неужели это страшное слово «революция», которая так пугала меня в детстве (в 1905 году), и о котором я лишь с ужасом читал в истории, теперь в 1917 г. можно произносить так свободно, так легко и открыто?! Неужели я пережил её?! Как странно!.. «Пережил!»... Я видел её... Да я видел — это вернее. Ведь я лишь наблюдал и... только. А «переживают» в полном смысле этого слова лишь те, кто действует, кто рискует. Но, хотя я только наблюдал, я всё же чувствовал всё так же, как и другие. Волна всеобщего нервного напряжения залила мою душу и заставила её вместе со всеми, волноваться за настоящее и радоваться за будущее. Я был со всеми. Везде хотелось быть. Семь дней было сплошной тревогой, но зато 5 марта все ликовали и праздновали свою великую внутреннюю победу. Я не забуду этого дня, ибо впервые в своей жизни я видел такую грандиозную картину. Войска в огромном количестве выстроились на Красной площади, а вокруг по прилегающим улицам и другим площадям разлилось ликующее море людей. На домах, автомобилях, в руках людей и на груди у каждого развивались красные флаги. Яркое весеннее солнце заливало всё это своими тёплыми лучами и сообщало всему происходящему ещё большую красоту и торжественность. Штыки солдат сверкали как молнии, а высоко, высоко в воздухе реяли аэропланы. О, как необыкновенно всё это! И как красиво! С сияющим восторгом Москва пережила это великое историческое событие. Крыжин И. 22 марта 1917 г. Первые дни свободы в Москве. 1-го марта в Москве было получено из Петрограда известие, что старый строй пал. Это известие с быстротой молнии разлетелось по всей Москве. Через некоторое время улицы быстро стали наполняться народом. Все ликовали, что наконец-то Россия избавилась от тиранов и стала свободной страной. На зов Петрограда откликнулись все от малого до большого. Войско через два дня всё примкнуло уже на сторону нового правительства. Когда солдаты шли из своих частей к Городской Думе, чтобы выразить своё сочувствие новому правительству, народ приветствовал их дружными криками «ура». Солдаты, в свою очередь отвечали на приветствие криками «Да здравствует свободная Россия и новое правительство!» В эти великие дни весь народ сплотился воедино; все чувствовали невыразимую радость, так как во имя свободы каждый готов был пожертвовать собой. Во всё время революционного движения порядок был образцовый, поддерживался он студентами. Весь переворот произошёл быстро и без кровопролития, как ни в одной культурной стране. История этот переворот отметит на золотой странице. Через пять дней в Москве всё вошло в свою колею и жизнь пошла нормальным порядком. Кузнецова Л. 22 марта 1917 г. Первые дни свободы в Москве. В первый день революции у меня был урок в консерватории. Когда я вышла из дома, то меня поразила тишина, которая царила на улицах. Во-первых, не было слышно шума трамвая. Накануне нам было сказано в консерватории, чтобы мы избегали главных улиц и мне пришлось сделать большой крюк, чтобы достигнуть консерватории. Пробыв там несколько часов, я пошла домой по Тверской. На улицах было огромное движение. Толпы народа сновали и туда, 200 и сюда. У всех на лицах отпечатывалась радость, ликование, все были охвачены общим настроением. Вдруг до меня долетел громкий крик «ура» и постепенно

он усиливался всё больше и больше и перешёл наконец в какой-то общий гул. Народ приветствовал солдат. Один из них шёл впереди с огромным красным знаменем, на котором выделялись ясно белые буквы: «Да здравствует свобода!» Какое-то необыкновенное чувство охватило меня и мне кажется, что такое чувство было положительно у всех. А меня толпа несла всё дальше и дальше. Даже кружилась голова от такого огромного движения. Это было целое море голов. Я не знала на чём мне остановить своё внимание. Говор людей, шум автомобилей всё сливалось в один гул. Интересная была картина, когда вели околоточных и городских под арест.

На них посыпался целый дождь бранных слов. Ребятишки, которые еле-еле говорят, и те накинулись на них. Одним словом, ни одного лестного слова не слышалось из народа, все были настроены против полиции. Михайлова. 22 марта 1917 г. Первые дни свободы в Москве. Выйдя на Тверскую улицу и увидя большое скопление народа и большое оживление, я почувствовала — что-то случилось. Движение было большое; народ восторженно кричал революционерам, а особенно военным. Одни за другими мчались автомобили, сообщая народу: то взят арсенал, такой-то арестован. Лица у всех были радостные, а некоторые, недоумевая спрашивали: «Что это значит?» Было хорошо и приятно следить за тем, что будет дальше. Неприятно только действовало, когда проходила полиция, над которой смеялись. Ведь они служили своему начальству и этим кормили свою семью. Так длилось несколько дней. Только странно видеть теперь улицы без городских, но и к этому привыкнет глаз. Мурашко Е. 22 марта 1917 г. Первые дни свободы в Москве. 28 февраля мы все были неожиданно обрадованы известием, которое принесла курсистка Чистякова, которая у нас снимает комнату: «Идите, идите скорей! — кричала она возбуждённая — туда, где все равны, где русский народ впервые свободно и широко вздохнул». Мы все бросились к ней: «Куда идти, что ты говоришь?» — «Туда, на площадь, к Городской Думе, там сейчас находится и борется наша свободная Россия». Мы все бросились за ней, что-то зашумело в голове, какая-то волна прилила к сердцу, стало так весело, как никогда в жизни, хотелось каждого обнять, хотелось кричать: «Свершилось, свершилось то, что столько лет ждала Россия, за что наши деды, наши прадеды шли в ссылку, клали свои головы на плаху, завещая своим внукам бороться так же, как они и добиться, добиться, наконец, того, что наши дети или внуки, вздохнули свободно; свободно развивались и могли бы честно протянуть руку своим союзникам, и гордо подняв голову, теперь уже с чистой совестью становиться в ряды граждан на фронт, защищая свою страну, свободную от гнёта». Стоя там в толпе, возбуждённой и ликующей, я с большим интересом вглядывалась в эти как-бы родные лица и невольно всплывали слова: «Ведь сколько терпел русский человек, сколько гонений, предательств, унижений, а вот свергнул царя, завоевал себе свободу и счастлив и нет у него злобы, ненависти, отвращения к своим гонителям; с ласковым лицом, смеясь, он провожает своих мучителей (городовых и приставов) добродушно подсмеиваясь над ними; мне кажется, что в этом выражается вся красота его души, которая ещё больше теперь разовьётся и станет впереди всех и создаст полную гармонию и красоту 201 в мире». Позади меня раздался голос: «Товарищ, поздравляю». Я оглянулась и встретила глазами со своим двоюродным братом Богдусём Клопотовским, поляком и завзятым революционером. «Ну, что, как?» И сияющими глазами он показывает на толпу. «Смотрите, это всё наши братья, теперь свободные граждане, теперь в их руках всё и они создадут будущую Россию и протянут нам руку братства и товарищества. И мы теперь тоже вздохнём после такого кошмарного существования; да, мы теперь будем жить», и ещё что-то говоря он побежал к своим товарищам студентам, которые были милиционерами и приближались все обвешенные ружьями и другим оружием. Они вели толпу городских в штатских платьях, которые шли кто опустив голову на грудь, а кому, как казалось, было весело и он шёл улыбаясь, и добродушно смотря на свободных граждан, в душе такой же свободный гражданин, как все. Целые дни мы проводили на улице, держали цепь и всячески старались принести с собой бюллетени, которые с нетерпением ждала наша мама. Ведь это первые живые слова, первые весточки, которые принесла с собой весна. Я недавно была на митинге художников, и там один оратор (фамилию не помню) сказал: «Мы просили открыть форточку, но нам её захлопнули навсегда, и мы выбили потолок, перед нами открылось небо, светлое голубое небо и перед нами открывается даль — широкая, полная прекрасных обещаний, которые, мы теперь уверены, всегда будут выполняться». Сейчас экзамены, я сижу целый день дома, готовлюсь, учу, а кругом жизнь кипит. Мои братья, мои сестры целые дни на сходках, на

митингах (они все учатся: кто в университете, кто на курсах). Целый день только и разговоров что о политике, и все мы верим и ждём, что эта весна в России принесла и принесёт ещё больше, ещё прекраснее. Мой отец — поляк, он уже мечтает, что уедет к себе в Польшу, к своему родному и теперь свободному народу, а я останусь в России, которую ещё больше полюбила и узнала за эти первые дни свободы в Москве. Панова Л. 22 марта 1917 г. От себя. Первые дни свободы в Москве. Ещё с вечера 27 февраля я узнала от подруги о важных событиях, совершившихся в Петрограде, роспуске Государственной думы и присоединении части войск к восставшим против старого режима. На другой день я и в Москве ожидала тех или иных событий революционного характера и не ошиблась. Я отправилась по направлению к Городской Думе и уже по дороге к ней увидела массу народа, направляющихся с красными флагами и с пением революционных песен. Вся площадь между Городской Думой с одной стороны и Московской гостиницей с другой была полна народу. Среди них небольшую часть занимали городовые и конные жандармы, которые расположились около самой стены Городской Думы. Народ собирался всё больше и больше и было ясно, что полиции не под силу бороться с этим натиском громадной толпы. Вечером, впрочем, её уже не было видно; у наглухо запертых ворот Кремля расположились на ночь жандармы. На другой день я отправилась к той же самой площади, но подойти к ней не могла, т. к. меня от неё отделяло целое море людей, лишь издалека я могла видеть это происшествие около Городской Думы. Моё внимание приковали к себе громкие крики «ура». Я с чувством большого любопытства влезла на кучу снега и смотрела на это любопытное зрелище: возле Иверской стояла толпа и махала белыми платками, а мимо, по направлению к Кремлю, тянулись бесконечной вереницей пехотные войска, это шли солдаты, присоединившиеся к революции. Все улицы были полны движения, во многих местах народ собирался, расспрашивая друг друга о случившемся. Иногда из толпы выделялись 202 люди, которые читали о петроградских событиях. На третий день события приняли решительный характер. С Ходынки пришла артиллерия, за нею сотни автомобилей с вооружёнными ружьями солдатами. Вот они направились к Кремлю и скоро я услышала, что в руки революционных войск сдался арсенал и что на сторону революционеров перешли все правительственные войска, остававшиеся до тех пор верными прежнему режиму. Паренов. 22 марта 1917 г. Первый день свободы в Москве. Первого марта в Москве погода была морозная. В 9 часов утра я вышел из дома и пошёл на Тверскую улицу. Здесь перед моими глазами предстала грандиозная картина, которая у меня в памяти останется вечно. Вся Тверская была заполнена народом. У памятника Скобелеву какой-то студент говорил речь; толпа его приветствовала громким «ура». По дороге шла громадная толпа с красными флагами и пели «Марсельезу». Здесь же проходили стройными колоннами солдаты, каждый из них имел на груди красный бант, вид они имели весёлый, народ их приветствовал, смотрел на них смело и видел в них уже не царских слуг, а народных защитников, которые поняли, что лишь вместе с народом можно завоевать себе свободу. В двенадцатом часу дня я пробрался к Городской Думе, где был взят солдатами на автомобиль, который отправлялся вместе с командой для ареста полиции. В Газетном переулке нам вся полицейская команда сдалась без боя и мы вместе с полицией отправились в Городскую Думу, где и сдали её под стражу. Подобедова. 22 марта 1917 г. Первые дни свободы в Москве. С насмешливой улыбкой проводили мы старую власть и стали праздновать свою победу. Везде чувствовалось торжество и на всём был отпечаток радости. Улицы Москвы представляли грандиозное зрелище. Я никогда не забуду этой величественной картины колыхающегося моря людей, которые сплошной массой двигались по опустевшим улицам города. Трамваи не ходили, извозчиков тоже не было видно. Все они пришли сюда порадоваться на наше общее торжество. Чувствуется, что врагов у этой толпы уже нет. Были обидчики, были притеснители, но всё это в прошлом, всё это уже отодвинулось куда-то в сторону и сметено с народной души. Нет врагов и потому нет злобы, да и никому не хочется сердиться, колыхающаяся толпа плавно двигалась вперёд. Красные ленточки и флаги нежно трепещут на груди взрослых и детей и придают народу праздничный вид. Шутки и юмор не покидают толпы. Только изредка проезжающий автомобиль с арестованными городовыми нарушает это праздничное настроение. Москва не любит своей старой полиции, при встрече относится враждебно. Вот проехал грузовик с красным флагом, переполненный городовыми. Все стоят хмурые, с опущенными головами. «Ишь, мордастые... дождались... На войну бы их... Пушки бы ими зарядить...» Слышатся крепкие остроты и снова смех и

беззаботность. Улыбка не сходит с уст революционного народа. «Да здравствует свобода!» — читаешь у всех на устах и поёшь ей гимн. Пророкова М. 22 марта 1917 г. Первые дни свободы в Москве. Когда утром я вышла из дому, на улицах толпился народ; настроение народа было беспокойное, не все ещё были уверены в присоединении полков к народу. Вскоре войска все стали за народ и это радостное событие пролетело по всей Москве. Народ восторжествовал и все, кто только мог, были на улицах 203 и площадях. Настроение было неопишное, все почувствовали свободу, которую так долго ждал русский народ. Я в первые дни большую часть времени проводила на улице, сидеть дома в такой торжественный праздник было невозможно. По улицам ходили толпы народа со знамёнами и революционными песнями, каждый автомобиль с военными и студентами встречался криками «ура». Станевский Е. 22 марта 1917 г. Первые дни свободы в Москве. Дорогой друг! Сообщаю тебе радостную весть. У нас свершился великий переворот, старая власть пала. Наконец выглянуло то радостное солнце после длинной и мучительной темноты, которое горит именно не тем светом обыкновенного солнца, а светом более сильным и могучим. До тебя эта весть ещё не дошла, но жди это солнце. Оно придёт и покажется во всём своём прекрасном величии и ярком блеске. Мы будем все надеяться, что оно не зайдёт. Итак, «Да здравствует свобода!» Ты себе не можешь представить, как я радовался в тот день, когда, наконец, эта широкая и могучая Россия сбросила со своих плеч ту тяжесть, которая душила её в продолжении стольких лет. Теперь Россия молода, прекрасна и сильна. Да здравствует Россия со своими детьми. Итак, 28 февраля 1917 года настала великая свобода. Ах, какой чудный диссонанс — свобода. Толпы народа шли по улице с красными флагами, с бантами, с радостно возбуждёнными лицами. Вот слышится такое известие: полк такой-то сдался, батальон такой-то перешёл на сторону народа и ещё, и ещё всё больше известий, которые принимаются радостными криками «ура» и звуками гимна. Прости, товарищ, что, кончая письмо, но спешу туда, туда, где открывается завеса новой, прекрасной жизни. Твой друг. Фирсова Т. 22 марта 1917 г. Первые дни свободы в Москве. Революция в Москве началась двадцать восьмого февраля, во вторник. В этот день я на улицу не выходила, потому что была нездорова и не видела, что там делалось. Но была очень напугана своим братом, который говорит, что на улицу выходить опасно. На другой день, в среду утром, я пошла в консерваторию. У нас за Москва-рекой было всё спокойно, только на улицах было много народу, так как не ходили трамваи. На Красной площади тоже было спокойно, только закрыты Кремлёвские ворота. На Воскресенской площади было много народу, который стоял кучками и что-то читал. На Тверской я увидела вот что: идёт автомобиль, к нему подходят несколько солдат с ружьями наперевес и что-то говорят. Из автомобиля выскакивает какой-то человек и бежит быстро под крик и смех мальчишек. Автомобиль увозят к Думе. Из консерватории я шла в одиннадцать часов. На Тверской и Воскресенской площади стояла цепь рабочих, позади массы народа и говорили, что те ждут артиллерию, которая должна скоро прибыть. Около часу прибыли войска. Народ приветствует их громким «ура». У солдат радостные лица. Они отдают честь и идут к Думе. По улицам стали разъезжать грузовые автомобили с солдатами и учащимися. Где они ехали, там им кричали «ура!». Милиция очищает Воскресенскую площадь и просит меня с братом уйти от ворот Александровского сада, т. к. артиллерия будет стрелять в арсенал и в Манеж, которые ещё не сдались. Без десяти четыре открылись Никольские ворота и Кремль сдался. На другой день я выхожу из дома в девять часов и иду на Воскресенскую площадь, народу масса, у всех красные банты. У Думы делается что-то ужасное. Со всех улиц туда идут войска. 204 Их приветствуют восторженным «ура». Народ приветствует их восторженнее всех. Шапки летят чуть не на четвёртый этаж. Ура, музыка сливается в один торжественный гул. У всех солдат на ружьях, на фуражках, на погонах красные банты. По улице идут толпы народа с красными флагами, на которых написано «свобода». Вечером у Кремля горели огромные костры, у которых грелись часовые солдаты и народ; все читали прокламации, которые разбрасывали из автомобилей. По улицам ходили милиционеры, которые следили за порядком. Царёв С. 22 марта 1917 г. Первые дни свободы в Москве. Первые известия, полученные из Петрограда о роспуске Государственной Думы, не было неожиданностью для всего населения, а в особенности в Москве, как центре России. Это уже предчувствовал каждый человек, который горячо любит свою Родину, что при сложившихся обстоятельствах старое, выжившее из своего времени правительство существовать не может. Я прочитал в «Вечерних известиях» о роспуске

Думы 28 февраля и как-бы предчувствовал дни великих событий. Рано утром 1 марта были известия, что город находится на осадном положении. Газет не было никаких, узнать что-либо, что происходит вокруг нас, было трудно. Вдруг мимо наших окон промчался автомобиль с тремя вооружёнными студентами и двумя солдатами при красном флаге, за ним другой, третий. Хотелось мне сходить на улицу и узнать что-либо о прошедшем, но это оказалось невозможным, выходная дверь была заперта. В 8 ч. утра заиграли сигнал для начала занятий по военным законам. Никто уже и не думал о старых, заученных нами законах, все думали о происшедшем перевороте. Вечером был поставлен усиленный караул, чтобы никто к нам, а также и от нас не мог выйти. 2 марта утром первым достоверным источником была газета «Московский Листок», стали читать. Подходит подпрапорщик, берёт газету и рвёт её. То, что произошло в этот момент трудно даже описать. Моментажно вся рота, как один человек, негодуя на своё начальство, за то, что держит нас в неведении, оделась и решила пойти в Думу и отдать себя новому правительству на защиту прав народной свободы. Швайковский С. 22 марта 1917 г. Милая мама! Спешу тебе описать первые дни революции. Был я в консерватории и ничего не знал, но, когда я вышел на улицу и увидел огромную толпу идущего народа, они все пели «Марсельезу», я, конечно, к ним примкнул и пошел на Театральную площадь. Пришли на площадь и стали говорить речи. Кто-то начал говорить: «Долой войну!», но его чуть-чуть не побили. Мама, как было радостно на душе, когда пели «Марсельезу» и говорили речи, но когда начали стрелять, тут я не знал, что мне делать, но решил остаться. Потом мы собрались, человек 12, и пошли искать городских и околоточных. Забавный случай: приходим к околоточному на квартиру и спрашиваем: «Здесь живёт господин околоточный?» Нам говорят: «Здесь, но его нет дома.» Мы поискали, не спрятался ли где-нибудь, но ничего не нашли; тогда мы решили уходить, подходим к дверям, а нам на встречу маленький мальчик лет 4-х и говорит: «А папа в печке». Вот было смешно, весь грязный, лохматый вылез из печки, ну мы его арестовали. Публикация О. И. САМСОНОВОЙ Сноски к стр. 191 * Сомов К. А. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979, с. 174. ** ОПИ ГИМ, ф. 424, оп. 1, ед. хр. 164-а.

Воспоминания В. Я. Ирецкого о Н. С. Гумилеве

Ирецкий В. Я. Воспоминания о Н. С. Гумилеве / Публ. [вступ. ст. и примеч.] Н. В. Снытко // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 205—211. — [Т.] I.

Имя беллетриста Ирецкого (Виктора Яковлевича Гликмана) (1882—1936) — автора воспоминаний о Н. С. Гумилеве — знакомо лишь узкому кругу литературоведов. Ирецкий начал печататься в 1906 г. и ничем не выделялся среди многочисленной пишущей братии начала XX века. Особого таланта судьбой ему отпущено не было, но работоспособность, целеустремленность, деловитость помогли ему держаться на уровне среднего писателя, отмеченного, впрочем, в 1910 г. Гоголевской премией Общества любителей российской словесности. Сотрудничая в бесчисленном множестве газет и журналов того времени — «Вестнике Европы», «Речи», «Современном Мире», «Солнце России», «Сатириконе» и других, он помещал там статьи, рецензии, очерки на злобу дня, рассказы. В 1916 и 1921 гг. в Петрограде вышли сборники его рассказов «Суета» и «Гравюры».

В 1918 г. Ирецкий вместе с Н. Волковыским и Б. Харитоном принял участие в основании «Дома Литераторов», где встречались и подкармливались в те голодные годы петроградские писатели и поэты. Посещал «Дом Литераторов» и Гумилев.

В 1922 г. учредители «Дома Литераторов» в составе группы интеллигентов, отобранных по малопонятному признаку, были высланы из Советской России. Ирецкий, Волковыский и Харитон оказались в Берлине. Свободно владевший немецким языком Ирецкий развил в Берлине бурную деятельность: активно участвовал в создании «Союза русских журналистов и писателей», стал членом «Немецко-русского товарищества», «Союза немецких писателей и композиторов», принимал участие в работе русских издательств в Берлине и Париже, сотрудничал в русских

принимал участие в работе русских подпольных в Берлине и Париже, сотрудничал в русских эмигрантских газетах «Россия», «Звено», «Возрождение», «Дни», «Руль», «Сегодня», «Наш Век», выходивших в Берлине, Париже и Риге. Казалось, дела его шли неплохо, во всяком случае лучше, чем у многих российских литераторов в эмиграции. Но Ирецкий проглядел надвигающуюся опасность. Берлин постепенно, но со все возрастающей быстротой «коричневел». Друзья по эмиграции благоразумно и своевременно разъехались кто куда. Ирецкий остался. Было ему всего лишь 54 года. Причина его смерти осталась невыясненной. Оснований предполагать, что он окончил жизнь в концлагере, не имеется. Свою национальность Ирецкий скрывал, и среди товарищей по изгнанию предателей, кажется, не было.

Архив Ирецкого (в составе материалов Русского заграничного исторического архива) был привезен в Москву из Праги после окончания второй мировой войны. Находящиеся в нем воспоминания о Гумилеве были написаны в 1931 г. в Берлине. Ирецкий бережно хранил в своей памяти встречи и разговоры с Гумилевым. Но следует сказать, что упоминаемую им в воспоминаниях «Петроградскую правду» Ирецкий, очевидно, не читал. Гумилев был арестован 3 августа 1921 г., а 1 сентября в «Петроградской правде» было опубликовано официальное сообщение «О раскрытом в Петрограде заговоре против советской власти», и там, в перечне расстрелянных, значится имя Гумилева: «Гумилев Николай Степанович, 33 л.*, б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии «Издательства Всемирной Литературы», беспартийный, б. офицер. Участник ПБО**, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности».

Доказывать что-либо о принадлежности Гумилева к заговору, само существование которого вызывает сомнение, — не наша задача. Нам остается лишь сказать спасибо Ирецкому за то, что он понял, какого поэта потеряла в 1921 г. Россия.

Н. С. Гумилев и С. М. Городецкий.

1910-е гг.

23 года назад. 1908-й год. В редакции появляется очень странный — для редакции русской газеты — человек. Он в цилиндре, в белых лайковых перчатках. Он весь напряженный, накрахмаленный, надменный. Это бросается в глаза еще и потому, что он очень некрасив. Даже уродлив. С безжизненно спокойным лицом, растягивая слова, он произносит первую же фразу с дикцией и отчетливостью декламатора. Речь идет о том, что он принес библиографическую заметку о чьих-то стихах. Небольшую заметку в 60 строк. Но он произносит это так торжественно, так важно, точно принес с собой нечто самое нужное, самое ценное для газеты. А между тем молодая газета на 80 % серьезно политическая. Литературно-критический отдел только терпится, как вынужденная необходимость. Редактор, принимая тощую рукопись, наклоняет голову — вероятно для того, чтобы скрыть свою улыбку.

Этот новый сотрудник газеты — Николай Степанович Гумилев. Он появляется затем в редакции несколько раз, приносит не только критические статьи, но и рассказы. И даже стихи. Но торжественная манера разговаривать с редактором неизменно та же. Проходит много лет, совершается революция, наступает голод и террор, люди уныло пригибают спины, стараются быть незаметными, научаются говорить приниженным тоном, выдавливая на лицах своих виноватые улыбки, — но Гумилев тот же. Сейчас на нем, правда, не цилиндр, но яркая доха из тюленьего меха с цветной каймой. Он такой же напряженный, не сгибает спины и не только не принижает своего тона, но напротив — говорит высокомерно, особенно с пролетарскими поэтами — всякими Жижморами¹, Садофьевыми², Самобытниками³. Вероятно, точно так же он разговаривал впоследствии со следователями из Чеки. Когда я однажды даю ему понять, что его тон восстанавливает против него пролетарских поэтов и делает их его врагами, он невозмутимо отвечает: только так и надо с ними разговаривать. Этим я поднимаю в их глазах поэзию. Пусть и они таким тоном говорят, если они действительно поэты.

Мы живем почти рядом. Я — угол Солдатского и Знаменской. Он — угол Солдатского и Преображенской. Очень часто мы вместе возвращаемся из Дома Литераторов с Бассейной. Большею частью я только слушатель, поддерживающий беседу; говорит он и говорит при этом занятные вещи.

Так, из его собственных уст я узнаю, что с юношеских лет он чувствует себя конквистадором, которому предназначено совершать подвиги, опасные путешествия и вообще путь по линии наибольшего сопротивления. Вот почему он два раза ездил в глубину Африки, в Лапландию и добровольцем отправился на фронт. И искоса посмотрев на меня, он говорит:

— По-моему, я такой же и в поэзии. Здесь меня прельщает преодоление труднейших форм. Недаром я взялся переводить Теофиля Готье, которого, как вы вероятно знаете, называли укротителем слов.

В другой раз он признается мне, что если бы родился несколько раньше, он несомненно стал бы авантюристом.

— Впрочем, — говорит он, — не исключена возможность, что я им еще буду. Ведь мы сейчас снова живем в эпоху средневековья, т. е. когда люди задаются большими замыслами, колеблются между Богом и Дьяволом. Я — из их числа.

В третьей уличной беседе он раскрывает предо мной свой восторг перед историческими людьми и героями.

— Какое счастье для человечества, что были, например, царь Соломон и царица Савская! Великие личности — это сокровища, остающиеся в памяти людей. Без таких сокровищ скучно было бы жить.

Ту же мысль он высказывает месяца два спустя в стихотворной семинарии в Доме Искусств, где он обучает искусству писать стихи. Но его аудитория состоит не только из молодых людей, мечтающих о писательской славе. Его слушают и заправские поэты вроде Георгия Иванова, Осипа Мандельштама, Владимира Пяста.

Говоря о том, что должен знать поэт, он на первом месте ставит историю.

— Поэт должен знать и любить историю. Герои истории это те образы, которые всегда должны пламенеть в душе каждого поэта. Когда я произношу два имени Ромула и Рема — предо мной встает вся культура Древнего Рима. Для меня это нечто вроде камертона, наводящего на определенную настроенность.

Кстати, вся эта лекция Гумилева посвящена тому, что должен знать поэт. Он говорит спокойно, деловито, без тени пафоса, как и полагается мастеру, обучающему цеховых. Он ведь на поэзию смотрит как на мастерство. Он мастер цеха поэтов. И созданный им цех поэтов он ни за что не хочет влить в союз писателей и однажды в заседании Комитета Дома Литераторов бросает ошарашивающую нас фразу:

— Поэт не всегда писатель.

Между прочим, он обещал мне как-нибудь пояснить свою мысль, но так и не успел.

Так что же должен знать поэт? Гумилев сидит на столе и курит трубку. Перед ним группа слушателей в 25 человек. Комната — нетопленная. Все в шубах, в калошах, высоких сапогах. Кое у кого на спинах мешки, из которых выглядывает вобла. Мастера не шокирует его мастерская. Гумилев невозмутимо говорит.

— Поэт должен быть знаком, как я уже сказал, с историей, а затем с географией, с мифологией, с астрологией, с алхимией, с наукой о драгоценных камнях. Это — незаменимые источники образов, в совокупности своей являющиеся частью общей науки об эйдологии — науки об образах.

Не знаю как вам, но мне в этих деловитых, простых словах, произнесенных поучающим тоном, слышится далекий голос старинного мастера, передающего своим ученикам секреты своего цеха.

Иногда в этом же семинарии чтение своих стихов он начинает после такого предисловия:

— В результате моих долгих занятий мифологией я написал следующие стихи.

Гумилев производил впечатление человека твердого, решительного, с крепким позвоночным хребтом, без малейших следов интеллигентской неврастении, без так называемой рефлексии. Сказано — сделано. Обещано — будет исполнено. Мне нередко приходилось иметь с ним деловые отношения по Дому Литераторов и меня, признаться, всегда привлекала его мужественная манера отчетливо говорить «да» или «нет», его аккуратность и верность слову. В те времена нелегко было столкнуться с кем-нибудь хотя бы насчет самой пустяшной вещи; либо человек раздумает и потом трусливо избегает вас, либо не имеет мужества отказать вам и лукавит, либо просто забудет. Гумилев был человек внутренней дисциплины и честный в своих словах.

Я как-то шутливо сказал ему:

— Вы были бы хорошим купцом.

Он ответил серьезно:

— Я и есть купец. Я продаю стихи. И смею вас уверить, делаю это толковее других. Попробуйте-ка стихами прокормить семью. А я это делаю. И мне это даже нравится, потому что это всем кажется невозможным.

Отправляясь в свою последнюю поездку в Крым, он пришел ко мне в библиотеку и просил меня передать Дому Литераторов его предложение: пусть Дом Литераторов выдаст ему известную сумму денег; на эти деньги он приобретет изюм, сахар и белую муку; половину этого «товара» он возьмет себе, а другую часть отдаст Дому Литераторов.

Я обещал ему доложить об этом на ближайшем заседании, но не утерпел, чтобы не заметить:

Вы, Николай Степанович, что-то не своим делом занимаетесь.

Нет, нет, — возразил он серьезно. — Я предпочитаю добывать себе еду таким способом, чем литературной халтурой. Вот халтурой заниматься не буду.

А вернувшись из поездки, он занес мне в Библиотеку отпечатанный в военной типографии в Севастополе новый сборник его стихов («Шатер») и сказал:

— Вот видите, я даром времени не терял: и съездил, и изюм раздобыл, и книжку стихов успел отпечатать — в 10 дней.

Честная прямота Гумилева, естественно, породила много врагов ему. Он читал лекции в Пролеткульте, в Балтфлоте и даже в Горохре (городская охрана), где обучал писать сонеты... милиционеров. Повсюду, конечно, ему приходилось выступать и в качестве стихотворного судьи и произносить свои приговоры. Само собой разумеется, большей частью его приговоры были безжалостны. Но милиционеров или матросов его неодобрительные отзывы вряд ли сильно задевали, а вот в Пролеткульте, где на его суд являлись заслуженные пролетарские поэты вроде

Жижмора, Маширова-Самобытника, Садофьева — там против него нередко поднималось негодование. А от негодования в Советской России всего только один шаг к доносу в Г. П. У., тем более, что Гумилевым произносились такие фразы:

— Пролетарской поэзии не существует. Могут быть только пролетарские мотивы в поэзии.

Или:

— Каковы бы ни были стихи — пролетарские или непролетарские — но пошлости в них не должно быть. А ваши «барабаны», «вперед», «мозолистые руки», «смелее в бой» — это все пошлости.

А однажды он прямо в лицо заявил жижморам и самобытникам:

— Поэтами вы никогда не будете. В лучшем случае вы будете версификаторами, да и то плохими.

С такой же прямоотой он подчас высказывался и о своих политических убеждениях. Однажды он прочел свое стихотворение, посвященное Африке и вошедшее потом в сборник «Шатер». Одна строчка из него вызвала гул в публике:

Я бельгийский ему подарил пистолет

И портрет моего государя.

— Когда он сошел с эстрады, у него спросили:

— Вы это иронически или серьезно насчет портрета?

— Конечно серьезно, — ответил Гумилев.

— А вы разве Николая II любили?

— Любить я его не любил, потому что он не соответствовал моему идеалу монарха. Но вообще-то я монархист.

То же самое говорил он и мне. И я думаю, что точно такой же ответ получил допрашивавший его следователь Чеки. Гумилев был бесстрашный человек; он охотился на львов, за храбрость получил два солдатских Георгия. И я не сомневаюсь, что на обычный вопрос чекистского следователя о его политических взглядах, Гумилев, должно быть спокойно глядя ему в лицо, не без надменности сказал:

— Я монархист.

По крайней мере, когда в петербургской «Правде» был напечатан список расстрелянных по Таганцевскому делу, там рядом с фамилией каждого расстрелянного было точное указание, в чем заключалось его преступление. В чем же состояло преступление Гумилева? В этом трагическом списке казенный некролог поэта заключал в себе всего только одну строчку:

Гумилев Николай Степанович, монархист.

Насколько я его знал, кажется, в самом деле только в этом и была его вина.

Критики и исследователи творчества Гумилева много раз указывали, что к концу своей жизни он был полон предчувствия приближающейся смерти. Полюбен сказать, что наблюдая его последние

Он полон предчувствия приближающейся смерти, должен сказать, что последил его последние три года, я этого не замечал. Наоборот, несмотря на невзгодливое бытие того времени, он был жизнерадостен, энергичен, полон надежд. Его книга стихов «Огненный столп» была еще в печати, а он уже придумал заголовок следующей своей книги, смысл которого подчеркивал середину, а не конец: книга должна была называться «Посредине странствия земного». Стоит также отметить, что в последние месяцы перед своей гибелью он был влюблен и далеко не безнадежно. И вернувшись с юга, загорелый, бодрый, он в сравнении с нами, прозябавшими под бледным петербургским небом, казался сияющим от радостно-здоровой полноты жизненности.

Я скажу больше. Мы тогда все были подавлены и угнетены. Мы начинали забывать, что такое смех. Над нами беспросветно нависало черное солнце меланхолии, и упорно донимала нас мысль, что никогда оно не сойдет с неба. А Гумилев как ни в чем не бывало ходил по русской долине смерти и не только никогда вслух не скорбел, не жаловался — а, напротив, воспринимал сущее спокойно, с легкой усмешкой.

Я даже как-то сказал ему:

— Вы как будто и не замечаете того, что творится вокруг.

— Ну, как не замечаю! — недовольно ответил Гумилев. — Отлично вижу. Но я ведь вам когда-то говорил, что люблю пути наибольшего сопротивления. Чтобы было что преодолевать. А теперь есть что преодолевать: опрощение, тиф, голод, Чека. Опасности на каждом шагу. Чем — не Африка!

Близкий Гумилеву поэт Георгий Иванов подтверждает это другими словами. Он рассказывал, что очутившись после свержения Временного Правительства в Лондоне, Гумилев, состоявший до того в особом корпусе генерала Лохвица⁴, однажды летом 1918 г. обсуждал с приятелями офицерами, что делать дальше. Одни предлагали поступить в Иностранский Легион, другие звали его охотиться в джунгли на диких зверей. Гумилев сказал: «На войне я пробыл три года, на львов я уже охотился. А вот большевиков еще не видел. Поеду в Россию».

Это характерно для Гумилева. Его действительно привлекали опасности и беспокойные приключения, потому что в них находила себе пищу присущая ему мужественность. Оттого и жизнь в Советской России в самые мрачные дни большевизма казалась ему «интересной». «Чем не Африка!».

Увы, красная Африка не оправдала веры Гумилева в свои удачи. Львы и немецкие пули пощадили его. Русская пуля его не пожалела.

И все-таки один эпизод из последних дней жизни Гумилева, как будто действительно говорящий о предчувствии у покойного приближающейся смерти, мне припоминается.

Уже была закончена набором его последняя книга «Огненный столп». Уже были даже отпечатаны два листа. Однажды вечером, когда я сидел в издательстве «Петрополис», кто-то занес письмо от Гумилева. Поэт просил, если возможно, вставить в книгу еще одно стихотворение, крайне важное, по его мнению, для цельности книги. Оно называлось: «Мои читатели». Издатель прочел его вслух. Строки стихотворения, говорившие о том, что автор во всех своих книгах всегда учил читателей спокойно смотреть смерти в глаза, остановили наше внимание.

— Чего это он вдруг? — пожал плечами издатель.

— Кокетничает! — заметил я.

Это случилось за несколько дней до ареста Гумилева. Впоследствии, когда его уже расстреляли,

мы вспомнили об этих строках. А заключительным фактом этих грустных воспоминаний было еще более грустное обстоятельство, тут же установленное: стихи «Мои читатели» оказались последним произведением Гумилева. Передавали, что сидя в тюрьме, он еще что-то написал. Цех поэтов сделал попытку получить из Чеки последнюю рукопись Гумилева, но это не удалось.

Мы очень часто сводим внешние совпадения, сопровождающие эпизоды нашей жизни, в причинную связь между ними. Из уважения к поэту свяжем и на сей раз последние эпизоды в его жизни и поверим в его способность разверзнуть «вещи зеницы», т. е. отдавать себя во власть дионисийской эпифании или видения. Гумилев вполне заслужил этого.

И еще два слова. Когда председатель Всероссийского Союза Писателей, покойный Вольтинский⁵, явился в Чека, чтобы похлопотать за арестованного поэта, председатель Чеки Комаров⁶, выслушав Вольтинского, сказал:

— Поэт Гумилевич? Что-то такого не помню.

Пусть Комаровы не помнят. Важно, чтобы мы его не забыли.

Примечания

Воспоминания печатаются по автографу В. Я. Ирецкого; хранятся в ЦГАЛИ, ф. 2227, оп. 1, ед. хр. 86.

1 Жижмор Максим Яковлевич (1888—?) — пролетарский поэт. Первый (и последний) сборник его стихотворений «Шляпа» вышел в 1922 г. Затем Жижмором было написано несколько пьес («Фигуры», «Бетховен»). Последняя — «Шекспир» — напечатана в 1932 г.

2 Садофьев Илья Иванович (1889—1965) — пролетарский поэт. В 1918 г. издал сборник стихов «Динамо-стихи».

3 Самобытник (Маширов) Алексей Иванович (1884—1942) — пролетарский поэт, сотрудник дооктябрьской «Правды».

4 Имеется в виду Лохвицкий Н. А. — генерал-лейтенант. Командовал Русским экспедиционным корпусом во Франции (1917—1919).

5 Вольтинский (Флексер) Аким Львович (1861—1926) — литературный и балетный критик, историк и теоретик искусства.

6 Комаров Николай Павлович (Собинов Федор Евгеньевич) (1886—1937). Был председателем губЧК с 1918 по 1921 г.

Публикация Н. В. СНЫТКО

П. П. Перцов. Литературные афоризмы

Перцов П. П. Литературные афоризмы / Публ. [вступ. ст. и примеч.] Т. В. Померанской // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 212—236. — [Т.] I.

Петр Петрович Перцов родился 4 июня 1868 г. в Казани. Перцовы — старинная дворянская фамилия. Хорошо и подробно о роде Перцовых сказано в «Воспоминаниях» П. Н. Перцова (двоюродного брата П. П. Перцова)*.

В 1887 г. по окончании курса 2-й Казанской гимназии Перцов поступил в Казанский университет на юридический факультет. Литературную деятельность начал в 1890 г. в столичных газетах

на юридический факультет. Литературную деятельность начал в 1870 г. в столичных газетах «Неделя» и «Новости». Затем стал сотрудничать и в местной печати — в газетах «Волжский Вестник» и «Казанский Биржевой Листок», фактическим редактором которого был А. И. Иванчин-Писарев, публицист-народник, познакомивший Перцова с Н. К. Михайловским.

В 1892 г. после окончания университета Перцов приехал в Петербург и начал работать в журнале «Русское Богатство»; ему было поручено вести библиографический отдел. Сотрудничество с Михайловским продолжалось недолго, весной 1893 г. Перцов возвращается в Казань и возобновляет литературные статьи в «Волжском Вестнике» и «Казанском Биржевом Листке»**.

В 1894 г. Перцов вновь в Петербурге, он сближается с представителями ранних символистов Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсовым. В 1895 г. Перцов (вместе со своим двоюродным братом В. В. Перцовым) выпустил сборник «Молодая поэзия», среди участников которого были К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, Н. М. Минский, Д. С. Мережковский. В 1896 г. Перцов составил и издал сборник «Философские течения русской поэзии». К этому же году относится и знакомство Перцова с В. В. Розановым. Их дружеские отношения продолжались до смерти Розанова в 1919 г. Перцов был издателем и редактором-составителем многих книг Розанова***. Отметим, что деятельность Перцова как издателя никогда не носила коммерческого характера.

В 1902 г. Перцов вместе с Мережковским и Гиппиус приступили к организации религиозно-философского и литературного журнала «Новый Путь», первый номер которого вышел в 1903 г. Вскоре, в результате разногласий, возникших в редакции журнала, Перцов оставил «Новый Путь».

После ухода из журнала Перцов начал активно выступать как публицист, литературный и художественный критик. Он сотрудничал в журналах «Вопросы философии и психологии», «Мир Искусства»; в газетах «Новое Время», «Голос Москвы», «Слово», «Торгово-промышленная газета». Тогда же он перевел работу И. Тэна «Путешествие по Италии».

После революции Перцов долгое время жил в Костромской губернии. В 1921—22 гг. он читал в Костромском педагогическом техникуме лекции по истории общественных движений XVIII—XIX вв., а в Костромском университете — курсы о Гоголе и по истории русской живописи. Литературные работы Перцова того времени касались в основном истории русской живописи и архитектуры. Он выпустил ряд путеводителей по музеям, опубликовал воспоминания о художественно-культурной жизни России конца XIX — начала XX в.

Особое место в жизни Перцова занимала работа над философским трудом «Основания космономии» (другое название «Основания диалогии»), представляющим, по словам Перцова, «попытку установления точных законов мировой морфологии». Работа над этим трудом продолжалась с 1897 г. до смерти писателя в 1947 г.

Публикуемые «Литературные афоризмы» представляют своеобразное дополнение к этой работе. Записи первых афоризмов относятся к 1897 г. В 1920—30-е годы Перцов расширил и систематизировал их. Не имея возможности опубликовать эти тексты, Перцов знакомил с их содержанием своих друзей. Этим объясняется наличие копий «Литературных афоризмов» в архивах Н. С. Ашукина, Д. Е. Максимова, М. А. Цявловского.

Текст «Литературных афоризмов» публикуется по авторской машинописи, хранящейся в ЦГАЛИ в фонде П. П. Перцова (ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 41, лл. 1—23; ед. хр. 42, лл. 19—22).

Литературные афоризмы

О Пушкине

(фрагменты)

1

Основное чувство Пушкина — чувство свободы (не политической, конечно, а творческой). Всегда, когда он говорит о самом себе — он говорит о свободе. Это чувство также характерно для него, как для Толстого — чувство детерминизма. Первый и последний.

2

Пушкин — это бог в борьбе с земными условиями, с «внешней необходимостью». В этом и был корень его трагедии.

3

«Бьется птица в силке» — вот впечатление от последних годов Пушкина и семейной его жизни. И благоразумные люди хотели видеть в нем образец семьянина, что-то вроде Карамзина! «Свобода — он одной тебя еще искал в подлунном мире» («Кавказ. Пленник»). Билась-билась птица — и силок задушил ее.

4

«Что в мой жестокий век восславил я свободу»... Он прекрасно понимал себя. Это мы его не понимаем, воображая, что тут речь идет о пресловутых декабристах, которых он давно забыл. Но о своей свободе он помнил от «Кавказского Пленника» («свобода — он одной тебя») — и до смерти.

5

У Лермонтова напряжение свободы, порыв к ней; у Пушкина — спокойное обладание ею, воздух свободы.

6

Пушкин — одинаково аскет и в любви, и в дружбе: он никогда не отдает себя. Дон-жуанизм и «приятельство» — вот его любовь и дружба. Он везде одинок (единичен). Он чужд религии, потому что слишком молод для нее, — но если бы дожил до старости, подошел бы к ней со стороны аскезы. За это ругаются уже его изумительные стансы Филарету:

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует...

Ибо, как верно угадала легенда, всякий Дон-Жуан есть аскет *in potentia**.v

7

Пушкин — это прежде всего молодость. Тот возраст, когда человек сознал самого себя и минутно остановился на этом. Он наслаждается собой. Он вышел из Общих Начал, и еще не обернулся назад, чтобы определить свое отношение к ним. Эта минута и есть Пушкин.

8

Он совершенно нерелигиозен — вернее, безрелигиозен. И в нем это закономерно. Как законна безрелигиозность молодости. Кто толкует о религиозных качествах Пушкина — не чувствует ни Пушкина, ни религии.

Никогда не было человека, который так переживал бы жизнь, так ее ощущал, как Пушкин. В этом смысле очень характерно его дважды повторенное перед самой смертью восклицание: «Жизнь кончена! Кончена жизнь!» Именно жизнь — личная его жизнь — была всем содержанием его души и поэзии. И самая трагедия с Дантесом субъективно была вызвана, я думаю, прежде всего нарастающим ощущением бледнеющей жизни, погасания ее красок. Он не годился для старости, как для всего «общего». И, смутно ощущая в себе зарождающуюся старость — пошел под пулю, тем сильнее ненавидел молодого «счастливца» Дантеса. И он был когда-то также счастлив во всем.

10

Всего яснее я представляю себе Пушкина в одесский период. Тогда он был в вершине своей жизненной дуги. Тогда же встретил и главную свою любовь (загадочная история в его жизни). После, в Михайловском, он был стеснен; в Петербурге выбит из колеи (особенно с момента нелепой влюбленности в Гончарову). С женитьбы он начинает блекнуть. Для «большой» любви он не годился, как для всякой трансцендентности. Его любовь — легкий дон-жуанизм, минутный «роман», одна из «приятностей» жизни. Как в юности.

В Одессе он был более всего самим собою. Я воображаю его на утренней прогулке, на бульваре, над морем, в голубой солнечный день, в мечтах о своей мимолетной «Belvetril» (гр. Воронцова) или напевающим мотив Россини. Он нигде так не светел, как в тамошних своих стихах:

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей —
Там упоительный Россини,
Европы баловень, Орфей...

И он поет, поет. Никто, ни раньше, ни после не «пел» так, как Пушкин. Сравните его хоть с Лермонтовым — того уже тянет к «рассуждению».

11

Никто не умел так оставаться поэтом, не выходя из жизни. Это секрет, потерянный после Пушкина. После — или остаются в жизни, перестав быть поэтами (Достоевский, Толстой), или поэтизируют вне жизни (символисты, стилисты и т. д.). Нужно уметь прямо из реализма перейти в *realiora**. Это — у Пушкина.

12

Его высшие создания — потому что самые обобщающие — маленькие драмы (особенно «Моцарт и Сальери»). Так же «Египетские ночи» и «Медный Всадник» — поэма героизма, ему еще близкого и с тех пор почти непонятного. Также «Пиковая Дама» — это аполлоническое выражение Хаоса.

13

Лук звенит, стрела трепещет —
И, клубясь, издох Пифон.
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон, —

вот типично пушкинские стихи. Аполлоническое начало во всем его солнечном блеске.

14

Лев Толстой — живопись масляными красками; Тургенев — акварель; Достоевский — рисунок углем; Пушкин — рисунок свинцовым карандашом; Гоголь — фресковая живопись с ее динамизмом и «преувеличениями» (М.-Анжело**, Тинторетт***).

15

Стихи Пушкина — царские стихи; стихи Лермонтова — пророческие стихи. Пушкин — золотой купол Исаакия над петровской Россией, но только над ней. Не он, а Лермонтов — великое обетование.

16

Солнечный мир Пушкина; лунный мир Тургенева; звездный мир Достоевского.

17

Пушкин — имя собирательное.

18

Пушкин не все знал, даже многого он не знал (мистика, современная «сложность»). Но что? он знал, то знал безошибочно. Пушкин и ошибка — «две вещи несовместные».

19

Пушкин ко всему относится извне. Все его стихотворения суть собственно описания. Он еще ничего не принял в себя из мира, но он оглядывает весь мир. Пространство в его поэзии преобладает над временем, как зрение над слухом (пластический тип, а не музыкальный — как Лермонтов).

20

Также «извне» воспринимает он и природу (обратно с Тютчевым). У него нет никакого чувства связи с нею. Она у него остается «равнодушной», потому что в глубине он сам к ней равнодушен.

21

И религия для Пушкина — такой же внешний, вне его самого существующий факт, как и все остальное. У него нет никакой собственной в ней потребности (ср. с Гоголем). «В мире есть, между прочим, и религия — и я напишу, между прочим, отцов-пустынников» и «Подражания Корану». И последнее даже лучше первого. Кому-то нужны эти «отцы», но у меня они — сюжет, как и «Египетские ночи» (рядом), и тысячи других «эхо».

22

Но это не от «безбожия», а как раз наоборот — от богоподобия Пушкина. Он целен в себе, в нем покоится божественная «плирома» — и древние сказали бы о нем: *divus**. У него нет религии, как нет ее у Бога. В мире религия начинается с ангелов, а в русской литературе — с Гоголя, в котором так явно боролись ангельское и демонское начала (с перевесом последнего), и с Лермонтова (в котором преобладало первое).

23

Почему Европа «не приняла» Пушкина (там мало интереса к нему) и почему даже для нас он как

будто «устарел» (при всем гипертрофированном «юбилейном почитании», живем Достоевским и Толстым)? Это потому, что у него слабо развито собственно человеческое начало (прекрасно выяснено еще Гершензоном в его книге «Мудрость Пушкина»). Человек у Пушкина не автономен — не имеет собственной, самозаконной творческой силы. Над всем царит Божественная Стихийная Сила и мир зависит только от Бога. Человек у Пушкина — такое же явление Природы, как все другое, — такое же безо?бразное, безличное. Когда он силен, то той же стихийной силой, как гроза или вихрь (образ Петра). Для Пушкина нет Богочеловечества: для него есть только Бог. Поэтому понятно, что в век особого развития чисто человеческой силы, в эпоху преувеличенного даже самопредставления человека, Пушкин показался чем-то чуждым и «старомодным». Отсюда и наша «писаревщина».

24

Для Пушкина характерно, что его «священное» чувство — дружба, а не любовь. О дружбе он говорит более высоким языком (все упоминания его об этом чувстве звучат каким-то особенным благородством) и переживал он ее, по-видимому, в более возвышенных тонах (отношения к Дельвигу, например). Напротив, любовь у него остается примитивной. «Она» отсутствует в его поэзии, но присутствует во множестве «оне». Во всем этом (как всегда) — полная антитеза Лермонтову («друзей клевета ядовитая»; единственная подлинная любовь к Лопухиной). И снова все это свидетельствует о «древности» (Гершензон), вернее — античности Пушкина. Пушкин был античным моментом русской литературы.

25

Пушкин, так много любивший и любимый, вечно кем-нибудь «огончарованный», — по существу чужд женскому началу, и потому тянется к нему. Что такое пресловутая Татьяна? Мужской идеал женщины: женщина, какой мужчина хотел бы, чтоб она была. И все мужчины пришли в восторг; все критики хвалят. Но спросите женщин, зачитываются ли они «Онегиным», как «Карениной», «Дворянским гнездом» или даже «Обрывом». Из поэтов женщину знал Тютчев (глубина страсти ни у кого не передана так, как у него), а Женственное — Лермонтов, Фет, Владимир Соловьев, Блок; Пушкин даже не догадывается об «Ewig Weibliche»*.

26

Брак Пушкина — характерная «восточная» женитьба старика на молоденькой. Она — явный признак его ранней старости: в 30—32 года Пушкину в сущности уже 60—62. Несомненно, что ни при каких обстоятельствах он не мог бы прожить долго.

27

Письма Пушкина к жене лучше всего обличают характер его женитьбы: тон их — типично-стариковский, деланно-фамильярный; все отношение к жене — покровительственно-ревнивое, вовсе не уважительное; в письмах то и дело мелькают нецензурные слова и строки — «конфертативы»¹ такой любви (ср. напр., с письмами к жене Боратынского — документами той же эпохи). Вся «примитивность» Пушкина сказалась тут ярко. Будь он восточным поэтом, каким-нибудь Саади, он просто взял бы новую наложницу в гарем и продолжал бы писать «газели». Но на Западе, — где есть так называемая «личность», — вышла целая трагедия с молодыми ухаживателями, их старыми покровителями, пасквилями и дуэлями.

28

Основной порок женитьбы Пушкина — то, что он выбрал себе жену, как фаворитку, — по психологии любовничества, а не брака. В браке есть вопрос совместного построения быта, своего рода «деловой» элемент, — и отсюда большая взыскательность личного вкуса. Поэтому нельзя жениться при такой разнице даже не столько лет, сколько всего душевного склада, как в случае Пушкина. Какой быт мог он построить с Натальей Николаевной — сам она менее похотлива

Пушкина. Какой быт мог он построить с Наталией Николаевной — сам еще менее подходя к этой задаче, нежели она? Слишком привыкнув к «играм Киприды», где нет таких затруднений, и лишь по «солидности» лет и общему примеру применив к себе «план» женитьбы, он был обречен на крушение. И женился он, собственно, потому, что Наталья Николаевна не была доступна другим путем — как была доступна, например, Керн. В психологии же своей по-прежнему остался холостяком, дон-Жуаном, Онегиным, не нашедшим и даже не искавшим Татьяны. Отсюда его непрерывные измены своей Наташе (даже с ее сестрой) и невольное тяготение к прежней, холостой, нормальной для него жизни. Ср. замечательный рассказ о нем, как

семьянине, Брюллова, лучше всех его понимавшего (в воспоминаниях Железнова, «Живоп. Обозр.», 1898, № 31).

29

Пушкин, женившись, нарушил закон собственной личности. Этим законом была свобода («никому отчета не давать... для власти, для ливреи», — и ни для чего на свете не делать никаких уступок из этой свободы). Его ошибка — та же, что у Наполеона: один погиб, когда основал династию (связал свой индивидуализм родовым началом); другой, — когда связал себя семьей. Каждый из них должен был оставаться один, чтобы оставаться самим собой. Рок отомстил ему не столько за Н. Н. Гончарову, сколько за него самого.

30

Есть три отношения к женщине: 1) как к гетере, к любовнице; 2) как к супруге, «матери семейства»; 3) как к Мадонне. Любовническое, брачное и религиозное (личное). В первом преобладает тело, во втором — душа, в третьем — дух. Только третье имеет отношение к вечности. Пушкин — античный, эвклидовский человек во всем — знал только первое и напрасно усиливался ко второму, с неизбежностью смешав его в своей брачной попытке с первым. Третьего он, видимо, вовсе не знал, как не знал вообще ничего «потустороннего». Напротив, Лермонтов знал искренно только третье (любовь к Лопухиной-Бахметьевой); он натягивал на себя первое — как все прочие свои «защитные» маски, и был вовсе чужд второму. Тютчев, в своей яркой жизни сердца, идеально углубил второе (ср. стих. «Волна», «Предопределение» и друг.), а в последней любви — к Денисьевой — коснулся третьего.

31

Как исключительно в Пушкине чувство жизни — так в Гоголе чувство смерти. Они взаимно уравновешивают друга друга: Гоголь оттого так и сосредоточен на смерти, что только что Пушкин так много взял от жизни. Тут вся несправедливость духовно-морфологического раздела.

Лермонтов — уже по ту сторону смерти, и тем более по ту сторону «легкой», пушкинской, эвклидовской жизни — «в трех измерениях». Пушкин и Гоголь — это изначальные + и —; Лермонтов ±.

32

«Пушкин — наше все»: формула Апол. Григорьева, до сих пор определяющая наше отношение к Пушкину и поверхностно нами повторяемая. Но она подлежит серьезному пересмотру. Она создалась в тех же условиях петербургской культуры, в тех же горизонтах петровской России, в которых выросло творчество самого Пушкина. Между тем эти горизонты и составляют его границу: явившись в зените петербургского периода — в «ампирный» момент русской истории, Пушкин характеризует его собою, но и сам характеризуется им. Он — такой же «памятник» эпохи, как «Горе от ума» или арка Главного Штаба. Для петербургской России он, действительно, «все», представляя величайшее ее достижение — апогей русского пластицизма. Но вместил ли в себя этот ампирный поэт то, чем жили и что осуществляли в русской истории Киев, Новгород, Москва, наконец, — все, что покрывается словом «Святая Русь»? Когда

Пушкин прикасается к этому миру — он теряет почву под ногами. Его единственное крупное полотно из старой Руси, «Борис Годунов», могло казаться подлинной картиной Москвы только петербуржцам. Теперь, после Сурикова, Рябушкина, Ап. Васнецова, Стеллецкого и других, мы не то называем Москвой. Музыка Мусоргского менее «опера», нежели «либреттный» текст Пушкина. Открытие древне-русской иконописи и архитектуры окончательно определяет Петербург и Пушкина, как часть целого, и часть не центрального значения. Это — щедрая плата за обучение, заплаченная Россией-ученицей западному учителю, но это не Россия «пришедшая в возраст».

33

«Пушкин — наше все». Но прежде всего — типичен ли Пушкин для России? Что-нибудь да значит, что Европа не нашла в нем того «образчика» России, каким стали в ее глазах позднейшие авторы (с Тургенева), меньшие по таланту. Дело в том, что для такого представительства Пушкин — сам слишком Европа, слишком аристократ в демократической (самой демократической за всю историю) стране. В сущности: это романский тип на русской почве — в частности, особенно близкий французской культуре (как Гоголь близок Испании, а Лермонтов — ранней Италии). Самый формализм, «аполлонизм» Пушкина — черта французского духа, вовсе не типичная для «азиатки» — России.

34

Также подлежит пересмотру и вопрос о «протействе» Пушкина. «Протей», несомненно, — сам русский народ, — как последний в ряду культурных народов (последующие понимают предыдущих). Но «перевоплощения» Пушкина сомнительны. Только предвзятый взгляд Достоевского мог принять французски-легковесного героя «Каменного гостя» — характерный тип XVI 11-го века — за испанский прообраз. Но подлинной, мрачно-страстной Испании надо искать скорее у самого Достоевского, в «Легенде об инквизиторе», и еще того более — в творчестве Гоголя. Также нет подлинного Востока в пахнущих литературою «Подражаниях Корану» (что и отмечено ориенталистами, как проф. Крымский). Позднее поверхностно-туристское «Путешествие в Арзрум» доказало еще раз, как чужд был Восток аполлоническому гению Пушкина. Но более того: не близка ему и самая Москва — как обличает это оперный «Годунов» с мелодраматическим Борисом (баритон), польски-романтическим Самозванцем (*tenore di grazia**), примадонной Мариной и резонером Пименом (*basso profundo***). Только «береговой гранит» петербургской реки — своя почва для Пушкина.

II

Гоголь

1

Чувство смерти — основное в Гоголе. Этим чувством он поверяет жизнь, и потому она так мелка и пошла в его глазах. Отсюда и его негодование на людей. Они для него — «мертвые души», потому что не видят смерти. Это чувство — источник всего его творчества. Контраст жизни и смерти всегда перед его глазами.

2

Гоголю не интересна действительность. Ему нужен мир не таким, каким его создал Бог, а каким он пересоздается им самим. «Пусть будет мир, как хочу я». Здесь рождается его демонизм.

3

В «Портрете», самой автобиографической повести Гоголя, дано заранее объяснение его «катастрофы». Также сам он нарисовал «антихриста» — и испугался.

4

Гоголь — великий гипнотизер. И его искусство по своим внешним приемам есть прежде всего искусство гипноза (в этом смысле характерна связь его с театром). В этом искусстве воплотилась громадная воля — и люди, слушая Гоголя, переставали верить тому, что видели собственными глазами, а верили тому, что рассказал об этом Гоголь (Россия 30—40-х годов в освещении Гоголя).

5

Отсюда и нагромождение односторонностей, как главный художественный прием, — что отмечено всеми критиками Гоголя. Это — «блестящий шарик» гипнотизера. Гоголь старается подчинить себе читателя, а не убедить его (еще менее — объяснить что-нибудь). Он действует не на сознание, а именно на волевою сторону.

6

Лев Толстой подозревает, что Гоголь был не умен. Если это и верно, то неважно: для творческой задачи Гоголя нужен был не ум, а то душевное свойство, которое обычно плохо уживается с умом, — воля. О гипнотизере никто не спрашивает, умен ли он. Во всяком случае, это в нем второстепенно. Достаточно было у Гоголя нужной ему силы, если, глядя на клетку со слоном, люди повторяли пол-столетия, что там сидит буйвол, — только потому, что Гоголь написал на клетке: «буйвол».

7

Душа Гоголя — готический кафедрал, полный мрака и волшебных лучей. И лицо его — «готического стиля».

8

Язык Гоголя — раскрашенный воск. Тоже что-то католическое.

9

Украинские повести Гоголя — серебристое впечатление лунной ночи.

10

Женщина у Гоголя является всегда лишь в отношении к ней мужчины; ее собственный мир для него не существует. В этой утрированной «мужественности» он совершенно противоположен с «женщиной» — Толстым.

11

Любовь у Гоголя — небесно-голубая лирика (Андрей, Улинька) или же — карриатура (женские лица в «Ревизоре»). Два вечных полюса романтической гиперболы.

12

«Ревизор» — русская *commedia dell'arte**. Чистое «зрелище смеха», а вовсе не картина быта и нравов. Все действующие лица здесь — условные «маски», подобные итальянским Баланцоне и Пульчинелло, меняющие в каждом десятилетии свой облик. Отсюда неуываеваемость этой комедии и ее общепонятность.

13

Не только в таланте Гоголя было нечто театральное, но и в самой его судьбе: его, великого романтика и фантаста, поняли и приняли, как реалиста и «обличителя». Вышло некое *qui pro quo*** — подобное тому, что в «Ревизоре».

14

«Мертвые души» писались в Риме, потому что чувством, внушавшимся ему Вечным Городом — городом Вечности, — Гоголь поверял современную ему минуту жизни.

15

И к Италии его так тянуло, потому что итальянцы тех лет, имевшие много крупных пороков, не имели одного мелкого — порока пошлости. Это и подкупало в них Гоголя, всегда так остро чувствовавшего «пошлость пошлого человека» и утомленного способностью к ней русских.

16

Две жизни: большая, Жизнь Вечности, и малая, переходящая, — как часть той, первой, — вот постоянная точка зрения Гоголя (общая у него с Лермонтовым). От нее идет его «ревизия» — суд над людьми и временем. Это вовсе не социальное обличение, как близоруко поняли современники, а — религиозное: его пафос не гражданский, а пророческий. И последнее слово Гоголя, «Переписка», не случайно для него, а органически связано со всей предыдущей его деятельностью и с его взглядом на самого себя.

17

В споре Гоголя с Белинским неправы оба. Один жертвовал человеком для Бога (который не нуждается в такой жертве); другой приносил в жертву Бога для человека (который не властен на такую жертву).

18

Гоголь всю жизнь искал и ждал Лермонтова и, не видя его, стоявшего рядом, хватался за Языкова. Тут ощутительно сказался закон духовного преемства, не допускающий обратного действия (все предыдущее «не видит» последующего). И Гоголь, в своей жажде религиозной поэзии, не замечал лермонтовских «Молитв», удовлетворяясь языковым «Землетрясением». 19 Известное изречение Гете: «классическое есть здоровое, романтическое есть больное» вполне приложимо (даже в отношении физического здоровья) к Пушкину и Гоголю в их полярности. Но есть болезни, которые стоят здоровья. 22 20 Гоголь также динамичен, как спокоен Пушкин. Динамичен во всем — в языке, в своем развитии (бурность роста, внезапные переломы) и в самой жизни (вечные путешествия, так им любимые). Его жизнь — настоящая жизнь романтика, единственная среди русских писательских биографий. Он на деле воплотил в себе лермонтовского «пророка»: Посыпал пеплом я главу, Из городов бежал я нищий. И кончилось также, как там: В меня все ближние мои Бросали бешено камень. 21 У Гоголя нет природы, потому что в природе самой по себе нет места для человеческой воли. А Гоголю интересна только сфера творческих свершений человека. Его пафос — насилие пророка над миром. 22 Самочувствие Пушкина в творческие минуты — самочувствие царя («Ты — царь; живи один», и т. д.). Самочувствие Гоголя — самочувствие пророка. Он весь точно вышел из Ветхого Завета и дышит богоизбранничеством — своим личным и своего народа. 23 Насколько Гоголь ветхозаветен — настолько новозаветен Лермонтов. Это полярность Микель-Анжело и Рафаэля. 24 Гоголь — украинец в своей лирике и юморе, но основное, религиозное в нем — от его польского корня (Гоголь-Яновский) и близко напоминает польских мессианистов. 25 Гоголь и Достоевский верили в традиционное православие, но совсем не по-традиционному. В них яснее, нежели в ком-либо, сказалась новая религиозная стихия. И знаменательно, что оба — украинцы

(малороссы), а не великороссы. 26 Гоголь ближе всех (и главное, первый) подошел к идее Теократии (у него — «царской власти»). Потому что в нем лично соединились все три национальные стихии, образующие теократический элемент Славянства: по происхождению он — малоросс и поляк (Гоголь-Яновский), по культуре — русский. Все другие односторонни сравнительно с ним, даже Достоевский (малоросс по отцу и великоросс по матери, но без польского или с отдаленным польским элементом, что дает ослабление типа). Чисто русские (великорусские) гении (Пушкин, Тургенев, Толстой) слишком «позитивисты» для религиозной задачи. 223 27 Гоголь — первый пророк Теократии и будущей, новой Церкви Славянства (письмо о Светлом Воскресении в «Переписке»). Вот разгадка «загадки его существования» (его слово о себе). И в этом его крест и трагедия. 28 Гоголь — жертва за Россию, — за возможность ее будущих судеб. 29 Гоголь — первый разрушитель былой России. Его творчество — Валтасаровы над ней слова². И нрзб. успех этого творчества был показателем близкого конца. В этом творчестве, в самой его возможности, уже просвечивает 1917 год. Недаром Белинский и т. п. так ухватились за него: такое понимание России оправдывало их стремления и обещало им верный успех. III Лермонтов 1 Лермонтов тем, главным образом, отличается от Пушкина, что у него человеческое начало автономно и стоит равноправно с Божественным. Он говорит с Богом, как равный с равным, — и так никто не умел говорить («Благодарность» и друг.). Именно это и тянет к нему: человек узнает через него свою божественность. 2 У Гоголя — еще природный человек, — в вечном смятении перед Богом, как ветхозаветный иудей. Только у Лермонтова он — сын «Божий», и не боится Отца, потому что «совершенная любовь исключает страх». 3 Настоящая гармония Божественного и человеческого — момент совершенства — только у Лермонтова, а не у Пушкина, у которого она покупается ценою односторонности — преобладания Божественного. В мире Пушкина человеку душно. 4 «Мятежный Лермонтов»... На самом деле именно у него нет и не может быть бунта, потому что бунт только там, где рабство, а у Лермонтова отношение к Богу — отношение сына к Отцу, а не раба или слуги — к Господину (Пушкин, Гоголь). Даже в минуты непокорности и упреков оно остается сыновним, новозаветным. Сын может возмущаться властью Отца, Его несправедливостью (на его взгляд), но это не бунт: тут нет чувства разнородности и несоизмеримости. 5 Пушкин эстетически совершеннее Лермонтова, но Лермонтов духовно — значительнее. На их примере наглядно видно, что в искусстве «главное» все-таки не красота, и что само искусство не есть важнейшее явление нашего духовного мира. 224 6 Дуэль Лермонтова — замаскированное самоубийство (как уже неоднократно замечалось). Самоубийство Вертера — с той же самой психологией «неприятя мира» и только без Шарлотты. Быть может, он и был прав в отношении себя: «исчезнуть» он не боялся, а хотелось поскорее «мир увидеть новый». Но, несомненно, он был неправ объективно — забыв свой гений. Сила личности (и отсюда — самососредоточенности) слишком ослабила в нем чувство обязанности (своей относительности). 7 Для Лермонтова «земля», вообще земной отрывок всего человеческого существования — только что-то промежуточное. Мощь личного начала (величайшая в русской литературе) сообщала ему ощущение всей жизни личности: и до, и во время, и после «земли». «Веков бесплодных ряд унылый» — память прошлого, — и рядом: «давно пора мне мир увидеть новый» (удивительная уверенность в этом мире). Он знал всю ленту человеческой жизни, — и понятно, что тот ее отрезок, который сейчас, здесь происходит с нами, мало интересовал его. 8 Лермонтов — лучшее удостоверение человеческого бессмертия. Оно для него не философский постулат и даже не религиозное утверждение, а простое реальное переживание. Ощущение своего «я» и ощущение его неуничтожимости сливались для него в одно чувство. Он знал бессмертия раньше, чем наступила смерть. 9 Лермонтов некоторыми внешними чертами сходен со Львом Толстым (осуждение войны; апофеоз «смирного» типа), но внутренне — вполне ему противоположен. У него не только нет страха смерти (центральное чувство у Толстого), но нет даже мысли о ней — никакого ее чувства. «Смерть, где жало твое?» Чувство жизни — Вечной Жизни, — и отсюда полное равнодушие к «переходу». Земную жизнь он чувствует еще меньше, чем Толстой, но не от врожденного настроения «старости», как тот, а все от того же равнодушия. «Комок грязи, если нет дополнения» (его слова). Никакой зависти и тоски по земному, всегда сквозящих у Толстого. Это — поэт Воскресения, христианин насквозь, хотя он ничего не говорит о Христе. 10 Если считать существом религиозности непосредственное ощущение Божественного элемента в мире — чувство Бога, то Лермонтов — самый

религиозный русский писатель. Его поэзия — самая весенняя в нашей литературе, — и, вместе, самая воскресная. Отблеск пасхального утра лежит на этой поэзии, вся «мятежность» которой так полна религиозной уверенности. 11 «Небесное» было для Лермонтова своей стихией. Говоря о нем, он умел находить такие же поэтически точные, «окончательные» слова, какие Пушкин находит, говоря о земном. Когда Лермонтов касается мира бесплотности, самый стих его окрыляется, точно освобождаясь от веса («На воздушном океане»). 225 12 Если, по слову Лермонтова, «Россия вся в будущем», то сам он, больше, чем кто-нибудь, ручается за это будущее. IV Тургенев 1 Лиза Калитина. Она, может быть, не реальна; даже наверно. Но

реальных женщин изображали так или иначе, лучше или хуже, все — Толстой, Флобер, Чехов. Но один Тургенев изобразил не то, что женскую душу, а душу человеческую в ее отношении к Богу (в таком отношении всякая человеческая душа есть женская душа). И это — Лиза Калитина. 2 В своих двух «мужских» романах — «Рудин» и «Отцы и дети» — Тургенев дал два (оба основных) типа наших «западников»: «кадет» Рудин (40-е годы) и «социал» Базаров (60-е годы). Этим он исчерпал свои возможности в «политике»: славянофильский тип — задача не его, а Достоевского. (Пресловутый Лаврецкий, конечно, не славянофил, а самое большое — простой националист). 3 В двух «женских» (и для него более «своих») романах — «Дворянское гнездо» и «Дым» — Тургенев дал два основных же типа гораздо большего значения: типы женского отношения к любви. Аскетического, религиозного — Лиза, подвижница по натуре; и чисто полового, демонического — Ирина, гетера по натуре. Этими двумя типами он и здесь исчерпал тему. Поэтому остальные романы (более всего «дань времени») — «Накануне» и «Новь» — так пусты. «Хоть бы и не было». 4 Толстой рисует будни жизни; Тургенев ее праздничные минуты. 5 Если бы не было Тургенева, — насколько меньше было бы на свете счастья. 6 Тургенев — эликсир юности: кто хочет дохнуть молодостью, — пусть читает Тургенева (особенно «Ася», «Три встречи», и всего более — начало «Вешних вод»). 7 В одном стихотворении в прозе Тургенева «Христос» (среди народа, в деревенской церкви) больше подлинного ощущения христианства, чем во всех имитациях Толстого. Может быть, это — односторонний, слишком человеческий, «несторианский» подход, но все-таки он видит Христа, тогда как Толстой всегда и всюду видит только себя. 226 V Достоевский 1 Немцы сравнивали в юбилей 1921 г. Достоевского и Данта — как двух писателей, вполне воплотивших свой век. Параллель верна, но, собственно, потому, что эти двое воплотили в себе так полно и цельно, как никто другой, два основных мировых начала: Бог — у Данта, человек — у Достоевского. 2 Достоевский — величайший пророк человечества (человеческого начала) какой только был. Никто так не любит человека — болезненно, страстно, исступленно; никто так не чувствует всех изгибов и извилин человеческой души. К природе он равнодушен: Бог сам в себе ему далек: он не мог бы Его понять и принять вне человека и помимо человека, как Дант. И самого Христа он любит собственно за человеческие Его черты. В слове «Бого-человек» он делает ударение на второй половине. И оттого христианство Достоевского не слишком надежно. Это — христианство XIX-го века. 3 Из всех русских писателей Достоевский более всего — еврей. Таков он в своем антропологическом теизме. Как еврей, он всегда готов тягаться с Богом за человека. Но, как еврей же, не может оторваться от края плаща Божьего и забыть Его благословение. 4 Гипертрофия человеческого и приводит Достоевского парадоксально к обличению человека. Он в своем искусстве (вопреки своим идеям) невольно берет человека, как автономную, всеопределяющую силу, т. е. как силу сатанинскую. И самое значительное в творчестве Достоевского — умение показать все отрицательные возможности человека («Бесы»; карамазовщина). «Положительное» гораздо слабее: тут он слащавит, как с мармеладным Мармеладовым, или неопределенничает, как с Алешей, или, в лучшем случае, рисует ангела, а не человека (Мышкин). Это и понятно: в собственных пределах и собственной силой человек не властен победить себя, а Достоевский весь замкнут в человеческих пределах. Веря сам в Высшее Начало, он не имел дара воплотить эту веру в своем искусстве. 5 Исключительный успех Достоевского в Европе (особенно в Германии) обличает его духовное сродство с западно-европейским миром: так же, как там, онтология его насквозь антропологична. Подлинный, беспримесный онтологизм (характеризующий, например, Византию) чужд европейскому духу, — и также чужд Достоевскому. Поэтому надо осторожнее принимать Достоевского, как безусловное выражение России и славянства (у Бердяева, напр.). Россия, в своей последней

глубине, во всяком случае ближе к Византии, чем к Западной Европе, и русской Церковью не случайно осталось онтологическое Православие, а не антропологический Протестантизм. 6 Путь Достоевского в политике вел его — от революции (типы Верховенских: кадет-отца и социала-сына; анархист Кириллов) через цезаризм 227 (Ставрогин, Иван Карамазов) — к порогу Теократии (монахи, Алеша). Это и есть реальный, исторический путь России: Достоевский заключал его в себе весь — от своей минуты и до конца. 7 Достоевский важен тем, что первый разгадал в русской Революции начало свершения судеб России. Этого не видели в ней самые зоркие (К. Леонтьев, напр.). 8 «Бесы» — роман о русской революции. Здесь даны ее основные типы: Верховенский-отец — кадет, Верховенский-сын — социал, Кириллов — анархист. Здесь же и типы «реставрации»: националист Шатов и «цезарь» — Ставрогин. Типы революции не соблазняют Достоевского: над Верховенским-сыном он смеется, почти также как над отцом (а кадету-Тургеневу Базаров импонирует неодолимо, как импонировали позднее «друзья слева» милюковской партии); возле Кириллова он колеблется разве одну минуту. В Шатове, наконец, просто узнает самого себя (его признание в этом смысле). Но вот Ставрогин, «Иван-Царевич», кажущийся победитель Революции, — и тут долгое колебание. Соблазн, идущий от Раскольникова, давшего теорию цезаризма («право» Наполеонов), — как Ставрогин должен был дать его практику. Дальнейший путь еще заслонен этим призраком — и только к «Карамазовым» Достоевский нащупал дорогу. 9 «Карамазовы» — роман о русской Теократии. И здесь выступает сперва теория — в «трактате» Ивана и в речах монахов, а после чуть намечена практика — в Алеше. Иван по натуре — еще «цезарь», как Ставрогин; но в мыслях — уже исповедник Теократии. Он пишет о ней, а его младший физически и старший духовно брат — Вениамин Достоевского — уже живет ею, дышит ее воздухом. 10 Достоевский совершенно не знает любви. Она у него заменена сладострастием, которое он наивно принимает за любовь. В этом сказалась психология позднего человека — «на пороге старости». 11 Вопрос пола у Достоевского в сущности элементарен. Его пресловутое «паучье сладострастие» — не более, как простая чувственность. Его «любовь» — купеческий разгул Дмитрия Карамазова, старческая похотливость Федора Павловича, резонерство Ивана или, наконец, бесплотная (как у Гоголя) мечта «ангела» — Мышкина. Юной страсти и юношеской пылкой чувственности (Пушкин!) у Достоевского уже нет. Нет и задачи личной любви, как у Тургенева, Лермонтова, Фета. Для этого тоже слишком поздно. В любви Достоевский не более, как простой комсомолец (что верно почувствовал аскет-Страхов). И — увы! — это самый вероятный тип отношений между полами в огрубевшем обществе последних, «американских» столетий. 12 Достоевский в своем слогe вечно дребезжит. И все оговорочки, оговорочки, обмолвки, недомолвки (особенно «Дневник»). И всегда тон: «я — мол знаю, чего Вы не можете и недостойны знать»). 228 13 У Достоевского, если святая, то непременно проститутка (пресловутая Соня Мармеладова), — если святой, то непременно «идиот» (смешноватый Мышкин), — если святой умер, то «упредил естество» и «протух» (смерть Зосимы в «Карамазовых»). Его «христианство» — такое же «яблочко с червоточинкой», как и все русское, как вся Россия его дней. 14 Достоевский без эпилепсии — уже не Достоевский. Без этой мировой судороги он не знал бы мира таким, каким он его знает. 15 Когда читаешь Пушкина, Тургенева, даже Толстого, — все прочно и устойчиво; миру жить еще долгие годы. Но вот переходишь к Достоевскому — и вдруг почва заколебалась под ногами, все становится неустойчивым, неверным, близким к крушению. Вместо солнечного света горит какой-то странный стальной свет, — подобный лучам солнечной короны во время затмения. И над землей несется тень апокалиптического всадника... 16 Кто же: Достоевский или Пушкин — «воплощение России»? Ибо они в этой роли несовместимы. «Пушкин — наше все» (Аполл. Григорьев); «в Достоевском открывается тайна России» (Бердяев). Кто же прав? 17 Пушкин — amor loci* России, как Достоевский — amor fati**. 18 В последние годы Достоевского перед ним отчетливо возникла задача — создать новый религиозный тип (то же у Гоголя, но не так очевидно и не с таким обновлением). Он, по-видимому, в какой-то степени и сам сознавал это. Отсюда его — «Алексей Федорович Карамазов», которого он так выдвигал, но который воплотился только в форме «Алеша». Причина понятна: отход от прошлого был все-таки не полным. Задача заключалась в том, чтобы создать тип не аскетического христианства, — не созерцательного, но деятельного, — не пассивного, но актуального, — и Достоевский явно вел к этому (до чего близоруки возражения ему К. Леонтьева — именно не «оптинское» понимание христианства и

есть плюс Зосимы и самого Достоевского). Но чтобы задача вполне прояснилась — понадобилось еще полвека. VI Лев Толстой I Лев Толстой — самый эволюционный из наших писателей, — тот, у которого его фигуры растут, меняются, стареют, как организмы. Он единственный, даже из «великих», кто умеет показывать характеры не только статически, как «данные», но и динамически, как «становящиеся». Все его герои в конце — не те, что были в начале, и эти перемены происходят на глазах читателя. Этого еще нет даже у Тургенева и Достоевского: Рудин, например, все Рудин, и только внешне стареет; Раскольников, Иван Карамазов остаются самими собой, несмотря ни на какие «покаяния». Только у Толстого люди меняются, как в жизни, и поэтому у него не «типы» только и не столько типы, как люди (отсюда и очарование его реализма). У Пушкина, например, как бы две Татьяны — в начале романа и в конце; перемена происходит за кулисами, и мы должны верить ей на слово. То же у Гончарова с Адуевым-младшим (даже каррикатурно). Онегин, Печорин, Обломов, Райский — всегда те же самые (не говоря уже о фигурах Гоголя). Когда Достоевский подошел к необходимости изображения эволюции (Алеша Карамазов) — он умер, не кончив. 2 Мы смотрим на «Войну и Мир», как на циклопические строения: невозможно поверить, что это создание одного человека. Как поэмы Гомера, как Парфенон, это творение кажется частью самой природы. 3 «Война и Мир» — *c'est plus la vie, que la vie elle-meme**. 4 Преимущество Толстого над Достоевским и другими — то, что он никуда не стремится. Пушкин, Тургенев, Гончаров тяготеют к Западу; Достоевского тянет на Восток (его предсмертное «в Азию!»); и только Толстому никуда не нужно, и он спокойно сидит на своем месте, а к нему приходят все. В нем воплотилась наиболее чистая стихия русского мира, уже кончившая свои колебания на Запад и на Восток, уже уравновешенная в себе. Отсюда и особый интерес к нему Европы и других, как к законченному явлению — к наиболее подлинному выражению того, что такое Россия в ее самобытности. Характерно, что Толстой не мог жить вне России, тогда как Достоевский, например, годами живя в Европе, не скучал там (не говоря уже о Тургеневе); Гоголь чувствовал Рим, как «родину души»; Пушкин стремился на Запад, и даже «Обломов»-Гончаров проехался вокруг света. (Это не совсем верно: у Толстого есть тоже своя «заветная страна» вне России — это Индия и отчасти даже Китай — вообще дальне-азиатский Восток, как у Достоевского — ближний). 5 Лев Толстой начал, как граф и «*comme il faut***», а кончил, как босяк и «пролетарий». В этой личной эволюции заранее воплотилась эволюция всей его страны, ставшей почти при его жизни из барской и петербургской (европейской) — демократической и национально-замкнутой. 6 Для Толстого характерно бессознательное, незамечаемое им самим отрицание истории. Для него «Царствие Божие» (заглавие одной из главных книг) может прийти от простого усилия сейчас живущих людей — без всякой связи 230 с общей жизнью человечества, бывшей и будущей. Нужно только «захотеть». Он написал эпопею 12-го года, но он был совершенно лишен исторического чувства, чувства доро?ги, — которое было так сильно в Достоевском. 7 В «Войне и Мире» есть мир, но нет войны. Война здесь взята тоже как своего рода «мир» — с точки зрения мира и мирных людей. Нет самого нерва войны и, без сомнения, если бы война (особенно прежняя, еще не выродившаяся) была такова, как в этом романе, — люди не воевали бы. Толстой изобразил в сущности не 12-й год, а свою эпоху. Исторического здесь только имена и внешняя канва. 8 Толстой отрицал войну — и не только как мыслитель, но и как художник (война в «Войне и Мире», да и в «Севастополе»). Но сам он — единственный из русских великих писателей (кроме Лермонтова) — умел быть на войне. Между тем, «не отрицавших» — Тургенева, Гончарова, Достоевского — нельзя или трудно представить себе в условиях Севастополя. Тут сказался реализм Толстого — сила его соприкосновения с действительной жизнью, что именно и влечет к нему, составляя главный секрет его очарования (его «воплощенность»). Поэтому его «отрицания» нужно брать всегда с поправкой на биографа. Так и после «Крейцеровой Сонаты» у него, уже 60-летнего, родится сын. 9 «Буддизм» Толстого (его отрицание войны, пола, вообще всего активного в жизни — пресловутое «непротивление») не проистекал ли прежде всего от бессознательной боязни самого себя? Боязни тех элементов души, которые были сильны в нем, но казались ему «языческими». Он не знал, как ввести их в религиозное русло — и стал выбрасывать. Отсюда самонасилие его «буддизма», которого нет у подлинных буддистов и нет во всем индусском мире (никогда не было стремлений к войне, к власти, к сильной жизни пола, — а это все сквозит у Толстого). У «толстовцев» этого тоже нет

(Бирюков и прочие бабы в штанах). Возможно, что Толстого сбивало с пути прежде всего недоверие к самому себе, а также узость исторического религиозного горизонта, замкнутого на аскетических формах религии. 10 Почему Толстой так взволновал мир своей, явно несостоятельной «религией»? Может быть, потому, между прочим, что весь мир инстинктивно ждет: «начнется из России». Россия ощущается, как невыразившийся еще, не определившийся вовне религиозный потенциал — единственный в мире. Уже все сказали «свое слово», кроме России, которая как будто таит его в себе. Поэтому понятно, что все встрепенулись, когда показалось, что именно там «что-то началось». 11 «Религия» Толстого как-то подозрительно похожа на атеизм, сдобренный «добротой» и «добродетелями». Показательно также, что его атеистическое время приняло его так радушно. 231 12 Толстой уже потому далек от подлинной стихии религии, особенно христианства, что у него нет никакого чувства преображения мира. Природные условия и земной человек для него — предел. Он добросовестно топчется в рамках трех измерений, — как истый сын XIX-го века. 13 Толстой — величайший из наших «шестидесятников». При всем различии устремлений, кругозор его в сущности тот же, что у Чернышевского: также замкнут стеною «действительности». 14 Основной недостаток Толстого — безвыходный имманентизм. Он как будто не догадывается, что есть еще что-нибудь, — кроме природы и человека. Все его поиски, все пресловутые «превращения» Пьера, Левина, Нехлюдова — все эти «сопряжения» и проч. не выходят за границы все тех же двух сфер. Он то «поучается» у природы, как его такой же близорукий учитель — Руссо, — то «верит в человека», в русского мужика, в Платошу Каратаева, в «подавальщика» Федора, в дядю Акима и проч. И, едва поверив, опять срывается, снова ищет и «превращается» и т. д. Он обшарил все уголки имманентного мира, но за его пределы не сумел или не смог заглянуть. Отсюда его вечная неудовлетворенность. 15 «Любление твари паче Бога» — вот главный «грех» Толстого. Он так и не увидел за тварью Творца. Что-то сделало его безнадежно близоруким, ослепшим в свете дневной материальности. Может быть, русские 60-е годы, к которым он принадлежал по своему поколению; может быть, великорусский слепой «реализм» вообще; или, наконец, безмерное самолюбие, не допускавшее «подчинения». Может быть, все вместе. И он являет собою зрелище «слепого титана» (Мережковский) в своем мучительном метании между давящих стен, все в пределах одной или, точнее, двух «комнат» — природной и человеческой сферы. 16 Толстому всего более вредило его здоровье (или, точнее, «здоровенность»). Здоровье нормально и безвредно для «ранних» — как Пушкин. Но «последним» нельзя быть нормальными. 17 Достоевский выдержал этот иску — в своем полу-юрродстве, если не полу-сумасшествии. Но Толстой испугался и надел на себя предохранительную маску «Левушки-дурачка». 18 В известном смысле Толстой может быть охарактеризован, как гений банальности. 19 Толстой не знал «глубин сатанинских». И оттого он скучен нам и скоро будет скучен всем. 232 Пушкин тоже, казалось бы, не знал. Но он мог их знать. Недаром литература тотчас же после него так развернула эти темы (Гоголь, Лермонтов, даже Тургенев, и в конце — Достоевский). Пушкин «не знал» только потому, что он был минута юности России, а в ту минуту оне не проснулись еще в человеке, хотя могут быть сильны потом. 20 «Анна Каренина» — великолепный ураган в стакане воды. 21 Толстой и Достоевский — фарисей и мытарь. Толстой, как истый протестант, не знает покаяния; Достоевский, как католик, упивается им. 22 Нужно бы все же пересмотреть вопрос о национальной характерности Достоевского и Толстого, — и, может быть, сильно ограничить ее. Точно ли они были наиболее подлинным и, главное, полным выражением России? В Толстом, например, явно нет ничего православного, ничего соборного: он гораздо ближе к протестантству. Достоевский также слишком замкнут в себе для православного мира. Не следует забывать, что оба они — плоды конца нашего XIX-го века, когда Россия за два петербургских столетия успела так пропитаться Европой, что перестала отличать себя от нее. В этом, может быть, также главная причина успеха их в Европе, увидевшей в них свой русский вариант — наиболее оригинальное, «славянское», выражение все той же основной европейской темы «гуманизма» (мир, как человеческая индивидуальность, — мир, как человек). Подлинную же, непохожую на Европу Россию — с ее космическим мироощущением — Европа едва ли и почувствует, так же как она не почувствовала столь понятной нам Византии. В этом смысле наша обычная гордость успехами русской литературы на Западе может быть подвергнута серьезным оговоркам. 23 Толстой для России в некоторых отношениях то же, что Гейне для Германии, — минута само-недоверия и само-

отрицания. Для него также характерны анти-национализм, анти-патриотизм, легковесная революционность и космополитизм, причем он не имеет для себя даже оправдания инородчества, как Гейне. Те же черты характеризовали и всю его эпоху, увенчавшую его таким триумфом. Но в иные, более национально-здоровые времена он легко может стать столь же demode* в России, как сейчас Гейне в Германии (что? уже отчасти и есть). 24 В исключительном успехе Толстого (самом большом прижизненном за всю историю человечества), в числе прочих «пружин», действовало несомненно и впечатление, какое давал он лично, как своего рода Wundergreiss («чудо-старик»), — аналогичное впечатлению от «вундеркиндов». С его смертью этот интерес естественно отпал — и слава его стала затихать с необычайной быстротой. Возможно, что само его (тоже исключительное) славолюбие и славоискание (неисчислимые портреты, бюсты, интервью, дневники, сообщения, 233 юбилеи и проч., и проч.) объясняются более всего предчувствием этой непрочности. 25 Лев Толстой оправдал на себе слова Вольтера: «дайте мне славу на один день, — и я буду знаменит всю жизнь»: слава романиста обеспечила успех банальностям «философа». И ни в чем так не выразилась легендарная его удачливость (не подлинное счастье, которого у Толстого не было), как в том серьезном усердии, с которым люди переворачивали лет тридцать подряд этот умственный и моральный мусор. 26 Толстой — «голый король» (сказка Андерсона). Как это случилось — загадка истории, — что серьезно толковали и волновались вокруг него, как в свое время вокруг Руссо, почти как вокруг Лютера, — тогда как это был только второй (или хронологически первый) о Григорий Петров? Со временем его эпоха, этот конец «машинного» XIX-го века, будет казаться таким же образцом религиозного безвкусыя, каким та же эпоха является нам уже сейчас в отношении своего «стиля» (здания, одежда, мебель 60—90 годов). Это была исключительно пресная пора в истории. И этот вегетарианский недосол ни в чем так не чувствуется, как в «открытиях» Толстого (так же, как в его жизни и отчасти даже в искусстве). 27 Главный недостаток жизни Л. Толстого — в ее бестрагичности. А для человека такого размера трагедия в биографии обязательна. Зачаток ее был, может быть, у Толстого в его равнодушии к Т. А. Кузьминской (сестре жены), но он добродетельно подавил в себе это чувство. Осталась «трагедия» с Софьей Андреевной — домашняя тридцатилетняя война. Толстой и тут, как во всем, заменил мистические крайности жизни буржуазной «трезвостью» и умеренностью. 28 Олеографическая эпоха Толстого (80—90 годы)... Тогда все пахло «премией «Нивы» — в том числе и «религия» Толстого. 29 Очень понятно, что Толстой кончил «отрицанием» пола. Действительно, если пол таков, как в «Крейцеровой Сонате» (и каким, видимо, был он у самого Толстого — ср. также воспоминания жены), то только и остается его отрицать. Точно также — если война такова и только такова, как передано в «Войне и Мире», то остается отрицать войну. 30 Ср. Пушкина с Достоевским и Толстым в отношении пола: как легкий он у первого, как тяжел и мутен у последнего! Пол в юности и пол в старости. 31 У Толстого ни в чем нет улыбки — ни в жизни, ни в творчестве. Мир его — весь бессолнечный. Ср. с Пушкиным, который всегда озарен солнцем и всегда улыбается. 234 32 Лев Толстой принес на данный ему талант даже не десять, а, может быть, сто талантов, но половину — поддельной монетой. 33 История славы Льва Толстого, как «основателя новой религии» — повторение в реализме действительности гоголевского «Ревизора»: «И почему только приняли за ревизора? что нашли похожего?» 34 Во Льве Толстом был какой-то самообман. Едва ли не продал он права своего последне-родства («последний из великих», что стоит всякого первородства) за чечевичную похлебку рационалистических достижений и прижизненного триумфа. В искусстве он продолжает Достоевского, а в мысли пытается продолжить Писарева. Похоже, что его опьяняло ощущение богатства своих сил, — и отсюда родился своеобразный демонизм: «достигну всего — без труда и без жертв». Очень смелый и трудолюбивый по внешности, он где-то в центре был робок и ленив. И ни к кому так не идут слова, сказанные Ангелу лаодикийских (последних) времен: «ты говоришь: я — богат, а не знаешь, что ты — нищ и слеп». 35 Соблазн Толстого — не байронический соблазн самодовлеющего могущества одинокой человеческой личности, а «лаодикийский», космический соблазн всемирного захвата, претворения всего в свою личность. Третье, а не второе искушение. Это своего рода «цезаризм», параллельный политическому. Отсюда и острая, почти личная ненависть Толстого к Наполеону («жирные ляжки», «обрызган одеколоном»), и также к Петру (увидел только казни), к Екатерине («дурной запах»), и даже к Потемкину («грязный и потный»).

Это все — соперники. 36 Впечатление от III-го тома бирюковской биографии Толстого: Вечный, неподвижный страх смерти — это главное чувство всей его жизни. Вечное искание чем бы «заслониться». Никакого чувства жизни: это другие жили и отжили за него (Пушкин, Тургенев, все «предки»). Он — живет, как на кладбище, и «ждет»... Вечный старик — старик с самого рождения. Отсюда ненависть к молодости — «так бы и задушил». Особенно к полу (глубокая, бессознательная зависть). И все «грех, грех» — как у старой нянюшки. И вечная воркотня на всех, — как у нее же. О «христианстве» тут смешно и говорить. Вся его трагедия в том, что он никогда не почувствовал христианства — не почувствовал, что был Христос. Не имел вообще никакого чувства жизни «по ту сторону» (антитеза Лермонтову). Мир захлопнут, как ящик, тяжелой крышкой смерти, — а он под ней бьется и «ждет». Страшно, страшно — и что-то лепечет ледяным языком о какой-то «любви». Авось, хоть она выручит... 37 «Неверие во Христа пришедшего» — признак, по которому ап. Иоанн указал нам отличать дух антихристов, определенно характеризует Толстого. Это естественный вывод из его религии гуманизма, проведенной вполне последовательно: 235 человеческое начало у Толстого автономно, и человек в сущности не нуждается в Боге. Поэтому из двух заповедей Евангелия³ удержана одна вторая, с забвением первой и «наибольшей», а «ближний» понят в чисто-гуманистическом смысле, — как всякий человек вообще. Иначе сказать, здесь дан полный очерк человеко-божия, вместо Бога-человечества («человек хорош уже потому, что он человек»). Поэтому нужно быть очень осторожным в увлечении Толстым. 38 В учении Толстого, его характере и успехе начало, быть может, оправдывается всегдашнее народное у нас предчувствие связи России с явлением Антихриста. Страх этой связи не случайно, конечно, пронизывает все века и все формы нашей религиозной жизни. Запад — также христианский — не ощущал, однако, такой связи. Зато там был хорошо знаком (мало известный у нас) непосредственный страх Сатаны. В этом сказалось всегдашнее различие трансцендентного (на Западе) и имманентного (у нас) переживания религии. Явление Антихриста, очевидно, более всего угрожает нам — в связи, вероятно, с «гуманитарными», толстовскими элементами русской души. 39 Борьба между духом Лермонтова и духом Толстого — вот ожидающая нас наша религиозная борьба. VII Розанов 1 Самое важное в Розанове, что его «антихристианство» вовсе не демонично, а тоже религиозно (по крайней мере, так в своем истоке). Это самое оригинальное и знаменательное в нем — и не для него только. 2 Демонизм был всюду — в 3. Европе, как и в древнем мире. Не нова и атеистическая критика рационализма. Но Розанов нов, и единствен, и пророчествен для России, — потому что, враждуя с христианством (аскетической его формой), не враждует с Богом. В этом религиозно-положительный смысл его явления. 3 На Западе кто не был с христианством — был безбожен (или религиозен лишь вербально, как в «деизме»). Безбожен — или в сторону позитивного гуманизма (все «Вольтеры»), или в сторону демонического человекобожия (все «Ницше»). Только в России стала возможной религиозная критика аскетического христианства. И это будет поважнее гуманистического полу-реформаторства европейского типа, — как у Достоевского и Толстого. 4 «Суть» Розанова, конечно, — в требовании религиозного быта. Но сперва он укладывал это требование в рамки традиционного христианства и корил мир за нерадивое его осуществление. Позднее же «догадался» — 236 и направил свои укоры по другому адресу. Оставаясь всегда на религиозной почве. Это совсем не «русский Ницше», как звали его наши близорукие «европейцы» (недаром он так не любил этой клички). Напротив, весь смысл Розанова в том, что это уже не «Европа». 5 Для Розанова характерно, что христианство кажется ему менее половой религией, нежели иудаизм. Но разве в мире Ветхого Завета возможны были «рыцарь бедный» и св. Тереза? Все половые секты у нас и на Западе? Иоанн Лейденский, мормоны, хлысты и Кондратий Селиванов? В иудаизме (как и в магометанстве) простое, добросовестное, «семейно-бытовое» сожителство — хотя бы и с целым гаремом. «Оне», но не «она». Акт природы, но не лица. Там та же преснота пола, какая чувствуется и у самого Розанова, сквозь все его сексуальные умиления. 6 Розанов отнюдь не еврей (как он сам о себе думал). Еврей неотделим от идеи Мессии, а Розанов вынимает из иудаизма именно эту идею. Вместо духовного человечества (мистический идеал еврейства), он удовлетворяется простым посюсторонним, земным человечеством. Его влечет лишенное всякой «цели», почти позитивное упоение игрою быта, заслоняющее от него бездну и создающее «жизнь» в переливах цветов на поверхности (стихия театра). Это семитский Восток вне еврейства — те «жрецы Ваала и

Астарты», которых проклинали пророки Израиля. 7 «Кроткий демонизм» называлась одна из ранних статей Розанова (против Меньшикова). Это определение в более серьезном смысле идет к его собственной идеологии и проповеди. С тихой лаской он уводит «назад» — будто в Вифлеем — только бы не идти на Голгофу. Примечания 1 Конфертативы — от латинского «confertus» (плотный), «врачебные средства, возбуждающие похоть» (Словарь научных терминов, иностранных слов и выражений. Под ред. В. В. Битнера. СПб., 1905, с. 405). 2 «Валтасаровы над ней слова» — «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН» — таинственные слова, предвещавшие гибель Вавилона и последнего его царя Валтасара, проявившиеся на стене зала, где происходил пир (Валтасаров пир). Слова эти были прочитаны и истолкованы пророком Даниилом; Валтасар — имя пророка Даниила при царском дворе. 3 «Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Матфея, 22, 37—39). Публикация Т. В. ПОМЕРАНСКОЙ Сноски к стр. 212 * ЦГАЛИ, ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 296—298. ** Позднее он издал эти статьи отдельной брошюрой под названием «Письма о поэзии», СПб., 1895. *** Сумерки просвещения. СПб., 1899; Литературные очерки. СПб., 1899; Религия и культура. СПб., 1899; Природа и история. СПб., 1900. Сноски к стр. 214 * Потенциально (лат.). Сноски к стр. 215 * Действительность, реальность (лат.). ** Микеланджело Буонарроти (примеч. публикатора). *** Тинторетто (примеч. публикатора). Сноски к стр. 216 * Божественный (лат.). Сноски к стр. 217 * Вечная Женственность (нем.). Сноски к стр. 219 * Лирический тенор (итал.). ** Глубокий бас (итал.). Сноски к стр. 221 * Комедия масок (итал.). ** Путаница, один вместо другого (лат.). Сноски к стр. 228 * Любовь к месту (лат.). ** Любовь к судьбе (лат.). Сноски к стр. 229 * Больше жизнь, чем сама жизнь (фр.). ** Приличный, порядочный (фр.). Сноски к стр. 232 * Вышедший из моды (фр.).

Распоряжение Патриарха Тихона от 23 ноября 1923 г.

Ирецкий В. Я. Воспоминания о Н. С. Гумилеве / Публ. [вступ. ст. и примеч.] Н. В. Снытко // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 205—211. — [Т.] I.

Имя беллетриста Ирецкого (Виктора Яковлевича Гликмана) (1882—1936) — автора воспоминаний о Н. С. Гумилеве — знакомо лишь узкому кругу литературоведов. Ирецкий начал печататься в 1906 г. и ничем не выделялся среди многочисленной пишущей братии начала XX века. Особого таланта судьбой ему отпущено не было, но работоспособность, целеустремленность, деловитость помогали ему держаться на уровне среднего писателя, отмеченного, впрочем, в 1910 г. Гоголевской премией Общества любителей российской словесности. Сотрудничая в бесчисленном множестве газет и журналов того времени — «Вестнике Европы», «Речи», «Современном Мире», «Солнце России», «Сатириконе» и других, он помещал там статьи, рецензии, очерки на злобу дня, рассказы. В 1916 и 1921 гг. в Петрограде вышли сборники его рассказов «Суэта» и «Гравюры».

В 1918 г. Ирецкий вместе с Н. Волковским и Б. Харитоновым принял участие в основании «Дома Литераторов», где встречались и подкармливались в те голодные годы петроградские писатели и поэты. Посещал «Дом Литераторов» и Гумилев.

В 1922 г. учредители «Дома Литераторов» в составе группы интеллигентов, отобранных по малопонятному признаку, были высланы из Советской России. Ирецкий, Волковский и Харитонов оказались в Берлине. Свободно владевший немецким языком Ирецкий развил в Берлине бурную деятельность: активно участвовал в создании «Союза русских журналистов и писателей», стал членом «Немецко-русского товарищества», «Союза немецких писателей и композиторов», принимал участие в работе русских издательств в Берлине и Париже, сотрудничал в русских эмигрантских газетах «Россия», «Звено», «Возрождение», «Дни», «Руль», «Сегодня», «Наш

век», выходявших в Берлине, Париже и Риге. казалось, дела его шли неплохо, во всяком случае лучше, чем у многих российских литераторов в эмиграции. Но Ирецкий проглядел надвигающуюся опасность. Берлин постепенно, но со все возрастающей быстротой «коричневел». Друзья по эмиграции благоразумно и своевременно разъехались кто куда. Ирецкий остался. Было ему всего лишь 54 года. Причина его смерти осталась невыясненной. Оснований предполагать, что он окончил жизнь в концлагере, не имеется. Свою национальность Ирецкий скрывал, и среди товарищей по изгнанию предателей, кажется, не было.

Архив Ирецкого (в составе материалов Русского заграничного исторического архива) был привезен в Москву из Праги после окончания второй мировой войны. Находящиеся в нем воспоминания о Гумилеве были написаны в 1931 г. в Берлине. Ирецкий бережно хранил в своей памяти встречи и разговоры с Гумилевым. Но следует сказать, что упоминаемую им в воспоминаниях «Петроградскую правду» Ирецкий, очевидно, не читал. Гумилев был арестован 3 августа 1921 г., а 1 сентября в «Петроградской правде» было опубликовано официальное сообщение «О раскрытом в Петрограде заговоре против советской власти», и там, в перечне расстрелянных, значится имя Гумилева: «Гумилев Николай Степанович, 33 л.*, б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии «Издательства Всемирной Литературы», беспартийный, б. офицер. Участник ПБО**, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности».

Доказывать что-либо о принадлежности Гумилева к заговору, само существование которого вызывает сомнение, — не наша задача. Нам остается лишь сказать спасибо Ирецкому за то, что он понял, какого поэта потеряла в 1921 г. Россия.

Н. С. Гумилев и С. М. Городецкий.

1910-е гг.

23 года назад. 1908-й год. В редакции появляется очень странный — для редакции русской газеты — человек. Он в цилиндре, в белых лайковых перчатках. Он весь напряженный, накрахмаленный, надменный. Это бросается в глаза еще и потому, что он очень некрасив. Даже уродлив. С безжизненно спокойным лицом, растягивая слова, он произносит первую же фразу с дикцией и отчетливостью декламатора. Речь идет о том, что он принес библиографическую заметку о чьих-то стихах. Небольшую заметку в 60 строк. Но он произносит это так торжественно, так важно, точно принес с собой нечто самое нужное, самое ценное для газеты. А между тем молодая газета на 80 % серьезно политическая. Литературно-критический отдел только терпится, как вынужденная необходимость. Редактор, принимая тощую рукопись, наклоняет голову — вероятно для того, чтобы скрыть свою улыбку.

Этот новый сотрудник газеты — Николай Степанович Гумилев. Он появляется затем в редакции несколько раз, приносит не только критические статьи, но и рассказы. И даже стихи. Но торжественная манера разговаривать с редактором неизменно та же. Проходит много лет, совершается революция, наступает голод и террор, люди уныло пригибают спины, стараются быть незаметными, научаются говорить приниженным тоном, выдавливая на лицах своих виноватые улыбки, — но Гумилев тот же. Сейчас на нем, правда, не цилиндр, но яркая доха из тюленьего меха с цветной каймой. Он такой же напряженный, не сгибает спины и не только не принижает своего тона, но напротив — говорит высокомерно, особенно с пролетарскими поэтами — всякими Жижморами¹, Садофьевыми², Самобытниками³. Вероятно, точно так же он разговаривал впоследствии со следователями из Чеки. Когда я однажды даю ему понять, что его тон восстанавливает против него пролетарских поэтов и делает их его врагами, он невозмутимо отвечает: только так и надо с ними разговаривать. Этим я поднимаю в их глазах поэзию. Пусть и они таким тоном говорят, если они действительно поэты.

Мы живем почти рядом. Я — угол Солдатского и Знаменской. Он — угол Солдатского и

Преображенской. Очень часто мы вместе возвращаемся из Дома Литераторов с Бассейной. Большой частью я только слушатель, поддерживающий беседу; говорит он и говорит при этом занятные вещи.

Так, из его собственных уст я узнаю, что с юношеских лет он чувствует себя конквистадором, которому предназначено совершать подвиги, опасные путешествия и вообще путь по линии наибольшего сопротивления. Вот почему он два раза ездил в глубину Африки, в Лапландию и добровольцем отправился на фронт. И искоса посмотрев на меня, он говорит:

— По-моему, я такой же и в поэзии. Здесь меня прельщает преодоление труднейших форм. Недаром я взялся переводить Теофиля Готье, которого, как вы вероятно знаете, называли укротителем слов.

В другой раз он признается мне, что если бы родился несколько раньше, он несомненно стал бы авантюристом.

— Впрочем, — говорит он, — не исключена возможность, что я им еще буду. Ведь мы сейчас снова живем в эпоху средневековья, т. е. когда люди задаются большими замыслами, колеблются между Богом и Дьяволом. Я — из их числа.

В третьей уличной беседе он раскрывает предо мной свой восторг перед историческими людьми и героями.

— Какое счастье для человечества, что были, например, царь Соломон и царица Савская! Великие личности — это сокровища, остающиеся в памяти людей. Без таких сокровищ скучно было бы жить.

Ту же мысль он высказывает месяца два спустя в стихотворной семинарии в Доме Искусств, где он обучает искусству писать стихи. Но его аудитория состоит не только из молодых людей, мечтающих о писательской славе. Его слушают и заправские поэты вроде Георгия Иванова, Осипа Мандельштама, Владимира Пяста.

Говоря о том, что должен знать поэт, он на первом месте ставит историю.

— Поэт должен знать и любить историю. Герои истории это те образы, которые всегда должны пламенеть в душе каждого поэта. Когда я произношу два имени Ромула и Рема — предо мной встает вся культура Древнего Рима. Для меня это нечто вроде камертона, наводящего на определенную настроенность.

Кстати, вся эта лекция Гумилева посвящена тому, что должен знать поэт. Он говорит спокойно, деловито, без тени пафоса, как и полагается мастеру, обучающему цеховых. Он ведь на поэзию смотрит как на мастерство. Он мастер цеха поэтов. И созданный им цех поэтов он ни за что не хочет влить в союз писателей и однажды в заседании Комитета Дома Литераторов бросает ошарашивающую нас фразу:

— Поэт не всегда писатель.

Между прочим, он обещал мне как-нибудь пояснить свою мысль, но так и не успел.

Так что же должен знать поэт? Гумилев сидит на столе и курит трубку. Перед ним группа слушателей в 25 человек. Комната — нетопленная. Все в шубах, в калошах, высоких сапогах. Кое у кого на спинах мешки, из которых выглядывает вобла. Мастера не шокирует его мастерская. Гумилев невозмутимо говорит.

— Поэт должен быть знаком, как я уже сказал, с историей, а затем с географией, с мифологией, с астрологией, с алхимией, с наукой о драгоценных камнях. Это — незаменимые источники

образов, в совокупности своей являющиеся частью общей науки об эйдологии — науки об образах.

Не знаю как вам, но мне в этих деловитых, простых словах, произнесенных поучающим тоном, слышится далекий голос старинного мастера, передающего своим ученикам секреты своего цеха.

Иногда в этом же семинарии чтение своих стихов он начинает после такого предисловия:

— В результате моих долгих занятий мифологией я написал следующие стихи.

Гумилев производил впечатление человека твердого, решительного, с крепким позвоночным хребтом, без малейших следов интеллигентской неврастении, без так называемой рефлексии. Сказано — сделано. Обещано — будет исполнено. Мне нередко приходилось иметь с ним деловые отношения по Дому Литераторов и меня, признаться, всегда привлекала его мужественная манера отчетливо говорить «да» или «нет», его аккуратность и верность слову. В те времена нелегко было столкнуться с кем-нибудь хотя бы насчет самой пустяшной вещи; либо человек раздумает и потом трусливо избегает вас, либо не имеет мужества отказать вам и лукавит, либо просто забудет. Гумилев был человек внутренней дисциплины и честный в своих словах.

Я как-то шутливо сказал ему:

— Вы были бы хорошим купцом.

Он ответил серьезно:

— Я и есть купец. Я продаю стихи. И смею вас уверить, делаю это толковее других. Попробуйте-ка стихами прокормить семью. А я это делаю. И мне это даже нравится, потому что это всем кажется невозможным.

Отправляясь в свою последнюю поездку в Крым, он пришел ко мне в библиотеку и просил меня передать Дому Литераторов его предложение: пусть Дом Литераторов выдаст ему известную сумму денег; на эти деньги он приобретет изюм, сахар и белую муку; половину этого «товара» он возьмет себе, а другую часть отдаст Дому Литераторов.

Я обещал ему доложить об этом на ближайшем заседании, но не утерпел, чтобы не заметить:

Вы, Николай Степанович, что-то не своим делом занимаетесь.

Нет, нет, — возразил он серьезно. — Я предпочитаю добывать себе еду таким способом, чем литературной халтурой. Вот халтурой заниматься не буду.

А вернувшись из поездки, он занес мне в Библиотеку отпечатанный в военной типографии в Севастополе новый сборник его стихов («Шатер») и сказал:

— Вот видите, я даром времени не терял: и съездил, и изюм раздобыл, и книжку стихов успел отпечатать — в 10 дней.

Честная прямота Гумилева, естественно, породила много врагов ему. Он читал лекции в Пролеткульте, в Балтфлоте и даже в Горохре (городская охрана), где обучал писать сонеты... милиционеров. Повсюду, конечно, ему приходилось выступать и в качестве стихотворного судьи и произносить свои приговоры. Само собой разумеется, большей частью его приговоры были безжалостны. Но милиционеров или матросов его неодобрительные отзывы вряд ли сильно задевали, а вот в Пролеткульте, где на его суд являлись заслуженные пролетарские поэты вроде Жижмора, Маширова-Самобытника, Садофьева — там против него нередко поднималось негодование. А от негодования в Советской России всего только один шаг к доносу в Г. П. У., тем более. что Гумилевым произносились такие фразы:

— Пролетарской поэзии не существует. Могут быть только пролетарские мотивы в поэзии.

Или:

— Каковы бы ни были стихи — пролетарские или непролетарские — но пошлости в них не должно быть. А ваши «барабаны», «вперед», «мозолистые руки», «смелее в бой» — это все пошлости.

А однажды он прямо в лицо заявил жижморам и самобытникам:

— Поэтами вы никогда не будете. В лучшем случае вы будете версификаторами, да и то плохими.

С такой же прямоотой он подчас высказывался и о своих политических убеждениях. Однажды он прочел свое стихотворение, посвященное Африке и вошедшее потом в сборник «Шатер». Одна строчка из него вызвала гул в публике:

Я бельгийский ему подарил пистолет

И портрет моего государя.

— Когда он сошел с эстрады, у него спросили:

— Вы это иронически или серьезно насчет портрета?

— Конечно серьезно, — ответил Гумилев.

— А вы разве Николая II любите?

— Любить я его не любил, потому что он не соответствовал моему идеалу монарха. Но вообще-то я монархист.

То же самое говорил он и мне. И я думаю, что точно такой же ответ получил допрашивавший его следователь Чеки. Гумилев был бесстрашный человек; он охотился на львов, за храбрость получил два солдатских Георгия. И я не сомневаюсь, что на обычный вопрос чекистского следователя о его политических взглядах, Гумилев, должно быть спокойно глядя ему в лицо, не без надменности сказал:

— Я монархист.

По крайней мере, когда в петербургской «Правде» был напечатан список расстрелянных по Таганцевскому делу, там рядом с фамилией каждого расстрелянного было точное указание, в чем заключалось его преступление. В чем же состояло преступление Гумилева? В этом трагическом списке казенный некролог поэта заключал в себе всего только одну строчку:

Гумилев Николай Степанович, монархист.

Насколько я его знал, кажется, в самом деле только в этом и была его вина.

Критики и исследователи творчества Гумилева много раз указывали, что к концу своей жизни он был полон предчувствия приближающейся смерти. Должен сказать, что наблюдая его последние три года, я этого не замечал. Наоборот, несмотря на невзгодливое бытие того времени, он был жизнерадостен, энергичен, полон надежд. Его книга стихов «Огненный столп» была еще в

печати, а он уже придумал заголовок следующей своей книги, смысл которого подчеркивал середину, а не конец: книга должна была называться «Посредине странствия земного». Стоит также отметить, что в последние месяцы перед своей гибелью он был влюблен и далеко не безнадежно. И вернувшись с юга, загорелый, бодрый, он в сравнении с нами, прозябшими под бледным петербургским небом, казался сияющим от радостно-здоровой полноты жизненности.

Я скажу больше. Мы тогда все были подавлены и угнетены. Мы начинали забывать, что такое смех. Над нами беспросветно нависало черное солнце меланхолии, и упорно донимала нас мысль, что никогда оно не сойдет с неба. А Гумилев как ни в чем не бывало ходил по русской долине смерти и не только никогда вслух не скорбел, не жаловался — а, напротив, воспринимал существо спокойно, с легкой усмешкой.

Я даже как-то сказал ему:

— Вы как будто и не замечаете того, что творится вокруг.

— Ну, как не замечаю! — недовольно ответил Гумилев. — Отлично вижу. Но я ведь вам когда-то говорил, что люблю пути наибольшего сопротивления. Чтобы было что преодолеть. А теперь есть что преодолеть: опрощение, тиф, голод, Чека. Опасности на каждом шагу. Чем — не Африка!

Близкий Гумилеву поэт Георгий Иванов подтверждает это другими словами. Он рассказывал, что очутившись после свержения Временного Правительства в Лондоне, Гумилев, состоявший до того в особом корпусе генерала Лохвица⁴, однажды летом 1918 г. обсуждал с приятелями офицерами, что делать дальше. Одни предлагали поступить в Иностраный Легион, другие звали его охотиться в джунгли на диких зверей. Гумилев сказал: «На войне я пробыл три года, на львов я уже охотился. А вот большевиков еще не видел. Поеду в Россию».

Это характерно для Гумилева. Его действительно привлекали опасности и беспокойные приключения, потому что в них находила себе пищу присущая ему мужественность. Оттого и жизнь в Советской России в самые мрачные дни большевизма казалась ему «интересной». «Чем не Африка!».

Увы, красная Африка не оправдала веры Гумилева в свои удачи. Львы и немецкие пули пощадили его. Русская пуля его не пожалела.

И все-таки один эпизод из последних дней жизни Гумилева, как будто действительно говорящий о предчувствии у покойного приближающейся смерти, мне припоминается.

Уже была закончена набором его последняя книга «Огненный столп». Уже были даже отпечатаны два листа. Однажды вечером, когда я сидел в издательстве «Петрополис», кто-то занес письмо от Гумилева. Поэт просил, если возможно, вставить в книгу еще одно стихотворение, крайне важное, по его мнению, для цельности книги. Оно называлось: «Мои читатели». Издатель прочел его вслух. Строки стихотворения, говорившие о том, что автор во всех своих книгах всегда учил читателей спокойно смотреть смерти в глаза, остановили наше внимание.

— Чего это он вдруг? — пожал плечами издатель.

— Кокетничает! — заметил я.

Это случилось за несколько дней до ареста Гумилева. Впоследствии, когда его уже расстреляли, мы вспомнили об этих строках. А заключительным фактом этих грустных воспоминаний было еще более грустное обстоятельство. Тут же установленное: стихи «Мои читатели» оказались

Из Петрограда Бердяев вместе с женой и свояченицей отплыл на пароходе в Германию, добрался до Берлина и, обосновавшись, продолжил исследовательскую, лекторскую и пропагандистскую работу. Однако к 1924 г. условия жизни в Германии стали несносными, дороговизна превзошла всяческие пределы, курс марки стремительно падал; Бердяевы перебираются во Францию, куда уже переместились лучшие интеллектуальные силы российской эмиграции. Поселившись в Кламаре (предместье Парижа), Бердяев провел в нем оставшиеся 24 года жизни, отлучаясь на регулярный отдых к морю и в поездки с лекциями по Восточной и Западной Европе.

Здесь же, во Франции, проживала свояченица Бердяева Евгения Юдифовна Рапп. Давно и хорошо зная Бердяева, еще с поры российских 1900-х годов, она по смерти философа стала его душеприказчицей. Е. Ю. Рапп сохранила, разобрала и частично описала бумаги Бердяева и в 1960 г., незадолго до кончины, передала его архив на родину.

Прибывший из советского посольства во Франции архив Бердяева был помещен в ЦГАЛИ, прошел там научное описание и на 28 лет лег на дно спецхрана. В 1988 г. фонд был рассекречен. Среди его многочисленных материалов хранится запись, сделанная Е. Ю. Рапп вскоре после скорбного дня 23 марта 1948 г.*

Смерть

Обычно по воскресеньям у нас собирались друзья Николая Александровича. Бывали не только французы, англичане и американцы, но и японцы, китайцы, индусы. В воскресенье 21-го марта 1948 года собрание было особенно многочисленно. Н. А. был особенно оживлен. Много говорили о проблеме зла. Поздно вечером, когда все разошлись, Н. А. мне сказал, что очень утомился. Но несмотря на усталость, за ужином он продолжал говорить со мной о проблеме зла — вопрос, который мучил его всю жизнь.

На следующий день утром, когда я вошла в его кабинет, Н. А. сказал мне, что он не спал всю ночь, задыхался и очень страдал от спазм во всем теле. Утомленный, осунувшийся он спустился вниз, в нашу маленькую столовую. За утренним кофе он сказал: «Знаете, Женя, у меня совершенно созрел план новой книги (он только что, две недели тому назад закончил «Царство Духа и Царство Кесаря» 1). Я хочу писать книгу о новой мистике. Все главы я уже распределил. В первой главе я буду говорить о том, что в основе мира — тело и кровь Христа». Я хотела рассказать, как мне раскрывается новый мистический опыт, но Н. А. меня прервал: «Не будем говорить об этом. Когда я начинаю писать новую книгу, я не люблю говорить о ней, даже читать книги, в которых затрагиваются те же вопросы. Мир как бы перестает существовать для меня, я весь погружаюсь в раскрывающуюся во мне глубину». Я смотрела на его побледневшее лицо и решила сегодня же позвать доктора, который жил в Кламаре и всегда лечил Н. А. Доктор приехал вечером. Н. А. провел весь день как обычно: писал, читал. Эти дни он мне говорил, что с каким-то особенным вниманием читает Библию. Доктор ничего серьезного не нашел. Небольшое ослабление сердца, и сказал, что приедет через несколько дней.

На следующий день, день смерти, Н. А. спустился к утреннему кофе и на мой вопрос: как он себя чувствует, ответил: «Очень хорошо. Гораздо лучше...» Все утро он писал в своем кабинете. За завтраком мы обсуждали самые разнообразные вопросы. Н. А. говорил с необыкновенным волнением. Меня это как-то тревожило. Обычно после завтрака он поднимался к себе, работал и после трех часов ложился отдохнуть. За чаем он сказал мне, что чувствует себя немного хуже, но несмотря на это ушел работать. Было около пяти часов. Я была внизу и услышала его слабый голос: «Женя, мне очень плохо». Я поднялась по лестнице, вошла в кабинет. Он сидел в кресле, у письменного стола. Голова была закинута назад, лицо бледнело. Он тяжело дышал. Я прикоснулась к его руке. Пульса не было. Дыхание прекратилось...

Приехавший доктор констатировал смерть от разрыва сердца.

(Записала Е. Ю. РАПП)

Примечание

«Запись» печатается по авторизованной машинописи Е. Ю. Рапп; хранится в ЦГАЛИ, ф. 1496, оп. 1, ед. хр. 932, л. Л. 1—1 об.

1 Впервые напечатано: Царство Духа и Царство Кесаря. Париж, УМСА-Press, 1949.

Перенесение праха Н. В. Гоголя в 1931 г. Запись В. Г. Лидина

Лидин В. Г. Перенесение праха Н. В. Гоголя / Публ. [вступ. ст. и примеч.] Л. Ястржембского // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 243—246. — [Т.] I.

В конце 1963 года, после смерти известного краеведа, писателя и художника Бориса Сергеевича Земенкова, мне позвонила его вдова — Галина Леонидовна Владычина. Она предложила мне принять участие в разборе обширного архива Земенкова для последующей передачи наиболее ценных материалов в Музей истории и реконструкции Москвы, где я в то время работал директором. Галина Леонидовна выполняла последнюю волю своего мужа, который был в течение многих десятилетий бессменным членом Ученого совета этого музея, редактором научных трудов и постоянным научным консультантом по истории культуры Москвы. Особенное внимание в творческой деятельности Земенкова занимали московские судьбы выдающихся писателей, ученых, композиторов, актеров, художников — все это нашло отражение в вышедшей в 1959 году фундаментальной монографии «Памятные места Москвы», своеобразной энциклопедии московской культурной жизни. Земенкову удалось определить десятки мест, ставших бесценными памятниками, связанными с немеркнущими именами русской культуры. Мало того, он восстановил по сохранившимся в архивах материалам облик и точно установил место многих давно ушедших или совсем изменивших свой вид памятников. Благодаря своему таланту художника он воссоздал некоторые из них в акварелях, которые бережно сохраняются в музейных фондах и широко используются во многих московских изданиях.

После передачи материалов Земенкова в музей, Галина Леонидовна подарила мне небольшую рукопись на нескольких машинописных пожелтевших от времени листочках, под заголовком «Перенесение праха Гоголя».

В правом углу первого листка рукописи чернилами сделана надпись — «Борису Сергеевичу Земенкову московскому блюстителю, единственный экземпляр. 1 апреля 46. Вл. Лидин».

Лидина и Земенкова связала многолетняя личная и творческая дружба. У обоих писателей, коренных москвичей, было много общих интересов, и прежде всего, Москва, ее многогранная культурная жизнь, деятельность ее виднейших представителей, судьба памятников и памятных мест древнего города.

Мне нетрудно представить, почему Владимир Германович подарил свой «единственный экземпляр», как он пишет в дарственной надписи, именно Земенкову. В творчестве Бориса Сергеевича в течение многих лет Гоголь занимал совершенно особое место. Год за годом он тщательно собирал материалы о Гоголе, его жизни и творчестве в Москве. Все это вылилось в конечном итоге в создание исследования «Гоголь в Москве», которое вышло в свет в 1954 году, в «Трудах Музея истории и реконструкции Москвы». В настоящее время эта книга стала библиографической редкостью.

Перенесение праха Гоголя

В июне 1931 года мне позвонила по телефону одна из сотрудниц Исторического музея

В июне 1951 года мне позвонил по телефону один из сотрудников исторического музея.

«Завтра на кладбище Данилова монастыря будет происходить вскрытие могилы Гоголя, — сказал он мне. — Приезжайте».

Я поехал. Был тёплый летний день. По привычке я захватил с собой фотоаппарат. Снимки, которые я сделал на кладбище, оказались единственными. Одновременно с могилой Гоголя вскрыли в этот день могилы Хомякова и Языкова; прах их тоже подлежал перенесению. Кладбище Данилова монастыря упразднилось. На территории монастыря был организован приёмник для несовершеннолетних правонарушителей.

Первой была вскрыта могила Хомякова². Огромный цинковый запаянный гроб частично обветшал и распался; внутри него был второй гроб, дубовый, его верхние доски прогнили. Вся фигура Хомякова сохранилась почти в том же виде, в каком он был похоронен 71 год назад. Верхняя часть черепа с густой шапкой волос была цела; сохранившийся казакин или славянофильская коричневая поддевка, завершавшаяся брюками, вправленными в высокие сапоги, заключала в себе весь остов скелета. Одевание было такой прочности и в такой сохранности, что останки подняли за плечи и ноги и целиком, ничего не нарушив, переложили в другой гроб. В изголовьи Хомякова оказалась чашечка севрского фарфора с голубыми незабудками, видимо, оставшаяся после соборования. Рядом с прахом Хомякова находился и прах его жены Екатерины Михайловны, родной сестры поэта Языкова, умершей за 8 лет до смерти Хомякова. В волосах, полностью сохранившихся в виде прически, был воткнут черепашковый гребень.

От Языкова³, похороненного под одним памятником с его другом и родственником Дмитрием Александровичем Валуевым⁴, остались только разрозненные кости скелета и череп с очень здоровыми, крепкими зубами. Скелет пришлось доставать по частям, и археологу восстанавливать его в новом гробу — в анатомическом порядке.

Могила Гоголя вскрывали почти целый день. Она оказалась на значительно большей глубине, чем обычные захоронения. Начав её раскапывать, натолкнулись на кирпичный склеп необычайной прочности, но замурованного отверстия в нём не обнаружили; тогда стали раскапывать в поперечном направлении с таким расчетом, чтобы раскопка приходилась на восток (т. е., именно головой к востоку, по православному обряду, должен был быть предан земле покойник), и только к вечеру был обнаружен еще боковой придел склепа, через который в основной склеп и был в своё время вдвинут гроб.

Работа по вскрытию склепа затянулась, и начинались уже сумерки, когда могила была, наконец, вскрыта. Верхние доски гроба прогнили, но боковые с сохранившейся фольгой, металлическими углами и ручками и частично уцелевшим голубовато-лиловым позументом, были целы. Вот что представлял собой прах Гоголя:

черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков: весь остов скелета был заключён в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета; под сюртуком уцелело даже бельё с костяными пуговицами; на IX были башмаки, тоже полностью сохранившиеся; только дратва, соединяющая подошву с верхом, прогнила на носках, и кожа несколько завернулась кверху, обнажая кости стопы. Башмаки были на очень высоких каблуках, приблизительно 4—5 сантиметров, это даёт безусловное основание предполагать, что Гоголь был невысокого роста. Когда и при каких обстоятельствах исчез череп Гоголя, остаётся загадкой. При начале вскрытия могилы, на малой глубине, значительно выше склепа с замурованным гробом, был обнаружен череп, но археологи признали его принадлежавшим молодому человеку.

Праха Языкова и Хомякова мне удалось сфотографировать; останков Гоголя я, к сожалению, снять не смог, так как были уже сумерки, а на следующее утро они были перевезены на кладбище Новодевичьего монастыря, где и преданы земле⁵. Я позволил себе взять кусок сюртука Гоголя, который впоследствии искусный переплётчик вделал в футляр первого издания «Мёртвых душ»: книга в футляре с этой реликвией находится в моей библиотеке.

Недавно, просматривая 6-й том сочинений Пушкина в издании Брокгауза-Ефрона, я натолкнулся на статью В. В. «Обнажившийся гроб Пушкина». Мне показалось существенным оставить документальную запись о схожем событии — о перенесении праха другого великого русского писателя — Гоголя.

Вл. Лидин

Два примечания:*

I. Мне пришлось впоследствии слышать такую легенду: в 1909 г., когда при установке памятника Гоголю на Пречистенском бульваре в Москве, производилась реставрация могилы Гоголя, Бахрушин⁶ подговорил будто бы монахов Данилова монастыря добыть для него череп Гоголя и что, действительно, в Бахрушинском театральном музее в Москве имеются три неизвестно кому принадлежащие черепа: один из них по предположению — череп Щепкина, другой — Гоголя, о третьем ничего не известно. Есть ли в действительности в музее такие черепа — не знаю, но легенду эту, сопровождавшую исчезновение черепа Гоголя, я слышал лично — к сожалению, не помню от кого?

II. А. С. Хомяков умер в 1860 году — 56 лет отроду; его жена Екатерина Михайловна, с которой похоронен он в общей могиле, в 1852 году. Н. М. Языков умер в 1846 году, 43 лет отроду; Дмитрий Александрович Валуев, схороненный в одной могиле с Языковым, в 1845 году — 25 лет отроду. Гоголь в 1852 году — 43 лет отроду.

Примечания

1 По телефону к В. Г. Лидину позвонила старший научный сотрудник Государственного Исторического музея Мария Юрьевна Барановская (1902—1978).

2 Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), поэт, публицист, философ, один из идеологов славянофилов. Вместе с прахом Хомякова и его жены был перенесен и гранитный памятник.

3 Языков Николай Михайлович (1803—1846), поэт-лирик пушкинской поры. В 1950 г. на могиле Языкова был установлен памятник серого гранита.

4 Валуев Дмитрий Александрович (1820—1845), родственник и друг Н. М. Языкова.

5 Одновременно с прахом Гоголя на Новодевичье кладбище были перенесены памятник и металлическая художественная ограда с бронзовым барельефом писателя (скульптор Н. Андреев).

В 1951 г. в связи с подготовкой к столетию со дня смерти Н. В. Гоголя перед саркофагом вместо гранитной глыбы, служившей основанием креста, был установлен мраморный портретный бюст писателя на цилиндрической гранитной колонне (скульптор Н. Томский, архитектор Л. Голубовский). Снятая гранитная глыба, которая в свое время была доставлена по поручению С. Т. Аксакова с побережья Черного моря для памятника Гоголю, поступила в мастерскую по изготовлению надгробий. Тут она была обнаружена вдовой М. А. Булгакова, который всю свою жизнь преклонялся перед талантом великого писателя. В 1953 г. гранитная глыба была установлена на могиле М. А. Булгакова, на том же Новодевичьем кладбище.

6 Бахрушин Алексей Александрович (1865—1929) — русский театральный деятель, крупный коллекционер, создатель первого в России Театрального музея.

7 Попытки обнаружить сведения в Центральном Театральном музее имени А. А. Бахрушина об упомянутых В. Г. Лидиным черепах Гоголя и Щепкина не привели к результатам.

Публикуется по журналу «Историческое

В. В. Розанов. Материалы к биографии

Розанов В. В. Анкета для Библиографического словаря деятелей Нижегородского Поволжья // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 249—254. — [Т.] I.

Фамилия Розанов

Имя Василий

Отчество Васильевич

Год, месяц, число рождения 1856 год, апрель...

Место рождения Ветлуга Костромской губ.

Вероисповедания Православное

Кто были родители Отец мелкий чиновник лесного ведомства, — мать дворянка урожденная Шишкина в Краткая история рода (главным образом: были ли в роде выдающиеся в каком-либо отношении люди)

Не знаю дальше родителей, но дед был священником.

Ход воспитания и образования. Под какими умственными и общественными влияниями оно происходило:

Отца потерял 3-х лет (в Ветлуге или Варнавине), — и одновременно мать с 7-ю детьми переехала в Кострому ради воспитания детей. Здесь купила маленький деревянный домик у Боровкова пруда. Только старшая сестра Вера и старший брат Николай († директором Вяземской гимназии) учились отлично; прочие — плохо Даже > скверно. Также и я учился очень плохо. Не было ни учебников, и никаких условий для учения. Мать 2 последних года жизни не вставала с постели, братья и другая сестра были «не работоспособны», и дом наш и вся семья разваливались¹... Мать умерла, когда я был (оставшись на 2-й год) учеником 2-го класса. Нет сомнения, что я совершенно погиб бы, не «подбери» меня старший брат Николай, к этому времени как раз окончивший Казанский Университет. Он дал мне все средства образования и словом был отцом. Он был учителем и потом директором гимназии (в Симбирской, в Нижнем, в Белом, Смоленск, губ. и в Вязьме). Он рано женился на пансионерке Нижегородского института благородных девиц, времени директриссы Остафьевой, Александре Степановне Троицкой, дочери Нижегородского учителя. Эта замечательная по кротости и мягкости женщина была мне сущою матерью. От нее я не слышал не только грубого, но и жесткого слова. С братом же я ссорился, начиная с 5—6-го класса гимназии: он был умеренный, ценил Н. Я. Данилевского² и Каткова³; уважал государство, любил свою нацию; в то же время зачитывался Маколеем⁴, Гизо⁵, из наших — Грановским⁶. Я же был «нигилист» во всех отношениях, и когда он раз сказал, что «и Бокль⁷ с Дрэпером⁸ могут ошибаться», то я до того нагрубил ему, что был отделен в столе: мне выносили обед в свою комнату. Словом, все «обычно русское». Учился я все время плоховато, запоем читая и скучая гимназией.

Анкета для Библиографического Словаря деятелей Нижегородского Поволжья, заполненная В. В. Розановым 22 июля 1909 г.

Гимназия была отвратительна, «Толстовская». Директор — знаменитый К. И. Садоков, умница и отличный в сущности директор: но я безотчетно или вернее «бездоказательно» чувствовал его двуличие, всячески избегал — почему-то ненавидел, хотя он ничего вредного мне не сделал, нрзб.

неприятного. Кончил я «едва-едва», — атеистом, (в душе) социалистом, и со страшным отвращением кажется ко всей действительности. Из всей действительности любил только книги. В университете (историч. филолог, факультет) я беспричинно изменился: именно, я стал испытывать постоянную внутреннюю скуку, совершенно безграничную, и позволю выразиться — «скука родила во мне мудрость». Все рациональное, отчетливое, явное, позитивное мне стало скучно «Бог весть почему»: профессора, студенты, сам я, «свое все» (миросозерцание) — скучно и скучно. И книги уж я не так охотно и жадно стал читать, не «с такою надеждою». Учился тоже «так себе». Вообще, как и всегда потом, я почти не замечал «текущего» и «окружающего», из него лишь «поражаясь» чем-нибудь: а главное была... не то чтобы «энергичная внутренняя работа», для какой не было матерьяла, вещества, а — вечная задумчивость, мечта, переходившая в безотчетное «внутреннее счастье» или обратно — в тоску. Кончив — поступил учителем и к учительству относился как ко всему: «что-то течет вокруг меня: и все мешает думать». Уже с 1-го курса университета я перестал быть безбожником. И не преувеличивая скажу: Бог поселился во мне. С того времени и до этого, каковы бы ни были мои отношения к церкви (изменившиеся совершенно с 1896—97 г.)⁹ — что бы я ни делал, что бы ни говорил и ни писал, прямо или в особенности косвенно я говорил и думал собственно только о Боге: так что Он занял всего меня, без какого-либо остатка, в то же время как-то оставив мысль свободною и энергичною в отношении других тем. Бог меня не теснил и не связывал; я стыдился Его (поступая или думая дурно), но никогда не боялся, не пугался (ада никогда не боялся), Я с величайшей любовью приносил Ему все, всякую мысль (да только о Нем и думал): как дитя пошедшее в сад приносит оттуда цветы или фрукты или дрова «в дом свой», отцу, матери, жене, детям: Бог был «дом» мой (исключительно меня одного, — хотя бы в то же время и для других «Бог», но это меня не интересовало, и в это я не вдумывался), «все» мое, «родное» мое. Так-так в этом чувстве, что «Он — мой», я никогда не изменялся (как грешен ни бывал), то и обратно во мне совершенно утвердилась вера, что «Бог меня никогда не оставит». Кажется этому способствовало одно мое чувство, или особенность, которой в равной степени я ни у кого не встречал: скромность как бы вытекающая у меня из совершенной потери своей личности. Уже много лет я не помню, чтобы когда-нибудь обижался на личную обиду: и когда от людей грубых (напр. романист Всеволод Соловьев¹⁰) мне приходилось испытывать чрезвычайные обиды, я не мог сердиться даже в самую минуту обиды, и потом доле 3-х дней не помнил, что она была. Это глубокое умаление своей личности у меня вытекало из тесноты отношения к Богу: «уничуждения» (деланного) во мне тоже нет: а я просто ничего не думаю о себе, «сам» — просто неинтересная для меня вещь (как впрочем и весь мир) сравнительно с «родное — Бог — мой дом», «мой угол». С этим умалением своей личности (и личности целого мира) связано (как я думаю и уверен) моя свобода и даже (может показаться) бесстыдство в литературе. Я тоже «ничего не думаю» и о писаниях своих, не ставлю их ни в какой особенный «плюс», а главное — что бы ни случилось написать и что бы ни заговорили о написанном — с меня «как с гуся вода»: я ничего этого не чувствую. Я как бы «заснул со своим Богом» и сплю непробудно счастливым сном. «Чувство Бога» продолжается у меня (без перерывов) с 1-го курса Университета: но характер чувства и следовательно постижение Бога изменилось в 1896—1897 г. в связи с переменою взглядов на 1) пол, 2) брак, 3) семью, 4) отношение Нового и Ветхого Завета между собой. Но рубрики 1), 2) и 4) были в зависимости от крепчайшего утверждения в семье. Разные семейные коллизии сделали, что мне надо было съехать с почвы семьи, с камня семьи. Но тут уперлась вся моя личность, не гордым в себе, а именно смиренным, простым, кротким: это-то «смирненное, простое и кроткое» и взбунтовалось во мне, и побудило меня, такого «тихонького» восстать против самых великих и давних авторитетов. Если бы я боролся против них «гордостью ума» — я был бы давно побежден, разбит. Но «кротости» ничего нет сильнее в мире, кротость — непобедима: и как я-то про себя знаю, что во мне бунтует «тихий», «незаметный», «ничто»: то я и чувствую себя совершенно непобедимым, теперь и даже никогда. Вообще если разобраться во всех этих коллизиях подробно — и развернуть-бы их в том, это была-бы величайшая по интересу история, вовсе не биографического значения, а так сказать цивилизационного, историко-культурного. По разным причинам я думаю, что это «единственный раз» в истории случилось, и я не могу отделаться от чувства, что это — провиденциально.

Все время с 1-го курса университета я «думал», solo — «думал»: кончив курс сел сейчас за книгу «О понимании» (700 страниц) и написал ее в 4 года совершенно легко, ничего подготовительно не читавши и ни с кем о теме ее не говоривши. Я думаю такого «расцвета» ума» как во время писания этой книги — у меня уже никогда не повторялось. Сплошное рассуждение на 40 печатных листов, — летящее, легкое, воздушное, счастливое для меня, сам сознаю — умное: это я думаю вообще не часто в России. Встретить книга какой-нибудь привет я бы на всю жизнь остался «философом». Но книга — ничего не вызвала (она однако написана легко). Тогда я перешел к критике, публицистике: но все это было «не то». Т. е. это не настоящее мое: и когда я в философии никогда не позволил бы себе «дурачиться», «шалить», в других областях это делаю.

NB: при постоянной, непрерывной серьезности, во мне есть много резвости и до известной степени «во мне застыл мальчик и никогда не переходил в зрелый возраст». «Зрелых» людей, «больших» — я и не люблю; они меня стесняют, и я просто ухожу в сторону. Никакого интереса с ними и от них не чувствую и не ожидаю. Любил я только стариков — старух и детей — юношей, не старше 26 лет. С прочими — «внешние отношения», квартира, стол, деньги. Никакой умственной, или сердечной связи (с «большими»).

Сотрудничал я в очень многих журналах и газетах, — всегда без малейшего внимания к тому, какого они направления и кто их издает. Всегда относились ко мне хорошо. Только консерваторы не платили гонорара или задерживали его на долгие месяцы (Берг, Александров¹¹). Сотрудничая я чуть-чуть приносивал свои статьи к журналу, единственно чтоб «проходили» они: но существенно вообще никогда не подавался в себе. Но от этого я любил одновременно во многих органах сотрудничать: «одна часть души пройдет у Берга...». Мне ужасно надо было, существенно надо, протиснуть «часть души» в журналах радикальных: и в консервативнейший свой период, когда, оказывается, все либералы были возмущены мною, я попросил у Михайловского¹² участия в «Русском Богатстве». Я бы им написал действительно отличнейшие статьи о бюрократии и пролетариях (сам пролетарий — я их всегда любил). Михайловский отказал, сославшись: «читатели бы очень удивились, увидав меня вместе с Вами в журнале». Мне же этого ничего не приходило в голову. Материально я чрезвычайно многим обязан Суворину¹³: ни разу он не навязал мне ни одной мысли, ни разу не внушил ни одной статьи, не делал и попытки к этому, ни шага. С другой стороны я никогда в жизни не брал авансов, — даже испытывая страшнейшую нужду. Суворин (сколько понимаю) тоже ценит во мне не жадность: и как-то взаимно уважая и кажется любя друг друга (я его определенно люблю, — но и от него кроме непрерывной ласки ничего не видел за 10 лет) — хорошо устроились. Без его помощи, т. е. без сотрудничества в «Новом Времени» я вот теперь не мог бы даже отдать детей в школы: раньше хватало только на пропитание и квартиру, и жена в страшную петербургскую стужу ходила в меховой кофте, не имея пальто. Но моя прекрасная жена никогда ни на что не жаловалась, о горе — молчала, делилась с другими только «хорошим»: и вообще должен заметить, что «путеводной звездой» моей в жизни служила всегда эта 2-ая жена, женщина удивительного спокойствия и ясности души, соединенной с тихой и чисто русской экзальтацией.

«Величие в молчании».

Статьи мои собраны в книгах:

- 1) «Сумерки просвещения», 1899 г.
- 2) «Природа и история», 1899 г.
- 3) «Литературные очерки», 1900 г.
- 4) «Религия и культура» (два издания), 1900 г.
- 5) Легенда о Великом Инквизиторе — Достоевского. Три издания.

6) В мире неясного и нерешенного (главная идейная книга). Два издания. 1904 г.

7) Семейный вопрос в России. 2 тома, 1905 г.

8) Около церковных стен. 2 тома, 1907 г.

9) Ослабнувший фетиш, 1907 г.

10) Место христианства в истории, 1891 г. Брошюра

11) О декадентах, 1907 г. Брошюра

12) Метафизика Аристотеля. Книги I—V. Перевод и комментарий в сотрудничестве с П. Д. Первовым (учитель гимназии в Ельце).

Служил сперва учителем истории и географии (Брянск, Елец, Белый), потом Госуд. Контроле, потом — нигде. Служба была также отвратительна для меня как и гимназия. «Не ко двору корова» или «двор не по корове» — что-то из двух.

В. Розанов

Примечания

Анкета, заполненная В. В. Розановым в 1909 г. для Библиографического словаря деятелей Нижегородского Поволжья, хранится в ЦГАЛИ в личном фонде писателя (ф. 419, оп. 1, ед. хр. 21). Розанов дает отдельные ответы на первые восемь пунктов анкеты (в публикации вопросы выделены курсивом). Ответ на девятый пункт анкеты — обобщенный, он включает в себя ответы на остальные шесть пунктов:

— Начало и ход деятельности;

— Замечательные события жизни;

— Перечень всего написанного или переведенного Вами, или, по крайней мере, имеющего то или иное отношение к Нижегородскому краю (по содержанию, месту написания или печатания и т. п.), с точным по возможности обозначением: а) если речь идет о книге — года, места, формата и количества страниц, б) если речь идет о журнальной или газетной статье — года, номера, названия периодического издания, где она появилась;

— Перечень известных Вам рецензий и отзывов о произведениях Ваших также, по возможности, с точным указанием номера и года периодического издания, где эти отзывы появились;

— Не появились ли где-нибудь биографические сведения о Вас (если появились, то в какой книге или в каком номере периодического издания).

Анкета заполнена мелким, достаточно аккуратным почерком, с характерным для В. В. Розанова подчеркиванием особо важных и принципиальных для него слов.

1 Семья Розановых:

— Отец: Розанов Василий Федорович (1822 (?) — 1861?).

— Мать: Розанова Надежда Ивановна (1827 (?) — 1870).

— Братья: Николай (1847—1894), Федор (1850 — ?), Дмитрий (1852 — ?), Сергей (1858 — ?).

— Сестры: Вера (1849—1868?). Павла (1851 — ?).

- 2 Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885) — публицист, социолог и естествоиспытатель.
- 3 Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист; издатель журнала «Русский Вестник» и газеты «Московские Ведомости».
- 4 Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк и политический деятель.
- 5 Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский историк и политический деятель.
- 6 Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, общественный деятель.
- 7 Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский историк и социолог.
- 8 Дрэпер Джон Вильям (1811—1882) — американский естествоиспытатель и историк.
- 9 В 1891 году В. В. Розанов тайно обвенчался с В. Д. Бутягиной. Первая жена — А. П. Сулова — не давала ему развода. Дети Розанова от брака с Варварой Дмитриевной считались незаконнорожденными. Это во многом предопределило обращение В. В. Розанова к теме «Брак и Церковь», «Семья и Церковь».
- 10 Соловьев Всеволод Сергеевич (1849—1903) — писатель, автор исторических романов. Первоначально в тексте анкеты бы написано «Вла...», затем зачеркнуто и написано «Всеволод». Известны статьи Владимира Соловьева с резкой критикой В. В. Розанова («Порфирий Головлев : свободе и вере» и др.). Печатных отзывов Всеволода Соловьева о В. В. Розанове обнаружить не удалось. Однако в фонде Розанова сохранился листок с записями, разъясняющими этот случай. В 1896 г. Розанов опубликовал в журнале «Русское Обозрение» (т. XXXVIII) статью «Еще доброе дело на Руси», где критически были оценены опубликованные в 1895 г. в «Русском Вестнике» мемуары историка С. М. Соловьева. Эта статья вызвала раздражение издателя мемуаров, старшего сына историка — Вс. С. Соловьева. Розанов писал об этом: «Никогда я не думал, чтобы в таких умеренных границах приведенная критика была понята, как оскорбление фамильной чести знаменитого историка и по прямой связи с ним — издателя его мемуаров. ... В тесном интимном круге писателей, собравшихся проводить отъезжающего сотоварища, он неожиданно подошел ко мне и покрыл потоком ругательств, между коими «мерзавец», «недостойн развязать ремень у сапога», «я набил бы тебе морду, если б встретил не здесь, в постороннем обществе» — были едва ли не самые мягкие. Ничего я не мог, не умел, не хотел возразить» (ф. 419, оп. 1, ед. хр. 206, л. 31).
- 11 Александров Анатолий Александрович (1861—1930) — редактор-издатель журнала «Русское Обозрение» и газеты «Русское Слово»; Берг Федор Николаевич (1840—1909) — редактор-издатель журнала «Русский Вестник».
- 12 Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — социолог, публицист, литературный критик; один из редакторов «Отечественных Записок» и «Русского Богатства».
- 13 Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — издатель газеты «Новое Время» и журнала «Исторический Вестник».

Розанов В. В. Духовное завещание // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 257—261. — [Т.] I. Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Памятуя о часе смертном, могущем внезапно постигнуть меня, и находясь в здравом уме и твердой памяти, я, Коллежский Советник Василий Васильевич Розанов, сего тысяча восемьсот девяносто девятого года марта пятнадцатого дня признал за благо изложить свою волю относительно имеющегося остаться по смерти моей имущества, а равно прав литературной

собственности, и посему настоящим завещанием моим определяю:

1. Имущество движимое и недвижимое, в вещах или книгах состоящее, равно деньги, находящиеся в каких-либо банках или кассах и, наконец и особенно, право на печатание оставшихся после меня рукописей или переиздание напечатанных мною при жизни сочинений завещаю в полную и безраздельную собственность вдове Коллежского Регистратора Варваре Димитриевне Бутягиной и ее четырем незаконнорожденным детям. Означенная Варвара Димитриевна Бутягина, урожденная Руднева, в день написания сего Завещания и впредь до возможной перемены в моем семейном положении, проживает со мною неразлучно с пятого июня тысяча восемьсот девяносто первого года по Свидетельству, данному ей марта двадцать восьмого дня тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года за номером шестьсот тридцатым от Елецкого Окружного Суда на основании 536 статьи Устава о службе по определению от Правительства, Свод Законов том III издания 1876 года, 57 и 63 статьи Устава о паспортах, Свод Законов том XIV издание 1857 года.

2. Незаконнорожденные дети означенной в пункте 1 Варвары Димитриевны Бутягиной, коим совместно с нею и под ее опекою я завещаю в полную собственность и распоряжение мое имущество и мои авторские права, суть:

Дочь Татиана, родившаяся 22-го февраля 1895 года; крещена при С.-Петербургской Введенской, что на Петербургской стороне, церкви. Восприемниками от купели были: действительный статский советник Николай Николаевич Страхов и жена чиновника особых поручений при министре земледелия и государственных имуществ Ольга Ивановна Романова¹. Как считающейся незаконнорожденною, ее полное имя, отчество и фамилия, усвояемая по имени крестного отца, есть: Татиана Николаевна Николаева.

Дочь Вера, родившаяся 26 июня 1896 года; крещена священником Иоанном Рождественским, при Преображенской церкви, что при Доме Милосердия в Лесном (в С.-Петербурге). Восприемниками от св. купели были: Лейтенант морской службы Александр Викторович Шталь и жена Статского советника Мария Петровна Ген. По имени крестного отца и как «незаконнорожденной» полное имя, отчество и фамилия ее: Вера Александровна Александрова.

Дочь Варвара, родившаяся 1-го января 1898-го года, крещена 25-го января священником Иоанном Херсонским при С.-Петербургской Введенской, что на Петербургской стороне, церкви; восприемники при св. купели были Лейтенант Александр Викторович Шталь и жена статского советника Мария Петровна Ген. По имени крестного отца и как «незаконнорожденной» полное имя, отчество и фамилия ее Варвара Александровна Александрова.

Сын Василий, родившийся 27-го января 1899-го года; крещен священником Иоанном Херсонским при С.-Петербургской Введенской, что на Петербургской стороне, церкви, при восприемниках от св. купели Лейтенанте Александре Викторовиче Шталь и дочери дворянина-чиновника Ольге Александровне Фрибес². По имени крестного отца и как «незаконнорожденного» полное имя, отчество и фамилия его Василий Александрович Александров.

В случае, если бы от названной Варвары Димитриевны Бутягиной после написания сего Духовного Завещания родились и еще дети³, также записанные «незаконнорожденными» — они наравне с перечисленными здесь четырьмя назначаются мною наследниками моего имущества и моих прав. 3. Сим завещанием предоставляется означенным в пункте 2-м лицам:

а) Мое личное имущество, состоящее в вещах, книгах, рукописях и изданиях.

б) Деньги, лежащие в сберегательной кассе служащих по месту службы (в настоящее время — Государственный контроль).

в) Деньги во Вспомогательно-Сберегательной кассе сотрудников газеты

«Новое Время». В сей кассе я состою начиная с 1898-го года. Из каждого получаемого мною гонорара отчисляется в эту кассу четыре процента, и к концу года сумма сия удваивается издателем «Нового Времени». По смерти сотрудника «Нового Времени» вся сумма сбережений и удвоенный раз выдается его наследнику. Лицо сего наследника сим Духовным Завещанием определено, и означенной Варваре Димитриевне Бутягиной или ее детям удержанная с меня сумма отчислений и удвоенный да будет выдана Алексеем Сергеевичем Сувориным или его наследниками.

d) Единовременная выдача пособия из Кассы взаимопомощи при Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым, согласно правил оного и соответственно сделанному там мною заявлению.

e) Может быть подано прошение в Литературный Фонд с просьбою о назначении постоянной пенсии на воспитание и обучение детей ее, согласно и на основании нижеследующего пункта 4-го.

g) Право на издание, переиздание и продажу как рукописей моих, так и напечатанных статей, в разных повременных изданиях (все подписаны именем «В. Розанов»), так и книг: 1. «О понимании; опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. Москва. 1886 г. — I т. 5 р.»; 2. «Место христианства в истории». Москва. 1890 г. Цена 20 к.»;

3. «Легенда о Великом Инквизиторе — Ф. М. Достоевского». Спб. 1893. — Цена 1 р. 50 к.» 4) «Красота в природе и ее смысл. М. 1894. — Цена 1 р.» 5). «Сумерки просвещения». Спб. 1899 — Цена 1 р.» 6) «Религия и культура». Спб. 1899. — Цена 1 р.» 7) «Литературные очерки». Спб. 1899. — Цена 1 р.» Право исключительной собственности на означенные сочинения, согласно закону, принадлежат наследникам моим, т. е. означенным в сем Духовном Завещании лицам, по смерти моей в течение пятидесяти лет.

Наилучшими советниками по получению всех сих сумм могу указать: в Государственном контроле — Заведующий кассою Иван Евгеньевич Цветаев или сослуживец по отделению — Александр Иванович Самойлов. В «Новом Времени» — Алексей Алексеевич Суворин (Эртелев пер., д. 6). Относительно кассы взаимопомощи литераторов и ученых — Венгеров Семен Афанасьевич (Разъезжая ул., д. 39) или Слонимский Леонид Зиновьевич⁴ (Преображенская ул., д. 32, уг. Сеперного переулкa), или Колубовский Яков Николаевич⁵ (Сергиевская, дом 16), они же укажут и относительно подачи прошения в Литературный фонд о постоянном на воспитание детей пособия, что есть самое главное и может служить надежным пособием. Я же всех поименованных здесь лиц прошу как друзей своих и как тружеников пера не оставить мою вдову и детей сирот указанием, разъяснением и помощью. Общее же руководство хлопотами прошу не отказать принять на себя друзей моих Петра Петровича Перцова или Антона Флориановича Адамовича.

4) Все, означенные в сем духовном завещании дети: Татиана, Вера, Варвара и Василий рождены Варварою Димитриевною, по первому мужу Бутягиною, и мною, Василием Васильевичем Розановым, в счастливом и целомудренном супружестве, в коем полу-тайно, полу-явно мы состоим с пятого июня 1891-го года, будучи в сей день, с благословения родительницы Варвары Димитриевны, урожденной Рудневой, нашей возлюбленной теперь матери, Александры Адрияновны Рудневой, повенчаны, без свидетелей и записи в церковные книги, при домово́й церкви Калабинского детского в городе Ельце приюта настоятелем Иоанном Павловичем Бутягиным⁶ — да будет благословенно его имя и не вменена будет в грех его правая решимость «поднять со дна ямы впавшую овцу в субботний день»; при консисториинею формально не уничтоженным моем браке с первою супругою — да будет имя ее забыто — оставившею самовольно меня в бытность мою в Брянске в 1886-м году. Свидетелями сего оставления в полной моей в этом невинности, а равно усилий вернуть ее, были мои товарищи по службе в

прогимназии, из коих как на особливо осведомленных сошлюсь на Василия Николаевича Николаева, Демьяна Ивановича Плютичевского, Ивана Игнатьевича Пенкина (ныне директора Орловской прогимназии). Так как не определено нигде, ни в Ветхом Завете, ни в Новом, ниже в каноническом праве, что «таинство брака» есть сосредоточено и ограничено («собрано») в «чине венчания», и самый термин «таинство венчание отсутствует всюду, а везде употребляется «таинство брака» т. е. «таинство супружества», «сопряжения» «двух в плоть едину» (Бытие, 1) и раздвижение их в «семью» через благословенное «чадорожение», и именно этому реальному таинству даны все благословения Божий и обетования и награды («чадорожением», по Апостолу, «женщина спасается»), то с разрушением, и по доказуемой свидетелями, не моей вине, реального супружества, я считал и считаю умершим мой первый брак вполне, вместе и с венчанием, и супругу мою первую умершею же в супружеских и в отношении ко мне чертах, и еще существующею лишь в чертах гражданских и до моего супружества не относящихся; а по сему рассуждению я вступил во второй брак, желая исполнять и далее и всю мою жизнь до конца, основную заповедь Божию (Бытие, 1). Удержание браков, фактически распавшихся, в значении будто бы еще продолжающегося «религиозного таинства», когда нет тут главной черты таинства: «подобия союзу Христа с Церковью», есть недоразумение и учение о фиктивном браке, т. е. не религиозное хотя бы и было гражданским или каноническим. Посему с открытою совестью и готовностью пойти на Суд Божий я вступил во второй брак, который есть и притом во всей полноте религиозного таинства: ибо суть «свидетелей» и «церковной записи» уже не образует явно никакой части таинства. Благословение же Божие нашему союзу я вижу в непрерывном Варвары чадородии, в безупречном нашем счастье, в непоколебимой верности: и когда «волос человеческий» без воли Божьей не падает, столь огромные дары не суть без воли Божьей. Червонец же выкованный, «признается» он или «не признается» есть и даже в куске и слитке он полноценен. Посему и детей наших Татиану, Веру, Варвару, Василия считаю лишь извне поставленными неправильно, но по внутреннему закону они стоят правильно и ни перед кем не должны опускать глаза, твердо указывая на своих родителей, которые в свою очередь твердо указывают на них, своих детей, без страха перед Богом и трепетания перед людьми. И да не упрекнут они памяти своих родителей, во имя безмерной и счастливой любви, нас всех шестерых, и еще с присоединением седьмой — моей падчерицы возлюбленной же, Александры Михайловны Бутягиной⁷, связывающей. Призываю на семью мою благословение Божие и заповедаю всей ей, в случае моей кончины, жить в любви и согласии. Аминь. Коллежский советник Василий Васильевич Розанов. Марта пятнадцатого дня тысяча восемьсот девяносто девятого года. С.-Петербург.

К сему духовному завещанию, писанному собственноручно Коллежским Советником Василием Васильевичем Розановым, находящимся в здравом уме и твердой памяти, прилагаю руку. Коллежский Секретарь Антон Флорианович Адамович.

К сему собственноручному духовному завещанию Василия Васильевича Розанова руку прилагаю свидетель дворянин Петр Петрович Перцов.

Приват-доцент С.-Петербургского университета Семен Афанасьевич Венгеров.

Примечания

Духовное завещание В. В. Розанова хранится в ЦГАЛИ в личном фонде писателя (ф. 419, оп. 1, ед. хр. 15, лл. 3—4). (Документ представляет собой два листа пожелтевшей плотной бумаги, заполненных достаточно аккуратным почерком В. В. Розанова с обеих сторон и скрепленных подписями П. П. Перцова, С. А. Венгерова и А. Ф. Адамовича.) К нему приложена объяснительная записка старшей дочери В. В. Розанова Татьяны Васильевны: «Это духовное завещание лежало в предисловии в рукописи книги «О понимании» и было первым, затем было написано второе завещание, которое несколько разнится от первого, так как мама была больна и право распоряжения рукописями предоставляется дочерями сыну в порядке их старшинства, т. е. в случае смерти старшего право распоряжения всеми рукописями передается следующему наследнику по старшинству. Это завещание хранится у меня.

Т. В. Розанова. 1927 г.»

1 Жена И. Ф. Романова (Рцы) (1861—1913) — писателя, публициста консервативного направления, друга В. В. Розанова.

2 Писательница, сотрудничала в журналах «Русский Вестник», «Гражданин», издатель и редактор иллюстрированного сборника «Улей». В ЦГАЛИ хранится ее обширная переписка с В. В. Розановым.

3 22 октября 1900 г. у В. Д. и В. В. Розановых родилась дочь Надежда.

4 Журналист, публицист, сотрудничал в журнале «Вестник Европы».

5 Библиограф, историк философии.

6 Брат первого мужа В. Д. Розановой.

7 Дочь В. Д. Розановой от первого брака, умерла в 1920 г.

Публикация Т. В. ПОМЕРАНСКОЙ

Розанов В. В. Письмо в Совет Московского общественного Управления Архивным Делом // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 256—257. — [Т.] I. Сим прошу покорно зачислить меня на одну из открывающихся должностей. Гражданин Василий Васильевич Розанов. 16 июля 1918 года. Жительство имею в Сергиевом Посаде Московской губернии, Красюковка — Дом Беяева1.

Родился в городе Ветлуге Костромской губернии, в семействе чиновника лесного ведомства, исправляющего обязанности лесничего, 20 апреля 1856-го года². Отца лишился трех лет. По смерти отца, мать моя переехала в горел Кострому для воспитания многочисленных детей своих. Здесь я поступил в Костромскую гимназию. Но будучи учеником второго класса, я лишился матери, которая умерла после Двухлетней> болезни. Смерть ее совпала с окончанием курса моего старшего брата Николая в Казанском университете. Он взял меня и моего меньшого брата на воспитание. Здесь же мы росли и воспитывались. Сперва он служил преподавателем истории и географии в Симбирской гимназии, а затем перевелся в Нижегородскую нрзб. — директором в Белевскую Смолен, губ. прогимназию, переезжая вместе...>

Моя прошлая служба. По окончании курса 1878 году в Нижегородской гимназии, поступил на историко-филологический факультет в Московский Университет. В нем пробыл с 1878 по 1882 год. По окончании курса в нем служил преподавателем истории и географии преемственно в Брянской прогимназии, Елецкой гимназии и Белевской, Смоленской губернии, прогимназии. Всей моей преподавательской службы было с 1882-го года и по 1893-ий год. Потом был переведен на службу в С.-Петербург, ныне Петроград, в Государственный Контроль, на должность чиновника особых поручений при Государственном Контролере, в то время Тертый Иванович Филиппов. Им был откомандирован к занятиям в Департамент железнодорожной отчетности, где производил ревизии ассигнований на строительные, по железным дорогам, сооружения и работы. В 1899-м году оставил службу в Государственном Контроле по собственному желанию. Как во все время государственной службы, так равно и по выходе в отставку, все время занимался литературною, журнальною и газетною работою. Писал в Русском Вестнике, Русском Обозрении, в журнале Новый Путь и Вопросы философии и психологии по предметам воспитания и обучения, по вопросам литературной критики, и по философии. Отдельно сочинены и напечатаны мною книги: «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки, как цельного знания», в 1886 году, «Сумерки просвещения» в 1899 году, «Литературные очерки» 1900 год, «Религия и культура» 1900

просвещения» в 1877 году, «литературные очерки» 1900 год, «Слишья и культура» 1900, «Природа и история» 1900 году, «Семейный вопрос в России» два тома в 1903 году, «Около церковных стен», два тома в 1906 году, и еще другие меньшие сочинения. Всего же книг и брошюр мною сочинено и напечатано тридцать одна.

Примечания

Черновик письма в Совет Московского общественного Управления Архивным Делом хранится в ЦГАЛИ в личном фонде писателя (ф. 419, оп. 1, ед. хр. 26). В отличие от приведенных выше документов письмо написано неровным почерком, строчки разбегаются, часть слов недописана.

Текст, помещенный в угловые скобки (во всех документах), прочитан предположительно.

1 В сентябре 1917 г., опасаясь возможного наступления германских войск на Петроград, семья Розановых переезжает в Сергиев Посад, где поселилась на Краснокувке в доме священника Беляева. К 1918 г. дела семьи пришли в полный упадок, и Розанов предпринимал отчаянные попытки хоть как-то обеспечить себе постоянный заработок, о чем и свидетельствует данное письмо.

2 Далее, до конца абзаца, текст написан сбоку, на полях.

Розанов В. В. Проект условий между Редакцией Нового Времени и В. В. Розановым // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 254—256. — [Т.] I. В. В. Розанов, становясь постоянным сотрудником «Нового Времени», не по договору только, но и по совести и любви к делу обязуется и хочет приложить весь ум и старание к возвышению чести и литературного достоинства газеты.

Его постоянное участие в ней выражается:

а) в оставлении им места службы

б) во внимательном слежении за газетную печатью вообще и за ходом внутренней и внешней политики

в) в особенно внимательном слежении за ходом событий в сферах образования, семейного положения, окраин

д) Он ежемесячно поставляет для газеты 8 передовых статей; иногда 6, иногда 10 — смотря по текущим событиям и интересу их.

е) Если бы в течении месяца, по причине особо важного события, или события имеющего ярко характерные особенности (дело Скублинской, дело Ольги Палем)¹, относительно которого газете нет необходимости высказываться, но он лично и в интересах газеты захотел бы высказаться под своим именем, то подобная бегучая заметка заменяет одну передовую статью, и, следовательно, число обязательных становится 7 или 6. Это — необходимо, дабы не было напряженности и искусственности в поднятии общих тем, составляющих предмет передовой статьи.

В состав постоянного его сотрудничества вовсе не входят фельетоны и библиография, помещение которых остается во всем на прежних условиях; т. е. как свободная работа и оплачиваемая в прежнем размере, вне связи с платою за постоянное сотрудничество.

Редакция «Нового Времени» обязуется:

1. Уплачивать, за 8 передовых статей в месяц, 3.000 р. в год постоянно текущего жалованья, т. е. ежемесячно по двести пятидесяти рублей.

2. Независимо сего — по 15 коп. за строку передовых статей и мелких, под его подписью или без подписи, заметок. Но оплата фельетонов, требующих художественно-критической работы воображения, и библиографии, требующей обширного чтения, остается на прежних условиях, т. е. 20 и 15 коп. за строку.

3. Ежегодно Редакция дает В. В. Розанову отпуск на полтора месяца, в течение коего жалование сохраняется в прежней 250-руб. сумме, а обязательства В. В. Розанова прекращаются. Эти 1½ месяца могут быть передвинуты на который-либо из летних месяцев, по соглашению.

4. Если бы в течение года, зимы и вообще рабочего времени В. В. Розанову случилось заболеть, или в семье его произошли бы требующие безотлагательного внимания события, и, словом, что-либо внутреннее и до газеты не относящееся потребовало бы совершенного перерыва его сотрудничества на некоторое время, напр., даже на месяц, то Редакция, принимая во внимание, что взяла его в постоянную себе службу, обещает и обязуется, сохраняя ему полное содержание, не тревожить его в это исключительное и бедственное время.

Как одною, так и другою стороною, все должно быть выполняемо охотно, с честью, свободно — дабы в столь нервном деле как литература никакая тень угрюмости отношений не портила прежде всего литературы. «Отравленная душа» есть «отравленная литература»: и всякое мучение автора есть вред газете.

Более всего опасаясь недостатка тем, В. В. Розанов просит Редакцию не быть несколько озабоченною, если бы течение передовых статей вдруг прервалось: богатое событие вызовет их ряд в непосредственной смежности, пустота самой жизни вызовет длинную полосу молчания. Вообще здесь легко перейти в «ремесленность» «поставщика»: что, губя автора, не может способствовать и поднятию достоинства газеты. Для обеих сторон будет спасительнее, если работа, пусть публицистическая, сохранит не только в писании, но и в слежении за событиями, свободно-художественный характер. «Нет ремесла, есть литература» — для обеих сторон.

Не в пределах только этих условий, но — так как жизнь многообразна и изменчива, сотрудник В. В. Розанов и Редакция «Нового Времени» обещают вообще любовно хранить интересы друг друга, делая все к возможному обоюдному споспешествованию. И да подаст им Бог помощь в их усилиях, и благословит труд и начинание.

В текущем 1899 году правило о полуторамесячном отдыхе сохраняется Так как В. В. Розанову необходимы некоторые хлопоты по приведению служебных дел в состояние, удобное для передачи, и для выхода в отставку тоже требуется некоторое время, то полное действие настоящих условий начинается не ранее 1-го мая. В случае, если бы Редакция пожелала, в возмещение этого времени, воспользоваться его летним отпуском, т. е. сократить его в настоящем году до двух недель, то В. В. Розанов ничего против этого не имеет. Вообще время перехода, однако ни в каком случае не долженствующее затягиваться на май месяц, не может быть отчетливо и точно в работе В. В. Розанова

Сии условия будем хранить свободно и крепко, без обязательства, н: с охотою и по чести.

С.-Петербург. 2-го апреля 1899 года.

Коллежский Советник Василий Васильевич Розанов

А. Суворин

Примечания

«Проект» хранится в ЦГАЛИ в личном фонде писателя (ф. 419, оп. 1, ед. хр. 21). Документ представляет собой два листа, исписанных аккуратным мелким почерком В. В. Розанова и в

представляет собой два листа, соединенных аккурратным мелким поперком В. В. Розанова и в конце скрепленных подписями В. В. Розанова и А. С. Суворина.

1 Шумные уголовные процессы 90-х годов. В частности, дело Ольги Палем, обвинявшейся в 1895 г. в убийстве студента А. С. Довнара, не желавшего продолжать с ней любовную связь. Оправдательный приговор вызвал раздражение в обществе против суда присяжных.

Д. Д. Языков. Материалы для “Обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц” Выпуск 14.

Языков Д. Д. Материалы для «Обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц». Вып 14.: (Русские писатели и писательницы, умершие в 1894 году) // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 262—316. — [Т.] I.

В 1916 г. историк и библиограф Дмитрий Дмитриевич Языков* (1850—1916 издал очередной выпуск «Обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц»**, и на этом начатое им в 1885 г. издание прекратилось.

13 выпусков «Обзора» содержали биобиблиографические сведения о 1900 русских писателях и писательницах, умерших между 1881 и 1893 гг. Поскольку Языков именовал «писателем» всякого российского гражданина, более или менее регулярно печатавшего статьи в периодике, то круг попавших в обзор лиц оказался чрезвычайно широким. Это позволяет находить в «Обзоре» биобиблиографические сведения о лицах, казалось бы, навсегда утерянных для отечественной культуры; и хотя часто эти сведения неполны, еще чаще — они единственны и потому уникальны. Остается посетовать, что «Обзор» давно и прочно стал библиографической редкостью.

Труд Языкова — айсберг: 13 изданных выпусков — его надводная часть, а ведь существует и подводная, неопубликованная.

Сразу после смерти Языкова его дочь, Надежда Дмитриевна Еременко, следуя воле отца, 12 декабря 1918 г. передала в Исторический музей его архив, который затем, в марте 1946 г., был перемещен в Центральный государственный литературный архив (в настоящее время ЦГАЛИ), где и хранится в фонде № 637.

В составе фонда находятся Материалы для последующих 24 выпусков «Обзора» готовившихся Языковым к печати (в них собраны биобиблиографические сведения о писателях и писательницах, умерших между 1894 и 1917 гг.), а также Картотека*** имен ко всему «Обзору» в целом. Материалы известны исследователям, завсегдадаям ЦГАЛИ, которые часто обращаются к ним за биобиблиографической информацией, Картотека же — практически не используется.

Учитывая ценность и значимость Материалов, а также в память о титаническом труде Языкова, мы решили начать их публикацию с 14-го выпуска, в котором собраны биобиблиографические сведения о русских писателях и писательницах, умерших в 1894 г. (от А до П).

Структура статей о том или ином лице в Материалах в целом осталась прежней; отличие в том, что вместо сводной индивидуальной характеристики приводятся некрологи, напечатанные, как правило, в «Новом Времени», «Московских Ведомостях», «Русских Ведомостях», «Церковных Ведомостях». Мы воспроизводим один (наиболее полный или написанный самим Языковым) некролог, снабжая его, по необходимости, дополнительными сведениями из других некрологов. Все уточнения, внесенные в текст публикатором, заключены в угловые скобки.

АЛЕКСЕЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ (1848—15 мая 1894) — окружной ветеринарный врач С.-Петербургского военного округа, магистр, статский советник.

Некролог

Скончавшийся вчера окружной ветеринарный врач С.-Петербургского военного округа Анатолий Иванович Алексеев пользовался большой популярностью среди ветеринаров, как редактор-издатель еженедельного журнала «Ветеринарное Дело» и как честный, энергичный товарищ, отстаивавший интересы своего сословия от иногда диких нападков со стороны врачей-медиков. Покойный издавал журнал около десяти лет, отводя в нем широкое место нуждам ветеринарного дела и особенно подробно разрабатывал бытовые вопросы военных ветеринаров. Последнее время в качестве приложения появились при журнале «Новости ветеринарной

литературы» — ценный библиографический листок. Покойному принадлежит ряд статей, не только посвященных ветеринарии, но и общего характера. Он, как автор, избегал узкой специализации знаний. Отстаивая интересы врачей-ветеринаров, А. И. неоднократно выступал в общей прессе. Особенно памятны его статьи в «Петербургских Ведомостях», где он горячо документально восставал против взяточничества и других общественных недостатков, которые не чужды были и медицинскому миру. А. И. Алексеев родился в 1848 году. Кончив курс ветеринарного отделения Медико-Хирургической Академии, он прожил несколько лет в восточной Сибири, затем возвратился в Петербург и здесь определился ветеринарным врачом войск гвардии и С.-Петербургского военного округа. Кроме своей служебной деятельности покойный имел большую из первых по времени основания и лучшей по успехам лечения в столице. Из многочисленных трудов покойного назовем его диссертацию на степень магистра ветеринарных наук, озаглавленную «Законоположения по судебной ветеринарии», и «Руководство для приемки лошадей по отбыванию воинской повинности». Новое Время», 1894, № 6542».

АЛЬБРЕХТ ЕВГЕНИЙ КАРЛОВИЧ (умер 28 января 1894 г.) — инспектор музыки и заведующий центральной библиотекой Императорских театров.

Некролог

Вчера, 28 января, неожиданно скончался Евгений Карлович Альбрехт, инспектор музыки и заведующий центральной библиотекой Императорских театров. Отзывчивый человек, он принимал большое участие в разных делах и вопросах, интересовавших музыкальный мир нашей столицы. Он написал несколько брошюр, касающихся прошлого оркестров Императорских театров, консерватории и т. д. Одним из крупных дел его было учреждение Общества Камерной музыки, основанного им вместе с гг. Гилле и Гильдебрандом. Это общество прочно утвердилось, в особенности после того, как, по мысли покойного, были произведены соответствующие реформы в его уставе. Оно было безусловно плодом деятельности и энергии Е. К. Альбрехта и занимало первое место в его сердце; он сам долго занимал место первой скрипки на его вечерах. Приведением в порядок центральной библиотеки (бывшей нотной конторы) Императорских театров, последние обязанности очень много Альбрехту, успевшему сравнительно за короткий срок систематизировать почти всю массу громадного материала этой библиотеки, бывшего более или менее разбросанным. Все, кому приходилось иметь дело с Альбрехтом, как по этой библиотеке, так и вообще по музыкальным делам, не могут не вспомнить с признательностью его всегдашней любезности и отзывчивости к их нуждам, равно как не могут не отнестись с уважением ко всей его деятельности. Покойный издал, в сотрудничестве с г. Весселем, несколько сборников музыкально-педагогического характера, имевших большое распространение. Скончался он совсем не старым человеком: ему не могло быть более пятидесяти с небольшим лет. Запись Д. Д. Языкова.

264 АНТОНИЙ (в мире ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ СЕРЕДОНИН, 1861 — 10 сентября 1894) — архимандрит, ректор Таврической духовной семинарии. В мире Дим. Ив. Середонин, сын священника, родился в 1861 году, в селе Покров-Итомле (Вятского уезда, Тверской губернии; учился в Тверской семинарии (с 1877 г.) и в Московской Духовной Академии (с 1889 г.); по окончании курса кандидатом (1887) — учитель русского и церковно-славянского языков в

Виленском духовном училище; с 1889 г. — преподаватель Литовской дух. семинарии; пострижение в монашество (25 января 1892 г.), состоял инспектором Холмской духовной семинарии (с июля 1892 г.), затем в сан архимандрита — ректора Ставропольской и Таврической семинарий (1893—1894). Запись Д. Д. Языкова.

Некролог

В Ялте скончался на днях бывший ректор Ставропольской духовной семинарии, незадолго перед тем переведенный на тот же пост в Таврическую духовную семинарию, архимандрит Антоний (в мире Д. И. Середонин). Почивший — сын священника тверской епархии, один из первых кандидатов Московской духовной академии выпуска 1887 года, потом преподаватель Литовской семинарии. Новое Время», 1894, № 6728».

Библиография

Его:

Речь пред гробом архиепископа Литовского Алексия («Русское Обозрение», 1896, кн. II, с. 327—329).

О нем:

«Церковные Ведомости», 1894, № 46, с. 1668.

«Новое Время», 1894, № 6728.

АНТОНИН (в мире Андрей Иванович Капустин, 12 августа 1817—24 марта 1894) — архимандрит, начальник Русской Духовной миссии в Иерусалиме.

Некролог

24-го марта скончался в Иерусалиме начальник русской духовной миссии архимандрит Антонин (Капустин), известный своими исследованиями по церковной археологии и истории. Покойный — сын священника Пермской губ. (род. 1817 г.), образование получил в Киевской духовной академии, которую окончил в 1843 г. со степенью магистра богословия. Пробывши семь лет бакалавром при академии и приняв монашество (в 1845 г.), Антонин в 1850 г., перешел в Афины на должность настоятеля русской посольской церкви, оттуда, в 1860 г., в Константинополь на такую же должность и, наконец, в 1865 г. в Иерусалим. В Афинах, Константинополе и Иерусалиме покойный отдался изучению памятников христианской древности и сделал несколько весьма важных открытий и исследований, плодом чего явились его научные статьи в духовных и светских журналах. Из этих статей замечательны следующие: «О христианских древностях Греции» (Ж. Мин. Нар. Пр. 1854 г.), «О древних христианских надписях в Афинах» (Спб, 1874 г.), «О раскопках: внутри афинской российско-польской церкви» (Изв. Рус. Имп. Арх. Общ. 1860 г.) и «Заметки XII—XIV вв., относящиеся к крымскому городу Сугдее» (Зап. Одесск. Арх. Общ., т. V 1863 г.). Из других многочисленных сочинений замечательны описания его путешествий, богатые ценными заметками по археологии, истории и географии. Таковы, напр., «Записки синайского богомольца» (Труды Киевск. дух. ак. 1871, 72 и 73 гг.), «Заметки поклонника св. горы» (Тр. Киевск. дух. ак. 1861—63 гг.), «Поездка в Вифинию» (Христ. Чт. 1862—63 г.), «От Босфора до Яффы» (Тр. Киев. дух. ак. 1868 г.) «Поездка в Румелию», Спб, 1879 г., «Поездка по Румелии», 1865 г., «Из Румелии», 1868 г., «Пять дней на Святой Земле» (Душепол. Чтен. 1866 г.) и др.

Во время своих путешествий и занятий архимандриту Антонину удалось открыть и собрать много древних рукописей, особенно греческих и славянских (некоторые V—VI вв.), а также не мало предметов старины. В качестве начальника русской духовной миссии, архимандрит Антонин работал с первыми русскими православными миссионерами в Палестине, ее среде и средствах

Антонин заботился о возвышении русской православной миссии в Палестине, ее силе и средствах и об улучшении быта русских паломников. Новое Время», 1894, № 6497».

Библиография

Его:

Письма к Макарию, митрополиту Московскому (Странник, 1896 г., кн. I) и к митрополиту Московскому Филарету (Христ. Чтение, 1899 г., кн. 10). Его рукописи приобретены Императорскою Публичною Библиотекою в 1899 году (См. Отчет Импер. Публичной Библиотеки за 1899 год, Спб. 1903 г.).

О нем:

«Московские Ведомости», 1894, № 89.

«Новое Время», 1894, № 6497.

«Московские Церковные Ведомости», 1894, № 14.

«Церковные Ведомости», 1894, № 15, 21 и 32.

Труды Киевской Духовной Академии, 1894, т. II, кн. 5, с. 164—169, т. III, кн. II, с. 450—454, кн. 6, с. 185—198, кн. 12, с. 636—652. Сообщения Правосл. Палестинского Общества, 1889—1892 гг.

Труды Пермской Ученой Архивной Комиссии, Пермь, 1902, вып. V, с. 29—30. Сообщения Импер. Правосл. Палестинского Общества, 1904, т. XV, вып. 2, с. 95—148 (с портретом и рисунками) (статья проф. А. А. Дмитриевского).

АРЕНДТ СОФЬЯ АДРИАНОВНА (умерла в декабре 1894 г.) — в девичестве княжна Солицета-Золекина, была в замужестве за доктором медицины Николаем Андреевичем Арендтом.

АСТЫРЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (16 ноября 1857—3 июня 1894) — известный исследователь народной жизни.

Некролог

3 июня скончался в Москве один из известных исследователей народной жизни, Николай Михайлович Астырев — автор многих ценных беллетристических произведений, посвященных характеристике народного быта, и статистических работ. Его литературные очерки, написанные живо, горячо и правдиво, печатались в «Вестнике Европы», «Русской Мысли» и других периодических изданиях. Отдельными сборниками были изданы: очерк «В волостных писарях» и несколько небольших рассказов под заглавием: «Деревенские типы и картинки». Покойный родился 16-го ноября 1857 г. в Тихвине. Н. М. отличался с ранних лет замечательной впечатлительностью, сердечностью и всегдашней готовностью помочь ближнему. Во время своего студенчества он увлекся деревнею и решил посвятить свои силы нуждам крестьянского населения. Зная деревенскую бедность в отношении интеллигентных работников, покойный вышел из института путей сообщения, не окончив в нем курса, и поступил в волостные писаря в одно из сел Воронежской губернии. Здесь он выступил защитником крестьянских интересов от происков местных мироедов, возненавидевших за это молодого энергичного деятеля. Три года боролся Н. М. Астырев с неправдою, однако, в конце-концов, ему пришлось уступить силе, которой пользовались воронежские дельцы. Они устроили так, что покойному пришлось уйти из волостных писарей. Эта живая деятельность покойного дала ему благодарный материал для характеристики деревенского кулачества, которым он удачно воспользовался в своем очерке «В волостных писарях». Дальнейшая деятельность покойного была посвящена, главным образом, статистическим работам. Он произвел ряд статистических исследований в Воронежской, Орловской, Московской, Иркутской и Енисейской губерниях. Исследования этих губерний

Орловской, московской, иркутской и енисейских губерниях. исследование двух последних представляет собою, по отзывам специалистов, одну из выдающихся работ в нашей статистической литературе, посвященной изучению народной жизни. Кроме того, двухгодичное пребывание в Сибири доставило возможность покойному познакомиться с сибирской жизнью, которую он охарактеризовал в нескольких рассказах, собранных в одном томе под названием «На таежных прогалинах». Живя в разных местностях, отличных друг от друга не только климатическими, но и этнографическими особенностями, Н. М. Астырев, всюду присматривался, прислушивался и затем удачно пользовался собранным материалом, чтобы познакомиться с ним, обработанным в хорошую беллетристическую форму, русскую интеллигенцию, интересующуюся крестьянским бытом. Умер он 37 лет от чахотки, усилившейся под влиянием нервного расстройства. Новое Время», 1894, № 6562>

Библиография

Его:

«В волостных писарях», очерки крестьянского самоуправления, с портретом автора. М., 1896, 394 с. (второе издание). Статьи о «Сервитутах» в «Северном Вестнике», 1891, кн. 8 и 9.

Астырев Н. М. Поли. собр. соч. Т. I с портретом (М., 1904): «В волостных писарях» — издание третье.

О нем:

Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых.

«Русские Ведомости», 1894, № 152 и 155.

Моя записная книга Записная книга Д. Д. Языкова.

«Русская Мысль», 1894, кн. 6, отд. II, с. 183.

«Вестник Европы», 1894, кн. 8, с. 921.

«Новое Время», 1894, № 6562.

«Исторический Вестник», 1894, кн. 7, с. 182—189.

«Русское Богатство», 1894, кн. 6, с. 183—186.

«Волжский Вестник», 1886, № 201.

БАЖИНА СЕРАФИМА НИКИТИЧНА (16 июля 1839—4 июля 1894 г.) — писательница и переводчица.

Некролог

4-го июля умерла в Казани писательница и переводчица Серафима Никитична Бажина, работавшая с 1867 г. и до последнего времени в «Женском Вестнике», «Петербургском Листке», «Слове», «Деле», «Русском Богатстве», «Наблюдателе», «Детском чтении» и в других журналах. Года два назад ее рассказы для детей были изданы отдельным сборником под общим названием «Блуждающие огоньки». Новое Время», 1894, № 6599>.

Библиография

О ней:

«Новое Время», 1894, № 6599.

Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых.

«Исторический Вестник», 1894, кн. 9, с. 899.

БАКУЛИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (1813 — январь 1894) — баснописец. Он из купцов, родился в Ельце (1813 г.) и там же прожил до пятидесяти годов, занимаясь казенными подрядами, на которых потом понес большие убытки; затем он жил в Умани и около этого города, имел мельницы, но также дело кончилось неудачно; после переселился в свое имение Умерихинское, занимался арендой имений в Тамбовской и Владимирской губерниях; умер в январе 1894 г., в Москве. Он печатал свои произведения, преимущественно басни в сборнике «Рассвет» (издание И. Сурикова), в газете «Свет», журнале «Радуга» и в др. периодических изданиях. Отдельно, но анонимно им издана книга своих сочинений, под заглавием «Басни провинциала» (М., 1864). (Запись Д. Д. Языкова).

Библиография

Его:

Книга «Басни провинциала». М., 1864.

О нем:

«Русский Архив», 1903, кн. 3, с. 437—444.

БАКУНИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА (1824—11 августа 1894) — бывшая сестра-настоятельница Крестовоздвиженской Общины сестер милосердия, дочь тайного советника.

Некролог

(Из воспоминаний сестры милосердия)

Умерла Екатерина Михайловна Бакунина.

Дочь сенатора, она при объявлении Севастопольской кампании собралась ухаживать за ранеными в качестве сестры милосердия. Ей тогда было 25—30 лет. За все страшное время Севастополя она работала на перевязочном пункте вместе с Пироговым. Достойною наградой за ее труды были две медали. Вернувшись с войны, Екатерина Михайловна, при милостивом содействии императрицы Марии Александровны, основала в Петербурге Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия. Начальствовала она над этой общиной лет 20 и потом уехала в Тверскую губернию, в Ново-Торжский уезд. Там в своем имении на свои небольшие средства покойная устроила больничку, даже лечила сама, и только в серьезных случаях приглашала земского врача. При ней в это время жили две ее сестры, также девицы, помогавшие ей в трудах. Когда в 1877 году была объявлена вторая Турецкая война, Екатерина Михайловна, поручив свою больницу сестрам, снова поехала на войну сестрой милосердия. Ей тогда было лет 70. Она начальствовала отрядом сестер милосердия. В ее отряде было 28 сестер, по 4 сестры в госпитале, а эти госпитали были расположены на протяжении верст ста, в пяти пунктах: в Астафе, Караван-Сарае, Чуруслане, Делижане и Караклисе. Объезжая свой отряд, она должна была направляться по трудным, а в дождливую погоду невозможным, кавказским дорогам. В ее обязанности входило назначать старших сестер, распределять между сестрами работы, смотреть за ними. Но она делала больше положенного, сама участвовала в этих работах, помогала сестрам. Когда заболела какая-либо из сестер, она не назначала на место заболевшей другую, а сама заменяла ее и, ухаживая за больными и ранеными, ухаживала и за самой больною сестрой. Свиристествовала тифозная эпидемия. Когда повальным тифом заболели и доктора и сестры, Екатерина

Михайловна, не покидая больных-раненых, не переставая исполнять обязанности начальницы, ухаживала и за больными докторами, и за больными сестрами. Несмотря на ее мощную фигуру, как будто созданную для подвига, ее труды за все это тяжелое время, если бы ей и не было 70 лет, по своей чрезмерности не мог бы вынести никакой человеческий организм. Нужно заметить, что в это время повальной эпидемии, когда болели все, она одна не заболела и оставалась на ногах. Чем объяснить это почти чудесное проявление сил и энергии? Одним — и именно нравственным характером Екатерины Михайловны. Основной чертой этого характера была любовь к страждущим и та несокрушимая вера в свое призвание, которая и давала ей возможность выносить спокойно все те невероятные труды, которые не вынес бы на ее месте другой, не имеющий этой веры. В числе черт ее характера нельзя не упомянуть и о той особенной доброте, которая бывает только у людей имеющих веру и спокойствие этой веры. С этою всегда ровною, безмятежною добротою она относилась и к своим подчиненным, и к равным к себе и ко всем безразличия. Бывшая сестра милосердия Лидия Шамардина. Московские Ведомости», 1894, № 236>.

Библиография

О ней:

«Вестник Европы», 1898, кн. 3, 4, 5, 6, с. 578; кн. 7, с. 214—230.

«Московские Ведомости», 1894, № 236.

БАРШЕВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ (23 апреля 1807—29 ноября 1894) — тайный советник, криминалист.

Некролог

В Петербурге 29 ноября скончался старейший русский криминалист, тайный советник Яков Иванович Баршев.

Москва более знакома с деятельностью брата покойного — С. И. Баршева, бывшего профессором уголовного права в Московском университете, но и скончавшийся Я. И. Баршев своим первоначальным образованием также обязан нашей древней столице.

Сын московского священника, Яков Иванович родился 23 апреля 1807 года и, после домашней подготовки, учился в Московской духовной семинарии (1820—1826). По окончании полного курса, он поступил для высшего богословного образования в Московскую Духовную Академию и там, по замечанию начальствующих лиц, отличался «степенностью, любовью к порядку и неуклонною исправностью во всех отношениях». Но, находясь уже на третьем курсе, в 1829 году, молодой академик, вместе с братом — С. И. Баршевым и товарищем — И. В. Платоновым, был избран, по вызову графа М. М. Сперанского, для изучения юридических наук и отправлен в Петербург. Там, причисленный ко II отделению Собственной Е. И. В. Канцелярии, Яков Иванович, под руководством самого Сперанского, Балугьянского и приглашенных профессоров, занимался изучением правоповедения (1829—1831), а затем «по успешном испытании» был командирован за границу «для усовершенствования в юриспруденции».

В течение трех лет Яков Иванович посетил различные германские университеты, но долее всего пробыл в Берлине, где главным образом слушал лекции знаменитого профессора Савиньи, и летом 1834 года возвратился в Петербург. Здесь он получил степень доктора прав в 1834 году и сначала был назначен членом комиссии для перевода «Свода законов» на немецкий язык. Но уже со следующего 1835 года молодой юрист получил в Петербургском университете профессорскую кафедру русских уголовных и полицейских законов, которую и занимал более двадцати лет — до 1856 года.

Одновременно с университетскими лекциями покойный Баршев принял на себя преподавание юридических наук в Александровском Лицее (1837—1867), где в течение одного учебного года был даже инспектором, в Пажеском корпусе и в Училище Правоведения. С конца же шестидесятых годов он оставил педагогическое поприще и начал службу при кодификационном отделе Государственного Совета. Здесь покойный состоял до начала нынешнего года, когда, по упразднении названного отдела, вышел в отставку с чином тайного советника. Перу Якова Ивановича Баршева принадлежали следующие труды: «Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству» (Спб., 1841), «О влиянии обычая, практики законодательства и науки на развитие уголовного, в особенности русского права» (Спб., 1846), «О религиозном, юридическом и историческом значении верноподданнической присяги» (Спб., 1852), «Мнение по вопросу о духовно-судебной реформе» (Юридический Вестник, 1876, № 10—12) и «Историческая записка о содействии Второго отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии развитию юридических наук в России» (Спб., 1876). Московские Ведомости», 1894, № 331»

Библиография

О нем:

«Московские Ведомости», 1894, № 331.

«Новое Время», 1894, № 6739.

«Исторический Вестник», 1895, кн. I, с. 339.

БАРЩЕВСКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ (умер в 1894 г.)

БЕЗЕ (-фон) ГУСТАВ КАРЛОВИЧ (умер 19 апреля 1894 года)

БЕЗЕМАН (-фон) АЛЕКСАНДР АДЛЬФОВИЧ (1850—8 октября 1894 года) — каллиграф, орнаментист, знаток графических искусств.

Некролог

Вчера в больнице св. Пантелеймона, на Удельной, скончался на сорок пятом году жизни Александр Адольфович фон-Беземан. Покойный последнее время страдал серьезным душевным расстройством, которое несколько недель тому назад приняло острый характер. А. А. фон-Беземан был известен в Петербурге как талантливый каллиграф, орнаментист и знаток графических искусств. Он служил одно время в Экспедиции заготовления государственных бумаг и был экспертом при с.-петербургском окружном суде. Из художественных произведений его особенно интересно было одно: он написал «Отче наш» на всех существующих языках и наречиях, сопровождая каждое отдельное изложение орнаментом соответственного стиля и характера. Множество художественных адресов, подносимых разным знаменитостям в течение целого ряда лет, принадлежат его кисти и перу. А. А. фон-Беземан причастен был и к литературной деятельности. Он поместил множество стихотворений и мелких рассказов — большей частью юмористического характера — в газетах. Многочисленные знакомые и товарищи покойного искренно пожалуют о его преждевременной смерти. Новое Время», 1894, № 6687».

Библиография

О нем:

«Новое Время», 1894, № 6687.

«Исторический Вестник» 1894 кн. 12 с. 902

Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. IV, с. 233.

Венгеров С. А. Источники словаря русских писателей, т. I, с. 194.

Егоров А. К. Страницы из прошлого. Одесса, 1913 г., часть первая, с. 181.

БЕРНШТЕЙН КАРЛ ИЛЬИЧ (1 января 1842—30 сентября 1894 года) — профессор.

Некролог

Тридцатого сентября в Берлине скончался профессор Карл Бернштейн.

Покойный родился 1 января 1842 года в Одессе, среди купеческой еврейской семьи и после домашнего воспитания поступил в частный пансион, а оттуда — во 2-ю одесскую гимназию. При тогдашнем, реальном направлении русских гимназий, он не вынес из средне-учебной школы полного знания ни латинского, ни греческого языков: взамен того им была приобретена охота к естественно-научным и техническим занятиям. Вследствии этого, по окончании гимназического курса с серебрянной медалью в 1857 году, молодой Бернштейн отправился в Дрезден для поступления в тамошний политехникум, но по прибытии за границу покинул мысль о высшем техническом образовании и стал усиленно заниматься классическими языками. Благодаря этому он выдержал *examen maturitatis* в одной из прусских гимназий (1859 г.), а затем стал слушать лекции по юридическим наукам в Галле, Гейдельберге и Берлине. В Берлинском университете, под руководством известного профессора государственного права Рудольфа Гнейста, ему пришлось закончить свое высшее образование и удалось защитить докторскую диссертацию на латинском языке, под заглавием *De delegatione natura* (Берлин, 1864). То был первый случай, что русский еврей был признан доктором юридических наук при Берлинском университете.

Однако, несмотря на достоинства диссертации, объяснявшей «сложную юридическую схему римского права», Бернштейн не получил университетской кафедры: вместо ученого поприща, им были проведены два года (1864—1865) в адвокатских занятиях при окружном суде в Галле. Оттуда в конце 1865 года покойный вернулся в Россию, но и здесь сначала ему пришлось заняться адвокатурой то в Одессе, то в Петербурге. Наконец, в 1871 году он решился попытать счастья и сразу выступил с двумя учеными трудами, под названиями: «О существе делегаций по римскому праву» (Спб., 1871, 61 стр.) и «Учение о разделительных обязательствах по римскому праву и новейшим законодательствам» (Спб., 1871, 328 стр.). Этот второй труд послужил автору диссертацией для получения степени магистра гражданского права в Петербургском университете. После того, неприглашенный на кафедру ни одним из русских университетов, Бернштейн в 1872 году навсегда оставил Россию и, женившись на дочери банкира Розенталя, отправился в путешествие по Европе, а затем поселился в Берлине. Тут, в 1878 году, он приступил к чтению лекций по римскому праву, как приват-доцент. Эти лекции и новые юридические работы, как например «*Lur lehre von dem alternativen Willen und den alternativen Rechtsqeschäften*» (Berlin, 1878) и «*Zur Lehre von der dotis dictio*» (1884) доставили ему, наконец, звание профессора римского права при Берлинском университете, с 1886 года. Тогда-то покойный вышел из русского подданства... Но судьба не захотела, чтобы он порвал все связи с Россией. Как известно, после издания нового устава для русских университетов (1884 г.), особенно усилилось в России изучение римского права. С этой же целью русское правительство на свои средства учредило при Берлинском университете особый институт для усовершенствования в римском праве молодых профессоров. Одним из членов-преподавателей в этом учреждении и находился, почти до своей смерти, Карл Бернштейн, видевший, конечно, в своих слушателях юных представителей той страны, которая была его родиной и местом первоначального образования, но от которой он, увы! отрекся навсегда... Запись Д. Д. Языкова. БЕЦ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (14 апреля 1834—30 сентября 1894 года в Киеве) — ординарный профессор по кафедре анатомии в университете св. Владимира, доктор медицины. Некролог Телеграф известил о смерти ординарного профессора по кафедре анатомии в

университете св. Владимира, доктора медицины Владимира Алексеевича Беца. Покойный известен своими многочисленными научными работами и особенно ценными исследованиями над 270 головным мозгом. Им были произведены исследования над головным мозгом мужчин, женщин, детей, зародышей, а также над головным мозгом животных (обезьян), при чем было сделано более 5 000 препаратов. Исследования Беца были вызваны стремлением точно показать зависимость строения серого вещества мозговых извилин от наследственности. Это отчасти удалось ему в статье «Об изменениях с возрастом костей черепа у мужчин и женщин».

Покойный ученый констатировал впервые замечательное явление: мужские черепа костенеют раньше чем женские, у мужчин окоченение начинается снизу и распространяется постепенно кверху, у женщин наоборот. Работа эта вызвала лет десять тому назад большое оживление в

медицинской литературе. В. А. Бец — из потомственных дворян Полтавской губернии, родился 14-го апреля 1834 года. Медицинское образование получил на медицинском факультете университета св. Владимира и закончил его за границей. По возвращении из-за границы он блестяще защитил на степень доктора медицины диссертацию под заглавием: «О кровообращении в печени». Кафедру анатомии в университете св. Владимира покойный занимал в продолжении 26 лет, раньше же читал гистологию. Он принимал деятельное участие в качестве докладчика почти на всех бывших при нем врачебных антропологических и археологических съездах, на всероссийской же мануфактурной выставке экспонировал удачно приготовленными препаратами (слепками) головного мозга, за что получил большую серебряную медаль. Из многочисленных работ В. А. Беца назовем: «Новый метод исследования центральной нервной системы человека», «К анатомии и топографии человеческого мозга», и друг. В восьмидесятых годах он предпринял совместно с профессором В. Б. Антоновичем ценное издание: «Исторические деятели юго-западной России». Новое Время», 1894, № 6680». Библиография О нем: «Новое Время», 1894, № 6680. «Исторический Вестник», 1894, кн. 12, с. 901. **БИБИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ** (умер 2 февраля 1894 года в Симбирске) — представитель местного товарищества артистов. Некролог 2-го февраля в Симбирске кончил жизнь самоубийством представитель местного товарищества артистов Василий Иванович Бибин. Покойный служил родному искусству в течение слишком двадцати лет. Бибин был один из первых пионеров учреждения в провинции товариществ на артельных началах. По поводу этого, им была в свое время издана брошюра «Театральное дело в провинции на артельных началах» Причиной, побудившей покойного В. И. Бибина так трагически покончить с собой, было крайне влиявшее на него плохое состояние дел симбирского драматического товарищества. Актерам приходилось жить буквально впроголодь. Покойный был талантливый комик и рассказчик сцен из народного быта, которые изданы отдельной книгой. В начале своей сценической карьеры он играл на петербургских частных сценах. Новое Время», 1894, № 6458». Библиография О нем: «Русские Ведомости», 1894, № 48. «Новое Время», 1894, № 6458. **БИНШТОК ЛЕВ МОИСЕЕВИЧ** (умер в 1894 г.) **БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ** (1847—26 августа 1894 года в Новом Петергофе) — действительный член Археологического Института. Похоронен на петербургском Смоленском кладбище. Некролог В Новом Петергофе, 26 августа, скончался действительный член Археологического Института Александр Афанасьевич Благовещенский. Покойный, происходя из духовного звания, родился в 1847 году и воспитывался сначала в Ярославской семинарии, а затем в Петербургской Духовной 271 Академии. По окончании академического курса со степенью кандидата богословия (в 1871 году), он был назначен преподавателем греческого языка в Казанскую духовную семинарию, но уже через два года занял должность воспитателя и учителя русского языка в 1-й Петербургской военной гимназии (1873—1878). При самом открытии сенатором Н. В. Калачовым Археологического Института, покойный, по своей любви к древностям, поступил в это учреждение и с успехом закончил двухгодичный курс, причем был удостоен серебряной медали. Вслед затем, с 1883 года, он до кончины состоял секретарем при Академии Художеств. Перу покойного принадлежали два замечательных сочинения, основанные на архивном материале: это — «История старой Казанской Духовной Академии» (Казань, 1875 года, 207 стр.) и «История Казанской духовной семинарии» (Спб. 1883 года). Затем Археологическим Институтом было издано важное исследование А. А. Благовещенского, под заглавием «Остров Эзель, город Аресбург и их достопримечательности» (Спб. 1881 г., 192 стр. и 52 рисунка). Кроме того, покойный напечатал ряд статей, как например: «Филарет

Амфитеатров, Павел Зернов и Амвросий Протасов, архиепископы Казанские» (Русская Старина 1884 года, кн. 4), «Употребление Псалтыри в древней церкви и Очерки из школьного быта в духовных училищах Казанской губернии» (Сборник Археологического Института). П. Р. С. Д. Д. Языков. «Московские Ведомости», 1894, № 239». Библиография Его: Статья «Шевченко в Петербурге», (1858—1861 гг.) появилась после смерти автора в «Историческом Вестнике», 1896, кн. 6, с. 896—905. О нем: «Новое Время», 1894, № 6645. «Московские Ведомости», 1894, № 239. «Исторический Вестник», 1894, кн. 10, с. 311—312. БЕЛЯЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ (май 1832—2 декабря 1894) — преподаватель Владимирской духовной семинарии и редактор «Владимирских епархиальных Ведомостей» (1873—1877 и 1886—1894). Сын священника села Ставрова (Владимирского уезда, Владимирской губернии), родился в мае 1832 г.; воспитывался

во Владимирском дух. училище (с 1842 г.) и во Владимирской семинарии (с 1848 г.), а затем в Петербургской Духовной Академии (1853—1857 гг.); по окончании курса со степенью кандидата богословия — преподаватель греческого и латинского языков во Владимирской семинарии (1857—1858 гг.), математики (1858—1869 гг.) и снова учитель греческого языка (1869—1886 гг.). Под его редакцией начато издание: «Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии», печатавшееся в приложении к «Владим. епарх. Ведомостям» и вышедшее затем отдельно (вып. 1, Владимир, 1893 г.). Он напечатал, между прочим, статью по поводу русского концерта Славянского («Влад. епарх. Ведомости», 1877, № 5), которая вызвала инцидент, о чем см. в «Хронике арх. Совета», т. V, стр. 495, (Сергиева Лавра, 1904). Запись Д. Д. Языкова. Библиография О нем: «Владимирские епархиальные Ведомости», 1894, № 24, с. 664—674. История Владимирской духовной семинарии (Малицкого), вып. 2, с. 277. БЕЛЯЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1843—22 сентября 1894 года в Казани) — профессор Казанской Духовной Академии, действительный статский советник. Некролог В Казани 22 сентября скончался инспектор и ординарный профессор местной Духовной Академии, действительный статский советник Николай Яковлевич Беляев. Покойный родился в 1843 году в семье сельского причетника Калужской епархии, но, вследствие добровольного переселения отца на службу в Сибирь, воспитывался в Томской духовной семинарии 272 Из последней, как лучший воспитанник, он поступил в Казанскую Духовную Академию и окончил курс первым магистром богословия в 1868 году. Тотчас же по окончании курса молодой ученый был оставлен при родной Академии бакалавром и в течение более двадцати пяти лет, до дня смерти, преподавал гомилетику, нравственное и пастырское богословие (1868—1869 гг.), сравнительное богословие (1870—1884 гг.), историю и разбор западных вероисповеданий (1884—1894 гг.), одновременно занимая в той же Академии должность инспектора (с 28 августа 1885 года). С именем покойного появилось много ученых статей в журналах — Православном Собеседнике, Страннике, Православном Обозрении и Душеполезном Чтении. Отдельно же вышли следующие важные его труды: «Пелагианский принцип в римском католичестве» (Казань, 1871), «Римско-католическое учение о так называемой сатисфакции» (Казань, 1876, 340 стр., диссертация для получения степени доктора богословия), «Лютеранские символические книги» (Казань, 1875), «Характеристика римского католичества с точки зрения папского догмата» (Казань, 1878), «Догмат папской непогрешимости» (Казань, 1881) и «Происхождение католичества» (М., 1892) «Московские Ведомости», 1894, № 274». Библиография Его: Основной принцип римского католицизма («Православный Собеседник», 1895). О нем: «Московские Церковные Ведомости», 1894, № 41. «Церковные Ведомости», 1894, № 41, с. 1473—1475. «Новое Время», 1894, № 6677. «Московские Ведомости», 1894, № 274. БУРАЧКОВ ПЛАТОН ОСИПОВИЧ (умер 13 октября 1894 года). Библиография Его: Несколько замечаний о медалях Аспурга и Рескупориса, преемников Босфорского царя Полемона I («Древности», 1886, т. X, с. 62—72). «Древности», т. XII. О нем: Венгеров С. А. Источники Словаря русских писателей, т. I, с. 384. ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1828 — умер 12 мая 1894 года в Петербурге) — академик византийской живописи Академии Художеств. Некролог 12-го мая скончался, на 67-м году академик византийской живописи Академии Художеств, Василий Васильевич Васильев. Покойный был известен своими работами по фресковой и церковной живописи. Им исполнена художественная отделка собора в Кельцах и многих православных храмов в других городах. «Новое Время», 1894, № 6540». Библиография О нем: «Новое время», 1894, № 6540 и 175-е приложение к № 6546 «Нового Времени» (с портретом). ВАСЬЯНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

(умер 15 июля 1894 года в селе Петровском, Рыльского уезда, Курской губернии) — действительный статский советник, бывший рыльский уездный предводитель дворянства. Некролог в селе Петровском, Рыльского уезда, Курской губернии, скончался 75 лет от роду действительный статский советник Иван Васильевич Васьянов, бывший рыльский уездный предводитель дворянства, занимавший эту должность в течение семи трехлетий. Покойный происходил из старинного дворянского рода Курской губернии и был один из немногих остающихся в живых сотоварищей М. Н. Каткова по университету. Кроме предводительской службы покойный участвовал в комитете по устройству быта помещичьих крестьян, служил членом от правительства на мировых съездах и был председателем Рыльской земской . управы. При большом уме и блестящем образовании, отличительной чертой покойного была

необыкновенная простота в обхождении. Он не был чужд и литературной деятельности: статьи его публицистического 273 характера помещались преимущественно в Русском Вестнике. 111. Московские Ведомости», 1894, № 240». Библиография Его: Статьи «Курское наречие», «Очерки России» Вад. Пассека, М., 1840, кн. IV, с. 12—26. «Письма из деревни» («Русский Вестник», 1884, кн. 4, с. 811—839). О нем: «Новое Время», 1894, № 6635. «Московские Ведомости», 1894, № 240. ВЕРЕЩАГИН АРСЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1830—24 марта 1894 года в Петербурге) — отставной статский советник. Некролог 24-го марта, в 11 часу вечера, скончался от разрыва сердца, близ дома № 63, по Невскому просп., отставной статский советник А. В. Верещагин, 64 лет. Покойный принадлежал к числу незаурядных русских деятелей, а потому и заслуживает нескольких о себе слов. Уроженец Тверской губернии, в начале 50-х годов он окончил курс в Горыгорецком агрономическом институте, по 1-му разряду, с золотой медалью, и поступил на службу в смоленскую палату государственных имуществ; после чего сделан был чиновником особых поручений при губернаторе, а затем приглашен в Константиновский межевой институт, в Москве, на должность преподавателя таксации. На этом месте он оставался до начала 70-х годов, когда тогдашние современные обстоятельства призвали его на совершенно новое и чрезвычайно интересное поприще. В 1864 г. был покорен и умиротворен Кавказ и 60-летняя война с горцами, истощавшая громадные ресурсы государства, людьми и деньгами, окончилась выселением полумиллионного населения горцев в Турцию и за Кубань; образовался громаднейший пустырь со свежим на себе отпечатком высокой земледельческой культуры; его нужно было заселить и, конечно, дать на нем преобладающее место русскому элементу. У графа Евдокимова был готовый план заселения его кубанским казачеством, и он стал приводить его в действие расселением по берегу моря 12-ти станиц Шапсугского батальона; но обстоятельства заставили графа совершенно удалиться от дел и колонизация Западного Кавказа перешла в руки главного управления наместника. Печатные циркуляры этого управления поставили в известность наше отечество о призыве русских переселенцев на Кавказ, и на них живо отозвалось московское дворянство и купечество. Составилась в Москве компания из 50-ти капиталистов, которая послала депутатов своих А. В. Верещагина и Ковалевского к кавказскому , наместнику е. и. в. великому князю Михаилу Николаевичу, с заявлением желанья приобрести покупкою свободные земли и просьбою показать их депутатам. Принятые чрезвычайно милостиво его высочеством, Верещагин и Ковалевский телеграфировали о том в Москву, там телеграмма эта сразу прибавила к прежним 50-ти еще 150 лиц, желающих приобрести, земли. Депутатам указаны были кавказским начальством все свободные земли, и они остановили выбор свой на участках в количестве до 200 тысяч десятин. Отсюда и началось дело колонизации Западного Кавказа на новых основаниях, а в начале 70-х годов сюда приглашен был А. В. Верещагин, прибывший на Кавказ вместе с В. И. Ахшарумовым, известным нашим геодезистом, ныне начальником межевой канцелярии в Москве. Не станем входить в подробное изложение деятельности покойного Верещагина на этом поприще, с нею лучше всего можно познакомиться из напечатанных им в высшей степени интересных статей и из многочисленных докладов его Императорскому Вольно-Экономическому Обществу. Скажем только, что сначала дело пошло успешно, Верещагин избрал резиденцией своей один из прелестнейших уголков Западного Кавказа, Сочи (Даховский посад) и отсюда делал экскурсии по всему Западному Кавказу. В разных направлениях Черноморского побережья стали появляться пионеры колонизации, вкладывавшие капиталы в отведенные им участки. Все обещало лишь дальнейшее преуспеяние, как вдруг разразившаяся в

1877 г. война с Турцией все 274 перевернула. Турки сделали десант горцев на прежние их пепелища и те, как налетевший смерч, пошли уничтожать и уничтожили все плоды трудов наших пионеров. По окончании войны, стали возвращаться потревоженные и разоренные поселенцы наши и к прискорбию нельзя не сознаться, что за тем начался период нашей тут колонизации, давший нам покуда самые неутешительные результаты. 24-го мая нынешнего года исполнится 30 лет со дня очищения Западного Кавказа от горцев и за это время на площади, где жило полмиллиона выселенных в Турцию горцев, образовалось покуда не более 30 000 нового и самого пестрого населения, включая в него Новороссийск и другие береговые города и местечки. А между тем громаднейший пустырь, отмеченный когда-то высокой культурой, совершенно теперь задичал и обратился в жилище кабанов и шакалов. Эти общие черты могут дать понятие о

той бессильной борьбе с разного рода препятствиями, которая выпала на долю такого талантливому и в высшей степени энергичного деятеля, каким был А. В. Верещагин. В местечке Сочи построил он великолепный православный храм, на деньги Н. Н. Мамонтова, вложил туда же и все свои средства, оставшиеся у него от продажи дома в Смоленске. На достройку же храма было исходатайствовано г. обер-прокурором Святейшего Синода К. П. Победоносцевым 10 000 р. Да и с постройкой этого храма была у покойного тьма неприятностей. В местной администрации и в межевых чиновниках он постоянно во всем встречал себе тормоз. Доверители его, московские капиталисты, не видя никаких результатов от затраченных ими денег, и изверившись в успехе дела русских поселенцев, постепенно стали устраняться из дела, а в заключении всего земельный участок, приобретенный А. В. Верещагиным на свои деньги, по недобросовестности одного лица, был у него, после 10-ти-летнего владения, отобран и ему пришлось начать дело судебным порядком. После всех этих испытаний и страданий, он приехал в Петербург в начале нынешнего марта, желая напомнить о себе лицам давно его знавшим и искренно уважавшим и попробовать еще раз подживить воспоминания нашего общества о позабытой кавказской окраине. За несколько дней до своей кончины, он стал писать задуманный им ряд статей о колонизации Кавказа, вот на этой-то работе внезапно пресеклась его жизнь. При составлении судебным приставом описи имущества покойного, с охранительной целью, в наличности оказалось у него серебряной и медной монетой всего 3 руб. 31 коп., что красноречивее всего говорит в пользу этого идеалиста-труженика. Мир праху твоему, честный деятель и страдалец — пионер русского дела на одной из наших окраин. К. Бороздин («Новое Время», 1894, № 6495). **ВИШНЕВСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ** (умер 28 февраля 1894 года в городе Ковно) — статский советник, старший врач Ковенского местного лазарета. Библиография О нем: «Новое Время», 1894, № 6495. **ВИШНЕВСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ** (1846 — сентябрь 1894 года в Москве) — доктор медицины. Некролог Недавно скончался в Москве доктор медицины Михаил Петрович Вишневский. Покойный родился в 1846 г. Отец его был дьячок; желая дать образование сыну, он поместил его в семинарию. Юного Вишневского манил к себе университет. Не испугавшись нужды, М. П. пешком пришел в Москву и поступил в университет. В течение всего курса он сильно бедствовал. По окончании медицинского факультета поступил земским врачом в Чернь, Тульской губ., где население до сих пор помнит покойного, сочувственно относившегося к горю и нужде бедного люда. Из Черни Вишневский перешел врачом в тульскую городскую больницу, где читал лекции фельдшерам. В Ново-Екатерининской больнице, в Москве, М. П. прослужил пять лет. Из Москвы он перешел старшим врачом во Владимир, в котором 275 оставил по себе хорошую память, как добрый человек и как энергичный деятель. Он расширил и перестроил больницу, увеличив число кроватей с 200 до 500. Последние годы жизни (с 1892 г.) М. П. провел в Новгороде, занимая место помощника инспектора врачебной управы. Покойный принимал участие в «Хирургическом Вестнике», блестяще защитил диссертацию о камне дроблении (Исторический очерк развития техники операции и показаний к ней), перевел атлас Гейцмана и Липгарта «Руководство к оперативной хирургии» и издал сочинения Гутмана. «Новое Время», 1894, № 6676». **ВОЛОБУЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ** (1833 — 10 ноября 1894 года в Копенгагене) — протоиерей при русской посольской церкви. Некролог 10 ноября в Копенгагене скончался протоиерей при русской посольской церкви Николай Иванович Волобуев. Он родился в 1833 году и воспитывался в Харьковской семинарии, откуда, для продолжения образования, поступил в Петербургскую Духовную Академию. По окончании курса в последней со степенью кандидата

богословия (1857), покойный состоял преподавателем в одной из духовных семинарий, а затем, приняв посвящение, был назначен священником (позже протоиереем) при Копенгагенской православной посольской церкви. Ему принадлежало много трудов, как, например: «Постановления русских соборов XVI столетия, касающиеся духовенства» («Духовная Беседа», 1864, № 29 и 31), «Краткое христианское богословие» (М., 1879), «Беседы и поучения» (Спб., 1879), «Десять слов на день Пасхи» (Спб., 1879) и др. М. Д. Д. Языков. «Московские Ведомости», 1894, № 47». Библиография Его: Беседы о божественной литургии, сказанные экипажу Императорских яхт «Полярная Звезда» и «Царевна» во время стоянки оных в Копенгагене в 1893 г., Спб., 1894. Краткое изложение Православной веры. Изд. 3-е. Спб., 1894, 28 с. О нем: «Новое Время», 1894, № 7623. «Московские Ведомости», 1894, № 312 и 320.

«Московские Церковные Ведомости», 1894, № 47. «Церковные Ведомости», 1894, № 49, приб., с. 1767—1768; № 52, с. 1891—1893. ВУЛЬФЕРТ ГУСТАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (умер в 1894 году). По происхождению ливонец, ревностный деятель по славянскому единению, был генералом, участвовал при штурме Ташкента и в войне 1877—1878 годов. Им написано много статей по славянским и военным вопросам. Библиография О нем: «Исторический Вестник», 1894, кн. 11, с. 594. Венгеров С. А. Источники Словаря русских писателей. ГАВРОНСКИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (умер в 1894 году). В течение более 30 лет состоял преподавателем русского языка и много писавший по вопросам своей науки. Библиография О нем: Венгеров С. А. Источники Словаря русских писателей. ГАЙДЕБУРОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1849—15 февраля 1894 года в Петербурге) — дворянин, родной брат П. А. Гайдебурова (1893), редактировавший журнал «Неделя», после брата и сотрудничавший в этом журнале 15 лет. С 1878 г. он начал печатать в «Неделе» стихотворения за подписью «Вячеслав» и статьи по внутренним вопросам. Некролог Сегодня, в 8 ч. утра, найден мертвым в своей постеле проживавший в д. № 5, по Свечному переулку, в комнате, которую занимал от жильцов, дворянин Вячеслав Гайдебуров, 42 лет. В оставленной покойным записке он сообщает, что отравился приемом цианистого калия. Причину самоотравления покойный 276 объясняет тоской, овладевшей им после смерти брата, умершего недавно писателя, редактора-издателя «Недели» П. А. Гайдебурова, которого он горячо любил. В. А. Гайдебуров не имел собственной семьи и вел жизнь холостяка. В бумагах его найдено духовное завещание, в котором сделаны распоряжения относительно оставленных им денег и имущества. Новое Время», 1894, № 6455». Библиография О нем: «Московские Ведомости», 1894, № 48. «Новое Время», 1894, № 6455. «Артист», 1894, кн. 35, с. 267. «Новое Время», 1913, № 13309. ГАЛУЗИНСКИЙ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (умер 5 января 1894 года в Петербурге). Библиография О нем: «Новое Время», 1894, № 6415. ГАНТОВЕР ГЕНРИХ ВЛАДИСЛАВОВИЧ (1842—9 января 1894 года в Каире) — присяжный поверенный. Некролог 9-го января сего года скончался в Каире присяжный поверенный Генрих Владиславович Гантовер. Покойный родился в 1842 году, кончил курс в С.-Петербургском университете со степенью кандидата прав и был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. Защитив диссертацию на степень магистра гражданского права, Г. В. поступил на службу в министерство юстиции, откуда вскоре перешел в Сенат, где в течение нескольких лет состоял обер-секретарем 2-го департамента. С 1870 года покойный посвятил свою деятельность адвокатуре и, как присяжный поверенный принадлежал к числу выдающихся цивилистов. Он руководил юридической конференцией помощников присяжных поверенных. Новое Время», 1894, № 6421». ГАСФЕЛЬТ ИВАН ПЕТРОВИЧ (1800—15 декабря 1894 года в Петербурге) — старейший представитель петербургской датской колонии. Некролог На днях скончался в Петербурге, на девяносто пятом году жизни, Иван Петрович Гасфельт — старейший представитель петербургской датской колонии. Приехав в Петербург в 1838 г., женись на русской и любя Россия, И. П. прожил здесь почти безвыездно 56 лет. Первые годы пребывания в Петербурге И. П. посвятил педагогической деятельности. Им были составлены учебник английского языка — «English Lessons» и «Опыты преподавания английского языка». Несмотря на преклонную старость (род. в 1800 г.), покойный сохранил живость ума и память до последних минут жизни. Владея в совершенстве многими иностранными языками, И. П., в бытность свою в Дании, состоял в должности королевского переводчика и был кавалером ордена Данеборга. Новое Время», 1894, № 6770». ГЕ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1831—2 июня 1894 года в Нежине) — художник.

Некролог По частным известиям, полученным в Петербурге, скончался Николай Николаевич Ге, имя которого в русской живописи последнего тридцатилетия связано с успешными попытками нашего художественного творчества порвать со всякой заурядностью, подражательностью и рутиной, а также с стремлением пользоваться живописными сюжетами для выражения нравственных и общественных идей. В этом отношении Н. Н. Ге был одним из первых и самых решительных пионеров оригинальности и идейности в нашем искусстве. Даже в своих портретах он добивался идейной выразительности, а в технике питал особенное влечение к светотени во вкусе Рембрандтова освещения. Уже в первом опыте своих самостоятельных художественных работ — в академической программе на I золотую медаль — «Аендорская волшебница вызывает перед Саулом тень Самуила», в 1857 г. — он выказал способность 277 изображать характерные

типы и влечение к своеобразию. Проведя затем шесть лет за границей в качестве пенсионера академии, преимущественно в Риме и Флоренции, он, по возвращении в Петербург, заявил о своем выдающемся даровании замечательной картиной «Тайная Вечеря». По новизне идеи, по бытовому характеру, по реальности в передаче религиозно-исторического сюжета эта картина сразу положила начало известности ее автора. Академия художеств избрала его своим профессором, минуя звание академика, Император Александр II повелел приобрести «Тайную Вечерю» для академического музея. За «Тайною Вечерей» последовали другие попытки Н. Н. Ге в том же роде. В 1867 г. написана его картина «Первые вестники о Воскресении Христовом», а в 1869 г. «Моление о чаше Христа в Гефсиманском саду». С этого года Н. Н. Ге переселился в Петербург и принимал весьма деятельное участие в делах Академии Художеств, которая назначила его в 1872 г. членом совета и за добросовестное исполнение возлагавшихся на него поручений ему был пожалован орден св. Анны 3-й степени. В 1871 г. общее внимание возбудила картина его на сюжет из отечественной истории «Петр I допрашивает царевича Алексея», где замечательно передана энергия царя-преобразователя во всей его осанке и выражении лица. Эта картина, украшавшая первую выставку «Товарищества передвижных выставок», приобретенная для галереи П. М. Третьякова, справедливо признается первоклассным образцом нашей исторической живописи. Художнику пришлось сделать с нее несколько копий, по заказам августейших особ и частных лиц. Все последующие произведения Н. Н. Ге появлялись на передвижных выставках, причем в 70-х годах его занимали преимущественно литературно-исторические сюжеты. Так, в 1874 г. он выставил картину «Екатерина II у гроба Елизаветы Петровны», в 1875 г. — «А. С. Пушкин в селе Михайловском». Одновременно с этим он пишет немало портретов: А. И. Герцена, Т. П. Костомаровой (1872 г.), Н. А. Некрасова (1872 г.), И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова (1872 г.), М. К. Рейтера (1873 г.) для Горного Института, В. А. Кочубея (1875 г.), В. П. Гаевского (1876 г.), А. А. Потехина (1876 г.). К тому же периоду относится его увлечение Пушкиным. Помимо вышеназванной картины нашего великого поэта, Н. Н. Ге делает копию его портрета с работы Кипренского. С начала 80-х годов Н. Н. Ге снова обращается к сюжетам религиозно-исторической живописи, которые, после некоторого перерыва в его деятельности, окончательно овладевают его художественными симпатиями наряду с увлечением учением графа Л. Н. Толстого. В 1880 году им была написана картина «Милосердие» на слова евангелия от Матфея: «Поелику вы сделали сие одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». В 1884 г. появляется его знаменитый портрет Льва Толстого (в рабочей блузе) и оригинальные иллюстрации к рассказу Л. Н. Толстого. В 1889 г. на передвижной выставке заставляет говорить о себе его «Выход Христа с учениками в Гефсиманском саду», в 1890 году — картина «Что есть истина?» — вызывает целую литературу на тему о том, как следует трактовать тип Христа. В 1891 г. Н. Н. Ге пишет Иуду под названием «Совесь». В последние три года художественная деятельность его выразилась в нескольких портретах, которые находились на передвижных выставках: гр. М. Л. Толстой (дочери нашего великого писателя), бюст гр. Л. Н. Толстого, портреты самого художника (1893 г.), П. А. Костычева, Костычевой, Н. И. Петрункевич и г-жи Лихачевой. В общем итог деятельности Н. Н. Ге свидетельствует о том, что это был художник-мыслитель, считавший искусство выражением высших потребностей человека, или, как он сказал недавно в своей речи на художественном съезде в Москве, «выражением совершенства всего человечества». Он начал служить искусству чисто по влечению. По окончании гимназического курса в 1-й киевской гимназии, он в Киевском (1847 г.) и в Петербургском университете (1848 г.) изучал физико-математические науки, но

затем покинул 278 университетские занятия и 19 лет поступил в Академию Художеств (1850 г.), где и нашел свое настоящее призвание, которому он в течение 44 лет, до конца дней своих всегда служил с пользой, с увлечением и с талантом выдающимся. «Новое Время», 1894, № 6561». Библиография Его: Встречи. «Северный Вестник», 1894, кн. 3, с. 233—240. Речь на первом съезде художников и любителей: Об искусстве и любителях. («Артист», 1894, кн. 39). Воспоминания о 1-й Киевской гимназии. («Сборник в пользу недостаточных студентов Университета Св. Владимира», СПб., 1895). О нем: «Северный Вестник», 1894, кн. 7, отд. III, с. 97—98. «Русская Мысль», 1894, кн. 7, отд. II, с. 151. «Московские Ведомости», 1894, № 156. «Новое Время», 1894, № 6561. «Артист», 1894, кн. 38, с. 169. Воспоминания Репина («Нева», 1894, кн. 11, ноябрь). «Северный Вестник», 1895, кн. 1, с. 242—269; кн. 2, с. 191—218; кн. 3, с. 177—215. Книжки «Недели», 1897, кн. 2 (статья — воспоминания В. Стасова). «Вестник Европы», 1904, кн. 11, с. 5—35. Книжки В. Стасова (См. мою записную книгу № 2 «Н. Н. Ге, его язык, произведения и переписка, с четырьмя фототипами», М., 1904 г.).

ГЕРЦЕНШТЕЙН СОЛОМОН МАРКОВИЧ (1855 — умер 7 августа 1894 года в Петербурге) — ученый хранитель Зоологического музея Императорской Академии Наук. Некролог Зоологический музей Императорской Академии Наук понес в лице скончавшегося на сороковом году жизни ученого хранителя С. М. Герценштейна незаменимую утрату, особенно чувствительную в момент предпринятого коренного переустройства учреждения. Покойный С. М. в 1875 г. получил в С.-Петербургском университете степень кандидата естественных наук и с 1879 года занимал должность ученого хранителя Зоологического музея Академии по отделению ихтиологии. Как выдающемуся знатоку этой отрасли зоологии, Академия поручила покойному разработку коллекций центрально-азиатских рыб, добытых экспедициями Пржевальского, Потанина, Певцова и Грум-Гржимайла. Главнейшая и труднейшая часть этой обширной работы исполнена покойным блистательно и три выпуска III тома «Научных результатов путешествий Пржевальского» признаны в литературе всех стран за образцовые научные сочинения. Помимо ихтиологии Герценштейн занимался изучением арктических моллюсков и издал по фауне мягкотелых Белого моря и Мурманского побережья монографию, основанную отчасти на материалах собственных трехкратных путешествий на Мурманск, отчасти же на коллекциях, доставленных экскурсантами С.-Петербургского Общества естествоиспытателей. Все часы досуга покойный в течение многих лет неизменно посвящал систематическому пополнению своих познаний в области естественных наук и располагал вследствие этого, совершенно изумительным запасом сведений не только по зоологии, но и по всем соприкасающимся отраслям естествознания. Благодаря удивительной скромности, покойный смотрел на свою сокровищницу знаний, как на всеобщее достояние, и с неизменной любезностью со всеми делился своими познаниями, то направляя первые шаги новичка на научном поприще, то облегчая товарищу по науке кропотливый труд дельною и обстоятельною справкой. Не подлежит сомнению, что в ученых кружках столицы с неподдельной скорбью узнают о безвременной кончине С. М. Герценштейна и надолго сохранят добрую память о светлой личности этого скромного труженика. («Новое Время», 1894, № 6624). Библиография О нем: «Русские Ведомости», 1894, № 223. «Новое Время», 1894, № 6624. «Исторический Вестник», 1894, кн. 10, с. 312.

ГЛУХОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ (16 февраля 1813 — 12 февраля 1894 года в Петербурге) — почетный 279 член Совета торговли и мануфактуры, тайный советник. Некролог На Митрофаньевском кладбище похоронен вчера почетный член совета торговли и мануфактуры, бывший профессор института путей сообщения, тайный советник Владимир Семенович Глухов. Покойный — питомец корпуса инженеров путей сообщения, оставленный по окончании курса при корпусе для усовершенствования в науках, преподавал в институте в продолжении нескольких лет физику, физическую географию и геодезию. Затем он был назначен ученым хранителем образцовых мер и весов. Помимо своей служебной деятельности В. С. принимал деятельное участие в качестве сотрудника в «Журнале Министерства Путей Сообщения». В сороковых годах он был помощником редактора этого журнала. Его перу принадлежит несколько специальных научных статей; им составлена также первая памятная книжка для инженеров и архитекторов. Как хранитель образцовых русских мер и весов, покойный участвовал в международной конференции в Париже по введению общей метрической системы. Умер он на 84 году. «Новое Время» 1894 № 6456». Библиография О нем: «Новое Время» 1894

умер он на 61 году. Новое Время», 1894, № 47. БИОГРАФИЯ С ИМ. «Новое Время», 1894, № 6456. «Новости», 1894, № 47. ГРОНСКИЙ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ (1844—27 июня 1894 года, около Евпатории) — инженер, управляющий и член правления второго общества конно-железных дорог в Петербурге. Некролог В числе пассажиров, погибших при столкновении парохода «Владимира» с «Колумбией», находился инженер Павел Ефимович Тройский. Прослужив несколько лет по окончании курса в Николаевской Инженерной Академии, на Варшавской железной дороге, П. Е. участвовал в постройке Моршанско-Сызранской железной дороги, затем был начальником эксплуатации Рыбинско-Бологовской железной дороги и директором бывшего Самсоньевского машино-строительного завода. Весьегонское уездное земство избрало его в конце 70-х годов председателем земской управы. При нем в уезде появилось несколько десятков новых сельских школ, улучшилось врачебное дело, грунтовые

дороги были приведены в порядок и пр. Будучи инженером, он занимался вопросом об узкоколейных и подъездных путях. Он делал в наших ученых обществах обстоятельные доклады по этому вопросу, доказывая нашу потребность в дешевых путях сообщения. По его предложению возбуждено ходатайство о назначении правительственной комиссии для пересмотра законоположений, касающихся узкоколейных рельсовых и подъездных путей. Покойный интересовался также народным образованием. Его дельные статьи по народному образованию были напечатаны в «Петербургских Ведомостях» В. Ф. Корша в конце шестидесятых годов. Последние годы своей жизни П. Е. Тройский был управляющим и членом правления второго общества конно-железных дорог в Петербурге. Он был инициатором потребительного общества для служащих, проект которого в настоящее время разрабатывается правлением. Служащие относились к нему не как к начальнику, а как к другу, готовому помочь в беде и словом, и делом. Неутомимая энергия, постоянное доброжелательство, честное и разумное отношение к своим обязанностям составляли характерную особенность покойного. Ему не было еще и 52 лет от роду. Новое Время», 1894, № 6586>. ГУСЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1846—19 октября 1894 года в Казани) — профессор Казанской Духовной Академии. Некролог В Казани, 19 октября, скончался профессор местной Духовной Академии Дмитрий Васильевич Гусев. Покойный родился в Пензенской губернии, в 1846 году, и воспитывался сначала в тамошней семинарии (1860—1866), а затем в Казанской Духовной Академии (1866—1870 гг.). По окончании курса в 1870 году со степенью второго магистра 280 богословия, он занял в родной Академии кафедру патрологии и состоял на ней до смерти как доцент (1870—1885) и экстраординарный профессор (1885—1894 гг.). Вместе с академической службой соединялась педагогическая деятельность его, как преподавателя истории в Казанском юнкерском пехотном училище. Перу покойного принадлежали: магистерская диссертация под заглавием: «Ересь антиринитриев 3 века» (Казань, 1872 г.), статьи напечатанные в Православном Собеседнике, как например: «Чистилище у средневековых римско-католических богословов» (1872 г.), «Догматическая система св. Ирины Лионского в связи с гностическими учениями 2 века» (1874 г.), «Антропологические воззрения Августина в связи с учением пелагианства» (1876 г.), «Учение о Боге и доказательства бытия Божия в системе Шилона» (1881 г.) и речь на академическом акте под названием: «Апология Лица Иисуса Христа, Его земной жизни и деятельности в сочинении Оригена против Цельса» (1886 г). Московские Ведомости», 1894, № 292>. Библиография Его: Чтения по патрологии, вып. 1. Казань, 1896 г., 277 с. О нем: «Церковные Ведомости», 1894, № 44, с. 1583—1584. «Московские Церковные Ведомости», 1894, № 45, с. 580. «Московские Ведомости», 1894, № 292, 325. «Новое Время», 1894, № 6703. ДЕММЕНИ ГУГО ИВАНОВИЧ (умер 26 октября 1894 года) — преподаватель французского языка. Некролог 26-го октября скончался один из старейших преподавателей французского языка д. с. с. Гуго Иванович Демени. Покойный выделялся из среды наших преподавателей-иностранцев основательным знанием русского языка, который он изучил в совершенстве и говорил на нем, как на своем родном. Начав педагогическую деятельность в 1850 году, он преподавал французский язык в Главном (ныне Николаевском) Инженерном училище, в бывшей Школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров (Николаевское кавалерийское училище), в Артиллерийском училище, в женских учебных заведениях: великой княгини Елены Павловны и Мариинском институте, и с 1861 года в Александровском училище (ныне институт). Во время последней турецкой кампании, Г. И. был назначен состоять помощником воспитателя великого князя Петра Николаевича. Покойному, как автору, принадлежит дельное руководство для практических упражнений во

покойному, как автору, принадлежит деловое руководство для практических упражнений во французском языке, в виде сборника рассказов, под названием «Narrations». Г. И. пользовался уважением и симпатиями среди своих товарищей, учеников и учениц. Его педагогическая деятельность была отмечена несколькими наградами: орденом св. Станислава I-й степени и др. «Новое Время», 1894, № 6706». **ДИАНИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ** (28 февраля 1849—19 сентября 1894 года в местечке Сураме (Тифлисской губернии) — начальник отделения Военно-Медицинского управления, доктор медицины, статский советник. Некролог 19-го сентября скончался доктор медицины Василий Павлович Дианин, пользовавшийся известностью опытного хирурга. Покойный родился 28-го февраля 1849 года, кончил курс в Московском университете со званием лекаря. Прослужив около восьми лет в Суздальском полку, он был приглашен в качестве ассистента в хирургическое отделение клинического военного госпиталя. Здесь В. П.

деятельно занялся изучением на практике интересных случаев, которыми всегда богато хирургическое отделение. В 1882 году он блестяще защитил диссертацию на степень доктора медицины в Военно-Медицинской академии. Диссертация была посвящена исследованию трихлор-фенола, как обеззараживающего средства при лечении гнилостных и язвенных процессов. В диссертации, кроме того, был указан новый метод получения этого средства. В последнее 281 время с 1886 г. В. П. Дианин служил в Главном военно-медицинском управлении сперва в качестве столоначальника, затем начальника хозяйственного отделения. Кроме указанной диссертации, перу покойного принадлежит несколько ценных работ, из которых назовем: «О смеси хлорной извести и фенола», «Изменения крови при ожогах» и «Удачный случай наложения желудочного свища при раковом сужении пищевода». («Новое Время», 1894, № 6669). **ДИВОВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ** (умер 9 ноября 1894 года в Петербурге) — член духовного правления при протопресвитере военного и морского духовенства, настоятель Ильинской церкви Охтенских пороховых заводов, протоиерей. Некролог 9-го ноября скончался один из видных представителей военного духовенства, член духовного правления при протопресвитере военного и морского духовенства, настоятель Ильинской церкви Охтенских пороховых заводов, протоиерей Тимофей Петрович Дивов. Магистр богословия XXIV выпуска С.-Петербургской Духовной Академии, о. прот. Дивов начал службу в качестве преподавателя С.-Петербургской духовной семинарии, а затем в 1872 году поступил священником к церкви Охтенских пороховых заводов, где и состоял по день смерти; о. Дивов был законоучителем бесплатной школы при Пороховых заводах. Покойный о. протоиерей был известен и в духовной литературе многими статьями по историко-каноническим вопросам и критике, состоял сотрудником «Вестников Военного Духовенства и Церковного», «Церковных Ведомостей» и других духовных журналов. «Новое Время», 1894, № 6722». Библиография О нем: «Новое Время», 1894, № 6722. Венгеров С. А. Источники Словаря русских писателей. **ДМИТРИЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ** (27 октября 1829—25 января 1894 года в Петербурге) — сенатор, тайный советник. Некролог В Петербурге, в ночь на 25 января, скончался сенатор, тайный советник, Федор Михайлович Дмитриев. Прежняя деятельность покойного была тесно связана с Москвой, так как он несколько лет состоял профессором Московского университета, а потому нельзя не посвятить покойному хотя немногие воспоминания. Федор Михайлович Дмитриев родился 27 октября 1829 года и, после домашнего воспитания, в августе 1846 года поступил на юридический факультет Московского университета. По окончании курса кандидатом в 1850 году, он стал готовиться к профессорскому званию, а затем отправился за границу в качестве секретаря Великой Княгини Елены Павловны. Вернувшись в Москву, покойный защитил диссертацию на степень магистра гражданского права и, с конца 1859 года, занял профессорскую кафедру иностранных законодательств в Московском университете. На этой кафедре он пробыл почти десять лет, до 1868 года, когда покинул профессорскую деятельность и стал жить в деревне, занимаясь делами земства и мирового съезда в Сызранском уезде. После двенадцатилетней службы по земству, покойный был призван в 1881 году на пост попечителя Петербургского учебного округа, но скоро был назначен сенатором и в этом звании состоял до смерти. Покойный Ф. М. Дмитриев известен, как ученый, своей обширной магистерской диссертацией под заглавием: «История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от Судебника до Учреждения о губерниях» (М. 1859 года, 580+IV стр), удостоенной Демидовской премии. Кроме того, он был деятельный сотрудник «Русского Вестника», «Атеней», «Московских Ведомостей». В этих периодических изданиях были

«Вестника», «Атеней», «Московские Ведомости». В этих периодических изданиях были помещены им следующие статьи: «О Семейной Хронике С. Т. Аксакова» («Русский Вестник», 1856 года, кн. 7), «Несколько слов по поводу статьи г. Филиппова. О семейной жизни» (кн. 10), «Разбор диссертации А. Вицына: «Третейский 282 суд по русскому праву» (кн. 16), и «Рассуждения М. Михайлова: «Русское гражданское судопроизводство в историческом его развитии» (кн. 17), «О книге А. Богдановского: «Развитие понятий о преступлении и наказании в русском праве» («Атеней» 1858 года, № 4), «Русская юридическая литература в 1858 году» («Атеней» 1859 года, № 3, и «Московские Ведомости» 1859 года, №№ 131—132), «Вступительная лекция» («Московские Ведомости» 1859 года, № 238), «О сочинениях К. Д. Кавелина» (там же, 1860 года, №№ 185 и 209). Наконец, покойный напечатал вереницу статей в газете «Наше Время», как например: «Граф М. М. Сперанский» (1862 года, №№ 13—120), «О преобразовании цензурного ведомства» (№ 73), «Об университетском уставе» (№№ 129, 133 и 138) и «О судебной реформе» (1862 года, №№ 244, 245, 280; 1863 года, №№ 5, 19, 20). «Московские Ведомости», 1894, № 27». Библиография Его: Стихотворения: Молодому другу. («Русский Архив», 1894, кн. 10, с. 250). Акцизному чиновнику. («Русский Архив», 1901, кн. 11, с. 431—432). О принадлежности этого стихотворения Ф. М. Дмитриеву см.: «Русский Архив», 1902, кн. 1, с. 189. Эпиграмма «И. И. Красовскому». («Русский Архив», 1909, кн. 2, с. 303). П. И. Бартеневу. («Русский Архив», 1909, кн. 8, с. 704). О нем: «Русские Ведомости», 1894, № 26, 29 и 30. «Вестник Европы», 1894, кн. 3, с. 453—454, ст. Вл. Соловьева. «Московские Ведомости», 1894, № 27. «Новое Время», 1894, № 6439. «Исторический Вестник», 1894, кн. 4, с. 303. «Русский Архив», 1894, кн. 4, с. 634—637. ДОБРОТВОРСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1823—13 сентября 1894 года в Харькове) — заслуженный профессор Харьковского университета, магистр богословия, протоиерей. Некролог В Харькове, 13 сентября, скончался заслуженный профессор богословия при тамошнем университете, протоиерей Василий Иванович Добротворский. Покойный родился в Смоленской епархии в 1823 году и воспитывался в местной семинарии. Как лучший воспитанник, он был отправлен в Киевскую Духовную Академию, где и окончил курс в 1847 году четвертым магистром богословия. Затем ему пришлось состоять при той же Академии бакалавром французского языка (с 20 ноября 1848 года), литургики и канонического права (со 2 ноября 1856 года). Наконец, по принятии священства, он с 1857 года был назначен профессором богословия в Харьковский университет, где и занимал эту кафедру до дня своей смерти. Имя покойного протоиерея В. И. Добротворского известно не только по университетским лекциям, но и по литературным трудам. Им издавался в Харькове известный журнал «Духовный Вестник» (1862—1867 года, шестнадцать томов), в котором самому издателю принадлежали многие научные статьи. Кроме того, он напечатал два труда: «Библейская хронология в связи с хронологией древних восточных народов по новейшим исследованиям» («Православное Обозрение 1877 года». кн. 5) и «Критический метод в исследовании о книгах Священного Писания» (там же 1883 года, кн. 10—12). Многие же слова и речи покойного помещены как в Православном Обозрении (1875—1886 годов), так и в Харьковских Епархиальных Ведомостях. П. Р. С. Д. Языков. «Московские Ведомости», 1894, № 257». Библиография Его: «Слово при погребении убитого Харьковского губернатора князя Д. Н. Кропоткина. («Харьковские Епархиальные Ведомости». 1879, № 5, с. 197—201). «Основное богословие, или Христианская апологетика», лекции появились в приложении к «Богословскому Вестнику», 1895 кн. 3—12 и отдельно: «Сергиев Посад». 1895, 11+131 с. «Православное догматическое богословие», лекции («Богословский Вестник», 1896, кн. 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11; отдельно: «Сергиев Посад», 1896, 112 с). О нем: «Вера и Разум», 1894, № 19, с. 458. «Московские Ведомости», 1894, № 257. «Новое Время», 1894, № 6662. 283 Записки Императорского Харьковского Университета, 1894, кн. 4. Листок для харьковской епархии, 1894, № 19, с. 458. ДОСТОЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (3 февраля 1857—6 октября 1894 года в Петербурге) — доктор медицины, бывший прозектор Императорской военно-медицинской академии. Некролог Скончавшийся 6-го октября, после продолжительной и тяжелой болезни, бывший прозектор Императорской военно-медицинской академии, доктор медицины Александр Андреевич Достоевский, приобрел известность в медицинском мире своими ценными трудами по анатомии человека и млекопитающих. В 1884 году он блестяще защитил на степень доктора медицины диссертацию, под заглавием: «Материалы для микроскопической анатомии подпочечных желез». Медицинские труды покойного печатались в «Русской

анатомии надпочечных желез». Медицинские труды покойного печатались в «русской медицине», «Враче» и «Военно-медицинском сборнике». А. А. родился 3-го февраля 1857 года, специальное образование получил в военно-медицинской академии. Военно-медицинское ведомство командировало его на два года за границу для усовершенствования в знаниях; по возвращении оттуда он был приглашен военно-медицинской академией в качестве прозектора. Новое Время», 1894, № 6686». Библиография О нем: «Новое время», 1894, № 6686. Венгеров С. А. Источники Словаря русских писателей. ДРЕЙЗИН ПАВЕЛ ИОАННИКЕЕВИЧ (умер 13 мая 1894 года в Вильне) — Виленский епархиальный противоеврейский миссионер. Некролог Недавно, в гор. Вильне скончался Виленский епархиальный противоеврейский миссионер П. И. Дрейзин, ревностный деятель по ознакомлению евреев с православием. Блестяще окончив курс в житомирском раввинском училище, покойный некоторое время состоял правительственным

раввином в Бердичеве. Через чтение книг Нового Завета и внимательное изучение Ветхого, помимо раввинских толкований, он пришел к убеждению в истинности христианства и в 1891 г. принял православие. Назначенный противоеврейским миссионером, он первый завел в гор. Вильне собеседования с евреями о пришествии Мессии. Собеседования произвели сильное впечатление на местное еврейское население, так что заправилы еврейства стали всячески противодействовать им. Не ограничиваясь беседами в Вильне, Дрейзин, с миссионерскою целью посещал различные города литовской епархии. С целью ознакомления евреев с христианством и в частности с православием, он издал на современном еврейском жаргоне священную историю Ветхого и Нового Заветов и книжку «Истинная вера» (сокращение катихизиса митр. Филарета). В течение двухлетнего миссионерства покойный обратил в православие более 100 евреев. Новое Время», 1894, № 6590». Библиография О нем: «Церковные Ведомости», 1894, № 27, с. 934—935. «Новое Время», 1894, № 6590. ЕГОРОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1850-е — 6 июля 1894 года в Варшаве) — полковой командир. Родился в конце пятидесятых годов XIX века; получил образование в Николаевском кавалерийском училище, откуда был выпущен в офицеры Владимирского уланского полка (22 мая 1877 г.) и скоро же отправился на театр военных действий с Турцией; ему пришлось пробыть там во время всей кампании, затем временно быть воспитателем I Московского кадетского корпуса и находиться при оккупации Румелии; возвратившись оттуда, жил в Коломне, где находился его полк, а затем с тем же полком, переименованным в драгунский, переселился в Варшаву, где и умер 6 июля 1894 г. Запись Д. Д. Языкова 284 Библиография Его: Год в седле (Из дневника молодого офицера). 1877—1878 гг. (Одесса, 1833, 89 с). О нем: См. в книге его брата Егорова А. Е. Страницы из прошлого. Одесса, 1913. Ч. I, с. 175—176, 178—179. ЕРМОЛИНСКИЙ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (умер 30 декабря 1894 года в Нальчике (Терской области) — земский статистик. Некролог На днях в Нальчике (Терской области) скончался Константин Николаевич Ермолинский, известный своими статистическими трудами. Покойный по окончании в 1882 г. курса в Петровской академии, поступил на службу Хотинского уездного земства и здесь произвел ценное статистическое обследование местного крестьянского и владельческого хозяйства уезда. Новые приемы разработки статистических данных и обстоятельность обследования собранного материала, составившего объемистый труд под заглавием: «Сборник статистических сведений по Хотинскому уезду» обратили внимание исследователей на молодого статистика, которому Географическое общество присудило большую золотую медаль. Из других работ покойного назовем обширный очерк крестьянского полевого хозяйства в Семеновском уезде, Нижегородской губернии. Новое Время», 1894, № 6784». Библиография О нем: «Русская Мысль», 1895, кн. 2, отд. II, с. 183. «Новое Время», 1895, № 6784. ЗАБОТКИН ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ (1837—19 декабря 1894 г.) — главный начальник инженеров, генерал-лейтенант. Некролог Умер Дмитрий Степанович Заботкин! Как странно прозвучат эти роковые для многих, в семье военных инженеров, столь неожиданно потерявших своего любимого начальника и дорогого товарища! Недалеко трех недель тому назад, на семидесятипятилетней годовщине Николаевского Инженерного училища и академии, полный сил, с увлечением искренно убежденного человека, Дмитрий Степанович сказал блестящую речь-импровизацию, крупно и резко очертив в ней все сделанное русскими военными инженерами за последнее двадцатипятилетие, и тут же указал на те великие задачи, решение которых лежало еще впереди, ожидая своего ближайшего настоятельного разрешения силами и познаниями молодых военных инженеров. С таким увлечением и искренностью на срабатанье молодых инженеров

инженеров. С каким увлечением вырвавшаяся на свободу молодежь училища поднимала любимого начальника на ура и, конечно, в те минуты никому не могло придти в голову, что дни генерала Заботкина сочтены и в итоге этих дней осталось так мало. Покойный, как человек, отличался именно деятельной добротой. Каждый имел к нему доступ, все находили в нем начальника прежде всего доброжелательного, спокойного и в то же время весьма способного брать на себя всякую инициативу и всякую ответственность в деле отдачи безусловных приказаний, или в случаях, требовавших единолично ответственного решения в запутанном вопросе. Поэтому, сравнительно недавно занимая пост главного начальника инженеров, генерал Заботкин за это время успел произвести весьма крупные реформы, как в строевом переформировании различных частей инженерных войск в России, так и по вопросам техническим. Он явился инициатором обширных опытов над сопротивлением бетонов

пробиванию артиллерийскими снарядами новейших образцов, и он же чрезвычайно энергично двинул вопрос о расширении Инженерного училища до двойного комплекта, в связи с перестройкой старых, тесных и неудобных помещений этого училища в стенах Михайловского замка. К несчастью, смерть прервала его деятельность в этом отношении в пылу начатой работы. На будущий год оставалось сделать еще очень многое, и дай Бог, чтобы преемник Дмитрия Степановича по власти над этим вопросом стоял так же на высоте этой весьма не легкой задачи, как и покойный военный инженер. Дмитрий Степанович Заботкин родился 285 в 1837 году, в службу вступил из Московского корпуса в 1856 году и только через шесть лет после этого окончил курс в Николаевской инженерной академии с чином инженер-штабс капитана, и как отличнейший ученик поступил прямо на большие и трудные тогда работы, производившиеся в Кронштадте. Проводя всю свою службу в обер- и штаб-офицерских чинах на сооружении кронштадтских верков, планы и профили и сами методы постройки которых менялись в это время постоянно, благодаря быстрым успехам морской артиллерии и введению во флоте броненосцев, покойный инженер, кроме того, заявил себя и некоторыми литературными работами преимущественно по вопросам о приготовлении и употреблении в морских сооружениях нового типа, тогда еще, цемента. Через десять лет, с уходом строителя кронштадтских укреплений свиты Его Величества генерал-майора Зверева в помощники к Э. И. Тотлебену, Заботкин получил назначение начальника кронштадтского крепостного инженерного управления и уже сам руководил дальнейшими работами по достройке этой крепости в течение 15 лет. Таким образом, двадцать пять лет своей военно-инженерной службы генерал Заботкин отдал на возведение и усиление твердыни, за которой спокойно может себя чувствовать столица империи. О военном значении фортов Кронштадта, о характере и об оригинальных способах этих работ можно найти указания и цитаты в самых лучших и больших европейских сочинениях, посвященных инженерным предметам ведения. В 1887 году генерал Заботкин был назначен членом инженерного комитета и управляющим его делами, а в 1890 году исправляющим должность товарища генерал-инспектора по инженерной части, по смерти которого, в 1891 г., был утвержден в звании главного начальника военных инженеров. В день семидесятипятилетия Николаевского инженерного училища и академии, 24-го ноября текущего года, постановлением конференции академии, с утверждения военного министра, Д. С. Заботкин был признан почетным членом академии. Новое Время», 1894, № 6758». Библиография О нем: «Московские Ведомости», 1894, № 350. «Новое Время», 1894, № 6758. ЗАПОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ НИКИТЫЧ (умер 12 октября 1894 года в Петербурге). Скончался утром 12-го октября. Панихиды в 1 час дня и 8 часов вечера (Петерб. стор., Мытнинская набер., д. Корпуса. № 11, кв. 15). Вынос и погребение на Смоленском кладбище в 10 ч. утра в пятницу, 14 октября. Новое Время», 1894, № 6690». Библиография О нем: СПб. Академия. Духовник. — Московская семинария. ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ (2 февраля 1841 — 3 января 1894 года в Петербурге) — поэт. Он же — «Классик». Некролог Сегодня, 3-го января, скончался от крупозного воспаления легких Алексей Федорович Иванов, известный автор многих художественных стихотворений под псевдонимом «Классика». Его небольшие, но талантливые произведения изданы отдельными сборниками под заглавием: «Песни Классика» и «На рассвете». В них покойный тепло и искренне, кратко и сжато рисует жизненные картины, метко характеризует типы петербуржцев и едко подсмеивается над людскими недостатками. Он принадлежал к поэтам — газетным работникам, и потому чаще всего посвящал свою музу

«злооам дня». Покойный сотрудничал в «искре» В. С. Курочкина, «Петербуржском листке», «Будильнике», «Стрекозе» и других изданиях. А. Ф. сын крестьянина, крепостного Бутурлина. Родился 2-го февраля 1841 года, в Любимском уезде Ярославской губернии. Детство провел в деревне. Когда мальчик вступил в школьный возраст, отец его жил в Петербурге в качестве приказчика одного из магазинов сукон. А. Ф. был определен в школу для обучения грамоте; когда он 286 выучился читать и писать, отец решил, что мальчик достаточно сведущ в науке, и стал приучать его к торговле. Юноша пристрастился к чтению. Он покупал на скудные сбережения произведения русских классиков и перечитывал их украдкой в несколько раз. Родителям не нравилась страсть их сына. Они сжигали книги и подсмеивались над юношей. То же делали и соседи-приказчики, придумавшие в насмешку покойному название «Классика», которое впоследствии было избрано им своим псевдонимом. Запрещение читать книги, насмешки

нисколько не уменьшили в нем стремление к самообразованию. Он настойчиво учился, приобретал знания и развивал в себе вкус ко всему изящно-художественному. В особенности он много поработал над собственным образованием, когда занял место конторщика в одной из кладовых Гостиного двора. В это время он стал пробовать писать стихотворения. Рифмы ему давались легко, певучесть, картинность и такт были особенностью его речи с детства. Освобождение крестьян от крепостной зависимости сильно подействовало на впечатлительность покойного. Он знал по личному опыту тягость крепостного права. Его радость вылилась в прекрасном стихотворении. Первым печатным произведением «Классика» было стихотворение «На смерть Никитина», напечатанное в «Петербуржском Вестнике» г. Камбека в 1861 году. Затем А. Ф. познакомился с В. С. Курочкиным, который, заметив в нем недожженный талант, пригласил его в число постоянных сотрудников «Искры». С тех пор покойный постоянно трудился на литературном поприще. Он отличался замечательной наблюдательностью, меткостью выражений и большим остроумием. Его хорошо знали в литературных и артистических кружках. Веселый собеседник, хороший товарищ и добрый человек, готовый поделиться последней копейкой, чтобы выручить нуждающегося из беды, — А. Ф. пользовался общими симпатиями. Во всякое время и на любом торжестве он был желанным гостем, умевшим вспомнить добрым словом бывшее из литературного мира, посмеяться неожиданным экспромтом и отметить выдающееся в стихотворной форме. Последнее время он часто жаловался на нездоровье и как-то опустил. На праздниках простудился, занемог и сегодня в 12 ч. 30 мин. дня его не стало. Новое Время», 1894, № 6412». Библиография Его: Иванов-Классик А. Ф. Стихотворения. СПб., 1891, 187 с. (Издание Федорова). О нем: «Московский Листок», 1894, ил. № 2 (с портретом). «Новое Время», 1894, № 6412 и 6414. «Исторический Вестник», 1894, кн. 2, с. 583—584. «Русское Обозрение», 1894, кн. 9, с. 219—221; кн. 10, с. 951. ИВАНОВ АНДРЕЙ ИОАНИМОВИЧ (1840—16 апреля 1894 года) Библиография Его: См. в его «Каталоге», с. 36, 56 и 57. О нем: Венгеров С. А. Источники Словаря русских писателей. ИВАНЦОВ-ПЛАТОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1835—12 ноября 1894 года в Москве и похоронен на Даниловском кладбище) — протоиерей. Некролог Среди высшего духовенства Москвы, в ряду известных законоучителей нашей столицы и замечательных профессоров Московского университета ярко блесло имя заслуженного протоиерея Александра Михайловича Иванцова-Платонова, теперь сошедшего в могилу. При этом имени всегда возникала пред глазами симпатичная, добродушная личность почившего и вспоминалась долгая, неутомимая учено-литературная его деятельность. Покойный, сын священника Курской епархии, родился в 1835 году и воспитывался в местной семинарии до 1856 года, когда, как лучший ученик, поступил для продолжения образования в Московскую Духовную Академию. Там он числился на стипендии, завещанной митрополитом Платоном, а потому и получил прибавку к своей обычной фамилии — «Платонов». В то же время, еще находясь в стенах Академии 287 и усердно занимаясь науками, молодой студент выступил в печати со своими первыми трудами. Он напечатал критическую статью «О положительном и отрицательном отношении к жизни в русской литературе» («Русская Беседа», 1859 г., кн. I), заметку «О нашей полемико-богословской литературе» («Православное Обозрение», 1860 г., кн. 2) и «По поводу автобиографии Измайлова» (кн. 4). Благодаря богатым природным дарованиям и постоянным научным занятиям, Александр Михайлович блестящим образом окончил курс в 1860 году вторым магистром богословия и тотчас же, с 3 августа того же года, получил кафедру церковной

истории в Петербургской Духовной Академии. Но на этой кафедре ему пришлось пробыть только три года, в течение которых его имя непрерывно появлялось под многими статьями Православного Обозрения и газеты И. С. Аксакова «День». Из этих статей назовем: «Объяснение по вопросу о православии и современности» («Прав. Обозрение», 1861 г., кн. 1), «Об улучшении в быте духовенства» (1862 г., кн. 1), «Духовенство и народное образование» (1862 г., кн. 2), «О преподавании богословия в русских университетах» (1862, кн. 5) и «О болгарском церковном вопросе» («День», 1862 г.). Выход из Петербургской Духовной Академии в 1863 году был вызван определением А. М. Иванцова-Платонова на должность законоучителя Московского Александровского военного училища, где покойный в течение около тридцати лет состоял священником, а с 1874 года — протоиереем. К этому периоду, кроме духовно-публицистических статей в Православном Обозрении, принадлежали его труды, посвященные, главным образом, церковной истории, как например: «О римском католицизме и его отношении к православию» (М., 1869—1870 гг. две части), «Из истории христианства у славянских народов» («Православное Обозрение» 1869 года, кн. 1 и 5) и «Отношение Римской церкви к греческим церквям со времени разделения церквей до падения Константинополя» («Душеполезное Чтение 1868 года», кн. 11—12). Названные труды обратили на себя внимание Московского университета, который в 1872 году избрал Александра Михайловича профессором церковной истории. С этих пор начинается еще более энергичная учено-литературная деятельность покойного, прерванная только его смертью. Не говоря о всех журнальных статьях, мы должны указать на некоторые самые важные труды А. М. Иванцова-Платонова, доставившие ему научную известность. В веренице этих трудов числится: «Первая лекция по церковной истории» (М., 1872 года), диссертация на степень доктора богословия: «Ереси и расколы первых трех веков христианства» (М., 1877 года), «Религиозные движения на христианском востоке в IV и V веках («Православное Обозрение 1880 г.», кн. 2, 4, 9, 10; 1881 г., кн. 1 и 5)», «О восстановлении выборного духовенства» (Русь 1881 г., №№ 11—17), «О русском церковном управлении» (1882 г., №№ 1—16), «О западных вероисповеданиях» (М., 1887 и 1888 гг., два издания), «К исследованиям о Фотии, патриархе Константинопольском» (Речь в Университете 1892 г., 43 стр), «Исследование о Фотии» (М., 1892 г.), удостоенное Макариевской премии. Но, кроме университетского преподавания, покойный отец протоиерей в течение нескольких лет (1883—1886 гг.) вел религиозно-нравственные беседы по церковной истории для образованных женщин и девиц. Успех этих лекций побудил его составить собрание духовно-нравственных и церковно-исторических книг для образованных людей, которые, вместе с каталогом, он пожертвовал в Московскую епархиальную библиотеку. Наконец, даже некоторые собственные труды, в большом числе экземпляров, покойный принес в дар Братству Преподобного Сергия. Так трудился покойный отец протоиерей до своей смерти. Да упокоится его добрая душа в царствии небесном. Д. Д. Д. Языков. «Московские Ведомости», 1894, № 212». Библиография Его: К молодым людям: напутственное слово законоучителя к воспитанникам второго выпуска 288 Александровского военного училища («Православное Обозрение», 1865, кн. 8), перепечатанное в сб. Погодина «Утро». М., 1866, с. 433—464. «Замечания» по поводу реферата священника И. И. Соловьева: О молитве Православной Церкви за усопших инославных христиан («Московские Церковные Ведомости», 1885, № 42). Статья «Патриарх Фотий» («Revue internationale de Theologie», 1894, январь — март, № 5 и апрель — июнь, № 6). О русском церковном управлении, из газеты «Русь», с предисловием С. Шарапова. СПб., 1898, 86 с. За двадцать лет священства. Слова и речи. Христианское учение о любви к человечеству сравнительно с крайностями учений социалистических. О римском католицизме и его отношении к православию, 2 части. О западных вероисповеданиях. Поучение о благотворении. Указатель библейских чтений из книг В. З. для средних учебных заведений. К исследованиям о Фотии, патриархе Константинопольском. Речь без приложения. Богословские науки (из библиографического издания «Книга о книгах»). Об открытии Братства для вспомоществования нуждающимся бывшим воспитанникам Московской Духовной Академии. Заслуженный профессор Московского Университета протопресвитер Н. А. Сергиевский. (Некролог). Что такое жизнь. Религиозно-философское исследование. О наших нравственных отношениях и обязанностях к семье и школе, обществу, товарищам, начальникам, сослуживцам и подчиненным, к своему народу и государству, к целому человечеству и святой церкви. Истинные понятия о чести и фальшивые представления о ней. Издания Московской

Сергиево-Братской Комиссии, при Совете Братства Преподобного Сергия, 1905: Поучения о благотворении. О нем: «Богословский Вестник», 1894, кн. 12, с. 523—538. «Московские Церковные Ведомости», 1894, № 47, с. 595—598; № 51—52, с. 655—658. «Церковные Ведомости», 1894, № 48, с. 1724—1726. «Вопросы философии», 1894, кн. 25; 1895, кн. 27. «Вестник Европы», 1894, кн. 12, с. 893—894. «Русская Мысль», 1895, кн. 1, с. 81—99. Отчет университета за 1894 год. М., 1895. «Московские Ведомости», 1894, № 212, 313, 315, 316, 342. «Новое Время», 1894, № 6724. «Вопросы Философии и Психологии», 1894 кн. 25; 1895, март. «Душеполезное Чтение», 1895, кн. 2. «Русское Обозрение», 1894, кн. 12, с. 987—993. Издания Исторического Общества. Рефераты, читанные в 1895 году, в Историческом Обществе. М., 1897. Горский-Платонов: Голос старого профессора по делу профессора А. П. Лебедева с покойным о. протоиереем А. М. Иванцовым-Платоновым. М., 1900, 68 с. «Московские

Ведомости», 1899, № 263, 279, 280, 281, 297—300, 302, 303, 305, 320—325. ИЗРАИЛЬ (в мире ИОАНН НИКУЛИЦКИЙ, 1832—23 апреля 1894 года в Вологде) — епископ. Некролог В субботу на Святой неделе, 23 апреля, неожиданно скончался преосвященный Израиль, епископ Вологодский и Тотемский. Почивший, в мире Иоанн Никулицкий, родился в 1832 году, в Рязанской губернии, воспитывался в местной семинарии и Московской Духовной Академии. По окончании академического курса в 1856 году, со степенью кандидата богословия, он был определен преподавателем в Могилевскую семинарию и через год пострижен в монашество (1857 г.), а спустя шесть лет получил там же должность инспектора (1863 г.). Возведенный в сан архимандрита (1868 г.), покойный скоро был назначен ректором Витебской духовной семинарии (1872 г.). После двадцатитрехлетней педагогической деятельности (1856—1879 гг.), открылось его служение в епископском сане. Хиротонисанный 8 июля 1879 года, он последовательно состоял: епископом Ново-Миргородским, викарием Херсонской епархии (до 8 января 1883 года), епископом Острожским, викарием на Волыни (до 25 октября того же года) и самостоятельным епископом на Вологодской архиерейской кафедре (до дня кончины). Покойный епископ Израиль был известен своими проповедями, напечатанными в Вологодских, Волынских и Херсонских Епархиальных Ведомостях, а также особенными заботами об увеличении и лучшей постановке церковноприходских школ, благоустройством 289 духовных семинарии и женских епархиальных училищ. Д. Я. Д. Д. Языков. «Московские Ведомости», 1894, № 117». Библиография О нем: «Московские Церковные Ведомости», 1894, № 18, с. 241. «Церковные Ведомости», 1894, № 19, с. 624; 1895, № 4, с. 146—150. «Московские Ведомости», 1894, № 117. «Новое Время», 1894, № 6523. — Хроника архиеп. Саввы. Сергиева Лавра, 1902, т. IV, с. 568—570. ИМЕРЕТИНСКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (30 декабря 1830—24 октября 1894 года в Петербурге) — генерал-лейтенант, светлейший князь. Некролог В ночь на 24-е октября скончался от удара генерал-лейтенант, светлейший князь Николай Константинович Имеретинский — один из внуков имеретинского царя Давида Георгиевича, царствовавшего в Имеретии с 1784 г. Покойный родился 30-го декабря 1830 г., воспитывался в Пажеском Его Величества корпусе, по окончании курса в котором поступил на службу в лейб-гвардии Преображенский полк. Прослужив в полку 13 лет, и, будучи в чине штабс-капитана ротным командиром, князь Н. К. поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, где с успехом кончил курс. Назначенный сперва, помощником военного начальника, затем военным начальником Виленского уезда, он принимал деятельное участие в усмирении польских мятежников и в этой кампании хорошо ознакомился с главнейшей эпохой деятельности покойного графа М. Н. Муравьева (Виленского). В конце 60-х годов князь Имеретинский был избран волынским губернским предводителем дворянства, затем занимал должность помощника председателя областного правления Войска Донского до 1874 г., когда был причислен к российской миссии в Берне. Уволенный по домашним обстоятельствам от службы в 1886 г., покойный посвятил свои силы литературному труду. Хорошо ознакомленный с государственной и общественной деятельностью графа М. Н. Муравьева, он написал подробную характеристику покойного графа в «Русском Обозрении» и затем отметил в статье «Воспоминания о графе М. Н. Муравьеве» («Исторический Вестник», декабрь 1892) победоносную борьбу графа с тройной силой: полонизма, полоно-фильства и западничества. В статье «Из записок старого преображенца», напечатанной в нескольких номерах «Русской Старины» за 1893 г., князь Имеретинский набросал ряд картин полковой жизни преображенцев конца царствования императора Николая Павловича и первого десятилетия царствования

императора Александра II. Кроме того, перу покойного принадлежат исследования: «Дворяне, разночинцы и крестьяне в современном русском землевладении» («Русск. Обозр.») и «Дворянство Волынской губ.» («Журн. Мин. Нар. Проев.» 1893 и 1894 гг.) Последним литературным трудом князя Н. К. была историческая характеристика «Первого периода столетней народной борьбы в юго-западном крае с 1793 по 1893 г.» («Русск. Обозр.»). Новое Время», 1894, № 6703». Библиография Его: Из записок старого преображенца. («Русская Старина 1893 год». Кн. 2, с. 313—339; кн. 3, с. 529—558; кн. 4, с. 21—50; кн. 11, с. 253—279). Записки старого паж. («Русский Вестник», 1887, кн. 8 и 9). Из записок старого преображенца. 1850 («Русская Старина 1900 год». Кн. 11); 1851 г. (Кн. 12); 1853—1858 гг. («Русская Старина 1901 год». Кн. 3, 6, 7). О нем: «Новое Время», 1894, № 6703. «Московские Ведомости», 1894, № 296. «Исторический Вестник», 1894, кн. 12, с. 901—902. ИСААКИЙ (в мире ИВАН

КАЛЛИНИНОВИЧ ПОЛОЖЕНСКИЙ, 1829—11 мая 1894 года в гор. Тихвине) — епископ. Некролог В городе Тихвине (Новгородской епархии) недавно скончался преосвященный 290 Исаакий, бывший епископ Астраханский и Евотаевский. Покойный, в мире Иван Положенский, родился в 1829 году, в Лужском уезде, С.-Петербургской епархии, и воспитывался сначала в Петербургской семинарии, а затем в Петербургской Духовной Академии, где в 1851 году принял монашество. По окончании академического курса в 1853 году со степенью магистра богословия, он десять лет состоял смотрителем Боровичского дух. училища, профессором Новгородской семинарии, инспектором, а по возведении в сан архимандрита (1858 года) занял должность ректора Кавказской духовной семинарии (1863 года). После восемнадцатилетней педагогической и административной деятельности на духовно-учебном поприще (1853—1871 годах), почивший был хиротонисан во епископа Моздокского (9 мая 1871 года) и десять лет состоял викарием при Кавказской епархии (1871—1881 годах). Затем он последовательно занимал самостоятельные епископские кафедры в Енисейске (с 14 мая 1881 года), Томске (с 8 марта 1886 года), Кишиневе (с 12 января 1891 года) и Астрахани (с 21 ноября 1892 года). По болезни преосвященный Исаакий был уволен на покой (19 декабря 1892 года) и проживал сначала в Гербовецком монастыре (Кишиневской епархии), а с 15 сентября прошлого года — в одной из обителей города Тихвина, где и скончался. Д. Я. Д. Языков. «Московские Ведомости», 1894, № 143». Библиография Его: Диссертация: «Стефан Яворский, митрополит Рязанский и Муромский, блюститель патриархального всероссийского престижа». О нем «Новгородские Епархиальные Ведомости», 1894, № 11. «Церковные Ведомости», 1894, № 22, с. 735—736. «Московские Церковные Ведомости», 1894, № 24, с. 315. «Московские Ведомости», 1894, № 143. «Новое Время», 1894, № 6547. Венгеров С. А. Источники Словаря русских писателей. «Всемирная Иллюстрация», 1894, т. LI, с. 388. ИСКЕРСКИЙ КАРЛ КАРЛОВИЧ (умер 7 апреля 1894 года в Петербурге) — тайный советник, корпусный врач 1 армейского корпуса. Библиография О нем: «Новое Время», 1894, № 6505. «Всемирная Иллюстрация», 1894, т. LI с. 267. ИОССА АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (1810—2 января 1894 года в Петербурге) — горный инженер, действительный тайный советник. Некролог 2-го января скончался на 84 году жизни горный инженер, действит. тайн. советн. Александр Андреевич Иосса. Разносторонняя деятельность покойного хорошо известна всем, интересующимся горнозаводческим делом. Принимая деятельное участие сперва в непосредственном управлении горными заводами в качестве управителя, горного начальника и главного начальника Уральских горных заводов, затем в трудах высших учреждений горного ведомства в качестве председательствовавшего в горном совете и ученом комитете А. А. Иосса отличался основательными знаниями положения и нужд различных отраслей русской промышленности и оказал существенную поддержку многим начинаниям и мероприятиям, направленным на пользу и развитие отечественного горного дела. Вопросы каменноугольной и железной промышленности, о Сибирской дороге и многие другие особенности интересовали покойного. А. А. родился в 1810 году образование закончил в корпусе горных инженеров с большой серебряной медалью за успехи и со званием шихтмейстера. Свыше 40 лет он служил на уральских заводах, управляя Златоустовскими и Камско-Воткинскими. Будучи членом горного совета, покойный разработал вопрос о выгоде способов обработки каменноугольных копей Царства Польского, исследовал в Волыни месторождения полезных ископаемых и устраивал горнозаводский отдел на всемирной выставке в Филадельфии Знания и труды А. А. были отмечены 291 многими наградами. Он, между прочим, получил бриллиантовый перстень с

вензелем императора Александра II за изготовление остова шпица для колокольни Петропавловской крепости. В 1891 г. А. А. вышел в отставку по слабости здоровья, но до последнего дня своей жизни отличался замечательной памятью. Новое Время», 1894, № 6412». Библиография О нем: «Новое Время», 1894, № 6412. Венгеров С. А. Источники Словаря русских писателей. КАЙДАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (умер 8 июля 1894 года в Петербурге) — начальник архива департамента таможенных сборов, действительный статский советник. Некролог 8-го июля скончался один из скромных труженников министерства финансов, начальник архива департамента таможенных сборов, действительный статский советник Николай Иванович Кайданов. Вся его 54-х летняя служба по этому ведомству, все его силы и знания были посвящены архивному делу. Сын известного в свое время профессора истории, Н. И. получил образование в Царскосельском лицее. Одного выпуска с ним были: граф Рейтерн, член Государственного Совета Саломон, сенатор Цее, Петрашевский и др. По выходе из лицея, он в течение двух лет слушал лекции в здешнем университете по политической экономии и финансовому делу. Затем, поступив на службу в департамент таможенных сборов, он с увлечением занялся разборкою архива. В архиве этого департамента хранится весьма ценный материал по истории торговли и промышленности России за XVIII и начало XIX столетий, заключающийся в делах: государственной комерц-коллегии, министра комерции и президентов комерц-коллегии, комиссий о комерции и о пошлинах, поташной конторы, сибирского приказа, комерц-конторы и московского комиссарства, ликвидационных контор и нейтральных комиссий, департаментов внешней торговли и таможенных сборов. По рассмотрении всех этих дел и по приведении их в блестящий порядок, всем этим делам им были составлены печатные «систематические каталоги». Эти каталоги, разосланные в разные ученые учреждения, сделали интересующимся лицам известным весьма ценный, но неразработанный материал. С этих пор профессора и студенты университетов и многие частные лица стали посещать архив, извлекая оттуда обильный материал для своих ученых трудов. Успешная разборка такого громадного архива требовала не только полувековой, неустанной, упорной работы, но еще и полного увлечения этих делом. Насколько оно было сильно в его натуре, можно видеть из следующего, известного всем его сослуживцам, факта. Когда его товарищ по лицу, граф Рейтерн был министром финансов, то Н. И. в это время в скромной должности начальника архива, с увлечением занимался разборкой его. Министр Рейтерн, узнав об этом, не мало удивился. Пригласив его к себе, он предложил ему свое покровительство. На это предложение, Н. И. обратился к нему с покорнейшей просьбой: оставить его в должности начальника архива... В высшей степени трудолюбивый и скромный, он смотрел на своих сослуживцев, как на свою семью. Получая скромное содержание по службе, он, отказывая себе во многом, уделял свои средства небогатым родственникам и знакомым, и не мало бедного петербургского люда пользовались его помощью. От всей его фигуры веяло какой-то нравственной силой и чистотой, так обаятельно действовавшей на всех тех, кому приходилось с ним сталкиваться. Всегда веселый и довольный, он своей деятельностью как бы хотел доказать, что можно быть вполне счастливым, не будучи знатным и богатым. В. Т. Новое Время», 1894, № 6595». КАМПИОНИ ПАВЕЛ АНЖЕЛОВИЧ (умер 2 марта 1894 года). Библиография О нем: Венгеров С. А. Источники Словаря русских писателей. 292 КАНТАКУЗИН МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ, граф Сперанский (умер 25 марта в Аркашоне (Франция) — директор Департамента Духовных Дел иностранных исповеданий. Некролог Вдали от России, во французском городе Аркашоне, 25 марта, скончался директор Департамента Духовных Дел иностранных исповеданий, шталмейстер князь Михаил Родионович Кантакузин — граф Сперанский. Покойный по отцу принадлежал к древнейшему греческому роду, а по матери являлся потомком известного графа М. М. Сперанского и по Высочайшему соизволению, с 1872 года, присоединил его титул к своей фамилии. Он родился на юге России и высшее образование получил на юридическом факультете Новороссийского университета. Скоро по окончании курса покойный представил в университет св. Владимира большую диссертацию, под заглавием «Опыт определения понятия военной контрабанды» (Одесса, 1875 г., 128 стр.), за что, по защите, получил степень магистра международного права. Но ему не пришлось занимать профессорской кафедры: вместо ученой карьеры он избрал службу чиновника особых поручений при министре Народного Просвещения — графе Д. А. Толстом и затем при министре Государственных Имуществ — М. Н. Островском.

Наконец, с 1882 года, когда граф Толстой занял пост Министра Внутренних Дел, покойный был назначен при нем директором Департамента Иностранных Исповеданий, где и состоял до кончины. Кроме названной диссертации, перу покойного князя Кантакузина — графа Сперанского принадлежали три следующих труда: «Исторический очерк права войны» (Одесса, 1875 г., 24 стр.), «Вопрос о кодификации международного права» (Одесса, 1876 г., 23 стр.) и «Народное просвещение в Японии» (СПб., 1879 г., 48 стр.). Д. Я. Д. Д. Языков. «Московские Ведомости», 1894, № 90». Библиография О нем: «Новое Время», 1894, № 6495. «Московские Ведомости», 1894, № 90. КАРТАМЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВОНИФАТЬЕВИЧ (умер 3 июля 1894 г.) — сотрудник провинциальных изданий. Библиография О нем: Венгеров С. А. Источники Словаря русских писателей. КАРТАМЫШЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ (умер в августе 1894 года в Томске) — редактор-издатель «Сибирского Вестника». Некролог В Петербурге получена

телеграмма I смерти издателя «Сибирского Вестника» В. П. Картамышева. По словам его друга и поверенного, присяжного поверенного Ч-ова, Картамышев пал жертвой своей газетной деятельности. Неустанно и мужественно обличая злоупотребления, Картамышев нажил себе в Сибири много врагов и был часто привлекаем к суду по обвинению к диффамации. Он был приговорен к восьмимесячному тюремному заключению. Картамышева посадили в Томске в тюрьму. Резкая перемена образа жизни, отсутствие привычной подвижной деятельности, а, главное, нравственные страдания человека, так сурово наказанного за невольные и почти неизбежные в его деле ошибки, в конец расстроили здоровье заключенного. Вошел он в тюрьму здоровым и крепким, а вышел из нее умирающим. В июне он из тюрьмы вышел, а в августе умер. Мир его праху. Новое Время», 1894, № 6644». Библиография О нем: «Русская Мысль», 1894, кн. 11, с. 200, отд. II «Новое Время», 1894, № 6644. «Новости», 1894, № 237. «Всемирная Иллюстрация», 1894, т. LII, с. 199. КАШПЕРОВ ВЛАДИМИР НИКИТИЧ (умер 26 июня 1894 года в селе Романцево Можайского уезда, Московской губернии) — композитор. 293 Некролог Завтра, 29 июня, в московском Новодевичьем монастыре хоронят Владимира Никитича Кашперова, умершего 26 июня в селе Романцево, Можайского уезда. Покойный стоял в близких дружественных отношениях к гениальному композитору М. И. Глинке. «С первой нашей встречи», говорил он, «в 1849 году, автор «Жизни за Царя» относился ко мне чрезвычайно симпатично и вскоре прозвал меня figlio carissimo (дорогой сынок) и так и называл меня до своей смерти. В 1856 году мы съехались в Берлине и уже не разлучались с ним». Об этой тесной связи свидетельствуют «Письма М. И. Глинки» («Русское Обозрение» 1894 года, кн. 5, стр. 399—403) и «Воспоминания Кашперова», напечатанные в «Русском Архиве» (1869 года, кн. 7—8). Вместе с М. И. Глинкой Владимир Никитич долго и усердно занимался с Деном, известным берлинским профессором гармонии и контрапункта, а затем выступил как композитор. Он написал музыку к двум операм. Первая из них, под названием «Мария Тюдор», с успехом была поставлена в декабре 1859 года в Миланском театре Каркано и потом в Ницце, в присутствии покойной императрицы Александры Федоровны. Вторая же опера на сюжет драмы Островского «Гроза», под тем же заглавием, шла в Петербургском Мариинском театре в сезон 1867—1868 годов. Кроме названных опер, покойный Кашперов составил музыку ко многим русским романсам. Особенно удачны его композиции к следующим произведениям Пушкина: «Я вас любил», «Песнь Земфиры», «На холмах Грузии», «Я позабыл Ваш образ милый» и др. Наконец, перу покойного Владимира Никитича принадлежали статьи по музыке и пению, как, например, «Об операх Верди» («С.-Петербургские Ведомости», 1859 г.) и «Заметки о церковном пении в России» («Русь», 1881 г., №№ 53—54), а к числу его последних изданий относятся «Певческие упражнения для начальных училищ» (М., 1893). Д. Я. Д. Д. Языков. «Московские Ведомости», 1894, № 176». Библиография Его: «Два письма князя В. О. Одоевского к В. Н. Кашперову», с примечаниями последнего («Русское Обозрение», 1894, кн. 3, с. 431—435). «Письма А. С. Даргомыжского» («Русское Обозрение», 1894, кн. 8, с. 819—822). О нем: «Русские Ведомости», 1894, № 178. «Московские Ведомости», 1894, № 176 и 177. «Новое Время», 1894, № 6586. «Артист», 1894, кн. 39, с. 201—202. «Исторический Вестник», 1894, кн. 8, с. 559. «Русское Обозрение», 1894, кн. 8, с. 823—831. КАЩЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1810—3 декабря 1894 года в Екатеринославской губернии) — помолог, садовод и лесовод. Некролог На днях скончался в Екатеринославской губернии известный помолог, садовод и лесовод Василий Васильевич Кашенко. Покойный своими почти полувековыми трудами оказал много услуг

садоводству, по достоинству оцененных многими высшими наградами от Имп. общества садоводства, Парижской земледельческой академии и других обществ садоводства. Последние годы он интересовался облесением южных степей и с помощью труда и знания успел вырастить несколько густых лесков. В литературу по садоводству покойный сделал ценные вклады, издав несколько художественно-иллюстрированных книг по плодоводству и поместив несколько отдельных статей по той же отрасли в «Русском Садоводстве» и других изданиях. Умер он на 84 году от роду, работая до последних дней. Это был хозяин и в то же время помещик в лучшем и широком значении этого слова, всей своей жизнью показавший, что с энергией и трудом, не пренебрегая знанием, можно жить в деревне и хорошо хозяйничать и созидать себе такие чудные, поэтичные, на диво устроенные уголки, каким он сделал свой старинный родовой «Приют». «Новое Время», 1894, № 6751». 294 КЕНИГ ОСИП ОСИПОВИЧ (1831 — 14 апреля 1894 года в

Петербурге) — преподаватель 2-й классической гимназии. Некролог 14-го апреля скончался один из заслуженных педагогов, преподаватель 2-й классической гимназии, Осип Осипович Кениг, пользовавшийся популярностью в педагогическом мире как знаток латинского языка и симпатиями своих многочисленных учеников. Покойный родился в Штутгарте в 1831 году, образование получил в Тюбингенском и Гейдельбергском университетах. Поселившись в России в начале пятидесятых годов, он вскоре блестяще защитил в Харьковском университете диссертацию на степень магистра уголовного права и в 1868 году был приглашен преподавать латинский язык во вторую классическую гимназию. С этого года покойный посвятил всецело свои силы образованию юношества. Из его сочинений известны: «De jure privato, quod dicitur internationale», «Критический разбор влияния христианства на развитие семейного права преимущественно у римлян», «Савиньи и его отношение к современной юриспруденции». В последнее время покойный обрабатывал курс истории Рима, но успел исполнить только половину своего предприятия. «Новое Время», 1894, № 6515». КЕРКОВ ЭМЕ ВАСИЛЬЕВИЧ (умер 28 февраля 1894 года) — преподаватель 1-го Московского кадетского корпуса, статский советник. Некролог 28 февраля скончался после продолжительной и тяжелой болезни статский советник Эме Васильевич Керков, о чем жена и дети покойного с душевным прискорбием извещают родных и знакомых. Отпевание имеет быть 2 марта, в 2 ? часа дня, в реформаторской церкви, что в Трехсвятительском переулке, а погребение на Введенском кладбище. «Московские Ведомости», 1894, № 59». КИЛЕВЕЙН КАРЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1823 — умер в марте 1894 года в Ново-Александрии) — магистр фармации. Некролог В Ново-Александрии скончался бывший помощник варшавского окружного военно-медицинского инспектора, магистр фармации Карл Александрович Килевейн. Покойный известен своими научными трудами по фармации и ценными судебно-медицинскими, химическими и микроскопическими исследованиями. Умер он на 71 году жизни. «Новое Время», 1894, № 6496». КИТАЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (умер 10 октября 1894 года в Петербурге) — инженер-полковник. Некролог Мы потеряли одного из наших дорогих товарищей-сотрудников «Нового Времени», карандашу которого принадлежали характерные и остроумные revue — карикатуры, печатавшиеся у нас в течение трех лет в иллюстрированном прибавлении к газете. В. Н. Китаев скончался в припадке мгновенного острого помешательства и, притом, совершенно один, не успев никому ни сказать, ни послать последнего прости. В. Н. Китаев получил образование в николаевском инженерном училище, а затем и в Николаевской инженерной академии, где окончил с большим успехом курс, перед самой последней войной. Во время кампании он, главным образом, заведывал переправой наших резервов и подкреплений через Дунай по постоянному мосту и состоял в непосредственном распоряжении генерала Рихтера. По окончании войны, покойный поступил вольнослушателем в Академию Художеств, и здесь за рисунки получил малую серебряную медаль. В числе его художественных работ заслуживает особенного внимания прекрасный большой альбом снимков карандашем с натуры шипкинских позиций, принесенный им в дар в Бозе почивающему Императору Александру II. Затем, будучи прикомандирован к Николаевской инженерной академии в качестве репетитора фортификации В. Н. Китаев составил проект памятников боев минувшей войны и совместно 295 с другими инженерами-товарищами ставил эти памятники на местах бывших сражений. Затем, по окончании этой работы, он состоял преподавателем минного искусства в Николаевском инженерном и Николаевском кавалерийском училищах и везде пользовался глубоким уважением своих сослуживцев и товарищей. Как художника, его

особенно ценили английские журналы, и рисунки его, оплачивавшиеся очень дорого, помещал главным образом Журнал «The Graphic». Покойный прекрасно рисовал лошадей и делал акварельные портреты красивых женщин, при чем эти портреты отличались особенной законченностью отделки. Кроме того, он обладал и сатирическим талантом в карандаше и тем более ценным, что он имел дар схватывать типичные черты разных лиц и делал их даже в изображениях одними штрихами, чрезвычайно похожими на оригиналы. Вообще из В. Н. Китаева мог бы выработаться отличнейший рисовальщик, в которых, к слову сказать, мы так нуждаемся. Но, будучи человеком чрезвычайно скромных привычек и в то же время имея порядочное личное состояние и вполне обходясь заработком, получаемым им за текущий обыденный труд лектора, Китаев всего охотнее писал и рисовал только для одного себя и для своих ближайших приятелей, весьма мало ценил известность и еще менее добивался публичной

славы. Крайне милый, добрый и отзывчивый человек, он при этих качествах умудрялся еще отличаться какой-то странной нелюдимостью и, относясь ко всем предупредительно и сердечно, ни с кем не был особенно дружен и близок. В семействе покойного случаи помешательства бывали и ранее, но угрюмое и угнетенное состояние его духа началось, как нам говорили, по неосторожности одного психиатра, который, встретив покойного в частном обществе, прямо сказал ему, что видит в его лице какую-то роковую несимметрию и что это не предвещает хорошего конца. Доктор оказался правым, хотя, может быть, без такого непрошенного предсказания его правота не оправдалась бы так скоро, и мы не лишились бы так неожиданно талантливого и доброго человека. Жаль, конечно, что в момент его кончины вблизи его не было дружеской руки, которая бы могла и пожелала принести покойному посильную помощь. Но да будет воля Божья и да сохранится на долго в сердцах всех знавших этого даровитого и непритязательного художника и человека вечная, добрая о нем память. В. П. Библиография О нем: «Новое Время», 1894, № 6690. КНОБЛОК (-фон) РОБЕРТ АНДРЕЕВИЧ (умер 8 октября 1894 года) — председатель совета Евангелической больницы, действительный статский советник, доктор медицины. КОЛЮПАНОВ НИЛ ПЕТРОВИЧ (умер 10 июня 1894 года в Костроме) — писатель. Некролог Смерть быстро уносит одного за другим видных деятелей нашей и без того скудной силами литературы. Не успели мы передать печальное известие о внезапной смерти Н. М. Ядринцева, как сегодня приходится сообщать весть о кончине другого известного писателя-публициста и общественного деятеля Нила Петровича Колюпанова. Литературная и общественная деятельность покойного Н. П. началась еще в пятидесятых годах, совпав с началом знаменательного движения в истории нашей жизни и нашей мысли. Его литературные труды стояли в тесной связи с его работой на общественной службе; знание жизни, которое давала ему эта служба, отражалось вполне в его журнальных и газетных статьях, а привычка серьезной литературной работы со своей стороны влияла на широту его общественных взглядов. Н. П. много потрудился при проведении крестьянской реформы и был одним из знатоков крестьянского дела и крестьянской жизни. Он много и с пользой поработал также по одному из самых важных вопросов освобождения России, — по начальному народному образованию. Н. П. Колюпанов был видным и неутомимым деятелем в земстве Костромской губернии; в течение 296 долгих лет и до смерти он состоял предводителем дворянства своего уезда. В 1882 г. он был в числе «сведущих людей», приглашенных для совещаний в Петербург при министерстве гр. Н. П. Игнатьева. Близко зная условия нашей провинциальной жизни, будучи хорошо знаком с особенностями и нуждами крестьянского быта, Н. П. положил много труда на разработку и выяснение в печати многих важных вопросов народной жизни. Человек умный и образованный, он до самого последнего времени продолжал писать в периодических изданиях. В нашей газете был помещен покойным целый ряд статей по вопросам землевладения, крестьянского управления, экономической жизни и пр. За последние годы Н. П. Колюпанов много и серьезно работал над обширной биографией покойного А. И. Кошелева; он успел напечатать три тома ее, но далеко еще не довел ее до конца. В свое время мы имели случай отметить достоинства этого труда. («Русские Ведомости», 1894, № 180). Библиография Его: Ст. в «Русском Вестнике», 1865, кн. 2. Очерк истории русского театра до 1812 года («Русская Мысль», 1889, кн. 5, 7, 8). Неурожай и общинное землевладение («Русские Ведомости», 1892, № 67). Общественная работа в помощь голодающим («Русские Ведомости», 1892, № 100). Чижевские капиталы («Новое Время», 1893, № 6095). Низшие сельско-хозяйственные школы («Русское Обозрение», 1893, кн.

11 и 12; 1894, кн. 4 и 6). Северо-восточные железные дороги («Русские Ведомости», 1894, № 17). Очерк философской системы славянофилов («Русское Обозрение», 1894, кн. 7, 9, 10, 11). Из прошлого, посмертные записки («Русское Обозрение», 1895, кн. 1, 2, 3, 4, 5, 6). О нем: «Русские Ведомости», 1894, № 159, 180 и 181. «Русская Мысль», 1894, кн. 7, отд. II, с. 152. «Вестник Европы», 1894, кн. 8, с. 920—921. «Новое Время», 1894, № 6568. «Исторический Вестник», 1894, кн. 8, с. 559—560. «Русское Обозрение», 1894, кн. 8, с. 832—833. Воспоминания Л. Е. Оболенского («Исторический Вестник», 1902, кн. 2, с. 487—489).

КОРОЛЕВ ФИЛИПП НИКОЛАЕВИЧ (1818—9 ноября 1894 года в Петербурге) — член Совета Министра Земледелия и Государственных Имуществ, тайный советник. Некролог в Петербурге, 9 ноября, скоропостижно скончался от паралича сердца член Совета Министра Земледелия и Государственного Имущества, тайный советник Филипп Николаевич Королев, памятный и в

Москве по своей прежней службе. Покойный родился в 1818 году и высшее образование получил на философском факультете Харьковского университета. По окончании курса кандидатом в 1841 году, он начал свою педагогическую деятельность учителем математики в Харьковской гимназии, а в 1846 году, вслед за получением степени магистра математических наук, был назначен адъюнкт-профессором Горыгорецкого академического института. Там покойный занимался преподаванием до того времени, когда переселился в Москву, где с 29 декабря 1864 года получил место директора 2-й мужской гимназии. Спустя пять лет (1870 г.) ему пришлось занять должность директора Петровской Земледельческой и Лесной Академии, где он и пробыл до 1876 года, до времени своего назначения членом Совета при Министре Государственных Имуществ и позже Земледелия. Из печатных трудов покойного Ф. Н. Королева следует назвать: «Молотилки, веялки, зерночистилки, сортировки и двигатели молотилок: перевод с немецкого сочинения Перельес, с дополнениями» (М. 1864, 140+XVI стр.), «Отчет по отделу машин и орудий Всероссийской сельскохозяйственной выставки» (М. 1871, 152 стр. с таблицами), «Учебник арифметики, преимущественно для сельских и городских общеобразовательных, технических и ремесленных школ». (Спб. 1879, 108 стр.), «Словарь технических терминов» (Спб. 1879), «Руководство к возведению в селах огнестойких зданий» (Спб. 1880, 179 стр. с чертежами), «Чтения в Импер. Вольно-Экономическом Обществе» (Спб. 1881, 109 стр.), «Льноводство, руководство к льновозделыванию, получению 297 льняного волокна и сельскохозяйственной его обработке». (Спб. 1885, 138 стр. 45 чертежей; второе издание: Спб. 1893), «Сельское строительное искусство» (Спб. 1887—1888 годы, два выпуска; второе издание: Спб. 1896, 362 стр.). Названные труды, как и продолжительная литературная деятельность покойного, были направлены преимущественно к улучшению отечественной промышленности и нашего сельского хозяйства, а потому особенно грустно терять в настоящее время таких неутомимых деятелей, каким постоянно являлся Ф. П. Королев. М. М. Д. Д. Языков. «Московские Ведомости», 1894, № 315». Библиография Его: Ст.: Высшее сельскохозяйственное образование в России и за границей («Техническое Обозрение», 1894, № 3 и 4). О нем: «Вестник Европы», 1894, кн. 12, с. 908—909. «Московские Ведомости», 1894, № 315. «Новое Время», 1894, № 6721. «Русские Ведомости», 1894, № 317. Записки Императорского Харьковского Университета, 1895, кн. 1. «Исторический Вестник», 1895, кн. I, с. 339—340.

КРАСНЯНСКИЙ ГАВРИИЛ ДАНИЛОВИЧ (1825—8 декабря 1894 года в Риге) — протоиерей. Сын священника, родился в 1825 году в селе Красном (Боровичского уезда, Новгородской губернии); учился в тамошней семинарии и по окончании курса с 24 февраля 1852 года, приняв священство, был настоятелем при церкви села Рютина (Валдайского уезда), с 1871 — при Новгородском Софийском соборе, с 1877 г. — при Рижском кафедральном соборе и с 1880 г. — протоиереем при Рижской Всехсвятской церкви. Запись Д. Д. Языкова». Библиография Его: Путеводитель к новгородской святыне. Подробный месяцеслов Новгородских Святых Угодников. Сборник слов и поучений. Книжки для религиозно-нравственного чтения. Руководство для сельских пастырей. О нем: «Церковные Ведомости», 1895, № 4, приб., с. 152—153. «Рижские епархиальные Ведомости», 1895, № 1, с. 51—57.

ЛАВРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1830—25 марта 1894 года в Ялте) — генерал-от-инфантерии. Некролог в Ялте скончался, как известил телеграф, генерал-от-инфантерии Александр Иванович Лаврентьев. Покойный в продолжении 20-ти лет, с 1872 года, был главным редактором журнала «Военный Сборник» и газеты «Русский Инвалид», которые до него

редактировались разными лицами. Как деятель, получивший хорошее образование и специальное в Николаевской Академии Генерального штаба, А. И. посвящал редактированию военных периодических изданий массу времени, заботясь путем газеты и журнала познакомить читателей, преимущественно из военного мира, с разными военными усовершенствованиями, с состоянием наших войск и с текущими новостями дня. При нем «Русский Инвалид» сделался специальным органом для военных, в котором печатались приказы и распоряжения военного министерства. «Литературные приложения» к «Русскому Инвалиду» исчезли еще при предшественнике покойного. Перу генерала Лаврентьева принадлежало много специально-военных статей. Среди военных писателей он пользовался известностью своими обстоятельными и подробными военно-статистическими работами. Как редактор, А. И. умел ладить со своими сотрудниками, обогатил состав их новыми силами и пользовался среди своих со товарищей по занятию большим

уважением. Помимо редактирования журнала и газеты, покойный был членом военно-ученого комитета Главного Штаба. По окончании курса в первом кадетском корпусе, он служил во 2-й кирасирской дивизии, затем состоял для особых поручений при Генеральном штабе, при главном управлении Генерального штаба и при Главном Штабе. Умер он на 64-м году. Новое Время», 1824, № 6493». 298 Библиография О нем: «Новое Время», 1894, № 6493. «Исторический Вестник», 1894, кн. 5, с. 588. ЛАНГЕ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1820 — 15 июля 1894 года в Петербурге) — сенатор. Некролог Сенатор, присутствовавший в межевом департаменте Правительствующего Сената, Николай Иванович Ланге скончался вчера, 15-го июля. По окончании курса в университете св. Владимира со степенью кандидата прав, покойный начал свою служебную карьеру учителем уездного училища, но вскоре перешел в министерство юстиции. Здесь он обратил на себя внимание своими основательными юридическими познаниями и энергичной деятельностью. Когда началось преобразование суда в 60-х годах, он принимал деятельное участие в судебных реформах, был одним из первых прокуроров с.-петербургского окружного суда и членов с.-петербургской судебной палаты. Сенатором назначен в 1877 г. Досуги своей служебной деятельности покойный посвящал изучению русских юридических древностей. Ему принадлежит несколько ценных ученых трудов. Академия наук присудила Н. И. Ланге за обстоятельный разбор «Русской правды» уваровскую премию; его исследование «Древнего русского уголовного судопроизводства», изданное отдельной книгой в 1884 г., выяснило многие темные стороны суда XIV — XVII веков. Из других многочисленных работ покойного назовем статью «О покушении на преступление по делам печати» («Журнал Министерства Юстиции», 1868). Умер Н. И. после продолжительной болезни, 74 лет от роду, оставив по себе память честного, неутомимого труженика и доброго человека. Новое Время», 1894, № 6602». Библиография Его: Ст. «Америка» («Библиотека для Чтения», 1855, т. 129, кн. II, отд. III, с. 107 — 142; т. 130, кн. 3, отд. III, с. 143 — 163). О нем: «Новое Время», 1894, № 6602. «Исторический Вестник», 1894, кн. 9, с. 899. ЛЕВЕНСОН ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ (умер 3 января 1894 года). Библиография О нем: «Исторический Вестник», 1894, кн. 4, с. 303 Словарь Брокгауза и Ефрона, 1896, т. XVII, с. 432. ЛИЗАНДЕР (-фон) ДМИТРИЙ КАРЛОВИЧ (1824 — 13 апреля 1894 года в Москве) — поэт. Некролог Сегодня, после отпевания в церкви Св. Николая, что в Хлынове, близ Большой Никитской, погребен на Ваганьковском кладбище Дмитрий Карлович фон-Лизандер, умерший в Москве 13 апреля. Покойный принадлежал к числу старейших воспитанников Московского Университета, где окончил курс на юридическом факультете, с званием действительного студента, в 1843 году. Но. кроме того, он справедливо считался одним из давнишних русских писателей. Еще находясь на втором курсе. Дмитрий Карлович издал поэму, в двух частях, под заглавием: «Запорожцы» (М. 1840 года). Затем, также студентом, в 1842 году, он выступил на страницах «Библиотеки для Чтения» с несколькими стихотворениями, как, например; «Воспоминание» (1842 года. кн. 6), «Две ночи» (кн. 8), «Повесть сердца» (1843 года, кн. 4) и многими другими. Уже через два года эти ранние плоды поэзии были напечатаны отдельно, под простым заглавием «Стихотворения Д. фон-Лизандера» (М., 1845), а позже новые произведения, именно сорок пять сонетов, вышли под названием: «Лучи и тени» (М., 1859). Наконец, все реже печатая в периодических изданиях, но продолжая писать, покойный незадолго до смерти выпустил последний сборник своих стихов, с оригинальным заголовком: «Перед закатом» (М., 1892, 180 стр). Д. Д. Д. Языков. «Московские Ведомости», 1894, № 105». 299 Библиография Его: Стихотворение «Покойник» (Равт, М., 1852,

с. 317—320). «Сонет» из Данта (Раут, М., 1854, с. 83—84). Стихотворение «Зимнее утро в деревне» (там же, с. 162—163). О нем: «Московские Ведомости», 1894, № 105. «Новое Время», 1894, № 6516. «Исторический Вестник», 1894, кн. 6, с. 873. См.: Переписка Грота с Плетневым (по указателю), т. I, с. 242; т. II, с. 7, 10, 11, 18. **ЛОПУШИНСКИЙ КОНСТАНТИН ОСИПОВИЧ** (1816—29 ноября 1894 года в имении Белоручье, Минской губернии) — тайный советник. Некролог Сего 29-го ноября скончался в своем имении Белоручье, Минской губернии, бывший главный врач С.-Петербургской Александровской больницы, тайный советник Константин Осипович Лопушинский, 78 лет от роду, после непродолжительной болезни. Белоручье, 29-го ноября 1894 г. Жена и сестра покойного. («Новое Время», 1894 г., № 6748). Библиография О нем: Змеев Л. Ф. Русские врачи-писатели, вып. IV, с. 202. **ЛЬВОВСКИЙ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ** (1830—5 октября 1894 года в местечке Ленкоу, в Бессарабской

области) — духовный композитор. Сын сельского причетника, родился в 1830 году в Бессарабии; учился в Кишиневской семинарии и в Придворной капелле, где окончил курс в 1854 г., затем — регент архиерейского хора в Кишиневе, с 1856 г. — управляющий хором Александро-Невских архиерейских певчих в Петербурге до 1893 года, когда вышел в отставку. Запись Д. Д. Языкова. Библиография О нем: «Церковные Ведомости», 1894, № 42, прб., с. 1515. **МАКАРИЙ** (в мире **НИКОЛАЙ МИРОЛЮБОВ**, 1817—24 декабря 1894 года в Нижнем Новгороде) — архиепископ. Некролог Утром 24 декабря, накануне праздника Рождества, в Нижнем Новгороде скончался бывший Донской и Новочеркасский архиепископ Макарий, принадлежавший к числу старейших русских иерархов и известный, как неутомимый исследователь церковной археологии. Почивший архипастырь (в мире Николай Миролубов) родился в 1817 году, в Рязанской губернии и сначала воспитывался в тамошней духовной семинарии. Для довершения образования он поступил в Московскую Духовную Академию, где и окончил курс в 1842 году со степенью магистра богословия. Его магистерская диссертация появилась в печати позднее, под заглавием: «Примеры благочестия среди соблазнов или поведение древних христиан в отношении к язычникам» (Спб. 1857). По выпуску из Академии, пред будущим архипастырем открылось духовно-педагогическое поприще, на котором ему пришлось подвизаться в течение почти четверти века: сначала он состоял преподавателем в Нижегородской семинарии (с 28 сентября 1842 года), где скоро принял и монашество (1846), затем назначен инспектором Пермской семинарии (1851) и возведен в сан архимандрита (1854), наконец — определен ректором Рязанской (1858—1860) и Новгородской семинарии (1860—1866 г.). Эта продолжительная педагогическая деятельность, соединенная с длинной вереницей учено-литературных трудов, выдвинула почившего на новый важный пост — святительского служения православной церкви в нескольких епархиях России. Хиротонисанный во епископа Балахнинского (17 июля 1866 года), он сначала состоял викарием Нижегородской епархии (1866/1867 гг.), потом — епископом Орловским и Севским (1867—1876 гг.), Архангельским и Холмогорским (1876—1879 гг.), Нижегородским и Арзамасским (1879—1885 гг.), Вятским и Слободским (1885—1887 гг.), наконец — архиепископом Донским и 300 Новочеркасским (с 5 декабря 1887 г.). Лишь 30 апреля нынешнего года им было испрошено увольнение на покой по болезни и получено дозволение жить в Нижнем Новгороде, где началось его служение и где теперь ему пришлось сойти в могилу. С именем почившего архиепископа Макария уже давно соединялось воспоминание о многих и разнообразных сочинениях в области духовной литературы. Прежде всего, ему принадлежал длинный ряд проповедей, изданных под следующими заглавиями: «Поучительные слова» (Спб. 1855 г.), «Краткие поучения о подражании Иисусу Христу» (Орел, 1870 г.), «Слова и речи к Орловской пастве» (Орел, 1870 г. и 1873 г.; Москва, 1879 г., три выпуска), «Слова и речи к Архангельской пастве» (Москва, 1879 г.), «Слова и речи, произнесенные в 1879—1881 годах» (Москва, 1883 г.) и «Слова и речи к Донской пастве» (Новочеркасск, 1891 г.). Все эти поучения, проникнутые теплым чувством и полные глубоких мыслей, считаются лучшими образцами православной церковной проповеди. Затем из-под пера почившего, кроме названной магистерской диссертации, вышли два обширные «Объяснения посланий апостола Павла к Филиппийцам и Колоссянам» (Орел, 1869 и 1870 гг.) и такие статьи, как, например: «Учреждение царской власти в народе Божьем», «Понятие древних язычников о состоянии душ в будущей жизни» и «О причинах произведших реформацию», — все помещенные в «Страннике» (1868 г., кн. 8—11). Но более всего покойный архиепископ был предан исследованиям по истории и археологии Русской Православной Церкви. Трудно

перечислить все такие статьи и заметки, помещенные им как в духовных, так и светских журналах. Остается назвать лишь следующие главные и притом отдельно изданные историко-археологические труды почившего: «Описание Богородицкого Оранского монастыря» (М., 1848 г.), «Архиепископ Питирим» (М., 1851 г.), «Жизнь Нижегородского архиепископа Иакова» (М., 1853 и Спб. 1857 г., два издания), «Св. Стефан, епископ Пермский» (Спб. 1856 г.), «История Нижегородской епархии» (Спб. 1857 г. 247 стр.), «Св. Симеон, Верхотурский чудотворец» (Спб. 1857 г.), «Преподобный Макарий Желтоводский» (Спб. 1857 г., две части), «Митрополит С.-Петербургский Гавриил» (Спб. 1857 г.), «Археологическое описание церковных древностей в Новгороде к его окрестностям» (М., 1860 г., две части), «Путеводитель по Новгороду» (Спб. 1861 г.), «Св. Василий, епископ Рязанский» (М., 1861 г.), «Описание Новгородского Юрьева монастыря» (М., 1862 г.), «Историко-статистическое описание Рязанской семинарии» (Новгород, 1864 г.), «Церковно-историческое и статистическое описание Старой Русы» (Новгород, 1866 г.) и др. Мало того: архиепископ Макарий, кроме исследования церковных древностей занимался историко-географическим изучением некоторых русских городов, как показывают его следующие труды: «Описание Шадринска» («Вестник Императорского Русского Географического Общества», 1853 г., кн. 5), «Описание Верхотурья» («Сборник Географического Общества»), «Город Семенов. Нижегородской губернии» («Вестник Императорского Географического Общества», 1858 г., кн. II), «Материалы для географии и статистики Нижегородской губернии» («Сборник Статистических Сведений», 1858 г.). Все названные труды доставили почившему архиепископу звания действительного члена Общества Истории в Москве и почетного члена Императорского Русского Археологического Общества (с декабря 1892 года). Д. Я. Д. Д. Языков. «Московские Ведомости», 1894, № 355. Библиография Его: «Письмо» к епископу Леониду (Краснопевкову), от 2 февраля 1873 г. (Шукинский Сборник. М., 1902, вып. 1, с. 339—340). «Акафист Антонию Римлянину» (1868 г.) — («Богословский Вестник», 1914, кн. 1, с. 134—135). О нем: «Московские Ведомости», 1894, № 355. «Новое Время», 1894, № 6765. «Московские Церковные Ведомости», 1895, № 1, с. 7—8. «Церковные Ведомости», 1895, № 4, прб., с. 150—151. 301 «Нижегородские епархиальные Ведомости», 1895, № 7, 8 и 10. «Епархиальные Ведомости»: Нижегородские, 1895, № 1, 2, 4—8 и 10; Новгородские, 1895, № 2; Орловские, 1895, № 1. «Русское Слово», 1895, № 31. «Воспоминание о жизни его в Вятке» — статья г-жи Спасской (Труды Вятской Ученой Архивной Комиссии, 1906, вып. V). «Русская Старина», 1899, кн. 6, с. 619—626 (с портретом). «Церковный Вестник», № 1, с. 26—27. МАНН ИПОЛИТ АЛЕКСАНДРОВИЧ (умер 10 декабря 1894 года в Петербурге) — драматург. Некролог 10-го декабря скончался известный драматург Ипполит Александрович Манн. Покойный, несмотря на обязанности государственной службы, находил возможным уделять очень много времени театру. Он весьма долго состоял членом литературно-театрального комитета и написал и поставил три больших пьесы, которые имели огромный успех. Пьесы эти: «Паутина» (1861 г.), «Говоруны» (1868 г.) и «Общее благо» (1869 г.). Затем в деятельности Ип. Ал. последовал перерыв и последние две пьесы: «Прелестная незнакомка» и «Наши пятницы» никакого серьезного значения не имеют, хотя бойки и сценичны. В своих больших комедиях Манн затрагивал наши больные места. Так, в «Паутине» он талантливо очертил бомонд провинциального города с его сплетнями; в «Говорунах» коснулся фразерства, этой модной болезни административных кружков конца шестидесятых годов, а в «Общем благе» дал нам историю губернского туза, заботящегося об общем благе, и запускающего свои руки в казенный сундук. До появления своего в качестве драматурга И. А. Манн был известен как музыкальный критик. Новое Время», 1894, № 6750». Библиография О нем: «Московские Ведомости», 1894, № 343. «Новое Время», 1894, № 6750. «Исторический Вестник», 1894, кн. 3, с. 673—674; 1895, кн. 2, с. 683. Ежегодник Императорских театров, сезон 1894—1895 гг., с. 406—407. МАНЫКИН-НЕВСТРУЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (умер 27 декабря 1894 года в Москве) — начальник 3-й гренадерской дивизии, генерал-лейтенант. Некролог Скончавшийся 27 декабря начальник 3-й гренадерской дивизии генерал-лейтенант Александр Иванович Манькин-Невструев принадлежал к числу видных боевых генералов, выдвинутых последней Русско-Турецкой войной. В лице покойного военная семья понесла тяжелую утрату. А. И. Манькин-Невструев происходил из дворян Орловской губернии; получил образование сначала в кадетском корпусе, затем в Лвовском полку (Константиновском военном училище) и окончил курс в

Николаевской Академии Генерального штаба по первому разряду. Служебная деятельность покойного началась в 1852 году в лейб-гвардии Литовском полку. По окончании курса в Академии, молодой офицер был назначен в Кавказскую армию, где оставался довольно продолжительное время. Здесь он служил некоторое время в 16 гренадерском Мингрельском полку, состоял для особых поручений при штабах войск Терской и Кубанской областей и старшим адъютантом в тех же штабах. Во время службы на Кавказе покойному пришлось принимать участие в действиях против горцев и за отличие в них был произведен в подполковники. В последствии А. И. Манькин-Невструев состоял помощником начальника штаба войска Кубанской области. В 1871 году состоялось назначение его на должность начальника штаба 3-й пехотной дивизии, а через год он был назначен помощником начальника штаба Восточно-Сибирского военного округа. В 1875 году покойный был произведен в генерал-майоры. В Сибири А. И. Манькин-Невструев имел несколько командировок, во время которых имел возможность близко познакомиться с населением края и его особенностями. Между прочим, ему пришлось исполнить одно поручение по гражданской части, касающееся колонизации Южно-Уссурийского края. В Сибири деятельность покойного продолжалась до 24 февраля 1877 года, когда он был назначен начальником штаба гренадерского корпуса. Генералу А. И. Манькину-Невструеву пришлось принимать участие в Русско-Турецкой кампании. Покойный находился в составе Плевненского отряда обложения под начальством князя Карла Румынского со 2 по 28 ноября, то есть по день взятия гренадерами Плевны. Он участвовал в перестрелке наших передовых частей с турками 26 ноября и в последнем Плевненском бою и взятии Осман-паши в Высочайшем Государя Императора присутствии. При дальнейшем ходе военных действий генерал А. И. Манькин-Невструев перешел Балканы и доходил с войсками до Адрианополя. За участие в сражении под Плевной 28 ноября 1878 года покойный был награжден золотым оружием с надписью «за храбрость»; кроме того, за отличное мужество и храбрость, оказанную в делах с турками, ему был пожалован орден св. Владимира 3-й степени с мечами. Начальником штаба гренадерского корпуса покойный состоял до 16 октября 1889 года, когда был назначен начальником штаба войск Казанского военного округа; благоволение за свои заслуги и имел ордена: Белого Орла, Св. Владимира 3 ст., Св. Анны 1 ст., Св. Станислава 1-й ст. и другие, а также, не считая золотого оружия, много медалей в память тех кампаний, в которых участвовал. Из иностранных знаков отличия имел: румынский Железный Крест и черногорский орден Даниила 2-й степени. Л. Московские Ведомости», 1894, № 356». Библиография О нем: «Московские Ведомости», 1894, № 356, 357; 1895, № 3. «Новое Время», 1894, № 6766. «Русское Обозрение», 1895, кн. 1, с. 405—408. «Русское Слово», 1895, № 4.

МАРТЫНОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ (1822—26 апреля 1894 года в Канне, во Франции). Родился в 1822 году, сын обер-офицера, учился в Гатчинском воспитательном доме (с 1827 по 1839 гг.) и на первом отделении философского факультета по разряду общей словесности, в С.-Петербургском университете (1839—1843 гг.); удостоенный золотой медали за отличие по кафедре законов о Государственных повинностях и финансах (1843 г.), он был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по части греческой и латинской словесности, а также был предназначен к отправке за границу за казенный счет, но все эти предположения не состоялись: с 5 февраля 1845 года он поступил к графу Григорию Петровичу Шувалову в качестве домашнего наставника, а затем эмигрировал во Францию и принял католицизм вместе с поступлением в иезуитский орден... Запись Д. Д. Языкова. Библиография Его: «Письмо к А. М. Чезену» от 5/17 июня 1882 г. (Шукинский Сборник. М., 1906, вып. V, с. 499—501). «Письмо к И. С. Аксакову» («Русское Обозрение», 1897, кн. 8, с. 499—508). О нем: Словарь Брокгауза и Ефрона 1896, т. XVIII, с. 71—72; дополнительный третий том. СПб., 1906, с. 146 (с ошибкой в отчестве). «Исторический Вестник», 1896, кн. 10, с. 356—357. С.-Петербургский Университет В. В. Григорьева. СПб., 1870, с. LXXX и XL. «Исторический Вестник», 1899, кн. 3.

МАСЛОВСКИЙ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ (20 сентября 1848—3 ноября 1894 года в Петербурге) — профессор кафедры истории русского военного искусства Николаевской Академии Генерального штаба. Некролог Русская военная наука потеряла лучшего своего представителя в лице Дмитрия Федоровича Масловского, скончавшегося 3 ноября в Петербурге. Покойный родился 20 сентября 1848 года; получил воспитание в 1-й Петербургской гимназии (ныне корпус) и Павловском военном училище. Выпущенный в

Историко-русской гимназии (ныне корпус) и Павловском восточном училище. Выпущенный в офицеры, он немного времени провел в строевой службе и поступил в Николаевскую Академию Генерального штаба, где окончил курс и затем состоял профессором по кафедре истории военного искусства. В течение десяти лет из-под пера Д. Ф. Масловского появилась длинная вереница трудов, из которых особенное внимание обратили следующие важные работы: «Строевая и полевая служба русских войск времен Императора Петра Великого и Императрицы Елизаветы» (М., 1883, 199 стр. с таблицами и картой), «Русская армия в Семилетнюю войну», выпуск первый: «Поход Апраксина в Восточную Пруссию» (М., 1886, 332+288 стр. с чертежами); выпуск второй: «Поход графа Фермора в восточные области Пруссии» (М., 1888, 434+328 стр. с картами и планами), «Русско-австрийский союз 1755 года» (М., 1887, 258 стр.), «Атака Гданска фельдмаршалом графом Минихом», 1734 года (М., 1888, XXVI+268 стр.), «Материалы к истории военного искусства в России» (Чтения в Императорском Обществе

Истории и Древностей, 1889, кн. 3; 1890, кн. 2; 1891 кн. 4), «Записки по истории военного искусства в России» (СПб., 1891, 356 стр), «Ставучанский поход, 1739 года» (СПб., 1892, III+212 стр). Все названные исследования отличались тщательным изучением архивных источников и сообщением впервые найденных материалов, которые проливали новый свет на многие исторические факты. За эти достоинства своих трудов автор был избран в действительные члены Императорского Общества Истории и Древностей в Москве. Д. Я. Д. Д. Языков. «Московские Ведомости», 1894, № 306». Библиография Его: Записки по истории военного искусства в России. Царствование Екатерины Великой. 1762—1794 годы. (СПб., 1894, XII, VI и 507 с. с особым атласом чертежей и планов). Примеч. и прилож. к «Запискам по истории военного искусства в России» (СПб., 1894, I—I. VIII, 35 и 10 с.). О нем: «Московские Ведомости», 1891, № 298; 1894, № 306. «Новое Время», 1894, № 6713. МЕЖОВ ВЛАДИМИР ИЗМАЙЛОВИЧ (17 мая 1831 г. — 18 мая 1894 г. в Петербурге) — библиограф. Некролог В ночь на 18 мая скончался от разрыва сердца один из достойнейших и лучших русских библиографов Владимир Измайлович Межов, издавший в продолжении своей сорокалетней литературной деятельности сотни томов книг справочного библиографического характера. Его кропотливые продолжительные труды в этом отношении представляют большую ценность для русской литературы. Нет той отрасли знания, литература которой была бы чужда покойному и не приведена им в систему. Он работал без устали, с замечательным терпением классифицируя как отдельно появляющиеся в печати сочинения, так и разнообразные статьи, напечатанные в периодических изданиях. Редкий образованный деятель не знаком с его трудами, которые создали ему имя и были распространителями его известности. «Крестьянский вопрос в России», «Русская историческая библиография», «Библиография по русской словесности», «Туркестанский сборник», «Сибирская библиография» являются главными трудами Межова, составившего, кроме того, массу разнообразных справочных указателей (по географии, этнографии и статистике — 9 томов; по педагогике — 3 тома и др.). Покойный родился 17 мая 1831 года в Саратове, воспитывался в Гатчинском сиротском институте, где кончил курс в 1851 году. Спустя год, он поступил на службу в Императорскую публичную библиотеку. Здесь прослужил 14 лет и впервые посвятил свои силы избранной по собственному призванию работе. Богатство публичной библиотеки, с одной стороны, почти полное отсутствие в 60-х годах справочных книг — с другой, вызвало у покойного желание быть полезным деятелем родины и пополнить значительный пробел русской библиографии, которая до появления В. И-ча в литературе, можно сказать, влачила свое бедное существование. Первым библиографическим трудом Межова был список периодических изданий, выходивших в России, помещенный 304 в «Библиографических Записках» в ответ на такой же список г. Галанина. Этот точный прекрасно систематизированный список обратил внимание на молодого библиографа, и он получил приглашение от книгопродавцов гг. Базунова, Исакова, Глазунова и других составлять каталоги. Затем с каждым годом Межов завоевывал себе все более и более почетное место в русской библиографии, которая потеряла в нем своего замечательного представителя. Умер он 63-х лет, не прекращая почти до последней минуты жизни своей полезной работы. В последнее время В. И. составлял «Русскую историческую библиографию», три тома которой напечатаны, а четвертый покойному не пришлось кончить. («Новое Время», 1894, № 6545). Библиография Его: «Библиографические листки», приложение к «Отечественным Запискам» (1856 г., 312+XXVII с; 1857 г., 314+VII с.) Разбор «Каталога Тифлисской Библиотеки» («Книжный Вестник» 1862 № 11) Поправки к ст

разбор «Каталога Тифлисской Библиотеки» («Книжный Вестник», 1862, № 11). Поправки к С. Ф. Леонтовича: «Указатель источников и исследований по истории славянских законодательств» (Журнал Министерства Народного Просвещения, 1868, ч. СХХХVII, кн. 3). Библиографическая проделка («Голос», 1865, № 155 и 176). Разбор «Русской Исторической Библиографии», П. и Н. Ламбиных («Женский Вестник», 1867, № 9, с. 33—43). О составлении общего библиографического указателя русской повременной литературы («Русская Старина 1871 г.», кн. 10, с. 449—451). Письмо по поводу издания каталога («Российская Библиография», 1881, № 79). Практические советы начинающим заниматься библиографией («Российская Библиография», 1881, № 99, с. 540—546; отдельно: СПб., 1881, 31 с). О басне: «Обед у Медведя» («Библиограф», 1885, № 2). К биографии А. С. Пушкина («Библиограф», 1887, № 3 и 6—7). К истории составления библиографических указателей к русским периодическим изданиям прошедшего времени («Библиограф», 1887, № 4—5). Воспоминание о З. М. Пенкиной (Триполитовой), первой женщине-библиографе («Библиограф», 1888, № 4). К библиографии об А. Н. Серове («Библиограф», 1889, № 12). «Rossica» Bibliographie des livres et des articles, concernant la Russie (Приложение к «Библиографу» за 1888 год, № 7—8, и за 1889 год, № 11—12). Ядовитые свойства табака и губительное влияние их на человеческий организм (СПб., 1871 и 1880 гг., два издания). О нем: «Русские Ведомости», 1894, № 139. «Книговедение», 1894, № 6. «Новое Время», 1894, № 6545 и 6547. Брошюра Н. М. Лисовского: В. И. Межов (с портретом. СПб., 1894, 20 с.) «Исторический Вестник», 1894, кн. 7, с. 174—181. «Русское Обозрение», 1895, кн. 10, с. 821—825. «Исторический Вестник», 1900, кн. 2, с. 866. МЕЙКОВ ОТТОМАР ФРИДРИХОВИЧ (1823—6 февраля 1894 года в Юрьеве) — бывший ректор Юрьевского университета, тайный советник, заслуженный ординарный профессор римского права. Некролог На днях скончался в Юрьеве бывший ректор Юрьевского университета, тайный советник, заслуженный ординарный профессор римского права, Оттомар Фридрихович Мейков. Покойный начал свою служебную деятельность при Сенате, по департаменту, ведавшему прибалтийские дела, затем перешел в Императорский Казанский университет, откуда переселился в Юрьев, на свою родину, и здесь занимал кафедру римского права до своей отставки, последовавшей в 1892 году. Покойный считался большим знатоком римского права. По свидетельству лиц, хорошо знавших покойного, вновь прибывавшие в Юрьев русские профессора всегда находили в нем разумного советника и энергичную поддержку во всех начинаниях. Новое Время», 1894, № 6452>. Библиография О нем: «Московские Ведомости», 1894, № 46. «Новое Время», 1894, № 6452. МЕРЦАЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (умер в феврале 1894 года в Кронштадте) — доктор, тайный советник. 305 Некролог На днях скончался доктор, тайн. сов. Дмитрий Васильевич Мерцалов. Покойный, по окончании курса на медицинском факультете Казанского университета, служил более 40 лет во флоте и совершил несколько кругосветных плаваний. В 60-х годах он занимал должность начальника медицинской части с.-петербургского порта и в последнее время был главным доктором Кронштадтского морского госпиталя и начальником медицинской части кронштадтского порта. Покойному принадлежит несколько медицинских исследований, из которых особенного внимания заслуживает «Опыт гигиенической лоции для судов, отправляющихся в кругосветное плавание». Новое Время», 1894, № 6456>. МЕЦ ГЕОРГИЙ ФАДДЕЕВИЧ (умер 13 июля 1894 года на станции Удельной под Петербургом) — старший врач лейб-гвардии Преображенского полка, доктор медицины, действительный статский советник. Некролог Вчера, 17-го июля, на кладбище Александро-Невской лавры опустили в могилу прах скончавшегося на днях старшего врача лейб-гвардии Преображенского полка, доктора медицины, дейст. ст. сов. Георгия Фаддеевича Меца. На заупокойной литургии и отпевании в Преображенском всей гвардии соборе присутствовали все офицеры полка, представители военно-медицинского мира и многочисленные знакомые покойного. Г. Ф. Мец пользовался уважением и широкой известностью не только в военно-медицинском мире, но и вообще в Петербурге, где он имел обширную практику. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. застала Г. Ф. в должности старшего врача лейб-гв. Семеновского полка, с которым он совершил все кампании, участвуя во многих сражениях. За бой под Горным Дубняком Г. Ф. награжден орденом св. Анны 2-й степени с мечами. По окончании войны, с 1882 г. по 1889 г. вся служебная деятельность покойного проходит в различных комиссиях: по выработке правил дезинфекции крепостей в России, на случай обложения их неприятелем, в комиссии по пересмотру действующих правил и форм отчетности по военно-медицинскому ведомству и в других. В 1880

действовавших правил и форм отчетности по военно-медицинскому ведомству и в других. В 1887 г. Г. Ф. назначен старшим врачом лейб.-гв. Преображенского полка. В этой должности покойный был произведен в чин действ. ст. сов. и неоднократно исполнял обязанности корпусного врача гвардейского корпуса. Новое Время», 1894, № 6604». Библиография Его: Диссертация «О возвратной горячке», 1870. Межов Вл. И. Каталог. МИДДЕНДОРФ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (8 августа 1815—16 января 1894 года близ Риги) — ординарный академик Академии Наук. Некролог Наука в России понесла заметную утрату в лице скончавшегося близ Риги, 16-го января, ординарного академика Академии Наук, Александра Федоровича Миддендорфа. Сын лифляндского помещика, лютеранского исповедания, А. Ф. родился 8-го августа 1815 г. В 1839 г. Миддендорф был определен адъюнктом по кафедре зоологии в университете св. Владимира; в следующем году ему предложили участвовать в экспедиции Бэра в Лапландию. Во время этой экспедиции А. Ф. собрал не только материал для географического распределения птиц, встречаемых в Лапландии, но и указал на весьма интересные геогностическо-геологические особенности этой местности. По возвращении из следующей своей экспедиции в Сибирь, он был избран в члены Академии Наук и принялся ревностно за разработку привезенных им коллекций. В 1855 г., Миддендорф был избран непрременным секретарем Академии Наук, но в 1857 г. отказался от этой должности и с Высочайшего разрешения воспользовался правом, в звании академика, жить в своем имении в Лифляндии. В истории Вольного экономического общества имя А. Ф. Миддендорфа тоже

Альбом фотографий из архива канцлера А. М. Горчакова

Альбом фотографий из архива канцлера А. М. Горчакова / Публ., [вступ. ст. и примеч.] Л. И. Тютюнник // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 319—324. — [Т.] I.

Вниманию читателя предлагается первая комплексная публикация альбома фотографий из фонда выдающегося государственного деятеля России Александра Михайловича Горчакова (4 июля 1798 — 27 февраля 1883). А. М. Горчаков — представитель древнего русского княжеского рода, идущего от Рюрика, — по происхождению, воспитанию, роду служебной деятельности был близок со многими небезызвестными в русской и мировой истории людьми прошлого века. Он получил блестящее воспитание в Царскосельском лицее, был товарищем Пушкина, посвятившего Александру Михайловичу несколько своих поэтических строк. Отличное образование, талант дипломата, умение быть приятным и остроумным собеседником делали фигуру Горчакова заметной и на международных конгрессах, и в залах царских дворцов, и в великосветских салонах, и в узком кругу царскосельских лицейских друзей. Дипломатическая карьера его блестяще началась в 20-е годы прошлого века. Находясь в течение нескольких десятилетий на дипломатической работе за границей, Горчаков изучил закулисные пружины международной политики, сблизился со многими государственными деятелями Европы, например, с Бисмарком. Горчаков возглавил русскую дипломатию в 1856 г. — в тяжелый для страны период — после поражения в Крымской войне и подписания Парижского трактата. Россия, казалось бы, надолго была отодвинута от активного и влиятельного участия в мировой политике; необходимость осуществления кардинальных внутренних преобразований, связанных, прежде всего, с отменой крепостного права, также требовала сдержанности и большого такта во внешней политике. Прежде всего Горчаков поставил себе задачу добиться отмены унижительных для страны статей Парижского трактата, что в конце концов было достигнуто в 1871 г. на Лондонской конференции, когда России было вновь предоставлено право держать военный флот на Черном море. Понимание Горчаковым условий, в которых оказалась страна, и задач, стоявших перед ней, упрочили его влияние. Оно было закреплено в 1867 г., когда Горчаков был назначен канцлером, продолжая сохранять за собой пост министра иностранных дел. Разумеется, документальные материалы архивного фонда Горчакова и его ближайших родственников, находящиеся на хранении в ЦГАОР, не отражают всего многообразия его деятельности. Хотя здесь мы найдем и заметки об А. С. Пушкине, переписку лицеистов, обширную переписку Горчакова, некоторые его служебные документы. Значительная часть служебной переписки

находится в настоящее время в Архиве внешней политики России. Много личных документов было, очевидно, утрачено в 1917 г. и в первые послереволюционные годы. Об этом свидетельствует сохранившаяся в «деле фонда» переписка.

В фонде хранится богатая иконография — помимо публикуемого, еще 22 альбома с фотографиями членов царствующих династий в России, Европе, Азии, общественных, религиозных и государственных деятелей, представителей литературы и искусства, русской аристократии, членов семьи Горчакова. Наряду с атрибутированными, есть фотографии неустановленных лиц.

В альбоме коричневого кожаного переплета с металлическими накладками собрано 45 фотоportретов семьи Александра II, их родственников и близких*. Часть фотографий была подарена Горчакову императрицей Марией Александровной. Исключение составляют, как можно предположить, лишь фотографии графини Эрбах и принца Баттенбергского, с которыми Горчаков познакомился, очевидно, в Германии. Фотографии, как правило, не датированы, относятся они к концу 60-х — 70-м годам XIX века. Большинство фотографий было атрибутировано, как мы предполагаем, одним из сыновей Горчакова, разбиравшим архив отца после его смерти. Когда в 1925 г. сотрудники Учебного архивно-археологического кабинета Ленинградского государственного университета стали вскрывать и осматривать ящики с архивом Горчакова, они обнаружили, что значительная часть документов и фотографий уже была разобрана, определено авторство писем, в отдельных папках и связках отображены документы по тематическому и хронологическому признакам.

Канцлер князь А. М. Горчаков

В заключение отметим, что подобные публикуемым фотографии можно обнаружить и в архивных фондах лиц, запечатленных на фотоportретах.

Примечания

1 — Император Александр II и императрица Мария Александровна.

На обороте надпись: «Дано Е. В. Императрицей. Июнь 1869». На фр. яз.

Фотография Левицкого.

Александр II, император (1818—1881), старший сын Николая I и императрицы Александры Федоровны; вступил на престол 19 февраля 1855 г. Архивный фонд Александра II: ЦГАОР, ф. 678 (Фотографии № 1, 2, 11, 16, 25, 28, 29, 32, 33).

Мария Александровна, императрица (1824—1880), жена Александра II, урожденная принцесса Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария Гессенская, дочь великого герцога Гессенского Людовика II. Бракосочетание состоялось 16 апреля 1841 г. Мария Александровна занималась организацией женского образования в России, содействовала открытию всесословных женских средних учебных заведений — гимназий. По ее инициативе создавались женские епархиальные училища. Мария Александровна принимала участие в организации Красного Креста, попечительства о слепых. Архивный фонд Марии Александровны: ЦГАОР, ф. 641 (фотографии № 1, 3, 4, 5).

2 — Фотография Левицкого. На лицевой и оборотной сторонах надписей нет.

3 — Фотография Левицкого. На обороте надпись: «Дано Е. В. Императрицей, июнь 1869». На фр. яз.

4 — Фотография Левицкого. На обороте надпись: «Дано Е. В. Императрицей, июнь 1869». На фр. яз.

Мария Александровна изображена с дочерью вел. кн. Марией Александровной (1853—1920). С 1874 г. в браке с Альфредом-Эрнестом-Альбертом Великобританским, герцогом Эдинбургским, позднее герцогом Саксен-Кобург-Готским. (Фотографии № 4, 16, 22, 24, 25, 30, 33).

5 — Фотография Левицкого. На обороте надпись: «Дано Е. В. Императрицей, июнь 1869». На фр. яз.

Мария Александровна изображена с сыновьями.

Вел. кн. Сергей Александрович (1857—1905), четвертый сын Александра II. В 1884 г. бракосочетался с принцессой Гессен-Дармштадтской, получившей после принятия православия имя Елизаветы Федоровны. С 26 февраля 1891 г. Сергей Александрович назначен Московским генерал-губернатором, командующим войсками Московского военного округа. Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 гг., член Государственного Совета, ген.-лейт., ген.-ад. Был одним из организаторов и председателем Православного Палестинского общества. 4 февраля 1905 г. Сергей Александрович был убит в Москве И. П. Каляевым.

Архивный фонд Сергея Александровича: ЦГАОР, ф. 648 (фотографии № 5, 17, 18).

Вел. кн. Павел Александрович (1860—1919), младший сын императора Александра II. С 4 июня 1889 г. состоял в браке с греческой королевой Александрой Георгиевной; впоследствии — в морганатическом браке с княгиней Ольгой Валерияновной Палей (урожд. Карнович). Командир Гвардейского корпуса, ген.-от-инф., почетный председатель Русского общества охраны народного здоровья и покровитель всех поощрительных коннозаводских учреждений в России. 27 января 1919 г. расстрелян в Петропавловской крепости.

Архивный фонд Павла Александровича: ЦГАОР, ф. 644 (фотографии № 5, 17, 18).

6 — Графиня Эрбах-Шёнберг Мария (урожд. Баттенберг). На обороте надпись: «Графиня Erbach. Для князя Горчакова на память о Югенхайме». На фр. яз. Фотография Carl Backofen. Дармштадт.

7 — Владимир Александрович, вел. кн. Вел. кн. Владимир Александрович (1847—1909), третий сын императора Александра II. С 16 августа 1874 г. в браке с Марией Павловной, урожд. герцогиней Мекленбург-Шверинской. Ген.-от-инф., ген.-ад., участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.; с 1884 г. — главнокомандующий войсками Гвардии и Петербургского военного округа, член Государственного Совета, сенатор, президент Академии художеств, почетный член Академии наук и Михайловской артиллерийской академии; председательствовал в Комиссии по пересмотру Учреждения о Императорской фамилии.

Фотография Ch. Bergamasco, Петербург. Архивный фонд Владимира Александровича: ЦГАОР, ф. 652 (фотография № 7).

8 — Король и королева Вюртембергские. На лицевой стороне надпись: «Старики с виллы». На фр. яз.

Король Вюртембергский Карл I (Фридрих-Александр) (1823—1891), сын короля Вюртембергского Вильгельма I. В 1846 г. сочетался браком с дочерью Николая I вел. кн. Ольгой Николаевной. Наследовал престол в 1864 г.

Королева Вюртембергская Ольга Николаевна (1822—1892), вторая дочь императора Николая I. Одним из ее наставников был В. А. Жуковский, с которым она переписывалась. В Вюртемберге Ольга Николаевна покровительствовала благотворительным учреждениям. Брак Ольги Николаевны был бездетным.

(Фотографии № 8, 9).

На фотографии сняты дети вел. кн. Веры Константиновны (1854—1912), дочери вел. кн. Константина Николаевича и Александры Иосифовны, с 1874 г. супруги герцога Евгения Вюртембергского.

Фотография Brandseph. Штутгарт.

9 — Королева Вюртембергская Ольга Николаевна с детьми вел. кн. Веры Константиновны. На лицевой стороне надписи: «Ольга», «я», «Эльза».

Фотография Brandseph. Штутгарт.

10 — Константин Николаевич, вел. кн.

Вел. кн. Константин Николаевич (1827—1892) — второй сын Николая I, крупный государственный деятель эпохи Александра II. С 1853 по 1881 г. возглавлял Морское ведомство, много сил отдал реорганизации и усовершенствованию русского флота; принимал активное участие в разработке крестьянской реформы, в октябре 1860 г. назначен председателем Главного Комитета по крестьянскому делу. С мая 1862 до октября 1863 г. Константин Николаевич был наместником в Царстве Польском. В 1865 г. назначен председателем Государственного Совета.

Архивный фонд Константина Николаевича: ЦГАОР, ф. 722

(Фотографии № 10, 38).

11 — Александр II.

Фотография Левицкого. С.-Петербург.

12 — Михаил Николаевич, вел. кн.

Вел. кн. Михаил Николаевич (1832—1909), четвертый сын императора Николая I. С 1855 г. — член, а с 1881 г. — председатель Государственного Совета, с 1863 по 1881 г. наместник на Кавказе, командующий Кавказской армией, участвовал в Крымской войне, в русско-турецкой войне 1877—1878 гг., был главнокомандующим Кавказской армией, генерал-фельдмаршал. Фотография Ch. Bergamasco. С.-Петербург. Архивный фонд: ЦГАОР, ф. 649.

13 — Ольга Федоровна, вел. кн. На обороте фотографии надпись: «Ольга».

Вел. кн. Ольга Федоровна (1839—1891), урожденная принцесса Цецилия Баденская; в 1857 г. вышла замуж за вел. кн. Михаила Николаевича.

Фотография Ch. Bergamasco. С.-Петербург.

14 — Екатерина Михайловна, вел. кн.

На лицевой стороне фотографии надпись: «С искренними поздравлениями по случаю заключения мира». На фр. яз.

Вел. кн. Екатерина Михайловна (1827—1897), внучка имп. Павла I, дочь вел. кн. Михаила Павловича. В 1851 г. вышла замуж за герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого. С 1847 г. была членом женского Патриотического общества, покровительница учреждений, основанных ее матерью вел. кн. Еленой Павловной.

Место съемки не установлено. Архивный фонд: ЦГАОР, ф. 1054.

15 — Елена Павловна, вел. кн.

Вел. кн. Елена Павловна (1806—1873), урожденная принцесса Фредерика-Шарлотта-Мария Вюртембергская, воспитывалась в Париже, в 1824 г. бракосочеталась с вел. кн. Михаилом Павловичем. Одна из основательниц Крестовоздвиженской общины сестер милосердия и Русского музыкального общества. В ее заведовании с 1828 г. находились Мариинский и Повивальный институты. В 1873 г. было образовано особое ведомство учреждений вел. кн. Елены Павловны, в которое входил ряд благотворительных медицинских и учебных заведений. Выступила с инициативой освобождения крестьян в своем имении Карловка Полтавской губернии; покровительствовала либеральным деятелям Редакционных комиссий, многим русским писателям, художникам, музыкантам.

Фотография Fratelli Vianelli. Венеция. Архивный фонд: ЦГАОР, ф. 647.

16 — Александр II с дочерью вел. кн. Марией Александровной.

Место съемки не установлено.

17 — Сергей и Павел Александровичи, великие князья.

Место съемки не установлено.

18 — То же.

19 — Фотография с портрета императора Николая I.

Николай I (1796—1855), император, сын императора Павла I, вступил на престол в 1825 г.

Фотография Левицкого. С.-Петербург.

20 — Мария Федоровна, вел. кн., будущая императрица, с сыном Николаем.

Мария Федоровна (1847—1928), урожденная София-Фредерика-Дагмара принцесса Датская, дочь короля Датского Христиана IX. В 1866 г. вышла замуж за второго сына Александра II, будущего императора Александра III. Мария Федоровна осуществляла высшее управление учреждениями ведомства императрицы Марии. По ее инициативе возникли Мариинские женские училища для малообеспеченных девушек-горожанок, являвшихся промежуточной ступенью между начальными низшими школами и средними учебными заведениями.

Архивный фонд: ЦГАОР, ф. 642. (Фотографии № 20, 21, 36).

Николай II (1868—1918), император, старший сын Александра III, вступил на престол в 1894 г., в 1894 г. сочетался браком с принцессой Алисой-Викторией-Еленой-Луизой-Беатрисой Гессенской, после принятия православия принявшей имя Александры Федоровны (1872—1918). Расстрелян вместе с семьей в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге.

Архивный фонд: ЦГАОР, ф. 601. (Фотографии № 20, 21).

Фотография Левицкого. С.-Петербург.

21 — Александр Александрович, вел. кн., будущий император, с супругой и сыном. Александр III (1845—1894), вступил на престол в 1881 г.

Фотография Левицкого. С.-Петербург.

(Фотография № 21).

22 — Мария Александровна, вел. кн.

Фотография Левицкого, С.-Петербург.

23 — Герцог Эдинбургский.

Альфред-Эрнест-Альберт Великобританский (р. 1864), герцог Эдинбургский, после смерти отца герцога Саксен-Кобург-Готского наследовал престол; второй сын королевы Великобритании и Ирландии Виктории I. В 1862 г. был избран королем Греции, но отклонил корону. С 1874 г. в браке с вел. кн. Марией Александровной.

Фотография J. Renabert Гавр. (На?vre).
(Фотографии № 23, 31, 33, 34).

24 — Мария Александровна, вел. кн.

На обороте фотографии надпись: «Дано Е. В. Императрицей. Июнь 1869». На фр. яз.

Фотография Левицкого. С.-Петербург.

25 — Александр II с дочерью вел. кн. Марией Александровной.

Фотография Левицкого. С.-Петербург.

26 — Николай Михайлович, вел. кн.

Вел. кн. Николай Михайлович (1859—1919), сын вел. кн. Михаила Николаевича. Окончил Академию Генерального штаба, с 1884 по 1903 г. занимал различные командные должности в армии; историк, занимался изучением эпохи Александра I; председатель Русского Исторического общества. Расстрелян 27 января 1919 г. в Петропавловской крепости.

Фотография Bergamasco. С.-Петербург.

27 — Анастасия Михайловна, вел. кн. (1860—1922), дочь вел. кн. Михаила Николаевича. В 1879 г. вступила в брак с наследным великим герцогом Фридрихом-Францем Мекленбург-Шверинским.

Фотография Bergamasco. С.-Петербург.

28, 29 — Александр II, император.

Фотография Левицкого. С.-Петербург. (1877).

30 — Мария Александровна, вел. кн.

Фотография Bergamasco. С.-Петербург.

31, 34 — Принц Эдинбургский.

Фотография Bergamasco. С.-Петербург.

32 — Александр II.

Фотография D. Downey. Лондон.

33 — Александр II, вел. кн. Мария Александровна, принц Эдинбургский, вел. кн. Алексей

Александрович.

Вел. кн. Алексей Александрович (1850—1908), сын Александра II, с 1881 г. — главный начальник флота и Морского ведомства, ген.-адм.

Архивный фонд: ЦГАОР, ф. 681.

Фотография D. Downey, Лондон.

35 — Александра Иосифовна, вел. кн.

Вел. кн. Александра Иосифовна (1830—1911), дочь герцога Саксен-Альтенбургского Иосифа; в 1848 г. бракосочеталась с вел. кн. Константином Николаевичем.

На лицевой стороне фотографии надпись: «Александра. Stuttgart, 1874».

Фотография Левицкого. С.-Петербург.

36 — Мария Федоровна, вел. кн., будущая императрица, с сестрой Александрой-Каролиной-Марией-Шарлоттой-Луизой-Юлией, урожденной принцессой Датской, супругой принца Альберта-Эдуарда Уэльского, старшего сына королевы Виктории I, с 1901 г. — короля Английского Эдуарда VII.

В альбоме ошибочно она названа как «королева Виктория (Английская)». На лицевой стороне фотографии надпись: «Дагмара и Александра».

Фотография Maul C°, Лондон.

37 — Герцог Георг Мекленбург-Стрелицкий.

На лицевой стороне надпись: «Герцог Георг Мекленбургский». На фр. яз.

Георг-Август, герцог Мекленбург-Стрелицкий (1824—1876), ген.-ад., генерал-инспектор стрелковых батальонов, супруг вел. кн. Екатерины Михайловны.

Архивный фонд: ЦГАОР, ф. 694

Фотография Bergamasco. С.-Петербург.

38 — Константин Николаевич, вел. кн.

Фотография Bergamasco. С.-Петербург.

39 — Принц Баттенбергский.

На обороте надпись: «Для кн. Горчакова на память о Югенхайме». На фр. яз.

Фотография Carl Vackofen. Дармштадт.

40 — Елена, принцесса Мекленбург-Стрелицкая.

Фотография Левицкого. С.-Петербург.

41 — Принц Ольденбургский Петр Георгиевич (1812—1881), ген.-от-инф., член Государственного Совета, председатель Департамента гражданских и духовных дел, главноуправляющий IV отделением с. е. и. в. канцелярии, главный начальник женских учебных заведений ведомства императрицы Марии.

Архивный фонд: ЦГАОР, ф. 1020.

Фотография Bergamasco. С.-Петербург.

42 — Михаил Михайлович, вел. кн. (1861—1929), сын вел. кн. Михаила Николаевича состоял в браке с графиней Софьей Николаевной Меренберг.

Архивный фонд: ЦГАОР, ф. 667.

Фотография Bergamasco. С.-Петербург.

43 — Георгий Михайлович, вел. кн. (1863—1919), сын вел. кн. Михаила Николаевича, ген.-от-инф., управляющий Русским музеем, нумизмат. Расстрелян 27 января 1919 г. в Петропавловской крепости.

Фотография Bergamasco. С.-Петербург.

44 — Алексей Михайлович, вел. кн. (1875—1895), сын вел. кн. Михаила Николаевича.

Фотография Bergamasco, С.-Петербург.

45 — Сергей Михайлович, вел. кн. (1865—1918), сын вел. кн. Михаила Николаевича, инспектор полевой артиллерии. Убит 20 мая 1918 г. в Алапаевске.

Фотография Bergamasco. С.-Петербург.

Публикация Л. И. ТЮТЮННИК

Андрей Белый. Африканский дневник 1911 г.

Белый А. Африканский дневник / Публ. текста С. Воронина // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 330—454. — [Т.] I.

«Африканский дневник» воспроизводится полностью впервые по оттиску гранок, хранящихся в фонде Андрея Белого в ЦГАЛИ (ф. 53, оп. 1, ед. хр. 15). Текст печатается по современной орфографии с учетом особенностей стиля автора.

Публикация текста С. ВОРОНИНА

Андрей Белый

«Африканский дневник»

«Африканский дневник» писался как вторая часть «Путевых заметок» (первая и наименее удачная часть вышла под заглавием «Офейра» в «Книгоиздательстве писателей» в Москве в 1922 году и под заглавием «Путевые заметки» в издательстве «Геликон» в Берлине); банкротство книгоиздательства «Геликон», его закрытие, застало в наборе вторую часть «Путевых заметок». Гранки автор взял себе.

Эту часть автор считает за ненапечатанную и очень удачную свою книгу.

Но ему надоело ждать, когда предпримется новое издание 2-х томов. И он, желая сохранить рукопись-уникум, предпочитает отдать в архив, чем подвергать случайностям хранения у себя.

Здесь 120 гранок.

Андрей Белый

Вместо предисловия

Цель этой книги дать несколько картинок из жизни и быта огромного африканского континента, которого жизнь я подслушивал из всего двух-трех пунктов; и, как мне кажется, — все же подслушал я кое-что. Пребывание в тихой арабской деревне, в Радесе мне было огромнейшим откровением, расширяющим горизонты; отсюда я мысленно путешествовал в недра Африки, в глубь столетий, слагавших ее современную жизнь; эту жизнь мы уже чувствуем, тысячи нитей связуют нас с Африкой. Будучи в 1911 году с женою в Тунисии и Египте, все время мы посвящали уразумению картин, встававших перед нами; и, собственно говоря, эта книга не может

быть названа «Путевыми заметками». Это — скорее «Африканский дневник». Вместе с тем эта книга естественно связана с другой моей книгою, изданной в России под названием «Офейра» и изданной в Берлине под названием «Путевые заметки». И тем не менее эта книга самостоятельна: тему «Африка» берет она шире, нежели «Путевые заметки». Как таковую самостоятельную книгу я предлагаю ее вниманию читателя.

Андрей Белый

Культура Тунисии

Тысячу лет развивается культ Магомета в Тунисии; берберы тесно вплелись в мусульманство; читайте историка их, Ибн-Каль-дуна*, увидите, как отражено влияла Берберия на самую судьбу арабства; самая Мавритания вскормлена соками их благородной крови**; что вспоило Альгамбру, чем ныне пленяется взор в Альказаре, то создано ритмами берберской жизни, взволнованным голосом Августиновых дум; и потом расходившимися в мысленных ритмах Аверроэсовой мудрости; без существенных импульсов малефитского толка суннизма беднее бы мы мыслили жизнь магометовых культов; не только Багдад простирает свой блеск на Египет и Сирию; свет из Берберии строит культуру Египта, и создает Ель-Кахеру (Каир); Кайруан — основательней, строже, древнее Каира.

Немедленно после смерти пророка — проходят: наследник его Абубекр; и — Омар, но Али, близкий кровью пророку, волнует сердца правоверных; и открывается при Омейидах солдатами; скоро солдаты Али объявляют себя правоверными; и вдохновляют мечом кореджитскую ересь; признававши трех первых калифов, они отрицают наследственный имамат, выбирая имамов.

И тотчас вплетается голос Берберии в судьбы арабской культуры. Приняв мусульманство, тунисские берберы быстро его преломляют; вся почва Берберии дышит своим славным прошлым; и древние римские культы, и культ христианства, и ереси (Мани, Доната), и гнозис недавнего прошлого — все обращает культуру арабов в Берберии порохом, разрывающим ересями культуру арабов; Берберия борется с правоверными знаменами кайруанских суннитов; опора она кореджитству; сунниты вступают с Берберией в ярые при.

Правоверный наследник Омара, Отман сочетает священные тексты Корана с преданием; сборник преданий есть Сунны; он, собственно, хартия вольностей для четырех мусульманских обрядов; четыре различные в частности церкви начало берут из него: для Западной Африки, для Багдада, для Индии; в Иемени, в Египте господствует толк — мафеитский; для турок слагается толк — ганефитский; для Индии — ганебалитский; а в Северо-Западной Африке толк малефитский***, четыре различные толки слагают костяк правоверной религии; в Суннах им всем место есть.

Полководец Сиди-Окба, основатель старинного Кайруана, оттуда развеял священное знамя суннизма; Тунис возмущен, к середине восьмого столетия дружно войска**** кореджитов идут из Туниса на им ненавистный суннизм.

И пылая священнейшим гневом на это воскликнул калиф из Багдада:

— «Клянуся я Богом, пошлю на них войско, которого хвост еще будет при мне, как глава его будет вторгаться в их страны».

И тысячи жизней скосила война; но все тщетно; Берберия долго кипит ересями; многообразные трибы — Луата, Хуара, Айрига, Нефуса, Нефзайа, Айбера, Кетама, Санхаджа, Гомара, Хескура, Бени-Фатем и другие, волнуясь****, порождают пророков, прославленных иересиархов, меджи и провидцев; приходят тяжелые дни: Кайруан перед тем лишь возникший, взят войском мятежников: — «Только что правоверные утвердились в Берберии, как Кайруан должен был быть разрушен не раз, но не должен был он уничтожаться вовсе; провидение Божье хранило его; и большая мечеть — удивление миру, была уж построена... Окба был отозван...

Тогда поднялись обитатели этой страны, возглавляемые предводителем берберской трибы Аубера... Арабский правитель разбил и преследовал их... Возвратился Окба... И опять возродил Кайруан»*.

Кайруан в это время — единственный центр правоверия; лишь в плоскогорьях Марокко ответные отклики слышит суннизм. Все же прочие местности гложутся ересью; вот как гласит Ибн-Кальдун**; «Салех говорил, что он будто Медхи, долженствующий встать перед нами в конце мировой эпопеи; воистину: он утверждал — по арабски звучит его имя «святой», по сирийски... «король», по персидски «мудрец», по еврейски «владыко», по берберски... «тот, который отменил пророков».

Процарствовав сорок семь лет, он ушел на восток, завещав свою проповедь новой религии сыну; и обещая вернуться во время правленья седьмого пророка из рода его... Так гласит Ибн-Кальдун о каком-то пророке.

Когда же возникло течение суфизма, оно разлилось, залетев из Египта сюда; и суфизм — это орденство, подобное францисканству искание бедности, подвиг, аскеза характеризует суфизм; суфи — мудрый (sophos), или имеющий опыт, «умеющий жить»; отзвук йоги проходит в суфизме; жизнь суфи полна испытаний; проходит ступень за ступенью он; шейх, например, плюет суфи, ведомому к посвящению, в рот, чтобы выдержал испытание***.

Суфизм процветает в Берберии; и ряды орденов здесь гнездятся, как например, орден Кадрия; Абд-ель Кадер — основатель его; говорит о нем мудрый историк: «Да, если бы Бог не избрал нам Сидна Магомета... чтобы кладезем сделать пророков его, он избрал бы для смертных Сиди Абд-ель Кадера, из всех людей умом, добродетелью, милостью ближе всего он к Аиссе****, которого он по-особенному почитал». Вот выдержка, нам гласящая о другом громком ордене: шейх Сенусси гласит о стадиях восхожденья в экстаз:

«А шестая ступень есть экстаз... восхищаются десятитысячием светлых светочей... Наконец, в седьмой степени... поднимаются к десятитысячию тайных светов, последних... Иные из шейхов приводят такую таблицу для объяснения»*****.

Характерна таблица: ее привожу я сполна; показывает она напряжение мистико-схоластической мысли арабской Берберии.

Таблица жила для того, кто шел жизнью пути, или творчеством жизни в себе.

В 800-м году Ибрагим-бен-Аглеб, завладевши страной, из твердынь Кайруана отдал всю Тунисию в руки калифа Гарун-аль-Рашида; в стране водворилась династия бен-Аглеба; и вот аглебиты сломали ветвистое дерево, дымящейся ереси; и кореджитство сломалось, чтоб вскоре дать место другой, еще более опасной напасти; шиитству, в котором погрязла доселе мятежная Персия; первых имамов (трех первых: наследники Абубекра, Омара, Отмана) признали сполна кореджиты; но их отрицали шииты; лишенный калифства, Али был законным имамом для них;

возникает опасная линия: тайного имамата; потом пресекается; но шииты в нее все же верят; Абу-Абд-Аллах, эмиссар их, опять возглавляет рассеянный толк бунтарей, проповедуя царство Медхи*. По его научению берберы в Африку тайно зовут проживавшего где-то имама шиитов; Обеид-Аллах, тайный имам, появляется в вольных пространствах Тунисии; берберы, мстя арабам за то, что последние некогда их растоптали, приемлют опаснейший лозунг шиитства, сливая с ним лозунг освобождения от арабов и лозунги собственной независимости; арабы вновь гонятся прочь; вновь борьба закипает.

Династия царственных аглебитов низвергнута; изображение Обеид-Аллаха, имама, тогда появляется вдруг в кайруанских стенах; ожидается царство Медхи; со стотысячной армией грозный имам гонит прочь аглебитов; в восстании принимает участие триба Санхаджи; то все происходит в десятом столетии**.

Так получает престол в Кайруане шиит Обеид-Аллах, вскоре потом задушивший Абу-Абд-Аллаха, которому был он обязан победе; он вскоре покинул столицу, в которой гнезился суннизм, основал город Медхиа, быстро расширив владения.

Династия Феца склонилась перед властью его; от него истекает династия фатимидов; и берберский ренессанс начинается; сын Аллаха, по прозвищу «Божьяго права опора» повсюду является под защищающим зонтиком, напоминающим видом приподнятый щит на копье; этот зонтик — эмблема династии; бьется преемник имама с Сардинией, Корсикой, Генуей; и получает удар из Египта; ему наследовал сын Эль-Мансур; за ним следует знаменитейший Ель-Моэцеддин-Аллах, покоритель Египта, туда перенесший свой трон.

В это время Тунисия вновь потрясается; вновь кореджиты восстали, — уже против гордых шиитов — правителей под предводительством Абу-Иезида, хромого пророка; сто тысяч берберов, вставших под знамя его, разнесли Кайруан, взяли Сузы; шиитские трибы из Константины, Санхаджи, Магреба боролись с восставшими; и Ель-Мансур подавил эту вспышку.

Десятый век в войнах.

В то время над всею страной стоит Кайруан; он насчитывает сорок восемь роскошнейших бань, строй мечетей, базаров; в нем главная улица тянется две с лишним мили; до тысячи крупных быков убивают по праздникам в день для обильных пиров***.

Восьмивратные Сузы — морской арсенал всей Тунисии; там на месте Акрополя финикийских купцов по словам Обеид-ель-Бекра возвышается гордая Касба****; и ткани готовятся здесь; разбиваются плантации вкусных оливок; в Габесе стоят корабли из всех стран; там готовят шелка; там разводят тростник и бананы; вся область Гафсы богатеет; в ней множество жителей; в многих оазисах видим культуру фисташек; в джеридских оазисах рдеют шары апельсинов; повсюду проводят каналы; в пространствах бывлой Зегитании сеют пшеницу, разводят миндаль, и лимоны, и фиги; цветет благоденствием край после войн по словам Ель-Бекра*****.

Но одиннадцатое столетие возвышает Тунис; Кайруан — умалается.

С водворением в Египте династии фатимидов шиитство угасло в Берберии; но не ослабло влияние берберов; триба Санхаджи, борясь с фатимидами, ныне сидит в Кайруане; хотя санхаджийские берберы и исповедуют Сунны, они к христианству терпимы; Тунисия мирно кишит христианскими лавками; сеть христианских епархий покрыла ее; принимает посольство от берберов в Риме Григорий Седьмой; но Санхаджи — теснят; и теснят фатимиды — с востока; норманны Сицилии — с севера.

С 11-го до 16-го столетия независимы тунисийские берберы; трудно живется им; в веке 12-ом давит Рожер Сицилийский от севера их; им приходится много считаться с династией альморавидов, простерших от запада Африки власть над Испанией; но в Магребе восходит звездой Медхи от высокого Атласа; имя ему Ибн-Тумер; он родится в горах; научается многим

наукам в Кордове; уходит потом на восток; приобщается тайнам суфизма; астрологи Атласа предрекают уже: поднимается с запада новая власть; Ибн-Тумер, углубленный в высокую мистику и окруженный толпой почитателей, как просветитель, — восходит; он учит студентов в учнейшем Тлемсене; и просвещает науками юного Абд-ель-Мумена; потом обличает в Марокко калифа в губительной ереси; изгнанный, учит в горах он суфизму; альморавиды Марокко тревожатся; новый Медхи — Ибн-Тумер, объявляет, что он возведен Магометом; и он — собирает войска; подчиняет Магриб, осаждает Марокко, берет его приступом.

Так возникает в Марокко священная власть альмохадов; былой ученик Ибн-Тумера, почтительный Абд-ель-Мумен, — выбирается; первый калиф альмохадской династии — он; покоряет Берберию он, проявивши себя полководцем и тонким политиком; он украшает Марокко, прославленный зданием Бадиа, о котором гласит его видевший Лев Африканский, что это система дворцов и торжественных храмов, стоящих в огромнейшей крепости, равной пространством городу; еще в XVI веке Бадиа была целой и невредимой.

Конечно, тунисские берберы скоро восстали на новую власть, как они восставали на каждую власть; независимость — их основная черта; как они помогли возвышению Медхи, Ибн-Тумеру; так после они помогали разбитым наследникам альморавидской династии.

В веке XIII Абд-ель Уад водворяется в Тлемсене; он ослабляет из Тлемсена власть альмохадов в Марокко; центр жизни — в борьбе между Тлемсеном, Фецом, Марокко; пульсация жизни теперь оттянулась к западу; все же Тунисия в ней принимает участие; в то же время Гафсиды надолго себя укрепили в Тунисе; Абу Зекерия становится ныне эмиром в Тунисе; он ширит владения свои через Алжир до Танжера; испанцы Валенсии шлют ему дань; прославляют поэты его; Гогенштауфен, Фридрих Второй, заключает торговую сделку с эмиром Туниса; в его управление край благоденствует; библиотека заключает в Тунисе не менее 36 000 томов, а в правление сына его ворвались крестоносцы; Людовик Святой выгружает отборную рать в Карфегене; но он умирает; позднее легенда его наделяет чертами святого, в те дни обитавшего здесь; той легенды не знает почтенный историк Кальдун; «Король франков, гласит он, поставил условием мира — принятие христианства; ударил его Божий перст, он погиб от чумы». В это время Тунис процветает; «Король чернокожих... сюда посылает жирафов... Кастильский король шлет посольство сюда... Двор наполнен учеными; множество андалузийцев здесь вертится; и среди них есть... поэты, писатели, принцы... воители... Вся процветает страна»... Так гласит Ибн-Кальдун. Династия гафсидов здесь держится прочно до турок.

В шестнадцатом веке являются турки; Карл Пятый, Испанский, шлет флот на подмогу Тунису; но турки на время уйдя в Кайруан, появляются вновь под Тунисом; испанцы бегут.

И доньне в Тунисе повсюду возвышены стройки испанцев (мосты, например); мост, где мы отдыхаем, гуляя, — испанский.

В Алжире теперь бейлербей управляет всей Северной Африкой: именем турок; но всюду паша узурпирует власть; так в Тунисе начальник совета, дей («дядя») вершит все дела; вскоре бей, полководец начальника дея, берет круто власть; и становится он номинальным лишь данником турок; в Тунисию турки внесли фанатизм, изуверство; турецкие данники Триполи, Феца, Алжира, Туниса воюют друг с другом; семнадцатый век протекает в войне.

В XVIII веке правительство бея Гуссейна завязывает отношения с Францией. Нежный Гуссейн есть мечтатель; он «плачет в садах Кайруана, вздыхает над памятниками опустевших дворцов» — этот Людвиг-Баварский Тунисии* делает серии опытов, окружаясь толпою алхимиков, мудрецов и ученых.

Наследник Гуссейна, Али, меломан и эстет, отличается страшным обжорством; не думает он о Тунисии, а лишь о том, как ему переплесть ту, или эту любимую рукопись; их собирает он.

Быстро финансы страны истощили потомки Гуссейна; громадные подати ими наложены; жизнь дорожает; страна — голодает. И вот появились французы, сначала вмешавшись в контроль, а потом превратили контроль над страной во власть над страной.

История старой Тунисии долго меня занимала в Радесе. Вставал Кайруан, центр суннизма, сразивший двух гидр: кореджитство, шиитство; шииты не любят его; овладев его храмами, быстро его покидают, возвысив в Египте Каир (Ель-Кахеру), основанный ими. Недаром так любят священные стены старинного града все суфи, все дервиши, все марабу; и недаром доньше прославлена школа высокого дервишизма — здесь именно; именно здесь образуются все Ассауйя; кто был в Кайруане, тот может не быть даже в Мекке.

Запал Кайруан; мы давно собирались туда; наконец и мы тронулись.

Я рад, что там был.

Каир 911 года

Дорога в Кайруан

Свежело; туманилось; в раннее утро воскликнул петух; и — был ветер; озябли мы; поезд прошел на Тунис; показались вагоны вдали кайруанского поезда.

Вот и поехали.

Быстро рванулись с места С. Виктор, Гаммам-Лиф; прососались ущельем меж гор Джабель-Ресса и дикой Двурогой; кружились деревни; и — сыпался в окна миндаля розоватыми стаями; в скважину почвы на миг прорвалось голубое пятно Средиземного моря, и, выскочив, высилась крытая лесом гора, где три года сражался у входа в залив Сципион Африканский; десяток бурнусов провеял с унылой платформы, крутимый ветрами; соломою крытые крыши приниженных гурби** деревни Громбалия, где провели с Асей день — потянулись, прошли, отошли; гребенчатая почва изгладилась в плоские холмики; свеялся весь живописный ландшафт; облетели кругом миндали; провалились в маслины мечети пузатые купола; быстро-быстро разъялись маслины в отдельные кучки деревьев, прижатых друг к другу: равнины, равнины...

По ним пробежали фаланги извившихся, низко склоненных стеблей; из-под них дружно вырвались космы дичающей спаржи, прогнав тростники; и бессильно иссякнув — в сплошном малотравии; вдруг просияли повсюду песчаные лысины.

На запустениях издали прополосатились пятна палаток, да стадо верблюдов, похожих на страусов, замерло издали в мертвом покое; у рельс протрепался лепечущий кармин платка; бедуинка глядела на поезд; и — станция; желтенький домик среди степи, да два-три бурнуса, летающих в ветре, крепчающем в бурю.

Редели и станции; жизнь побережий развеялась; травы, культура деревьев — все только каемка: у берега моря; врезается в роскошь плантаций с разгону широкая степь; сквозь нее пробегают с разгону летучим песком аванпосты Сахары.

Из желтых песчаников нам пробелели под Сузой деревни; и — станция; Калаа-Спира; пересадка.

Вот издали — поезд; к товарным платформам прицеплены два-три вагончика; жалко стучали колесами; медленно поезд тащился по желтой равнине — в крепчающей буре, в неведомой стае вижжащих, хохочущих ветряных джинов; будь мы на сутки пути поюжней, мы б попали наверно в Самум, потому что пески здесь — залетны; твердеют кругом солонцы; это все же спаленная степь, — не пустыня; а танцы песочных столбов — только пена, летящая прямо на нас из Сахары; будь почва песчаная, все б здесь взметнулось, темня белый день... Что за звуки? То — взвой невидимых тысяч гиен, заглушающих стук поезда; этих звуков не слышали мы — никогда.

С Асей мы наклонились к стеклу; что могли мы увидеть теперь? Застрелявшие массы песка забурили окрестности; желтые мути вижжавших пространств проносились; и я начинал понимать, что — то песни песков, о которых так много читал, о которых поведали те, кто бывали в Сахаре.

В Сахаре песок издает мелодичные речи; то воет, то что-то твердит непонятно и жалобно, — там, где есть дюны; в Сахаре есть горы из кварцевых, или известковых песков в 200 метров от уровня почвы; и — выше; дохнет ветерок — дюна вдруг загрустит, извлекутся нежнейшие отзвуки; как ветер окрепнет, она — закурится; иные тревожные тоны взвоятся; песок побежит — («sable vif»): так его называют французы. Вот как путешественник наш Елисеев, бывший на юге Тунисии, в Триполи, в даях Туата, в оазе Уаргла* и в песках рокового Ерга повествует о песне песков**.

— «Но вот в раскаленном и неподвижном воздухе послышались и затрепетали какие-то чарующие звуки»... «Слышишь, как запели пески», произнес, словно просыпаясь из... полузабытья Ибн-Салах — «то пески пустыни, не к добру эти песни. Песок Ерга поет, зовет ветер, а с ним прилетает и смерть...» Особые звуки песка извлекаются там, где два слоя: один отвердевший, и верхний — сыпучий, бегущий, летающий, металлический шум; порой — визги и вой.

Есть в пустыне другая мелодия; крики камней, когда скалы в жаре дают трещины; трески — так нам говорит Елисеев — теперь «объясняют легенду... обитателей пустыни, которая говорит, что сердце их родины заставляет кричать самые камни и пески»***.

Так гора близ Синая поет металлическим голосом; так по Пржевальскому скалы монгольской пустыни поют; так бормочущий Газ-ель-Ханван аравийской пустыни возносит молитвы под небо; и так говорил с Озирисом Мемносский Колосс.

И Реклю отмечает поющие дюны Игиди; поющие дюны Ерга описал Елисеев.

Мы смотрим в окошко, стараясь увидеть сквозь бурные мути — окрестность; и воет окрестность, танцует; и — бурные мути: в окно дребежат, разорвутся; и — рвутся, и — рвутся, и — рвутся; и — все улетели; и — ясны пространства сожженной степи (солонцов — меньше здесь; оттого и пески уплясали куда-то, крутятся горизонтами).

В этой равнине есть что-то от русской равнины; такие же овраги ползут; я не знаю строения почвы; может быть, тот же лес; те же метелки из пляшущих трав; остановка; чу — звоны бубенчиков (как и в России): сквозь ветер; такие же пески наползают с востока в пространствах лихих оренбургских, самарских степях; и — такие же верблюды; нет — те все — двугорбые.

О — что за ветер! Я вижу, что поезд на станции еле заметно сдвигается с места; то — вижу по буквам за рамой исчезнувшей надписи станции; «Э, посмотри же, ветер нас немедленно двигает, слышу я голос француза; мы — едем; пытаюсь открыть дверь вагона наружу, и громкие ярости бурными струями бросились в дверь; дверь — рванулась, чуть-чуть что не вырвав меня из вагона; мы боремся дружно с распахнутой дверью, пытаюсь захлопнуть ее; наконец — удается.

Тускнеет, дымеет, вижжит и хохочет; и нет ничего, кроме хаоса желтых, кричащих, летящих песков за окном; прорвалось что-то; пятна мелькающих проясней; в них — пылевые столбы, сплошной проясень — снова; во мгле — горизонт.

А французик, военный, зуав, в яркокрасных штанах, очевидно душой полюбивший все здешнее, весело стал вспоминать о недавних годах:

— «А вот прежде здесь не было вовсе железной дороги; мы ехали в дилижансе, а около Кайруана есть спуск, так поверите-ль? Мы, отвязав лошадей, так-таки и катились под кручу».

— «А как пассажиры?»

— «Ну что ж? Коли падали на бок, ломались ноги; все было естественней, веселей, чем теперь, хоть... опасней»...

— «Теперь что-то слишком уж много комфорту».

Опять пересадка.

И вот.

Из песков — намечается: мертвенно желтым песком Кайруан; и вся даль — изошла минаретами; точно песчаную кистью прошлись по буреющей мути; и муть полосатится, перпендикулярно к равнине, являя глазами аберрацию: плоскости башен; под ними стена не видна; только носятся бурые клубы, как волны; на них овоздушенно виснет из воздуха — марево.

Каир 911 года

Перед Кайруанской стеной

Остановка: мы лезем в отверстие двери, а бурая буря нас нагло толкает обратно в вагончик; мы — вылезли (плащ на жене завивается вверх), все схватились за шапки.

Пески, солонцы...

Недалеко от станции — строчка маленьких домиков; и уж от них отступая, затвердели желтеющие стены зубцами, как в нашем Кремле, защищая со всех четырех сторон света кипящий народами город от серых пригорков и рытвинок солончаковой равнины, — и злой и сухой; в эти бурые дали — к Сахаре, и — далее (через Сахару) бросает столетия нити верблюдов своих Кайруан — в Тимбукту; и тяжелые ящики красных товаров отсюда расходятся там, за Сахарой, по грязным поселкам, лежащим на Нигере.

Вздернулся морок облуплин зубчатой стены, за которой ломаются сухо гортанные говоры, точно солома, да скрипы колес; Кайруан, точно Кремль, небросший домами. Где пригород? В массе, которой затянуты ноги, туда уходящие прямо до щиколков — в массе песку, среди которого мы, пробираясь к отелю, завязли, который уже заедает глаза и играет извивами струй с перевивами складок — в буреющей, веющей массе щитами зубчатой стены; заслонились мечи минаретов и башен (квадратных), как будто мечи чалмоносных гигантов, грозящих Сахаре отсюда, — отставленных друг от друга роями тюрбанов, принадлежащих гигантам; роями продольно-изрезанных, гладких совсем, желтоватых, яичного цвета и белых, и малых, и очень больших куполов, отовсюду пропертых; и — кажется: вот размахнутся мечи, подлетят в небеса локти рук, распадется стена на ряд плоских квадратных щитов, приподы-*

И — вздрогнет Европа: и новый медхи опрокинется бурей бурнусов... в Испанию...

Но это — прошлое; весь Кайруан — грезит прошлым, то было когда-то...

Топорщится крупная башня широко желтеющим кубом; оскалилась краем зубчатой стены; в бурой буре маячит; бледнеющим прожелтнем, — старым и злым; и чернеет разъятою пастью ворот, под которыми бледно змеится живая дорожка неярких бурнусов сквозь клубы взвихряемой пыли, влетающей в город отверстием стен из Сахары, в пути, может быть, позасыпавшей негрский, спешащий сюда караван.

На желтеющем башенном кубе рождается в небе песков — удлинение башенки; с башни, опять-

таки, в небо песков поднимается новая башенка, быстро кончаясь остреюющей пирамидочкой крыши; то — все минарет; он трехъярусен: принадлежит он, должно быть, мечети, которой второй минарет (одноярусный) просто длинится под бурое облако пыли, кончаясь беззубой и плоской крышенкою с черною точкою окна, над которой привстал кубик малого домика с точкой окна; из окна ввечеру голосит тонкогорлый мулла над квадратами желтых и белых домов; между двух минаретов надулся простой полукруг; это — купол.

Из пляски приподнятой пыли сваялся мираж этих стен, — потому что нам, быстро спешащим к той кучечке европейских домов (где отэльчик, казарма, что-то еще) — нам мерещится, что и нет ничего, кроме маленькой кучки домишек в покатосях почвы; а стены есть морок, возникший в глазах на разводах летящей пыли, упавший, как занавес; гомон далекий и скрипы повозок за желтой стеной, причитанье пустыни, — все это, как есть ничего; завелось оно так себе, — в

воздухе; нам говорили, что здесь загуляли миражи; и вот: Кайруаж, о котором так много читал я в Радесе, — возникший мираж вереницы столетий в моем утомленном от чтения взоре.

Смотрю: вокруг стен — ни домов, ни базаров, ни малой оливы, мирящееся с жаром; лишь стены: за ними гортанным гремением выскочил город; дох на него жаркий ветер — рассеется.

Кайруан 911 года

Сговоры

Малюсенький, бедный отэль; отвели нам убогую комнату; уж вечерело; мы долго себя освежали водой, отмывались от всюду попавшего слоя песка; в этой мебели, в этих предметиках, в олеографиях, изображающих мавров, — печать захолустья; мне вспомнился город Ефремов; французский Ефремов возник среди кучки домов, отстоящих от города и называемых важно «французским кварталом»; туристов почти не приехало с нами; приехали два англичанина, несколько служащих здесь офицеров-зуавов, чета постаревших туристов; как видно она — из Америки: муж и жена.

Проходя сюда в комнату, я сговорился уже с очень бойким арабом, с цветком за ушами, по прозвищу «Мужество»; он будет нас провожать здесь повсюду; меня он уже подбивал: углубиться в Гафсу, там нанять трех верблюдов, палатку; и с ним унырнуть вглубь пустыни, слегка зачерпнувши Сахару; проект этот очень пленяет меня.

Посмотрел я в окошко: как зло, как желто!.. Ветер — стих; все пески опустились; и яркое, яркое небо — синее; и — солнце бросает лучи; но какая ужасная сушь.

Три уж года, как не было ливней здесь (так говорил мне «garçon» из отэля); а были лишь дождики; капнет, покапает, не прибывая летающей пыли; и — снова бездожде многих недель варит почвы; сирокко пожарил здесь все; нет накосов травы.

В довершение бедствий уселась саранча в прошлом году, обглодала все листики персиков, здесь разводимых за городом: прямо в песках; три уж года верблюды жуют здесь сухую щетину колючек; малиновым жаром лишь взвивается яркий закат над семьей куполов; Кайруан славен дымом миражей и яркостью красных закатов; он славен коврами, мечетями, кожами, славен еще боевыми верблюдами он; и — строжайшею школою дервишей.

С нашим арабом по прозвищу «Мужество» мы побродили под старой стеной городской, созерцая два малых отеля, чуть сносных, муниципалитет и казармы, и не рискнув провалиться в жерло растворенных ворот, за которыми гвалт двадцати с лишним тысяч арабов, суданцев, завешанных густо литамом, галдящих по улочкам шатунов-туарегов, где всех европейцев, живущих за городом — двести едва человек; и из них — сто зуавов.

— «Как жалко: приехали вы слишком поздно. в субботу. — не в пятницу: раньше бы днем. — и

увидели бы вы пляску дервишей в самой большой из мечетей; туристы сюда приезжают для этого в пятницу; или — в четверг». Так докладывал мне проводник, наклонивши оливковый нос; и роняла ему на лицо розоватая ветка цветы миндаля; эту ветку заткнул он за ухо (громадный букет миндаля увезли мы с собою в Радес через несколько дней); мы стояли у входа в гостиницу, точно условясь: с утра забродить по базарам. — «Да, жалко, уже не увидите пляски; а — впрочем, когда подберется компания, можно собрать сумму денег; и дервиши за хорошую плату — не прочь повторить свою пляску: ну — завтра»... И «Мужество» вновь опустило оливковый нос. — «Можно ли видеть теперь настоящего дервиша?» — «Фокусника где угодно вы встретите завтра; их много блуждает у нас на базаре... А дервиша, — нет, вы не встретите». — «Так-таки встретит нельзя?» — «Нет, постойте: быть может, за эти два дня разыщу одного; погодите, мосье, надо быть терпеливым... Тут ходит один; я побегаю ночью сегодня по 340 разным кафе, кое с кем потолкую; и, может быть, мы нападём на след дервиша; надо застигнуть его, где-нибудь

невзначай; и потом упробовать показать своих змей; представления он не дает; но порой соглашается он из любезности... впрочем, за плату». — «О, этот-то подлинный, будьте уверены»... Так говорили мы с «Мужеством»... *** Вечером после обеда мы с Асею подошли уже к темнеющим окнам; полнеба блистало коричневым отсветом сумерок, и угасало зеленой, отчетливо стеклянеющей высью; и пурпур густой, бархатеющий — ярко раскинул огромные крылья огней, — состоящих из многого множества перистых тучек, чернеющих пурпурных, красных и розовых; воздух еще там пылал; и врезался туда четкий холм черным контуром; черная кралась фигурка по линии черного контура в яростной красени неба; и черная лопасть одежды за ней билась в ветре, легко проносящемся; толпы больших минаретов слагали отчетливый строй, розовеющий в вечере нежными колоритами фламинговых крылий. Кайруан Облупленный, жженный стоит Кайруан, — не как белый надменный Тунис, молодеющий, напоминающий бледного мавра в роскошном тюрбане; он «ветхий деньми», непокорный, подставивший спину Европе, глядящий расширенным, воспаленным болезнями глазом в Сахару, зовущий к себе... не Тунис: Тимбукту; презирающий озеро Чад, где еще все кишит бегемотами. Не велико расстояние от группы домишек до стен; мы легко пробежали воротами, влившись в дорожку бурнусов; и вправо, и влево от нас черно-белые росписи стен записали орнаментами; здесь черно-белые пестрят повсюду; а краски Туниса — зеленые, желтые, синие; там сплетаются линии в цветики, в дуги, в стебли; здесь — более шашечек; здесь и толпа — чернобелая вовсе; как флер, чернобелые пятна людей вместе с дугами, клетками, шашками стен полосатят глаза похоронно; вот черные, белые шашки на мощной дуге обращенных ворот; приглашающих в крытые «сукки» (базары); вот — черные, белые полосы под куполами мечетей; в Тунисе арабка закутана в снежени шелка; а здесь, в Кайруане, чернеют шелка на ней; всюду из белых бурнусов чернеет пятно залепетавшего негра (суданца), пропершего тысячи верст караванными трактами; караванные тракты отовсюду ведут в Тимбукту, посылая сынов Тимбукту, чтоб они чернобелыми пятнами зычно бродили под черной и белою росписью шашечек. Много колонок, которые перетасили арабы с ближайших развалин; развалины — римские; римской колонкой обставлены; стены домов, все подъезды, ворота, балконы, которых так много, мечети; стена — безоконна над ними на два этажа; выше — купол; меж ним и стареющим надоконным карнизом зачем-то стоит колоннада, на выступе; и проветшала откуда-то сбоку опять капитель; и в лавченке, где дряхлый купец утонул в кайруанских коврах, и в кафе, и на дворике, где вы, просунувши нос, затерялись, — колонки, колоночки, более полутысячи их расступились рядами на мощном квадрате двора кайруанского храма; сто восемьдесят мечетей пылятся среди улиц; колончатые — все. Вот — наполнена площадь верблюдами; сплющили нас, все — горбы; и — грифиные, гордые морды; кладу на одну свою руку; она — как отдернется; недовольна — чего еще доброго плонет со злости; мы — прочь; и бежит, что-то 341 крикнув на нас, недовольный хозяин верблюда; все стадо вскочило (верблюды лежали); и вот голенастые ноги зашлепали прочь на мозолях; и все потемнело от пыли; и мы — задыхаемся. Славится город верблюдом; особое здесь воспитание он получает; становится он драчуном (бой верблюдов я видел уже); и верблюды пасутся среди жареных кактусов, где-то за городом; щиплют желтеющие корни когда-то здесь бывшей травы; и сухие колючки жуют; вечерами горбатыми стаями полнятся улочки; раз набежала на нас одна стая, затерлась десятком шерстяных боков об одежду мою; плыли толстые остовы горло возвышаясь горбами на нас повернувши лениво мешки волосатых зобов;

гощие остовы, гордо возвышаясь горами, на нас повернувши лениво мешки волосатых зобов, проходили линючие самки; висели клоки на протертых боках; пробежал верблюжонок, дрыгающий ножками с выпренной мордочкой, жалко мигающей; прыгал подкидистый маленький горбик. Прилавки лавченок пестреют приятными пятнами, кожами; желтые туфли повсюду; и — лавочки, лавочки; это — базары; мы топчемся; долго ломают нам локти — бока, грудь и спину; суданец в синейных штанах чуть ее не сломал; и как все характерно: как мало Туниса! Базары давно превратились в Стамбул — в плохие пассажи; в ряды; и в них запада нет; и восток — выдыхается; черный Каир переполнен базарами; но не ищите в Каире Египта; сирийский бурнус, ткань Кашмира, кавказский кинжал, испанская ваза, божок из Китая, коробочка скверных серых сигареток из нашей Одессы увидите вы на каирском базаре; и только не встретите вы одного: характерно каирского; в Иерусалиме базары пестры, но в изделиях нет благородства: Дамаск посылает товары свои; грубоваты они; в Кайруане базар — кайруанский; здесь множество местных вещей; оттого провалились мы в них среди глянцеv, курильниц,

шерстей и шелков; я купил себе сельский бурнус, заплатив всего-навсего франков пятнадцать. Наш друг проводник, по прозванию «Мужество», весело так запахнувшись в свою гондуру, под стремительным солнцем пописывал дуги коричневым носом, ломаясь летучей тенью на желтых и белых стенах, исходя остроумием, кланяясь быстро с купцами, стреляя запасы знаний мне в ухо: — «Вот видите — дом». Мавританское здание с черной и белой росписью, с каменным малым балконом, которого крышу подперла типичная коринфская капитель. — «Вижу дом». — «Важный он...» — «Чей?» — «Живет здесь полковник»... — «Какой?» — «Да французский полковник; он — бывший полковник; в Париже живут его близкие; так у него целый дом»... — «Да зачем же он здесь?» — «А он принял Ислам»... И — надменно скрестив свои руки, наш «Мужество» смотрит на нас; на лице — торжество. — «Почему же принял он Ислам?» «Потому что он верит, что вера, которую мы исповедуем — правая». — «Вот как?» — «Прекрасной души человек: убежденный; его можно видеть в мечетях; его уважают у нас»... Мы молчим, озираясь на дом: 342 — «Он женат на арабке; и дети его — мусульмане; каид — его чтит; население — любит его». — «А вот этот вот дом» — мы киваем на дом с превосходной верандой, подпертой колонками; росписи в чашечку (черное с белым) — на арках, колонках, над дверью. — «А здесь проживает каид»*. И позднее с отцом его мы познакомились; он из фамилии чтимой весьма: Джалюли. Его дядя есть байский министр, — что ли Витте Тунисии. — «Я покажу, как здесь делают коврики»... — «А?» — «Вы хотите?» Мы кружим в сплошных закоулках; араб бьет в кольцо перед дверью; за дверью же женский, приятный, совсем не испуганный голос; переговоры; и — дверь отворяется; прячется кто-то за дверью: — «Идите, а я постою у дверей, мне — нельзя»... Мы заходим; арабка с открытым лицом, очень статная, с татуировкой на коже ведет меня в комнату; девушки в комнате тихо сидят на ковре — над ковром, заплетая в него прихотливые нити; старуха — комочек, совсем шоколадный, — корячется в тень из угла; мы глядим на узоры ковра: прихотливы, затейливы, пестры; уверенно, быстро, без всякой модели плетут две арабки, а третья — взирает на нас. — «Не боитесь вы спутать рисунок?» — спросила жена; но арабка смеется; и — знаками, частью вставляя слова кое-как в разговор (по-французски), она объясняет, что держит рисунок — вот здесь: в голове. Мы — выходим; наш спутник сидит на припеке, на корточках, нас ожидая; увидев, — мгновенно взлетает; и быстро влечет — в лабиринт закоулков: — «Но отчего не закрыта арабка» — к нему пристаю я. — «Зачем быть закрытой ей; дома она; а мужчина не вхож к ней; как видели, я оставался наружи». — «Но я же: я был на дому? Я — мужчина»... — «А, это другое у нее дело; турист вы, случайный проезжий, женатый при том; и — с женой; говоря откровенно не вы заходили к арабке, жена заходила; а вы, так сказать, контрабандой прошли; ничего, ничего; вы — турист; и на днях уедете; если бы жили вы здесь, в Кайруане, то вас не пустили бы в дом». — «Как они обучаются здесь ремеслу?» — «А — их учат; потом — заставляют рисунки выдумывать: видите», — наш проводник показал на ковры, — «те ковры — все ручная работа; их делают так, как вы видели; все же рисунки — придуманы; это арабки работают; наш Кайруан поставляет ковры для Туниса; и даже — Парижа». Воистину здесь, в Кайруане торговля — кипит. *** Кайруан — центр священный; здесь — множество дервишей; каждую пятницу криком и топотом их оглашаются стены мечети; их учат рядом испытаний; и — тайному знанию: резать себя, очаровывать змей и глотать пауков, скорпионов, колючки и стекла; они с собой носят магический жезлик, заостренный и — с шаровым набалдашником на рукояти; тот жезлик себе

магический жезлик, заостренный, и — с шаровым павалдашником на рукояти, тот жезлик соот-
безбоязненно 343 дервиши тыкают в нос и в глаза; кто пройдет все ступени познания, того
назовет ассауей имам. Вот мечеть Трех Ворот; это — белая башенка, в выси несущая стены:
оконные глазки квадратны и малы; края плоской крыши зубчаты; нигде не блестит изразец; не
проходит лепная работа; все линии четки и строги; ее минарет — примитив; прототип минаретов
Тунисии, после уже изукрасивших тело свое изразцами; мечеть Трех Ворот — схематический
план всех мечетей Тунисии. В белом Тунисе проникнуть в мечеть невозможно; был случай:
проник журналист, но — был узан; и — чуть не убит: в Кайруане, в единственном пункте
Тунисии; можно в мечети входить, потому что сквернили французы постоем во время своей
оккупации их; с той поры дверь мечетей, уже оскверненных, открылась для гяуров: здесь в
Кайруане. Я — был в них: меня поразили они. *** Магомет был сперва проводник, как наш
«Мужество»; бедствовал он, но женившись на очень богатой вдове, он остался всю жизнь
обеспеченным; и — погрузился в комфорт медитаций; теперь, появляется вдруг перед ним

Гавриил, начинается — проповедь нового культа. Извне говоря: магометовы культы — слагались
комфортом; «комфорт» очень важный момент этих культов; отсюда — печать позитивности,
вкуса к изящному, вещность и чувственность; магометанин всегда позитивен; живут в нем эстет и
рассудочник; таинство, чудо всегда умалывается; и выдвигается — быт, государственность; небо —
орудие жизни земной; мусульманство везде вырождается в черствость и чувственность; трезвая
государственность черство диктует ему стиль концепций религии; трезво учтя фанатизм, как
орудие государственной спайки народов, он нам объявляет священные войны, которые — все
лишь политика; а эстетизм и врожденное эпикурейство внутри рационально построенной схемы
религии бьет семицветным фонтаном веселой и чувственной жизни; былых покорителей, трезво
облекших своих сарацинов в бесцветную белость бурнусов, как в маску асивзы, заботит земное
строительство жизни для верных; и этих верных они облачают под белым бурнусом в
роскошную пестроту шелков; и прекрасные гурии — девы небес — лишь орнамент земного
гарема: комфорт эстетизма; здесь всюду вошел Эпикур в жизнь страны; эзотерика жизни —
шутливые игры терпимости, а экзотерика: меч фанатизма, грозящий неверным; он — хитро
задуман друзьями пророка; без жертв фанатизма, без войн и набегов нельзя было вылепить этот
комфорт; но создавши огромное царство культуры, эстеты, забыв фанатизм, отдались всем
изящностям тонкой, терпимой, скептической жизни, воздвигнувши стену из белых фанатиков;
здесь фанатизм — для остротки; он — «маска» как бы; никогда не проелся он в жизнь;
христиане церковной истории чаще бывают фанатиками; вспомним: мягко боролись с
неверными, лезшими к ним, все султаны Египта; с какой благодушною легкостью шел Саладин
на уступки, торговые сделки, на мир; и в XII веке все жесты калифов гласят: «Да оставьте же
нас, ради Бога в покое; мы вам не мешаем, мы мирно живем близ фонтанов, в роскошных
аркадах дворцов; позабудьте о нас». Папы — рвались в бой; а невинные дети «кротчайшей,
святейшей» Европы безумились дикою мыслью: о брани с неверными. Фридрих Второй
Гогенштауфен, — он среди немногих возвысился над современной Европой, перемигнувшись с
калифами; и оттого-то был дважды он 344 проклят дичавшими папами; и темплиеры хотели
предать его в руки неверных; владыко неверных отверг эту сделку; и Фридрих за это был верен
ему; если б Фридрих Второй победил бы во мненьи Европы, быть может, давно уже иссякнул бы
и весь мусульманский вопрос, разогретый искусственно: там, где в арабстве религия подлинно
всходит, там нет фанатизма; турецкий султан политически теплит его; где упал престиж Турции,
сразу меняется плоскость вопроса. *** Комфорт и воинственность (чувственность, черствость),
затейливость явно круглеющих линий арабства, нашедших свой стиль в «арабеске», и —
строгость, линейность, кубизм (кубы стен, минаретов, домов) создают антиномию в жизни араба,
переплетая жесткость с шутливою мягкостью скептика; та же раздвоенность в облике; белая
тень, утаившая радугу красок под внешним покровом; и — двойственность дома; сплошная стена
монотонно нежеет наружу, да ряд друг на друга надетых зеленых решеток — над окнами; а за
квадратами стен — живой дворик, фонтаны, аркады и глянец цветных изразцов; и религия,
внутренний дом его, — двойственна: пять медитаций, обряд омовений, рассудочная неуклонность,
сплошной педантизм; и — сплошной анекдотик во вкусе Вольтера о старой горе, не внимавшей
пророку; весь скепсис Ислама здесь вылился, догма, молитвы, запрет и... привольный смешок;
покрывало арабки и... речи ее на дому, заставлявшие Асю, бывшей в арабских домах, багроветь
от стыда. Араб — женщина. Тоже — в мечетях. *** Стоим перед Мечетью Циркулика, с виду

от стыда. Араб — двойца. тоже — в мечетях... Стоим перед мечетью Цирульника, с виду она есть квадрат белых стен, окруженных гробницами; скупое расплоснутое купол над ними; простой минарет не высок, но мы входим во внутренний дворик, и хохот их садов, оскаленных точно зубами, колонками — живо галдит детворой; и — веселые смехи, галдеж арабчат, не смущаемых святостью места; в мечети — начальная школа; несутся затейливой черной и белой росписью своды; иные — в резьбе, поражающей вас изощрением: кубы и линии стали сплошной «арабеской»; лучи посылают лукавые глянца на пестрый стеной изразец; и опять мы вошли уже в здание самой мечети; она — небольшая, цветная, таит свою святость: гробницу Цирульника; сверху над нею висят приношения: яйца страусов, ленты, шелка пестротканых знамен; и — шары. Характерно: святой Магометов цирульник — не мученик; он — культуртрегер, носитель комфорта, слуга богачей; и мечеть — именуется именем этой профессии. Вот — «Мечеть Саблей»: умерший давно марабу, над могилой которого встал этот купол, был верно умнейший чудак, вроде нашего «барина»; вдруг осенила его пренелепая шутка; он сделал себе

непомерно огромную саблю и трубку (размером с дубину); их всюду таскал за ним раб; «анекдоту» теперь поклоняются верные; и — повисают над трубкой знамена; наверное был «марабу» — замечателен; но отступает куда-то весь облик его; «анекдот» — выдвигается; стены мечети гласят про огромную саблю и трубку; мечеть посвящается «Сабле»; и роскошь комфорта — святые реликвии. Здание главной мечети построено здесь анекдотом; когда полководец Окба увидел, что собака в пустыне открыла колодец, сказал он: — «Быть городу — здесь».

Проходящий верблюд подошел сам собою к колодцу; возник — Кайруан, 345 а на месте колодца — огромная площадь: двора кайруанской мечети (квадрат); и полтысячи мелких колонн — обставляют его; так и здесь каламбур полководца, его прихотливый каприз, породил эту крепость суннизма со святостью; более поздние слухи прибавили, что сообщается с Меккой святейший колодезь; побыв у колодца, не надо уже путешествовать на Мекку (опять-таки хитрый расчет политической тонкой затеи; посредством комфорта внесение Мекки сюда, в Кайруан притянут богомольцев; тянулись — от веселой Марокко, от струй нигерийских; арабы, гетулы, суданцы, дичающие на песках, туареги, несущие плитки из соли сюда; эти плитки — их деньги). Мы входим в мечеть: лес колонн: и — опять анекдот; меж стеной и этой колонкой пройти толстяку невозможно; худой человек — без усилий проходит; легенда гласит — кто три раза пройдет меж стеной и колонкой, очистится тот; и — лукаво она прибавляет: не так-то легко толстяку здесь протиснуться; взрывом арабского юмора ткани легенды, конечно, пестреют; и — смех водворяется здесь; во святилище. Смех освящается храмом, как спутник комфорта... ***

Усталые долгим обзором мечетей, мы кружимся снова бесцельно по улочкам, где чернобелая пестрядь повсюду бежит на порталах, на дугах, подъездах, порой рассыпаясь в шашечки; гулы и грохоты толп чернобелых сжимают бока; всюду черные пятна губастых лопочущих лиц попросунули из белопыльных бурнусов; черные гуляют арабки, таясь меж колоннами, над иссушенными профилями нависают цветки (из-за уха); гробница: звездой, полумесяцем, гривистым львом запестрела стена ее; в росписи — те же цвета: черноватый и белый. И вот перекресток: открытая дверь под колонками, на чернобелом ковре перед низеньким столиком тихо сидит в голубой гондуре седоватый мужчина, белея тюрбаном; очки уронил он на кончик мясистого носа; и — пишет, скосивши на нас любопытный зрачок; наше «Мужество», кистью метнув, наклонилось почтительно к уху араба; и — шепчет, араб соглашается; «Мужество» делает знак: подойти: — «Нет не бойтесь, пожалуйста; это — нотариус; он приглашает взглянуть, как он трудится». Робко подходим к арабу: он тихо сует кончик пальцев и тихо справляется: кто мы, откуда, зачем, как здоровье; потом, указав на сиденье, склоняется в книгу и старой рукой выводит арабские знаки письмян; отдохнувши немного, прощаемся мы; и — выходим на улицу. Вновь из открытых дверей под чернеющей росписью детский галдеж; это школа; заходим: под малой колонкой сидит на циновке учитель Корана, перед ним, поджав ноги, — десятки мальчат, на коленях у каждого мальчика вижу я доску; на ней — письмена, все кричат, и учитель араб с длинной жердью в руке улыбается ласково — мальчикам, нам; хором мальчики учат священные тексты; когда затвердят наизусть их, учитель отпустит; так день изо дня они учат по порции текстов. Выходим: о, множество негров! Давно поселились они среди стен городских; Ибрагим-бен-Аглеб, повелитель Берберии, некогда здесь из суданцев составил почетное войско. Уже вечерет, выходим из города, в пыльные тусклости вновь залетавших песков, пробирается к

черным воротам какой-то кудесник; и — с жезликом он, у него за плечами мешок из затянутых кож: 346 — «Там в мешке у него верно кобры». Перед городом дервиши ловят здесь кобр, из мешка выпуская ручную змею, за собой в западню приводящую: дикую кобру; влезает в мешок она, быстро затянет его тогда дервиш. Проходит бормочущий старый слепец; перед собою он щупает почву огромною палкой: — «Это — профессор Корана» — нам шепчет наш «Мужество». — «Он — знаменитость: каид его чтит». *** Расплескали священные перья кровавые светы свои; минареты уже розовеют... И я удивлен, оглушен, ослеплен! Все — смешалось: бурнусы, мечети, миндаль, полоса золотого заката; уж падает ночь; мы с Асей сидим: табльдот! за окнами ревы и гулы; мышинные писки и шамканье старцев; неведомый кто-то стучится в окошко; кончается скучный обед; половина толстеющего американца теперь принимается за второй, вероятно, десяток открыток: с лубочными видами города; старый супруг ее — курит. И прошлое — тихо восходит во мне. Каир 911 года Аглебиты Седой Кайруан загляделся на славное прошлое; Сиди-Окба пронизательно видел его, когда здесь, среди песков,

он заметил: — «Быть городу». Крепость арабской культуры — возникла. Уже в 800-м году здесь возвысился бербер, до мозга костей пропитавшийся духом арабства; Гарун-аль-Рашид поручил ему страны Берберии: звали же бербера — Ибрагим-бен-Аглеб; бербер этот выплачивал легкую дань калифату; так власть аглебитов возникла, возвысила город, ввела непокорный Магреб в русла чисто арабской культуры; в устройство комфорта: суннизм, или внешняя форма той миссии, здесь насаждался при помощи местных, туземных (не пришлых) властей; очень странно сказать, что политику Англии всюду вели покорители по отношению к покоренным народностям; крепкий нажим, диктатура, — пока в покоряемых странах вводились зачатки культуры; потом — автономия. Дав Кайруан аглебитам, арабы себе создавали друзей, сокрушивших главу кореджитства в Берберии; все мусульманство суннитское, как понимаю его, *sui generis* форма массонства восьмого, десятого века, руководимое кучкой хитрых политиков, одушевленных известной культурною миссией, — передовой и гуманной по отношению к множеству диких народностей, т. е. народностей павших под мусором синкретических бытов и культов, передовых в свое время. И вот Ибрагим-бен-Аглеб, верный ставленник кучки арабов, блестяще вершит свою миссию; он водворяет порядок в стране; и однако: он — всюду на страже свободы Берберии; он — отражает претензии египтян, ослабляет суровости бывших доселе властей; земледелие всюду — цветет; бен-Аглеб поощряет в туземцах порыв к мореплаванию: строит в окрестностях славного города пышный дворец «Ель-Аббасию», организует милицию черных, чтоб ею ослабить сирийскую гвардию (или — засилье арабов, пришедших с востока), заводит сношения с Карлом Великим; и тот посылает послов в Кайруан; Ибрагим их встречает рядами роскошнейших празднеств. 347 Преемники этого тактика, большею частью, — пьяницы, чудаки, сибариты, эстеты; однако — своим бытием утверждают культуру комфорта они; в них историки видят подчас благородство, увы, заглушённое странностью; в них оживает сознание прав человека; они утверждают повсюду весьма характерную должность: чиновников-покровителей слабых перед сильными; и — заставляют трудиться; Абу-Ибрагим, шестой принц аглебитский — особенно кроток; историк о нем говорит*, что «он шествовал часто ночами среди блеска огней, в окружении животных, навьюченных множеством денег, которые он раздавал... Посещал именитых людей, всем известных наукой и жалостью. Он понастроил огромное множество пышных построек; среди них он построил в Тунисе большую мечеть, обвел Сузу стенами»... С калифами часты теперь нелады; так один из аглебит Магомет Зиадет, опьяненный вином, раз калифу послал свои гордые строчки — — «Я — камень, огонь высекающий; и коли хочешь ударить его ты о сталь, то — попробуй. Я — лев, чье рыканье — защита; коль пес ты пролай на меня...; я — глубокое море; и коли ты пловец — в него кинься»...** Когда протрезвился он, тотчас был послан в догонку послу приближенный; — письмо отобрали; и робко калифу писал Магомет Зиадет в своем трезвом письме. Наиболее царственен лик Ибрагима Второго***, который дал блеск Кайруану; прославил себя он войной с хуарами Триполи, делавшими на Тунисию ряд беспокойных набегов; жестоко сломил он тунисский мятеж; он был крайне развратен и жаден до крови; однако историки пишут о нем: «Справедливейшим был повелителем он..., и с суровою строгостью гнал он богатых и сильных»...**** Тип Грозного! Злобно придравшись к ничтожному поводу, вдруг обезглавил он сына и братьев; когда ему тайно рождали наложницы, хитрая мать Ибрагима брала их к себе, отбирала от них дочерей;

воспитавши шестнадцать из них, их послала к владыке, сказавши: «Владыка, хочу показать вам прекрасных рабынь». Он, увидевши их, воспылал любострастием к двум; мать сказала ему: «О, владыка, рабыни-то дочери ваши». Тогда Ибрагим приказал обезглавить их всех палачу, великану, суданскому негру с мечом; негр молил повелителя дать дочерям его жизнь; Ибрагим пришел в бешенство; и под угрозой казни палач обезглавил шестнадцать красавиц. Владыка же тешил свои извращенные чувства в гареме из... мальчиков; раз, заподозривши нежные связи меж ними, их всех повелел он казнить: — «Повелитель» — воскликнул один, — «мы — невинны». Но тяжкою палицей, быстро вскочивши с высокого трона, виски разможил двум из них Ибрагим; прочих — бросил он в печь; все — зажарились: тут же. Имел он обычай: насытившись ласками нежной любовницы, тут же ее убивать; раз сказала ему его мать: — «Воспитала я вам двух рабынь; как прекрасно они распевают стихи из Корана, возьмите скорее с собою их спать». Он их взял, через час послав матери их отсеченные головы. 348 Был он таков; между тем он всегда говорил: — «Никому не дозволено, да, наносить другим людям какой бы то ни было вред. Что

касается подданных, этой поддержки престола, то пусть повелитель препятствует бедных теснить; да препятствует он богачам!» Аглебиты вводили культуру комфорта: науки, искусства цвели вокруг них; есть огромная рукопись; муфтии рукопись эту хранят и доселе; принцесса писала ее золотыми чернилами; тщетно пытались французы ее напечатать; имам не позволил; французы ему уступили; так культ мусульманский доселе таит в Кайруане источники, нам недоступные, в них нарисовано прошлое, нравы и быт Кайруанских правителей. Прошлое это поет голосами пустынь сквозь морок явлений, и невнятных еще европейцу; невнятнейшим мороком виснут над клубами пыли облупины стен и зубцов, утаивших гремящее гортанного горла; и — ревы верблюдов; дохнет жаркий ветер; и — прошлое это развеется*. Каир 911 года Тонкий соблазн Обсуждали, что — делать; и чувствовался во мне странный зуд: доходить до всего; изученье Тунисии, нравы, история, быт развернувшейся Африки будит во мне новую жилку; предпринимателя, авантюриста; я чувствовал то, вероятно, что чувствовал Пржевальский, Миклуха-Маклай, Елисеев перед тем, как им стать на их путь; я приехал в Тунис отдохнуть, переждать холода, и с весенними первыми днями вернуться обратно в Европу; нас ждали: Мессина, Катанья, Помпея, Неаполь, Равенна, Ассизи, Флоренция, Рим, галереи, музеи; а мы — засмотрелись куда-то в обратную сторону; юг и восток призывали; и голос Сахары раздался. Два месяца жили мы в тихом арабском селе; все забыв, я бродил по полям и базарам, сидел по ночам над историей, картой Тунисии, в ней ощущал я сплетение артерий и вен, приносящих ей соки из Тлемсена, Феца, Ерга, Тимбукту; и я цепко хватался за ту или иную черту, для чего-то мне нужную в быте, в зигзаге орнамента; чувствовал тайную связь мелочей, переключку эпох, мне доселе чуждых и безвестных; какая-то мысль о народностях Африки, точно личинка, во мне — развивалась; какая-то бабочка новых узваний пыталась прорезаться в ней, словом, был во мне миг, когда я, перестав быть туристом, мог стать путешественником; а Тунисию чувствовал базой, откуда мог бы я нырять в необъятную Африку, как водолаз, прикрепленный канатом к судну. Зачерпнуть хоть кусочек пустыни, неделю постранствовать, пересекая кусочек пустыни, до первых оазисов, до аванпостов, — вот, что возникало; я — знал: после этого буду я вовсе погибшим; как пьяница, буду стремиться к все более дальним, все более мощным экстазам путей; и просиживал я над развернутой картой Африки, видя уже ряд поездок, совершаемых — более смелых и дальних: нырнуть из Гафсы, в сахарийский залив и пробраться втроем, взявши «Мужество», через кусочек Салеха к оазам пленяющей Бискры; я знал, что потянет потом до Ерга***: тут и риск, и захват; Елисеев прошел за Ерга, прожил несколько дней в Туарегском оазе; вставала мечта пересечь по кратчайшему тракту Сахару; с сухих плоскогорий — до озера Чад; этот тракт по пустыне не 349 более тысячи верст; скоро поезд помчит туда толпы туристов; для этого надо отправиться из Мурзука — оазами; и — пересечь хребет Тиммо, оставив налево ужасные горы Тибести, уже относимые к западной части Ливийской пустыни, оставив направо плато Ахаггар, где погибла несчастная экспедиция Флаттера*, остановится в базе Бильма, куда шлют из Судана верблюдов за солью**, где 70.000 верблюдов проходят на юг ежегодно, снабжая Судан «драгоценным» продуктом; в Судане готовят искусственным образом соль: из золы. От оаза Бильмы начинается, по уверению Фогеля*** — самое безотрадное место; грозит безводная смерть у преддверий «тимтумской» пустыни (то — южный участок Сахары до озера Чад); этот тракт убелен черепами, костями и остовами; и потом прорезает пески уже травка

Судана; и вот — нездоровое озеро Чад посылает пришельцам пустынь — желтый бич, лихорадку, сразившую здесь Овервега; проехали первые пионеры Европы в Судан; из Марзука отправились некогда; Гарнеман****, Клайпентон и Удней*****; Овервег Барт***** (историк и археолог), и — Фогель*****, обязаны им первым знанием нравов, обычаев, флоры и фауны страны, простирающихся на юг, на восток на запад от озера Чад. Еще ранее их Геродот описывает пустыню: и у него мы встречаем первейшие сведения об обитателях злого Тибести — о тибу; уж римляне проходили в пустыню; но берберы им на пути засыпали колодцы; Корнелий же Гальб (в первом веке) прошел за «хамады» Гаррудж, углубляясь в Феццан; Агатархид заявляет о почве пустыни: «Кто ступит без обуви, у того образуются пузыри на подошвах» (ожоги); уже добросовестный Птоломей, кого хвалят и Вагнер, и Стэнли (впоследствии), верно рисует далекие африканские страны; по мнению его, за Ифрикией, среди пространства пустынь, возвышаются мрачные горы; должно быть, плато Ахаггар; уже он говорит о Судане с отчетливой ясностью, намечая водораздел (воды Нила и воды Нигерии); тракт совершен так недавно

Маршаном; блистательно подтверждают позднейшие изыскания то, что когда-то сказал Птоломей. Наиболее сведений о Судане до прошлого века встречаем, конечно, у прежних арабских ученых; известнейший марокканский географ, по имени Ибн-Абдалла-Магомет-эль-Эдризи, учившийся прежде в Кордове, потом проживавший в Сицилии у Рожера, дает много сведений; бербер, ученейший Магомет-Ибн-Батута на пятнадцатом веке проходит уже в Тимбукту, где его принимают с почетом; но более сведений у Альгазан-Ибн-Магомет-Альзавас-Альфаэи, описавшего до пятнадцати негрских владений в Судане (впоследствии взятый в плен, он крестился: то — Лев Африканский)... Описанный тракт разделяет пространство, которое занимает объем, равный целой Европе*****, восточная часть, называемая Ливийской пустыней, ползет до зеленой приливной полосы; Каир выпирается прямо в пески; все пространство на западе (ныне французская область) — Сахель; зеленеют оазы 350 в Сахаре; важнейшие суть: Сиуах, Дахель, Бильма, Ауджела, Куфра, Уаргела, Тафилельт, на котором стоит зеленеющий оазис; и — зеленеющая Бискра; Ауджела, Куфра занимают пространства Ливийской пустыни; последний оазис на карте означен огромным зеленым пятном; и сравнительно не далеко от моря, под Баркою; но европейцы недавно проникли сюда; он почти неизвестен, он в триста пятидесяти верстах от оаза Ауджела; сериры его отделяют; сериры — пространства, где нет ни песчинки песка; все усыпано — мелкими камушками; обыкновенно в серирах оазы, пески и источники вовсе отсутствуют; Рольфе говорит, что сериры — пустыни пустынь, в них песок или покров, заменяющий травы, отсутствует; тело пустыни — песчаные дюны, поднятые острыми гребнями, называемые по-арабски сиуф*; они курятся в ветре; сериры — хрящи костяка Сахарийской пустыни. Хамады — безводные и беспесчаные камни, уступы, разорвины, полные трещин, являющие породы гранитов, или черных песчаников; здесь не желтеет, а мрачно чернеет пустыня; по заверению путешественников, в красном блеске заката хамады горят, как кровавые угли**. Лишь восьмая Сахары покрыта песками, или дюнами; прочие семь восьмых суть хамады, сериры, а не пески, как привыкли мы думать; образование хамад не от малости влаги; от действия солнца; Вогезы, Урал превратились бы тотчас в хамады, коль жар африканского солнца переместился бы в Европу. Хамады суть горы Тибести, хамады — плато Ахаггар, туареги, сроенные здесь, нападают на мирных арабов, доходят до аванпостов Тунисии и до базы Уаргла, нападая и грабя; летают в пустыне на быстроногом «мехари» — особого рода верблюде, пересекая пространства до 1000 верст, отделяющие Уарглу от плато Ахаггар: ими был убит Флаттер. Да, во Французской Сахаре, в Салехе, твердейшие, каменистые грунты покрыты песками (в Ерга — там песок запекает «рожками»: знак гибели), а Ерга уже заходит в Алжир; а песчаные дюны Игиди уже в Марокко: в Туате; к Тунисии протянулись оазы Уаргла, а под ними — плато Тасили. С мыса Нун до знакомого нам мыса Доброго, на расстоянии 2250 километров в длину слиплись вместе Марокко, Алжир и Тунис, образуя отчетливый остров, омытый на западе и на севере морем, омытый с востока и с юга пустынею; Риттер тот «остров» зовет «Малой Африкой», уподобляя его «Малой Азии». «Африка» эта отделена мировой пустыней от черного континента: Нигерии и Судана***. Туда — меня тянет; и я с удовольствием слушаю «Мужество»; а оно приглашает меня сделать первую пробу, нырнуть нам втроем; это значит увидеть Тугурту, расположенный в северной части Сахары, на юге Алжирии: он в оазе среди «Sahara algerien»****. Зеленейшую Бискру прозвали «Парижем» пустыни; здесь толпы

туристов из Лондона, Петербурга, Парижа и Вены встречаются с толпами туарегов и форт «St-Sermain» охраняет туристов. На «Мужество» я благоговейно смотрю снизу вверх: ведь оно «проводник», а в пустыне — «священное» звание это; у берберов группа людей соединенных для странствия — братская община, Джемма*****. Предводитель 351 же каравана — Кебир (господин); ну, конечно, Кебиром средь нас было бы «Мужество»... Так я, размечтавшись, думаю: пересекши пустыню до озера Чад, пересечь ее снова: от озера Чад до Бахр-ель-Абияд (Белый Нил), повторив путь Маршана, отчетливо мной представляемый; Ася вступается тут: — «Ты опять с авантюристами: и — никуда не поедем». А все-таки в Бискру ей хочется — через пустыню и далее, хочется в Константину, Алжир, Оран, Фец и оттуда в Цеуту и кверху; и Альказар, и Альгамбра — пленяют: тогда закруглится наш путь. — «А Египет?» — так дразнится Ася. А я, буриданов осел, меж пирамидою и Бискрой теряюсь. Мы только вернулись с прогулки; смотрели плантации персиков (где-то за городом); персики тут вырастают в песке; нас коляска качала на плавных песках; из куста благовонных, чуть розово-нежных миндальных цветов,

поднесенных арабами Асе, смеялись в закат, расплескавший кровавые крылья; туда прочертились ряды минаретов. Теперь загорелые, бодрые мы продолжали смеяться и спорить: — «Тебя представляю уже на верблюде: смотри, ты страдаешь морской болезнью, а все говорят, что езда на верблюдах у иных вызывает морскую болезнь». — «Ах, пожалуйста... Ты-то хорош: десять раз в день хвататься ты будешь за голову, думая, что... — «Что — удар?» — «Знаю я»... — «Все же, Ася, Египет, или... малый кусочек Сахары: малюсенький... Тут постучались: — «Entrez». Распахнулась дверь; и — закутанный в плащ, появился таинственно «Мужество». — «Есть». — «Что такое?» — «А помните, вы говорили про дервиша?»... — «Как же». — «Так вот, дервиш — есть, настоящий, совсем настоящий, навел я тут справки; сегодня сказали мне: «Дервиш», которого знаю я, все это время бывает в одном из кафе; он играет с арабами в шашки; при нем его змеи; мешок свой таскает с собою повсюду он». — «Что же? И можно увидеть его?» — «Ну, конечно же: если свободны, идите за мной в кафе, потому что потом будет — поздно»... — «Сейчас, погодите»... — «Да вы не спешите особенно: я подожду вас у входа». Все брошено: карты, Египет и Бискра. Мы спешно, накинув одежды, спустились: «Мужество» ждал у дверей: полосато-сереющий плащ был наброшен на нем сверх бурнуса: качался фонарь в его пальце; мы — тронулись в путь. Тускло святил Кайруан, провалившийся в тени свои; завывающий ветер закидывал краем бурнуса бежавшего «Мужество» в нос; было жарко: громадно расширившись алмазы небес упали на плечи бежавшего «Мужества»; чудилось будто бежим мы по небу. Спустилась Вселенная, ниже, чем следует. Выперли земли; и стены домов пообстали; кружились в пустых закоулках уснувшего города; там привиденье араба сидело без дела: на корточках (точно 352 какая-то баба); глядело из ноющей ночи на нас, — ночи ноющей; тонко и остро колола нам уши откуда-то дудка; и плакала палица бархатно бряцнувшим басом о край барабана — «там-там»; и вот янтари фонаря озарили изрезанный верх зеленеющей двери: — «Кафе?» — «Да, кафе»... — «Нам сюда»... — «Здесь... Пожалуйста, смело входите, здесь, кажется он»... И фонарь подлетает в летающем пальце у «Мужества»; входим, и... КАФЕ — и крепкие трески, и псиние пiski: и бухнувших гудов, и ухнувших дудок; как в улье, — мы; лопотанье арабского рта: — «Джарбаба»... — «Раб-арап... парапа... обокрал... шкап арап»... — «Абраам»... — «Марр-баба»... Ничего не пойму! — Потолок, подпираемый стаями многих колонок оттенка желтеющей кости, сутулился дугами из ненаглядных, стреляющих глянец; везде изразцовые цоколи; а образцовый ковер заплетает орнамент немеющих змей; изошел петухами и птахами пестрых, лиловых, зеленых оттенков; и красные краски цветов нависают над дикими лицами белых тюрбанных арабов, прижатых к колонкам; помост золотеет, как лапоть, плетеными шашками той тростниковой циновки; и пестрая печечка — в шашечках. Чашечки! В чашечки фыркает черный кофе струей; и кофейник — хлопочет; и — потные лбы окружили его. И колени приподнятых корточек, рой разноцветных гондур, голосящие лица — маслинного цвета, кофейного цвета; и прочные черные профили негрских завянных белостью знойных голов, и течение речей туарегов, сребренье бородок, и розовый ноготь простертого пальца, и белые мраморы мавра, раскрывшего рот, из которого в воздух взлетают колечки дыма, и бульканье свежей водицы в синейшей бутылочке (то — наргиле), руготня, гоготня; и плащи — полосатые зебры; колпак капюшона над шеей с типичною кисточкой дико кирпичного цвета, угластые локти над досками, где расставляются шашки, — под тонкой колонкой — все это накинлось,

вдвинулось в зрение; красный цветочек качается на стебелечке над темным лицом, озадаченным ходом противника (в шашки играет вот эта пестрейшая кучка); у всех за ушами — цветы: — «Это — местный обычай: захочет араб веселиться, за ухо заткнет он цветок; все уж знают тогда: Ибрагим — веселится сегодня»... Так шепчет мне «Мужество»; белые, желтые, синие цветики тихо качаются из-под тюрбанов: — «Ну что ж, есть здесь дервиш?» — «Погодите, мосье, — ничего не видать» — приподнявшись на цыпочки шепчет мне «Мужество»; вдруг он бросает в пространство настойчивый крик: — «Бха-ра-бан: дхар-бабан»... И несется в ответ ему: — «Абра-кадабра», — какая-то... — «Здесь», — улыбается «Мужество». — «Он за колонкою: в шашки играет он». Вижу, что многие кучки, прервав разговор, на нас смотрят; но скоро, 353 заметив, что мы законфузились, кучки от нас отвернулись и делают вид, будто нет нас и вовсе (давно я ценю деликатные жесты арабов: привык я в Радесе к тому, что все делают вид, будто нет нас и вовсе, когда мы заходим в кафе в первый раз; если ж мы учащаем приходы в кафе, то иные любезно с помостов своих посылают «селямы», приветствуя нас, как знакомых; и — больше не смотрят). Уже пробираемся мимо бурнусов, толкаясь, — на прочный помост, точно лапоть, желтеющий легким, сухим тростником проплетенной циновки; поднявшись на локоть, к которому он грациозно склонил свое тело, ленивый кутила лениво завил перевивы плаща, опроставши нам место; и — тащут для нас вдруг откуда-то взявшийся столик и стулья; арабы пьют кофе на ковриках, или на пестром плетеньи ступеней помоста. Умолкнула музыка: «Мужество», жестикулируя, гаркнул в синейшие гари какое-то что-то; и гаркает что-то за синими гарями: переговоры заводятся: от головы к голове перекинулась дробь барабанного говора: «Абра-кадабра» какая-то там обсуждается; и размахались под пестрою лопастью руки вдруг чем-то довольного негра; костяшкою пальца зацокал в ларец этот старец, восставши с циновки; и, видимо, — чем-то обиженный; громко идет обсуждение нашего предложения; жесты, картинные позы; и пляшут мимозы над ухом сутулого, бурого турка; и вот обернулись все головы в сторону белой спины, наклоненной над шашками; шар головы неохотно на нас повернулся: — «Вот — дервиш». — «Он смотрит на нас, — соглашается он показать очарованных змей». Разогнулась спина и над нею взлетел шар тюрбана; прыжком грациозной пантеры, серьезный и стройный красавец, не глядя на нас, пролетел на помост рядом с нами; желтоватое, цвета слоновой стареющей кости лицо его, точно точеное, мягким овалом теперь протянулось из нежных своих миндалей и вуалей тюрбана, твердея суровою гордостью сжавшихся губ, отдавая небрежный, такой грациозный поклон в нашу сторону: без неприязни прищурились длинные, точно миндаль, опущенные шелком разрезы косящих, блистающих как брильянты, двух глаз; очень черных, повергнутых будто в себя самого; и с надменною негой закрывшись, от нас отвернулись; забылись, забыли и нас и других; протянув две руки, будто взвесив на легких весах две жемчужины в воздухе, взвешивал что-то в душе своей он, загадав, «да» или «нет»: стоит нам показаться или, вдруг отказавшись, прыжком грациозной пантеры слететь к там оставленным шашкам, ломая изысканный контур над ходом противника: — «Стоит», — как будто ответил себе: твердым шагом прошел прямо в угол (к мешку), изогнулся над ним, стал развязывать медленно: — «Вот какой дервиш?» — подумал, не веря глазам: поглядевши на Асю, увидел, что Ася в таком же как я состоянии: — «Господи», — думалось, — «если бы хоть каплей такого же точно изящества поделился с «эстетками», с «дамами света», натертыми лоском или с хильми дэнди: откуда в нем это слияние строгости, грации, гордости, ясности всех непредвзятых движений и жестов, рисующих в воздухе письменность мудрых и трудно читаемых знаков». — «Откуда он, кто он такой?» Эта грустная мимика глаз: заклинатель змеиный — какая-то вовсе змея, завитая в безмолвие: — «Этот — почти ассауйя: немного познаний еще и окончит он школу», — мне шепчет мой «Мужество»... — «Вижу уж...» 354 — «Да, ассауйей он будет: вы знаете, кто ассауйя?» — «Да»... — «Тот, кто прошел школу дервишей, кто без вреда может есть скорпионов и саблей резать живот; он — имеет источник таящейся влаги, которую он сохраняет для добрых, таинственных дел; и клянется имаму он власть сохранить для добра; в Кайруане живут очень многие власти». Но — взвизгнули трубы; оливковой кистью забило в «там-там» приведенье на корточках; сморщились черточки сухо пожаренных щек, на которых росла борода; залетала по струнам крючкатыми пальцами белую палкой сидящая рядом фигура; и крепкие трески, и псиные пiski; и бухнувших гудов, и ухнувших дудок; и — хаос уже шевелился под ними. Каир 911 года Дервиш Провеяли ветви

соцветий в печали вуалей над профилем, темным, как... кофе над мраморным маврским лицом, над кольцом белых тел, обступивших плетеный помост; за мгновение до этого черный кофе тянули из чашечек, — здесь, в этих шашечках (желтых) (плетение кукурузного цвета); завянный белыми веями ласковых складок бурнуса, как дерево, дервиш застыл. Вдруг он дернулся, сдернув с себя дорогую повязку; и нервною судорогой рук бросил на землю ее: глухо ухали «у» гоготливые дудки; рассыпалась длинная прядь с непростриженной острой макушки, ему очерняя и лоб, и плечо, как змея; а в мешке копошилось что-то; — — провеяли ветви соцветий в печали вуалей над профилем, темным, как... кофе, над мраморным, маврским лицом — — и кольцо белых тел (ряд за рядом) отпрыгнуло прыснувши прядями брошенных в воздух бурнусов... — — в мешке — из мешка копошилось *** Кто он? Точно сдавленный, давний удар, раздробивший любившую душу, развеявший и море, и сушу, из дервиша сдержанным шелестом вдруг изошел; в шумный звук, в тайный дар, в давний жар непотухнувших умных наук: — «Ассауйя». Я вижу движение, слушаю... ..Такой глухой, глухой, глухой, такой немой; побледневший стоит, опадая овальным

лицом, беспредметно надменным; медленно-нежным движением голых оливковых рук поднимает железный свой жезлик, поблескивая острием на цветных петухах и на птахах ковра, прикрепленного к стенке; вот кисти повисли как лилии; руки бросаются в звуки; лицо горбоносое, с прорезью маленьких усиков, — точно камешек из камня, которую тайно точили, чертя испещрением черточек долгие годы художники; каменной маской лицо пронеслось над мешком; иссякло выражение, которое потом вспоминал я в Каире, склоняясь над 355 стеклянную крышку... в булакском музее и видя — сухое лицо той кирпично-коричневой мумии, тело которой за тысячи лет называлось: — Фараоном, Рамзесом Вторым. *** Темный хаос уже шевелился под этим худым, беспристрастным, бесстрастным лицом теперь древнего дервиша: тысячелетие лихо летело и плакало в черном безумии звукам отдавшихся глаз; и ярчайший алмаз — прокипел под зрачками, под ликом, холодным, как чистая льдинка с упавшим налетом коричневой пыли земли; африканской земли; — звуком звука откуда-то ухнувших дудок он мучился в бурных безумиях: скрючился, выпрямился; и — взвился, как точно искристый диск, его лик: миротворного гения, в пении тихих молений, таинственных бдений: в забвенье видений. *** Казалось, что меня Какой-то миротворный гений Из пышно золотого дня Увлеч незримо в царство тени* *** Скорбящие губы согнулись в кипящие трубы: затейливо змеиной усмешкой; и плечи, и шея, и грудь опрокинулись в желтый мешок; и чернея как змеями, прядями прядавших локонов бритой его головы с непростриженной вовсе верхушкой макушки, с откинутой как-то ногой и с летающим ярким железом железного жезлика в легких летающих складках; — напоминал в своем умном безумии он не уж мумию: фурию! *** Дернулось, дрогнуло белое тело араба; отпрыгнул за рядом ныряющий ряд белых тел, быстро прыснувши прядями брошенных в воздух бурнусов, когда привскочил, угрожая летающим жалом чернеющий перст, из отверстия; и — на циновку просыпалась скользкая кобра: извилистым, льющимся телом обежала она по плетениям желтых, как лапоть циновок. КОБРА — «Никогда не укусит его», — зашептал нам «Мужество». — «Власть он имеет над нею: глазами ее зачарует». — «Имамом та власть отдается; и дервиш владеет змеею при помощи власти имама». — «Он шейхом религии был посвящен в эту тайну; сначала в мечети помолятся оба; потом шейх религии, тихо коснувшись руки богомольного дервиша, шепчет ему никому неизвестное слово; слово то держит в уме посвящаемый дервиш; оно-то ему придает власть над змеями». — «С этой поры повелитель он змей, никогда не подвластный змеиным укусам». — «Они его крепко не любят; и часто кидаются, сиюсь ужалить; ужалить не могут они». 356 — «Посмотрите, смотрите». Мгновение: веющий нежно соцветием складок, немеющий, дремлющий дервиш, кидается, дразнится; дерзко другая такая же кобра закопошилась; змеиные очи, древняя дарами ударов своих бриллиантовых взглядов, из ключей летающих складок, угрозой ночи впиваются ярко: в змеиные очи; и вертится жезлик над гадкой головкой, поставленной точно на палке, в которую отвердела часть тела змеи, записавшей сварливо извивы хвостом... прямо целится птичья головка в колено, как будто головка молоденького драчуна-петушишки, когда петушишка нацелится в гребень такого же, как он, петушишки; заерзала птичья головка, заползло черное тело и быстро и ловко сквозь дрогнувших ног: на шуршащий и пляшущий в шелестах шашечек маленький, гаденький хвостик, стремительно он наступил своей желтою, голою пяткой; и отпустил его. Быстро взлетевши широким листом своей плоско приплюснутой шеи, с которой вертелась головка, змея полилась

черной струйкой на черных извилах, в янтарных отливах — к бурнусам; бурнусы — отпрянули; оборвались прибаутки испуганной дудки; отбарабанили варварские тары-бары «там-тама», послышались тихие шипы и шелесты шеи из шамкнувших шашечек: — «Тсс!» — «Ша-ша-ша!» В воздух свистнула жалобой зычная злость извизжавшейся дудки опять; и дудящий араб, выгнув спину, оливковой шеей своей рисовал арабески; опять отливая оливкой, шарахались грубою руганью руки араба о желтый пузырь барабана «там-тама»; змея повернула головку на дервиша, он повернулся спиною; и прыткими ритмами прыгал магический жезлик в ритмически вскинутой кисти. — «Она не укусит его!» Уж (из визглости) склизкая кобра, загнув листовидную шею, завившейся свиснувшей в воздухе извилиной, вдруг облизнула колено, стараясь ему нанести смертоносный укус. — «Отчего беспокойна она?» — я спросил присмирившее «Мужество». — «Да потому, что она еще — дикая: он, говорят, лишь сегодня поймал ее где-то в песках»... — «Значит змеи не все подчиняются власти его?» — «Все, но чары еще не вполне овладели змеею». — «Когда ж приручит он ее?» — «Через несколько дней»... И — запрыгали друг перед другом:

летающий дервиш с летающей черной веревкой под тусклою туникой: прядали пряди с верхушки макушки, как змеи, над белой камеей лица, наклоненного к гадкой змее; теперь приседало под змеями черных волос тело гадкой змеи, все немея, не смея кусаться; как каменным шаром о стены кидался «там-там»; и как каменным шаром кидалось ударами сердце мое; захватило дыханье, когда мой сапог, описавши большую восьмерку на желтеньких шашечках, быстро лизнул гадкий кончик хвоста змеи; вдруг она бешенно бросилась, быстро вздыбившись в пространстве большим вопросительным знаком на белый бурнус, незаметно присевший к помосту, но дервиш ее оборвал, наступив голой пяткой на хвостик; и лентою взвившийся злой вопросительный знак, оборвавшись, расплоснулся черною палкой в циновке. Но упрятана кобра. Теперь из мешка высыпает он желтую кучу малюсеньких змеек, берет их руками; и их рассыпает; и весь осыпается ими; он — точно в длиннейших червях, записавших на белом бурнусе свои крючковатые знаки; и дуги и петли: 357 «алеф», «бэт» и «шин» быстро пишутся малыми тельцами змеек; «алеф» прописался уже к подбородку, всползая с колена; и силится «шин» заползти ему за ворот; пишется мудро змеиная письменность тайными знаками змеек; одну растянул на лице; и — свисает теперь с его носа, как дряблый нарост индюка, желтоватенький хвостик; и пальцами силится дервиш у глаз разомкнуть голову змеи; пораскрыл — и как будто себя оцарапал колючкою зубика; после продев острие заблестевшего жезлика меж челюстями повиснувшей змейки, тихонько подносит ее к нашим лицам; и — видны: два зубика. — «Это и есть ядовитые зубы: не вырваны — видите?..» «Вижу я»... — «Многие думают, что это фокус, что он истощает перед опытом силу змеиных укусов, дав им укусить что-нибудь до себя, отчего на короткое время укусы не действуют; были недавно два немца туриста тут — да; и они не поверили дервишу; спор завязался; и немцы купили теленка; его укусила змея; тут же бедный теленок, закорчившись, быстро издох». Да, я верю не фокусам (не интересен вопрос об укусах), я верю осанке, лицу, выраженью застывших, как камень, двух глаз, обливающим нас протекающим в нас и расплавленным камнем. И вот — представление кончено; тихо иссякли безумные звуки докучливых дудок. Каир 911 года Старинное В тьму оборвался как с кручи «там-там»; у колонки бесстрашием дышащий мавр, из-за сложенных красным колечком двух губ снова выкинул синие кольца кальянного дыма; и матовым сам себе так улыбается профилем; розовый цветок дрожит над щекою его. А он — бледный дервиш? Порыв изошел из него; и слетели на грудь напряженные темные руки, откинулась мертвенно вся голова отвисающей прядью; и вот подгибаются тонкие ноги; рука, упавая бессильно, — медлительно тянется за головную повязкою, брошенной наземь. Таким он зажил в нашей памяти; мумией фараона Рамзеса Второго; казалось, что ветер провеявших дудок в прибое «там-тама» нечеловеческим что-то ему рассказал языком: о древнейших мирах. *** О чем ты воешь ветр ночной, О чем так сетуешь безумно? Что значит странный голос твой, То глухо-жалобный, то шумный? Понятным сердцу языком Твердишь о непонятной муке, И ноешь, и взрываешь в нем Порой неистовые звуки. Казалось, что в образе невыразимого лика его говорили нам тайны: века и народы; известное что-то, что после забыть невозможно — — «Ты знаешь меня?» — просунулось в складки его сумасшедшего лика из Вечности; лик этот я узнавал; я не раз уже видел его (я был должен увидеть его очень скоро: и много позднее)... 358 Я видел тот лик уже... в Нижнем; однажды, гуляя по Нижнему, встретил я бледный и белый таинственный профиль с

кругами вокруг испугавшихся глаз; и — покрытый платочком: — «Кто это, смотрите?» — «Наверное это хлыстовка», — ответили мне: «через три поколения хлыстов у хлыстов прорезается этот разительный отпечаток». И вот отпечаток такой же я видел у дервиша; видел и — ранее: на лице побледневшего Никиша за исполнением C-dur-ной симфонии Шуберта; у величайшей же исполнительницы песен Шумана и Гуго Вольфа, насквозь просиявшей духовным искусством, Олениной*, видал я то выраженье, когда на эстраде она вырастала... до Атласа; вскоре увидел в Каире я то выраженье у мумии Фараона Рамзеса Второго и после оно, выраженье это, вперилось в меня из глаз — Штейнера. Блеск бриллиантовых глаз кайруанского дервиша в пестрых циновках и желтых колонках был — тот же; он лишь просветленный горел на лице Олениной; и рассказал о себе очень многое... в глазах Штейнера; блеск этот в дервише матово как-то подернулся давней тоскою о мире; и был как бы остро раздроблен ударами злой современности; взгляд поглядел из веков: это встала прекрасная мумия; проговорила; и — снова погасла. *** Каир 911 года, Карачев 919 года Мороки Так Кайруан нам пропел свои сказки;

стеною, мечетями, ревами, пляскою дервиша, коброю; мы колебались немного меж Бискрою, Сахарой, Ораном, Испанией и Палестиной, Египтом; Египет — взял верх. Кайруан остается воротами в моем восприятии Африки; видели эти ворота, не пройдя под колоннами их; оттого-то облупленный город стоит точно призрак, — сухой, пережаренный, злой, запахнувшийся в дымный бурнус из песков, гоготавших и в ночи, и в дни, взрывавших в душе первозданные хаосы; переплетались, проплыв перед взорами, мрачные мороки мраморных мавров: под лепетом лавров; и — громкие ропоты в черные ночи гогочущих негрских роев, разрастающихся грозно под зданием белой мечети с развернутым знаменем черного мира — белейший бурнус, облекая чернейшее тело, сплетался в сознании в черный и белый орнамент, которым расписаны крепкие кубы глухих кайруанских домов, поднимающих башни и кровли над прожелтнем древних облуплин, обсвистанных ветром. *** Мы вышли на станцию, бросивши взгляд на зубчатые стены; топорщилась башня желтеющим кубом; чернели разъятою пастью ворота, где бледно змеилась дорожка неясных бурнусов, сквозь клубы вихряемой пыли; стояли мечи минаретов среди приподнявшихся чалм куполов; и казалось: что вот приподнимутся все седобровые головы к небу; завоюют: и — вздрогнет Европа, и — новый Медхи опрокинется бурей бурнусов в ветшающий днями, в облупленный мир: в мир Европы. *** Полезли в вагоны; и наглая буря толкала нас в спины; вуаль от жены отвивалась и билась по воздуху самовольными змеями; все мы хватались за 359 шапки; пожал руку «Мужеству» я; где-то там проходили верблюды; грифиные морды медлительно шлепали там на мозолях; и тощие остовы гордо возвысились горбами, тащили мешки волосатых зобов. *** Тихо тронулись в вихри: тускнело, дымело, бурело, визжало; мелькало невнятными пятнами бури на выясне неба; и после мелькали нам пятнами просини в протемне бурого хаоса клубеней пыли. Прощай, Сахарийское пекло, к которому рвался душою я здесь; еще я не увижу тебя, не увижу Габеса, Гафсы, не увижу Ерга, где качается на горбе туарег-копьеносца, в литаме, с мальтийским крестом на щите, пролетающий в ужасы красных самумов до вод плоскодольной Нигерии, где поучал Али-Баба, откуда бежали на юг негритьянские толпы до Конго; там Конго в тропическом жаре лесов поукрыло одних мусульман миллионы*; и — столько же, быть может, или более даже язычников; там лихорадка нас ест; там и воды кипят бегемотами; там баобаб — раздул ствол; там лениво бредет носорог, на ходу зашипнувши клочечек травы; и — приходит в жестокие ярости, внюхавшись в запахи бедного негра: бежит на него; с неожиданной прыткостью носом подбросивши в воздух, он с той же прыткостью, дико подпрыгнув на толстых обрубках, склоненной клыкастою мордой, как острым кинжалом, пропорет летящее кубарем в воздухе тело; и ловкий спортсмен ловит шарик на палочку, так разыгравшись с детьми — в биль-бокэ; в этих конгских лесах, еще есть до сих пор биль-бокэ носорога, ловящего палочкой рога испуганным шариком сжатое тело; оттуда когда-то по всей африканской земле забродил великан, ископаемый предок его, с непомерно огромным двурожием носа; чудовищный арсипотериум, кости которого были открыты Осборном**; таинственный здесь обитал меритериум, или «слононог». Ты уходишь, о Африка; тайны свои мне открой; я хочу в Тимбукту, в Диэннею, на озеро Чад, или даже... в Габеш; где, как мы, православный король чернокожих украшен венцом белых перьев, и где золотистые шкуры прыгучих и злых леопардов слетают с плечей, как плащи. Призывает нас юг, а мы едем на север; из высвистов сирых безгорий, танцуя проносятся бурые

мути; и рвутся, и рвутся, и рвутся и все уплясали куда-то, крутя горизонтами; ясны пространства сожженной степи. Пересадка: пропал «Sable vif»; пролысели, бессильясь чахлыми травами, пятна чистых солонцев не дымящих песками в ослабнувшей буре; редуют они, пропадают и вновь пересадка под Сузою; то — Калаа-Спира. Подали поезд, — уже настоящий, с комфортом; уже полосатятся пятна палаток; есть люди; и станции — чаще; и — пятна лепящихся домиков — чаще; и — первый белеющий купол в нелысом пространстве; деревья, прижатые в купки, соломою крытые крыши приниженных гурби: Громбалия: почва гребнится; десяток бурнусов чуть веет ленивыми взмахами складок; косматая спаржа; мечети, оливки, уже облетевший миндаль; залиловился издали рог Джабель-Ресса; на миг прорвалось голубое пятно Средиземного моря; сосемся ущельями; вот пролетел Гаммам-Лиф. И — Радес там стоит на холме минаретами: в блещущей зелени. Каир 911 года 360 Карфаген Наконец мы увидели Карфаген. Мы покинули утром Радес; пересели в Тунисе, и вышли на маленькой станции; скучных туристов с биноклями не было с нами; на станции мы увидели лишь несколько скромных колясок, да несколько

скромных арабов; мы взяли с собой одного; и без торга уселись в пролетку (здесь цены — по таксе). Кругом — ни села; зеленели травой холмы; чуть свежеющий ветер ее колебал; зачернела — распашка. И то — Карфаген. Карфаген еще ждет своего Мариетта, тая глубочайшие недра столетий: под травкою холмиков; так еще мало раскопок; вот здесь мимо нас проблестит из травы изразец; мы сошли перед тяжелым куском обсеченного камня; две мраморинки я любовно себе опустил в саквояж; они — теплые вовсе от солнца; то — мрамор позднейший: шестого или пятого века, — эпохи, когда молодой Августин, появившись сюда из провинции, стал упиваться риторикой Цицероновой мысли, отдавшись страстям; протекает здесь чувственно первый роман Августина; здесь борется он со страстями позднее; здесь он отдается со всей прирожденною страстностью ереси Мани, вступая в ученые споры с приверженцем догмы Христа, здесь встречается с Фаустом, манихейским учителем, против которого уже после составлен трактат «Contra Faustum»; отсюда он едет в Италию, в Рим и Милан. Эти мраморинки, вероятно, собой украшали фронтон величавого здания в Августиново время. Откуда-то сбоку на нас набегают толпа голоногих мальчишек с камнями и с карфагенскими лампочками; мы их гоним; они продают, вероятно, подделки. Садимся в коляску; и — едем, кругом начинаются всюду осколки развалин; здесь все — поразрыто. Раскопки недавно велись интенсивно; подробности древнего Карфагена теперь установлены: улицы, виллы и храмы. А тридцать лет ранее не было здесь ничего: были холмики; вид открывался на море; здесь можно лишь мечтать о былом; но столетием ранее вовсе не знали, что именно здесь восставал Карфаген, что холм Бирзы есть холм Карфагенский, что два озерца перед морем — остатки пунических портов; на это впервые указано было по показаниям одного офицера, Шатобрианом (так, кажется). В 1875 году кардинал Лавижери настоял на раскопках; теперь установлено место для римского и карфагенского города; много работало братство ученых монахов на этих местах; и до сей поры здесь обитает коллегия белого братства; и белые братья отсюда заходят в Радес: оказать медицинскую помощь; в белейших хитонах и в пурпурных фесках, с крестом на груди, опираясь на палку, они обегают окрестности; многие среди них — археологи. *** Обращают внимание остатки огромного акведука эпохи пунических войн: он — обслуживал римлян; уже от обильной кровавыми розами Эль-Арианы (поселка) повсюду — остатки его; и — среди этих холмов; тут же — мраморы римских распавшихся виллочек в веющей зелени плиты; и вот — следы цирка (арабы разграбили целость руин его: из карфагенского камня построен Тунис); тут же место мучений: бросали подвижников львам, обитавшим в обилии близ 361 Карфагена когда-то: дорогу, ведущую от Карфагена к Тунису, когда-то украсили львами, прикованными цепями к столбам*. Вот, в разрытом пространстве, — арена; а около углубление (как бы коридор): это ход на арену от львиных припрятанных клеток; склонившись над входом из мест кругового партера, ленивые граждане видели бег разъярившихся львов: от прохода к арене; а вот — коридор (уже другой); здесь несли на носилках замученных; надписи на кусках балюстрады; и своды, и ходы; вот — текст одной надписи; он — заклинание** — — «Божество, хорошо заключи ты в темницу рожденного Фелицатою — Мавра. Пускай он не спит: ты лиши его сна, Фелицатова сына... О Ты, Вседержитель: во ад низведи Фелицатова сына, ты, — Мавра. О ты, повелитель Кампании, о ты, повелитель Италии, — Ты, власть которого простирается до болот Ахерузии, Ты низведи прямо в Тартар его; Фелицатова сына... свяжите, схватите и в цепи закуйте его, Фелицатова сына...

сожгите все члены его, сердце, прочее все: все сожгите, что будет от Мавра, рожденного Фелицатой»... — В одном месте цирка часовенка в память затерзанных львами; и в ней — небольшая колонночка с надписью: «Evasi!»... Вышли из цирка; мальченок пристал с амулетами; мы — покупаем: один, другой, третий; всего — не купишь; мальченок, второй — пристаёт; мы садимся в коляску; араб уж на козлах; мы — тронулись дальше: холм Бирзы на склоне отчетливо разрешается в древнее кладбище... карфагенян: саркофаги; и — черные дыры в земле.

Треугольною острою крышкой отмечен пунический саркофаг; большинство из них — каменные; здесь в одном месте нашли кучу сваленных старых скелетов; впоследствии обнаружилось: это — все жертвы чумы, бывшей здесь; о ней много рассказано Диодором***. Древности, здесь извлеченные, в трех находим пластах: тут арабские древности, относимые к средним векам (из эпохи святого Людовика, бывшего здесь); здесь — следы крестоносцев; есть древности Византии; но более — римских; остатки древнейшего Карфагена встречаются глубже всего, поражая изяществом. Вот — и сиденья, и сцена театра; вот — ложи; они сохранились вполне; вот —

цистерны, или ряд полукруглых отверстий; в отверстиях, точно в пещерах, ютятся теперь бедуины (поселок); из рвани протянуты грязными лбами старухи; бедуинята бросаются к нам: — «Аа!» — «Бакшиш!» — «Но мы — далее!» Вот и музей; небольшой он; при входе с нас брат (белый брат) берет мзду; мы — проходим. Музей этот — частью раскинутый сад перед зданием скромных размеров, где стены уставлены глыбами пестрых сокровищ; часовня стоит посредине; она — в честь Святого Людовика, некогда здесь опочившего; статуи: вовсе безвкусны они; отразился упадок в них римского творчества: Гений, Виктория (т. е. Победа). Победа имела свой культ в Карфагене: пространство музейного садика — место, где храм Эскулапа увенчал римский Акрополь; а раньше стоял здесь пунический храм; во втором еще веке**** разрушен был 362 он; стены садика — в досках; на досках ряд надписей (все — по-латыни); под стенами — множество римских амфор; отступя же от стен, — возвышается ряд саркофагов (пунических); многие — малы; господствует мнение, что в них прежде таился лишь пепел сожженных; 300 отроков, 200 младенцев, принес Агофокл в жертву богу Молоху во время осады пунической крепости римскою армией; множество малых гробов указывает на множество душ, здесь сожженных когда-то; вон — целая горка их. Входим внутрь здания: можно ли все осмотреть в один день? Мне бы надо недели просиживать здесь — так здесь все интересно; в двух, в трех малых залах рассыпана бездна сокровищ; хотя бы пунический зал, где все мелочи ярче томов нарисуют картину древнейшего быта. — «Carthago, Carthaginiis, Carthaginiensis» бывало твердим гимназисты, не ясно себе представляя конкретно, что есть тот «Carthago»; потом прочитаем мы все у Флобера в «Саламбо»; ряд пышных картин возникает в сознании а la Семирадский; и мы — не вживаемся; после обзора музея, теперь мне отчетлив «Carthago». Вот ряд безделушек: я тоньше работы не видел нигде; все — ручная работа; ее разглядеть можно в лупу; сгибаюсь к стеклу, чтобы увидеть всю нежную прелесть легчайше слиянных линейных мелодий камней ничтожных размеров; градация линий слагает симфонию быта и вкусов далеких столетий (камея, амфорочка, мальй резной амулетик, смех рожечки, змейки, точеная ручка ножа) — на пространстве аршина, который вы можете изучать целый месяц — весь быт Карфагена кричит еще ярче, чем в ярком романе Флобера; вот — столик с браслетами (хватит на месяц!); вот — стол ожерелий (каких!). Карфагенская мелочь вещей изощренней египетской (много я видел последней в булакском музее в Каире); но более прочих влияющих бытов Египет сказался на них; есть в фигурочках, статуэтках — от жеста Изиды; а вот — плоскокрылые коршуны; нечто в них есть в египетских реющих ныне еще над Каиром, а вот — не египетский хохот головки камеи; в Египте фигурки, камеи таинственных лиц не смеются: чуть-чуть улыбаются, как... Джиоконда; здесь рты они рвут: от сплошного какого-то хохота; хохот камней почему-то напомнил кровавые оргии злого Молоха. Вот — перл: это — крышка от саркофага, почившей, должно быть, прославленной жрицы; изображение жрицы — на крышке; в изображении лица есть что-то от Греции; восстает VI век*, вот — надгробная крышка; следы стертой краски на ней; и под ней — саркофаг; в саркофаге же — кости: нетленные кости прославленной жрицы. Танагрские статуэтки: и блюда, и утварь; вот — бритвы с резьбою на ручках; прочел я: такие же точно ножи, той же формы, со схожей резьбою — ножи боевые свирепого танганайского негра; теперь в него, может быть, брызнула капля погибшей культуры; другие же брызнули капли — куда? Вспоминаем мы здесь, что цвета, нам пестрящие взор — ярко-синий и желтый: орнамент

арабский Тунисии их повторяет; случайно ли это? Не знаю, но знаю, что брызги разбитой культуры на северо-западе Африки, точно осколки стекла, здесь и там, через зелень позднейшей пробившейся жизни блистают отчетливо; и — желтосиний орнамент Тунисии, верно, неспроста — такой желтосиний; неспроста мальтийским крестом увенчали щиты туареги; неспроста венчает отчетливый крест туарегский кинжал. 363 *** Просветленные мыслью о связи культуры, мы выходим наружу: выходим из садика; вон — Захуан, вон — вершина Двурогой горы, а вон — Пратес (per gates): наш милый Радес; и лазурен, и светел нам веющий свежестью день; в ясном воздухе слышатся ярко чеканные речи бессмертной латыни: «Carthago»... «Carthaginis»... Все — опрозрачено: дальше — садимся в коляску; и — катим; дорога врезается в рыжий песчаник: колеса хрустят; омыляются лошади липкою пеной; их бег тяжелеет: крутеют подъемы; зеленые холмики валяются на плечи — вниз, опадая, как будто разглядясь у моря; меж ними присел Карфаген; море, рытвины, цирк и театр — нам отсюда являются в той же плоскости; а голубые эфиры бьют в грудь, упадая с верхов; улыбаясь друг другу, отходим в восторг вознесений: в волне бледно бьющих зефиров как будто отметилось что-то воздушное, спускаясь, медленно крепнет; едва различимая линия тихо толстеет; она осаждается в воздухе образом тонкотелого минарета; другая такая же линия — явственней: то — полукруг, белый-белый — далекого купола. Боголюбы 911 года. Брюссель 912 года Сиди-бу-Саид Минарет, минарет, минарет; куполок, куполок; полукруглая линия купола, купол на белом сверкающем каменном кубе, — весь белый, сверкающий; белые кубы домов среди рыжих песчаников ярко стреляют в глаза белизною; и — падают с выси на нас полукругом, отчетливы тенью сквозной осиненные впадины улочек, пересеченных густеющим золотом солнца; все то, приближаясь, твердеет; линейные плоскости вот, обступя, наливаются тяжестью камня; пространством тяжелым становится стая домов, розовеющих явственно в солнце своими боками; и явственно впадиной двери, окна, тупичка, перегиба, прохода они просинели. Давно наблюдал с плоской крыши Радеса чуть видную белизну высокого мыса, которым свергается Африка в море; та белизность — Сиди-бу-Саид; в этих кряжах живут богачи; много мавров здесь водится; двери домов — изощренней; когда же приблизившись к дому, его белизна, как нигде, рассеется на ткань кружевеющих здесь изразцов; то — изящный квадрат безоконного бока исходит блистающей вязью зелено-синеющих цветиков с вкрапленным кармином розы, блистающим глянцем; то очерк дверного квадрата с зеленою дверною подковою блещет затейливо медными бляхами; та чешуя мелких блях покрывает подкову дверей, посредине которых литое, витое кольцо; по бокам — две колонки; над дверью ритмично идет полукругом отчетливая изразцовая полоса синерозовых глянецов на белом, слегка розовеющем выступе дома; а выше — решетка окна зеленеет и из нее над подковою двери свисают цветы. Такой дверью выходят дома на ступенчатость улочки; выше над ней — перегиб, как бы арка орнаментов; видишь под аркою ты продолженье ступеней; и видишь зареющий блеск: прозарел минарет и мулла призывает к молитве; под аркой, у входа в кафе, на ступенях пышнее араб лепестками плаща, в высочайшем, как митра, тюрбане, окруженном яркою золотою веревкой; ты видишь, что нет гондуры на арабе; он весь перекручен под белым плащем белой шерстью; и он — розовеет, как домики; это, наверное, мавр, обитатель поселка. Коляска осталась внизу: поднимаемся в белых пустынях крутеющей улочки; сбоку пролеты — в просторы; над кручей — перила; под кручами — 364 пена грохочущих волн; я — прекраснее места не видел еще; весь Радес — только проза перед этой поэзией красочных линий и звуков; идя по ступенчатой лесенке, кажется нам, что мы шествуем в небо; уже голубеет душа; не сквозные ли наши тела? Но — дома расступились: перед нами — площадка; наверное, здесь высочайшее место окрестностей; ярким узором кровавых полос изразца — над перилами (где-то внизу) разблисталось кафе ниже вьющейся улочки; сверху накрыло то все голубое раздолье; а спереди — небо, море воздушно слились; в это все убегает маяк; мы отсюда его наблюдаем: кровавое око нам видно в Радесе; он — вертится: раз-раз — мигнет; и потом — не мигает; в то время белеющий сноп его падает в море и снова — раз-раз — подмигнет. Закрутили налево обрывины, мысы и вдавлины береговых очертаний до самой Бизерты*, направо — тунисский залив; и мыс — Добрый, бросающий сноп с маяка, освещающий тракт пароходов, бегущих от Гибралтара к Суэцу; а сзади — сливается лентой залив, расширяясь над нами на десять и более километров; едва там мутнеет Тунис, едва виден Радес; но малиновый вечером верх Захуана все так же отчетлив; Сиди-бу-Саид весь под нами; под ним — провалились

все карфагенские холмики; пятнышком белым едва видим нам карфагенский собор; море — с трех сторон хлопает; гребни, шипя, неустанно дымяют соленую влагой. *** Сиди-бу-Саидом кидается Африка в море; за морем — Европа; Европе подставил бурнус от нее отвернувшийся мавр; знает он; заскрипит колесо на сиди-бу-саидском подъеме; и тащит — неверных к утесу, с которого старый маяк, как циклоп, одноглазо уставится в волны, бросая снопы бриллианта в кипенье воды; но он знает еще, что от Сфакса, Гафсы, Суз потянутся толпы паломников с яркими стягами к чистым костям марабу, опочившего здесь; в его честь понастроены все эти пальца мечетей; село богатеет доходом с паломников. Кто марабу? *** Помнит верно неверный: им чтимый король покидал берега нечестивой Европы когда-то с отборнейшим войском; расправила крылья косматая стая судов, нагруженных конями, оружием, множеством воинов, с крупным крестом на руке или груди; их Людовик Святой всех повел на Тунис; здесь в холмах Карфагена, надолго раскинулось станом неверное войско, боясь нападать на Тунис; но чума загуляла в палатках ленивого крестоносного войска; и умер Людовик Святой от чумы. Так расскажет неверный; но это — не так. Для арабов часовня Людовика — ложь и обман, если только не глупость неведенья; так было дело: Людовик король был правдивый и честный владыка; и оттого он задумался долго перед белым Тунисом, не смея напасть на Тунис; размышлял он о верах; открылось ему перед боем величие магометовой веры; сомненья одолели его; затворялся в палатке король, изучая Коран; некий опытный муж, тут прослышав о думах Людовика, храбро предстал перед ним, держа славные речи о вере; Людовик им внял; он склонился к Исламу; покинувши тайно палатку свою, он исчез с правоверным учителем веры, нет, он не погиб от 365 чумы, но он хитро себя подменил, положивши на ложе свое зачумленного воина; гяуры верили в смерть его; страх охватил их войска; неудача постигла поход. Между тем обращенный король научился пяти омовеньям; и — прочим обрядам; прожил он года в полном здравии, день ото дня становился святей и мудрей; он стал под конец своей жизни святым марабу, прославленным целой Тунисией; толпы стекались к нему, как стекаются ныне к костям марабу из Гафсы, Кайруана и Сфакса — процессии с пением, с боем там-тама, с развернутым знаменем, на котором красуется красный изогнутый серп со звездой. Марабу — есть Людовик Святой: и в Сиди-бу-Саид все знают про это. Не знают — неверные... Здесь, в вышине, окруженные с трех сторон морем, передаем мы друг другу слова мусульманской легенды, напоминающей нашу легенду о Федоре Кузьмиче, под личиной которого кончил свои фантастические дни Александр Император. Пора и домой: опускаемся вниз по ступенчатой улочке, быстро садимся в коляску; и — катимся вниз, к Карфагену, минуя его; проезжаем попутно безвкусную Марсу, где бей коротает все время (теперь в Гаммам-Лифе он); Марса не помнится мне; проезжали ее мы уж вечером; сумерки падали; ночью мы были в Тунисе; с последним же поездом мы возвратились в Радес; нам светила луна; и плутая среди улочек, увидели тени мы белых бурнусов; и слышали гарканья их из кафе: араб спорил с арабом, проклятьем оглашая село, во тьму кинулся спорщик; бурнус, распростерши огромные крылья, как лебедь, понесся в пространства луны. Еще долго в ту ночь мы сидели на крыше, смотря, как прозрачнися дымом, в луне обозначились мороки бирюзовых пространств, кружевеющих призрачно очерками куполов, белых стен и оград, через которые бледно в луне низлетали соцветья; пурпурные в солнце; там с крыши далекого домика, скрытой стенами, куда, как мы знали, выходит гарем по ночам, раздавалось пение; улыбалась в луне там косматая роща оливок, как бы под покровом сплошной оловянной бумаги; песчаные косы залива — белели, серебрили; оттуда, где были сегодня, от дальнего горного выступа медленно даль прободало кровавое око; моргнул циклопический глаз маяка; и — сомкнулся; еще и еще; и — надолго сомкнулся. Так трижды моргает на нас карфагенский маяк; и — смыкается око; мы видим лишь дальние светлы снопа — где-то там, на волнах, когда око не смотрит. И — снова моргает: и еще, и еще... *** Среди цветов, в полосатых (и желтых, и красных) шелках Ася тихо поникла над чаем; Людовик Святой не дает ей покоя; а я, закрыв голову шарфом, я — вижу отчетливо древние образы; старый «Carthago» встает и я слышу: — «Carthago delendaest»... Нет не «delenda»: ничто не угаснет. Вот брызнули лучики грелки; метнулась сень зайчиков в розовых розанах пола; задумчивость, радость и сказки и песня араба, унывно гортанная; издали; Африка нас поглощает, Европа свернулась комочком; приподымаются издали нам — Тимбукту, Диэннея, Канкан, павший город великого Самори; и предносится взору великая, африканская Франция. Брюссель 912 года 366 «Двадцать две» Франции Вы не знаете Франции: европейская Франция —

малый кусочек, отросток гигантского тела, лежащего в Африке, — малый кусочек, закинутый как попало в Европу, отломанный кручами Гибралтара; и — брошенный: за Испанию. Знаю наверное я: никогда не пришло вам на ум точно вымерить Францию; вымерил я — отношение ее европейских частей к африканским за вычетом Мадагаскара (размер мне его не отчетлив) равняется дроби $1/22$. Марокко, Алжир и Тунис открывают вам мало известную Францию; и — пространства косматых, разлапых лесов, уходящих к экватору, завершают ту Францию; невероятно раздутое тело желтеет раздутым своим животом — сахарийским бельмом; вся Сахара есть Франция; за Сахарою — Франция; эти Франции — кипень горластых, цветных, беспокойных народностей: толоко толков и морок цветов: — туареги, арабы; и — негры, и — негры, и — негры; становища негров с остатками черной культуры, великолепной, создавшей высокие памятники литературы, — становища негров, живущих в сплошной некультурице; разнообразие негритянских племен: дикари в ярких перьях; и дикари в перьях страусовых, покрытые шкурами; и достойные, смелые тимбуктукцы: все отродия цветокожих метежуются

громкою жизнью, сочатся, клокочут в артериях организма страны, привлекая кровь нации из головы, европейской и знаемой Франции, — в ее черное африканское сердце; за Францию, — ту, которую знаем, — мне страшно; теперь еще время отлива (от головы национального организма к желудку) всех соков страны: надо ей беспрепятственно переварить то огромное тело, которое поглотила она — т. е. двадцать две Франции, чтобы стать после кровного усвоения Африки — $1/22$ -ою себя самое, я боюсь — будет час; кровь с огромною силой прильет к голове организма французской Европы, — кровь черная: миллионами негров, мулатов вдруг хлынет в Париж, Марсель, Гавр, Лион, — Африка, так, что жилы страны разорвутся, под мощным напором; и европейскую Францию быстро постигнет удар: почернеет ее голова; и в XXIII столетии будет Париж переполнен курчавыми толпами черных «чертей»: парижан! Завоевание Францией Африки как-то мы все проглядели; об оккупации марокканских провинций мы только что прочитали в газетах*; Марокко же — малый кусочек земли по сравнению с пространством тропической Франции; собственно говоря: центр ее не в голове, а — в ногах; голова — истончается (прекращенье рождений): худеет, худеет, худеет она; все-то пухнут и пухнут, чернея, французские ноги; такая распухлость — болезнь: элѳантуаизис (так кажется). Бедная Франция! Вот — Марокко, Алжир и Тунис; вот Нигерия, Сенегал и Гвинея; вот — грудь, а вот — ноги, меж ними — широкий живот: то — Сахара; знаете расстояние от руки до ноги современной «француженки»; от Алжира до... скажем, Луанго; я — вымерил: расстояние от Алжира до этого пункта равно расстоянию от Москвы и до Лондона; расстояние крайних точек ее поперечника (в талии) — от Сен-Луки до египетского Судана, опять-таки приблизительно, есть расстояние от Москвы и до Лондона; у миниатюрной «француженки», надо признаться — не очень-то тонкая талия; Франция быстро толстеет, она — негритянка; не гальский петух ее символ; и — не кадриль ее танец, скорей ее символ — жираф; ее танец — канкан; и не надо быть тонким провидцем, чтоб внятно понять: уже 367 даже в XX столетии в тонкие звуки «рояльной» культуры Европы войдет глухо-дикий рыдающий звук барабана, там-тама; «ля-ля» превратится в звук: «бум». И забумкает звуком «бум-бума» пространства Европы. О, бедная Франция! Африканскую Францию ныне слагают — во-первых, трехцветие берберийских культур: то — Марокко, Алжир и Тунис: европейская Франция — треть их тел; далее следует — грозный Туат и Сахара (равны восьми — «Франциям»); ниже — снова три «Франции»: Сенегал и Гвинея, а Дагомея, слоновое побережье, опять-таки превышает размерами европейскую Францию; кажется, что Нигерия составляет две Франции; около четырех их составят: Убанг, Габон, Среднее Конго и земли бегущие по направлению к востоку от озера Чад до — Эль-Фашери и Бахр-Эль-Газалья. Так 22 Франции составляется вместо одной; судьба Франции ужасает меня; иль она — механически нагроможденная глыба: колосс глиноногий, который рассыплется скоро (не может не рухнуть он); Францию очень скоро постигнет удар в этом случае; и — мне жалко ее; если ж Франция есть организм, а не двадцать две «Франции» плюс «европейская» Франция, то — вдвойне ее жалко; ведь белая кожа культуры обварится в африканском котле, почернеет зловеще ожогами негрской культуры. Да, да, — во второй половине истекшего века тишайше свершалось завоевание знаемой Францией двадцати двух неизвестных Франций, пока пребывающих в подсознании французов, но обещающих всплыть очень скоро в «мулатских» произведениях ново-французской культуры. Уже выявляющей вкус «Oriental» и «Arabe» — начиная с Гонквров.

Французском империализме, уже выходящем за пределы Франции и Европы, Барбье д'Орвельи, Маллармэ и Рембо до Гогена, Клоделя и прочих пророков «мулата» в французском*. Завоевание Францией двадцати двух своих «Франций» есть, собственно говоря, завоевание Нигерией, Дагомеей и Конго — старинной Европы; Европа — «юнеет»: Европа — «мулатится», собираясь «онегриться»**; пока еще что только милые негрятенки — апаши шалют себе в древнем Париже; и то ли еще мы увидим — в текущем столетии: вероятно, увидим мы скоро оазис Сахары — «юнеющей» Франции — в городских, крупных центрах: в Париже, в Марселе, в Лионе, в Бордо; вероятно, бэбэ, именуемые апашиами, пожелают продеть себе кольца в носы и облечься, согласно инстинкту, в звериные шкуры; и, может быть, разовьются в песчаный оазис — со скачущим туарегом, фалангой и коброю. Бедная переглотавшая Франция, обреченная быстро свариться в наглотанных «Франциях». В плодоносных лучах и тропических жарких лесах пока что закипает стремительно цивилизация будущей Франции; появляются неофранцузы среди нигерийцев, и зреет Нигерия в сердце француженки; множатся быстро полки сенегальских стрелков, составляющих, может быть, наиболее верную, храбрую часть

вырастающей армии, угрожающих в будущем африканским колониям Англии, не умеющей взяться за души суданцев; я знаю наверное: в будущей европейской войне негритянская армия будет оплотом французов. Мы ахнем! Порой нелегко доставалось французам завоевание Африки: кровь проливалась рекою и битвы шумели за битвами; а — во французской палате молчали о громе орудий в Нигерии; из боязни, что гром тех орудий пробудит вниманье 368 Германии, или Англии; страх лишиться колоний смыкал очень часто уста депутатов: от правых до левых; мы знали историю министерских скандалов; то все — пузыри, пена, пыль; нам она подносилась охотно французской Палатой: жемчужины прятались под шумок мимолетных скандалов, пощечин, дуэлей, шантажей. И вот генерал Буланже прогремел на весь мир; этот жалкий «трескун» — знаменитое имя; а Самори (гениальный, отважный стратег), — ну признайтесь: о нем вы что слышали? Во второй половине истекшего века полки за полками впервые прошли в Сенегал; в восемьдесят третьем году (так недавно еще!) они были у берега Нигера; в это время полковник Делорб взял Баммоко; и — кто знает? А в восемьдесят седьмом — на французов поднялся с востока и юга могущественный негритянский король Самори; и кидал много лет на французов свои чернокожие толпы; о нем не писали в газетах; весь мир говорил: «Буланже, Буланже». И напевали известнейший марш — Буланже; я едал Буланже, испеченного из вкусного мятного теста: то было... в Клину. Замечательный вождь, — Самори разбивал многократно колонны французов; вот как о нем повествует участник суданских походов*: — «Самори. Имя это... гремело... в Судане; заслужена слава его; легендарно его появление; и — эпопея владычества этого деспота... В восемь лет образуется им государство, равное 400.000 кв. километров;... образует громаду. И став победителем, принимается он за реформы». — Баратье нам подробно рисует военные, религиозные и финансовые реформы, произведенные быстро, талантливо среди громов войны, чернокожим политиком; и — говорит: — «Все усилия Самори устремлялись против нас; в продолжении шестнадцати лет нас держал начеку он; в... сопротивлении отмечаемы два периода: от 1882 до 1886; и — от 1896 до 1898... События показали нам, что Самори вождь народа, стратег и политик»... — Характеризуется первый период упорнейшей франко-негрской войны отображением у Самори ряда пунктов (Уоссебугу, Сегу, Кониокари, Ниоро); — и завершается этот период: падением Канкана. Но Самори не сдаётся: упорно он бьет в стальные заборы французских стрелков чернокожими стаями; одновременно: пытается он в передрыгу втравить англичан; его посланцы в Лондоне; и находят они — благосклонность, внимание; но англичане боятся открыто поддерживать черного друга; он чувствуя силу французских штыков, делит надвое армию; и одной половиною отбиваясь от французов, другой покоряет себе ряд племен, их вливает в себя; и — отступая под натиском Франции, не уменьшает пределов возникшего негритянского государства; характеризуя стремительность, ум, дальнзоркость, отвагу упорного чернокожего воина; Баратье называет его: — «Африканский Наполеон»! Удивленье французов перед гением «черного» — поневоле наводит на думы: о «черных» во Франции: о их будущей миссии; не мешает задуматься над характером Франции XXI века; субстанция, из которой он с лихорадочной быстротою формирует полки, чтобы их перебросить на север — совсем неизвестна Европе**. Недавно в прошедшем году, для угрозы арабам уже переброшено для усмирения Феца — теперь. Это — первое веяние переломления на север 369 лавины: пылок над жерлом африканского кратера

первое великое передвижение на север — машины движок над жерлом африканского кратера, непотухшего и собирающегося на нас выбросить свою черную, раскаленную лаву. Но — Самори?.. Защищаясь, как лев, Самори лихорадочно учреждал в государстве своем арсеналы; шпионы его рассыпались всюду; он — всюду пытался выведать тайны отливки орудий; и пробовал даже их лить. Но французы упорство ломают его; окружив, берут в плен; негритянское государство глотается африканской Францией: а бивавшие европейцев полки африканцев становятся быстро французскою армией. Множество черт возникающей Франции — Франции черных — разбросаны в сочинениях Баратье, Дюбуа* и др. Предоставим же слово полковнику Баратье о недавних врагах своих; о покорении Судана он вам повествует: — «Никогда еще не вызывала победа в Европе такого открытого равнодушия; но никогда, может быть, не встречали французы сопротивления такого в рядах неприятеля; мы нигде не несли таких тяжелых лишений, кровавых потерь, как... в Судане... но с суданскими нашими битвами не считаются как-то. Разве что-либо знают о взятии Уоссебугу, Досегвалы и Диэннеи? Но — следует сохранить для потомства воспоминанье о взятии этих пунктов, во имя и победителей, и — побежденных; боюсь, что слова мои вызовут смех, если прямо скажу: пред героями мы стояли; бившиеся до смерти, — герои... как вожди выше названных городов». — Повествуется далее: — «Лишь попал я в Судан, как молва о сражении при Уоссебугу охватила кольцом меня... от большого селения лишь осталась груда развалин... торчали еще: цитадель, арсенал... следы пламени были единственной памятью о героическом предводителе черных, о Бандиугу-Диара»... Далее, описуется самая бывшая битва: «Уже под напором штыков защищающие переброшены к середине поселка; засели они в стенах строений; и открывали по нашим рядам смертоносный огонь; вот — врываются наши стремительно в гущи дворов: а противники отступают в дома; двери выбиты; никого не осталось; и — режутся в глубине темных комнат; и — штык за штыком вырывается из руки пехотинца; уж круг осажденных сжимается; вождь — посредине его; не сдает он позиции... под развалиной крепости, среди моря огня... предпочел Бандиугу-Диара взорваться с детьми, с негритянскими женами — не согласился на сдачу; в своем героическом порыве, как некий Самсон, колебавший колонны святилища, он под ним схоронил, погибая, врагов... Опаленные взрывом развалины ныне стоят, как... останки... античного мира»** ... Вот повесть о взятии Диэннеи: — «То был первый вечер во взятии приступом Диэннеи. Защитники — пали: никто не остался в живых; всюду, в лужах крови, были трупы... Простерлась над трупами ночь. Часовой, прижимая ружье, цепенел в вершине холма... Вдруг он видит: приподымается тень — там, над трупами. — «Кто ты?» — бросает вопрос он; и — тень отвечает: — «Я вождь Диэннеи: убей меня!» — приближается, и, показав на ружье, говорит: — «Я — начальник: убей же меня!» — Но часовой отрицательно начинает качать головой.. : стрелять не имеет он права (ведь выстрел среди ночи — тревога). И — часовой отвечает: — «Ложись: не имею я права стрелять!» Но побежденный начальник погибнувших войск Диэннеи опять его просит: — «Убей меня!» — И часовой отвечает: — «Постой». — Он подходит 370 к заснувшим солдатам: и — одного из них будит: — «Возьми свою саблю...» — И оба подходят к начальнику чернокожих; тот — пробует лезвие острой сабли: — «Да — хорошо: так — убей же!» — И вытягивает шею, он падает перед солдатами... И один из солдат отступает на шаг... очень резким движеньем откидывается; свист взлетающей сабли, и — блеск... сабля падает — падает вождь Диэннеи с головой, отделенной наполовину от плеч...»* — Я нарочно привел два рассказа; в них масса штрихов, поднимающих перед нами завесу недавнего прошлого: мы читали газеты о прениях во французской Палате; мы знали подробности жизни болтающих там адвокатов; и вороватый мосье Депю-тэ, облакаясь во фрак, с шапо-кляком в руке, полонял наши думы, как... полонял наше сердце подчас генерал Буланже, как пленил он однажды мне детский желудок (ах, мятные пряники клинской лавочки Скокова, изображавшие Буланже. Дети их помнят!). О том, что свершалось воистину с Францией в это время, не знали, конечно, все мы; в это время геройски кидались полки на зубцы крепких стен — Тимбукту, Диэннеи, Канкана; мы знали одно про Канкан: «Это танец! Последнее слово культуры пленительной Франции». И не знали мы вовсе, конечно, — насколько то слово есть слово последнее — Франции, Абеяра, Ришелье, Д'Аламбера, Мольера, Расина; и — прочих французов; и — первое слово (младенческой Франции) будущих Самори, Бандиугу-Диар, и... как бишь их грядущих, имеющих скоро возникнуть во Франции «неофранцузов», — французов с ожогом лица, — образующих негрскою кровью своей — прожог на лице белой, нежной Европы: Европа говорит, может быть, в динамите тропических стран ей поставшихся как

ложной Европы, Европа стоит, может быть, в динамике тропических стран, ей доставшихся, как наследие от... черта. В том скором, быть может, пожаре, в громах его, не узнаем мы молний, ударивших в тело «французской» Европы. А между тем: отблеск молнии — в звуке «Канкан». Отблеск молнии — жесты взлетающих ног буржуа депутата: в кафе-кабарэ; эти жесты потом повторялись у нас — среди купчиков; и летучее слово «Канкан» облетело Россию. В Царевококшайске, в Саратове, в Сольвычегодске, в Бугульме наверно плясали Канкан: и — говорили друг другу: «Вот танец-то: одним словом — «Париж». — Может быть, и в Париже так думали: «Наш Paris заострился в Канкане: и fin du siecle заключается в размахавшейся пятке»... — Но эта махавшая пятка не думала вовсе о том, что то — жесты грядущего взрыва во Франции: взрыва коросты «белых» французов во взрыве взлетающих и махающих пятками; взрыве «Африки» в старом Париже, неосторожно доверившим стенки желудка, покрытого язвами явства, — двадцати двум проглоченным «Франциям». Сенегал, Дагомея, Нигерия, может быть, расположатся лагерем, окружая своим чернокожим кольцом укрепления Парижа, — во Франции; оттого-то рассказы о храбрости сенегальских стрелков, или рассказы о храбрости «Банди-угу-Диара», пестрящие мемуары участников сенегальской, суданской кампаний, — вески, значительны; в них встречает нас яркая характеристика будущих европейских соседей. Но жест, о котором в наивном восторге наивно гласит Баратье — жест жестокой, взлетающей сабли солдата над бедным героем немой Диэннеи, — тот жест возмутителен; падает сабля, и — «падает вождь... с головой, отделенной наполовину от плеч»... Не Судан ли наш будущий суд: суд над Францией болтунов, буржуа, адвокатов, банкиров, гоняющей броненосцы в Кронштадт, проливающей слезы о милом Эльзасе; и — под шумок опускающей саблю на голову храбреца «pour manger son Cigot»? 371 Не свершался ли в это мгновенье в Судане суд Божий над Францией? И, быть может, французский грядущий историк, из черных, — какой-нибудь Ахмет Баба напишет последнее слово; — «Это был вечер по взятии укреплений Парижа. Защитники — пали: никто не остался в живых... простиралась над трупами ночь... Часовой, прижимая ружье, цепенел... Вдруг, он видит, приподымается тень, там, над трупами: — «Кто ты? Скажи!» — «Ле-Франсэ: вождь погибшей прекрасной страны, подарившей Европе Мольера, Вольтера, Дидро, Д'Аламбера, Вэрлена... Убей же меня...» Чернокожий стрелок разбудил потихоньку кого-то по имени Бандиугу-Диара: упал Ле-Франсэ, странно вытянув шею; и — сабля блеснула; и Бандиугу-Диара своим лезвием начертал роковую черту на истории Франции»... Брюссель 912 года Вновь Радес Добродушный Али ежедневно заводится в комнатке; потчует чаем его; он — позирует Асе, сидит перед нею; и дергает пальцами коврики; мы оценили доверие: не допускают арабы портретов и снимков; коварные руки коснутся, иголкой снимок проткнут; и — Бог знает, что будет от этого. Так рассудил и Али, когда сняли его для судебного следствия (он, защищаясь от пьяниц, кого-то пырнул), но он выкупил снимок; и с ним — негатив, чтоб... разбить: заплатил двести франков. Ценю поведение Али: перед женой сидит он, послушно позируя: дуется чаем, сластится бисквитами. *** Крыша; Радес! За горами, цветами ползет к серебряным оливкам пустыня: сойдя с корабля, здесь ослепнешь в зеленом и белом во всем, засыпая в миндальные запахи; в каменистых вазах, наполненных водами, дергает рыба своей бриллиантовой спинкою; дергает лик отражение под сикоморой; а пестрая птичка слетает к гробничке: пить воду и делать: «Прх-прх!» Вся в серебряных шариках влаги она. *** Знаю: чащи Радеса; взвывается, — проступит пустыня во всем; а завеса червонится розами: кобра — под розами! Над ручейком — прокаженный, уж кубовый, вечер разъеден бурною прорвиной, свиснувшей в кубовый вечер сухими песками; они заедают глаза уже в марте, когда пережарясь, полянки — лысеют песками; зажаренный будешь в апреле, а в мае вспылаешь, как листик бумажки; и кучечку пепла развеет — июнь. *** Наклоненная Ася над твердым картоном: а перед нею Али, ставший темно-кофейного цвета; когда мы приехали, бледно-кофейный был он; сесби, рыбий разинутый рот, из которого точит миндаль лепестки, точно капли, в колено Али; оскаливший окрестности диск дозирует от ужаса красным кусочком — из кактуса: краюшком, точкою, искрою; — нет ничего: убежал! Светозарятся зори в лазури: как красные щеки объятого гневом лица, — все бока всех домов! Заблещут они просерением злости; сорвутся окрестности, лягут клочками огней, 372 из кафе — на пылимую площадь; вся тьма оплотнеет, как камень; на площади будет лежать черножелтый ковер, точно кожа громадного ящера. *** В юности я изучал Шопенгауера; мне начинали казаться все вещи: идеями; так и теперь; полосатую шкуру зебры шла ночь, укрывая свой лик; полосатую шкуру зебры. *** Сахара есть вода Туниции; помидоры; салаты; цветики —

свои лик, полосатую шкурую зоры. Салара есть воля и уписии, домики, садики, цветики, — мир представлений. *** Два цвета себя дополняют; и вот: черноцветием кроется житель Марокко; снежайше бурнусами веют Тунис и Алжир; и меж ними — вся гамма оттенков: зеленых, лиловых и синих, и желтых, и красных, как «пря» представлений. Здесь в дюнах песчаного моря, заводятся темными блохами берберы, коричневея борьбою с белейшим арабом; и искрами давних ударов на камне стены высекая всю радугу красок. Четыре ступени идей протянули свой мост: различимы четыре культуры; во-первых: культура Берберии — черная, черно, коричнево-серая; в коричневеющей почве копается темно-коричневый бербер в коричнево-сером своем капюшоне, с которого кисточка курится красно-коричнево-кирпичным цветом; коричневы дуги и шашки орнаментов; этот коричневый цвет перегаром чернеет, — в Марокко; откуда коричневый цвет? Белый светоч, взметнул пыль веков, прокраснев, пробурев, прокоричневев, все же сквозь них высвечивается краскою. А вторую культуру синит, зеленит арабеска Туниса: откуда она? Белый свет залетевшей культуры сквозит землистою темною; синятся прозрачные светы во тьме; так арабством пестрят берберийские быты. Оранжево-желтыми красками брыжжется берберство в светлые стяги арабов на юге. Белеет бурнус Кайруана, как призрак, как отзвук великого света огромной культуры, здесь вспыхнувшей, здесь же погасшей. *** Не верю в радесские роскоши я: прохожу, согнув спину к... Али; в черно-сером плаще истомился Али, истребив все бисквиты и выпив весь чай... — «Ну, довольно», — советую Асе, — «а то истомился он бедный»... Заплакала палица бархатным басом «там-тама»; как каменным шаром, кидается в сумрак она — из окна освещенной кофейни; а в грубые ругани рухнувших звуков (и бухнувших гудов, и ухнувших дудок) какая-то гоготливая дудочка кряхчет, кудахчет, как курица; вот и мосье Еринат нам пришел предложить посмотреть... на египетских музыкантов. Пошли. *** На помосте противный слащавец, почти еще юноша, весь в притираниях плясал *danse de ventre*, и — вращал непристойно ходившим меж ног животом, перетянутым шарфом, кидая в пространство гортанные страстности: — «Что он такое кричит?» 373 — «Непристойные гадости», — сплюнул мосье Еринат хладнокровно и просто. Арабы дрожали, впиваясь глазами, нестройно стараясь подтягивать: гадостям; Ася дернула; и — показала налево: на нас разверзался огромный, весь рыбий какой-то, как яшмовый камень, из век вылезавший глаз; безучастный араб, обладатель раздутого глаза, другим наблюдал, как и все, за ходившим меж ног животом развращенного юноши: — «Что это?» — дернул рукою мосье Еринат я. — «Последствия»; — «?» — «Вредной болезни». Каир 911 года. Али Джалюли Мавританское здание с пестрым подъездом, с живой, с поющей водою в саду, с антилопами: — «Чей это дом?» — «Джалюли». *** Среброствольная роща оливок; над нею — зоря; величавый старик, опираясь на палку, плывет на зорю; в ветерок заплескал бирюзовый отлив гондуры; незапятнанно чистый бурнус за плечом шевелит своим краем под белой повязкой, отчетливо сжавшей чечью, под которой умнейшие очи впиваются в зори; и чешутся ветром седины в атласы сквозных, нежнорозовых прорезей;* тихо проходит в оливки... — «Чья рощица?» Снова ответ: — «Джалюли»... *** Из поющего птицами сада пестреют колонки, блестят изразцы; антилопа метается в клетке испуганным рогом: — «Чей сад?» — «Джалюли»... *** Кто такой? Или верней — что такое? Быть может, не имя, а форма ответа, «киф-киф», или «емши»? — «Кто такой Джалюли?» — «Вы не знаете? Бейский министр; был он первым в Тунисии; умер уже с месяц: настроил в Радесе дома, накупил себе рощи оливок, сады разводил; и вот — умер». *** Люблю старика в бирюзовой, сквозной гондуре; «бирюзовым арабом» зовем его с Асей; о нем я писал уже; он — наша склонность; при встрече и он дозирует внимательно нас: 374 — «Кто тот гордый старик?» — раз Ася спросила у М. Еринат. — «Джалюли»... — «Но он умер»... — «То умер министр; это брат его, старый Али Джалюли; тут — история целая, вроде, как сказка» — и он усмехнулся. — «Вчера еще вот он был беден, у нас занимал, — не без гордости вновь усмехнулся М. Еринат, а сегодня — богат: Джалюли был бездетен; громадная часть состояния ныне Али и детей его». — «Так почему же покойный министр допускал, чтобы брат его бедствовал»... — «Сам же Али виноват; он — не брал ничего: от детей и от брата». — «?» — «Его-то ведь дети — кайды; один — кайруанский; другой — кайд Сфакса; он смолоду сам был кайдом; он сам был бы первым министром у бея, который его уважал, да... пришлось вот, бежать ему: он укрывался в Сицилии; земли и деньги его отобрали в казну». — «Почему?» — «А вот видите», — тут затянулся М. Еринат едким дымом коротенькой трубочки, — «он — патриот: до сих пор он гордится тем, что Тунисия им оккупирована; но видит во всем бейские власти, резервированные

горюет о том, что Тунисию мы оккупировали, но винит во всем беснующую власть, разорившую берберов; он с братом бея во дни своей юности тайно составил решительный заговор; целью их было: низвергнуть тогдашнего бея; но заговор этот открылся; брат бея был вскоре отравлен; Али же — бежал; укрывался в Сицилии он до занятия нами Тунисии; смерть бы ему угрожала; впоследствии он возвратился; но жил вдалеке от двора, разумеется; и разводил виноград на скромнейшем участке земли, как простой сельский бербер; сыны его знатны у бея, а он... он — в опале, конечно». — «Теперь он — богач: ну, не сказка ли?» — так в заключение мне улыбнулся М. Epinat; мы ему улыбнулись в ответ; мы давно полюбили Али Джалюли, проходившего сказкой Гарун-аль-Рашида в зорю: из оливок. Каир 911 года Знакомство с Али Джалюли Уже перед самым отъездом и мы познакомились с милым Али Джалюли; мы вернулись с полей, пробираясь по площади; перед «Bureau de Tabac», заболтавши с М. Epinat, Джалюли опустил снеговейную бороду в шелесты розовой прорези в бирюзовом отливе хитона, склоняясь тюрбаном; и — пальцами тер переносицу носа; а просини ясных ласкающих благожелательных глаз устремились на нас; он М. Epinat показал головой в нашу сторону, что-то спросил; и М.

Epinat нас окликнул: — «Monsieur Bougayeff», — так меня называл, — «вы хотите пойти побеседовать с нами в «Bureau»: вот Али Джалюли очень хочет спросить вас о чем-то». Подходим: знакомимся; входим в табачную лавочку; чем-то польщенная очень Madame Rebeyrole переводит цветистые речи Али: — «Я вас знаю давно», — говорил мне Али; поднимая синеющий взгляд и играя точеными пальцами с белой лопастью... — «знаю давно: мы видимся часто на наших прогулках». Стараюсь и я быть цветистым: — «И мы знаем вас: мы справлялись про вас у М. Epinat. — «Как и я» — величаво кивает Али, — «и прекрасно: мы знаем друг 375 друга; теперь — познакомимся; вам же могу быть полезен я знанием мест и людей; я вам дам адреса, указания, справки, надеюсь, вы будете здесь разъезжать, посещая местечки Тунисии; вам адреса пригодятся». — «Мы — тронуты: жаль, что должны мы уехать». — «Как? Как? Уезжаете?» — брови Али поднялись удивленно, — «не нравится вам в нашей бедной Тунисии? Вам неудобно в Радесе?» «Напротив: прекрасные эти места удержали нас дольше, чем следует; мы бы должны жить эту весну в Италии, а вот теперь отплываем в Египет». — «Надеюсь, вы скоро вернетесь из странствий, или из дальней России: в наш скромный Радес». — «К сожалению, может быть, мы не вернемся, но всем мы расскажем, какие цветут миндали здесь, как воздух Радеса целебен, какие достойные люди живут здесь; и наши друзья, вероятно, приедут сюда». Тут Али Джалюли, наклонив седины, помолчал; и отчетливо вскинув бледный, высокий свой лоб, произнес величаво он возглас, который не сразу обдумал: — «Да будет судьбой освещен их приход». Так напыщенно мы говорили за кофе, которым старик Джалюли пожелал угостить нас; прощаясь, он нас пригласил к себе в дом; приглашая меня, он оказывал честь мне (мужчины не вхожи к женатым); Али Джалюли в этом смысле, быть может, как житель Сицилии, некогда уж не считался с обычаем; вот он любезно простившись, поплыл тиховейно к закату; и вот бирюзовый отлив голубой гондуры колебался по ветру чуть-чуть; колебались, легчая, белейшие складки бурнуса; и в розовый шелк опадали пушистые пряди сребрейших седин. Больше я не увидел его. *** Ася — видела; я — задержался в Тунисе в назначенный день, покупая билеты до Мальты; описываю посещение Али со слов Аси: — — в назначенный час, взяв Madame Ребейроль переводчицей, Ася пошла к старику; у старинных ворот мавританского стиля их встретил слуга; ввел во внутренность сада с фонтаном и пальмами; из-за зелени было им видно: Али Джалюли, восседая на корточках под колоннадой веранды, нас ждал очевидно; когда уже гости прошли половину заросшего сада, Али, приподнявшись с подушек, пошел им навстречу; взяв Асю за руку, он тихо поплыл изразцами в свои изразцовые комнаты, где среди арабских вещей возвышалась резная постель колоссальных размеров, и рядом с которой стояло пестрейшее низкое ложе; Али Джалюли показал ей серебрянный кованый ящик старинной работы, сказавши: — «Коплю я приданое дочери: в этом вот ящике». После провел он гостей мимо комнат, увешанных сплошь кайруанскими тканями (здесь по стенам все стояли диваны); в простенках блистал ряд зеркал (из Венеции); здесь в этих комнатах, встретила Асю доверчивым поцелуем дочь старца; ей было всего лет четырнадцать, но ей казалось лет двадцать; ходила она в шароварах широких и пестрых; Али Джалюли называл ее Асе «невестой»; она повела за собою Madame Ребейроль, Асю — на пестренький внутренний дворик с фонтанами (сам же Али Джалюли не пошел), где их встретила старая размалеванная арабка: в шуршащих атласах (жена Паша-паша); все время они проведут вместе и прощались передо мной; и Али Джалюли, сев на

джалюли); засыпали они градом быстрых вопросов порою... деликатного свойства, совсем не стыдясь; разговор протекал в ритуале арабских приличий. 376 Потом снова вышли к Али; отпустили гостей с неподдельным приветом и пышным почетом хозяева дома. *** Я помню Али: вероятно теперь он владелец домов и садов, и полей, и маслин: в Кайруане, в Радесе, в Тунисе, еще где-то — там (часть наследства министра теперь перешла к нему); может быть, тот, кто без нас поселится в Радесе, как мы будем спрашивать: — «Чья это башня?» — «Али Джалюли». — «Эти рощи?» — «Али Джалюли». — «Чьи сады с антилопами, где так лепечут фонтаны?» — «Али Джалюли». И, может быть, как мы, на заре он увидит плывущего ясного старца во всем бирюзовом, с чуть-чуть розовеющей грудью, овечьей белостью чесанных мягких волос; и он спросит: — «Кто этот торжественный старец?» — «Владелец домов, и лесов, и садов, и фонтанов: Али Джалюли». И засмотрится новый, неведомый нами жилец нашей башенки в лопасти рвущихся пальм, под которыми шествует старый Али, где он сыплет пригретые весенним светом зерна щебечущим птицам, или важно несет сладкий корм серорогой, метущейся в клетке своей антилопе. Покажется темнозеленый таинственный всадник из рощ — сторож рощ; и в косматую гриву оливок уйдет он конем, и поднимется миртовой, пышной аллеей он вверх; и — увидит: пятно голубое далекого моря, да рой парусов, да лиловую гору; быть может, увидит он сверху: за белой стеною, в павлиньих хвостах изразцовых веранд, под витыми колонками на кайруанской подушке, сидящего с синим кальяном... Али Джалюли. Да сияют ему золотеющим пурпуром счастья радесские дни, как сияли они нам безоблачно: десять недель... Каир 911 года На Carthage Уезжаем; прощайте, — Али, наш Али; и — Али Джалюли, и — Радес, и — Madame Rebeirole, и — Monsieur Epinat; напоследок жмем руки; и — тронулся поезд; и — мимо мелькает Тунис. *** Мы с высокого борта «Carthage» озираем далекие холмики; тихо вливается рябь в полноводные бухты Туниса; как пришлый народ: разливается, грабит по берегу моря, пыхтят по полям на авто, пробираясь на поезде к дальней Гафсе; и оттуда — плестись по пустыне на рослом «мехари». Да, — верх Захуана таит свое прошлое, помню, как в бухты вливались триремы, и как легионы, блистая железом, блистая орлами значка, проходили фалангами — строить «testudo» пред строем слонов. Это — помнит вершина Двурогой Горы. О, какое количество слез и таймой трагедии здесь, в этой бухте; уже Карфаген поклонился пред Римом; но — рос Массинисса, вождь берберов, утесняя тяжелою данью лазурную бухту; комиссия приезжала из Рима, прославленный ветеран аннибаловских битв, Марк Катон, ненавидя заносчивых 377 пуннов, решил погубить Карфаген, доведя их до крайности; и патриоты — восстали, отдав Аструбалу правление; тщетно последний пытался отсрочить войну: война — вспыхнула; карфагеняне готовились к гибели; все население без различия пола и возраста строило всюду машины, ковало оружие; весь Карфаген оцетинился; мог продержаться он долго; наружные стены толщели на шесть с половиной футов, как нам утверждает Полибий; огромнейший каменный вал из массивов кругом обегал Карфаген; а за валом врагов ожидало не менее триста слонов; и тяжелели казармы; все это твердело вдоль Бирзы, Мегалия, за город, где тонули в деревьях прекрасные виллы (здесь — Марса теперь), защищалось оградой; и был укреплен самый мыс (где теперь — Сиди-бу-Саид). Приступ римлян, пытавшихся в город проникнуть сквозь брешь, отразили; под карфагенские стены был послан тогда Сципион Эмилиан; лагерь римлян стоял пред Мегалией (перед Марсой); и Неферис взят был*; Мегалия тоже взята; Сципион морил голодом город; но флот попытался пробиться; и все же не мог; Сципион завладел побережьем; вся римская армия нападала на внутренний город, а моровое поветрие нападало внутри; и вот — город взяли; и много ужаснейших суток, перебегая от здания к зданию, карфагеняне сражались на улицах: тщетно. Сенат приказал, уничтоживши город, плугами пройтись по земле Карфагена. *** Последняя кучка горлающих берберов, скученных перед канатом; Carthage — задрожал, описуя медлительно свой поворот и пуская волнение колец, отливающих сталью по тихой поверхности; тихо тащились тунисским побережьем; сидели фламинго, не двигаясь розовым телом. Сливался пятном зажелтевший французский квартал, обведенный свинцовым белилом арабских кварталов; и заросли мачт отседали, малея снастями и копотным доходом чернеющих труб, отбеленные кубы расплющили желтую точку Европы, а кобальты просиней впадин домов, голубея, белились; и кубы, вдаваясь в друг друга, глядели квадратно; едва различимая линия купола, впав в безразличие, вовсе пропала среди мелководий Бахиры; могло показаться: Тунис — лепесток, оборвавшийся с индиго-синего неба из облачной розы над водами тихой Бахиры какого-то

купоросного цвета; он весь изошел испарением вод; и — подкрался мыс доорьи; оежала Голетта и холмики; Бирза — прошла; превозвысился Сиди-бу-Саид. *** Карфагенская крепость, глядевшая некогда с Бирзы, имела в окружности около трех тысяч метров; и храм Капитолия после поставили римляне здесь; шестьдесят ступеней возводили к нему, в рукаве же заливчика, с юга, укрылись старинные гавани; кругообразная гавань внутри называлась у пуннов Кафон; неподалеку гремела торговая площадь; дорога песчаной косою (где ныне бежит из Туниса к Галетте трамвай) защищалась стеною...** *** Разливанными плясками море обстало; и Ася исчезла — прилечь, убоявшись качаний; бродил по приподнятым палубам: крытым, открытым, без тента и с тентом, среди роя отдушин, приподнятых малыми трубами, мимо 378 двухтрубия, тяжело дышавшего дымом, и мимо дверей, изукрашенных надписью: «Кухня», «Курильня», «Телеграф», «Первый класс»; щебетавшие дети, пролазы, как я просыпались, влезая по палубам; качка кренила осыпанный светами кузов; и поршни пыхтели: — «Ух»-«ух»! Прослезилось Венерою небо: дрожал диамант, собираясь упасть в восхищенный закат, зашатавшийся далями: то горизонт выбегал, то опять горизонт приседал; и тогда, ухватившись за борт, молодая

прекрасная дама, склоняясь за борт, — словом, зрелище не из приятных... Уселся в читальню, листая какую-то книгу; но громкий звонок дребезжанием все огласил; я — спустился в салоны. Брюссель 912 года Валетта И брезжило утро. На севере бледно наметился в светени: точно зигзаг; и звончали зигзаг за зигзагом вдруг лопнувших стекол, которые крепко кремнели; кремнели — из утра: и — взорами линий, и — желчами; промути мазали синью и сиренью — желчи, и вот натяжение линий расперло рельефами; розовый верх прокаймился из неба, как сколотый с неба кусочек стекла; и — растрескался очерком выступов, крепнувшим аспидным цветом; явилась земля, где дотоле являлось лишь небо. — «Не Мальта ли»? — «Мальта». И бледная Мальта наметилась кряжем обрывин; меж нею и нами играли дельфины; как девушка, вспыхнула в солнце: и желтым, и розовым; вы каймились и утесы, и стены, с которых ниспала Валетта крутым пробелением лестницы, точно улыбкой; понятно, что рыцари выбрали эти места, упавая орлами на них, и поднявши свой клекот, который отдался горами Сицилии, бухтой Туниса и Суз, долетел до Джербы; и — смутил воды Триполи. Многими сотнями круто-приподнятых крыш повесает с утесов над старыми башнями город: горами зажатый залив пролитой полосой в желторозовый, многоступенчатый город завел пляску выплесков цвета синейшего кобальта; фыркнул фонтанчиком пены взыгравший дельфин; и крутейшие улочки всюду открылись — с утесов: обрывами лестниц. Уже пароход задрожал, бросив якорь; уже мы, как дельфины, на прыгавшей лодочке — в кобальте выплесков мимо сталеющих башен дредноутов; вон из барбета просунулось дуло: на острове Мальте — стоянка эскадры: семейство стальных англичан приседало в заливе, вот выскочит: — «Бух». И свистящие конусы бухнутся дугами. ...Не понимаю, как мы очутились в отеле; нас встретил смуглач, турко-грек, или арабо-испанец (кто знает?), такая же турко-арабо-испанка, хозяйка нас встретила: — «А? Вы — в Египет»? — «Так вам надо ждать парохода, ну, эдак, с неделю...» Сказала, и — мрачно повесила нос; а арабо-испанец повлек сундуки по верандам, где не было внешней стены, и куда выходили все двери сдаваемых комнат; ряды коридоров повисли системой террас над квадратиком дворика; тут мы узнали, что надо бежать — прописываться: в участок. 379 Казалось: никто не желает нас видеть на острове Мальте; хозяйка, потупясь, сказала — кислейшею миной: — «Уедете вы: и зачем вам отель»? Отвечали на мину кислейшими минами: — «Да, но скажите, как мы уедем? Не на дельфине, надеюсь»? — «Да дайте же нам хоть воды в рукомойник». Но кислые мины гласили: — «Зачем»? — «Вы — уедете». Кисло потупилась комната: вещи, казалось, хотели попрыгать через дверь, застучав; за вещами, казалось, и мы — простучим: вниз-вниз, вниз; мы прошли прописаться, чтобы после наведаться в агенство: может быть, думали мы, нам удастся удрать, хоть... до Триполи, хоть... на дельфине. *** Кидались разбросанным кобальтом плески над кручей, где мы, наклонясь у перил, наблюдали валеттские* лица; их цвет — сицилийский, а губы арабские; зорко безглазые прорези нас наблюдали (по-гречески как-то) на улочках, шедших в тенимые сини залива, откуда торчали барбеты; меня поразила мальтийка; она — во всем черном; над головою ее надулось, как парус, не то — покрывало, не то — головной, преогромный, весь черный убор, укрепляемый, кажется, с правого бока на проволоке; головные уборы надулись от этого; стаи мальтиек неслись на своих парусах мимо нас; мне запомнились: площадь, собор, губернаторский дом, где у входа блистал, застыв яркими саблями, мохноголовый

отряд белоштаннных солдат в баклажанного цвета мундирах, так блещущих золотом: — «О, черт возьми». — «Вот — красавцы». *** Дверь агенства: полный брюнет, посмотрев на письмо из Туниса, задумчиво нам говорит: — «Пароход, на котором должны были плыть вы, — ушел: нынче утром»... — «А впрочем»... — «Могу вас устроить: часа через два отплывает с грузом железа в Китай; там — найдется каюта»... — «И если согласен на то капитан, отчего же — плывите себе на «Arcadia»... — «Как же узнать», — вопрошаю я робко. — «А вы подождите». И толстый брюнет побежал в телефонную комнатку, перезвонился; и — выбежал: — «Да — капитан соглашается»... — «Вот вам билет: торопитесь». Торопимся: и задыхаясь, проносимся каменной лестницей вверх, до отеля; прощайте, мальтийские рыцари, башни и стены, часовенка, полная черепов: не увидим мы вас. 380 *** Арабо-испанец проводит к коляске: — «Вот — видите: вы — не жильцы»... — «Для чего вам вода, рукомойник, белье на постель»... — «Не нуждаемся в вас», — провожает глазами сердитая крылоголовая женщина. Пляшем в качаемой лодке на сини залива; и там где-то грохнуло: с каменных фортов. *** Стоит — пароход; из Германии, с грузом железа; потащится к Янг-Тсе-Киангу — через Суэц и Цейлон; капитан с

бородой Черномора, блистающий золотом ясных нашивок на синем мундире, кричит на команду китайцев; вон тот голоногий китаец в соломенной шляпе, со свернутой черной косой, в темносинем, оливковым ликом лопочет у кучки канатов; слуга, вероятно, берлинец (по говору) — тащит в каюту: — «Здесь можно и — жить, и — писать». — «Вот и столик». — «И полочка»... Подали чай: комфортабельно! Вот молодой офицер, пробегая, бросает: — «Mahlzeit». Угощают вкуснейшим немецким печеньем. *** Поплыли: немая стена в горностаевой пене прибоя, поднятая аспидным роем утесов, — отходит: на северо-запад; отчетливый верх — прокремнел; и — бледнел; каменистый рельеф улегчается вновь натяжением линий, чертимых из воздуха; скоро угасли зигзаги, последний неясный зигзаг исчезал. И — как есть ничего. Брюссель 912 года Arcadia Четверо суток качались в волнах; за обедом, за завтраком — не было скуки; старик капитан, уроженец холмистого Штутгарта, — тридцать лет плавал; старик угощал нас печеньем, печеными яблоками и разговорами о чудовищных спрутах и змеях; мы были, как дома; взбирались на мостик; берлинец, морской офицер, баловал нас, давая роскошные книги с картинками; старший механик водил за собою в машины. Команда китайцев, свернув свои косы, тянула сырые канаты; а нос поднимался медленно — кверху; и книзу опять опускался. Вот — утро: бежим в офицерскую; ласковый немец слуга нас встречает: — «Mahlzeit». Расставляет перед нами горячий кофе, печенье и мясо; потом поднимаемся; под капитанскою вышкой, под тэнтом садимся в шезлонг; погружаемся — в плески... *** Три дня мы плывем: ни клочечка земли; разыгралась поверхность, порой разверзаясь пучинами лабрадорного цвета; я думаю о сокрытой под нами таинственной жизни глубин — о чудовищных спрутах; они поднимаются редко 381 к поверхности; у берегов Ньюфаундленда был найден один такой спрут, у которого туловище обнимало 5 футов, а каждая щупальца простиралась на шесть саженей, угрожая своей трехвершковой присоской; точно такое же чудовище найдено было у побережий Аляски, у острова Павла*; у спрута — зеленый, светящийся глаз; пред собою увидеть его под водою — не очень приятно. Я думал о рыбах глубин, разрываемых в воздухе, думал о странных созданиях, у которых два глаза сидят на длиннейших, вращаемых стержнях; я думал о рыбах, бросающих свет — перед собою; и я думал о прочих морских чудесах, обнаруженных экспедицией монакского князя. *** Потом начинали бродить по «Arcadia» мы; на ларях отдыхала команда; вот куча ларей отделила корму; мы, вскарабкавшись, перебегаем по ящикам; и — попадаем совсем неожиданно на... скотный двор: в клетках хрюкают свиньи, кудахтает курица; тащится тихо ленивый баран на свободе; над свиньями висится кормовая, высокая палуба: там измеряют матросы глубины. Вчера плыли мы посередине лазурного моря; и синие сини ходили вокруг в лабрадорных оттенках; сегодня же море жижеет; и плещутся мутные зелени в крепнущем жаре; склонились к берегу Триполи; тут угрожают песчаные мели; и измеряют тут целыми днями морские глубины матросы. Порою бросаем мы взор на приподнятый мостик; старик капитан ходит взад и вперед там; и мы поднимаемся смело по лесенке (он разрешил нам к нему подниматься); он тыкает пальцем в огромную карту: — «Вот здесь мы». — «Вот видите — Крит». — «Мы его миновали уже». — «И теперь поплывем параллельно Египту». — «А что же рисование»? Ася приходит с картоном; старик, расправляя седины, садится — позировать, Ася рисует его; между ними — нежнейшая дружба; старик все зовет нас с собой: — «Ну чего вам в Египте: воспользуйтесь

случаем, что мы плывем так далеко; я вас бы оставил охотно; вы нам не мешаете: наоборот, веселее плыть вместе; увидите Индию, Ян-Тсе-Кианг; а в Японии будем стоять мы два месяца; можете вы осмотреть всю страну.» Нас прельщает далекое плавание, — но... — мы без денег: в Каире ждут деньги, наверное; но ждать «Arcadia» нас не намерена: даже в Суэце она не останется, прямо пройдет через Красное море — до Индии: — «Вот в Порт-Саиде всю ночь будут нас грузить углем; с рассветом пойдем мы Суэцким каналом; и после мы в море на 23 сутки». Мне — грустно: мне хочется в Красное море; рукою подать. Недалеко Суэц; дальше — Рас-Магомет, оконечности каменистой Аравии: там возвышается в даях, над мысом — Синай; недалеко ведь Джедда; все Красное море длиною каких-нибудь две с половиной тысячи километров; мерещутся: Мекка, Медина и Мокка; мерещется мне Суаким, где заширится море, мерещутся красные краски его (от растения из «trichodesmies»); Баб-эль-Мандеб, или «ворота из слез» — вспоминаю: Аден, океан. Нет, довольно мечтать. 382 — «Вот как выйдем мы в Красное Море, — охватит жара», — продолжает болтать капитан. Разговор переходит на змеи: — «Конечно, громадные змеи — не сказка: свидетели есть у меня; и — выдавшие... Э, да не верьте ученым: ученые просто не видели их; меньше шансов увидеть им; мы моряки, эти шансы имеем; мы — видим; и вот, в этих водах они — тоже водятся»... Мы — умолкаем, и я вспоминаю невольно: все ужасы моря; сказанья о страшных кальмарах встают: осьминог может в бездну, схватив своим клювом, увлечь за собою корабль; по преданию древности: есть осьминоги длиною с настоящую милю; мне вспомнился бой с осьминогом, описанный Виктором Гюго, и чудовищный бой, нарисованный Жюль-Верном. *** Пучины, волнуясь, кипят; наклонившись за борт и держа рукой шляпу, вперяюсь глазами в водовороты кормы; здесь, в воде, укрывается жизнь: Средиземное море — обильно; под этой поверхностью ерзают быстро миноги (длинною до метра); во тьме серопепельный скат пронесся летучею мышью под нами белесым своим животом; здесь живут осетры в десять метров, питаюсь мелкой рыбкой; акулы, не слишком большие*, оскалясь, проносятся вверх животом, догоняя летящий с поверхности наискось, вниз, в глубину треугольник тунцов**»; зеленеют, желтеют, лазурятся телом мурены; и барбумы, райские птицы морей, у поверхности — ярко огнятся; анчоусы, стаи коньков и других «pleuranectes» здесь водятся, — скаты; и даже: встречали в волнах Средиземного моря — больших кашалотов, которых тела — только пасти с желудками; среди зоофитов здесь водятся губки, бероз, рои голутурий, ципиды, лучающие фосфорный блеск; и оранжевым кружевом галеолфа — цветет, освещается, солнышком; раки, лангусты, морские ежи, эвриолы, атланты и цинтии, переплетаясь родами и видами — множатся в водах; и зреет на ракушке цвет перламутра; пучина ж — пустынно кипит. *** Тусклый вечер; старик капитан распустил свою бороду в ветре; кроваво садится за морем круг солнца; он, вот — тусклый круг: желтокарие сумерки светятся: странные сумерки! — «Солнце садится в пески», — говорит капитан, подойдя, — «то — оттенок пустыни; мы — близко от берега». Все — изменилось: цвет неба, цвет моря, оттенки заката; стоит яркий жар; и — безветрие; ширится там, от египетской, близкой земли тускловатая мгла. *** Подплываем сегодня к земле; море — гладится; солнце — палит; целый день измеряют глубины: здесь — мели: ветрами пустыни выносятся в море пески. Подхожу к капитану: — «Мы — где»? — «Мы — на уровне дельты: и скоро увидим Дамиэтту». 383 В трубу увидели дамиэтский маяк: показался; и — скрылся. И — все — подтянулись: кругом разговоры об угле, который должны нам доставить, чтобы нас не задерживать — нет же, не нас; мы сегодня уже не ночуем в каюте: в отеле. И — грустно: семья офицеров так ласково встретила нас; каютка, как комнатка: плыть бы и плыть. Поднимается что-то издали; земля — не земля, а какая-то вышка. Звонки. — «Порт-Саидский маяк». И — маяк вырастает, и — группа тусклейших домов вырастает за ним: Порт-Саид — это отмели, авангарды пустыни; пустыня объяла его.. ; и я думаю: там, вон, Аравия. *** Старый историк, Кальдун, отмечает три слоя арабов Аравии: это — «Ариба» (древнейшие жители), более поздние жители; и — «Мустарриба» (потомки Измаила); в более позднее время они населили Наджед и Геджас. На севере триба Амаликов* (смесь из семитов с хамитами), к югу ветвь, достигает — мест Мекки; амалекинянская разновидность катуров считает, что предком катуров был сам Авраам**»; арамейская кровь — проливается в них, как гласит о том клинопись***; царство сабеян окрепло — отсюда; торговлю с ним вел Соломон; посылала товары сабеянам Индия; Навуходоносор разрушил торговлю; она восстановлена персами****; здесь выявляются нравы кушитской культуры (деленье на

касты)*****, обрезанье, мифы, преданья*****; Агатархид нам рисует чертоги царей сабеитских, гаремы; и — толпы чиновников; замки вассалов когда-то покрыли Аравию; множеством утвари славны древнейшие местности древних арабов; комфорт до Ислама еще прививается жителям здесь; сам Ислам — реставрация: новая роспись на старых облупинах фресок культуры; по Плинию, в городе Гадрамаута, в Саботе, стояло уже шестьдесят пышных храмов, а в Тамне — стояло их более; а историк Казвини в седьмом еще веке по приказанию калифа Отмана описывал башню сабеян; по описанию стиль ассирийский — господствовал. Культ аравийский отчасти был культ Вавилона; единственный Бог возвышался над прочими; монотеизм заслонило барокко из многих богов (или — планет); все же в центре сияло единое солнце; до вспышек Ислама тянулось горение древней религии; праздники здесь приурочены были к вступлению солнца в созвездье Овна; а светилам во образе многих богов поклонялись в «харамах», к которым текли пилигримы; Кааба, или черный таинственный камень, упавший с неба — уж чтился; легенда гласит: Авраам с Исмаилом построили меккскую святость в честь дальней планеты Сатурн*****; Магомет реставрировал культ, как и многие, впрочем; во время

правления Цезаря чтили Каабу уже*****; чистотой древних бытов просвечены нравы Аравии, 384 в древних рисунках среди египтян и мидян уже видим араба таким, какой ныне стоит перед нами; костюм неизменен его. *** Коричневатое и туманное солнце упало за земли; от этих земель простирается томная, золотокарая муть; солнце — скрылось; заря — не зажглась; но повсюду возникли пространства каких-то беззорных свечений, в египетских сумерках мы; налетает от берега шквал, пропестрела рябая вода; и — опять успокоилась; движется прямо на нас тупоносый баркас (это — уголь); «Arcadia» тотчас же будет грузиться; свистя, подлетает моторная лодка: то — высланный с берега лоцман. «Arcadia» движется медленно; красные куклы танцуют в воде, образуя один нескончаемый ряд к Порт-Саиду; и — отмечающий: место форватра; спереди видим морганье кровавых, зелененьких глазок; а с правого боку уже тянется каменный мол; и, как кажется, бронзовый памятник инженеру Лессепсу, медлительно выросши, — справа проходит. Мы — в хлопотах: мы уже простились; старик капитан с капитанского мостика что-то кричит, отдавая команду; ему — не до нас: атмосфера далекого плаванья всюду господствует: дружно китайцы мотают на что-то канаты. Опросы: осмотр документов чиновником, вышедшим быстро из лодки; и вот — мы свободны: качаемся к берегу в лодке; в воде расплескалась арабская письменность; как серебристы зигзаги! Огромный баркас, нагруженный до верху чудовищной угольной глыбой, причалил к «Arcadia»; он освещен факелами; теперь бриллиантовый берег вплотную охватит объятьями синяя, синяя ночь. Брюссель 912 года Порт-Саид Лаем кидаются порты Египта на вас; подплываете к берегу; бронзовый рой голоногих носильщиков с берега лает на вас. Уже лодка причалила: выхвачен зонтик, которым махает теперь темный дьявол; порт-плэд жадно вырван вторым темным дьяволом; третий, четвертый помчались в толпу, увлекая порт-плэд. Так четыре уносят ручной ваш багаж, а четыре других ухватились за край сундука; третья злая четверка, обстав, поощряет пинками. На ваш негодующий выкрик: — «Оставьте в покое меня: не толкайтесь!» — вы слышите вопли на всех языках, что сохранность вещей драгоценней персоны высокого гостя. Двенадцать коричневых дьяволов, бьющих, влекущих и прущих: среди толока бьющих кого-то коричневых дьяволов: ваши картонки запрыгали вправо; вы — прыгнули влево; крикнул в темносиней одежде, в абассии, в темной круглеющей шапочке что-то кричит впереди; и — готова коляска в отэль; там лежат неизвестные вещи: их спутали с вашими; дьяволы дружно клянутся, что вещи принадлежат той миссис, что приехала с пароходом (не вашим); что вещи поехали вместе с миссис. Протестуете вы: до миссис вам нет дела, а вещи потеряны; перекричали вас глотки; перемахали вас руки; вы сжаты кольцом обступивших феллахов; они, выгнув руки египетским жестом, как гаркнут: — «Бакшиш!» Если вещи потеряны, — что до того! Потеряли вы голову; чтоб отвязаться от лезущей стаи бросаете горсть прозвеневших монет; и монеты летят к вам 385 обратно; и хор разобиженных глоток кричит, что вы — грабите бедных феллахов, вас встретивших; снова протянуты руки: — «Бакшиш!» И вы платите впятеро более таксы; вот если бы крикнуть: — «Емши!»* — разбежались бы дьяволы. Между «емши» и «бакшиш» жизнь феллаха течет под девизами третьего слова: — «Мафиш!»** Это слово знакомо нам русским: «авось». — От «мафиш» распадается дом; блохи, вши заедают фаллаха, чума нападает: она — постоянна. *** Весь гам создается, чтобы вас запугать, снявши голову с плеч, откупиться

«бакшишем». Тогда-то вот выступит ласково чистая фесочка, — в смокинге; и, обдавая сплошным чесноком, она скажет на чистом французском наречии: — «На десять дней, я к услугам; я с вами повсюду». — «Вы будете ежедневно заказывать, *grince*, по экскурсии: муллы, верблюды, ослы и палатки — достану...» — «Увидите вы...» — «Серапсум, Гизех, пирамиды Меридского озера...» — «Тысячу франков!» — «Я еду за вами в Каир? Решено?» Вы — в опасности; лучше отдаться толпе голосащих феллахов и лучше платить в десять раз против таксы, чем раз согласиться на феску. Готов согласиться; но Ася толкает меня больно в бок: — «Погоди!» — «Оставь!» — «Брось!» Мы с вещами миссис покатали по улочкам среди электрических россыпей в яркой безвкусице домиков; вот и отэль: выбегает чистейшая феска, а злая миссис ожидает в передней. — «Где вещи?» — «Вот». Вижу в передней — порт-плэд, чемодан: наши вещи. *** Три месяца жили в Тунисе мы; я освоился с нравами белых тунисских арабов: феллах не тунисец. Нам встали огромные трудности при размене монет. Здесь монета не кратна с монетой турецкой, ни даже — с английской; двухпьястровые монетки (двугривенные) принимались за малые пьестры***; за пьестр я платил пятью пьестрами; фунт египетский чуть-чуть более, чем английский; египетский пьестр чуть-чуть более, чем тунисский; здесь все отношения дробны; и вы на дробях всюду терпите; каждый размен есть потеря; меняете фунты: в египетских фунтах отдают ровно столько же; стало быть, вы потеряли; египетский фунт отдаете на франки и доллары: снова теряете; доллар вы вновь отдаете за пьестры (с потерей); а вместо египетских пьестров приходят турецкие пьестры 386 (теряете); всюду еще в размен вычитывают процент; все устроено так, чтобы чаще менять; каждый шаг есть размен; два египетских фунта обходятся в три с лишним фунта. **** Не выспались: было и душно и знойно; здесь нечего делать; — спешили в Каир. Экипаж нас уносит по скучным желтеющим улочкам; тонет в песках городок; он украшен фигурой Лессепса на моле, украшен букетом наречий, куда юг Европы, Азия, Африка, даже Австралия шлют проходимцев; на улицах части: немецкая, итальянская, греческая, турецкая, арабская и китайская речь; и блуждает, ленясь, полосатый сириец, зажавши веревкой с боков капюшон, и блуждает пернатая дама (в атласных перчатках до локтя); навстречу несется толпа итальянцев; проходит сухой абиссинец, в круглеющей шапочке, вздернув бородку, которая — клинушком; засеменит, выгнув ноги дугой, жесткокосый китаец с тюками; бросает робеющий взгляд беспокойными глазками; из закоулка бежит в закоулочек; просунется странный тюрбан (в нем арабского мало): то — индус, попавший сюда с малабарского берега. Здания плоско скучнеют на север, на запад, на юг, и восток парусиной веранд; сбоку виден канал: бок чудовища с грузом из Лондона выперт; он — спрятался; площадь и пыль и какая-то чухлость комочек, и лай: то — вокзал. Полетели: картонки, тюки; и — забились с носильщиками компания европейски одетых сирийцев; все в фесках. Двенадцать чертей обступили: — «Бакшиш». Мы — им бросили мзду: но в вагонном окошке подъято двенадцать ладоней. Еще заплатили. Один бронзовеющий дьявол все тянется к нам; я — гоню, отбежав, он разинул огромный свой рот, и, — расплакался. Я, испугавшись жестокости, выбросил несколько пьестров в окошко; сириец, сидевший в вагоне напротив меня, покачал головой: — «Совершенно напрасно». В окне показались ладони; но — тронулся поезд. Каир 911 года До Каира Дома пролетели; песчаные тусклости там заливало пятно белых вод: Мензалех: порт-саидское озеро; издали виделись птицы; и то — пеликаны. Уже — Кантара: побережная станция; рослые негры в длиннейших верблюжьего цвета пальто, с перетянутой талией в фесках бежали по станции с ружьями: это солдаты-суданцы, наверное жители вади*: из вади Хальфы, из вади Шелляль, иль из вади Дебол они взяты; быть может, они поселение Дар-фура, болтающие на языке своем, нубо: в их речи нет боя гортанных; и пела их кучка под окнами поезда «инго-ан-анго» какими-то мягкими звуками в нос; их отцы собирались под знамя Магди. Я читал, что нубийские негры — стремительно вспыльчивы, злы. Поезд — тронулся; узкая лента в песках протянулась далеко отливами жести: Суэцкий канал! 387 — «Такой узкий?» Здесь тракт караванов к Египту из Сирии: некогда ворвались здесь арабы в Египет; Аравия — там: за полоской она; эти же дюны протянуты вниз до предгорий Габеша; по этому тракту когда-то от озера Манзалех, бросил войско свое Бонапарт, угрожая всей Сирии. Вдруг обнаглев, зашипел желтолет из песков, обуряя ландшафты; арабы, вскочив, побросались к разинутым окнам; и щелканье всюду послышалось; быстро зигзаги песка нагрязнили на стеклах; к стеклу прикоснулся: оно горячо. В запустеньях Суэцкий канал прояснился расплавленной лентой жести; и — линией телеграфных столбов сиротел; лиловатым

миражем играли рефлекс; над серым холмом белосерый верблюд промаячил отчетливо зеленоватым верблюдом; седой бедуин в полосатом плаще (рыжебелом), подняв к глазам руку, из фиолетовой дымки глядел на наш поезд. Упало окно; обнаглев желтолетом, песок заплелся в диваны, в одежды и в лица, щеголеватый сириец в сиреновом смокинге предупредительно бросился перед Асей: закрыть его; желтый язык из окна облизнул его пылью; он стал обтираться, открыв несессер, омочил себе пальцы душистой водой; достал портсигар: — «Сigaretку?» — «Спасибо!» — «Она — порт-саидская; лучшие сигареты... Без опиума: а в египетских — опиум». — «Те прославлены?» — «Да, но в Египте стремятся курить эти вот: их в Каире уже не найдете!» — «Высокие пошрины». Наш собеседник — крещеный; он, — кажется, фабрикант папирос; он болтает: Каир, по его уверению есть фэйф-о-клок, а Египет — *partie de plaisir*; он — Европа Европы; каирцам — все ведомо. — «Что там Москва?» — «Да, у вас есть Толстой: ваш философ; читал я его.» — «Никогда бы не стал я писателем». — «Знаете, я был чиновником; я разъезжал по стране; в одном городе нашем глухом, где едва ли не все умирают от скорпионов (зеленый там есть скорпион), скорпионы чуть-чуть что не съели меня...» — «?» — «Их такое там

множество: ножки постелей в отелях поставлены в толстые склянки, куда наливают кислоты; а то скорпион забирается в постель; мне пришлось ночевать: я пугался, увидев зеленого скорпиона; и сел я с ногами на стул; так всю ночь просидел». — «Да, Россия — большая страна; никогда бы туда не поехал; ну что там?» — «В Каире — балы, туалеты!» Сириец — совсем надоед. И сирийцы, и греки — цвет местного общества; а египтяне — лишь пыль: намекает на прошлое наглый феллах своим контуром: плеч (широчайших!) и узкою талией; те же все плоские бедра, которые смотрят на вас с барельефов; и тот же все лоб; наблюдаю феллаха в окне: тонкий, стройный, высокий, угрюмый; какой величавый красавец! — «Интересуетесь местными нравами», — вновь пристает к нам сириец... — «феллахи!» 388 «А что?» «Да они просто пыль: здесь цвет общества — пришлые, мы, анатолийцы, сирийцы и турки; пожалуй, что греки; и европейцы, конечно... феллахи же — фи!» «Да, да, да: вы и я — христиане; мы — братья; о, право же: далеко не все наши, арабы, погрязли в невежестве; мы насаждаем культуру, как можем... Увидите вот». «Вы, конечно, заедете скоро ко мне: я у вас побываю, конечно, мы будем видаться». Надеюсь, что — нет! Измалия: станция; поезд остановил канал, пересекши пустынный рукав. Всюду зелень стеблем и листом испышилась под солнце из черной земли; это — действие ила разлива; какие-то красноногие ласточки с серой головкой — не наши! Уже Загазиг: это — город (торговый); несемся средь лепки каких-то гноящихся грязью домишек, торчащих из сора и сена базаров, несемся среди закоулков, увешанных синим и черным тряпьем, среди которых толпа сине-черных феллахов ломает о поезд свои истеричные жесты; на корточках греются около хижин; то — комья просохшего ила; и хижины празднично глазят на нас прозявшими дырами маленьких окон; чернея хитонами, в черных вуалях, спадающих с носа на нижние части смеющихся лиц; как монашки, скромнеют в толпе феллахины: насмешливо бросила черные взоры одна округленным, безротым, но будто смеющимся личиком, полуоткрытым: двуглазка какая-то, — черная ласточка? — «Многие феллахины уже пооткрыли лицо; независимее они, надо правду сказать, наших косных сириек». — «Ах, Сирия, Сирия!» *** Издали вновь показались пустейшие бельма пустыни грядю холмов моккатамских; на склоне холмов зачернели квадраты каирских домов. «Пирамида», — сказал мне сириец; но — пыль проглотила ее. «Пирамида». «Где?» «Там!» В желтобуром от пыли пространстве чернели теперь треугольники. — «Много их тут». Треугольники спрятались; поезд понесся в протертых постройках, протертых песками, пылающих пеклом; и справа и слева торчали тончайшие палочки, палицы, пальца, дубины: тела минаретов. — «Смотри», — усмехнулась Ася, — «какие пошли каланчи!» Вот плеснули в окно балахонные волны феллахов; резнули несносные крики; непереносные запахи ели — нам ноздри; порхали халаты: — «Каир!» Каир 911 года «Хаха» — «Хаха-хаха!» — «А!» «Хаха!» — кричало. 389 Могли бы пожить мы и в Бискре; могли бы увидеть Гафсу, Габес, Сфакс: нас тянуло в Египет. И черная стая кидала меня в фаэтон; и разменный фунт испарялся (запрыгали быстро доллары в темных ладонях); носатый извозчик плаксиво визжал с высоты своих козел; сириец, забывший свой лоск, издавал как и все, что меня окружало, не гордые звуки: — «А!» — «Хаха», — указывая, куда следует нас отвезти. — «Хаха, хаха!» — отвечивал извозчик; и — тыкался носом в сирийца и в нас; рассыпалось сено и сор; пред тюками на всех языках голосили: — «See!» — «Mare!» — «Mer!» — «Thalassa!» Прыгнул

обвязанный, кожаный, желтый сундук: саквояжи летели, как мячики; мячиком выкатил потный турист, заморгавший глазами навывкате: сыпалось сено и сор. И рыдало «а-хаха» из ртов: и мы назвали «хахами» этих кричащих феллахов; и «хахи» в Каире гонялись за нами — носами и ртами: кричали: — «Бакшиш!» Все есть вымысел: «Хаха», которого с Асей придумали мы, воплотилась однажды для нас в настоящее имя; и наш проводник Ахмет-Хаха носил его; «Хаха» — феллашский «Иванов»; фамилия Хахи с тех пор — для меня нарицательна; все египтяне суть «хахи», или — вымыслы, призраки: так облеченное ныне в абассию ваше же тело — они; неуютно склониться над собственным... телом: и жуткостью дышит Египет: он — тело, которое сбросили, — труп; мы — над собственной тризной; отсюда — и муки, и казни; и — бегство; давно мы бежали отсюда; и — плен: полонил нас Каир! *** Резнул «style oriental», или — подделка; культура Тунисии есть примитив; а культура Египта — барокко; меж тем Фатимиды создали Кахеру; сказалось губительно действие климата: испепелило культуру; такие фигуры, как строгий султан Нуреддин, или гуманный султан Саладин, — прошли сном. *** Вот отель. И какая-то хаха проводит в чулан: в нашу комнату; грязь — на постелях: пыль, пыль; сколько

стоит? Цена этой комнаты — в перворазрядном отеле Палермо такая цена; вдвое менее стоил тунисский наш номер в отеле «Эймон»; проклинаем сирийца, сюда нас заславшего; грустно стоим над вещами; а хаха — уходит; зову. — «Но послушайте: этими полотенцами утирались не менее десяти рослых парней!» И хаха приносит... одно полотенце; уходит; зову: «Но послушайте: это белье на постели; тут спали солдаты». И хаха приносит — белье; и уходит; зову: «В рукомойнике — слышите? — нету воды!» Появилась вода. «Нет, постойте: здесь негде присесть: оботрите». Стирает. 390 Нескладица — та же; и — пыль за окошком: оттуда сварились громады домов в пыльно пламенном ветре; в крутящемся соре и сене в сплошной трескотне граммофона; в стрекочущем горле. — «Каир?» — «Почему он такой?» И какая-то новая нота нам слышится. *** Помню: кошмар напал на меня; в недомыслии, дико излитом, он — длился: предметы кругом выступали знакомыми знаками; тихо сходили с настоянных мест, оставаясь на месте; и было все то, как не то; я — испытывал вывих; не палец, не кисть, не рука ощущали его, а все мое тело: оно — только вывих. С меня? Стало быть: ощущал... вне себя? Вопросали во мне ощущение; без вопроса, следил, как ничто, никогда не вернется в себя: так себя в первый раз ощутит голова под ножом гильотины: захочет увидеть она свое тело, а видит лишь ухо другой, как она, отделенной от тела; и жалко грызет это ухо: впервые я видел тебя беспокровным, дивясь — «я» — помню, маленьким взяли купаться меня (до шести лет купался с дамами); вид голых «дядей» меня поразил; тут пахло звериным цинизмом; мне долго казалось, что я уже погиб (навсегда), увидев: это все. — Так себе самому ужасался: предметы и тело мое среди предметов казалось: пустыми штанами (в купальне); я сам — весь пустой, на пустой оболочке в пространстве разъятого стула, — разъятый в пространственный вырез окна — в потемнение синего неба, которое есть распростертость, темность толкований и смыслов: — «Что это такое?» — «Как можно?» — «Не вынесу!» — «Ай!» Так кричал бы, но орган кричания сдернулся с глотки: труба граммофона! — сидела, привинченная к недышавшему ящику тела. В младенчестве доктор решил, что я — нервен; немного позднее решили, что болен я — астмой. Но «астма» — прошла. *** Вот подобное, что-то во мне поднималось теперь, из песков Порт-Саида — в окно; и запучилось там неживою громадою дома; кричало, как медное горло; на сорной, коричневой площади, и густо катились верблюды; и хахи, страдая от астмы, кричали: — «А!» — «Хаха!» И странен, и страшен Каир. — «Да, он странен», шептала мне Ася, медлительно подошедшая сзади. Туда не хотелось нам кануть. Мы — канули! Каир 911 года Каир Комнату! В пыльном чулане остаться нельзя; в «Premier-ordre» еще можно при 1000 франков в неделю; такой суммы — нет; и поэтому комната нас занимает; мы — ищем; Каир — отступает: не видим его (больше — чувствуем); 391 солнце так бьет, что приходится думать о пробковом шлеме с вуалью, предохраняющем от ударов и пыли. — «Наверное здесь по утрам происходит базар: сор и сено». Проходим базар: — «Вот и здесь: происходит — базар». Те базары — на третьей, четвертой, на пятой, шестой и седьмой засоряемой улице: — «Всюду — базары». Источник такого обилия — «хахи», извозчики; всюду у них между ног просыпаются травы из сочной охалки, свежаемой, тминного запаха малой былинкой и клочьями; все, проедаясь, буреют они; и — метаются в ветре; и — сорное стойло Каир. И жующие морды верблюдов, ослов, лошадей и развесивших уши по воздуху мулов — повсюду. Дивились: исчезли бурнусы; вот — кубовый, темный хитон облекает

феллаха; вот двое, как вороны, — черные. Небо, сквозящее тьмою, — прикидчиво сине: так горсти людей протекают волнами абассий, широких, пышноющих в ветре хитонов, излившихся с плеч до пяты и порою затянутых очень широким, простым кушаком, выявляющим тонкую талию; будто подрысники, ходят подолы в сплошной, черносиней толпе; и круглеют коричнево шапочки шерсти на бритых затылках; широко шагают феллахи, махая руками — на грязной стене шоколадного цвета высокого дома, глядящего в красную бурень небес; у предвечерней сплошных европейских кварталов, как лодочка, — море абассий разрежала чистая фесочка, вздернувши нос над сиреневым смокингом; прощекотала изящною тростью по воздуху, свистнула в красные губы мотив из «Веселой Вдовы»; побежала другая, такая же фесочка — в розовом смокинге. Толпы их: множество палевых, розовых, серо-сиреневых смокингов, трости, цветные платочки, перчатки яичного цвета. Какой маскарад! Это — хаха, но хаха «moderne», надушенная знанием, самодовольством и наглою цивилизованной прытью: и брови — дугой, и носы — закорючками; многие — с книжками: все — понеслось; щекотало тростями пространство. Бежало среди черных, говорящих, кирпично-коричневых стен и заборов, из-за которых,

гигантски возвысясь, коричнево так столбенели винты чуть изогнутых пальм, лепетавшие листьями, точно пучками зеленых, развеянных перьев из бурого неба: — «Смотри: низкорослая пальма пропала». Торчали деревья, которых далекая родина — пышный Кашмир (на одной широте он с Каиром) в Каирском саду, в Гезире, вокруг Geziren-Palace*, в садике, переполненном фесками, в Эсбекиэ — всюду эта индусская флора. Она — восхитительна. *** Злой, неприятный, обидный Каир; это — первое впечатление наше; сравнение с Тунисом невольно. Миллионном разинутых ртов прогорланил Каир; и снежайше провеял немногими сотнями тысяч бурнусов — Тунис. Белоснежен Тунис; черносер, серопылен Каир; чист Тунис; выгрязает Каир из-за бурого вороха сора; тунисские бельма пестрейше распались в фаянсовых глянцах гирлянд; темноватые стены Каира покрыли каймой серой 392 грязи отчетливо черные прочертни; белый цветок, — наклонился Тунис лепестком куполов над лепечущим озером; тело Каира — зловонно дымеет песками; над злобонною падалью (кошек, собак) — высоко зачертили круги прямокрылые коршуны; а над водой бирюзами легчайшей тунисской струи — розовеют цветочки фламинговых крыльев; топорщатся стены Каира сплошным кривулем-завитком и причудливой лепкой орнамента, в складках которого — грязь; и квадраты, и кубы тунисских построек, снежня, легчатся. Тунисская дверь: это — четкий квадрат на белейшем картоне стены; посреди его — вход грациозной подковою чертится, медною бляхой красуясь, пестрея дугой изразца над витыми колонками входа. Каирская дверь — не подкова: низка и темна. Навалился над ней много-пудными грузами выступ нелепого, полосатого дома: вторым этажем; над вторым этажем многопудными грузами валится выступ: то — третий этаж; справа и слева раздавлена выступом узкая улочка; перефестонились стены, как юбки затейниц. Они — полосатые; черная полоса чередуется с рыже-кирпичной, а розово-серая с буро-яичной; и все покрывают: фестоны и банты кривых «загогулин» из камня, являя барокко лепного орнамента, точно расчеты и струпя проказы, которой зияет бродяга, напяливший смокинг; и опестряет каирец плаксивую речь лексиконами всех языков; но от этого кажется он заболевшим. Смотрю на мечеть: нет Туниса и в ней; заболевший квадрат минарета, и — круглый, или гранный подкинутый палец, утолщенный сверху без вкуса, эффектный лишь издали; в стены мечетей Туниса вошли малахиты и яшмы; а здесь — полосатые пятна буреющих желтых и розовых стен изошли загрязнением язв, струпно кроющих тело мечети. То же — окна домов: нет помина системы зеленых решеток; оконный ряд выперт со всем этажем, чтобы рушились окна над окнами каменной выприной; и оттого-то: под выприной — тени и смрад; пробегает с закинутым носом, здесь фесочник все же — являет сплошную ловушку для блох; платье — невод: приносит с прогулок — улов насекомых. В Тунисе естественно все, отдыхая, заходят к арабам в кафе; но в Каире — не так: не кафе, а — помойная, черная яма; в нее провалившись, уносите часто чуму, насекомых, или — стаю кожных болезней; войдите, — и гаркнут, вскочивши с циновок: — «Бакшиш!» Весь Тунис распадается надвое: на половине арабов белеет XII век; и парижится веком XX квартал европейцев. Каир — половинчат: «коробка» смешалась с арабской постройкой; и помесь Сицилии мягче Каирской; безвкусие капиталиста вступает в гражданские браки с безвкусием азиатских пашей, или — египетских выскочек. Пыжитесь камнями научной пошлятины зданий Каир; он смешон и ужасен своей тривиальностью. Даже в

подробности разнится стиль городов: скруглилась тунисская феска — чечья, повисая огромною кистью; крысиным обрезанным хвостиком пляшет обрезанный константинопольский конус: каирская феска. *** Заходим в отель: отобедать; и после катаемся в улицах европейского города: с шумной Nuber-Pacha к Kasr-el-Nil мимо сада Эсбекиэ, Chareh-Boulag и Chareh-Soliman-Pacha. Мимо летит многоцветие вывесок на английском, французском, турецком, 393 арабском и итальянском наречии; пестрядь афиш, объявлений по-гречески, даже по-русски; из агенства пароходных компаний за стеклами всюду павлиньи хвосты объявлений, реклам, указателей, расписаний: тогда-то идет стамер № такой пароходной компании — в Индию; брызжут из лавок каскады вуалей и шарфов; глядит из зеркальных витрин рой курильниц над блесками «Style oriental», уже виденной где-то, когда-то. *** Заходим по адресу в агенство; и подаем туда письма: — о счастье, — любезно дают адрес комнаты — рядом почти с Kasr-el-Nil. Мы — спешим; мы — звонимся: прелестная комнатка, чистая; и — со столом; молодая австрийка (потом оказалась турчанкой она) madame Pêche, улыбается нам: переедем — сюда. *** Теперь ищем мы выхода к Нилу у здания каср-ель-нильских казарм; из-за желтой стены вытекает вода, заигравши

медлительной музыкой (слушаем речи мелодий); из окон просунуты головы праздных солдат; огибаем казармы; и — Нил. Белогубым острым парусом в желтой струе закачалась фелюга; она полосатится складками островерхого паруса, прикрепленного косо к шесту опускаемой реи; а рея привязана к мачте: взлетит параллельно к воде, упадет; и — опустится парус над старою, черной кормой; полетит на струе, нагоняя другую фелюгу, которая... зыбится: голубокрылою птицею; возится резвая стая, за резвою стаей, расправивши в ветре свои полосатые острые крылья; чернеет немой силуэт, точно послушник, в нос опираясь босою ногой; шест качнется: парус — опал, точно прыткое заячье ухо. Вступаем на мост; он дрожит, громыхая людьми, фаэтонами, трамом, верблюдами, роем изящных колясок: то мост Каср-ель-Нил; позастыли чугунные львы, видим роскоши зелени той стороны; видим — пальмы из неба; туда опускается солнышко за Гезирэ-Булак: остров парков, полян и роз, и веселий. У моста шумит «скэтинг-ринг» на колесиках; пышно над нами закрутела веранда: над Нилом под пальмами; всходим: садимся за столик, склоняясь в раздолье вод над вечерним Каиром. Фелюга — качается; лодырь, совсем темносиний, стоит на корме, обратившись в сторону Мекки: моторная лодка раздергала золото-карий светени вод, точно тени, или бабочки; вдаль полетели фелюги легчайшим биением бело-голубых парусов; раскаленные желтые здания бросили в солнце стекольные окна: блистают стекольные сотни гнездилищ: казарма — сплошной многоглазник: «Семирамис»* — злогоглазое чудище — тоже: пылает: стекольными сотнями; а прожелтнн выступов Моккатамского вала с пустыни привстали арабским Каиром; глядят через крыши домов европейских кварталов — в пустыню, на бред пирамид (нам же видных за пальмами); скалится старой зубчатой стеной Цитадель, просквозивши из дали, как черное кружево на желтеющей шее испанки — узориками минаретов, затыкавших пальцами в небо из кружева оглавлений: или — множество пик оцетинилось там? Желтовата, как грунт, Цитадель; и она — начертание легонькой трости в песке; и — подует, и — все ожелтеет; и все очертания взвеются от Моккатамского вала простым замутнением; в крепнущих сумерках быстро крепчают цвета: засерела она, 394 затемнела она, и прочернела; и выступил в грунте узор минаретов, зубчатостей, башен, и кажется: вот черноватая тень упадет на холм; а таинственный город, «Кахера», летит — над Каиром. Налево: пространства косматой кудрявицы: зелени (много оттенков) льются как легкие ливни янтариков, бледных бирюзов в хризолитах; под ними — кровавый карминник клокочущих кактусов; изгородь шипами бьется о камни веранды; и путами ярких кустов надувается в небо косматица цепких заборов спортивного клуба; и башенки малых коттеджей, и розы веранд отступили туда, в непролазные чащи деревьев; сады — Ботанический, Зоологический: много садов. И Каир, и Булак — перед нами: закат — начинается; золотом карим ноет, точно бархатный альт. Неописуемы зори Египта; мы часто на них любовались потом! Солнце кругом сперва изнеможет, покрыв его матовым золотом; мертвенно-белый покатится круг, как погашенный к утру фонарь; крепко пеплы пройдутся по мертвому тиглу потухшего круга, и вот этот круг — грустный труп: заедает ливийская пыль. Тысячелетним папирусом ссохнет сочное солнце; какие-то золы бесшумно, безумно засеются; сыплятся, валяются, рушатся, все погребая; и все — промутнение из мира упавшей золы, где и скудно, и трупно, и душно; бесшумно проносятся в небо клочкастые пальмы, утратив стволы: где-то в воздухе; лица, зеленые, выступят в тускло-зеленое небо над

ними: испугами. И пронесутся испуги от края до края; заплачет неведомый кто-то, которого слышите вы осенями на русском болоте; не птица ли? Грусть! Эту грусть ощутили впервые, когда угасали следы уходящего солнца — высоко над космами пальм горизонта; лилось тяжелейшее золото в карие сумерки; медленно, густо протлели какие-то золотокарие земли — над землями: в воздухе; густо затеплился взвеванный в небо песок: землянистый закат осветил карим золотом дымы и гари, разлапости пальм и тончайшую струнку ствола; и туда, в эту промуть, тянулись феллахи, поставив на плечи надутое дно пропеченных жарой кувшинов; за кормой, где склонился весь кубовый лодырь, золотокарие полосы тяжеловесно качаются: знаками, змеями, строя угластые петли на черной поверхности вод; огоньки, огонечки, как иглы, вонзились в бур сумерек: странен и страшен Каир! Боголюбы 911 года Вблизи города Пучатся лопасти листьев; и — капают влагой; в чащобе порхают, как бабочки, смехи цветов; и — сквозят рогорогие чащи; и сахарный, сочный тростник загребает верхушками воздух; вскипает волнами веселая зелень пшеницы; из далей стволистые бурости пальмовых рощ, отягчаемых фиником; винтообразно изрезан их ствол; и летают от моря веселые стаечки, может быть, *sterna nibotica**;

пятноголовые пташки, порхая, пиликают песни. Где лотос? Сказали, что он — не цветет; уже — март; трелит жаворонок из лазуревых озарений; и запахи сладкого тмина, и россыпи желтых цветов из зеленой чрезмерности хлопка. 395 И все обрывается — сразу: ряд валиков, вылепленных из засохшего ила, отрезал пшеничное поле. Пустыня. *** Как будто, мертво засерев, желтоватое море застыло сухими валами: как будто, мертво забурев, облетевшая зелень уныло свивалась листьями. И тени, как дымами, полнили впадины стынувших валиков, мечущих в солнце сухой неприязненный блеск; и на них начертился орнамент зигзагов, слегка перечерченных в зыби летающих веяний; прятался, тяжело вздыхая под шлемом от яркостей солнца, валясь на мою неподвижную коленкорово-черную тень. Вот цвета — желтоватый, сереющий, белый, въедаясь друг в друга, рябеют, мертвеют; и все изошло — разложением белесоватых и желтопесочных тонов. *** То — Сахара: восточная часть ее, именуемая Ливийскою пустынею — самая страшная, непроходимая часть; и я думаю: тут, вон, пески, и туда, к юго-западу мощны пространства угластых, кричащих под солнцем (когда камни, треснув, исходят щелями) громад, известковых, пространства обломков кремней, голых скал, беспесчаных: хамады! Вот как путешественник Циттель рисует хамады: — «Мощные, серые, иногда красноватые плиты известняков гладко отполированы... и стеклянная поверхность их блестит под лучами...» — в Ливийской пустыне, туда к юго-западу, нет кругозора в хамадах; лишь далее, за Фарафрахом, по Циттелю, расстилаются дали; террасообразно строение Ливийской пустыни; и профили дальних холмов разрастаются в воздухе ярким миражем громадных хребтов; их же — нет: гордый, выпранный, кряж превращается в малый уступ каменистого моря; оазов — не встретишь; не то, что в Сахеле: Туат, Тафилельт* прерывают пустыню в Сахеле; здесь днем накаляется воздух до 56°; температура песка еще больше; а ночи — прохладны: четыре, пять градусов только; и мы испытали там холод. Непроходима пустыня отсюда до озера Чад; Нахтигаль проходил до Тибести — хребта, протянувшегося на 500 почти верст, где живет племя Тиббу, которое — как туареги восточной Сахары; среди горных вершин обитают они; здесь есть город Бардай; там — иные вершины подолгу стоят уснеженными; далее — смерть: и пытался проникнуть туда, за Тибести, известнейший Рольфе; он — не мог***; проникаешься уважением перед силою воли идущих туда: Густав Нахтигаль, Генрих Барт, Фогель Рольфе, Циттель вместе с отважнейшим Дюверье поражают меня; почему мы не знаем их; да, имена политических жалких фигляров известны младенцам, а кто читал... Стэнли? *** Смотрю: беловаты холмы — в отдалениях; сочно исходят лиловыми пятнами — там: в отдалениях; тихо они переходят в суровости серогрифельной тускляди; все разложилось в оттенки: оттенками полнится этот гигантски простейший труп, составляя в дали семицветие пляшущих радуг, кусающих яро ресницы; что море — пустыня: меняет свое выражение; мучают зыбкости тучами 396 едких улыбок, которыми тихо пространство дрожит, переполнившись, как электричеством, снами возможных миражей; нет сил туда углубиться! И мы — повернулись к пустыне спиною: в роскошные зелени. *** Снова пышнют пространства; и вот: сикоморы, мимозы пред радостным взором — тут, рядом с пустынею: злобный Тифон отступил; и Изида — цветет; эта линия зелени пересекает пустыню и справа и слева по Нилу, порой прерываясь и далее разливаясь лугами Судана, чтоб там, у экватора слиться с громадой лесов; там растет

баобаб; обезьяны, цепляясь в ветвях, наполняют стрекочущим криком окрестности; и попугайные яркие перья мелькают среди зелени: важно стоит марабу; и лысеет над водами; и — носорог щиплет траву; стоят полушария малой шиллукской деревни*; шиллуки сидят там под деревом, приготавливая сосуды из глины, перетирая зерно кукурузы камнями; и где-то шипит неизбежный «пифон»; по той области можно пройти беспрепятственно к водоразделу меж Нилом и Конго; и Стэнли бродил там недавно; смотри: не теряйся: не то «Ниам-ниам»** съест, обглодает тебя: там оценят тебя не по книгам, по... ляжкам; из «biceps»'а сварят бульон. *** Здесь повсюду — каналы, каналыцы, каналычики: пересекаются в сеть; вот один отрезает нам путь, пробегая высоко: на вале из зелени. Некогда длинный канал перерезал равнину от Нила до Красного моря, соединяя «Эдор» с «Mare Nostrum»; канал этот рылся Нехао еще***; был окончен впоследствии Птоломеем Вторым; и Страбон говорит, что могли пробегать по нему две триремы, идя параллельно; но он замелел; при калифе Омаре его расчищали; но вскоре засыпан был он; его длительность — тысяча лет. *** Все каналы: на насыпях; если на насыпь взойти, то увидишь и воду и кузов скользящей фелюги; а то — его нет; нет воды, и бегут по земле, среди зелени —

белые, синие полосы там островерхого паруса. Из желтоватых соцветий просунулась толстая, черная морда; то — буйвол; за ним — темнокубовым, легким подрясником ходит сквозь ветви соцветий феллах — землепашец; он — строен, вынослив, красив, благодушен, здоров; но — изнежен; он — празднует в праздности: если б ему не трудиться! За лень он готов продать в рабство себя и детей, чтоб сидеть под припеками солнца у дома паши в совершенном безделии; готов выносить и побои и ругань: не так было недавно еще; в эти дни Магомет-Али рыл в нильской дельте каналы; так он уходил — много тысяч людей; он множил свои угрожавшие армии; затрепетала да, Европа; Египет украсился рядом мостов, крепостей, высших школ, где тупели лениво студенты; суданский пророк колотил, надвигаясь, полки египтян; наконец, разбежались они перед английским десантом; и вот — подоткнувши, в кубовой мягкой абассии, пашет феллах, провожая мордастого, чернорогого буйвола. Всюду — лазурные пятна феллахов; и всюду — мордастые буйволы: жирные, черные земли потеют парами; вон пятна к каналыцам спешащих феллашек 397 выходят на валик; они укрепили на плечи землистые груши сосудов, взобравшись на валик, мы видим как липкие, все шоколадного цвета мальчата купаются в липкой грязи: шоколадная лужа разбрызгана ими; а там, на высоком валу — колесо; и его вертит буйвол. В зеленом пространстве из тминного запаха где-то торчат ряды вылеплин ила; уютятся, как гнезда; одно прилепилось к другому; то — домики; окна чернеют, как норы; соломою крыши их трутся; и длинные жерди колодцев раскинуты в воздухе: это — деревня. Туда не поедем. Боголюбцы 911 года Нил Нильское зеркало ожерельем пузырьков проговорит у кормы: голубокрылая птица, фелюга, чуть-чуть закачалась; и — дрогнула; тронулись струи; и — тронулся берег; безостановочным перегоним понесся. Каир — не Каир. Струи тихо бормочут; свивается свитком блаженное время; снимается мир; и снимаются с плеч все дневные усталости отвеваемым жаром и отвеваемой пылью; плывем, уплываем: на даль — набегаем. Голубокрылые абрисы многих феллог набегают, тишайше несясь в тишающей зыби, сегодня лазуревой; белые взвеси полос парусов — распростерты; пузырится влага у носа, и полосы влаги расходятся ясным хвостом: от кормы — к берегам. Наплываем на дали. Феллах стал ногой на корму; и за ним над водой завивается складка абассии кубовой лопастью; я не могу оторваться: какие же певчие краски, — коричневатый тон голоручий из раздуваемых кубовых рукавов вместе с оливковой древней досчатой кормой в отливающей пляске лимонов, в глазуревой глупи лазуревой ясени вод — что нежней, что странней? Улыбаемся: Ася, и я, и феллах; наплывает дремота на грусти; и юркою рыбкой из грусти мелькает улыбка; светлеет, ширеет; и — птица летит: высоко-высоко — уж не это ль египетский ибис? Когда-то и здесь выползал крокодил на пески; и, позавтракав негром, он грелся в песочке, на солнышке, радостно вскрыв свою челюсть, чтоб стая голубеньких птичек влетела в разинутый рот: его чистить; когда-то метал пузыри, кувыряясь в воде, бегемот; он — уплыл к голубому далекому Нилу; проливши слезу, убежал крокодил; а все та же тишайшая ясность: и Ася, и я, и феллах понимаем ее. Дружелюбно кладу сигарету в ладонь взлопотавшего лодыря: — «Что?» — «Порт-Саидская?» И улыбается лодырь: чему? Не тому ли, что твердая почва осталась за нами: Каир — не Каир; не Египет — Египет; и даже земля — не земля; прогорела она; отгорают, смывая все краски; она побежала; как лента кино, — миголетом ландшафтов: и лента — вернется: и ночь упадет... Где-то будем во всю непроглядную ночь. где-то

сложим свои неотвечные думы? Зачем? Порт-саидская сигаретка — сладка; я платил за нее... Я не помню. Каир нас измучил: неделю мы тут задыхаемся в бреде гудков, голосащих трамваев, вуалей, тюрбанов и касок; мы бродим в бреде пирамид; многогрохотно 398 мчатся лавины веков; весь Каир — на ребре Пирамиды; ребро же каирского дома — ребро пирамиды; везде и во все пропирает она; тишиной пирамид гласят гвалты. Лишь Нилом смывается все, отплывая, сплывая, и окружая кольцом ожерелий из пены. — «И нет: никогда не вернется Москва; эти — письма, придиричивость, мелкость, меня укусила, как здешние блохи»... — «А ты еще сердиться?» — «Да!» — «Невозможно сердиться: смотри», — улыбаясь, Ася рукой показала на зыби. Плыдем, уплываем, отплыли, — ужель навсегда? — «Никогда не вернусь!» — «Никогда?» — «Никогда!» *** — «Ты — не думаешь?» «Нет»... «Я — не думаю тоже»... И можно ли думать, когда утекает — то все, как вода? Утекает она; утекает кругом берега; утекает испуганно, запепелевши, и пепелами сжатое солнце: оно, — как лимон: паруса набежали и дрогнули; остановились на солнце; закрыли: закроется все, чем мы жили; откроется то, чем мы не жили; и — паруса отбежали от солнца; оно зеленеет незрело под праздною пальмою. Мы — повернули; и снова с каирского берега желтые здания, точно чудовища, вдоль водопоя — бегут из пустыни: по берегу. *** К парусу тихо теперь подбирается месяц; и так неприметно играет серебряной рыбкой в струе; распадется рыбка на быстрые искры: и мухами, мухами бешено мечется рой искряных бриллиантов. *** Фелюга — несется обратно: несется за нами мир тусклостей; эта погоня — бесшумна; вот — тусклости глянут, склонясь из-за плеч, куда канули синие линии берега, где в непонятной мольбе дерева заломили, страдая, огромные руки, чтоб рвать и ломать; непокойная скорбь поразила прибрежные земли; они — прилетьские; мы возвращаемся вновь в непокойный Аид; непокойные тени Аида простерты от берега; смолами медленно пережигается мгла, подавая из воздуха золотокарие земли; испуг порастил их; в египетском ужасе окнами смотрят дома. Беспокоится, выюркнув в струи, весь серебряный рой пролетающих месячных мух под мостом: Каср-ель-Нил; поползли скарабеи, сцепившись ногами, в ползучую скатерть: зигзагами ножек; и вот уже — черви ломают клубок серебра, заплетаясь в смену арабских серебряных знаков под месяцем; смена писем пробегает по водам арабскими знаками. Только в какое вот слово сливаются буйные буквы? Кто нам перескажет беседу висящего месяца — в водах? Мы вышли: фелюга качается; хлопнуло тихо весло, разгребая серебряных скарабеев. 399 *** Проходим в бесшумный египетский сад, где качаются днем в ветвях изумрудные сирины-птицы, где лепеты капелек из ноздреватого камня подкрадутся сладкою болью; та сладость Египта есть ложная сладость. Проходим в бесшумный египетский сад — в то мгновение, когда перед ночью все звуки сладчают, а краски нежнеют: и все обдает нестерпимую нежностью нас, на мгновение только; потом поразит и придушит откуда-то рухнувший серый египетский пепел; а в пепельной синесиреновой серости грознокоричневый вечер задушит, схвативши за горло; и снимутся сирины с резкого скрежета улиц. Боголюбь 911 года Кварталы Каира Отсутствуют грани. И вот в азиатский восток проливается Африка — с юга и с запада; с севера — веет Европа; контрасты отсутствуют; а непрерывность — везде; и черта за чертой незаметно проходит в проспекты Европы кривой закоулок из... Азии: капля за каплей экзотика капает; если бы от окраины перенестись на окраину, — можно бы воскликнуть: — «Что общего?» Право, Каир, не есть город; между Европой и Африкой-Азией — пояс смещений кварталов; в летучих пробегах нельзя очертить весь Каир. В указателях делят его на две части: на запад и на восток от Калиг (это — улица). Вот на восток от Калиг протянулись кварталы Европы, теряя свою чистоту постепенно; во-первых: квартал Измаилиэ — центр европейской торговли; он вас поражает салонами, вскрытыми в улицу — серией магазинов, где в мягких коврах среди растений у входа порою расставлены кресла; вы — входите, в кресла садитесь, а долговязый и выбритый бритт в белоснежных пикейных штанах, обижая изяществом вас, подает папиросы: для пробы, и вы за двенадцать египетских пиастров* получите пряную пачку египетских папирос; да, у нас в ресторанах такая коробка дешевле; среди многих блистающих стеклами пышных гнездилищ торговли и агенств — обилие лавок египетских древностей (большая часть сфабрикована); песья головка зеленой фигурки торчит из окна вместе с брошкою, изображающей коршуна (точно такого же, какой залетал над проспектом на пламенной сини); египетский скарабей фигурирует здесь; ожерелье из матовых, мертвых каких-то камней; и — всевидящее сбоку око; сюда — не ходите: в булакском музее вы купите поллино древность: ее пролают в отпеленки музея: там

древности установлены специалистами. По улицам Измаилиэ празднично фланируют — смокинги, дамы и фесочки (в палевом); каменный англичанин проедет в кровавом авто — в серой каске; вуаль, голубая, причудливо плещется с каски; стоит полицейский феллах в туго стянутом, в новом мундирчике; и поднимает над улицей белую палочку, строя рукою египетский угол; другой же феллах поливает из мощной кишки пламень плит; здесь на площади — садик; и брызжут в газон оросители, пышно, — фонтанчиком; всюду — киоски: с газетами; здесь — людоед. Во-вторых: величавый квартал, центр общественных зданий: Эсбекиэ; 400 в-третьих: новый квартал, где взлетают гиганты семи этажей; он растет не по дням — по часам, раздуваясь новой кладкою зданий: Абассии. Здесь многоглазые, солнцем блистают строения, в желтых, кирпично-коричневых, рыжих, взлетающих каменных выступках, напоминающих круглые бастионы чудовищной крепости; всюду на окнах решетки сквозных жалюзи, сеть балконов, веранд, парусина, где фрачники, снежно-кисейные дамы, в шезлонге издали лорнируют пыльную улицу; неподметенный, широкий проспект от сжимающих справа и слева громадин демиморесок мучительно, неестественно узится; сеть электрических фонарей приседает; и — кажется низкой.

Паллас за Сплэндидом: отэли, отэли, отэли; обставлены пышно садами, где — спорт; за стенами — ковры, чистота, тень и тишь; а на улице, перед окном фешенебельной лэди, уселись феллахи; один из них — ищется; блохи снадают его. Интересен Тефтикиэ, чистый квартал, столь излюбленный администрацией; а кварталы Муски, Абдин, Фаггалах — уже смешаны; в первом — гремящие центры торговли: и левантской и греческой; бьют из грязнейших лавченок каскады восточных пестрот; подозрительный грек, армянин, турок, старый сириец, еврей из-за роскоши кажет свой нос и лукавое око, как жадный паук, среди блестящей паутины засел; и — ждет мух; великолепия перемешаны с европейскими ситцами; всюду на вывесках здесь фигурирует: пестрый чалмач, жгущий оком, или жгущий усами, стоящими вверх, европеец (весьма подозрительный; он — вяжет галстук; те улочки бьются восточной толпою и грязью кофеенок; дворики ранами грязно зияют наружу; везде постоянные дворики, с вывеской, где кровавою краскою намазаны буквы: «Hotel d'Europe» (ну, конечно, а как же иначе?); уже этажи провисают мрачнейшим выступом; грязный армяно-араб, или греко-сириец кричит из дверей. Такова здесь центральная улица: улица Муски. В квартале Абдин проживает турецкая аристократия: стиль всех построек — несносная помесь; она, как чудовище. К западу от Калиг — настоящий Каир; в получасе ходьбы от реки: от Аббасиэ, до Ибн-Тулуна протянуты сети арабских кварталов: Баб-ель-Футун, Баб-Зуэйле, Баб-ен-Наср и — другие. Арабская улочка Кто побродил по трущобам Каира, ее не забудет; она — сверхъестественна: в ней безобразия — давит, страшит, ужасает; и, наконец, восхищает: убийственной гаммой махровых уродств; все дрянные миазмы спалют гортани, щекают носы; среди рычаний толп и оскала дверей — дыры окон, как черные очи; а гнойный урод подкатился — болячками; и — теребит за пиджак; черной гарью и бурым хамсином прихлопнуто небо; все тело — зудит и горит; раздираешь его: наградили блохами; потеряны вы безвозвратно у кривых малюсеньких входов, подходов, переходиков, недоходов, тупичков, тупых стен; тщетно тычете пальцем в развернутый план: не понять, не вернуться! Чернейшая серень глазастого трехэтажного дома и справа и слева на вас навалилась, сливаясь почти; и смеется бурляющей щелью хамсинное небо; извилины улочки нас — поведут; и нигде не свернете; и — снова вернетесь на прежнее место; бесконечно вы кружитесь; грязь, вонь и пыль возрастает; а щель закоулка — смыкается; гвалты — растут: вас задергали, вам проломали все ребра; сквозь вас повалили пестрейшие толпы; вы — сами проход, по которому тяжело шагает... верблюды... 401 Вы свернули: все то же; свернули: все то же; свернули: все то же; свернули: еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще... Раз пятнадцать, раз тридцать, раз сорок — свернули; и снова — на прежнем вы месте. Где выход из гама, из лая, из плача, из рева, из хрипа, из рыка — где выход? Опять повернули: из тесной гарланящей улочки в более тесный проходик; оттуда ведет вас проходик: его — ширина пять шагов; завернули в грязнейшую щель (ширина ее только три шага); свернули еще (ширина — два шага!), а угрюмость и тень — много метров: вперед и назад; а толпа напирает, толкает и давит; прососаны множеством вы капилляров огромнейшей толпоносной системы, которая гонится, точно мельчайшие шарики по венам, артериям города: ищите — где тут сердце, где площадь, где тут полицейский; и — площади нет: полицейского нет. Вдруг свернули, и — диво: как будто редеет толпа: повернули еще — порепела: еще — побежали спеша одинокие хахи: еще — никого: и

толпа, повернула еще — породами, еще — пожелав, снова, одинокие лица, еще — никого, и еще — никого; вы попали в пустыню; вся кровь — отлила; вы — стираете пот, поднимаете взор: простирается жаркая, темная мгла; то песчинки; хамсин уже дует три дня, отнимая дыхание; руку вы нервно прижали к груди: продохнуть, додохнуть! Ни прохода, ни выхода! Где полицейский? Как выбраться: он полицейский на «Avenue de Boula-que», а не здесь; ни европейца, ни даже египетской фесочки! Чистые фесочки все в Измалиэ, в Эсбекиэ, или в Абассиэ. Тронулись, вновь завернули: бежит вам навстречу халат; и проходит, лазурясь, абассия; снова — свернули — толпа подхватила; и вот после долгих скитаний вы брошены к площади; к площади вышли три улицы; и на одной — слава Богу! — трамвайные рельсы. Вы прыгнули в первый попавшийся трам; он — уносит; он выбросит вас — где вы не были; там, где он выбросит вас, вам укажут, как вам возвратиться. Боголюбцы 911 года Толпа Она — катится россыпью пестрых халатов, и синих, и черных абассий, неся над головами длиннейшие шеи верблюдов, горбы их, с вершины которых семейство, переезжая на дачу, с улыбкою смотрит на море голов; два феллаха, слипаясь хитонами, вам поднесли на плечах принадлежную морду верблюда; и он — оплевал вас; разжались феллахи; и только теперь вы, прижатые к боку верблюда, увидите, что у него есть

действительно ноги, которыми он протирается в вяжущей, в бьющей гуще; вы — выперты к площади; вот изо всех закоулков повыперла пестрядь халатов: вот — розовый, вот — лимонный, а вот — опущенный рысиного цвета мехами; громадным комком нависает чалма; борода протянулась; нос — сплюснутый, глазки — раскосы, цвет дряблого личика — желтый; да это — монгол! А за ним пробегает тюрбан над подрясником, а на подряснике — мерзость! Напрялен кургузый пиджак с отворотами; и сочатся из улочек: эфиопы, чалмастые турки, сирийцы: они — полосаты; плащи состоят из полос: черных с белыми, серых с красными; их капюшон стянут толстой веревкой; какие-то толстые палочки, точно рога, обложили его; орлоносый, седой абиссинец, вон там сухопаро проносит чернь лица, беседуя с коптами; старый еврей, в меховой, большой шапке упрятал слезливые глазки в роскошные кольца слетающих пейсов; он тут ненадолго; Иерусалим его родина; перс замешался в толпу; э, да это — кавказец; попал он из Мекки сюда; 402 синекистая фесочка, фесочка вовсе безкистая; вот же — вертящийся константинопольский дервиш в аршинной барашковой шапке, в песочного цвета халате, с кудрявой по пояс седой бородой. Это все — налетит, обдав запахом пота и лука, расплещется в пыль рукавами халатов; в неизреченного вида штаны утонул кто-то там; в шароварах, подобранных кверху на быстрых ногах, пробежит митиленский, трескочущий грек, заломив на затылок, как гребень петуший, малиновую фригийскую шапочку, выше колен натянул он чулки; они — черные, туфли — заострены. Азия, Африка здесь размешалась с Европой. Высокогорбый верблюд косолапо навалится из закоулка; арабская, важная дама, — двуглазка с закрытою нижней частью лица, восседает на нем, онемев от величия; а за верблюдом второй повалил, третий, пятый, девятый; все девять влекут на горбах: арабчат, тюфяки, утварь, кладь, косолапые ящики: чтущее местный обычай семейство перемещает квартиру. Толпою вы втиснуты в празднество: празднуют! Что, — вы не знаете: где-то, кого-то почтили; и медные трубы оркестра гремят: там — процессия; и оживились тюрбаны, куда-то помчались: на лицах написано: — «Празднуют, празднуют!» Сотни кровавых флажков перекинуты там через улицы плещущей веей гирлянд; затрепетали флажки на стенах; вот — трепещут в руках; выбегают феллахи, и машут флажками: на красном флажке побелел полотном полумесяц; мне вспомнился прежний обычай какого-то праздника: он ежегодно справлялся в Каире; мулла вылетал из мечети на белом коне, а себя приводящие в ярость экстаза поклонники (я не знаю какой только секты), упавши на камни, образовали сплошной живой мост распростершихся тел, по которому мчался мулла, попирая копытом коня — груди, ребра, затылки и спины. *** Толпа загоняет вас в крытый базар, где любезнейший турка дымит фиолетовым, желтым и черным клокочущим шелком; или тащит кровавый халат: обливая благовонием; или под ноги валится черный оборвыш: вы — вот загляделись, а черный оборвыш, подкравшись к ноге, расшнурует угрюмо ботинку, сорвет; и просунет в носок зеленейшую туфлю; невольно ударишь ногою по цепкой руке; зеленейшая туфля опишет дугу; и просунувши ногу в ботинку бежишь от оборвыша (после ее зашнуруешь); оборвыш погонится с туфлей в руке, претендуя на что-то. Вы выскочили прямо в воздух: к бассейну, прелестная форма его поразила на миг; и веранда над струями вод, и витые колонки над ней; это — выступ дворца: ты подумал — чей? Никакого дворца; он остался в дали — за спиною; толпа протолкнула вперед и вперед; протолкнула на пестрой толпе; протолкнула вперед;

спешно, толпа протолкнула вперед и вперед, протолкни на пестрой толпе, протолкнула вперед, впереди перед вами разъята; и — новые зрелища видишь. Боголюбцы 911 года Форма мечетей В заторах горластого города, — там, где приподняты трое ворот (Баб-Зуйлэ, Баб-Футун, Баб-ен-Наср) — истечение мечетей: мечеть ель-Хакем, и мечеть Абу-Бакр, и мечеть ель-Акмар и мечеть ель-Азар. Ель-Азар удлинилась раздвоенной формой меча минарета; в ней собственно пять минаретов; один высочайший — с раздвоенным верхом; вокруг 403 округленного тела его утолщения балконов (балкон над балконом), как кольца на пальцах; с вершины второго балкона приподняты две параллельные башенки; два куполка их венчают; один минарет изощренно-узорен; и он — трехбалконен; один из пяти есть отчетливый кверху протянутый куб; и тунисская форма в нем явственна, хоть изменилась она; фатимиды построили эту мечеть*; именитая школа она, или — арабский Оксфорд; отмечают мрамором многоколонные портики; и отмечают — явно персидские арки. Мечеть ель-Хакем: ель-Хакем, внук Моэца построил ее**; ель-Акмар*** развалилась. Мечеть ель-Гури**** расставляется пестрою прелестью стен; мы надели у входа на ноги широкие туфли, перебегая глазами по ясности мозаических плит, по плетенью упорного черного и черно-серого мрамора; внешности я не запомнил; внутренность вся: оцветнилась она углублением в сторону Мекки (в стене углубление: в том месте, где в наших церквах начинается скрытый дверями алтарь); по бокам углубленья колонны из мрамора; сверху же тонкой дугой слагают рисунок изящные мраморы; сбоку — квадраты; и в них пробелели два круга; здесь стекла — цветные; узорчатый пол оцветнился рефлексамися окон; от стен и до стен; посредине мечети стоишь, как в цветистом, зажженном фонарике. Вот ель-Махмудиэ (около Цитадели она); симметрии в ней нет; вся она — странный вызов пропорций; она — прототип, как мне кажется, стиля каирских мечетей; полосатые стены с узорчатым, резаным краем суть стены каирского стиля, как все минареты мечети описанной (ель-Азар), как колонны массивного портика Ак-Сукнор и как стены мечети Султана Гассана; пространство стенного страннейшего выступа точно вобрал в себя купол Махмудиэ — пересосал свои стены, втянул, подтянул: выси вытянул; явно: на кряжистых кубах мечетей Туниса лежат полукруги снежеющих, каменных куполов; все каирские стены протянуты ввыси; взлетающий купол Каира высок, яйцевиден; кончается он истончением; весь изощряется маленьким пиком; его ширина уступает длине; таков купол мечети Барзай; таков купол мечети Султана Гассана; и купол фонтана Ибн-Тулун — той же формы; боками не выдут тот купол; нет луковки в нем; этой луковкой явно отмечены храмы Дэли; эта луковка вновь появляется в наших московских соборах (Успенский, Архангельский). Эллипсоидное расширение купола видим в Стамбуле (влияние, может быть, Айя-Софии); и видим слияние эллипсов (эллипс на эллипсе); точно такую же формой (слиянием полуэллипсов) ярко отмечена форма пышнейшего купола цитадельской мечети; мечеть Магомета Али повторяет стамбульскую форму; ее строил грек. Архитектоника формы мечети Султана Гассана — типично каирская; купол, подъятый в пространство стены расставляет в пространство свою вышину; и он, помнится, гладкий (иные рябеют рельефом, как струпьями); стены мечети прочерчены рядом полос, как и всюду в Каире, где розовый цвет полосы чередуется с красным, коричневым, серым и желтым (продольные полосы — здесь, поперечные — там); округлением двух минаретов неравных размеров протянуты стены мечети Султана Гассана; и так округлением двух минаретов неравных размеров протянуты стены каирских мечетей; пускай восхищаются ими, как наш Елисеев; по-моему: нет ничего тяжелей рококо этих стен; а в Стамбуле стреляются равными пиками справа и слева мечети. 404 Мечеть Магомета Али также точно стреляется в небо тончайшими пиками: справа и слева от эллипсоидного купола; и в ней — переход от мечетей Стамбула к мечетям Каира. И переход к Кайруану — страннейшая форма мечети Султана Баркука; квадрат ее тела — типично тунисский; он — белый (опять, как в Тунисе); белеют его купола, как в Тунисе белеют они; их продольные полосы врезаны так, как в Тунисе; взошли минаретики трех этажей, как в Тунисе; квадраты лежат в основании башенки (так, как в Тунисе). Особенно много мечетей таких в Кайруане. В Каире их мало. Мой вывод: Каир есть смесительство; и на восток и на запад цветут две различные формы; одна через Багдад, через Персию пышно вскрывается в Индии; и процветает другая в Берберии, здесь развивая свою мавританскую форму; в Каире те формы, встречаясь, друг друга съедают. Боголюбцы 911 года Султаны Египта В Египте скрестились три мира: Европа, «Офейра»* и Азия; борются здесь европейцы с арабами; борется здесь Мавритания с мощным Мосулом, с Багдадом: огромные личности малой Европы идут просверкать — в Палестину, в Египет и в Сирию; Наполеон

личности малой Европы идут просверкать — в Палестину, в Египет и в Сирию. Палестина, Барбарусса, Ричард; возникают отсюда фигуры: вот ель-Моэц**, Нуреддин***, Саладин. Созерцаю мечеть ель-Азар; ее пять минаретов (раздвоен один) прихотливы: вот этот — квадратен; вот тот — почти кругл; ель-Моэц — раздвоил ее стены в этот двойной минарет; ель-Азар создал славу ей — школой; какой-то амальгамой построек раскидано здание; вот его портики: 300 колонок! Здесь сотни начетчиков, тысячи верных студентов доселе живут в утончениях мысли пророка; четыре суннитские толки встречаются в залах ее; у коринфских колонн под арками кучки халатов чалм; те — сидят; эти — бродят; я думаю: некогда сам Нуреддин, благосклонно внимая речам просвещенного суфи, ходил под колонками; видели старые стены почетнейшего Саладина, которого «львиное сердце» глубоко ценило Ричарда (по прозвищу «Львиное Сердце») — тот лик Саладина, который грозил Барбаруссе, которому Фридрих Второй был обязан: спасением жизни (когда темплиеры хотели его погубить); он вливает через Фридриха импульсы просвещения, формируя задания нашей культуры; ему мы обязаны: он — просветитель. Мечты увлекают меня. *** Вот высокой сухой фигурой, закутанный в скромный бурнус, сам Султан Нуреддин показался под зонтиком, пересекая тот

двор, к группе суфи, сидящих под портиком; суфи встают; Нуреддин очень быстрым движением бронзовой смуглой руки их сажает: садится на корточки, благоговейно внимает — я вижу его: его мощный, приподнятый бронзовый лоб в перегаре****; под ним извивают покорную кротость два пристальных глаза; рукою он гладит бородку, которая у него — с подбородка; прочерчены безбородые щеки; ты спросишь: 405 — «Кто этот покорный студент?» И владыки Мосула, Египта, Аравии, Месопотамии, Сирии — в нем не узнаешь! Потом на коне под круглеющим зонтиком он величаво гарцует по улице Шарауйяни к колодцу стариннейшей Ибн-Тулун; в шестивратной мечети все ждут Нуреддина; как пляшет копытом снежайший, зафыркавший конь; но прямой и приросший, как палка — под белым бурнусом он мечет на все черный огонь черных глаз; почему на нем нет украшений? Он — беден; казну государства не трогает он, одеваясь, питаясь из малых доходов; султан занимается скромной торговлей; в Эмессе построил он лавки; недавно еще отказал он любимой жене в ее малых потребностях. Ибн-Алатир уверяет, что образом жизни сравнялся с Омаром, Османом, Али, Абубекром, тишайший, строжайший, скромнейший султан, днем творящий расправу и милость в судах, а ночами молящийся (редко заходит к жене он); единственной слабостью, развлекающей дни его — мяч; выезжает порою в равнины на белом коне; издалека навстречу султану? бросается мяч; он бросая поводья, сложив под бурнусом свои обнаженные руки, бросается ярим конем под полеты мяча, и дощечкой, ожимаемой в правой руке (руку же держит скрещенной под белым бурнусом), он бьет по мячу: прыткий мяч отлетает обратно; при этом весь облик султана суров, неподвижен и хладен; так ловок ловчайший из всадников! Как-то писал Нуреддину какой-то суровый смельчак, что Султану Мосула, святейшему повелителю Месопотамии, Сирии и Египта не следует предаваться пустейшим занятиям этим; султан ему лично ответил, что в этих занятиях он упражняет себя, чтоб на поле сражения быть воином; все уже знают, каков он в бою: увидавши врага, он, хватаясь за лук, устремляется с возгласом: «О, сколько времени я ищу правой смерти за дело Пророка; а смерть — убегает». И верной рукой, натянув тетиву, он пускает: стрелу за стрелою. Он — первый в молитве; он — первый в отваге; то кротким ребенком сидит перед суфи, даря ему только что полученный пышный тюрбан (не пристало ему украшаться), то строгим отцом разрешает он тяжбы, то хитрым расчетливым он пауком заплетает тенета политики: будут неверные биться в них мухами! Часто султан приглашал на трапезы шейхов, имамов, философов; им уступая беседу; на этой беседе все чинно молчат, а один кто-нибудь говорит; скажет: после ему отвечают; перебирают вопросы политики, права, религии; вот образованный старый гафец* вспоминает священные тексты; султан, чтобы лучше услышать, поближе сажает его; этот старый гафец после смерти султана ругает пиры Саладина, где все говорят в одно время, где грубые шутки эмиров напоминают безчинный базар, так что новый султан (проницательно видящий негодование старца), пытается из угождения к нему укротить голосащих эмиров; и — тщетно; не то Нуреддин**; он умел водворить тишину. Он был сам образованный; в строгой системе учился всем тонкостям права; и право возвысил над собственной властью: однажды его отвлекли от мяча, подведя неизвестного: — «Что тебе?» — «Я имею судебную тяжбу к тебе». — «Что я сделал тебе?» 406 — «Незаконно, владыко, владеешь участком моим». — «Хорошо, идем к коню»* И тотчас же с плечами мощней султан и интеллигентнейший полководный полководец к коню

к кади» . И тотчас же с площади мощный султан и ничтожнейший подданный пошли к кади. судиться; и кади, до тонкости все разобравший, оправдал Нуреддина; султан же сказал: — «Это было мне ясно и прежде: теперь я оправдан». Но он проявил знаки милости: — «Слушай: бери себе спорный участок; его защитив по закону, я вправе тебе подарить». Он всегда говорил: — «Мы лишь слуги закона!» Он всюду вводил образцовый порядок; чинились дороги; и строились ханы** повсюду; исчезли убийства; забыли, что есть воровство; возникали больницы: «был строг без суровости; добр же без слабости»***; все беззаконники с радостью встретили раннюю смерть его в дни, когда сам Саладин изменил повелителю и на него Нуреддин ополчился походом (он умер в болезни); о нем Саладин говорил: — «У него научились впервые суды справедливости». Так говорить о противнике мог благородный. *** Воистину Ибн-Алатир возвеличил бессмертную память султана Мосула; Боаеддин же воспел Саладина; он так говорил: «Я имел преимущество быть свидетелем деяний моего господина, султана Саладина, защитника веры, сокрушителя христианского богопочитания, ...виновника взятия святого города****... Я увидел себя принужденным поверить всему, что говорилось о героях древности... Я видел такие подвиги, что свидетелю нельзя не описать их»*****. Саладин отгеснил крестоносцев; он бился с самим

Барбаруссой, с Ричардом и с Фридрихом Гогенштауфеном; завоеваньем Европы он грезил; веротерпимостью пропечатан весь облик его (Нуреддин был фанатик); в владениях его христиане не знали стеснений. Когда, победив христиан, он увидел плененного короля Палестины, то подал напиток высокому пленнику; в Иерусалиме же расставил охрану, чтоб верные не утесняли сраженных; и жен, и сестер христиан, павших в битве, султан одарил; и они прославляли его; отпуская на родину их, дал им верный конвой, чтобы в целости их проводить до границы владений, омыл благовонною водою «Харам-ель-Шериф»***** и усердно в том храме молился; когда Барбарусса ему пригрозил, он ответил ему очень явной угрозой похода в Европу; послание это написано твердым, но вежливым тоном; оно начинается так: «Королю, искреннему другу, великому... Фридриху»*****. Он почитал 407 и Ричарда по прозвищу «Львиное Сердце». В сражении раз он просил, чтоб ему указали Ричарда; увидевши издали пешим его, он воскликнул: — «Такой король — пеший?» И вот после битвы ему отправляет в подарок коня своего Саладин*; и впоследствии предупреждает он Фридриха о ловушке, расставленной темплиерами: те предлагали украдкой султану предать его в руки врага: с возмущением Саладин отказался от этого; Фридрих Второй после мира не может забыть благородства султана; впоследствии с ним он дружит, приобщаясь ко всем утонченьям арабской культуры. Султан был бессребреник, как Нуреддин; только этот последний был скуп; Саладин отдавал свои деньги (доходы Египта, Аравии, Сирии) приближенным**; и много сносил от них; плачем отметилась смерть благородного; Боаеддин говорит, что «сердца погрузились в печаль, глаза смокли от слез...» *** Я брожу по арабским кварталам Каира; двубашенный старый массив, или ворота Баб-ель-Футун; и я думаю, созерцая античную арку прохода ворот, принадлежащую творчеству трех архитекторов (братьев), сирийцев (как Баб-ель-Наср): этой аркой ходили процессии; и Саладин, провожаемый кликом толпы, гарцовал, возвращаясь с похода; вон Баб-Аттаба (в конце улицы ель-Аттаба): а вот кладбище Баб-ель-Уазир; и за ним, на окраине города, дышит песками пустыня; в пустыне — нет времени; все там — бессмертно; и славное прошлое хлещет ветрами в каирскую улочку; эти ветра навевают мне грезы; мне кажется: вот за углом перекрестка я встречу процессию; там гарцует на белом коне повелитель Египта, Султан Саладин; он не тронет меня; расспросив о Европе, отпустит с дарами; и так отпустив, он поедет к себе, чтоб отдаться любимым занятиям: играми с маленьким сыном своим, за которыми невзначай заставали послы иностранных держав господина Египта. Карачев 919 года Каир с Цитадели Прекрасна вдали и нелепа вблизи Цитадель — на уступах холмов Мокка-тама, песчаных и желтых; одним своим входом открыта она с Румейлэх (это — площадь); тот вход ожидальный; две башенки обрамляют: теперь он — закрыт: проникают ворота Баб-эль-Джедит в первый двор Цитадели; оттуда ведет второй вход через линию стен: в самый центр, где — мечеть Магомета-Али; в Цитадели три части: и каждая часть обегает толстейшие стены; холмы Мокка-тама господствуют выше. Султан Саладин ее строил; племянник его, ель-Камил, довершил построение; в ней поселившись (поздней обитали султаны на острове Роде); внутри Цитадели столетия нарастали постройки; позднее Магомет провел воду из Нила сюда (раньше воду снабжали колодцы); огромная часть цитадельских построек разрушена им. Здесь мечети Гам-а-Магомет-ен-Нассер и Гам-а-Сулейман***; доминирует же мечеть Магомет-Али в ней много ступеней каменного 408

1 ам-а-Сулеиман****; доминирует же мечеть Магомет-Али: в ней мало типично каирского. 408

*** Помню, что мы, пробираясь сюда, задыхались от жара; и стены, и башни грубели под солнцем, а солнце стрелялось, в глазах расплывались круги; Цитадель кружевела: желтели уступы над нею, уступы — под нею, уступы — меж ней; из зыбей моккатамских песков над арабским миром восходит она, своим цветом зыбей моккатамских песков: вылезает разным округлением лепок и эллипсов купола; бледная башня круглеет над бледною башней одной высоты со стеною, разъятой воротами там и разъятой воротами здесь: из зыбей моккатамского грунта; и — тихими, дикими пиками двух минаретов уколется в кобальты неба над нею; надутые выступы башен, изрезины мертвой стены затемяют прочерчиной в вечер; а днями сливаются цветом с цветами песков. Восходя к Цитадели, увидите вы, что сплетение стен наливается весом, твердеет рельефом; узоры грубеют; и — как-то болванно балдеют в какие-то дуги, притуплины и набалдашники камня, показывая следы ядер, которыми некогда их забросал Бонапарт; в междустенном пространстве песчаных показателей выносятся тяжело мечеть Магомета Али своим диким песчаником; сбоку — другая мечеть. А из внутренних стен Цитадели вы видите внешние стены; они упадают зубчато круглеющим кружевом желтого края: тонов моккатамских песков; и — торчат отовсюду; меж ними колодезь Иосифа; а впереди, вдалеке и вблизи в желтоватом пространстве желты: ноздреватые обвальни, лепки, проказой покрытые пальцы резных минаретов, и вздутья покрытых проказой резных куполов; многократно зубчатые дали восходят в зубчатые близи. Ленивым желаньем приподняты стены мечети Султана Гассана; и — рои исхудалых, изъеденных башенок с перетолщением галереек, на них; это — справа; налево же розовый ряд куполов, розоватые ряби зубчатой стены, розоватая чаша худых минаретов: ватага чалмистых красавцев, вооруженная пиками в старых веках, погрузнев и померкнув, лупилась, ветшала и сыпалась обвальней в наше столетие; сев на песок за косматые зелени в местности мамелюкского кладбища; много десятков «харамов» созрело отсюда в сплошной перегар, выпадая в пустыню налево; то — новое кладбище, переходящее в мамелюкское кладбище; посредине мечетью Амры поступило оно из сплошных перегаров; и далее — Джамии-Акра перегаром темнеет из Каср-ель-Шамаха. «Кахера» осыпалась в серости сумерок там, простираясь крышами, стенами, пальмами, башнями. Перепаленные, черноватые дали; поглощают поверхности высветом крыш, разделяемых протемью переходов и впадин под ними; отходят неясниться в желтые полосы Нила, который уже зеленеет, чтоб после совсем порыжить, пробагриться перед тем, как из гор Абиссинии хлынут в июль потоки воды; из-за гарева видится Нил; и за Нилом — из-за гарева: гарева чем-то неяснятся; будто бы кружево стен, бастионов и башенок, лес из чернеющих минаретов иголок; а, может быть, это — сады: разглядеть невозможно. То все с Цитадели — пустынно: пылеет пустынная площадь, с которой чалмачник чалмачнику машет рукою; халатики треплются; выше, меж стен: лилипут часовой (англичанин) с прижатой булавкой (ружьём) прилепился; и он — оловянный солдатик отсюда; перевернешься — гряды моккатамского вала торчат. С трех сторон обвелась Цитадель кружевною стеною; коли снизу взглянуть, то увидишь; изваяны стены и башни песчаной камеей; мечеть Магомета Али образует рельеф в окруженьи худых минаретов; а с Нилю она не камей, 409 а легкий рисунок песка, или — рябь; вот подует; вот — светится; и — отлетит на пространство Ливийской пустыни, затемнеет, смешавшись с дюнами дующих мороком; выпадает где-нибудь в даях толпой песчаных тюрбанов. Боголюбы 911 года Принилийский Каир Протянулись по берегу груды громад от моста Каср-ель-Нил; семиэтажный «Семирамис»: это — отэль фешенебельный, для джентельменов, для веющих лэди, для беленьких бэби; и кажется нам: мастодонты домов прибежали на лаву расплава: пить золото Нила; сплошной водопой допотопных животных, пылающих там многоглазыми стеклами окон, оттуда на Нил посылающих лающих звук, изливающих трубами грубые глыбы из дыма над ясными стразами струй, пересыпанных глазом алмаза; глазастый алмазик; метаясь, замаялся там: под мостом Каср-ель-Нил. Так стадами уступчатых кубов Каир — привалил: навалился на Нил; есть Каир: Нила — нет; и в печали отчаяний бродишь по берегу; а гололобые, голоногие лодыри бродят по бродам у берега — там; голоногие дети убогие сети, смеясь, окунули в течение столетий. Прохлады отраднх садов развиваются далее, где — олеандры, азалии; среди изумрудных и чудных ветвей там: «буль-буль»* соловей, распевает для белых детей и собачек британского негоданта: из бриллианта фонтанов; отходит извилистый Нил, разделяясь и, оставив рукавчик воды: между Нилом и...

нилом песчаными косами гонится Го́да, розовник, или — остров садов, замечательный тем, что на нем возвышается сооружение знаменитого Нилометра; торчат плоскокрышие домики Роды; и Рода, розовник, проходит: садами, домами и старым дворцом; а за ним побежали, чернясь — острова, островки, берега, и углясь и стволясь перебитыми, чистыми, вовсе безлиственными прутьями; и над водою качаются древние гребни, раскосые космы, на воздух взлетающих пальм на коричневых, тонких стволах; или — финики, или «дум-дум», или кокосы**, а серая стая седеющих стен укрывает подножия лапчатых пальм, а она же чернеет там, далее, из темно-красного зарева лживых хамсинов, как... гарево марева; издали — призрачный рой мертвецов: бастионы сквозной Цитадели. Через все прочешуилось золото Нила; из многостения домов, многоглавия куполов — уплываешь в «дахабие» (так называют феллахи феллогу); под внешними веслами весело видишь везде световые печати воды; лишь отчалишь, печали отчаяний, точно какие-то чайки слетают на дали; и полный наплывом воды, с середины изливного Нила ты видишь Каир, мимолетное марево. Есть только Нил, а Каир — не Каир; он летящая лента кино: улетучится тучею в жуткие мути, где все приседает под вечер за линией робких коробок кубовых кубов домиков; а «дахабие» зыбится рыбой во внешнем безвесии берега, как в безбрежии под

голубым, чуть раскрытым крылом, — чуть раскрытым в наплывы зеркал; место берега — бледно: какая-то безреальная плоскость; и сабля, сталаея клинком, плоско рыжее потухшие суши: и я говорю улыбнувшейся Асе: — «Каир — отплывающий плот: он приплыл; все иное закрыл; и теперь — отплывает». 410 — «А что наплывает?» — «Мемфис, Гелиополь...» И кажется: злая, сухая Кахера* — хамсинная дымка Мемфиса — «Дахабие» напоминает ладью египтян: и кормой, и косым наклоном паруса; где ты, Каир? Голоногие дети расставили сети в течение столетий, и вытянув нильские илы на берег Мемфиса, слепили Кахеру; наплыв наводнения смоем Кахеру блистающей бездной забвения; воды текут как тогда, от таинственных лунных вершин, где ахум**, как на фреске Египта, начертанной на потолке «мастаба», все стоит с перетянутой тетивой эфиопского лука; на Ниле — нет времени; и — за кормою увидишь себя опрокинутым в сорок веков; золотая змея за кормою — диск солнца, изыбленный струями; изображали его золотой змеей с золотой головой: а была голова — золотого косматого льва. Из «дахабие» выскочить бы: побежать бы по звонкому золоту ясным апостолом, не убоявшимся вод; убежать в Гелиополь по звонко зажженным мостам; но — разъялся тот мост: голубое крыло пробегающей встречной феллоги разрезало золото; и золотая змея с золотой головой улизнула в глубины. *** — «Смотри, выплываем!» — «Каир за плечами...» — «Там зелень полей!» — «Это — хлопок!» По берегу стены коричневой, бедной лачуги: и дети расставили сети в течение столетий; и кажется: Нил — вытекает из неба; и — в небо течет; темнокубовый лодыр выносит меня из «дахабие»; и через воду несет на руках до прибрежных травинки; выносит он Асю; и — бережно ставит на берег, где пучатся лопасти листьев, где капают влагой они; в рогорогие чащи идем — через чащи; и видим: стволыстые бурости пальмовых рощ; закричал козодой: из кустов — над водой. Меж валами канальца бежит (ты сказал бы: бежит по земле) острый парус: и белые, синие полости треплются, а из соцветия тупо просунулся буйвол, лениво жующий; и земли жиреют парами. — «А? Что это?» — «Это — папирус!» — «Папируса нет: но он — рос». Боголюбы 911 года Каср-ешь-Шамах Обветшалый такой акведук, точно римский, когда-то водою снабжал Цитадель; начинается прямо за ним протеснение домиков: «старый Каир», где стекаются пестряди помесей древне-египетской крови с Европою времени римского и византийского блеска, и — пестряди помесей этих в смешении с арабами; первая помесь сохраннее в коптах; вторая феллахи. Здесь часть населения отвергла Ислам; и — задвинулась общиной христиан за стенами: то — копты, в которых египетский предок бежит по артериям, 411 напечатляясь в богослужебные книги; для нынешних коптов едва ли понятны они, потому что арабский подстрочник приложен к читаемым текстам; отправаясь от них, могли верно приблизиться к древне-египетским буквам; по Изамберу меж коптским и древне-египетским видится точно такая же связь, как между италианским и римским. Среди коптов встречаются: евтихиане, католики, православные; быт христиан — искажен: лихоимством, подделкой и ловким обманом ославлены копты; они — математики; им поручили когда-то финансы Египта; когда-то считалась столицей их ель-Файюмэ, лежащая около «крокодилополя»*, около лабиринта и около пирамиды мэридского озера; здесь проживают в квартале, имеющем наименование «Каср-ешь-Шамах», до сих пор еще копты; и здесь проживали они в миновавших столетиях: при

Саладине еще. Эта улица есть ель-1 ури; здесь чернеют из стен головные повязки: то — копты; уйдете в проходик, назад не вернетесь; десятки желаний ограбят вас дочиста, реют, как реют над этой стеной прямокрылые коршуны, чьи прямокрылые тени, ломаясь, перекосясь на стене; верно, где-то есть падаль собаки, такой востроухой, такой востроносой, похожей и шерстью и юркой ухваткой на злого шакала, в которого, как утверждают арабы, вселился сам «марафил»**»; марафилом и рыскают в черных повязках хитрейшие, орлоносые копты по Каср-ешь-Шамах, загнездясь за облупленным камнем древнеюющей, римской стены. Вы — проходите в брешь: деревянную дверь; и вы — в лабиринте облупленных, дохленьких улочек, где разбросались все церковки, неотличимые от соседних домишек; везде над дверями кресты отмечают святыню за ними, куда вы проходите в пахнувший дворик; на двориках розвальни церковок, где вас охватит и спертость, и сырость, и мрак, как в подвале: когда зажигаются свечи, вы видите иконостасик; он — деревянный: коричнево-темный, коричнево-черный, резной, с инкрустацией; и от резьбы оторваться нет сил! Инкрустация здесь выщербливает орнамент, где черные, белые, коричневые линии вьют арабески из малых, точеных зверьков, вперемежку с пальметтами; всюду — святые угодники; а на стенах — примитив: византийские лики с

потухшими красками. Помню я церковку: с неподметенного дворика через проломы стены пробрались в эту церковку мы; опупелый баран вслед за нами заглядывал: с неподметенного дворика, через проломы стены; загрязненные коптские пастыри (все, что ни есть!) потянулись за нами: вернее прельстил их бакшиш; потянулись из дворика — в церковь; из церкви — на дворик. Запомнилась церковка: это обитель святого (как кажется) Сергея, переделенная натрое; посередине пусто свободное патриаршее место; а справа и слева — отделы: мужчины и женщины молятся здесь раздельно. Святая Варвара запомнилась старой слоновой костью своих инкрустаций. Мы, помнится, переглядели шесть церковок; копты, мальчата и «хахи» гонялись за нами; и тело зудело и гари снедали; и уши мои разрывали, крича, горлачи; «обакшишил» я всех: залетали вокруг серебристые доллары, пьестры — в сплошной горлодер; полицейский за нас заступился; пока он оттискивал злую толпу, мы — бежали, не видя мечети Амры, восстающей по близости: в центре Каира. Боголюбы 911 года. 412 Центры Где красный халат перемешан с пикейным жилетом, где бродят надменные дэнди, где бредит тюрбан трескотней — посередине бульварчика Магомет-Али коричневеет коробка из камня, открывшись с одной стороны библиотекой с публичной хедивской читальней; в книгохранилище шестьдесят тысяч книг, из которых одна половина — арабские манускрипты; есть ценные списки корана; студенты, воняющие одеколоном и луком, влетают в открытую дверь; и потом вылетают обратно. Другой стороной открывается камень коробки арабским музеем, где гранная бронза пестреет хвостами павлинов и странными вазами: полными формами выперта пышно; надгробные, передробленные, ассиуанские камни; и ярко кричат инкрустацией мраморы; быстрою искрою жгут мозаичные плиты; эмирская люстра яснее, тяжелою медью; блистают: подсвечники, люстры и лампы, и кубики, и чашки, и яшмы, и — что там еще? Через зал деревянных изделий проходишь средь чаш инкрустаций; и точит узоры слоновая кость; табуреты, резные попитры, с которых читают коран; переходишь через зал деревянных дверей, металлических (бронзовых, медных, железных, чугуновых), которые украшали мечети, в уютную комнату, полную крепкой керамикой; зала сирийских фаянсов; вон там отливаются в фиолетовые фаянсы фантазия Персии; ткани всех качеств, мастей и отливов; ковровые волны и пятна платков. Так бы я передал впечатление Музея: быть может, напутал я в частности? Как бы то ни было, но пестрота предо мною жила...

*** И — выходишь: тяжелое здание вот отступило от улицы, кроя кокетливо там завитушками зелени стены; кирпичного цвета оно; под приподнятой башней из камня изваяны львы, а в оконных простеночках — неуловимые кариатиды окаменели, серея, прижавши к бокам мускулистые руки; они — египтяне; они — стилизованы; к лбам привалился карниз; вероятно, тяжелое здание — дом фабриканта: английского, или... сирийского, анатолийского, может быть, малоазиатского — кто его знает! Коль здесь англичанин, то дом — фешенебельный дэнди, коль это сириец, — дом — «шик»! Посеревшее чудище лепится рядом с кирпичным: все шесть этажей с жалюзи. А в углу перекрестка, запертого зданьями, ярко присела мечеть, приподняв минаретик к четвертому этажу: к жалюзи; то — обломок прошедшего; сплющилась сбоку коробками: фыркают «шики», косясь на нее, ожидая когда наезжающий лорд из Шотландии вместо мечети посадит коттедж, чтобы снежные дэнди и нежные лэди, и белые бэби в летающих локонах на

перелетной коляске к нему подъезжали, смеясь. Одногорбый верблюд, под копною травы приподняв лебединую шею, зашлепал по улочке: белый и стройный; ревет под окном; на горбе раскричался хитонник; тюрбанные слуги кирпичного дома хохочут над ним под воротами; там, за воротами — садик: цейлонские стволы корни простерли в малакские травы; искусственно кто-то развел это все; и — усыпал дорожки песочком, к которому выползли ящеры: греться. *** Компания скромнейших фесочек мчит за собою в кафе баклажанного цвета халат; а халат упирается: 413 — «Хаха!» — «А!» — «Хаха!» И — спорит; вовсе раздетая хаха на тощие ребра напялила там... (вы представьте себе!)... пиджачек*; и гуляет в тюрбане; сиреневый смокинг проходит с яичным, напяливши чистую феску с обгрызанным хвостиком; это студенты, свиставшие Рузвельту в прошлом году: недостаточно он либерален! То — «шики» Каира: «ошикали»... Рузвельта; и — пробегают в читальню; проходят: Мирджаны, Марджаны, Мурджаны, Идрисы, Халали, Рекасы, Фераджи, Мурзали**, сиреневый смокинг, быть может, Рекас-ель-Эдин, или даже — ель-Нил, а яичный — Гуссейн-Магомет-Нур-Абдин, или Ахмет-ель-Динкани, быть может, Бекат-ель-Бергут; осыпают себя неприятными криками. — «Хвейс!»*** Те — без звания (просто «Мурзали»), а эти — «эффенди»: Али-Магомет ель-Араби эффенди, наверное — копт; и — католик («Базили!»); халат баклажанного цвета, — конечно, Ага-Мустафа, или — турок (что — то же!); а тот, пробегающий с банкой оливок, в кукурузных штанишках и с огненным галстуком — грек: Ассиаки, который когда-нибудь будет «пашей» в Малой Азии и перережет армян: Ассиаки-Эмин-Сириаки-Паша; если же он поселится в Париже, то, может быть, так, как сородич его, Попандопуло, станет еще декаденским поэтом; быть может, в Одессе еще расторгнется грецкими губками; выстроит виллы на Малом Фонтане; и летами и с целым семейством он будет жить в Митилэнах; пока — он в Каире. *** Гляжу на туристов: старательно делают вид, что они — старожилы страны, щеголяя в желтеющих шлемах с вуалью, а «хаха» Марджан их усадит на ослика: будет гонять по Каиру на радость Рекасам, Идрисам и прочим бездельникам: — «Хвейс!» — «Уляля!» — «А!» — «Бакшиш!» Полетят бакшиши! Джентельмены спрячутся за спины злых полицейских, которые будут дубасить руками по спинам Рекасов; Рекасы, спокойно избитые, знают, что те джентельмены у них, у Рекасов, в руках; полицейский, прибыв, отвернется; Рекасы опять нападут; это все лишь комедия; завтра Мурджан-полицейский, надевши абассию, сам превратится в Рекаса; Рекас же, надевши мундирчик, поднимет торжественно белую палочку. Все — здесь двусмысленно! Это — Каир... *** Иногда улыбнется пленительно он; златокарими зорями ползает в воздухе, переполняя свечением пролеты проспектов; и — нильской струею блеснет; 414 и — пройдетя отряд музыкантов, вопя ослепительной медью разинутых труб; и феллахи бегут по бокам; бирюзового цвета карета поедет в кайме золотых гайдуков, у которых развеяно белое что-то... То — свадьба. Боголюбы 911 года Течение Нил изливается массой воды из нианзы* «Виктория», пересекая седым водоскатом в нианзу «Альберт» — от экватора к тропику Рака, у Ассуана вступая в умеренный климат, а у Каира пересекая 30-ый, как кажется, градус и — дельтой ветвясь от Каира на север: до моря, и вытяни петли извивов его, он имел бы длину до семи тысяч верст, то есть, кажется, две с лишним Волги. Нианза «Виктория» стала известной недавно**, она занимает поверхность Баварии***; тысячей верст обегает окружность его; обнимая пространство двух русских губерний; и Нил, и нианзы поят массой вод ледники Руэнцори, которые ярко описаны Стэнли****, открывшим, что кряж Руэнцори и Лунные горы, когда-то известные страннописцу Эдризидризи***** и древним (о них говорилось в эпоху Гомера еще) — суть различные наименования тех хребтов; уже грек Гекатеус гласит, что у нильских истоков, в горах, проживают пигмеи; пигмеи доселе живут в тех местах***** как о том заявляет и Стэнли и прочие. Вытекши из двух нианз, соединяется северный Нил (уже в Судане) с притоком: с рекою Газелей, с Собатом; и получает название: Бахр-ель-Абиад: Белый Нил; у Хартума вливается мощный приток ель-Азрак, или Бахр-ель-Азрак*****, ниспадающий с озера Цан***** проливающий мощные воды с июля до зимнего времени; далее Нил принимает Атбару (уже — выше), втекая в Египет у станции Вади-Хальфа (границы); и здесь образуют пороги — последние; но в просторечии именуют их «первыми»; многие едут до «первых порогов», немногие — дальше: в Хартум. Нил льет проносимый поток абиссинской воды уже в июле; и далее: в августе: в сентябре воды падают; мощный разлив октябрем остановлен; вода поднимается у Ассуана на 24 аршина; и у Каира — на восемь; когда-то у дельты на солнышке грелся, разинувши рот, крокодил; и пускал

пузыри по воде — бегемот; но бежал бегемот, как и лев, за Хартум; крокодил убежал к Асуану*****. В географических картах недавно лишь с точностью вычерчен Нил; но влияние озера на течение Нила отмечено верно Гиппархом; озера, согласно Гиппарху, высоко взлетают на север, покинув экватор; и это — ошибка, конечно; у Птолемея слетают на юг, за экватор; и это — ошибка; вернее они у Эдризид (на несколько градусов ниже экватора)*****. 415 Все показывает, что некогда знали истоки реки; лишь позднее забылись они; в 18-ом и 19-ом веке (в начале его) утверждалась о Ниле какая-то чушь, упразднившая верное мнение Гиппарха, Эдризид и Птолемея; бракуя позднейших картографов, ныне мы ближе к картографам ранним*. Хребет Руанцори когда-то называли горами Луны**; и позднее называли арабы его Джебель-Гумр; Юлий Цезарь мечтал поклониться таинственным Лунным горам, уверяет нас Стэнли: прекраснее Бернского Оберланда они***. Что касается негров, живущих в той области, то наблюдаемы ныне еще атрибуты египетской жизни у них; как одеты ахумы, уатузи, уарунди теперь, одевались за 3? тысячи лет эфиопы, платившие дань фараонам; такие же у них инструменты, шкатулки, посуда, ножи, деревянные ложки, сандалии, посохи, флейты и «мунду»****; орнамент — сплошной треугольник: на тканях, на доме, на утвари (как и в Египте);

цвета — желтый, черный и красный; манера держать себя (позы и мины) такая же, каковую мы видим в египетских старых рисунках; не видим мы часто канвы всех сплетений, родивших там «негра»; и «негра», как «араба» представляем абстрактно; из расселения пяти типов (полуэфиоп, эфиоп, негр, пигмей, бербер, мавр) возникали пестрейшие множества негрских племен; то имевших культуру, то — «диких»*****. Экваториальная Африка Нил вытекает с экватора, и переносит из недр африканских старинную весть перецветших культур; вокруг истоков его закипает таинственно жизнь: африканские недра доселе таят неизвестности; береговая же Африка уже со времени Васко-де-Гама заселена европейцами; в недрах ее полагали когда-то «Офейру» (о ней гласят древние); солнце там жжет: пережженный есть «афф» — африканец. Имена Уайта, Беккера, Ливингстона, Ю. Юнкера (москвича), Спика, Барта, Швейнфурта, Стэнли, Нахтигалья нам дороги; их труды, их отвага, их воля нам бросили свет на «Офейру»: к ней путь через Египет, через Нубию, через Судан к полноводным «нианзам», к водоразделам великих двух рек: Конго, Нила, а также: к водоразделу меж западной «нианзой» Чад и «нианзами» Нила. В сороковом году Ливингстон углубляется в страны «Офейры», исследуя южные тропики, где он проводит шестнадцать томительных лет: он исследует весь юго-запад; переходя Калахари*****, проходит к истокам Замбези, еще неоткрытым, заходит в центр Африки, где в Лилианти*****, в селении 416 негров, он долго живет; и отсюда проходит сначала на запад (до берега океана), потом — на восток, к Зензибару, пересекая всю Африку; он во втором путешествии открывает нианзу Ниассу, исследуя берега: путешествие длится шесть лет*. В это время как раз Спик и Грант (англичане) проходят к «нианзам» Виктории и Альберту и от истоков Бахр-ель-Абиада проходят наверх, к Кондокоро, где к ним спускается экспедиция Уайта Беккера; Беккер спускается вниз: он исследует Альберт-нианзу**; позднее Ливингстон поднимается с запада, с устья Ровумы*** до озера Ньяссы; оттуда идет к Танганайке, где Стэнли находит его; Стэнли много исследовал области Конго; и можно сказать — создал Конго. Немного позднее наш Юнкер исследует реки Собат и извилистый Бахр-ель-Газаль (то притоки великого Нила); он в семьдесят девятом году пробегает впервые по странам Ньям-Ньям, и дойдя до водораздела между Нилом и Конго, исследует реку Уэлла, приток Конго, растянутую на тысячу километров; ее переходит; и — ходит по речке Непоко — притоку реки Арувими (по ней ходит Стэнли; она — приток Конго); затем Юнкер правит свой путь до великого, нильского устья, где в Ладо встречается он с Эмином-пашей, отрезанный с севера от Египта махдистами****. Через короткое время с реки Арувими к стране Уаделаи направляется к Стэнли, проходит к нианзе Альберту, уводит Эмина, спускаясь с ним к Зензибару. Этим рядом смелейших проходов по странам «Офейры» впервые бросается луч на огромные области, где начинается Нил и Конго. С Каира, естественно поднимаясь по Нилу, плывешь в зеленеющих и цветущих прибрежьях; тихо проходит Египет, возвысаясь седой стариной: Абидос поднимает храм Сети; весь белый он высится на бесплодии у деревушки; и зеленеет по берегу «дурро»; порой желтоватые горы покажутся издали; вот — Дендарах, где богине Гатор был воздвигнут возвышенно храм среди бесплодной степи; под колоннами вечером реют гиганты летучие мыши; и далее — то поднимаются степи, то пальмовый лес зеленеет; Карнак поднимается храмами на

таинственных, лотосоподобных колоннах; аллею сфинксов зовет; и Луксор улыбается розой под пальмами; немые колоссы мемноские; брызжут зеленые краски прибрежий; чинары, акации, пальмы; среди них обнаженные почвы; открыли святилища здесь Мариэтт и Навилль; здесь копались в грунтах Масперо, извлекая могилы. Воздвигнуты Гатор, храмы Менту-Хотеп, Рамессеум; оранжевые, желтые обрывы ливийского пустыря. Далее, поднимаясь по Нилу, вы видите храм, посвященный могучему Гору в Эдфу, поражающий красотой своих форм; недалеко от храма Эдфу-Ком-Омбос, крокодиловы мумии, храм высоко над рекою; здесь царство пшеницы и сахарных тростников; вблизи острова Филэ природа меняется: жгучая, грозная; жадно пески подползают к воде; поднимаются с запада горы; здесь храм, посвященный Изиде; и далее — начинается Нильский изгиб; начинается Нубия от Ассуана к Хартуму — шесть нильских порогов. И вот поднимаясь к Нилу за Ассуан, к Уади-Хальфе, вступаем мы в область огромных порогов. Здесь Нил нам рисует извив: с Ассуана к Хартуму теперь громяют экспрессы; проезда 417 по Нилу здесь нет; к Ассуану подкрался порог; у Хартума — последний порог; он по счету — шестой; от Хартума бежит пароход к Кондокоро; и — далее: к Ладо; за Ладо же — область «нианз»: экваториальная Африка. Побережье Бахр-ель-Абиада* с Хартума сначала

безжизненно: здесь происходит слияние с Бахр-ель-Азраком**, которого берег отвесен; отлог берег Белого Нила; его как бы нет; появляется остров Гассание; берег покрыт полосой мимозовых чащ; эти чащи порою затоплены; и лихорадки господствуют; далее — дали пустыни***, где водится все еще *Dipus aegyptiacus* (грызун); и летают ливийские голуби; но — попадают: яйца страусов; страусы водятся****. Далее — мир расширения болот; появляются холмики; при отплывании против течения Нила, налево являются страны шиллуков, направо являются холмики, покрытые сочной травой; страны дикков простерты отсюда; кругом берега поросли тростником; побережье шиллукского берега в мощных лесах; деревушки проходят, ютятся над косматыми пальмами; всюду стада; на реке челноки странной формы: амбак***** служит им материалом; сидят в челноках чернокожие; ловят баграми обильную рыбу среди звона болотных москитов; мелькают в воде красноперые окуни; плавают *Tetrodon phica*, которая может раздуться, набрав много воздуха; и одиноко сидит на суку неподвижный журавль; вот вдали показался продолбленный ствол; притаился шиллук, прижимая багор; у него ожерелье на шее; слоновая кость обвивает браслетами руку его; иногда он покрыт толстым слоем золы, защищающей тело от роя москитов*****. Между тем берега изменяются; там, где вливается тихий Собат; поражают пространства болот; и не знаешь порою: болотом или Нилом плывешь; изменяется вид побережий и быт чернокожих; здесь всюду деревни различных племен; исхудалые киттчи, накрывшись леопардовой шкурой, просунут свои черномазые морды из зарослей сахарных тростников; забелеет перо завитое убитого страуса с черной главы исхудалого киттча, пасущего где-то стадо быков; или на берег выбежит шир*****, размахавшись дубиной из черного дерева; или стоит он, склоняясь на копье, на одной лишь ноге (то — любимая поза); с макушки торчат петушиные перья; а там — поселение широв: все — круглые хижинки; около берега видишь посевы белейшего лотоса; женщины будут потом собирать семена его; есть элиары, есть боры: подай руку им; они сделают вид, что хотят в нее плюнуть (то — вид благодарности)*****. Спросишь, как имя; ответят тебе: — «Джокциан!» Очень звучное имя! По берегу видишь ты дхуру (то хлебное дерево); видишь ассасиа, из которой готовят танин, есть колючки киттуро, а *rustia stratiotes****** плывет островками; амбак, тамаринд и папирус, пальма-долап здесь — всюду; сидит птица лонзик на... голове бегемота; вон тот, проезжающий здесь на дахабиэ 418 пришлый араб, приготовит тебе бегемотовый суп (очень вкусный); пока же, напялив тарбохш*, он играет на легкой рабабе**, что делает он в этой местности? Приготавливает из гарра (плода) прекрасную краску, которую после везет вниз по Нилу. Поплыв по Собату, увидишь ряды тростниковых голов (точно сахарных); яйца страусов их украшают; живут в них нуэры; коль ты попытаешься вдаль углубиться, оставив челнок, ты увидишь следы проходящих слонов; ты услышишь рыканье льва в баобабах, услышишь пронзительный крик попугая и рев павиана; и карморан пролетит (птица-хищник); жирафы и страусы здесь начинают пастись***. Ниже немного пустившись по Нилу до Бахр-ель-Газалея****, увидишь в дождливое время — озера, озера, озера: в бездорожье видишь лишь русла иссохших болот; за болотами — дым и зарево; то выжигают сухую траву; вся страна, распростертая к юго-западу от впадения Бахр-ель-Газалея в Бахр-ель-Абиад, простирается в людоедские страны, Ньям-Ньям, по которым ходил еще

Швейнфурт, впоследствии ж углубился в них Юнкер на семь долгих лет. По Бахр-ель-Газало плывут травянистые бары*****, южнее — леса окаймляют притоки реки; и южнее еще деревушки Ньям-Ньям, засевающих «элевзину»; растет здесь «трекулия»; плод ее — с голову человека; и прячется страшный «шимпанзе», дерущийся палкою: рощи бананов, масличные пальмы, гигантского вида жуки поражают тебя*****; углубившись южнее еще, ты выходишь на берег притока великого Конго; за ним в лесных чащах уже попадаются карлики; их изучили и Висман, и Стэнли, и Юнкер, и Вольф; и о них говорит Франсуа. Если же опускаться все ниже по Нилу, минуя Кондокоро, то опустишься к Уаделаю, изученному экспедицией Стэнли и Беккером; Юнкер сюда приходил; здесь истоки великой реки; это — область Нианз: экваториальная Африка; ниже, пройдя за Уганду к «нианзе» Виктории и опустившись еще, ты доходишь до Ньяссы, которой длина 200 миль; ширина — 50—60; далее — голубое простертое озеро: Танганайка; горами и лесом покрыты ее берега; окаймленное скалами красного сланца, лазурится озеро; фыркают в нем бегемоты и плавают рыба моиндэ; отсюда же начинается область, которую изучил Аивингстон: он прошел меж пространствами нижних озер (Танганайкой и Ньяссой) и меж пространствами, отделившими эти озера от берега океана по

речке Ровуме*****. Здесь пышная флора: копал простирает в потоки лучей свои парные листья, серея стволом, осыпаясь орехами; черное дерево точит смолу; мозикизи и нтибэ растут всюду, — каменный дуб, рододендры, мазук; всюду мбэбва дарит чернокожих плодами; смоковницы, заросли фиговых пальм, бамбуки; молодою листвою, оранжево-красной и розовой реют побережья Ньяссы; и всюду растет пальма-фикус; те гущи проплетены сетью толстых канатов; то выющиеся растения; и они — паразиты*****. 419 Покрыты травой жирнейшие земли; трава итикатика простерла свои глянцевитые листья в мозр и мозмбо (то — травы); цветут имбири голубыми цветками; оранжевы здесь орхидеи, пурпурятся царские кудри, цветут полевые лобелии; и голубеют чилобэ; растительность носит остатки каменноугольного периода*. Здесь, меж цветов, пролетает подчас бич скота — ядовитая муха це-це; рои мошек «кунго» танцуют над мощным бугром муравейника; в листьях же прячется мзиэ, милейшая мелодичная птичка; и водятся белые ибисы; слышится звук «чук-чук-чук»; это весть подает молодой марабу. Не перечислишь зверей: леопарды, слоны, носороги, гиены, львы, буйволы, зебры, певучая утка, крысopodobная «сензе», и прочие; изредка встретишь слона-альбиноса; и есть альбиносы среди негров. Здесь водится чорт, или «соко» — мартышка**»; ее безволосая, светло-желтая морда с двумя бакенбардами, с жидкой бородкой порой нападает из-за ветвей на ребенка; с гримасою бросится с ним в гущу листьев, кричит и балует, и щиплет ребенка; и с криком бежит негритянка под желтою пяткою «соко», мелькающей в лиственных высях; и вдруг с вышины негритенок летит к ногам матери; в высях хихикает «соко»; и пальцами чистит огромные ногти; когда на него нападают, то он наступает; и — бьет по щекам; если ранят его, он рукою из раны своей вырывает копьё, подлетает к обидчику Монде или Мпонде, или Чимбве; и, откусив ему пальцы, спешит в густолистие, где он пучками травы затыкает глубокую рану. *** Давно интерес возрастает к еще не исследованным видам странных животных, которые населяют центральную Африку; еще в семнадцатом веке давала она богатейшую пищу английским зоологам; в восемнадцатом веке они проникают уже жизнь животных по Гамбии и по верхнему Нилу; французы в истекшем столетии открывают на западе неизученных антилоп; варварийский олень, саблерогая антилопа впервые являются взорам ученых; ряды разнородных неизвестных обезьян (павианов, мандрилов и дриллов) являются нам; Вильям Бурчел классифицирует виды различные зебр, изучает куагу (или квагу); и белые носороги открыты им; в странах Судана открыты козлы водяные; из птиц — китоглав; в Абиссинии открывают геладу***; описаны Рюппелем антилопы Судана; вся область Сомали изучена Керком; Уганда же Спиком; а карликовый гиппопотам, обитающий в странах Либерии, точно изучен лишь Шомбурком (только что); Поль-дю-Шалью изучает гориллу; открыты богатые фауны Камеруна, Габона и Конго, где Юнкер описывает неизученных антилоп Арувими, а Стэнли указывает на существование неизвестных ученым ослов и огромных свиней; Гарри Джонстон недавно совсем открывает окапи, которого существование известно и Стэнли****, еще открыто чудовище, близкое к ископаемым бронтозаврам; как знать, что еще таят недра? *** Живут в этих недрах рои негритян; чипета, чипетока, чезумпи, балунго, болундо, бабемба; бобиза — плуты, и ийоу — все храбры, шутливы и веселы; 420 здесь обитают мангаджа, мбагва, имбомба, манийемы, которые — кровожадны; мангаджа на ткацких станках

вытыкают пестрейшие ткани себе; всюду — ряд городков, деревень, деревушек: Котоза, Казанга, Кавмиба, Казансо, Маренго, Морави, Макоза, Маранди, Моерва, Мамуна, Момбо, Монанпунда; какое обилие носовых мягких звуков! И в них, в деревнях, обитают не Жаны, не Поли, не Германы, а Камзуны, Каумы, Казембы, Копгене; а Читикол, Чаокил, Читанангва* одеты в пестрейшие ткани из pterocarpus'a, изукрашенные явно египетской арабеской; татуированы все: племя носит свой герб; и он вырезан в коже; те негры разводят в полях табак, рис и маис, дурро, сорго, потаты, маньоко; пекут из съедобных для них насекомых лепешки; готовят полебе (род пива); и пьют его много, растя животы, из желтеющей тыквы; их зубы обточены; женщины носят пелеле, кольцо на губе; огонь добывают иные сверлением палочек; спят в шалашах на жердях; под жердями разводят огонь, разгоняя дымками звенящих москитов; порой деревенька окружена палисадом; подходишь: и слышишь уже издали звук колотушки: то бьют, размочивши в воде волоконца «буозе», готовя какую-то ткань для одежды, которую часто вымачивают из древесной коры; ты подходишь, и — хлопают негры в ладоши, встречая тебя; где-нибудь за деревней, вооружившаяся длинными луками (в 6 с лишним футов) присела засада у «гопо», большой западни для животных; из-за ствола твердотелого птибье посмотрит косматая рожа; и —

скроется; только торчит за листьями перо (под пером — голова); и виднеются издали кольца густых палисадов деревни; кой-где на колу скалит зубы объединенный череп, наверно преступника; осудил суд, миландо, его выпить, верно, муаве (род яда); приходишь в деревню; ряд хижин, улепленных гнездами коричневеющих трясогузок (не наших); и видишь; перед центральной хижинкой на слоновом клыке восседает король; и венец желтых перьев на нем; музыканты проводят по струнам морильбо (род гуслей); он — слушает; в отдалении где-то трубят в рог — «куду». Отчего так задумчив король, весь увешанный человеческими пальцами (роль талисмана)? Он только что съел прежде милое сердце жены; у маньемов обычай бежать за товарищем, уличенным в провинности, чтобы, зажаривши, съесть его; целые толпы гурманов частенько гоняются с криком за ним; утонченнейшим блюдом считает маньемский гурман человекье протухшее мясо; оно ему — бри. Таковы нравы озера Ньяссы, как их наблюдал Ливингстон**... Экватория одаряет их пальмами; сколько живы ею: их одевает она, укрывает, питает, поит; хоть бы Phoenix в своих разновидностях: Phoenix silvestris дает сладкий сахар, дает и вино; Dactilifera Phoenix мы знаем по плоду: по финику; Phoenix же farinifera дает саго. Арабский писатель четырнадцатого столетия Ибн-ель-Варди, говорит, что Аллах сотворил пальму Phoenix из той же земли, из какой он создал человека. А Cocos nucifera, приносящая людям кокосовые орехи. Кокосовым молоком разбавляют и кофе, и чай, точно сливками; плод же съедобен; из скорлупы вырезают изделия: ручки, посуду, различные безделушки; она, скорлупа, пережженная, фигурирует, как прекрасная черная краска; отвар из кокосов — 421 вернейшее медицинское средство; волокна, которые окружают орех, идут в выделку: мочат их и потом заплетают в канаты, которые крепче пеньковых, сплетают циновки; орех дает масло; известен белок из кокосов; кокосовый жмых поедает скотина, из листьев сплетают различные вещи; и хижины негров они защищают от ливней. А пальма Borassus (flabelliformis и aethiopicum)? Из крепких стволов вырезает оружие негр; сок дает опьяняющий крепкий напиток, перегоняемый и выделяющий сахар; лист — кроет, питает борассовый плод*. Сколько жизней скрывается в пальмовых листьях от ярких лучей эфиопского солнца! Зверьями кишит акватория; в сумрачных темных болотах Родезии (к югу от Конго) живет европейцам неведомый зверь: между реками Лунга и Кафу; по описанию негров, его косолапое тело огромно (с гиппопотама), а шея длинна, как жирафова шея (скорее, как тело удава); на ней голова крокодила с отчетливым рогом на носе; в чудовищном звере воскрес ископаемый «бронтозавр»**. Но зверье исчезает; везде пропадают слоны; колониальной политикой Леопольда I Бельгийского слон истреблен почти в Конго (король занимался торговлей слоновых клыков); носороги, жирафы редуют; и львы пропадают; когда-то они обитали в Европе; недавно еще в изобилии львы населяли Алжир и Тунис; в Константине, в Ороне, на юге Тунисии, ныне они — величайшая редкость. Культура возникает в сердце «Офейры» убийственной сталью железных дорог; европейские центры растут в Экватории; быстрый трамвай пробегает по берегу Конго; свистит паровоз по лесам Сенегала, везя пассажиров до... Нигера. Бьется еще африканское сердце; в Уганде, в Дарфуре, в таинственном Кардофане, где был Нахтигаль*** в Уаделае, в странах Ньям-Ньяма; и туда меня тянет. Душою уплываю по Нилу в центральную Африку; я уголок лишь ее посмотрел в

удушающих пряностью пышных каирских садах. Карачев 919 года Сады Не сады, — а — роскошества. Бегают белые бэби в зеленых роскошествах; жеманный худой феллашенок гоняется в солнышке за косолапо в кусты убегающим ящером; немо сидит феллахиня-мамаша под розовой веткою: то — олеандры; папаша, почтенная «хаха», читает газету в жасмине; ороситель из пестрой лужайки стреляет струей в широчайшие листья банана; и кроет их перлами: — «Видишь, другая струя застрелялась!» — «В кусты — из кустов». Из кустов с предлиннейшей кишкою выходит ленивый тюрбан: это — сторож; зеленокрылая птица вспорхнула; какая — не знаю. Но знаю: здесь водятся колпицы, ширококлювка, краснеют в водах фламинго; мы видели их, одноногих, — увы, не на воле: в каирском саду; и сидит над водой пеликан, прочитавши молитву над рыбой; и трелит «буль-буль» (соловей) из оранжевых цветиков — ранней весной (в феврале): не теперь; ибис — редок, хотя попадался, как, кажется, он Елисееву. 422 Тихо сидим под чинарой: толкаю притихшую Асю: — «Смотри-ка на хаху-папашу, который читает «Revue». — «Нет, какое достоинство: так и написано en toutes lettres на лице: Мы-мы-мы... Вот у нас... К нам съезжаются короли, пэры, лорды, бароны и графы всех стран»... — «И мошенники всех предприятий». — «Смотри, что за нос: нос — изогнутый нос; а надутые губы, как... сочная слива: глаза — тараканы с усами»... — «Оставь, не болтай таких гадостей»... — «Буду молчать».

Упадаю глазами в раскрытую книгу; и в книге читаю про... хаху-фел-лаха*. Феллах — куча пепла: вы тронете мумию пальцем; она распадается в пыль; эта пыль, разлетаясь, свивает тела современных феллахов; феллах пристаёт, навязавши себя, как раба: греку, римлянину, византийцу, арабу, прихожему берберу, чтоб усыпить господина, растлить его в пепле; воистину: «хаха» — страшнее врага; европейца она отрезвляет «пептонами» (трупными ядами). ***

Тронулись: тихо пошли по дорожке — под кружевом зелени нежно оделись и тоненький стволик, и ствол, и стволице, обвиснув нежнеющим листиком, лопастью равно-разлапой; сплетаясь в многолистие, переливаясь оттенками, переплетаясь лианами; дико торчит, протопорщась, косматая чаща, точащая капельки в слезоточивые камни, склоненные в вазы бассейнов.

Просунулась морда ушастого ящера в красных кустах; провильнула, скрываясь хвостиком; и на красном песочке, в лучах, пресмыкаясь, бежит косолапая стая играющих ящеров. Пышный газон; по газону, как будто к нам крадучись, тащатся стволики; я вспоминаю, где видел я это? — «Не мангровый лес ли?» — «А я не пойму: это дерево, или это — кучка деревьев?» 423 — «Нет — дерево». С каждой изогнутой ветки протянут змеящийся в воздухе корень к земле. — «Точно рошица!» Да, сквозь орнамент египетской флоры в садах раскрывают орнамент Кашмир и Цейлон, и Малакка*, и даже Сицилия. — «Видишь — магнолия». Веет своим зеленеющим вретисцем — бездна; и — проливень листьев посыплется лепетом, шелестом, треском; и чешется гребень чудовищный финика в ультрамарини небесного свода. Здесь вечером, может быть, будет носиться, мертвея крылами, собака-летун**;

и в египетском страхе отчетливо дрогнет косматая роща. Боголюбы 911 года Акхунд-Куфу и Уэр-Кхафра Издали пирамиды — не велики; из песков попросунулись: два треугольника цвета пустыни; вон та — пирамида Хеопса: затуплена малой площадкой она; а вот эта — острее вершиной; она — пирамида Хефрена; меж ними боками углов опрокинут лазуревый треугольник огнистых небес; где-то сбоку затеряна малым торчком пирамидка; она — неприметна. Акхунд-Куфу*** тянется по наклону на множество метров****; ее вершина чуть не более ребер наклона*****; с тринадцатой стертой ступени чернеет отверстие входа, как малая точка. Уэр-Кхафра***** кверху торчит на сто тридцать шесть метров: ступеней же нет; верх красуется в розовом, скользком граните; гранит этот выветрен. Третья — Нутир-Менкаура, простерта, как карлик, под первыми*****; и от нее не вдали укрываются три пирамидки: ступенчатые — все; укрываются боком Хеопсовой пирамиды. Та группа есть близкая группа; а дальняя группа встает у Мемфиса; закрыта она за валами песков; между группами путь через пустыню: на осликах (три или четыре часа). Пирамиды стоят на песчаном плато; и змеится дорога сюда, защищенная камнем перил от ветров; у начала дороги туристов ждет трам, — пробегающий в немости пустыни из пальмовых парков. Сливаются цветом с Ливийской пустыней бока пирамид (цвет пустыни изменчив, как море); сереют мертво желтоватые камни, едва заблещаясь в еле видную прозелень; белесоваты на солнце поверхности бока; рябеют ступени тенями на боке, закрытом от солнца; цвета пирамид — серо-белый и серо-желтеющий; в них рябовато въедается злой серографельный тон. Оголтелые камни — рябые какие-то от мертвеющих, тухнувших промутьей; промутьи — в желтых налетах, с едва выступающей

зеленю; в полдень галдеж красноватых рефлексов бросают бока; а к склонению чуть-чуть лиловая дымка воздушнит углы выпирающих граней. Какой же тут цвет? 424 Он — такой, как пустыня, которая тускло сереет от грифельных впадин седого песка, где оттенки, въедаясь друг в друга, слагают рельефы, откуда протычились обе громадных вершины: два трупа, две мумии. *** Англичанин Р. Хиченс, которого чувство Египта во многом созвучно с моим, великолепно рисует изменности красок в громадах Гизеха; передаю его слово: «Всматриваясь в даль за песками, я увидел пирамиду из золота, то чудо, которое создал «Khufu». Как золотое чудо она меня приветствовала после долгих лет моего отсутствия. Позднее мне предстояло увидеть ее то серую, как окружающие пески, то желтосернистого цвета — при — при-дневном освещении, то черною, как памятник, облеченный в траурный бархат — при звездном освещении ночью, то белую, как гигантская, мраморная могила на утренней заре»*... И далее: «По мере того, как глубже изучаешь чудеса, созданные в Египте человеком, величие их все возрастает и все более подавляет наше воображение... Пирамида, как и некоторые другие памятники Египта, высеченные из камня и скал, обладают какою-то удивительной способностью держать себя вдали от всего окружающего, подобно душе человеческой, всегда готовой уйти в себя... Вы мало-помалу

начинаете чувствовать все величие пирамид «Ghizeh»... Впечатление их глубокого покоя, классической простоты, значительно усиливается тогда, когда скрываются детали, когда они рисуются лишь черными формами, поднимающимися к звездам... Простота их форм внушает целый ряд... высоких порывов... Взор ваш медленно поднимается по каменистым стенам... Сколько таинственного... представляет собою контраст между основанием пирамиды и ее вершиною»... и т. д. *** Точно века заиграли рефлексом на этих облуплинах старого ноздреватого бока; а тот — Уэр-Кхафра — молодеет; Акхуд-Куфу — морщится вся; Уэр-Кхафра — недоступна; меж складок морщинистых щек на Акхуд-Куфу ползают: паразиты-туристы, как вши, паразиты-феллахи, как блохи; Уэр-Кхафра — гордый богач, в розовеющем граннике шапки; Акхуд-Куфу — нищий: он шапку свою потерял. Боголюбы 911 года Приближение к пирамидам Замучило нас пирамид выражение!** Пустыня их кажет в фате из обманов; миражи струятся от ребер; и легкими танцами ходит рефлекс световых изменений; в кадрили — «changez vos couleurs» — заиграло, вrostая в огнистое небо, — громадное тело; оно — лиловело; прошли лишь десяток шагов — рябоватыми зыбями нежно оно пожелтело, став вдвое огромней; еще пятьдесят лишь шагов — и вот каменно-серой щекой глядит труп: в отусклении, в розвальне сброшенных кубов, то — гранных, то — рыхло округленных средь осыпей щебня, простершего всюду меж ног ноздреватую рухлядь. 425 Над серою грудю камней беловатый верблюд, в груди камня — зеленый верблюд; облетают, как листья, цвета; и себя на боку поедают все краски. Приблизилась: с бешеной мощью Акхуд-Куфу прет, раздвигаясь, надувши в сплошную опухлину тяжкой болезни; и кажется: вот из земли выпирают тысячи, сотни и тысячи тысяч пудов; за гробницей — гробница; за каменным кладбищем — кладбище, сдвинувшись, сплюснувшись: прет; выпирает — сплошной материк, заслоняя все небо; мы дышим не воздухом — камнем; и сотни веков побежали в обратном порядке навстречу. Достигли до каменных кубов умершей планеты, свалившейся боком на землю: и вот — завалилась на плечи моя голова; и я вижу огромный овал бредового и серого эллипса, телом ушедшего в землю; когда он упал, оборвал за собой атмосферу нездешних миров, пронизающих ныне меня; я кажусь себе гаснущим контуром выпуклин жизни; меж нею и мною — провалы веков: через 5 тысяч лет прошагали от трама — до верха. И не Георг VII царствует здесь, а... Хеопс. — «Кто же «я?» — «Что же все?» — «Как же так?» — «Я оторван!» — «Вернуться нельзя!» А Хеопс гоготнею летящих развалин неслышно гудит: — «Да, да, да!» — «Это — мы!» *** И вот — пирамида; она — ноздревато-ужасна, тиха: вне цветов и вне веса, вне всех измерений пространства и времени; дальше — туда. Если броситься вверх, то облупины бока зауются (сузив пространство вселенной) до малой площадки, которая вход — в иной мир, уже задувший своим сквозняком: — «Слышишь?» — «Слышу!» — «Ты — помнишь?» — «Я — помню...» — «Что помнишь?» — «Как мы до рождения в черно-желтых пространствах летали... сюда: в саркофаг». — «Кто лежит в саркофаге?» — «Душа, заключенная в сердце». — «Что это за камни?» — «То — чувственность!» *** Слов не сказали, коснувшись ужасного бока; сказали — потом; заручились в года мировые ветра, понеся до порогов духовного мира, где я, увидав, оборвался; а Ася... промчалась... куда? На массивы взвалились массивы; на них восходили массивы; ступенчатый

мир из массивов бессмыслился; нам показалось, что рухнет массивная масса: массивами. Хочется сбросить ступени столетий. — «Смотри», — показал Асе... — «Как рыжеет она!» 426
Возникают вдруг мороки: в ней есть и вес, и цвета: — «А пожалуй, в ней нет ничего любопытного». Ложь восприятий — плотнеет; с увеличением раздражения — гаснет прирост впечатлений; и мы, постоявши, решаем: — «Она — обыденна». *** Опять вспоминаю кошмар. Мне казалось, когда был ребенком: ненавидная грань выростала, деля меня надвое; «я», отделенный от «я» миллионами миль, беспредметно тянулся из ужаса мира — к кусочку земли, на котором лежу «я» в постельке: к себе; дико вскрикивал я и тянулся к склоненному образу няни; и слышал: стояли они у постели, шепчась: — «Он кричит по ночам». — «Это, барыня, — рост». Проростал в миллионах из теменей, тщетно пытаюсь осилить растущую бездну. И то ощутил я опять. *** Современность не видит Химеры Хеопса; она — невесома, бесцветна; ее — невозможно измерить и взвесить; и вот вырастают вокруг парадоксы журнальной пошлятины; вспомнил, что где-то читал: если б «В» пароход «С» компании вытянуть вдоль по ребру пирамиды Хеопса, то носом просунется он над верхушкой; какая же, право, в ней ценность, когда пароход превышает длиной ее рост? Ужас, петля тебе, человек современности! Боголюбы 911

года, Карачев 919 года У пирамидного бока Смотрели на верх: рябоватый, пролупленный бок; опускалось солнышко: — «Нам не осилить ее». Окружали феллахи: — «All right»... — «Prenez vous»... — «Карашо»... Мы молчим: — «Meine Herren»... Какие же «Herren» мы с Асей. И вот: кто-то выкрикнул: — «Orividerci!» Кричали, визжали, жужжали они; мы решили хитрить; вероятно ужасные жители этой планеты хотели завлечь нас наверх, полонивши в пустых своих ширях — среди камня; я издал их заверял: — «Nein, werden wir nicht...» — «Aujourd'hui nous restons!..» — «Остаемся». — «А завтра подыдемся: в сопровождении ста человек... с караваном верблюдов, с тюками «бакшиша». 427 Они нам не верили; мы отошли, — и — подставили спину; они — дозирали. Углом пирамиды искусно отрезали мы от дозора себя: мы — одни; голова из-за твердейших массивов — просунулась, застрекотала; огромным прыжком, надувая пышнейшие складки абассий на нас, опрокинулся целый отряд этих бронзовых дьяволов: быстро одни побежали в обход (по песку), а другие скакали по мертвым желтым массивам, обскакивая, и — отрезая путь вверх; заломались их тени, ребя в массивах; так заговор наш был открыт. Мы писали круги вдоль боков пирамиды, приблизясь, а то — отступив, погружаясь в море песка; а абассий, взвев прозрачные шали, которыми кутали голову, — так же как мы, записали круги вдоль боков пирамиды. И вот улучивши мгновение, придвинулись к боку, как воры; и стали карабкаться вверх, озираясь, — (не видят ли нас?), задыхаясь от пыли и жару; в многомассивную вышину побежали, забыв ощущение бреда, которым провеял облупленный бок, карабкались, одолевая усилием каждый ступенчатый выступ. Ужасное вспрыгивание, где прыжок со ступени на острые грани — событие; третья, четвертая, пятая: уф! — отдышались: шестая. А всех их сто сорок. — «Смелее: вперед!» Я — назад не глядел: видел только ступени: ту самую, над которой я вспрыгнул, да ту, на которую надлежало подпрыгнуть; и — — «Гоп!» — «Восьмая!» — «Десятая!» Слава Богу, — десятая: сто еще тридцать! А сердце — стучало, а ноги — дрожали; пятнадцать ступеней осилили мы; на пятнадцатой — мы повернулись: стояли высоко; массивная высь завалилась: без верха. *** Тут снизу заметили нас; точно черные пьявки запрыгали снизу за нами: вдогонку. Я чувствовал воров себя; чернокубовый дьявол схвативши за руку меня, с высоты трехэтажного дома кричал на меня, обрывая стремительно вниз; потащили обратно, сдирая с массивов, и грубо пихая, как камни, которые сбрасывают с вершины островерхий оврагов — мальчишки; я вдруг обозлел: — «Погодите, спущу вас, негодник, по желтому низу». — «Отстаньте: спихну». — «Как вы смеете?» Он же, он — смел; он пихал меня в спину; я спрыгивал все же: — «Восьмая!» — «Седьмая!» — «Шестая!» И — — «Пятая!» Ух, — остановка; пинок: поскакал, — и — — «Четвертая!» — «Третья!» — «Вторая!» Пинок: на земле: — «Как вы смеете?» Стал я махать своей палкой на дьяволов: все же толпа их тащила от бока. 428 Куда? Вдруг я жалобным голосом стал обещать «бакшиши»; мне ответили: великолепный «бакшиш» не уйдет при условии, что моя жизнь сохранится, а если мы с лэди полезем одни, то, как тот англичанин, который... мы тут разобьемся; прекрасный «бакшиш» ускользнет. Тут осыпали мы друг друга упреками; я поглядел с величайшим презрением на хаху, которая потащила меня к малой будке, откуда просунулся тощий чиновник; и — что же? взяв сторону дьяволов, строго сказал он: — «Во-первых полезли наверх, не заплатив податей». — «?» — «Во-

вторых: вы не дали расписки, что сняли ответственность с администрации пирамид за свою, мистер, жизнь и за жизнь этой лэди». Мы дали расписку; и даже: внесли подать мы; легализация нашего права разбиться взяла все же время. Где солнце? Склонилось оно. И теперь оставалось скорей пробежаться до сфинкса; пришлось отложить разбивание до соответствующих разбиванию дней. Сфинкс Опустело плато пирамид; полицейский бросал на пески свою тень: египтянина времени фараона, Рамзеса Второго; у ног вдалеке заблестал «Mene House», расположенный прямо в пустыне, у склона плато*, долетали откуда-то гамы феллахов; гудел на Каир побежавший трамвай; с горизонта, из облака пыли, глазели огнями каирские окна. Покрытые пылью и бредом сидели в тропическом садике, у «Mene House»: пили чай; белоснежные слуги, пылая карминною феской и поясом, бегали мимо; и веяли белые складки аббасий; и бил тусклый гонг из отеля; с веранды, покрытой тропической флорой, шли надушенные лорды и лэди во фраках и в бальных белеющих платьях: к обеду; мы долго сидели в тропическом садике; ночь опускалась на землю. Уже в половине десятого вышли в мир тусклостей, шорохов, теней (в отверстиях гробниц, саркофагов, немьА мастаба — открывались гнездилища томной египетской грусти); пространство в испуге присело на землю, развев по ветру вуали теней; и из-под ног родилась моя тень от лукавого месяца, севшего в пальмы. Прохладно, прозрачно над нами летучилась ясная неизъяснимая синь с припадающей низко к земле семизвездной Медведицей; вспомнил, что будто бы можно теперь наблюдать с горизонта на нас вылезавший крест**»; к Ассуану*** подкрался уже тропик Рака: жарюю. Белели молочно туманы песков; в темно-кубовом воздухе, точно в настое из звезд, задышав синеродом, купалась вершина хеопской глыбы; на ней осаждались ярчайшие звезды, каких я не видел в Европе; и тембр голосов стал зеркальным металлом; а шали, чуть-чуть фосфореея на месячном блеске, пушили феллашские головы; и облачками трепались на небытийственной черни хитонов они; приставали: — «Avec moi»... — «Signor»... 429 — «Нет»... — «Карашо»... Подвели двух хорошеньких осликов: можно ли было вернуться в Каир в эту ночь? Побежали на осликах: в мареве белых песков по пустыне. Потом повернули на Сфинкса; вот снова — подъем на плато; вот ширеет песком седловина между Акхуд-Куфу, Уэр-Кхафра; вот и спуск по ту сторону; вот и... Но что тут сказать?.. *** Время Сфинкса не точно известно*; стоял уже тут, когда первую грудю Хеопса (квадратный массив) волокли на гужах голоногие массы людей; пятьдесят с лишним метров объемлют облупины старого тела; оно не высоко торчит из песков; с основания лапы до темени — 20 лишь метров; стремится к востоку его голова; на лице усмотрели следы бывших красок; столетием ранее высилось только лицо: поотрыв это тело, меж лап отыскивали изображение фараона, Тутмосиса; в письменах извещал фараон вереницу грядущих столетий о сне своем, здесь под тенями громадной главы; отдыхая от львиной охоты, заснул фараон: и само божество посетило во сне, умоляя, чтобы он раскопал из песков Божество; фараон раскопал тело Сфинкса; песок постоянно его засыпает; недавно еще были видны огромные лапы; теперь под песком они снова. Пустыня — вне цвета; внецветны цвета пирамид; внецветен цвет Сфинкса; лишь спереди он темноватый лицом; то — от ветхости; все оно в скважинах; двинутся тени из скважин: играет лицо; ни минуты покоя; дрожит от потока душевных движений, потоком душевных движений бросается в воздух он шесть тысяч лет; все пространство земли переполнено зыбью душевных смятений и мимикой Сфинксово лика; он — ток электричества, двигатель мира: бросает загадками; эти загадки, как кольца воздушных волнений, ширея — расходятся: сфера за сферой; в Нью-Йорке, в Мельбурне, в Москве слышат их; на Луне, за Луной и быть может за Солнцем уже расширяется лет авангардов загадок; феллахи гласят: — «Не глядите в лицо!» — «Безнаказанно в очи Божеств не взирают...» И вот Бонапарт: отбил нос голове этой, выпалив пушкой в него, и... был брошен на остров Елены... *** Я помню, как ослики пересыпали ногами песок; проводник погонял их, едва поспевая за ними (бежал он); клочком голубого тумана тянулась по ветру прозрачная шаль от его головы; мы летели на кубовых блесках из кубовых блесков по кубовым блескам; когда под ослиным копытцем сбежал теновой, точно феска обрезанный конус Хеопсовой глыбы, и стало кругом — молоко под ногами, мы вскачь понеслись по наклону к желтевшей змее с человеческой головой: таким кажется сзади и издали тело чудовища. Это был Сфинкс. *** Сфинкс сидел в котловине, подьемля свою головную громаду из вычерпин старых раскопок, сложивших вокруг него вал из песку; на валу были кучи стоявших 430 туристов пред ямами Сфинксовых глаз (пустых глаз): под массивами полборолка не раз

разрывалась белейшая вспышка: жгли магний, чтоб лучше увидеть его: и бледнела смертельно глава в этих вспышках, как будто под градом обид; вознесся над подковою вала, глядела поверх наших туловищ, тщетно моливших божественных взоров; глядела на мглу горизонта — туда, где шумели ливанские кедры и розы Сарона цвели: там была — Палестина; туда — глядел Сфинкс. *** И более — получаса сидели под Сфинксом, одолевая круги выражений большого немого лица: идиотское выражение сменяло, летя, эфиопское; зверское, трупное, каменно-титаническое, царственное, люциферическое, духовное, ангельское, и — младенческочистое; так как бежит за волною волна, так бежали, сменяя друг друга, круги выражений; и вдруг, закругляясь в единство, круги выражений; сцепились в одно выражение: и — прародимое время просунулось в круг выражений времен, зашептав: — «Да, ты — знаешь»... — «Ты помнишь...» *** — «Что? Что?» — «Что я помню?» — «Что времени больше не будет?» *** — «Ты — знаешь. Ты — помнишь...» *** — «Я — знаю, я — помню, но... что?» *** Слепленные Сфинксом, прошли от него к... храму Сфинкса, открытому сверху и сбоку: пришлось опускаться нам вниз меж огромных гранитов прочнейшей укладки; у входа, бегущего вниз, замирал озаренный луною феллах, драпируясь таинственно в темные складки абассии и распуская по ветру сквозную,

кисейную шаль; он склонил свою голову, нам дымовея, как в беленьком облачке, в шали своей; и — повел круто вниз по ступеням тяжелыми плитами в сжатую — те-образную комнату; здесь потолок есть лишь уровень взрытого грунта; он — кубовый, в звездах; и — месяц там ходит; он — небо над нами; лишь кубы гранитов, здесь, там, разрежали небесный квадрат; на одном, прижав голову к корточкам, тихо уселся феллах, дымовея прозрачную тканью; и — каркал над нами: — «Я вам погадаю, monsieur и madame!» Мы прошли в коридор, укрываясь в гранитные ниши; их время относит к допирамидному времени. *** Снова на осликах; рысью сечем перламутры песков — к пирамидному храму: он — розвалень глыб; хаос глыб, избеленных луной; и — опять отдыхаешь; в белилах луны два феллаха, как черные дыры; отверстием прошлых веков отверзают в душе коридор: из пространства веков к неживому пространству веков. 431 *** Мы едва поспеваем к последнему траму в Каир (уже полночь: по случаю лунных ночей нынче бегают трам в этот час к пирамидам); бросаюсь к площадке; и трам улетает; площадка набита людьми; сиро ежимся над леденящим порывом; ночь вдруг изменилась; повеяла холодом; бешеным визгом и вспышками полнит несущийся трам неживую равнину; и — вот уже травы; среди них — пролысения; травы прогнали их: вилочки, виллы, кусточки, сады; вот — садищи; вот — пальмы; предместий Каира, Булак; вот и мост Каср-ель-Нил: пересадка. Лишь в два часа ночи вернулись. Боголюбцы 911 года Египет Пишу эти несколько слов через восемь томительных лет; впечатления Египта со мною повсюду; Египет — во всем: и в туманно глаголющем Лондоне, как и в Берлине, прошел предо мною он; подстерегает меня он в Москве; выявляется гибельной мощью в стремленьях и вкусах, поет декадансом; понятен он всюду: он — всюду. В египетском плене мы точим под бьющим бичем неживые массивы культурою возродимого пирамидного трупа: под каменной глыбой продавится скоро земля. Вспоминаю: отчетливый ритм наслоения эпох образует семь образов жизни, семь проходящих культур, где четвертая — неповторима, пятою отражается третья; в шестой воскресает вторая; в седьмой прорезается первая: 1) Индия, 2) древняя Персия, 3) древний Египет, 4) Рим, Греция, 5) Наша эпоха — проходит одна за другой; наша — пятая; в ней прорезается третья — Египет. Он — с нами; он — в нас: коридоры квадратного мрака глухих подсознаний души пробегают до мумии нашей, лежащей в гранитном гробу: среди песков. В Египте повернуты мы на себя: наши страстности ссохлись; проплюснулись в мумию; мумия эта спокойно лежит в саркофаге, пока не пронизет сознание наше ее — в нас самих: и она восстает двойником, нападает испугами; видим тогда, что Египет таскаем мы всюду; Египет Второй, из которого должно бежать, — европейская жизнь; учрежденья ее — катакомбные затхлости; мы в коридорах, зажатых повсюду массивами зданий (в Москве, в Петербурге, в Берлине, в Париже), — казнимся: египетской казнью — за прошлое наше; Египет есть Карма; ее мы должны искупить: проработать в себе; только в этой работе — исход из Египта. Пока — в безысходности мы. Мне в Египте впервые открылся Египет Второй: наша жизнь; просквозила она транспарантом; гласящими гиероглифами поглядела Москва на меня, когда я возвратился в Москву; и богиня Гатор распростерла вокруг меня древние тени: песьеголовых и птицеголовых шпионов своих из загробного мира; надев котелки и приклеивши всики к ликам звериным своим. замелькали они. выгоняя меня из Москвы. выгоняя из Брюсселя.

из Парижа, из Лондона; мы бежали по странам и весям Европы; Египет тянулся за нами по Черному морю своей непокойною ратью: нас гнал фараон. Исход из Египта, отплытие в обетованную землю совпал с осознанием ужаса современной культуры; у гроба Господня мы дали обет: не вернуться, и мы не вернулись в Москву: в наш Египет Второй; по Москве пролетали одни наши тени — не мы; и теперь, в этот трудный, мучительный год по московским 432 разбитым, разрушенным улицам тень пробегала моя: я же был в аравийской пустыне, где ныне еще разбиваю палатку; сорокалетнее странствие — не окончено. То, что увидено мной в «Петербурге» (в романе), увидено мною впервые в Египте: и нити, связавшие нас с «Мусагетом», издательством, принадлежащим друзьям, были сорваны здесь «мусагетским» письмом: то Москва нанесла свой египетский едкий удар — на египетской почве; исход из Каира был нам, как я понял, началом московских исходов. *** Касанье к египетской почве, плененье в Каире и бегство оттуда к гробу Господню — все то оживает во мне, точно некий египетский знак, посвящающий в трудности сорокалетнего странствия; рать фараона еще угрожает: но скоро поднимутся волны ревущего моря (война, революция, голод, мор, что еще?..) — смоят культуру Второго Египта: восстанием Первого — в недрах души: — «О, познай себя, — ты: человек современности». ***

Видел в Египте я облик Рамзеса II; когда я склонился к нему, распростертому под стеклянным, сквозным колпаком, наблюдая белевшие зубы, сквозившие между сухими губами, — он мне усмехнулся: — «Ты — помнишь?» — «Познай себя!» Карачев 919 года Вновь пирамиды Зной марта: нет воздуха; кровь бьет в висках; трам уносит опять к пирамидам: Гизеха. Сумятица станции; снова феллахи в нас целятся злыми крючками носов, переругиваясь, иронизируя над собой и над нами; и все же добившись всего, что им нужно от нас, Ахмет идет, закрываясь в складки абассии; робкою прорезью тихих мечтательных глаз упреждает отказ: отказать невозможно: и он затаскает опять по песку, пока вы, обтирая стучащий, расплавленный лоб, не обрушитесь грузно на край саркофага; и тут же проходит строй осликов в красных помпонах — с плато; и качается строй белогривых верблюдов вокруг грациозными шеями; важно расселись на белых горбах англичане; высоколукими седлами, красками ковриков пестро украшены спины верблюдов; несут паланкин; в паланкине — седой паралитик несетя: узреть пирамиды; вон тот — гелуанский больной; он — чахоточный. *** Солнце склонялось; расширилась там на Каир пирамидная тень, — на Каир она двинулась; там же теперь отусклялися взгляды; и руки, дрожа, опускали бокалы вина, — оттого, что пошла на Каир: тень веков. Серогрифельный бок рябоватой громадины высился наискось — вверх; вздернув голову, видел, как высями лепятся люди на боке, как кучечки маленьких оловянных солдатиков, или травинок, проросших из камня; все краски с них слезли; вон лепится кучка туристов; и выше, и ниже — по кучке: на пирамидном ребре: скачут в выси, как блохи; вон новая кучка открылась на новом ребре. 433 Я измерил массивы: метр, — более метра; скачки велики; и опять вздернул голову: не разберешь — опускаются, скачут ли вверх: так луна неподвижно висит в небосводе; а если вглядеться, то можно заметить движение ее; так и эта висящая кучка: она — опускается. В солнце въедается пыль; лет пылинок и грозен, и тих: горизонты в египетской мгле; отупенье громадного верха восходит испугом в египетский пепел; час пробил: наверно теперь из своих саркофагов выходят озлобленно песьеголовые мумии; и тишиною Хеопсовой полнятся ревы в Каире; золотокарие помуты: пятна беззорных свечений; последняя кучка туристов над нашими головами, спускаясь, скачет с массива на желтый массив; пролетает, пыхтя, толстоносый, взволнованный мистер; над нами пролетает крикливо галдящий коричневый дьявол, толкающий мистера в спину; под ним скачет дьявол, снимающий мистера с желтых массивов, чтоб ловко поставить его на массивы; два дьявола ловко играют в пыхтящего мистера, точно в подброшенный мяч: он — летит: — «Бух!» — «Бух!» — «Бух!» Так бросается лэди; и также бросаются бэби; мы — вспрыгиваем им навстречу (теперь — разрешение есть: нам разбиться... без дьяволов). Все-таки видим, что вверх нам одним не взойти: мы сидим на тринадцатом тусклом массиве; у нас за плечом расширяется черным жерлом душный вход в пирамиду; и дышит жарою на нас: мы решили, что если опустимся внутрь пирамиды, — задохнемся. Вот уже пусто плато: мы бросаем испуганный взгляд в убегающий верх: — «О, нет: не сегодня!» — «Ты хочешь отсрочить?» — «О, нет, уже — поздно: опять опоздали». Ужели осилим мы в двадцать минут эту высь, как сказали нам? лучше часами карабкаться: сходить к подножию; и пробираемся к западу: там — пирамидки; их — три; по пятнадцати метров не более: это — могилы: здесь сохнут века фараоновы почерки (по

по двадцати метров, по стене, это — могильный здесь сотни века фараонов до Гера (по Геродоту — Хеопса); и так говорит Мариэтт. Пирамидки когда-то стояли у храма Изиды. Проходим на юг: тут ряды — мастаба; так арабы назвали особую форму гробниц, состоявших из малых подземных построек, наклонно склоненных друг к другу, желтеющими, известковыми, или даже кирпичными стенами; смеси песка с легким камнем — кирпичики стенок; вся форма гробнички есть «Пе — буква П»; иногда мастаба открывала в подземную комнатку вход; иногда в ней видна была ниша, а сверху — площадка; могильный колодезь поблизости где-нибудь черной дверью зиял (глубиной в двадцать метров спускался он вниз); мастаба, окружившие нас, вероятно, относятся к пятой мемфисской династии; здесь погребен благородный египетский муж: он — эпохи Снофру. Мы идем на восток: все гробницы — четвертой и пятой династии; здесь упокоился прах сыновей фараона: Мераба и Сафкихоптом их звали когда-то... *** Мы молча сидим на песках, приседая у камня: пред нами торчит незасыпанный вход в мастаба; желтенеют луной невысокие, плоские стены; друг к другу слегка наклонились они; прямоугольные плиты их сверху сдавили, чуть-чуть выступая из стены; здесь нет ни души; и до ужаса черная, четкая тень от гробницы лежит на песке; и чернеет отверстие входа. 434 *** Мы часто здесь бродим; и Ася уже к вечеру приезжает сюда: зарисовывать Сфинкса; его голова передаваема только гравюрой,

— не красками. *** Почему фантастичен Каир? Неестественен он: миллион обитателей струнными хорами многих оркестров, роями лаявших горл, граммофонами и бензинными шинами сотен и сотен авто, — осыпает пустыню своей эфемерной жизнью, пустыня, которая безостановочно сыплет песок в эфемерную жизнь, разрывая ее просквозившее кружево старым Египтом. Боголюбы 911 года На пирамиде Массивы, осколки, осколки, осколки осколков лежат у подножия; всюду трухлявости; щели и впадины в камне, где тенью таится феллах; у него — амулеты. Ступени рябой пирамиды — сложенье массивов, которые то ноздреваты, то — гладки; иные массивы — по пояс; иные — по грудь, и немногие лишь до колен; выступая, они образуют ступень за ступенью (от метра и до полутора в вышину); ширина же не более пятидесяти сантиметров; поэтому, пирамида — крута; восхождение — трудно; и, кажется, что стоишь перед стеной; на ребре создается иллюзия: низ загибается; верх — загибается тоже; прямая ребра превращается точно в окружность; а ты — висишь в воздухе; головокружение нападает от этого. Все же решили взобраться с феллахами, но — не с ватагой феллахов; отправились к шейху деревни (ее обитатели, главным образом, проводники; деревушку, как кажется, называют арабы Аквуд); шейх, нас выслушав, дал два феллаха; но каждый набрал себе по три товарища; черная кучка, крича, вокруг нас собиралась, как кажется, передвигать наши ноги. Но мы не противились: сопротивление, знали мы, — тщетно; и вот: пирамидный туземец рванул мою правую руку; другой — рванул левую; третий уперся мне в спину своею головою; и тоже проделали пятый, шестой и четвертый — с растерянной Асей. Галопом, сорвавшись, помчались по круче громадного боку: — «Хоп!» — «Хоп!» — «Хоп-хоп-хоп!» Справа — увидел, как лопость свою завивает крылатый хитон скакуна по массивам, прижавшего к черной груди грушевидный сосудик из глины (с водою, как кажется); слева — гляжу — галопирует рядом со мной шоколадная мордочка в кругленькой шапочке; это — мальчишка-кофейник; мелькают его шоколадные пятки — над пропастью: — «Хоп!» — «Хоп!» — «Хоп!» — «Хоп!» В необорную вышину! *** Так галопом покинули землю; нас — десять, или даже двенадцать; и — сжатою тесною кучкой неслись по ребру; справа, слева и внизу — грозили 435 стремнины, мелькали огромные области, где ступени торчали отчетливо; далее — груды развалин (едва ли бы мы нашли путь без феллахов), где можно запутаться в многоступенчатых скалах; и — оборваться, разбившись до смерти; неизмеримости, точно поля желтоватые, серые, быстро от ног отрываясь, летели направо, налево, и — вниз; и они — загибались под ноги; казалось: стоит нам вспрыгнуть наверх, как отвалится узкий, тяжелый массив, на котором стояли мы только что; неизмеримость, спадая на нас выявлялась из воздуха (краем над нами ребро загибалось); казалось, мы — выперты в пропасть: — «Хоп!» — «Хоп!» И галопом, галопом, галопом: куда мы неслись? Пролетала ступень за ступенью, отваливаясь; и — желтые заулыбались пространства; огромная пирамида, согнувши прямую ребра, представлялась нам шаром теперь зажелтевшей и мертвой планеты, повешенной где-то в пространстве, быть может, понесшейся в ужасы мира; и думалось: «Как мы могли очутиться над ней?» — «Не вернуться на землю?» — «Нет, нет!» — «Никогда!» Желтоваты и грозны все выступы этого неживого пространства: планеты; и снизу и сверху они уходили во тьму пепелений (уж вечер спускался); нога — оступалась; я грудью тогда припал к

уходили во тьму поселения (уж вечер спускался), нога — наступалась, и трудью тогда принадлежал к рябоватым уступам; и билось разрывчато сердце о каменный бок: вырывался из бронзовой твердой руки; пирамидный туземец не слушал, тащил меня вверх: — «Хоп!» — «Хоп!» — «Хоп!» Пролетали галопом феллахи; и — «Хоп!» — «Хоп!» — «Хоп!» Пролетали за ними галопами мы. Остановка: каких-нибудь сорок ступеней осилили: сто впереди. И — помчались; массивы летели нам под ноги; мы перестали смотреть по бокам: понимать что бы ни было; я равнодушно, бесцельно кидался на камень углов, пребывая на месте; массивы же валились; и — набегали от верха; облупины падали из нависающей глубины нахмуренных пеплов: из высшей пространства — такого пустого, немого, где некогда (где это было?) твердела земля: где теперь — ничего, никого: на дуге желтневшего шара лепились из воздуха. *** Пустынный шар в пустой пустыне. Как дьявола раздумье, Висел всегда, висит донныне — Безумие, безумие*. — «Стоять!» Половина пути: мы стояли на семьдесят первой ступени; над ними валилось, как кажется, до семидесяти полуметровых глыб; посмотрели мы под ноги: неизмеримость лежала меж землею и нами; и — нет, не вернуться обратно; и — детский кошмар тут напал: 436 — «Кто же я?» — «Что же все?» — «Как же так?» — «Неужели никак?» Никого: ничего! *** Мы застыли в каменном выступе; дружно телами сливаясь, феллахи составили свой полукруг под ногами у нас; трепетали их черные лопасти над пепелеющей бездной — в мглу сумерек, ни конца, ни начала не видалось в этих путях; наглядевшись, могли мы видеть, как там копошились люди; и — жили; мы были за гранью, за жизнью, на продолжении бесконечного, вероятно, загробного странствия; и показалось: лежат миллиарды ступеней меж нами; и — чем бы то ни было; я весь протянулся к феллахам; они — неизбежные спутники: через воплощенья проходят они; на земле они — гонятся, подозревают, выслеживают, чтоб схвативши, тащить за порог: за грань жизни; а здесь, в камалоче, они — утешают; и кажутся даже родными, извечно — знакомыми. Вот одна тень, один темный феллах, приподнявшись, рукой показал на отметку: — «До этой черты восходил Бонапарт: на вершине он не был, не мог приподняться»... Опять: — «Хоп!» — «Хоп!» — «Хоп!» Побежали галопом, бросаемы быстро, с размаху феллахами на рябоватый массив, над массивом; массив же валился; и падал нам под ноги новый массив; остановка: и Асе тут дурно: сажают ее на ступень; и феллах с кувшином, наклоняясь, ей мочит водою виски: — «Ничего, ничего: лэди тотчас оправится; неужели вы думаете, что это серьезно? Обычная пирамидная дурнота». Признаюсь, — в эту минуту, когда я собой прикрывал от нее безысходную серую бездну под ней, чтоб она не свалилась (так хочется сброситься), — сам я испытывал странное чувство: какое-то «я» вышло вовсе из «я». — «Кто же я?» — «Что же все?» — «Как же так?» — «Я — оторван!» — «Вернуться нельзя». И Хеопс гоготнею развалин гудел; и — кричали феллахи: — «Да, да!» — «Это — мы!» *** И я вспоминал: я — маленький; странно предметы кругом выступают знакомыми знаками: и все то, как... не то; и какой-то ужаснейший сдвиг: нет ни пальца, ни кисти, — всего: сдвиг меня: «Ай, ай, ай!» Я кричу, потому что во тьме ощущая висающим себя я над страшною пропастью (как вот сейчас!), непонятные лица (как будто бы мама и няня, а может быть, вовсе не мама, не няня) меня окружают и шепчутся: — «Снова кричит по ночам!» — «Это, барыня, рост!» 437 Но не верится, что это мама и няня: из неизвестных пустот неизвестности клонятся. В миг, когда я, защищая собою висающую в воздухе Асю, клонился над бездной, я вспомнил: когда-то то самое нападало; но это — иллюзия; стоило внести свечку, и бездна — отваливалась: окружали знакомые стены; вот — детская, а вот шкапчик с игрушками; мама и няня со мною, мне шепчут: — «Спи, милый!» — «С тобою мы: мама и няня!» И мне становилось легко: пропадал мой кошмар. Так и здесь: и подумал, что все это — кажется; больше бы свету, увидели б мы те же стены синейшего неба; мир — детская комната; в мире всегда кто-то шепчет: — «Спи, милый!» — «С тобою вечно — «Я»... *** — «Хоп!» — «Хоп!» — «Хоп!» Понеслись к вершине. Еще только 20 ступеней! И — вынеслись: прямо к площадке; площадка имела до десяти всего метров (в длину, в ширину); расстояние сверху донизу опять-таки скралось; и пирамида с вершины казалась нам маленькой; морок чрезмерности вдруг улетучился; высился шест от площадки, обозначая первоначальную точку вершины; феллахи отсюда, как гаркнут! Им высыпал все, что имел. *** Неопределенные дали простерлись с вершины; на севере брызгали искры каирских огней; днем отсюда видны все сто сорок мечетей Каира, сады зеленейшие Роды, Шубры, Гезирэ, даже часть Нильской дельты; на юге простираются дали Ливийской Пустыни; вон видны верхи пирамид Саккара; еще далее — там: вероятно, оазис Юпитера; тихо феллах подошел; и — сказал: — «Там — пустыня; два месяца нужно, чтобы пересечь ее.» — «Вот там

подошел, и — сказал, — «там — пустыня, два месяца пужно, чтобы пересечь ее...» — «Бы там бывали?» — «Бывал! А там вот уж никто никогда не бывал, потому что там — смерть...» На вершине кофейник-мальчишка сварил кофе нам; мы спускались в густеющих сумерках; мгла закрывала подножную пропасть; поэтому спуск был и легче, и проще; кошмары — оставили нас... *** В этот вечер мы мирно сидели в уютненькой, в пестренькой комнате нашей; Каир громыхал за окном; за стаканом вина вспоминали далеких друзей; было тихо, уютно; не верилось нам, что недавно еще мы висели, прилепленные к рябоватому боку громады; играла хозяйка какую-то арию — там, за стеной; нам хотелось спать. *** Была ночь: выступали предметы знакомыми знаками; нет — незнакомыми. Мне начинало казаться, что все — не на месте; и «я» уже не я, а какое-то 438 странное, полуживое «оно», уцепившееся за массив рябоватой громады; и под ногами — ничто: — «Кто же я?» — «Как же так?» — «Как сюда ты попал?» — «Не вернуться обратно!» Я — вскакивал: и — открывал электричество: милые, пестрые стены уютно смеялись. Боголюбы 911 года Музей Это — здание греко-римского стиля, украшенное изображением двух Египтов на Каср-ель-Нил; оно — задней стеною на Ниле; и остров подходит Булак; зачастую зовут музей древностей просто Булакским музеем. Мы — входим; и вот саркофаги эпохи Саиса; два сфинкса из розовых, нежных гранитов эпохи Тутмосиса; тех же гранитов — четыре колосса: Жреца, Сенусерта и фараонов Рамзесов (Второго и Третьего), памятники мемфисской эпохи: Хефрен и Хеопс, обелиски и надписи (здесь — история Уны); прекрасная древняя статуя, жертвенный стол, барельефы; вот — «скриб»; он — из дерева; он — знаменит; вы видали, конечно, его; фигурирует всюду в альбомах, картинках, каталогах; статуя найдена Мариэттом; феллахи его называют, как помнится, «Шейх-ель-Белед»; поражает умом деревянный, круглеющий лик; великолепием реалистической техники мы удивляемся; статуя — ранняя, времени первой династии; как живой, стоит скриб; великолепные статуи Рахопту и супруги Нофрит вам, конечно, известны по снимкам; вот — статуя Пепи. Дальнейшие залы ведут в жизнь фиванской эпохи: опять деревянные статуи и гранитные статуи (розовый, черный гранит); поражает гробница; на ней — барельефы; то — сцены из «Книги Мертвых»; изображение Тутмосиса Третьего; черным гранитом твердеет Изиды; корова Гатор; перед ней — фараон: вновь — гробницы; вновь статуи; взор — утомляется. То, что выносишь из этих немеющих зал, есть чреватая шумом далеких громов тишина; тишина — неестественна; странной улыбкой двоятся тяжелые лики; они переходят в «усмешки» уже — в архаической Греции; полуулыбкою, родственной полуулыбкам колоссов, глядит... Джиоконда. Не стану описывать серии зал, где проходят позднейшие статуи Александрийской эпохи; о, как они грубы сравнительно с ранними; и как нелепо пестры саркофаги в кричащем уродстве своем; вот — изделия коптов. Особенно интересны те залы, где пестрый египетский быт расставляется вазами, кольцами, веерами, булавками, ожерельями и ларями, папирусами и моделями картин жизни быта: из дерева; полк солдат, мастерская; везде — деревянные куклы; там рядом моделей представлена ярко старинная жизнь; драгоценности, принадлежащие фараоновым дочерям и т. д. Зала — мумий, открытых неутомимейшим Мариэттом, среди которых есть мумия Тутмосиса III и др., вот почивает коричневым ликом под колпаком из стекла сам Рамзес, фараон, тонкий нос, гордый профиль, сухие поджатые губы; и — зубы белеют сквозь них. Мы — притянуты ликом*. Боголюбы 911 года 439 Мемфис Было утро; еще Каср-ель-Нил не напряг свои грохоты; и фаэтоны, вуали и краски еще не сливались потоком; с собою забравши корзину с припасами, быстро отправились в путь; поезд нес в Бедрехэм; я подумал, что этой вот линией мчатся туристы на юг: да, там, далее — Васта, проходит побочная ветка к Меридову озеру, далее следуют: Ассиу и Луксор, где развалины Фив и камня Карнакского храма; затем — Ассуан, Вади-Халифа: Судан и пороги; и вновь потянуло в Судан; по дороге лежат Рамессаум, колоссы Мемнона, Эле-фантида, Дакке, остров Филэ, колоссы у Ибсамбула. Пока же летели поля; начинались бестенные заросли пальм Бедрехэма; мы вылезли, выбрали осликов, договорились о ценах, установили маршруты и вот уже весело скачем по малой деревне; и малая кучка туристов рассыпалась издали; гладкие стены домов пробегают; толкает толпа кувшинами, локтями, сосут свои палочки; и — отрезают ножами кусочки от них; то освежительный сахарный сок тростника, умаляющий жар; феллахини глядят из окошка одними глазами, а ветер играет азарами*, как... «бородой фараона**»; уже миновали солому деревни (солома и сено метаются ветром в пыли), и поехали пальмовым лесом; изрыта, бугристая бестенная почва песков, из которых выходят

стволы. Это — место Мемфиса. — «Мемфис». — «Это пальмовый пустырь!» — «да, нет ничего от Мемфиса...» — «Когда-то здесь были дворцы...» — «Хорошо, что мы не были в Гелиополисе и в Саисе: там нечего делать...» Повсюду — приподнятый мачтовый лес. *** Я, отдавшись мечтам, вызываю в душе трепетание древнего города времени фараона Рамзеса II, как внятно оно возникает по данным, встречающимся у Мариэтта, у Масперо, и других. Вот, быть может, мы едем предместьем: серые стаи лачуг, среди которых змеятся дорожки; вон — пруд: вон ведут к водопою быков; вон грязнейшая площадь, обсаженная сикоморой; постройки — кирпичные: смазаны глиной они: об одну комнатушку, о две комнатушки постройки; порой — двухэтажны; внизу или — скот, или — спальни рабов, или место для склада: полы тут расколотые пополам стволы пальм; крыши кроет солома; во время тропических ливней, бушующих раз в пятилетие, — стены смываются, падают крыши; через несколько дней восстановлено все; обитают в предместьях этих все бедные люди; поэтому вовсе отсутствует здесь обстановка лачуг: только два табурета, циновки из пальмовых листьев, сундук деревянный, да камни (для растирания зерен), да кадка, где сложены: хлеб, котелки и припасы; очаг для огня — в глубине; и над ним — дымовая дыра; все убранство — ничтожно; и двери лачужек не заперты вовсе***. 440 Семья живет — дружно: муж — больше вне дома; работает, бродит по улицам он в облегающем плотно

главу колпаке; всюду в улочках толпы простоволосых мужчин, или колпачников, почти голых, в набедренниках, среди которых порой бредут воины в полосатых, пестрейших платках на глазах и в передниках, стянутых кожаным поясом, вооруженные кожаными щитами (посредине щита — металлический круг) и кинжалами, дротиками, топорами, хопшу, или кривыми ножами; и вот этот, почти вовсе голый солдат, облаченный в передник и с бумерангом, наверное в легкой пехоте, вон тот, диколикий нубиец — шардан (или — гвардеец); в короткой он юбке с разрезом (разрез — на боку), испещренный чернейшими и светлейшими полосами, с щитом (вовсе круглым), усеянным круглыми бляхами позолоченного металла, с мечем, в круглой каске, украшенной парюю острых рогов; вон солдат легиона Амона*, вон «скриб» (этот лучше идет); вон — красильщик; и он издает запах порченой рыбы (которою красит он ткани**); вон женщина в узком холстинном переднике; он облегает ее тело; она голоплечая; лоб, подбородок и груди раскрашены; обведены ее очи сурьмой, перемешанной с углем; волосы чуть отливают ее в голубое (подкрашены волосы); эта вон верно из более знатных (прическа ее так трудна); а на этой — сандалии из папируса; ту украшают браслеты, широкое ожерелье из бус; уж из хижины в улочку вьется дымок; как пахнет, так пахнет едчайшими запахами нашатыря; этот запах от топлива, приготовляемого из замешанного как тесто помета, просохшего после: дрова — очень дороги***. Толпы бегут и спешат; закоулки ширеют; предместье вливается в город, где улицы — прямые, где здания так высоки, что полоской среди линии четырех-трехэтажных домов с чуть покатыми стенками, узких, напоминающих усеченные треугольники — малой полоской среди линии домов улыбается небо****; глухие фасады выходят на улицу; первый этаж — безоконен; лишь — дверь; она — низкая; вот — распахнулась; выходит богатая дама в цветочно-образном уборе; в раскрытую дверь видна лестница вверх; вон по улице снова проходят солдаты линейной пехоты ритмической стройной походкой: трубач и начальник отряда идут впереди. У начальника палка в руках (нет оружия); все головные уборы солдат полосаты; передники кожаные; стянуты крепко на бедрах; на правой руке надет щит; и — сжимают топор; в левой — пики, которые положили на плечи; отряд замыкается знаменем*****; он, извиваясь, выходит в залитую солнцем площадь, где гуси, бараны, быки и козлы подымают свои голоса в крик базарной толпы; вот — крестьяне; вот — рыбаки; вот — перекупщики перед корзинами громко уселись вдоль линий домов, продавая печенье, овощи, мясо, духи, ткани; все покупатели важно проходят меж ними; у каждого что-нибудь для обмена; у этого ларчик, обвешанный медными кольцами весом в утну*****; у этого — круглый веер; его он не меняет на лук; весь обмен вычисляется в утнах; циновка менялась на 25 утну; вол стоимостью равнялся циновке, пяти мерам меду, одиннадцати мерам масла; в придачу давались семь мелких предметов: все стоило — сто девятнадцать египетских утну*****; вот бритва из бронзы: она стоит — утну; а мех с ароматным вином — целых три. 441 В глубине громкой площади, там, где на площадь выходят три улицы, — лавки: пахучее дерево, ткани и смолы; вон — вышивки Вавилона, румяна, полотна; ювелирная лавочка — здесь; и сапожные лавочки — там; вот — харчевня: висят с потолка куски мяса; вы входите, вы выбираете сами себе кусок мяса; и повар бросает его перед вами в кипящий котел; вы же

ждете; а вот и пивная: приемная заново смазана белой известью; всюду циновки и кресла: сюда идут посетители пить шоду*, ликеры, которые нам показались противными бы, вина, пиво; вино — в осмоленных амфорах, закупоренных деревянной пробкой, залитою окрашенным илом; а сбоку чернилами сделана надпись: такого-то года, оттуда-то; входите, — к вам подбегает слуга с веселою шуткой: «Пей: не отстану, пока не напьешься**»...; но вы не идете сюда; вы проходите следом за пестрым отрядом линейной пехоты в прекрасную улицу, где среди пестрых невольников бродят чиновники, офицеры и знатные иностранцы; везде темноватые лики; копченою бронзой лица промаячит там негр; красной охрой лица пережженный бежит египтянин; он — начисто выбрит; а тот, набеленный, идет в завитом парике, в перетянтом легком кафтане, слетающем складкой на юбку, в острейших сандалиях, с острой тростью; закутанный в белую мантию, важно проходит задумчивый жрец; два коня повлекли колесницу; в ней — дама: у ней сверх хитона надето гофрированное и в крахмале, слегка отвердевшее платье***; зубцами исходит стена (и в нее упирается улица); из-за стены пропышнела густейшая зелень; и дальше виднеется храм; перед храмом военный отряд тихо встал; офицер взмахнул палкой, равняя ряды: что такое? Тут ждут фараона; четыре отряда построены тут — четырех легионов, несущих названия главных богов: это воины — легиона Амона; а те — легиона

великого Ра; те — Сутеху; те — Фта****. Между тем из дворца под воротами ляпис-лазури стремительно вылетает на улицу колесница: галопом несут ее кони; за нею рои колесниц; в колеснице стоит Фараон; он в коротком набедреннике «из прозрачного полотна в мелких складочках»; хвост шакала висит со спины; опоясан передником, блестящим золотом и цветистой эмалью; поверх облачен он в длиннейшее короткорукавое платье; надеты сандалии; ярко украшенный уреем белый и красный убор высоко поднимается к солнцу*****. Кто он, фараон? Ментопирри, Нимбаутри или Менматри? То — прозвища: «Ментопирри» — Тутмоса; и значит оно: «Прочна сущность Ра»; «Нимбаутри» — Аменхотепа, что значит, как кажется, «властелин правды — Ра»; а «Менматри» — Рамзеса II: «Светило дневное — неизменяемо в истине»... Он, фараон — воплощенное божество: и его называют — великим, благим; каждый жест его, официальный поступок — обряд, совершаемый среди пенья гимнов; сегодня сошел с золотого он трона, откуда блистал он венцом с двумя перьями, чтобы, взойдя на колесницу, галопом помчаться — куда*****? Впереди побежали гонцы, разгоняя толпу; а за ними уж понеслись со всех ног пехотинцы гвардейских отрядов, носитель прекрасного знамени, биченосцы, наемники, опахалоносец; за ним полетел в колеснице стоящий владыка; супруга его полетела за ним в колеснице; морщинки на тонком лице выявляются в слое 442 румян и белил; она в длинной одежде, развеянной ветром; за ней колесницы сановников; каждый сановник с распущенным веером; рывкает дружно толпа перед храмом*. И вот фараон величаво проходит под мощным пилоном огромного храма: направо, налево — колонны, изображают вершины разлапые пальмокопители колонн; тела — круглые; фон — желтотемный; на нем желтокрасные росписи человеческих контуров, обведенных отчетливо черной краской; навстречу идут два жреца; вот — упали ничком; фараон же, не глядя на них, бросил взгляды в пролет гипостилия; над головами молящихся издали видны ковчеги в косых лучах солнца, упавших в отверстие высочайшего потолка; пронесли в глубину широчайшее золоченое кресло (резное), покрытое пестрой подушкой для фараона; садится; жена села рядом; сановники встали за ними, между толстых колонн**; приготовление к обряду свершилось жрецами; и вот фараон, поднимаясь с кресла, проходит под статую бога, умащает, подносит пять зерен от ладана полудневого Юга, пять зерен квасцов полуночного Севера: жертвенный дар! Благосклонный Амон принимает дары. Фараон — двуедин: в нем сливаются оба Египта (и Нижний, и Верхний); он носит двойную корону, по имени «пшент», соединяет эмблемы: змею Уасит (змею Дельты) с таинственным коршуном юга, цвета Севера (красный) с цветами спаленного юга (они — цветы белые), северный, стойкий папирус с цветочком нежнейшего лотоса; внятно подножие трона украшено связками лотосов, соединенных с папирусом; и облакаясь во власть, он венчается попеременно короною Юга, короною Севера; и — в двух дворцах обитает, соединенных единою кровлею***; там он сидит на помосте, поставленном на парадном дворе, принимая подкрашенных и украшенных париками сановников — против входных ворот; с высоты четырех-пяти метров взирает на затканной красным и синим подушке, под балдахинном, поставленным на колонки, — взирает на подданного, распростертого прямо под тронном: — «Поднять его: пусть говорит», — обращается тихо к

«Друзьям» (это — титул); и подданныи — говорит; фараон даже шутит порою; но смех разливается по ступеням не сразу: сперва улыбнется владыка, потом улыбнется царица; потом — принцы крови, потом — улыбнутся «Друзья»; наконец, тихий, деланный смех всех охватит; а он, взявши с блюда из кучки серебряных ожерелий одно, его бросит под трон в знак награды кому-нибудь, кто воздевши горе две руки, запевае под троном торжественный гимн: — «О ты, Суций, как Гор на земле: мне даешь бытие... возвеличиваешь» — и т. д.**** «Скриб» под троном заносит то в списки (ведет протоколы приемов). Прием — прекратился; сегодня поедет в пустыню владыка охотиться: истреблять гордых львов: Аменхотеп их убил сто двадцать; Рамзес Второй — менее: львы в это время уже поредели в Египте; их все истребляли; но вот: ни один фараон не убил еще человекоглавого Сфинкса, который, по уверению очевидцев, водился в далекой пустыне; водился там странный грифон с головой хищной птицы и с телом шакала, водился таинственный тигр со змеиной главой (вы увидите их на рисунке)... *** 443 Что это? Мечты? Быстро образы пронеслись предо мною: предместья, базары, солдаты, толпа, фараон; где то все? И — ни развалин; ни даже намек развалин*; над почвой Мемфиса повсюду приподнятый пальмовый лес. Перебила мечты мои Ася вопросом: — «Какие тут пальмы: наверное финики?» — «Нет: то — дум-пальмы»... Но вспомнил: дум-пальмы находятся ниже — уже в Ассуане; в каирских садах можно встретить дум-пальмы, но лесом они не растут. — «А пожалуй, что финики». *** Статуи: что за колоссы? — «Чи статуи?» — «Фараона Рамзеса Второго». Вот первая: розова; ноги ее перешиблены; вся из гранита; глава — перебита; отдельно валяется каменный «пшент»**, или нет: та корона не «пшент»; знаменуется ею, наверное, верхний Египет; как лик грубоват! Сама мумия фараона Рамзеса Второго в булакском музее, по моему, сохранилась лучше гранита: он — выветрен. Рядом — второй известковый колосс, бледносерый, открытый в начале истекшего века; на правом — начертание фараонового имени; некогда был тут храм — Фта; это — центр. Нет Мемфиса. Туристы на осликах: верно из Лондона; мы выезжаем в поля; просинели абассии темных феллахов на грани пустыни; убогая деревушка; и то — Саккара. Саккара Здесь гробницы IV и V династии; две пирамидные группы; здесь — Пепи Второй, Пепи Первый укрыли тела, под телами немых пирамид; и они — не прельщают. Пески присосались к глазам, поглощая внимание; мы едем по самому краю пустыни; лишь валики темного ила подьются малой защитой зелени от беспредельности смерти; здесь — пышная зелень; там же грифельно-серая зыбь; свою правую ногу занес я над валиком ила, могу зацепить за пшеницу, а левой ногой занес над песком; поражает контраст. Вспоминаю военную авантюру Камбиза: персидское войско в поход на жителей Куш углубилось туда — в серо-грифельной дали; и вдруг побежало обратно — со страху: страшила пустыня; проводники завели; пятьдесят тысяч персов погибли в пустыне — никто не вернулся. Мы едем в песках: убежала, присела пышнейшая зелень; налево — песчаный бугор; и направо — песчаный бугор; опять пирамиды, как кажется, северной группы; и пирамида Уны среди них полузасыпанная, принадлежащая к шестой династии; а вон и другая — пятью округленными выступами выпирает из рухляди; на шестьдесят один метр приподнята она; в седловине ведется раскопка. — «Ха, ха», — загалдел проводник, наклоняясь ко мне. 444 — «Да, да, да», — отвечаю рассеянно я; а он машет, и люди с раскопок бегут; тут Ася теребит: — «Слушай же: тебе ведь предлагают купить вновь раскрытую мумию». — «Мумию? Это зачем: может быть, мое прежнее тело?» — «Оставь!» Я махаю руками: — «Не надо, не надо!» Мы скачем галопом в пески, не останавливаясь перед пирамидными градусами: это есть прототип ассирийских построек; мы скачем в пустыню, оставив совсем позади абуширские развалины; воды же абуширского озера издали блещут в пустыне; тут сходим мы с осликов; ноги по щиколотку тонут в песке; впереди, на песках вырастает треножник; на нем — аппарат: то какой-то турист англичанин снимает окрестности, всюду торчат треугольники: вид — очень скучный; и вот — мастаба. Боголюбцы 911 года Гробницы Акхутхотепа и Ти Серапеум «Мастаба» открывает отверстие входа: над ней бугорок песка; под отверстием — серия комнат почившего Акхутхотепа: подземным проходом идем в вестибюль; в нем — четыре колонны; за ним теобразная комната, всюду покрытая раскрашенной росписью еле от плоскости стен приподнявшейся лепки; угольники плит: чистота, простота и уют: четырехугольные колонны. Многообразна колонна Египта: четырехугольна, восьмиугольна, шестнадцатиугольна подчас она; или — круглеет массивное тело ее, или — форма ее есть компактная связка стеблей, перетянутых-вытянутых в вышину и увенчанных

чашечками капители, изображающих лотосы; иногда капитель есть пальметта; порой же — четыре главы, обращенные к северу, к югу, к востоку и к западу; часто в колонном столбе — Озирис, изсекаемый в камне, и пеструю росписью крыты колонны; они и короче, и толще обычно дорических. Росписи крыли цветистый, но матовый грунт; краски — белые, черные, коричневатые, синие и зеленые; цвет нарисованных бородатых мужчин есть коричневатокрасный; и желто-белый — цвет женщин; везде перспектива отсутствует; головы нарисованы сбоку; но спереди — очи, но спереди — грудь, ноги — сбоку опять; все фигуры даются в очерченном контуре; контур же — черен; когда отделяет он две одноцветных поверхности, то он становится красным; предметы, идущие вглубь друг за другом, рисуются — друг над другом; в таких начертаньях расписана жизнь египтян на стенах до мельчайших подробностей быта; мы видим их игры, забавы, работы, ремесла, искусства, приемы и празднества. Мы с восхищением стояли перед стеной, пестрой росписью теобразной обители акхутхотеповой мумии; вот — сбор папируса; это вот птичья охота, гимнастика, борьбы, события жизни почившего; маленькие фигурочки, выпуклась чуть-чуть-чуть (много сотен фигурочек), радостно испестрили прелестным орнаментом комнатку; это — сплетение стилизованных человеческих тел и животных, грация поз, выражений и жестов; известная Европе символика; пестрые стены египетских бытов мне нравятся больше ее; веселят они глаз, вся гробница смеется: убежищем молодоженов назвал бы ее. Но мы снова в песках: приближаемся к Мариэттову домику; это — убежище для туристов, располагающих на столах провиант, отдыхающих здесь, 445 созерцающих грозную панораму пустыни; и мы — отдыхаем, закусываем, уничтожаем плоды апельсинов (замучила жажда); ослы жуют сено перед домиком; пусть отдыхают они. Мы проходим четыреста только шагов по песку; и опять — мастаба; то гробница известного Ти, управляющего фараона, прекраснее всех саккарийских гробниц обиталище Ти; ты спускаешься по убегающему переходу; и попадаешь в пространство колоннок; в квадрат; сверху — просветы; справа бежишь в коридорчик; и — комнатка вновь изукрашена; стены чуть-чуть округлились сплошным барельефом (цветным); бледнонежные краски везде намечают тончайший рисунок. У входа в немой коридорчик сам Ти — в трех картинах; во внутренней комнате серия изображений из жизни почившего; вот — Ти с женою, а вот — он охотится; лодочки, двоякоострый багор (если память не лжет); травят зверя; а вот мастерская: здесь точат слоновую кость. И опять-таки: это ль могила? Опять впечатление жилья, где нет сменой печали, а — радость. Вот как англичанин Р. Хиченс рисует гробницу*: «Представление о счастливой могиле «Thi» остается преобладающим. В этой могиле с удивительным умением, с яркою выразительностью воспроизводится радостная и деятельная жизнь. «Thi», наверно, любил жизнь, любил молитву и жертвоприношения, любил охоту и войну; он находил удовольствие в веселье и играх, в труде умственном и физическом, любил искусство, звуки флейты и арфы... Он любил душистые благовония и красивых женщин — разве мы не видим его иногда изображенным с женщиной, его женой? — любил ясные ночи и сверкающие дни, которые в Египте наполняют радостью сердце человека... В Египте чувство... веселья и жизнерадостности часто бывает связано с тяжелым, почти трагическим, и это чувство доставляет отдых, облегченье, как глазу, так и душе». ***

Серапеум: гробницы священных быков, или аписов, посвящаемых Фта; то название быка происходит от апи (судья) или гапи; когда Озирис стал судьей подземного мира, бык, апи, стал символом Озириса; из Озирапи возник уже Серапис, египетско-греческий; культ Сераписа был введен Птолемеем; огромнейший храм, посвященный Серапису, был средоточен миру, как... Мекка; за Капитолием тотчас же возникал по роскошеству храм Озирис-апи; и сотнями тысяч томов призывала к себе библиотека храма философов; храм был разрушен во времена Феодосия. Мертвым песком позасыпало здесь Серапеум; случайно напал Мариэтт в середине истекшего века на эти гробницы эпохи Рамзеса Второго; поздней катакомбы (времен Псаметтиха) пристроены к ним; мы туда спускались за темным феллахом. Из черного, злого жерла духотою и жаром дышало на нас; гасли свечи под сводами; с лентами магния шли; где нужно в слепительном, немигающем свете вставали вокруг катакомбы. Мы шли коридором, расширенным и раздавшимся высотой в четырнадцать футов; и справа и слева — везде разверзались огромные ниши с уступом на более чем аршин; в этих нишах — гранитные саркофаги гробниц; на одном — начертание печати Камбиза; светился из пастей кровавый гранит — в коридор, когда вспышка кидалась на стены от пальцев феллаха. 446 *** Мы вышли наверх;

предстояло вернуться назад, в Бедрехем (два часа на ослах); или прямо пустыней к Гизеху (четыре часа на ослах); предпочли мы последнее; но проводник покачал головою: — «Нет, нет: не поеду!» — «?» — «В такую жару; по этим пескам!» Мы ему обещали бакшиш: не подействовал; мы — упирались: — «Напрасно: опасно пустыню дразнить в этот час, когда солнце — отвесно; получите только удар». — «Как хотите, мы — едем», — «Ну вот что: я дам вам мальчишку; пусть он отправляется с вами; ему у Гизеха верните осла». Боголюбцы 911 года По пустыне Дорог никаких быть не может: ветра — занесут; потащились ослы в бездорожии; где-то торчки пирамид Абушира вдали маяками торчали; мы двигались к ним по пескам; жар душил и сушил, и блистал с черных горизонтов; как печалью дышало нам под ноги; сверху разили мечи гроыхавшего солнца; казалось: мой пробковый шлем был рассечен огнями; холмы вырастая, повсюду душили пространство; а небо казалось выше, чем в городе: индиго-синего цвета. Кирпично рыжела пустыня; но стоило взор устремить в одну точку, как рыжий, кусающий тон мертвенел; по бокам же рыжели рефлекс; и — ржавились; перебега глазами от точки до точки; мы видели, как выцветали пространства; в окраинах поля зрения — ржавилось все. Я заметил, как лица Аси, плаксивого арабченка, сперва розовели, потом — забагтели; и — стали лиловыми, черными; грозные, красные пятна метались в глазах; на приподнятой палке развеял я плащ свой над собой, строя тень; уставали глаза: никуда не смотрели глазами; мир потусклостей быстро тонул в мире пляшущих пятен; я под ноги ослу; коленкорочерная тень под ногами казалась мне карликом. Мальчик, бежавший за нами, нахлестывал крупы ослы; и ослы ускоряли пробег по пустыне; мы с ужасом видели: как задышался мальчишка, как пот в три ручья проливался с лица на абассию; тщетно кричал я ему, чтобы убавил свой бег он, боясь за него (в этот час нападали удары); мальчишка не слушал: бежал и нахлестывал осликов; а шоколадное личико стало оливковоугольным; осликов я попытался насильно сдерживать, но мальчишка поднял такой рев, что, махнувши рукою, мы снова помчались (он к ночи хотел прибежать в деревеньку обратно: с ослами). — «Послушай, мальчишка сейчас упадет!» — «Что нам делать тогда?» — «Эй, мальчишка, стойте: потише, потише». Мальчишка кричит благим матом; и — снова мы мчались; бросал я ему апельсины; ловил на ходу их, кусая, терзая, размазавшись соком. Но вот отказались мы ехать; под тенью песчаного холмика сели в песок среди групп пирамид Абушира; их — целых четырнадцать; десять — лишь груды развалин, покрытые кучами щебня; не будь здесь мальчишка, мы долго бы сидели в сухих затененных песках; но мальчишка скандалил все время: и — гнал нас к Гизеху. 447 И нечего делать: мы сели на осликов вновь; и уже пирамиды Гизеха росли перед нами; и солнце, склоняясь, червонно златело; и жар не кусал головы; и багровые пятна исчезли в глазах; и лица из черно-лиловых теперь снова стали багрово-сожженными; зелень подкралась налево: то — хлопок: и выше громадились вышки Хеопса, Хефрена; и маленький камушек, выросши, стал головой набежавшего Сфинкса. Боголюбцы 911 года Сфинкс Зачастую сидели с Асей у сфинкса; он — зажил во мне, но о нем — что сказать? Беспредельному нет выраженья: безо?бразность вечный удел беспредельного; образ безо?бразий есть безобра?зие. Сфинкс — безобразен. Да, есть целомудрие в геометрической форме, когда покрывает безумие сверх-рассудочных отношений она; такова пирамида; она — сочетание четырех треугольников с пятой фигурой: квадратом. Но Сфинкс не таков. Вы представьте себе: вот — великий ученый (психолог), чьи тонкие книги читают тончайшие; вот — он, напившись, бормочет цинизм; какое уродство! Представьте теперь: знаменитый ученый завыл, побежав на карачках перед строгим лакеем, подавшим ему его счет; безобразие здесь на границе с бессмысленной мерзостью; если же, устремив горе очи, перед толпами скромных студентов взвоят психолог, учетверится в неслыханный ужас поступок его; и предел безобразия будет раздвинут, коль после ужасного взвоя ученый сухим, докторальнейшим тоном объявит: поступок — эксперимент, ему нужный для собирания статистики действия воя; и розданы будут листки для скорейшего заполнения их; иные, задетые в чувствах своих (безымянных), почувствуют, верно, пощечину в действии опытного экспериментатора; а другие наполнят, быть может, невнятной бредом листки; их профессор — психолог, снабдит комментарием, обнаружит после в объемистой книге для доказательства, что безумие часто таится под маскою здравости. Как назовем мы поступок ученого? Мерзостью, сыском, безумием или... гениальным умением угадывать тайны души? Мы почувствуем, что войною должны мы ответить на этот поступок: в нем чувствуется террористический акт над душой обывателя. Вот такой акт совершает Египет,

бросая в лицо безобразию старого Сфинкса: сплошным безобразием веет безобразностью образа; старая эта глава — окаянна: сугубое, учетверенное безобразие в ней, возведенное в энную степень; она — за пределами человеческих мерок уродств и красот. Безобразие это, быть может, порыв красоты Херувимов; ужасно: безмерность проснулась человекоподобным лицом; воображение духов связало все то сквозь «Я» человека; взглянув в лицо Сфинкса, мы чувствуем: сорвано дно человеческой личности; мы же на собственном дне, как на утлом челне уплываем в бездонность: наш путь начался «до» того, как мы стали людьми, продолжается в то, что уже несет наше, людское; мы чувствуем: весь размах мира, в котором живем, — только малая лодочка; ужасы прошлых форм жизни чудовищно встали: ихтиозавр, динозавр, бронтозавр проторчали из прошлого: — «Да: это мы!» 448 Проторчали над ними такие постыдные формы: что если бы их увидеть воочию, то — падешь бездыханным: и это мы носим в себе; в подсознании нашем: — «Да, да: это — мы!» И красоты несбывшихся грез (то, куда мы идем) промелькнули бы: разгон иерархической жизни архангелов, ангелов, — все пронеслось бы перед нами; и это мы носим в себе: — «И — да, да: это — мы!» Но все это (грядущее, прошлое) есть содержание нашего «Я», его «дна», нам невидного: Сфинксовым взором срывается дно нашей личности; «дно» безобразием, роем красот — по волнам роковой бездны мчится: — «Куда?» И,

взглянув на Сфинкса, мы чувствуем головокружение; нам кажется: взгляды уносят. — «Куда?» Красота, безобразие, — все это рухнуло: все это — «образы». Сфинкс же безобразен. *** Тридцатью лишь веками мы, люди теперешних дней, отделяемся от великой культуры Микен; только сорок столетий прошло от событий древнейшей ханаанской культуры, в которой уже отразился Египет (своим скарабеем); семь столетий назад и — перед нами уже пирамидальный период; за 3750 лет до рожденья Христа возвышался дворец Нарам-Сина с прекраснейшей библиотекой; Вавилон разблестался культурой своей: но дворец Нарам-Сина построен Саргоном на древних развалинах, принадлежащих остаткам таинственной сумерийской культуры, начало которой за восемьдесят веков от рожденья Христа*. Но взгляд безобразного Сфинкса уже подсмотрел ту культуру; уже шестьдесят почти длинных веков он глядит на восток**; а исшел, воплотился он, верно, из более ранней эпохи. По летоисчислениям рабби Гилеля мир был сотворен лишь в эпоху Саргона***; и Сфинкс — с сотворения гилелева мира стоит в этом месте; но он изошел из Египта древнейшего времени; есть изделия слоновой кости, находимые в почве Египта до времени Сфинкса****; в канале Махмудиэ и в Бессузе на глубине двадцати с лишним метров под уровнем моря нашли черепки от посуды, принадлежащие обитателям этих мест, коим ведомы были приемы культуры; на основании геологических данных отчетливо можно сказать, что они приготовлены были за 300 столетий до нашего времени. Не на десятки, на сотни столетий; и ранее; эта культурная линия теплилась в... Атлантиде, которую ныне признали ученые; так утверждает профессор И. Вальтер, что «Атлантида представляется нам первоначальной родиной»*****. Какова же линия жизни земли? *** Эта линия — в Сфинксе, сквозь Сфинкса, взирала на нас. 449 *** В безмерном разбит символизм геометрии; и лицо прорвало треугольник Хеопса; и стало оно человеческим: приподнялась пирамида от почвы; и стала она вовсе маленькой; это глава львинолапого Сфинкса; само прародимое время нагнало позднейшее время; и — ухнуло ужасом: — «Ты — убежал». — «За тобою я гнался!» — «Ты был при Рамзесе: и я тебя мучил». — «Ты был при Саргоне». — «И ранее: был ты за 300 столетий до этого времени». — «Скверной поступков твоих из тебя изошли: папуас, обезьяна; тупой носорог — твои помыслы некогда». — «Гадкая слизь, покрывавшая дно океанов — деянья твои». — «Я — с тобою был тогда». — «Все я видел...» — «И вот: твоим прошлым стою перед тобою». — «Ты — «Я». — «Мы — одно...» — «Это знаешь ты». *** — «Что, что я знаю?» *** Молчание! *** Есть два Египта: Египет мистерий; и знаю я: тени жрецов поднимаются ныне к вершинам немых пирамид. Есть Египет другой: эфиопское что-то глядится в египетских древностях; песьи печати к остаткам Египта приложены; их приложил эфиоп: эфиоп приготовлен в Египте; глубь Африки есть декаданс; дикари — простота, получившаяся от переутончения жизни: мы знаем, что гении порождают чудачества, а чудачество вырождается в идиотство: дикарь есть кретин утонченной, погибшей культуры; центральную Африку населяют кретины, но предки их гении, мудрецы и ученые: тот знаменитый ученый, который себе разрешил бы завить на студентов для нужного опыта, мог бы, наверное, быть чудачком; при повторении опытов, мог бы он стать сумасшедшим; и, сев на карачки, с пронзительным воем

последовать в страны «ням-ням», учреждая культуру дикарства 20 века. Сплошной кретинизм проплывавших культур нас встречает в Египте: феллахи кретины; другие кретины — уарумы, которых встречаем у Стэнли: кретины культуры Египта, предел утончения ее. И таким кретинизмом глядел старый Сфинкс; в нем есть что-то от негра; курносая и безносая голова смотрит дико и злобно громадною впадиной глаза; такой дикий взгляд на последнем портрете безумного Ницше, сказавшего о последней культуре 20 века; к нему, как ко мне, приходил старый Сфинкс, и сказал: — «Это — я: прародимое время!» И Ницше не выдержал: расхохотался, хотел, может быть, убежать в леса Африки (там бы он стал проповедником диких уарумов); попал же в лечебницу. 450 Сфинкс-эфиоп объяснил мне меня самого, объясняя мне Ницше; быть может, мое увлечение Африкой — сфинксово дело; «кретин» мне грозит, если я не сумею... стать ангелом. *** Сфинкс продичал эфиопом; бессмысленны жесты лица; предлагает бессмысленно тайны, загадки; посмотришь: и взоры темнеют, и небо в овчинку, и разум разорван, и все отвалилось от ног; не бегите: постоит, сквозь вопль одичалой души вы услышите вздох пресыщения; есть пресыщение в старой главе... «Почему вы, профессор, чудите: зачем вы взревели?» «Мне скучно: хочу необычного я». Египтяне, наверное, некогда бегали к неграм: Жан-Жаки Руссо, вероятно, водились среди них: психоглавые куколки их, может быть, пресыщение

сквозь все ужасы лика — отчаяние, горечь, пресыщенность чувствуется в каменной складке у губ; посмотрите: ушел сам в себя; он — испуган; он — малый ребенок; боится песчинки. Мягчится, кротчает лицо. Есть забитые, робкие люди; страданье заставило их пережить вереницу мучений: и все просветление мучений; и вот пережив просветленье, остались в испуге они. Да, испуг зажигает на сфинксовом лице угрюмое бешенство; и молодеет от гнева столетья пронзающий взор; и бежит он от вас по векам; вы же гонитесь; вы переходите с ним все черты, все пределы, все грани; и вот на пределе пределов стоит, озверев от страданья, просветление боли осталось далеко, далеко; за старой чертой оно. Вот и луна: и луна просветлила, мягча все черты; застелила мягким налетом; исполнила негой; он был херувимом, но он воплотился во все безобразие: тяжким крестом подготовил нам крест. Он — прекрасен! *** Величие, безобразие, страданье, презренье, вызов, испуг и улыбка младенца — все, все сочеталось в одно выражение, это не вынести; незабываемым никогда посмотрел он на меня. И я помню его. Боголюбь 911 года Лорды Мы, в тот день, посидевши у Сфинкса, пошли в Mene House пообедать: как были с пустыни, покрытые слоем загара и пыли; вступили в сияющий зал: красноватые, аляповатые стены, орнамент, блистание электрических лампочек, белые лэди, длиннейшие вырезы их на спине, на груди; и сухие лопатки двух сморщенных, старых «пэресс», продушенная лысина «пэра»; затянутый в крепкий крахмал надувал подбородок меж белыми баками кто-то, одетый в изысканный фрак, юных безусых вьюнов, пробивающих тропки меж шлейфов ботинками столь сияющей чистоты, что, наверное, в кончики этих ботинок, как в зеркальца, дэнди смотрелись, кокетничая с белокуроыми мисс. Я — совсем оробел: на мне не было фрака; я был в обыденном костюме туриста (о, ужас!) в коротких, ну как бы сказать, — невыразимых частях туалета; 451 затянутый в крепкий крахмал надувающий бакены сэр, оказавшийся метрдотелем — о, ужас! — направив на нас подозрительно око, — направился к нам; и мне ясно представилось, что пока созерцал я сиявшую лысину лорда, катавшего катышки хлеба рукой и застывшего мумией, полагая, что... вот удивился бы лорд, если б я, подойдя, вознамерился бы вывести вдруг из покоя его, щекотанием легкой соломинкой пары надменных ноздрей, — пока я измышлял сей рискованный опыт над лордом, седой метрдотель измышлял неприличнейший опыт над нами: над джентельменом и лэди! Намеревался спросить, что ищем мы, «русские», в фешенебельном месте; и к ужасу понял я тут, что он прав: пропыленные наши одежды (мы жарились семь или восемь часов в раскаленной пустыне) являли контраст с этим строем ботинок, сияющих трэнов и фраков: здесь обедали лишь прекрасные жители места свиданий и завтраков, — королей, миллиардеров, знаменитейших проходимцев, авантюристов и прочих; и все они, вероятно, за час до обеда готовились к трапезе; все они простояли перед зеркалом, надевая и фраки и бальные платья; и потому-то, наверное, лорд, одиноко катавший перед белой салфеткой катышек хлеба, когда я стоял перед ним, сделал вид, что он видит орнамент стены (не меня!); будь на Асе белое бальное платье, и будь на мне фрак, он не то чтобы нас удостоил рассеянным взглядом, — но все же: не с этим обиднейшим жестом катал бы свой катышек, приготавливая из катышка беленькую сосиску; обидней ший жест просиявшего лорда заметил: метрдотель и лакей; метрдотель предо

мною стоял и молчал — в великолепном величии; понял я: поздно спастись позорнейшим бегством, и я, упреждая слугу проходимцев и пэров, атаковал его сам; с гордым вызовом я посмотрел на зеркальный ботинок его, и на мой, пропыленный, давая понять ему: — «Сэр, эта пыль, как вы видите, есть пыль веков; пыль ливийской пустыни...» — «Да, сэр!» — «Мы с приема, который любезно нам дал Рамзес и былой царедворец, по имени Ти...» — «Эта пыль не есть пыль обыденности: качеством не уступает она белой пудре, которой покрыла лопатки себе вон та лэди...» — «Опудрили нас тени прошлого; и потому, сэр...» Так сказал мой надменный, вскользь брошенный взгляд, с сожалением снисходительно брошенный на чистейший носок метрдотеля, увы, не уважаемый пудрой пустыни, Мемфиса и Ти... Мы мгновенье впились друг другу в глаза, как два носорога, готовые броситься друг на друга, чтобы быстрым ударом носов просадить крепким рогом друг друга; потом я надменно сказал: — «Что ж нам не покажут места за столом!» Я — был победителем: мобилизованное достоинство разложилось мгновенно меж баками; а метрдотель, покоренный моим независимым видом повел меня тотчас туда, за колонны; и показал нам два места за боковым малым столиком (нет, не за общим столом: и не против катавшего катышки лорда!). Я тотчас же снисходительным тоном заказал дорогого вина; и друг друга поняли; даже казалось: в лице метрдотеля теперь приобрел я союзника; и предпринял

нападение на лорда: я в мыслях своих щекотал ему нос волосинкой. Тут подали суп... Беспредметная фешенебельность и вопиющая скука теперь водворилась над строем лопаток и лысин, принадлежавших, как знать, королям, принцам крови, купцам, адвокатам, ученым, парламентским деятелям, биржевым 452 спекулянтам — Австралии, Полинезии, Африки и Европы (включая Америку). Так, победив метрдотеля, служившего лорду, теперь полоскавшему зубы душистой водой, мы отбыли в половине десятого: из убежища королей на каирский трамвай. Боголюбы 911 года Последнее впечатление Посещение Мемфиса, последнее воспоминание от Сфинкса, обед в Mene House мне стоят на исходе египетских впечатлений моих; потерявши надежду дожидаться московского перевода для посещения Ассуана, прожившись ненужно в Каире, уже не могли отдаваться по-прежнему мы непосредственно жизни в Египте; но все впечатления путешествия нашего здесь углубились: Египет во мне бурно взрыл сокровенные мысли души, пребывавшие за порогом сознания в России и обусловившие наш исход из Москвы; мне в Египте открылся Египет второй: моя жизнь до Египта; размах этой жизни перед размахами жизни возможной казался мне, нет, не полетом, как прежде, а малым и скучным качаньем московского маятника под стеклом между стенками никеля; да, часы моей жизни сломались; и сломы путей обнаружались тотчас же по возвращении в Россию, где я ощутил одиноким себя и откуда с женою бежали надолго через одиннадцать месяцев. По возвращении в Россию увидел в тогдашней России сплошной «Петербург». Аполлон Аполлонович, мумия, встретил меня в Петербурге; ответственный пост, занимаемый им, и стремление к геометрии, и возводимый им крепкий кубизм, просочившийся в мелочи повседневности, показал мне воочию: из музеев египетской древности мумии вышли; «Египет» проснулся: «Египет» не умер; и мы, как белые рабы, занимаемся вместо жизни тесанием гробницы XX века; я понял, что нужно искать «новой жизни» и «новой земли»; но для этого надо бежать в «Палестину», оставив Египет; мое путешествие мне впервые в Египет предстало: иным путешествием по «старинному континенту» души, на котором зажил я в слепом бессознании: от Египта мои «Путевые заметки» меняют свое направление; и становятся: путевыми заметками странника, ищущего новой жизни души; «география» и «этнография» заменяются в них «психологией», «метафизикой», неуместной в простых «путевых наблюдениях». О том, что я видел в Египте, о том, что потом пережил в Палестине — обо всем этом мог бы я дать очень толстую книгу а? la Метерлинк, а не книгу а? la Гончаров; потому-то в Египте и кончаются мои «путевые заметки». Я странствовал мыслями, мучимый невралгией на улице Каир-ель-Нил, а египетский врач замышлял мне жестокую казнь: вырвать зуб. Пред отъездом в священную землю повис на железном крюке я со стоном (мой зуб не хотел «вырываться»). Запомнился мне напоследок египетский вечер: — — фелюга качалась, а лодырь, совсем темносиний, стоял на корме; золотокарие светени вечера разливались на Ниле; легчайшим биением белоголубых парусов разбегались стаи фелюг; и бросали стекольные очи все желтые здания; скалилась старой зубчатой стеной Цитадель, просквозивши из дали, как черное кружево на желтеющей шее испанки; налево: пространство косматой кудрявицы, красный карминник цветов поднимали густейшие пряности; солнце, мертвея от немощи, немо катилось к

закату, как желтый и сохлый папирус, в сплошном омутненьи хамсинной золы над косматыми лапами пальм пролилось 453 тяжелейшее золото в карие сумерки; протянулись феллашки, поставив на плечи надутое дно пропеченных жарой кувшинок; был и странен и страшен Каир! Больше я не увидел его: утром тронулись мы к Порт-Саиду, чтобы попасть на судно, увозившее к апельсинникам Яффы. Боголюбцы 913 года Эпилог Впечатления Палестины глубоко запали мне в душу: но трудно мне было, как прежде, вести протокольную запись летучих моих впечатлений; события души поднялись; и — стирали пестрейшие пятна пути. Я, быть может, позднее вернусь к впечатлениям Палестины; не здесь, в этой книге. И ко всему примешалась тут внешняя трудность: Сицилию и Тунис я описывал там на местах, где любую деталь, поразившую нас, мог легко я проверить; Радес, Кайруан я описывал не на месте: в Египте; описывая, я бродил еще в дебрях своих впечатлений по свежим следам; мной описан Египет — позднее; уже на Вольни; меж мной и им легли страны: Сирийского побережья, Палестины, Архипелага; и лег многошумный Стамбул с грохотанием мечетей и с Айя-Софией, с семибашенным замком, с Босфором, легли Дарданеллы; поэтому впечатления Египта на расстоянии выглядят отвлеченнее, быть может, чем пестрые арабски Тунисии. Я хотел описать Палестину, но... спешно уехал в Москву, и Москва ерундою своей многопышущей жизни совсем запылила мне нить путевых впечатлений; все то, что я видел — со мною; все звуки, все краски, все образы — там, в глубине моей жизни зажили в безобразном, только через год уже, в Брюсселе, мог отдаться свободно я пятнам заметок; но пятна те выцвели; и во-вторых: я работал тогда над романом своим; так внимание переместилось от пятен земного пути к углубленнейшим линиям мысли. *** Мне запомнились общие ноты моих палестинских заметок; и в них, точно искры, отдельные частности: помню, как мы поразились, проснувшись перед Яффою, стаям небесных барашек; в Египте не видели мы облаков; поразили огромные апельсинники Яффы; и тон голубой иудейских холмов; поразили ливанские кедры: и пестрый камень, которым блистает постройка храма Гроба Господня весной: мы из пекла попали вторично в весну (переживши ее уже в Радесе): как часто сидел я на камне пред входом Дамасских Ворот, и я думал: — «Вот здесь бы остаться навеки!» Помню я происшествие перед мечетью Омара (тогда обокрали мечеть европейцы и их собрались убить мусульмане); кавасы, да два полицейских, которых мы взяли в участке, сопровождали нас в «Храм»; были первые мы европейцы, решившиеся проникнуть в мечеть после гнусного воровства, там совершенного: в русском подворье сказали нам, что за нас не ручаются; перед розовым мозаическим храмом неопишуемой формы*, в котором в грядущем свершится Пришествие (перед кончиною мира**), стояли безмолвно: толпа исступленных, разгневанных женщин, грозя нам руками, выкрикивала проклятия; спереди шел вооруженный кавас; полицейские шли по бокам; было жутко и стыдно (за европейцев, конечно). 454 *** Мне запомнился интересный момент: вырывается «святой» огонь из часовни над Гробом Господним, распространяется морем по храму; седой патриарх весь в атласе, испуганно мчится по храму с пучками «огня», охраняемый роем солдат от напора толпы. Мне запомнились апельсинники Кайфы, запомнились домики Бейрута; горы, покрытые лесом (Александретты, или Мерсины — не помню). Четырнадцать дней плыли мы по Сирийскому и Малоазийскому побережью; прошли розоватые башни Родоса; прошли бесконечные островки Архипелага (среди них прошел Патмос и Лесбос и тот островок, на котором родился Сократ); распахнулась глубокая гавань; мы видели издали Смирну: холера нам путь заградила; повеяли белой сиренью на нас Митилены; мы издали видели берег разрушенной Трои; слонялись в Стамбуле; когда на семнадцатый или восемнадцатый день мы глубокою ночью стояли пред портом Одессы, меня охватила глубокая грусть: промелькнули в обратном порядке Стамбул, Митилены, Архипелаг, Палестина, Каир, промелькнула «Arcadia»; промелькнули: Валетта, Тунис, Карфаген, Кайруан и Радес; промелькнул Монреале; промелькнули Палермо, Неаполь, Венеция, Вена. И встала Россия: Москва, ее слякоть. Но Африка ждет меня: к ней я вернусь! Москва 919 года Сноски к стр. 331 * Ibn Khaldoun. Histoire des Berberes, trad. de Slane, 1852—56. ** El-Edrisi. Description de L'Afrique et d'Espagne. *** Mercier. Histoire de L'Afrique septentrionale. **** В 740-м году. ***** Ель-Бекри. Сноски к стр. 332 * En-Noweizi (apud Ibn Khaldoun, t. I, p. 340) ** «История берберов» (фр. пер.). *** Schmolders: Essai sur les doctrine philosophique chez les arabes. **** Христос. ***** По Piquet. Les civilisations de L'Afrique Nord. Сноски к стр. 333 * Медхи должен появиться в конце мира. ** Commandant Kannezo. Madhia. Notes historiques. Revue tunisienne 1907;

Bibliographie des questions religieuses. Ch. IV. *** С. Loth. Histoire de la Tunisie. **** Крепость. ***** Victor Piquet. Les civilisation de L'Afrique du Nord. Сноски к стр. 335 * Mohamed Joussef. Soihante and d'histoire de Tunisie (фр. пер.). ** Хижин. Сноски к стр. 336 * Северная часть Сахары. ** Елисеев А. В стране туарегов; По белу свету. *** Елисеев А. В стране туарегов. Сноски к стр. 338 * Фраза прервана. Обрыв текста (примеч. публикатора). Сноски к стр. 342 * Губернатор. Сноски к стр. 347 * Эн-Новейри. ** Эн-Новейри. *** 875. **** Ибн-Кальдун. Сноски к стр. 348 * Сведения об аглебитах почерпнуты мною из увенчанного Академией сочинения В. Пика «Les civilization de L'Afrique du Nord» См. главу «Les princes Aghlebites de Kaïrouan». ** Ерг — песок по-арабски. Сноски к стр. 349 * В 1881 году. ** Здесь находятся соленые озера. *** Герман Вагнер. Путешествия и открытия доктора Эдуарда Фогеля, с. 167 (русс. пер.). **** 1799 г. ***** 1821 г. ***** 1846 г. ***** 1853 г. ***** 8.000.000 квадратных верст. Сноски к стр. 350 * Сиуф значит сабля. ** Меч Сергей. Сахара и Нил. *** Сюда: Фридрих фон-Гельвальд; Земля и ее народы. Т. IV; Daumas. Le Sahara algerien; Schirmer. Le Sahara; Duveyrier. Les Touaregs du Nord. С. Меч: Сахара и Нил. Елисеев: По белу свету. **** Фридрих фон-Гельвальд. ***** Э. Реклю. Сноски к стр. 355 * Тютчев. (Неточная цитата из стихотворения «Еще шумел весенний день». — Примеч. публикатора). Сноски к стр. 358 *

Олениной д'Альгейм. Сноски к стр. 359 * По прошлой переписи: см. сочинение «Ислам», кажется, Гилярова. ** В 50 милях от Каира, в высохшем днище Меорийского озера; это данные палеонтологических раскопок экспедиции профессора Осборна в 1907 году. Сноски к стр. 361 * Флобер. Саламбо. ** Delattre. Un pelerinage aux ruines de Carthage. *** Эпидемия была в 196 году до Р. Х. **** До Р. Х. Сноски к стр. 362 * До Р. Х. Сноски к стр. 364 * Крепость и военная гавань французов. Сноски к стр. 366 * Этот отрывок писался в 1912 году, в эпоху занятия Марокко. Сноски к стр. 367 * Во время написания этих строк автор не подозревал о том, что через десятилетие произведение негра Морана будет удостоено Гонкуровской премии. ** Это помолодение сказывается в «Джимми», «Фокстротах», в джасбанде и т. д. Сноски к стр. 368 * Lt.-Colonel Baratier. A Travers L'Afrique, p. 67. ** Опять-таки: близкое будущее показало, что автор, пишучи в 1912 году эти строки, был-таки прав: в 1914 году чернокожие показались в Европе; позднее они были в России (в Одессе — так, кажется); общавшиеся с сенегальцами русские свидетельствуют о чуткой их восприимчивости. Сноски к стр. 369 * Felix Dubois. Tombouctou la Mystérieuse. Ouvrage couronné par L'Académie Française. Paris. ** Lt.-Colonel Baratier. Au Soudan. Сноски к стр. 370 * Au Soudan, p. 153. Сноски к стр. 373 * Гондура на груди у араба имеет часто длинный вырез, сквозь который видно нечто вроде жилета. Сноски к стр. 377 * Неферис находился у склона Двурогой горы. ** См.: Моммсен. История Рима. Т. II, с. 30—31. Сноски к стр. 379 * Валетта — главный город Мальты. Сноски к стр. 381 * Индийский океан. Сноски к стр. 382 * В 12 фунтов. ** Рыба с черно-синей спиной и серебристым животом. Сноски к стр. 383 * Амаликитяне. ** Coussin de Perceval. Histoire des Arabes avant L'isiemisme. *** Ленорман Ф. Руководство к древней истории Востока. Арабы. **** Idem. ***** Страбон. ***** Renan. Histoire des langues semitiques. ***** Ленорман. ***** Диодор Сицилийский. Сноски к стр. 385 * К черту. ** Наплевать, как-нибудь. *** Пять миллионов. Сноски к стр. 386 * Долина. Сноски к стр. 391 * Бывшего дворца Измаила. Сноски к стр. 393 * Новый отель. Сноски к стр. 394 * Морские ласточки, встречающиеся только в Египте. Сноски к стр. 395 * Группа оазов, начинающихся в Южной Тунисии. ** В 1874 году. Сноски к стр. 396 * Шиллуки — обитатели истоков Нила, так же, как динки и др. негрские племена. ** Ниам-ниам — людоеды. *** В 615 г. до Р. Х. Сноски к стр. 399 * Египетский пьестр — 9 копеек. Сноски к стр. 403 * Окончена в 917 году. ** Окончена в 1003 году. *** В 1125 году. **** 1516 года. Сноски к стр. 404 * Мифическую страну «Офейру» искали в Индии, и в Африке. ** Завоеватель Египта, владыка Кайруна, перенесший в Египет династию Фатимидов. *** Султан Мосула, которому подчинен был Египет. **** Характеристика по Ибн-Алатиру (1160—1233), автору «Всемирной истории» и «Истории Атабеков». Сноски к стр. 405 * Знающий наизусть Алкоран. ** Боаеддин. Сноски к стр. 406 * Кади — судья. ** Гостиница. *** Ибн-Алатир. **** Иерусалима. ***** См.: Стасюлевич. Хрестоматия средних веков. Более подробно в сочинении Боаеддина (лат. пер.) Vita et res gestae sultani Saladini (извлечения у Мишо). ***** Храм Гроба Господня. ***** Стасюлевич, а также казначей Бернад: L'histoire de la conquête de la Terre d'outremer (по изд. Гизо). Сноски к стр. 407 * Бернад. ** Боаеддин, а также Абульфараж: Сирийская хроника. ***

Первая окончена в 1318 году, вторая в 1528-м. Сноски к стр. 409 * Местное название восточного соловья. ** Кокосовая пальма разводится искусственно. Сноски к стр. 410 * Арабское название Каира. ** Обитатель верховьев Нила, сохранивший в быту культурные формы древнеегипетских эфиопов (см. Стэнли). Сноски к стр. 411 * Усыпальница священных крокодилов. ** Злой дух. Сноски к стр. 413 * Иные туземцы действительно надевают пиджак на абассию, выглядя шутами. ** Арабские имена. *** Хорошо. Сноски к стр. 414 * Нианза — негритянское слово, обозначающее скопление вод; нианзой может быть и река, и озеро; отсюда: «Виктория-Нианза», «Альберт-Нианза». ** В 1857 году открыто Спиком. *** 6600 квадратных верст. **** «В дебрях Африки» (русск. пер.). ***** Арабский географ 12-го столетия. ***** Стэнли Г. М. История поисков, освобождения и отступления Эмина-Паши. ***** Или «Голубой Нил». ***** Озеро Цан находится в Абиссинии. ***** Меч Сергей. Сахара и Нил. ***** Стэнли. Сноски к стр. 415 * «Карта, перевернувшая вверх дном все показания Гомера, Гиппарха и Птолемея... изданная в 1819 году Констеблем: разве не позволительно думать, что он составил ее в припадке острого разлития желчи». Idem? т. II, с. 284. Гуг Муррей — положительней, ибо принимает во внимание свидетельства древних. Idem. ** Птолемею чуть ли не первый выразил правильное понятие об общем течении Нила и отнес его источники к громадному хребту «Гор Луны». Idem, т. II, с. 298—312. *** «Мысль теряется в этой бездне веков, протекших со времени поднятия Руэнцори из недр, — проникаюсь... благословением и радостной благодарностью за то, что мне довелось все это видеть. Иного рода чувства... поднимаются в душе при мысли о том, что в одном из наиболее глухих углов земного шара, вечно окутанный туманами, опоясанный грозowymi тучами... скрывался один из величайших... гигантов, снежные главы которого вот уже пятьдесят веков составляют благосостояние египетских народов». Idem. **** Палица, напоминающая египетскую секиру. ***** Idem, т. II: «Племена, населяющие луговую область». ***** Пустыня, примыкающая к юго-западному берегу Африки. ***** Лилианти находится в центре Африки под 17° южной широты. Сноски к стр. 416 * Последнее путешествие Ливингстона. (Перев. с англ. под ред. М. Цебриковой). ** Беккер Уайт. Путешествие к верховьям Нила и исследование его истоков. *** Ниже Зензибара. **** Эмин-Паша — губернатор экваториальной провинции Египта, на несколько лет отрезанный от Египта махдистским восстанием и выреченный впоследствии экспедицией Стэнли. Сноски к стр. 417 * Название Белого Нила. ** Голубой Нил. *** Беккер. **** Юнкер. ***** Дерево. ***** Беккер. ***** Имя негритянского племени. ***** Беккер. ***** Водяное растение. Сноски к стр. 418 * Шапка. ** Арабская гитара. *** Юнкер. **** Нильский приток. ***** Плавучие травяные острова; см. о них в кн. Полковника Баратье, следовавшего за Маршаном. ***** Юнкер. ***** Ее устье лежит 10° южной широты. ***** Ливингстон. Сноски к стр. 419 * Ливингстон. ** Род павиана. *** Род павиана. **** См. статью путешественника сэра Гарри Джонстона «Последние тайны африканских лесов». — «Природа и люди», 1915 г. Сноски к стр. 420 * Негрские племена. ** Вот некоторые из сочинений, трактующих экваториальную Африку: Юнкер. Wissenschaftliche Ergebnisse der Reisen in Central Africa. 1890. Его же. Reisen in Afrika (3 тома), 1889. Casati-Lehn. Zehn Jahre. Jaren in Aequatoria. Barth: Reisen und Entdeckungen in Nord- und-Central-Afrika. Стэнли. История поисков, освобождения и отступления Эмина-Паши. Беккер. Путешествие к верховьям Нила. Последнее путешествие Ливингстона. (Пер. с англ.) Сноски к стр. 421 * См. журнал «Природа и люди» за 1910 год. Статья о пальмах. ** Гагенбек Карл. Животные и люди. *** См.: его «Сахара и Судан». Сноски к стр. 422 * Пока вы созерцаете извне несладкую жизнь каирской, все блохи и «хахи» — досадные мелочи, но как скоро вы вспомните, что полнейшее творческое бессилие местной жизни есть торжествующее явление и веками давимый феллах с наслаждением разлагает все, что прикоснется к нему, вас охватывает ужас; вот что говорит герцог д'Аркур о победителях современных нам египтян в своей книге «Египет и египтяне»: «Если исчезла древне-египетская письменность, раса ее как будто пережила; сколько раз отмечали сходство египтян современных с наиболее древними египетскими статуями; эти статуи верно выражают черты еще доселе живой расы, единственной, которая способна размножаться и жить в этой загадочной стране. Роды победителей, сменявших друг друга и соблазненных богатством страны... исчезли, согласно пословице: «Египет пожирает в него вторгающиеся народы»... Действительно, веками бесчисленные рабы... приведенные смолоду в эту страну, не имели потомства; и в наши дни, поселяющиеся здесь семейства турков,

вырождаясь физически и нравственно уже во втором поколении, пересекаются в третьем. Единственно, что можно предпринять, чтобы избежать деморализующего действия климата, это брак с феллахиной; но тогда пропадет у потомства европейский характер, потому что от такого брака рождаются египтяне» (курсив наш). Не ужасна ли месть древнего Египта за профанацию линий? Что касается до сходства феллахов с древними египтянами, то на это указывает, например, Роберт Хиченс в своей книге «Чары Египта»: «Я спускался в могилу... расписанную фигурами. Взяв с собой 10-летнего мальчика Али... и глядя то на него, то на окружающие стены, я... проникался сознанием постоянства типа. В этих изображениях я повсюду встречал лицо маленького Али». Сноски к стр. 423 * Елисеев. По белу свету. ** Летучая собака (вид pteropus). *** Пирамида Хеопса. **** 175. ***** 210 аршин. ***** Пирамида Хефрена. ***** 66 метров. Сноски к стр. 424 * Хиченс Роберт. Чары Египта в его памятниках, с. 6. ** Wake. The Origin and significance of the Great Pyramid. Сноски к стр. 428 * «Mene House» — всемирно известный отель. ** Южный крест. *** Город Верхнего Египта. Сноски к стр. 429 * Недавно еще его исчисляли в 5500 лет; по новейшим данным, время это более 6000 лет. Сноски к стр. 435 * Из стихотворения З. Гиппиус. Сноски к стр. 438 * Масперо Г. Guide au Musee de Boulaque. Сноски к стр. 439 * Азар — покрывает от носа лицо феллахини и прикрепляется желтенькой палочкой к носу. ** Выражение принадлежит Myriame Harry (см. Tunis la Blanche). *** Заимствую эти данные в кн.: Масперо Г. Египет. Фивы и народная жизнь (русск. пер. Е. Григорьевича). Сноски к стр. 440 * Масперо Г. Набор войска. ** Idem. Фивы и народная жизнь. *** Idem. **** Idem. Базары и лавки. ***** Idem. Набор войска. ***** Египетская утна, по исследовательским данным, весила 91 грамм. ***** Переводя на франки: 143 франка 78 сантим. (Масперо. Египет). Сноски к стр. 441 * Пальмовая водка. ** Idem. *** Idem. Базар и лавки, с. 52—59. **** Idem. с. 138 ***** Idem. Фараон. ***** Idem. Сноски к стр. 442 * Масперо Г. Фараон. ** Idem. *** Idem. **** Idem. Жизнь в замке. Сноски к стр. 443 * Масперо. Древняя история народов Востока. ** Корона. Сноски к стр. 445 * Хиченс Роберт. Чары Египта в его памятниках, с. 19, 20. Сноски к стр. 448 * Hilprecht. Die Ausgr. Im Balt-tempel zu Nippur, 1903. ** Ему приблизительно 5600 лет. *** См.: профессор Вальтер. История земли и жизни. **** За 4300 лет до Р. Х. ***** История земли и жизни (русск. пер.) Сноски к стр. 453 * Построен храм Юстинианом, переделан в мечеть Омаром. ** По мусульманским верованиям.

Котрелев Н. Злосчастная судьба счастливой книги: К истории путевых записок Андрея Белого // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 327—330. — [Т.] I. «Кто может пожертвовать месяцы времени, кто не боится моря, кто любит искусство и природу, тому советую последовать моему принципу: сесть на пароход в Одессе, остановиться в Константинополе и посмотреть Св. Софию, зайти потом в Афины и несколько познакомиться с их классическими развалинами; оттуда итти далее до Сицилии, высадиться в Палермо, съездить в Монреале и Джирджента и снова переплыв море, в Неаполе окончить эту небольшую, но полную впечатлений прогулку»,¹ — этим немудреным и нелукавым советом начал когда-то свои походные заметки русский турист XIX в. Они увидели свет в год, когда родился Борис Николаевич Бугаев, которого мир знает как Андрея Белого, — мир все еще полнее и лучше знает, чем его родина. В 1910 г. Андрей Белый решил совершить очень похожее путешествие — в Сицилию, к Палермо и Джирдженти (как нужно было бы писать и в прошлом веке, да не так написано цитированному автору). Правда, Белый ехал туда поездом, так же собирался и возвращаться, это потом послушливость стечениям обстоятельств (или судьбе?) заставила его плыть на Одессу пароходом, только заход в Афины не состоялся.

И собрался Белый на юг Италии не по искусство и природу. Было еще проще. Писателю крайне необходимы были отдых и покойное место для сосредоточенной работы. Он был измучен — тяжкими житейскими бурями, своим темпераментом полемиста, вулканической литературной деятельностью. А тут друг и меценат-издатель предложил достаточный аванс, на который решено было на полгода снять дом под Палермо, чтобы жить уединенно и трудолюбиво. Рядом с писателем была невенчанная жена — Ася Тургенева. Он был впервые в жизни счастлив, по крайней мере, близок к счастью.

Дома, который рисовался из Москвы по рассказам знакомого, незадолго перед тем возвратившегося с Сицилии, не нашлось; нужно было определяться в пространстве. Чем дальше вниз по Италии спускался Белый, тем явственнее ему звучали следы восточной — древней и средневековой — культуры, знаки ее влияния на итальянскую, европейскую.

Сначала Белый перебирается в Тунис, где и находит себе пристанище в мавританской деревушке. И пишет в Москву: «Африка манит»². Грезится дорога на юг, через пустыню — в Черную Африку. Но побеждает другое: «Часто с Асей мы говорим, что Сахара от нас так недалеко (всего несколько сот верст); Тунисия с юга на фоне пустыни; и фон пустыни здесь слышен — здесь среди фиников, цветов, оливок и пальм. И в пустыне поднимается зов... Я слышу — я помню — я узнаю... свое далекое прошлое: я ведь родом из Африки (так говорят про меня теософы); родина моя Египет; и душа просится в Египет, родину», — писал Белый М. К. Морозовой из Туниса³.

Средиземным морем путешественники добрались до Александрии, оттуда в Каир, к пирамидам и сфинксу. Потом — Святая Земля и возвращение морем в Россию на Одессу.

Издательский аванс писатель должен был покрыть из гонорара за роман, имевший быть написанным в Средиземноморье (речь шла об исполнении замысла второй части Серебряного голубя» — будущем знаменитом «Петербурге»). Кроме того, предполагалось, что Белый будет посылать в несколько газет путевые очерки, как еще говорили тогда, «фельетоны». Но творческие планы изменились, роман «не пошел».

Вот как сам Белый осмыслял это в приводившемся уже письме к М. К. Морозовой: Милая, милая, до чего хороша Африка; как славно все кругом вглядывается в меня, говорит мне без слов. После многих лет нервничанья впервые здесь отдыхаю. Странно даже как-то весенняя нега, птицы, цветы; и цветы-арабы. ... Я счастлив: Ася с каждым днем вырастает для меня; все больше и больше ее люблю, все более и более привязываюсь к ней; и мне кажется, что мы с ней не расставались... Вот только одно трудно: не могу писать „Голубя“. Откладываю до лета. Как можно писать, когда весна, цветы и теплый отдых после многих лет страдания впервые приходят. Писать „Голубя“ значит мучительно отрываться от ей Богу! — заслуженного отдыха и глядеть мимо счастья в мрачные души бездны ... И я прав перед собой и Асей, что не хочу первые месяцы нашей совместной жизни омрачать „Голубем“ ... Пишу книгу „Путевые заметки“, отрывки которой должны печататься в газетах; так думаю я пока реабилитироваться перед „Мусагетом“. А потом, по возвращении из заграницы пишу „Голубя“». Тут можно бы и прервать, достаточную в наших ближайших видах, цитату; можно было и прежде; но жаль, потому что пропадет удивительное завершение образа, важное не пустяшной антибуржуазностью (исторический опыт показал, что «какой-нибудь буржуй» — понятие не классовое, а общечеловеческое). Здесь безжалостное и незащитное свидетельство художника о муках творчества: «Нужно написать за это время шестьдесят фельетонов, работа порядочная, но... неомрачающая моего счастья; ведь после каждой главы „Голубя“ (пока писал) почти нервно заболел; а теперь, когда читают „Голубя“ и хвалят „беспутного декадента“ Белого, у Белого есть чувство... некоторой досады: может быть, нужно сжечь свои нервы до тла, чтобы какой-нибудь буржуй сказал: „Знаете ли... тут что-то есть...“».

Белый выбрал часть благую: «Перед второй частью „Голубя“ я, как автор, злюсь: ведь и вторая часть мне испортит ряд месяцев здоровья; и хоть в Африке, среди цветов и тепла, я хочу себя почувствовать здоровым и тихим. Пишу „Путевые заметки“...»⁴.

Белый послал в Москву фельетоны — а газеты, опубликовав пяток, отказались от продолжения. Не «буржуазная», а газетная культура отказалась от них. И не потому, что фельетоны были плохи, а потому, что они пришлись не ко времени, газеты в этот момент подавали читателю другие интересы. Еще в путешествии поэтому сложилось намерение издать фельетоны отдельной книгой все в том же «Мусагете», оплатившем счастливое странствие. Не удалось. Первую часть очерков Белый напечатал в журнале «Современник» — но только первую⁵. Намечалось издание

в «Сирине» — культурном русском издательстве, созданном сахарозаводчиком М. И. Терещенко с сестрами, чтобы поддержать лучшую русскую словесность своего времени; там увидел свет «Петербург» Белого, собрания сочинений Брюсова, Сологуба, Ремизова, шли переговоры с Блоком, Вячеславом Ивановым. Но началась война, и Терещенко, продав заводы, закрыв издательство, все средства и энергию направил на помощь фронту. Путевые очерки Белого оказались без издателя.

29 мая 1919 г. Белый писал А. Е. Грузинскому, представлявшему издательство, в котором должна была появиться, наконец, книга африканских впечатлений: «... перерабатываю пока что 1-ую часть «Заметок», думаю отсрочить отъезд в Москву до июля: может быть, это задержит Вас со второй частью «Заметок», но зато я основательно подчищу эти «Заметки»; они некогда писались быстро, частью во время пути, частью потом; я старался быть «кодаком» и нащелкать ряд моментальных снимков, чтобы потом проявить памятью; и теперь вижу, что ретушь необходима; но я к июлю проработаю все»б.

Однако дело с изданием катастрофически затянулось. Лишь в 1922 г. разом в двух издательствах вышли очерки Белого — в «Московском книгоиздательстве писателей» и в московско-берлинском «Геликоне». И там, и там — вышел только первый том! Что это будет так — стало ясно еще в 1921 г., если не ранее, о чем мы читаем в кричащем письме Белого А. М. Кожебаткину, владельцу издательства «Альциона», а когда-то — секретарю «Мусагета», которому Белый слал фельетоны из Италии и Африки: «Дорогой Александр Мелентьевич, в виду того, что моя мама голодает, а я вынужден служить и писать ночью, в виду того, что 2 том «Путевых заметок» балластом лежит (а я мог бы их продать за границу за миллионы: мне платят в Латвии 500 000 за художественный печатный лист), в виду потери рукописи, на которую я рассчитывал, я вынужден отдать «Звезду» в Государственное издательство Ионову, за которую уже получил 200 000 предварительного аванса. Я ждал 2? года появление в свет совершенно готовой к печати книги, но ты ее не издавал, предпочитая издавать имажинистов и все же выпуская книги. Поэтому и считаю вправе поступить так, как поступил, т. е.: я сказал Ионову, что уведомляю тебя о передаче ему книги, — и прошу тебя «Звезду» не выпускать вовсе, тем более, что ты ее не собирался выпускать 2? года. Я не сомневаюсь, что Ты поймешь меня: мое право бороться за то, чтобы имя А. Белого по каким-то издательским соображениям не уливалось в бездонный колодезь издательских подвалов.

Если я не нужен Тебе, то я нужен России и Европе, меня обступают предложениями из заграницы — и просьбой переводить рукописи, которые, как «Путевые заметки», почтуют в подвалах книгоиздательства. Остаюсь с дружеским приветом. Б. Бугаев»7. Второй том путевых очерков осел в издательских архивах. Вероятно, долгие годы рукопись книги хранилась в издательстве «Север», кооперативном наследнике блистательной фирмы «М. и С. Сабашниковых», который жалко влачил в тридцатые годы славу русского книгоиздательства8.

Уже в поздние советские годы писатель предлагал издательству «Федерация» среди прочих своих мало кому приемлемых рукописей под первым номером: «... у меня имеется следующий материал: 1. Описание «Тунисии и Египта», долженствовавшее составить II том «Офейры» («Путевые заметки»), вышедшей в виде I тома в «Книгоиздательстве писателей» в Москве в 1922 г.; второй том не вышел. Он представляет собою самостоятельное единство; слегка ретушью автора он мог бы образовать отдельную книгу; ее ударная часть «Египет» (с этнографическим и историческим материалом); в рукописи до 12—13 печатных листов»9. «Федерация» оставила без внимания это предложение. Впечатления 1910—1911 гг., дореволюционные, из другого мира, были не нужны, если не подозрительны. Издательство предпочло выпустить в свет новые путевые записки Белого — «Ветер с Кавказа». С «Африканским дневником» мог познакомиться редкий человек, допускаясь к чтению архивных материалов10.

Только сегодня впервые вторая часть «Путевых заметок» Андрея Белого оказывается в руках обычного читателя.

Примечания

1 Вышеславцев А. В. Между храмов и развалин. — Русский Вестник, 1880, янв., с. 5.

2 ГЛМ, ф. 7, оп. 1, ед. хр. 33, л. 37.

3 ГБЛ, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 16, л. 4 об.

4 Подробнее см.: Путешествие на Восток: Письма Андрея Белого. (Публ., вступ. ст. и комм. Н. В. Котрелева.) Восток — Запад: Исследования; Переводы; Публикации. М., 1988, с. 143—176.

5 См. библиографию публикаций в периодике: Русские советские писатели. Поэты: Библиографический указатель. М., 1974, т. 3, ч. 1. Безыменский — Благов. С. 139—140. Сверх того: Двадцать две Франции. — Голос России, 1922, 4 июня (№ 982); Али Джалюли (Из африканских впечатлений). — Дни, 1922, 3 дек. (№ 30); Sigu Бу-Саид (Из африканских впечатлений). Там же, 10 дек. (№ 36); Из египетских воспоминаний: 1. Арабская улочка. 2. Толпа. 3. Нил. 4. Зори Египта. Там же, 1923. 1 апр. (№ 128); Кайруан. — Воля России. Прага, 1923, № 1.

6 ЦГАЛИ, ф. 126, оп. 2, ед. хр. 2, л. 1.

7 ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 3, ед. хр. 11, л. 27. Копия. — Письмо не датировано: написано, очевидно, до отъезда Белого за границу 20 октября 1921 г. В письме упоминается сборник стихотворений Белого «Звезда», выпущенный Государственным издательством в 1922 г.

8 Рукопись зарегистрирована в издательстве при инвентаризациях портфеля в 1931 г. (ГБЛ, ф. 261, карт. 10, ед. хр. 2, л. 1) и в 1933 г. (там же, ед. хр. 3, л. 1). Ныне в издательском архиве ее нет, судьба этого экземпляра нам неизвестна.

9 ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 6, ед. хр. 21, л. 7.

10 «Гранки», по которым дается текст «Африканского дневника» ниже, а также рукописи и корректурные оттиски других частей «Путевых заметок» были предметом переписки Белого с В. Д. Бонч-Бруевичем в 1932—1933 гг., когда шла речь о передаче архива писателя Литературному музею (См.: Воронин С. Д. Статья В. Д. Бонч-Бруевича «Архив Андрея Белого». «Археографический ежегодник за 1984 год». М., 1986, с. 275).

В 1984—1985 гг. до меня доходили слухи, что неизвестный мне человек случайно на чердаке дома наткнулся на остатки архива «Книгоиздательства писателей в Москве» и что среди прочих материалов им обнаружена рукопись «Путевых заметок» Белого. Однажды этот человек позвонил и мне, предлагая эту рукопись приобрести за очень крупную сумму, каковой я располагать не мог, она во много раз превышала и обычные мизерные цены, которые назначают советские архивы за автографы даже крупнейших писателей. Некоторое время спустя ко мне обратился человек, предъявивший удостоверение сотрудника уголовного розыска. Он попросил консультацию: сколько может стоить рукопись «Путевых заметок» за рубежом. Я получил от него подтверждение догадке, что речь идет именно о новонайденном оригинале. Следовательно предъявил мне несколько страниц ксерокопий — это были рукопись и гранки с густой правкой Андрея Белого, почерк писателя опознавался без сомнения. Следовательно явно хотел от меня указания, что на западном аукционе эти материалы пройдут по баснословной цене. По разным соображениям я не мог поддержать такого прогноза. И напротив, услышав, что угрозыск интересуется всей историей исключительно из предположения, что обладатель рукописи может попытаться переслать ее за границу, — я энергично запротестовал против самого факта следовательской активности из одного лишь превентивного подозрения. Обладатель удостоверения, поблагодарив меня за консультацию, удалился. Продолжения истории не знаю. Но предъявленные мне ксерокопии восходили к очень важной версии авторского текста,

возможно, более поздней, чем публикуемая ниже.

Н. КОТРЕЛЕВ

Указатель имен

Указатель имен // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 455—462. — [Т.] I.

Абаза А. А. 98—100

о. Абрам 48

Августин Блаженный 280

Авенариус В. П. 178

Авксентьев 53

Авксентьева (урожд. Зейдель) А. Н. 53

Авсеенко В. Г. 173

Агарев, актер 136

Агафангел (Преображенский А. Л.), митр. 239—241

Агеснлай 23

Агрнев (Славянский, псевд.) Д. А. 271

Агрикула (Агрикола) Г.-Ю. 57

Адальберт Бременский 307

Адамович А. Ф. 259—261

Адлерберг А. В. 90, 93

Аксаков А. Н. 183

Аксаков И. С. 74, 92, 287, 302

Аксаков К. С. 66

Аксаков С. Т. 72, 147, 246, 281

Аксакова О. С. 74

Аксаковы 47, 162

Акулова А. А. 69

Аладын Е. В. 41

Александр I 13—14, 19, 24, 42, 90, 97, 100, 102, 139, 187, 306, 308, 323

Александр II 48, 66, 77, 87, 95—96, 111—112, 127, 135, 167, 277, 289, 291, 294, 319—324

Александр III 142, 170, 177, 322, 323

Александр Македонский 10, 71

Александра Георгиевна, вел. кн. 321

Александра Иосифовна, вел. кн. 322—323

Александра-Каролина-Мария-Шарлотта-Луиза-Юлия, принцесса Датская 323

Александра Федоровна, императрица, супруга Николая I 40, 42, 293, 321

Александра Федоровна, императрица, супруга Николая II 134—135, 323

Александров А. А. 185, 252, 254

Александров В. А. (Розанов В. В.) 258—260

Александров В. Д. 49

Александрова Варв. А. (Розанова В. В.) 258—260

Александрова Вера А. (Розанова В. В.) 258—260

Алексеев А. И. 263

Алексеевы (А. В.; В. С.; Н. А.; С. В.) 75, 91—93

о. Алексей 48

Алексей Александрович, вел. кн. 135, 306, 323

Алексей Михайлович, царь 47, 66

Алексей Михайлович, вел. кн. 324

Алексей Петрович, царевич 277

Алексий, архиеп. 264

Алелеков А. Н. 121, 147, 151, 157, 159

Алелековы 149, 152

Алешинский Я. П. 56

Аллендорф, инспектор 128, 130

Алфераки Н. К. 129—131, 142, 144, 145, 149, 156—157, 165—166, 173

Альбрехт Е. К. 263

Альфред-Эрнест-Альберт Великобританский 111, 321, 323

Амвросий (Протасов), архиеп. 271

Аменицкая 81
Анастасия Михайловна, вел. кн. 323
Андерсен Г.-Х. 233
Андреев В. В. 175
Андреев Л. Н. 179
Андреев Н. А. 246
Андреева И. 106
о. Андрей 53
Анненков П. В. 70, 95
Анненков Ю. С. 112
Анненковы 70
св. Антоний Римлянин 300
Антоний, архим. 90—91
Антоний (Середонин Д. И.), архим. 264
Антонин (Капустин А. И.), архим. 264
Антонович В. Б. 270
Анфимов, врач 159, 180
Аппельрот Г. Я. 56—57
Апраксин С. Ф. 303
Апухтин А. Н. 168
Арапетов И. П. 99—100
Арапов А. А. 152
Арбенева (в замуж. Киреевская) Н. П. 84
Арендаренко Н. И. 50
Арендт Н. А. 265
Арендт (урожд. Солицета-Золекина) С. А. 265
Аристид 23
Аристотель 253
Архарова В. И. 88

Астырев Н. М. 265—266

Ауновский Я. Л. 113

Афанасьев А. Н. 93—94

Ахапкин, трактирщик 149

Ахматова А. А. 182

Афромович (Ахрамович В. Ф.) 181

Ахшарумов В. И. 273

Ашукин Н. С. 108, 213

Бабкин Д. Е. 125

Баженов В. И. 12, 24—26

Баженовы 141

Бажина С. Н. 266

Базунов А. Ф. 304

Байрон Дж.-Г. 155

Бакулин А. Я. 266

Бакулин Ф. 119, 139

Бакунина Е. М. 266—267

Бакунины 114

Балакиревы 114

Балашовы 86

Балтрушайтис Ю. К. 151, 152, 181

Балугьянский М. А. 267

Бальмонт К. Д. 147, 150, 152—153, 179, 181, 212

Бантыш-Каменский Д. Н. 70, 95

Бантыш-Каменский Н. Н. 93

Баранов Н. М. 124, 130—131, 134, 136—137, 161

Баранова (в замуж. Голицына) Л. Т. 93—94

Барановская М. Ю. 245

Барбе, учитель 56

Барри (Фельдман) 167

Барсуков П. А. 50—51, 53

Барсукова (урожд. Бартенева) А. И. 50—53, 61, 82

Барсуковы (И. П.; М. П.; Н. П.) 51,

Бартенев П. И. 6, 46—95, 158, 162—164, 180, 182, 282

Бартенева (урожд. Бурцева) А. П. 47—54, 60—61, 73, 81, 89, 94

Бартенева (урожд. Воеводская) Е. А. 48, 60, 81—82

Бартеневы (А. П.; В. М.; Е. И.; И. О.; И. П.; М. И.; М. М.; Н. М; П. Н.; С. И.; С. П.; Ф. П.) 48—52, 59—61, 77, 81—82, 85, 93

Баршев С. И. 267

Баршев Я. И. 267—268

Барщевский И. Ф. 268

Барышева Н. Н. 191—192

Барятинский Ф. С. 15, 24

Басистов П. Е. 56

Бастидон Я.-Б. 49

Бастидонова (в замуж. Державина) Е. Я. 49

Баташевы 113

Батенков Г. С. 83

Баттенбергский, принц 319—320, 324

Батурин Д. Д. 87

Батюшков К. Н. 76

Бахарахтова, купчиха 19

Бахрушин А. А. 245—246

Безак 74

Безак А. П. 124

Безбородко А. А. 13, 16, 18—20, 24

Безе Г. К., фон 268

Беземан А. А., фон 268

Безобразов И. С. 115

Беклемишевы 114

Белелюбские 58

Белинский В. Г. 221, 223

Белый Андрей 150, 152—153, 164, 167, 180—182

Беляев, свящ. 256—257

Беляев Н. Е. 271

Беляев Н. Я. 271—272

Бер Б. В. 130

Берг Ф. Н. 252, 254

Бердяев Н. А. 226, 228, 242—243

Бережков Е. И. 138, 143

Бернштейн К. И. 268—269

Берри, герцог 31

Бертельс, генерал 145

Бессонов (Безсонов) П. А. 32, 62, 65, 67, 68, 75, 82, 101

Бестужев (Безстужев) А. А. 35, 41

Бестужевы (Безстужевы) 40

Бестужев-Рюмин А. П. 70

Бестужев-Рюмин К. Н. 5

Бестужева-Рюмина (урожд. Языкова) П. М. 64

Бестужевы-Рюмины (В. П.; М. П.; П. А.) 64

Бетлинг П. Л. 115—116

Бец В. А. 269—270

Беэрр М. В. 86

Бибиковы 114

Бибин В. И. 270

Биншток Л. М. 270

Бирон Э.-И. 124, 155

Бисмарк О., фон 319

Битнер В. В. 236

Бичер-Стоу Г. 137

Благовещенский А. А. 270—271

Бланк А. Г. и П. Б. 48—50, 82

Блинов 133

Блок А. А. 149, 158, 166, 170—172, 217

Блок Г. П. 183

Блок (урожд. Менделеева) Л. Д. 170—171

Блудов А. Д. 78

Блудов Д. Н. 29—31, 65—66, 73, 75—76, 78—79, 95

Блудова (урожд. Щербатова) А. А. 31, 78

Блудова А. Д. 76—79, 114

Боборыкин П. Д. 138, 153, 155, 180

Бобринский В. А. 68—69

Богдановский А. М. 282

Богодуrow А. 127, 131

Бодлер Ш. 155

Бокль Г.-Т. 249, 254

Болинский, врач 63

Бопп Ф.-В. 65

Боратынский Е. А. 217

Борисов-Мусатов В. Е. 152

Бороздин К. 274

Бороздин, студент 61

Босс К. И. 54—55

Бостанжогло Е. М. 91

Боцяновский В. Ф. 152

Бреверн М. П. 88

Брокгауз Ф.-А. 245, 298, 302, 314

Брусилов А. А. 241

Брусилова Н. В. 241

Брут М.-Ю. 23

Брюллов К. П. 177, 217

Брюсов В. Я. 106, 147, 149—152, 155, 157, 162, 166, 168, 173—175, 181, 183, 212

Брюсова И. М. 151

Брюховы 108, 121

Будревич В. 80

Бузескул В. П. 308

Булгаков А. Я. 43—44

Булгаков В. Ф. 183

Булгаков М. А. 246

Булгаков Я. И. 93, 95

Булгарин Ф. В. 34, 36, 38, 40—43

Бульгин А. Г. 187—189

Бунин А. И. 86

Бунины 50

Бурачков П. О. 272

Бурдин Ф. А. 111

Буренин В. П. 166, 169, 174—175

Бурнакин А. А. 166, 176

Бурцева (в замуж. Александрова) А. П. 49

Бурцева (урожд. Кадышева) Е. Д. 48, 51, 61, 89

Бурцева (урожд. Салькова) П. Т. 48, 59

Бурцевы (А. П.; М. П.; Н. П.; П. Т.; Т. И.) 48—53, 61, 89

Буслаев Ф. И. 73—74, 95

Бутков В. П. 98, 100

Бутлеров А. М. 183

Бутурлин, губернатор 133

Бутурлин 285

Бутягин И. П., свящ. 259—260

Бутягина (урожд. Руднева) В. Д. 254, 258—259, 261

Бутягина А. М. 260—261

Бухваловы 114

Быстрицкий, гимназист 144

Бэкон Ф. 71

Бэр К.-М. 305

Вагнер Н. П. 183

Валуев Д. А. 244—246

Валуев П. А. 96

Вальдор Э. 154

Варламов К. А. 170

Св. Василий, еп. Рязанский 300

Васильев А., свящ. 9—12

Васильев В. В. 272

Васильево-Шиловский В. см. Шиловский В.

Васильчиков П. А. 72, 77

Васильчикова (урожд. Архарова) А. И. 72, 88—89

Васнецов Ап. М. 155, 218

Васнецов В. М. 92

Васьянов И. В. 272

Ватапи, семья 74—75

Введенский, чиновник 160

Введенский А. И., свящ. 239

Ведерниковы (Б. К.; В. Н.; В. С.; Н. Ф.) 141, 146, 149, 156

Вейнберг Л. Б. 91

Вейнберг П. И. 137

Вельтман А. Ф. 56, 94

Вельяминов П. Л. 48

Венгеров С. А. 259—261, 266, 268, 272, 275, 281, 283, 286, 290—292

Веневитинова (урожд. Вьельгорская) А. М. 77

Вениамин (Казанский В. П.), митр. 239

Вера Константиновна, вел. кн. 322

Вердеревские 58, 90

Верди Дж. 293

Вересаев В. В. 152

Верещагин А. В. 273—274

Верещагин В. В. 178

Вернадский И. В. 75

Верхарн П. 176

Весницкий, библиограф 127, 131

Вессель Н. Х. 263

Виктория I, королева Великобритании и Ирландии 123, 323

Вильгельм I, король Вюртембергский 321

Винокуров А. И. 118

Виргилий П.-М. 57

Виртнев П. Н. 81

Витолин Я. О. 192

Витте С. Ю. 135, 178

Вицын А. И. 281

Вишневецкий А. В. 274

Вишневецкий М. П. 274—275

Св. Владимир, князь 165

Владимир Александрович, вел. кн. 321

Владычина Г. Л. 243

Власьев, ученик 129

Воейков А. Ф. 34, 41
Воеводская (урожд. Салькова) Е. А. 59—60
Воеводский А. И. 60
Волжинский, учитель 56
Волкова 33
Волковыский Н. М. 205
Волконская 73
Волконские 114
Волконский П. М. 58, 62
Волконский, полицеймейстер 131
Волобуев Н. И. 275
Волошин М. А. 151
Волхонский 84
Вольнский (Флексер) А. Л. 211
Вольтер Ф.-М.-А. 69, 233, 235
Воронцов С. М. 47, 56, 76
Воронцова Е. К. 214
Воронцовы 76
Вроблевский, лицеист 142
Вуатюр В. 123, 183
Вульферт Г. А. 275
Вьельгорский 73
Вяземский П. А. 31, 44—45, 47—48, 73, 162
Вяльцева А. Д. 161
Гавриил, архиеп. 58
Гавриил, митр. 300
Гавронский К. А. 275
Гагарин Г. Г. 113
Гаевский В. П. 277

Гайдебуров В. А. 275—276
Гайдебуров П. А. 276
Галанин И. Д. 304
Галузинский Л. А. 276
Гамбургер А. Ф. 94
Гантовер Г. В. 276
Гардеры 160
Гасфельт И. П. 276
Гацкий А. С. 130
Гвоздевич, исправник 161
Ге Н. Н. 276—278
Гегель Г.-В.-Ф. 181
Гейне Г. 232
Гейцман, хирург 275
Ген М. П. 258
Генебарт, кондитер 121
Генрих IV, римско-германский император 307
Георг-Август Мекленбург-Стрелицкий, герцог 322, 323
Георгий Михайлович, вел. кн. 324
Гераклит 182
Гервинус 137
Герцен А. И. 47, 277
Герценштейн С. М. 278
Гершензон М. О. 216
Герье В. И. 147
Гете И.-В. 67, 79, 164, 181, 221
Гетлинг К. В. 110
Гизо Ф.-П.-Г. 249, 254
Гицбург И. Я. 177

Гилле 263

Гильдебранд Ф. 263

Гиляровский В. А. 102—104

Гинзбург Л. А. 187

Гиппиус З. Н. 212

Глазунов И. И., отец 42—43

Глазунов И. И., сын 43, 304

Глинка М. И. 293

Глинка Ф. Н. 34, 41

Глухов В. С. 278—279

Гнедич Н. И. 137

Гнейст Р. 269

Гоголь Н. В. 65, 68, 132, 139, 146—147, 162—165, 168, 181, 212, 215—216, 218—223, 227—229, 232, 243—246

Годениус 41

Годунов Борис 58—59, 94, 218

Голан И. М. 128

Голицын, студент 164

Голицын А. Н. 21—22, 24

Голицын П. Б. 88

Голицын С. М. 66, 90

Голицыны 114

Голицыны А. Ф. и М. Ф. 93

Голова (урожд. Садовская) М. А. 109—110, 112

Головы (В. И.; Д. И.; И. И.; Н. И.) 109—110, 112, 116, 122, 162

Головин 19

Головнин А. В. 98, 100

Головнин Д. Д. 82

Головнин Ф. 58

Головнины (В. М.; И. М.; М. И.; М. М.; М. Я.) 49, 61, 73, 81, 89—90

Голощаповы 58

Голубовский Л. 246

Гомер 229

Гончаров И. А. 229—230

Гончаров С. Н. 72, 76

Гончарова Н. Н. 214, 217—218

Гораций 24, 57

Горбунов И. Ф. 111

Горев Ф. П. 148

Горемыкин И. Л. 135

Городецкий С. М. 171

Горский-Платонов П. И. 288

Горсткин В. 157

Горчаков А. М. 94, 307, 319—324

Горюшин, купец 120

Готье, Т. 207

Гофман В. В. 150—151, 180

Грабарь И. Э. 25, 155

Грабовский С. Ф. 16 457

Грановс

кая (урожд. Мюльгаузен) Е. Б. 70 Грановский

Т. Н. 57, 68—71, 94, 249, Грахе, аптекарь 156

Грацианов (Абандон, прозв.) П. А. 113

Греч Н. И. 38, 40—42

Грибоедов А. С. 71

Григорович (урожд. Биг

лова) О. Л. 113 Григорович А. И. 113

Григорьев Ап. А. 147, 218, 228

Григорьев В. В. 302
Гриневская И. А. 177
Громов А. В. 112, 121
Громова (урожд. Садовская) Е. Я. 121
Гронский П. Е. 279
Грот К. К. 299
Грузинов А. Е., 19
3, 196 Грузинский 90
Грум-Гржимайло Г. Е. 278
Грушка А. А. 147
Губастова (урожд. Воеводская) Ю. А. 59
Губастовы А. и К. А. 59
Гудович 52
Гудович И. В. 49
Гумбольдт А.-Ф.-Г. 70
Гумилев Н. С. 182, 205—211
Гусев Д. В. 279—280
Гутман, хирург 275
Гутовский, ученик 192
Давид Георгиевич, имеретинский царь 289
Давыдов В. Н. 170
Давыдов Д. В. 48
Далматов В. П. 127,
136—138, 170 Даль В. И. 70, 95
Дальский М. В. 178
Даниил, черногорский князь 79
Данилевский Г. П. 5
Данилевский Н. Я. 249,
254 Данте Аллигьери 226, 299

Дантес Ж.-Ж. 214

Даргомыжский А. С. 293

Дашков Д. В. 30—31, 76

Дашкова Е. Р. 16, 24, 80

Деборн, актриса 136

Дебур, пристав 145

Девилленев Н. П. 124

Дейбнер, книготорговец 8

7, 90 Делоне Е. Н. 62—63

Дельвиг А. А. 41, 92, 216

Дельсаль, семья 59

Делянов И. Д. 79, 111, 163

Деммени Г. И. 280

Демюр, актер 136

Демюр-Кочетковская, балерина 140

Ден З.-В. 293

Денисьева Е. А. 218

Депрейс П. Н. 154—155

Державин Г. Р. 48—49, 76,
94, 131 Джунковский В. Ф. 168

Днанин В. П. 280—281

Дибров С. 193

Дивавнна П. И. 13

О Дивов Т. П. 281

Дмитриев И. И. 29—31

Дмитриев Ф. М. 73—74, 281—282

Дмитриевский А. А. 265

Добров 88

Добронравов,

беллетрист 175 Добротворский В. И. 282

Довнар А. С. 256

Долгов А. В. 144

Долгоруков В. А. 168

Долгоруковы 309

Дорошевич В. М. 179

Досекин Н. В. 168

Достоевский А. А. 283

Достоевский Ф. М. 162, 21
4—216, 219, 222, 225—230, 232—235, 253, 259 Драненко Г. 193

Дрейзин П. И. 283

Дризен Н. В. 13

Дроздова З. В. 173

Дрэпер Д. В. 249, 254

Дубасов Ф. В. 188

Думбадзе И. А. 161

Дункан Айседора 167

Дурасов, корнет 146

Дурново П. Н. 187—189

Дурново П. П. 113

Дуров В. Л. 135—136

Дюмушель (И. Ф.; М. Б.; М. Ф.) 77, 90

Дютур (Детур) К. А. 75—76, 80

Евгений (Болховитинов Е. А.), мит
р. 38, 42, 49 Евгений Вюртембергский, герцог 322

Евдокимов Н. И. 273

Егоров, трактирщик 180

Егоров А. Е. 268, 284

Егоров Д. Е. 282—284

Егоров Е. Е. 54, 57—58

Егоров П. А. 125

Егорова (урожд. Мосолова) А. И. 125—126

Егорова (в замуж. Садовская) Н. П. 125—126

Егоровы 114

Ежова Е. И. 40,
42 Екатерина II 13, 15, 20, 47, 57, 60, 70, 76, 94, 97, 163, 187, 234, 306

Екатерина Михайловна, вел. кн. 322, 323

Елагин И. П. 13

Елагина А. П. 70, 8
3—87, 95, 163 Елагины (А. А.; А. В.;
В. А.; Е. И.; Н. А.) 73, 83—87 Елагины 114

Елена, принцесса Мекленбург-Стрелицкая 324

Елена Павловна, вел. кн. 99—100, 280—281, 322

Еленев В. 194

Еленев Ф. П. 59,
94 Елизавета Алексеевна, императрица 38, 41

Елизавета Петровна, императрица 66, 277, 303

Елизавета Федоровна, вел. кн. 321

Еремeeвы 74

Еременко (урожд
. Языкова) Н. Д. 262 Ермолинский К. Н. 284

Ермолов А. П. 109—110, 162

Ефимовские 114

Ефременков, ученик
194 Ефремов П. А. 79, 95

Ефрон И. А. 245, 298, 302, 314

Ешинский, следователь 125

Жакевич А. 195

Жарчинская, учениц

а 195—196 Железное М. И. 217

Желяховская 241

Жибаль 16

Живаго И. М. 58

Жидовиновы 108

Жижмор М. Я. 206,

208, 211 Жительский А. М. 196

Житель Васильевского Острова см. Цертелев Н. А.

Жихарев И. И. 128

Жмакин, вице-губернат

ор 38 Жуковские (А. В.; Е. А.;

П. В.) 79, 87 Жуковский В. А. 43—45, 48, 60, 65—66, 70, 76—77, 79, 83—84, 86—87, 94—95,
162—163, 321

Жуковы 114

Журавлева, актриса 136

З-в Н. Я. 35

Забелин И. Е. 5,

104—105, 180 Заборовская (в замуж. Голова) М. А. 122

Заботкин Д. С. 284—285

Завидский, пристав 117

Закревские 114

Закревский А. А. 6

3, 66, 71, 95, 162 Запольский Н. Н. 285

Звенигородская, княжна 48, 81

Звенигородские 114

Звенигородский Д. Ф. 1

16 Зверев, генерал-майор 285

Зверев Н. А. 110

Зейдель (урожд. Бурцева) О. П. 49, 53, 61, 81
Зейдель (А. Н.; Н. И.; Н. Н.; Ф. И.) 48, 53, 82
Зейферт 88
Зейц, аптекарь
57 Зеленецкий, писец 145
Земенков Б. С. 243—244
Зененко, доктор 141
Зенкевич М. А. 183
о. Зиновий 48

Зиновьев П. В. 75
Зиновьева-Аннибал Л. Д. 152
Злецовы 108
Змеев Л. Ф. 299
, 315 Змиева (урожд. Алек
сандрова) Е. В. 49 Змиевы (А. Ф.; И. Ф.; Н. Ф.) 49, 53—54, 81
Зонтаг А. П. 86
Зыбин К. С. 148
Зыбина (урожд. Элор
з) К. М. 148 Иаков, архиеп. 300
о. Иван 49
Иванов, инженер 134
Иванов А. А. 85
Иванов А. И. 286
Иванов (Классик, псе
вд.) А. Ф. 285—286 Иванов В. И. 152, 164
Иванов Г. В. 207, 210
Иванов М. Н. 157
Иванова Д. И. 89
Иванова В. 197

Иванцов-Платонов А. М. 286—288

Иванчин-Писарев А. И. 212

Игнатъев Н. П. 296

Извольский А. П. 187

Измайлов 287

Измайлов А. А. 176, 179

Измайлов А. Е. 32—42

Измайлов В. В. 32

Измайлов В. С. 124

Измайловы 32, 35, 38,
39 Израиль (Никулицкий И.), еп. 288—289

Илинские 114

Иловайский Д. И. 173

Имеретинский Н. К. 289

Иннокентий III, папа римск
ий 68—69 Иннокентий, архиеп. 61

Иноземцев Ф. И. 168

Иоанн Лейденский 236

Иоанн IV Грозный 118, 12
3, 146 Иосиф, герцог Саксен-Альтенб
ургский 323 Иосса А. А. 290—291

Ипатьев 155

Ираид И. и Я. 119

Ирвинг Вашингтон 85

Ирецкий (Гликман) В. Я.
205—211 св. Иринея, еп. Лионский 280

Исаакий (Положенский И. К.), еп. 289—290

Исаков Я. А. 304

Исаковичи прагун 142

Искерский К. К. 290

Иславин К. А. 62

Истомин В. К. 62

К. Р. см. Константин Константинович, вел. кн.

458

Кавелин К. Д. 96, 282

Каверин П. П. 27

Кадышевы 48

Казаков М. Ф. 12

Казакова, вдова 61

Казанович А. И. 61—62, 87, 89

Казанович И. Г. 61—62

Кайдаков Н. И. 291

Калайдович К. Ф. 74, 95

Калачов Н. В. 271, 316

Калиновский А., свящ. 239

Каллаш В. В. 168

Каляев И. П. 321

Камбек Л. А. 286

Кампиони П. А. 291

Кант И. 164, 181

Кантакузин (гр. Сперанский) М. Р. 292

Карамзин А. Н. 114

Карамзин Н. М. 31, 32, 38, 78—79, 213

Каран д'Аш (Пуаре Эмм.) 145, 183

Каратеева В. Г. 51

Каратеева (урожд. Салькова) Г. И. 51

Карелин А. О. 142—143, 166

Карелина (урожд. Пермошова) О. Г. 142—143

Карелина (урожд. Лермонтова) С. П. 172—173

Карелины 166

Карл I, король Вюртембергский 321

Карл Румынский, князь 302

Карпов П. И. 175

Карпова А. 197

Картамышевы А. В. и В. П. 292

Катков Меф. Н. 72

Катков Мих. Н. 62, 65, 69, 71—72, 80, 94, 103—104, 154, 162, 249, 254, 272

Каткова В. А. 72

Каткова (урожд. Шаликова) С. П. 63, 154

Катулл В. 174

Каченовский М. Т. 30—31

Кашперов В. Н. 292—293

Кащенко В. В. 293

Кельсиев В. И. 94—95

Кемарский, кондитер 144

Кениг О. О. 294

Керков Э. В. 294

Керн А. П. 217

Кетчер Н. Х. 71, 95

Кизеветтер А. А. 181

Килевейн К. А. 294

Киль К. А., фон 112

Киреевские (И. В.; М. А.; М. В.; П. В.; С. И.) 47, 66—67, 74, 83—86, 95, 162

Кипренский О. А. 277

Кирик 74

Кирилл (Смирнов К. И.), митр. 239—241

Кирпичников А. И. 147

Киселев И. 122, 130

Киселев П. Д. 99—100

Киселева П. А. 113

Китаев В. Н. 294—295

Классик см. Иванов А. Ф.

Клин Э. Ф. 63, 72

Клопов Г. 120

Клопотовский Б. 201

Ключевский В. О. 5, 147, 156

Кноблок Р. А., фон 295

Княжевичи (А. М.; В. М.; Д. М.) 35—36, 38, 41

Княжнин В. Н. 171—172

Кобылинский (Эллис, псевд.) Л. Л. 155, 164, 167

Ковалевский В. И. 111, 135

Ковалевский Е. П. 30—31, 273, 307

Коган П. С. 107

Кожебаткин А. М. 128, 138, 171, 181—182

Кожин, губернатор 58

Козлов А. А. 104

Койранский А. А. 183

Коковцев, литератор 178

Кокорев В. А. 55, 75, 94

Кокошкины (А. Ф.; О. Н.; Ф. Ф.) 88—89

Колубовский Я. Н. 259, 261

Колюпанов Н. П. 111, 295—296

Комаров А. И. 126—127

Комаров Н. П. (Собинов Ф. Е.) 211

Комарова Е. М. 126—127

Конге А. А. 172, 183

Копылов А. А. 182

Кондратьев А. А. 185

Кони А. Ф. 95

Коноплянцев А. М. 171—172

Константин Константинович (К. Р. псевд.), вел. кн. 138, 143

Константин Николаевич, вел. кн. 313, 322, 323

Константин Павлович, цесаревич 115

Корецкий А. 198

Коринфский А. А. 179

Корнилович А. О. 38, 41

Королев Ф. Н. 296—297

Короленко В. Г. 138

Корсаковы 114

Корш В. Ф. 279

Корш Ф. Е. 173

Коссович К. А. 62—65, 73, 75—76

Костич 78

Костомаров Н. И. 5

Костомарова Т. П. 277

Костылев А. Н. 63

Костырко-Стоцкий Н. Н. 127

Костычевы 277

Костюшенко Г. 198

Кочубей В. А. 277

Кошелев А. И. 65, 95, 296

Кошиц, певец 148—149

Кравчинский С. М. 111

Краевский А. А. 70

Красницкий В. Д., свящ. 239

Краснянский Г. Д. 297

Краснянский Г. Д. 297

Красовский И. И. 282
Крастелев А. Г. 56—58
Краузе 57
Крачковский Д. Н. 176
Крейсвих В. А. 313
Крестовоздвиженский, писец 145
Крестовский В. В. 5
Кречетов С. см. Соколов С. А.
Кривцова (урожд. Репнина) Е. Н. 85—86
Кригер 54
Кропоткин Д. Н. 282
Круглов А. В. 316
Крыжин И. 199
Крылов И. А. 32, 34, 150
Крылова (в замуж. Дюмушель) О. Д. 74, 90
Крымов Н. П. 155
Крымский А. Е. 219
Кугушевы 114
Кузмин М. А. 171, 175, 182
Кузнецова Л. 199
Кузьмин, студент 89
Кузьмин А. Н. 61
Кузьмин-Караваев А. А. 148, 156
Кузьминская Т. А. 233
Кульбин Н. И. 177
Куракин Б. И. 59
Куровский, вице-губернатор 124
Курочкин В. С. 285—286
Курсинский А. А. 152

Кусов 62

Кутузов М. И. 90

Кутыев В. П. 110

Кюхельбекер В. К. 38, 41

Лаврентьев А. И. 297—298

Ладыгин И. Н. 81

Лазарева-Станицева (в замуж. Рейтерн) 87

Лакиер 77

Лакиер (урожд. Плетнева) О. П. 77

Ламбины Н. П. и П. П. 304

Ламздорф Н. М. 99—100

Ланге Н. И. 298

Ланские 114, 116

Ларины В. А. и И. П. 117, 127

Лебедев А. П. 288

Лебедев Н. Д. 124—125

Лев XIII, папа римский 132

Левенсон П. Я. 298

Левестам Е. А. и П. Е. 156—157, 160

Левицкий С. Л. 321—324

Легран Н. 25

Ленина Е. В. 61

Ленский А. П. 155, 170

Лентовский М. В. 148, 180

Леонид (Краснопевков Л. В.), архиеп. 300

Леонтович Ф. И. 304

Леонтьев К. Н. 145, 171, 227—228

Леонтьев П. М. 68—69, 71—72

Лепорский Иоанн, свящ. 118, 127, 139

Лермонтов М. Ю. 106, 116, 125—126, 129, 143, 172, 213—219, 221—222, 224—225, 227, 230, 232, 234—235

Лермонтовы (Г. Н.; Н. П.; П. П.; П. Ю.; Ю. П.) 142—143

Лесков Н. С. 5, 176, 178

Лессинг Г.-Э. 137

Ли И.-Л. 151, 183

Ливеи П. И. 114, 116

Ливий Тит 94

Ливио, банкир 90

Лидин В. Г. 243—246

Лизандер Д. К., фон 298—299

Ликиардопуло М. Ф. 152, 154, 181

Линевич Н. П. 157

Липгарт, хирург 275

Липницкий А. О. 113, 121

Лисовский Н. М. 304

Литвин см. Эфрон С. К.

Лихачева 277

Лихутины (А. Л.; А. Н.; Д. Л.; М. А.) 108—109, 112, 114, 116, 121, 130, 134

Лобисы (Лобысовы) И. А. и М. В. 114, 124, 141

Ломоносов М. В. 131, 156

Лопухина В. А. 216, 218

Лопушинский К. О. 299

Лохвицкий Н. А. 210—211

Лугинин В. Ф. 112

Лугинина (урожд. Полуденская) В. П. 74, 90

Лугинина (в замуж. Безак, Велио) М. Ф. 74, 90

Лукомский Г. К. 175

Лукоянов. купец 125

Лурье С. В. 181

Львов П. Ю. 39, 42

Львова Н. Г. 169, 175—176

Львовский Г. ф. 299

Льдов см. Розенблюм К. Н.

Людовик II, вел. герцог Гессенский 369

Лютер М. 233

Лядов А. К. 177

Лясковский В. Н. 85

Лясотович А. О. 80

Ляцкий (Дутик, прозв.) Е. А. 169—172, 183

Маевский О. А. 126—127

Майковы (А. Н.; Л. Н.; Н. А.) 76, 174

прп. Макарий Желтоводский 300

Макарий (Булгаков М. П.), митр. 265

Макарий (Глухарев М. Я.), архиеп. 85

Макарий (Миролубов Н.), архиеп. 299—301

Маколей Т.-Б. 249, 254

Максимов Д. Е. 213

Максимович, генерал 189

Малиновский А. Ф. 93

Малицкий Н. В. 271

Мамонов Н. Е. 90—91

Мамонов Э. А. 73, 79, 86

Мамонтов Н. Н. 274

Мамонтова (урожд. Сапожникова) Е. Г. 92—93 459

Мамонтовы С. И. и С. С. 92—93

Мандельштам О. Э. 207

Манн И. А. 301

Мануйлов В. А. 107

Манькин-Невструев А. И. 301 — 302

Мария Александровна, императрица 266, 319, 321

Мария Александровна, вел. кн. 321 — 323

Мария Николаевна, вел. кн. 77

Мария Павловна, вел. кн., дочь им
п. Павла I 38, 42 Мария Павловна, вел. кн., супруга вел. кн. Владимира Александровича 321

Мария Федоровна, супруга имп. Павла I 39, 42, 306, 324

Мария Федоровна, супруга имп. Александра III 322 — 323

Марков 59

Мартосы 114

Мартынов, учитель 144

Мартынов И. М. 302

Мартынов Н. С. 116, 129

Марциал Валерий 77, 147

Маслова (урожд. Вандер) Н.
И. 49 Масловы А. С. и Л. А. 49, 54

Масловский Д. Ф. 302 — 303

Матвеев, ученик 55

о. Матвей 56

Матисс А. 167, 1
68, 183 Махотины 114

Маширов А. И. (Самобытник, псевд.) 206, 208, 211

Мацевский С. Н. 57

Межов В. И. 303 — 304

Мейков О. Ф. 304

Меллер-Закомельский А. Н. 145

Мельников-Печерский А. И. 110

Мельниковы 114

Меморский 144

Меньшиков А. И. 7

2 Меньшиков А. С. 313

Меньшиков М. О. 236

Мережковский Д. С. 149, 212, 231

Меренберг С. Н. 324

Мерцалов Д. В. 304—305

Метнер Э. К. 181—182

Метгерних К.-В. 307

Мец Г. Ф. 305

Мещерская М. А. 8

8 Мещерский В. П. 174

Миансарьянц 63

Миддендорф А. Ф. 305—306

Микеланджело Буонаротти 215, 222

Миллер, врач 55

Милюков П. Н. 176

Милютина (урожд. Абаза) М. А. 98—100

Милютина (урожд. Понсе) Н. М. 99—100

Милютины Д. А. и Н. А. 95—100

Миних Б.-Х., фон 303

Минский Н. М. 212

мч. Мисаил, архиеп. 58

Михаил Михайлович, вел. кн. 324

Михаил Николаевич, вел. кн. 273, 322—324

Михаил Павлович, вел. кн. 100, 322

Михайлов М. М. 282

Михайлова, ученица 200

Михайловский Н. К. 212, 252, 254

Михайловы 100

Мицкевич А. 80, 8

3—84, 140 Мичурина В. В. 170

Модзалевский Б. Л. 13

Мольер Ж.-Б. 123

Монахов И. И. 111

Монтескье Ш.-Л. 19

Мордовцев Д. Л. 128, 1

83 Морков А. И. 93, 95

Морни Ш.-О. 73

Морозов Н. И. 104

Морозов П. О. 110

Москвина, купчиха 91

Моцарт В.-А. 215

Муравьев А. Н. 114

Муравьев (Виленский) М. Н. 289

Муравьев-Амурский Н. Н. 89

Мурашко Е- 200

Мусницкий М. И. 306

Мусоргский М. П. 218

Муханова П. А. 306—307

Мухановы 88

Мухановы (А. И.
; А. С.; В. А.; Е. А.; Н. А.; С. И.; Т. А.) 306—307

Мясников В. 146, 148—149, 158, 166—167, 183

Набгольц 88—89

Навацкий 125

Нагородская Е. А.

182 Надлер В. К. 307—308

преосвящ. Назарий 166

Назимов В. И. 94

Налетов А. И. 120, 140

Наполеон I Бонапарт 62, 90
, 218, 234, 308 Нарвут А. Н. 308

Нарвут Е. А. 308

Нахимов П. С. 160

Нащокин П. В. 47, 73

Нащокины 73, 86

Небучинов, откупщик

48 Невзоров П. П. 116, 126

Невский П. 159, 161

Негоши, владетельный род в Черногории 79

Неелов П. Д. 308—309

Нейдгардт А. В. 141

Некрасов Н. А. 79, 80, 95, 277

Ненюков, ученик 128

Неплюев И. И. 94

Нерон 84, 156

Нерсесов Н. И. 30

9 Нечаев, чиновник 145

Никандр, архиеп. 239

Никитенко А. В. 27

НИКИТИН, землемер 59

НИКИТИН А. 135

НИКИТИН А. А. 35—36, 41

НИКИТИН И. С. 286

НИКИТИН В. Т. 309

Николаев В. Н. 260

Николаев П. А. 309—310

Николаева Т. Н. (Розанова Т. В.) 258—261

Николай I 42, 55, 62, 70, 76—77, 79, 94, 96, 100, 119, 133, 143, 289, 306, 321—322

Николай II 134, 135, 186—190, 209, 322, 323

Николай Александрович, вел. кн. 74, 95, 316

Николай Михайлович, вел. кн. 174, 323

Никольский А. П. 127

Никольский Б. В. 169, 173—174, 183

Никольский М. М. 128

Никольский П. И. 110

Никон, патр. 58, 94

Нилендер В. О. 107, 182

Нильский И. Ф. 310—311

Нириц Г. 56, 87

Ницше Ф. 235—236

Новгородский А. Ф. 3

11 Новиков Н. Н. 76, 90—91

Новомейский О. П. 311

Нордман-Северова Н. Б. 177

Оболенские 114

Оболенский Л. Е. 2

96 Оболенский М. А. 93—94

Обренович М. 78

Обтяжнов 141

Огарев Н. П. 76

Огинский М.-К. 52

Огнев, чиновник 39

Одинокий см. Тиняков А. И.

Одоевский В. Ф. 293

Окнов В. В. 311

Оксман Ю. Г. 43

Олег Иванович, рязанский князь 58

Олсуфьевы 114

Ольга Николаевна, вел. кн. 69, 321—322

Ольга Федоровна, вел. кн. 322

Ольденбургский П. Г., принц 111,
324 Ольхин М. Д. 43

Ольшевский К. И. 311

Онуфрий (Парусов А. Ф.) 312

Орешников А. В. 105

Ориген 280

Орлов, лавочник 123

Орлов А. Г. 168

Осипов В. Н. 59

Осипова (урожд. Вое
водская) А. А. 59 Ослин, купец 50

Остафьев Н. Р. 130

Остафьева (урожд. Кононова) И. Я. 145, 249

Остен-Сакен Д. Е. 66

Остерман А. И. 93

Остолопов Н. Ф. 34, 3
6, 38, 40—41 Островский А. Н. 293

Островский М. Н. 292

Павел I 18—19, 24, 42, 49, 80, 116, 131, 187, 322

Павел Александрович, вел. кн. 321—322

Павел (Зернов), архиеп. 271

о. Павел, 61

Павлова К. К. 68, 95

Пазухины 108

Палей (урожд. Карнович О. В.) 321
Палем О. 255—256
Пален К. Г. 146
Пальмерстон Г.-Д.-Т. 44—45
Пальмова (урожд. Лихутина) Е. А. 134
Пальмовский, полицейский 111
Пальмье А., де 13—24
Панаев В. И. 34, 36, 38, 40—41
Панин В. Н. 99
Панин П. И. 86
Панина В. В. 178
Панов 145—146
Панова Л. 201
Пантелеймон (Поспелов И. А.), архим. 312
Пантюхов М. И. 151—152
Панютин 141
Папер М. 157
Парадизов Е. 130—131
Паренов 202
Парфенов А. 57
Паскевич И. Ф. 67,
95, 110, 151
Пассек В. В. 273
Певцов М. В. 278
Педашенко С. А. 102—104
Пейкер И. У. 312
Пейкер М. 129
Пейкер Н. И. 312—
313
Пеймерн (урожд. Сверчкова) Л. А. 61
Пельт 57

Пенкин И. И. 260

Пенкина (Триполитова
) З. М. 304 Первов П. Д. 253

Перельес Э. 296

Перетерский Н. И., свящ. 313

Перцов П. П. 212—236, 259—261

Перцовы В. В. и П. Н. 212

Песоцкий И. П. 43

Песталоцци И.-Г. 307

Пестель 52

Пестич Ф. В. 313—314

Петипа М. М. 144, 178

Петипьер Ю. А. 314

Петр (Полянский П. Ф.), митр. 239

Петр I 38, 48, 84—85, 93, 168, 179, 187, 216, 234, 303

Петр Николаевич, вел. 280
460

Петрашевский М. В. 291

Петров, гимназист 143—144

Петров Г. С., свящ. 233

Петров (Поксиньи) Н. Р. 314

Петров О. А. 111

Петрункевич Н. И. 277

Пирогов Н. И. 266

Писарев Д. И. 234

Питирим, архиеп. 300

Пиуновский (Певуновский) 75

Плавильщиков В. А. 34, 41

Платов М. И. 179

Платон, митр. 286

Платонов И. В. 267

Плеве В. К. 149, 172

Плетневы А. П. и П. А. 40, 42, 47, 77, 299

Плутарх 23

Плютичевский Д. И. 260

Победоносцев К. П. 155, 163, 174, 185, 274

Повереннов В. 117

Поггенполь Н. П. 314

Погенпола 51

Погодин 288

Погодин М. П. 68, 76, 83, 162—163

Подобедова 202

Пожалостин И. П. 163

Поземщиков, купец 79, 87

Покровский Д. А. 314

Покровский М. М. 149

Поксиньи см. Петров Н. Р.

Полевой, офицер 151

Полемон I 272

Поликарп (Тугаринов П. А.), архим. 314—315

о. Поликарп 312

Поликарпова (урожд. Щербатова) М. А. 77, 80

Поликарповы 114

Поликарповы (А. А.; А.; Е. А.) 80

Полиловы 114

Полонская Ж. А. 168

Полонский Я. П. 174

Полторацкая 175

Полуденская 90
Полуденский М. П. 74, 90
Поляков В. П. 43
Поляков С. А. 151—152
Попов А. Н. 79
Попов В. В. 315
Попов И. В. 241
Пороховщиков А. А. 314
Постников И. 3, 88
Потанин Г. Н. 278
Потанчикова, актриса 88
Потемкин Г. А. 234
Потемкин П. П. 172—173, 182
Потехин А. А. 155, 277
Прейс А. Н. 62, 65
Пржевальский Н. М. 278
Прибытков В. 183
Приезжие, ученик 129
Приклонские 114
Приклонский П. И. 114, 118
Приселков В. И. 315
Прозоровский Д. И. 315—316
Пророкова М. 202
Просвирнин И. С. 129
Протасова (урожд. Бунина) Е. А. 86
Протасовы (А. В.; А. И.; А. П.; М. А.) 73, 85—86
Пругавин А. С. 111
Пуаре, пристав 145
Пуаре Э. см. Каран д'Аш

Пукевиль Ф.-Ш. 36, 41

Путята А. Д. 316

Пушкин А. А. 72

Пушкин А. С. 27—29, 38, 41—42, 44, 47, 70—71, 73, 76—77, 88, 91, 95, 102—104, 113, 118, 125, 137—138, 158, 162—163, 168, 171, 175, 178—179, 182, 191, 196, 213—219, 221—224, 227—229, 231—234, 277, 293,

304, 319 Пушкин Л

. А. 167 Пушкина (уро

жд. Гончарова) Н. Н. 73 Пушкина (в замуж. Скуратова) Ф. А. 74

Пущин И. И. 27

Пшибышевский С. 152

Пяст В. А. 207

Рабинович, портной

146 Рабле Ф. 123

Раевская А. М. 71

Развадовская (урожд. Салькова) Е. А. 60

Развадовские К. и Ф. Ф. 60

Разин С. Т. 126, 133

Раль В. Ф. 75

Ральгин А. А. 57

Рамазанов Н. А. 168

Ранг А. М. 144

Ранке Л. 79, 95

Рапп Е. Ю. 242—243

Распутин Г. Е. 174, 180

Рафаэль Санти 183, 222

Рахмановы 114—115

Рачинский Г. А. 181

Рейсман, гувернер 71

Рейтер М. К. 277

Рейтерн 87

Рейтерн М. Х.

291 Рембрандт Х. ван Р

ейн 276 Реми 63

Ремизов А. М. 170—172, 175

Ренан Ж.-Э. 84

Ренненкампф П. К.,

фон 178 Репин И. Е. 169, 177,

277 Ржигя, преподаватель 138

Рибо Р. 135

Рилль А. 307

Ринальди А. 12

Риттер К. 70

Рихтер О. Б. 294

Ришелье А.-Э. 165

Рогович А. П. 187—188

Родаевич И. М. 56—57

Родзевич (урожд. Зейц) Т

. Х. 57 Рождественский Иоанн, свящ. 258

Розанов В. В. 145, 169, 175, 212, 235—236, 249—261

Розановы (В. В.; В. Ф.; Д. В.; Н. В.; Н. И.; П. В.; С. В.; Ф. В.) 249, 254, 256, 261

Розен 111

Розенблюм (Ль

дов, псевд.) К. Н. 178 Розенталь, банкир 269

Романов (Рцы, псевд.) И. Ф. 261

Романова О. И. 258

Россини Дж. 214

Российский В. И. 55

, 152 Ростовцев Я. И. 94

Ростопчина (урожд. Сушкова) Е. П. 59

Ростопчины А. Ф. и Ф. В. 59, 68

Руднева А. А. 259

Рудольф, отст. майор

141 Рукавишников И. С. 144, 182

Рукавишниковы 144

Рулье К. Ф. 72

Рунт Б. М. 151—152

Руссо Ж.-Ж. 106, 231,
233 Рцы см. Романов И. Ф.

Рылеев К. Ф. 40, 42

Рындин К. С. 80

Рюккерт Ф. 65

Рюмины Г. и Н. Г.
54—55 Рюрик, князь 106, 164, 319

Рябушинский Н. П. 153—154

Рябушкин А. П. 218

Саади 217

Сабаневы 114

Сабашниковы М. В. и С. В. 107

Сабо (урожд. Чернова) В. Н. 61

Сабо Н. П. 61

Савва, архиеп. 28

9, 307 Савелов Л. М. 173

Савина М. Г. 137, 170

Савинова В. И. 153

Савиный Ф.-К. 267, 294

Садовская (урожд. Голова)
А. И. 110—113, 119—121, 129, 158 Садовская (в замуж. Алелекова)

А. Я. 112, 121 Садовская (урожд. Лихутина) Е. А. 108—109, 121, 130, 134, 177

Садовские (А. Б.; А. Я.; Е. А.; И. Я.; Н. А; Н. И.; М. А.; Я. А.) 108—111, 113, 116—117, 119—132,

134—135, 140—141, 144, 158, 164, 179—180, 183

Садовский П. М. 143

Садовской Б. А. 106—183

Садоков К. И. 110, 250—251

Садофьев И. И. 206, 208, 211

Сазонов Н. Ф. 170

Сазонов С. Д. 187, 189—190

Сазоновы 58

Сакулин П. Н. 151—152

Салватори, доктор 40

Саломон П. И. 291

Салтыков-Щедрин М. Е. 55, 96, 179, 277

Салтычиха (Салтыкова Д. Н.) 139

Сальери А. 215

Сальков П. А. 59—60

Сальковы 59

Самарин А. Д. 92

Самарин Ю. Ф. 96

Самарины 101, 114

Самобытник см. Маширов А. И.

Самойлов А. И. 259

Самойлов В. В. 111

Самойлович Н. Я. 138, 141

Самоквасов Д. Я. 152, 168

Санд Жорж 137

Сапожникова (урожд. Алексеева) В. В. 92

Сапожниковы А. и В. 75, 92

Сапунов Н. Н. 169, 171

Саранчева Л. М. 162, 164

Саснина Е. Г. 124

Свербеев Д. Н. 84, 92

Свербеев Н. 72

Сверчков, студент 149

Сверчок, псевд. А. С. Пушкина

Светлана, псевд. В. А. Жуковского

Свининников, купец 109

Свиньин П. П. 34, 36, 40—42

Святополк-Мирский П. Д. 187

Селиванов К. 236

Семевский М. И. 6

Семенов М. Н. 152

Семенов Н. Н. 55

Семенова (урожд. Бунина) М. П. 50

Семенов-Тянь-Шанский П. П. 96

Сементовский-Курилло, полицеймейстер 127, 130—131

Сербинович К. С. 79, 163

о. Сергей 85

Сергей Александрович, вел. кн. 74, 142, 170, 321, 322

Сергей Михайлович, вел. кн. 324

Сергиевский Н. А. 288

Серебряков К. Т. 135, 180

Серов А. Н. 304

Серов В. А. 168, 177

Сивере А. А. 111, 125

Сидоров Ю. 156, 162

св. Симеон Верхотурский 300
Скалон 189
Скарятины В. Я. и Н. Я. 66
Скворцовы 128—129, 131
Скобелев М. Д. 180, 202
Скотт Вальтер 38
Скрябин А. Н. 142
Скублинская 255
Скуратов 136
Скуратовы 74
Славатинская, актриса 136
Славянский см. Агренов Д. А.
Слонимский Л. З. 259, 261 461
Случевский К. К. 178
Смирдин А. Ф. 39, 41—43
Собесский Ян 140
Собинов Ф. Е. см. Ко
маров Н. П. Соболевский С. А. 47, 76
—77, 79, 93 Собольщиков-Самарин 136—137
Соймоновы 114
Соколов С. А. (Кречетов С., псевд.) 149, 154
Соколовская, актриса 136
Соколовы А. и М. А. 62
Солдатенков В. 71
Соловьев В. С. 131, 147, 164, 174, 181, 182, 217, 254, 282
Соловьев Вс. С. 251, 254
Соловьев И. И., свящ. 288
Соловьев С. М. 57, 68, 93—94,
254 Сологуб Ф. 175

Солтыковы 114, 139
Сомов К. А. 191
Сомов О. М. 32, 36,
38, 40—42 Сопчаков В. 57
Софийский И. В. 148
Спалайкович 177
Спасская 301
Спасский М. Ф. 7
2 Сперанский М. М. 267
, 282, 292 Спиноза Б. 151
Станевский Е. 203
Станкевич А. В. 71
Стасов В. В. 278
Стасов Д. В. 178
Стеллецкий Д. С. 218
Степанов 78
Степанов Н. Н. 118
Степун Ф. А. 167, 181
Стерлиговы 58
о. Стефан 53
св. Стефан Пермский 78, 300
Стефан Яворский 58, 84, 94, 290
Стефанеско, цимбалист 161
Столица Л. Н. 154
Страхов Н. Н. 174—175, 183, 227, 258
Стрельская, актриса 170
Стремоуховы 114
Стриндберг А. 171
Строганов А. С. 19

Строганов С. Г. 57—59, 74, 94
Суворин А. А. 259
Суворин А. С. 253—254, 256, 259
Суворов А. В. 145
Суриков В. И. 155, 21
8 Суриков И. 266
Сулова А. П. 254, 260
Сыроечковская Е. Л. 101
Сытин И. Д. 184—185
Сычуговы 114
Таганцев В. Н. 205
Тамерлан см. Тимур
Тараканов 182
Тароватый Н. Я. 1
54—155 Тархов (Фома, прозв.)
П. А. 113 Тастевен Г. Э. 154
Татарина Е. Ф. 71
Татеева (в замуж. Блудова) 78
Таубе 147—149
Тацит 99
св. Тереза 236
Терновский П. М., свящ. 69, 85—86
Тестов И. Я. 164, 177
Тимирязев К. А. 110
Тимофеев А. А. 157
Тимур Тамерлан 71
Тинторетто Я. 215
Тинь-Лоу 180
Тиняков (Одиноки

й, псевд.) А. И. 175, 182—183 Тит Ливий 57, 99
свт. Тихон (Белавин В. И.), патр. 237—241
Тихонравов Н. С. 67—68
Толстая М. Л. 277
Толстая С. А. 233
Толстой А. К. 168
Толстой Д. А. 110, 292
Толстой Л. Н. 47, 104—105, 130, 141, 145, 154—155, 162, 164, 169, 180—183, 185, 213—216,
220, 222,
224—225, 228—235, 277 Толстой Н. А. 19—22, 24
Толстой Н. И. 130
Толубеев Н. И. 110, 1
83 Томский Н. В. 246
Топоров А. В. 102
Тотлебен Э. И. 285
Трепов Д. Ф. 187
Третьяков П. М. 277
Троицкая А. С. 249
Троицкая Ю. А. 155
Трубецкая 306
Трубецкой С. Н. 1
47, 149, 153 Трубецкой С. П. 42
Трунцевская (урожд. Зейдель) С. Н. 53, 82
Трунцевский П. А. 53, 82
Трухачевы 83, 87, 93
Тургенев А. И. 31
Тургенев И. С. 101—10
2, 137, 154, 162—163, 215, 219, 222, 225, 227—230, 232, 234, 277 Тухачевская 62
Тьер-Мыкыртычьянц С. Н. 63—64

Тэн И. 212

Тютчев Ф. И. 7

7, 150, 162, 216—218 Тяжелов И. А. 93

Уваров 70

Уитмен У. 152

Украинцев Е. И. 93

Унковский А. М. 80

Унтербергер П. Ф. 136,
148 Усачев А. А. 170

Усова (урожд. Бунина) В. П. 50

Успенский В. 149, 161

Ушаков 193

Файе 87

Фаусек В. и Ф. 88—89

Федоров 286

Федоров Б. М. 34, 36—38, 40—41

Федоров Н. Ф. 168, 182

Фельдман см. Барри

Фельтен Ю. М. 12

Феодор, царь 66, 146

Феодор (Поздеевский), еп. 241

Феофилактов Н. П. 152, 168

Ферзен 66

Фермор В. В. 303

Фет А. А. 106, 125, 143, 147, 154, 158, 162, 168—169, 174—175, 183, 217, 227

Фигнер Н. Н. 135

Филарет (Амфитеатров
) , архиеп. 271 Филарет (Дроздов В. М.),
митр. 69—70, 86, 95, 162, 213, 265, 283, 307 о. Филипп 53

Филиппов 148

Филиппов Т. И. 257, 281, 310

Филон 280

Фирсова Т. 20

3 Фихте И.-Г. 107

Флексер А. Л. см. Вольнский А. Л.

Флобер Г. 225

Фокс А. О. 140

Фомин А. Г. 171—17

2 Фор П. 176

Фотий, патр. Константинопольский 287—288

Фофанов К. М. 178

Фрибес О. А. 258, 261

Фрирс 87

Фролов Н. Г. 70

Харитон Б. О. 205

Хвостов 178

Хвостов А. Н. 1

67 Хвостов В. М. 152

Хвостов Д. И. 31, 33—34, 40

Хелиусоси, книгопродавец 87

Хемницер И. И. 32

Херасков М. М. 131

Херсонский Иоанн, свящ

. 258 Хилков М. И. 135

Ходаков Я. И. 113, 121, 123, 126, 140

Ходакова (урожд. Лишева) З. А. 113, 123

Ходакова М. Я. 123, 139

Ходасевич В. Ф. 106

Холодковский, инспектор 138

Хомутовы 114, 129

Хомяков А. С. 47, 64—67, 71, 74, 78, 84, 94—95, 162, 244—246

Хомякова (урожд. Языкова) Е. М. 64—67, 244—246

Хомяковы С. А. и Ф. С. 67

Хренников, купец 53

Хрисонопуло 131

Христиан IX, король датский 322

Хрулев С. С. 144

Хрущова 54

Царев С. 204

Цветаев И. Е. 259

Цветков И. Е. 151—152

Цее В. 291

Цельс 280

Цемировы 58

Церпицкий 145

Цертелев (Житель Васильевского Острова, псевд.) Н. А. 32—42

Цицерон 149

Цицианов Д. Е.

68 Цявловский М. А. 106, 137—138, 147, 171, 213

Чаадаев М. Я. 27, 114

Чаадаев П. Я. 27, 162—163

Чаадаева О. З. 114

Чаадаевы 114

Чарницкий И. Г. 53

Чезен А. М. 302

Чельшев 161

Черкасская (уро

жд. Васильчикова) 89 Черкасский В. А. 89
, 96 Чернов А. Н. 61
Черногубов Н. Н. 151, 158, 168—169, 177, 182
Чернышевский Н. Г. 231
Чертков А. Д. 68—69, 93
Чертков В. Г. 185
Четвериков С. И. 92
Четверикова (урожд. Алексеева) М. А. 91, 92
Чехов А. П. 146, 180, 225
Чеховский 142
Чижев 92
Чикваидзе 142
Чистякова, курсистка 200
Чичерин Б. Н. 96
Чубарова О. Г. 140,
146 Чуковский К. И. 106, 176
—177 Чупров А. И. 306
Шапошников Г. Г. 127—128, 131, 138
Шарапов П. Н. 184
Шарапов С. Ф. 288
Шатобриан Ф.-Р. 30—31
Шахаев Н. С. 115
Шахаевы 114
Шаховские 114
Шаховской А. А. 4
0, 42 Швайковский С. 204
Шверины 114
Шебальский 72
Шевич (урожд. Блудова) Л. Д. 65, 75—80, 95

Шевичи (Д.; И.; И. Е.; С.) 60, 65, 73, 75—80,
83, 95 Шевченко Т. Г. 80, 271

Шевырев С. П. 57, 65, 67—70, 75, 83, 88, 93—94, 162

Шевырева Е. С. 68
462

Шелковников 145

Шеллинг Ф.-В. 69

Шенрок И. И. 138, 144, 146

Шеншин П. Н. 159

Шеншина (урожд. Боткина) М. П. 169

Шепелевы 113—114

Шереметев А. В. 102

Шереметев Б. С. 164

Шереметев С. Д. 74, 81, 95

Шик М. Я. 152

Шиллер И.-Ф. 164, 181

Шиллинг К. И. 50, 54, 56, 58

Шиловская (урожд. Вердеревская) М. В. 90

Шиловский В. 90

Шиловский (Лошивский, псевд.) К. 90

Шипов М. И. 140, 146

Шиповы Н. Н. и Н. П. 113

Шишкин П. П. 53, 80—81

Шишкина А. В. 53—54, 80—81

Шишков А. С. 41

Шляпкин И. А. 173

Шмерельсон Г. 106

Шнэ 313

Шопен Ф. 140

Шпет Г. Г. 181

Шпигоцкая С. Д. 49, 62, 91, 93, 95

Шрамченчо 156

Шталь А. В. 258

Штейнер Р. 164, 181

Штрэндман 89

Шубинский С. Н. 174

Шувалов Г. П. 302

Шувалов И. И. 93, 95

Шувалов П. А. 98, 100

Шувалова П. И. 93

Шулешев, ученик 129

Шульц, масон 109

Шумигорский Е. 13

Щепкин М. С. 245

Щербатов А. П. 147, 151

Щербатова (урожд. Яровская) А. С. 78

Щербатова (в замуж. Поликарпова) М. А. 77, 80

Щербачев Ю. Н. 27

Щербинин М. А. 27

Щетинина (в замуж. Плетнева) А. В. 77

Щетинкин 155

Щукин П. И. 307

Эгер (урожд. Пейкер) А. М. 129—130

Эгер Н. К. 129—130

Эдельсоны (Ап. Н.; Арк. Н.; Н. И.) 54

Эдинбургский, герцог см. Альфред-Эрнест-Альберт Великобританский

Эдуард VII, король Великобритании 321, 323

Эйхенбаум Б. М. 107—108

Эллис см. Кобылинский Л. Л.

Эльский, актер 136

Энгельгардт А. Н. 273

Эрастов Н. В. 172

Эрбах-Шенберг (урожд. Баттенберг) М. 319, 321

Эриксен В. 163

Эфрон (Литвин, псевд.) С. К. 166

Юнгер В. А. 173

Юстиниан, император 307

Юшкова (урожд. Бунина) В. А. 86

Яворовский А. В. 158

Яворская Л. Б. 178

Яворский см. Стефан Яворский

Ядринцев Н. М. 295

Языков Д. Д. 262—316

Языков Д. И. 34, 36—41

Языков Н. М. 64, 95, 221, 244—246

Языкова П. П. 39

Языковы 114

Яковлев Л. Г. 135, 180

Яковлев М. Л. 41

Яковлев П. Л. 36—38, 41

Яковлев, полицеймейстер 144—145

Якунчикова 92

Якушкин И. Д. 27

Яньшев, учитель 56

Ясинский И. И. 178

Yaskofen Carl 321, 324

Bergamasco Ch 321—324

Brandseph 322

Downey D. 323

Fratelli Vianelli 322

Mauil 323

Penabert J. 323

Sevignie, m-le de 86

Сноски к стр. 455

* Библейские и мифологические имена в Указатель не включены.

Принятые сокращения // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 462. — [Т.] I. Принятые сокращения

ГЦТМ

— Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина

ОПИ ГИМ

— Отдел письменных источников Государственного Исторического музея

ОР ГБЛ

— Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина

ОРФ ГЛМ

— Отдел рукописных фондов Государственного Литературного музея

РОФ

— Рукописи, основной фонд (в ГЛМ)

ЦГАЛИ

— Центральный государственный архив литературы и искусства

ЦГДОР

— Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления

ЦГИА

— Центральный государственный исторический архив

Титульные листы и содержание // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 1—4. — [Т.] I. 1

Два чувства дивно близки нам —

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам...

А. С. Пушкин

2

РОССИЙСКИЙ

АРХИВЪ

История Отечества

в свидетельствах и документах

XVIII—XX вв.

— — — — —

I

Студия

«ТРИТЭ»

«РОССИЙСКИЙ АРХИВ»

Москва

1994

3

СОДЕРЖАНИЕ

К читающей публике

5

МЕМУАРЫ, ПЕРЕПИСКА, ДОКУМЕНТЫ

Слово на заключение мира России с Оттоманскою Портою в 1774 году

9

Мемуары секретной агентки российских императоров

13

Письма А. Е. Измайлова князю Н. А. Цертелеву

27

Воспоминания П. И. Бартенева

47

Борис Садовской. Записки (1881—1916)

106

«Первые дни свободы в Москве»

(ученические сочинения о февральской революции 1917 года)

191

Воспоминания В. Я. Ирецкого о Н. С. Гумилеве

205

П. П. Перцов. Литературные афоризмы

212

Распоряжение Патриарха Тихона

237

АРХИВНАЯ СМЕСЬ

«Изъяснение» В. И. Баженова (24)

Ранний список пушкинского послания «Товарищам» (27)

Письмо И. И. Дмитриева к Д. Н. Блудову (29)

Письмо Ф. В. Булгарина к И. И. Глазунову (42)

Письмо В. А. Жуковского к А. Я. Булгакову (43)

Письмо Н. А. Милютинина к Д. А. Милютину (95), Письмо И. С. Тургенева (101)

Письмо В. А. Гиляровского о памятнике А. С. Пушкину в Москве (102)

Записка Л. Н. Толстого (104), Автобиографическая притча И. Д. Сытина (184)

Письма Императора Николая II

министру внутренних дел А. Г. Булыгину (187)

и министру иностранных дел С. Д. Сазонову (189)

Запись о смерти Н. А. Бердяева (242), Перенесение праха Н. В. Гоголя (243)

БИОБИБЛИОГРАФИЯ, ГЕНЕАЛОГИЯ, etc...

В. В. Розанов. Материалы к биографии

Д. Д. Языков. Материалы для

«Обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц»

262

ГАЛЕРЕЯ

Альбом фотографий из архива канцлера А. М. Горчакова

319

ПРИЛОЖЕНИЕ

Андрей Белый. Африканский дневник

327

Указатель имен

455 4

ББК 63.3(2)

Р 76

Редакционная

коллегия

С. Г. Блинов

С. Д. Воронин

В. М. Мельников

А. Л. Налепин

М. Д. Филин

В подготовке издания

принимали участие

А. Н. Кузнецова,

Т. Е. Павлова, Т. В. Померанская

В. А. Соломатин

Ответственность за археографическую подготовку текстов

несут авторы публикаций

0503020000—005

Г — — — — —

А 19(02)—91

ISSN 0869—2009

© Студия «ТРИТЭ», РИО «Российский Архив». 1991

Концевая страница // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — Без паг. — [Т.] I. Р 76

«Российский Архив (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.)».
Выпуск 1. — М.: Студия «ТРИТЭ» — «Российский Архив», 1991. — 463 с.; ил.

ISSN 0869—2009

Альманах посвящен истории Государства Российского. В нем помещены ранее не публиковавшиеся исторические документы (воспоминания, дневники, письма, литературные и философские произведения), хранящиеся в отечественных и зарубежных архивах.

Все материалы альманаха публикуются без изъятий. Среди них выделяются: мемуары секретной агентки российских императоров Анны де Пальме, воспоминания редактора-издателя «Русского архива» П. И. Бартенева, «Записки» поэта и мемуариста Бориса Садовского, «Африканский дневник» Андрея Белого, письма Императора Николая II, В. А. Жуковского, И. С. Тургенева и др.

Альманах снабжен научно-справочным аппаратом.

Для историков, культурологов, архивистов и всех интересующихся отечественной историей.

0503020000—005

Р — — — — —

А 19(02)—91

ББК 63.3 (2)

РОССИЙСКИЙ АРХИВ

История Отечества

в свидетельствах и документах

XVIII—XX вв.

Выпуск первый

Студия «ТРИТЭ»

творческо-производственное объединение

Никиты Михалкова

Редакторы С. Г. Блинов, М. Д. Филин и В. В. Шибаета

Художественный редактор В. М. Мельников

Технический редактор Н. Л. Неретина

Корректор Л. И. Гордеева

Сдано в набор 19.04.91. Подписано к печати 17.11.94 г. Формат 70?100/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Академическая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 41,47. Усл. кр.-отт. 83,59. Уч. –изд. л. 50,35. Доп. тираж 7000 экз. Изд. № 5. Заказ № 992.

Издательский отдел «Российский Архив» ТПО «ТРИТЭ» 103001, Москва, Мал. Козихинский пер., 11

ГПП «Печатный двор» Комитета РФ по печати. 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15